ТАСТИКИ ШЕДЕВРЫ ФАНТАСТИКИ ШЕДЕВРЫ ФАНТАСТИКИ ШЕДЕВРЫ ФАНТАСТ

ШЕДЕВРЫ ФАНТАСТИКИ

Урсула
ЛЕ ГУИН

Рыбак из Внутриморья

Хайнский цикл

ВПЕРВЫЕ ПОД ОДНОЙ ОБЛОЖКОЙ

Эксмо

Урсула
ЛЕ ГУИН

Рыбак из Внутриморья

Хайнский цикл

ТАСТИКИ ШЕДЕВРЫ ФАНТАСТИКИ ШЕДЕВРЫ ФАНТАСТИКИ ШЕДЕВРЫ ФАНТАСТ

Урсула

ЛЕ ГУИН

Рыбак из Внутриморья

Хайнский цикл

Урсула
ЛЕ ГУИН

Четыре пути к прощению

•

Обделенные

•

Уходящие из Омеласа

•

История «шобиков»

•

Танцуя Ганам

•

Рыбак из Внутриморья

«ЭКСМО»
2006

ШЕДЕВРЫ ФАНТАСТИКИ ШЕДЕВРЫ ФАНТАСТИКИ

Урсула

ЛЕ ГУИН

Рыбак из Внутриморья

Хайнский цикл

«ЭКСМО»
2006

УДК 820 (73)
ББК 84(7США)
Л 33

Ursula K. LE GUIN
FOUR WAYS TO FORGIVNESS
Copyright © 1994 by Ursula K. Le Guin
THE DISPOSSED
Copyright © 1974 by Ursula K. Le Guin
THE ONES WHO WALK AWAY FROM OMELAS
Copyright © 1974 by Ursula K. Le Guin
THE SHOBIC'S STORY
Copyright © 1993 by Ursula K. Le Guin
DANCING TO GANAM
Copyright © 1993 by Ursula K. Le Guin
ANOTHER STORY OR A FISHERMAN OF THE INLAND SEA
Copyright © 1994 by Ursula K. Le Guin

Ле Гуин У.
Л 33 Рыбак из Внутриморья: Фантастические произведения / Пер. с англ. — М.: Изд-во Эксмо, 2006. — 800 с.

ISBN 5-699-17724-8

В этот том вошли произведения Урсулы Ле Гуин, продолжающие знаменитый Хайнский цикл.

УДК 820(73)
ББК 84(7США)

© ООО «Издательство «Эксмо», 2006
© Перевод. О. Вассант, А. Новиков, И. Полоцк, В. Старожилец, С. Трофимов, И. Тогоева, 2006

ISBN 5-699-17724-8

Четыре пути к прощению

Предательства

«На планете О не было войн в течение последних пяти тысяч лет, а на Гезене войн не знали вообще никогда», — прочла она и отложила книгу, чтобы дать отдых глазам. К тому же последнее время она приучала себя читать медленно, вдумчиво, а не глотать текст кусками, как Тикули, всегда моментально сжиравший все, что было в миске. «Войн не знали вообще»: эти слова вспыхнули яркой звездой в ее мозгу, но тут же погасли, растворившись в беспросветных глубинах скептицизма. Что же это за мир такой, который никогда не видел войн? Настоящий мир. Настоящая жизнь, когда можно спокойно работать, учиться и растить детей, которые, в свою очередь, тоже смогут спокойно, мирно учиться и работать. Война же, не позволяющая работать, учиться и воспитывать детей, была отрицанием, отречением от жизни. «Но мой народ, — подумала Йосс, — умеет только отрекаться. Мы рождаемся уже в мрачной тени, отбрасываемой войной, и всю жизнь только и делаем, что гоняемся за миражами, изгнав мир из дома и своих сердец. Все, что мы умеем, — это сражаться. Единственное, что способно примирить нас с жизнью, — наш самообман: мы не желаем признаваться себе, что война идет, и отрекаемся от нее тоже. Отрицание отрицания, тень тени. Двойной самообман».

На страницы лежащей на коленях книги упала тень от тучи, ползущей со стороны болот. Йосс вздохнула и прикрыла веки. «Я лгунья», — сказала она сама себе. Потом снова открыла глаза и стала читать дальше о таких далеких, но таких настоящих мирах.

Тикули, который дремал, обвернувшись хвостом, на солнышке, вздохнул, словно передразнивал хозяйку, и почесался, сгоняя приснившуюся блоху. Губу охотился; об этом свидетельствовали качающиеся то там то сям макуш-

ки тростника и вспорхнувшая, возмущенно кудахтающая тростниковая курочка.

Йосс настолько погрузилась в весьма своеобразные обычаи народов Итча, что заметила Ваду лишь тогда, когда он сам открыл калитку и вошел во двор.

— О, ты уже пришел! — всполошилась она, сразу ощутив себя старой, глупой и робкой (как всегда, стоило кому-то заговорить с ней; наедине с собой она ощущала себя старой, лишь когда была больна или очень уставала). Может быть, то, что она выбрала уединенный образ жизни, стало самым разумным решением в ее жизни. — Пойдем в дом.

Она встала, уронив книгу, подобрала ее и почувствовала, что узел волос вот-вот рассыплется.

— Я только возьму сумку и сразу пойду.

— Можете не торопиться, — успокоил ее юноша. — Эйд немного опоздает.

«Очень мило с твоей стороны позволить мне в моем собственном доме собраться не спеша», — мысленно вспыхнула Йосс, но промолчала, сдавшись пред чудовищным обаянием юношеского эгоизма. Она зашла в дом, взяла сумку для покупок, распустила волосы, повязала голову шарфом и вышла на небольшую открытую веранду, служившую одновременно крыльцом. Вада, сидевший в ее кресле, при виде Йосс вскочил. «Он хороший мальчик, — подумала она. — Пожалуй, воспитан даже лучше, чем его девушка».

— Желаю приятно провести время, — сказала она вслух с улыбкой, прекрасно понимая, что этим смущает его. — Я вернусь через пару часов, но до заката.

Она вышла за калитку и побрела по деревянным мосткам, извивавшимся по болоту, к деревне.

Эйд она не встретила. Девушка придет по одной из тропок в трясине с северной стороны. Они с Вадой всегда уходят из деревни в разное время и в разном направлении, чтобы никто не догадался, что раз в неделю они на пару часов встречаются. Их роман длился уже около трех лет, но они вынуждены были встречаться тайно до тех пор, пока отец Вады и старший брат Эйд не придут к согласию в старинной склоке о спорном отрезке земли, оставшемся не у дел от некогда тучных пашен корпорации. Этот крохотный островок в болоте сделал семьи смертельными врагами, и несколько раз уже почти чудом удавалось избегнуть кровопролития. Однако, несмотря ни на что, их младшие отпрыски по уши влюбились друг в друга. Земля была хорошей. А семьи, хоть и были бедны, обе стремились верховодить в деревне. Зависть не лечится. И ненависть тоже: все деревенские разделились на два лагеря. Ваде с Эйд даже и сбежать-то оказалось некуда: в других деревнях родственников они не имели, а для того чтобы выжить в городе, надо хоть что-то уметь. Их юная страсть попала в тиски вражды стариков.

Йосс случайно узнала их секрет с год назад: однажды, гуляя по обыкновению в тростниках, она наткнулась на маленький островок и лежащую в объятиях друг друга прямо на земле парочку; как-то раз она точно так же набрела на болотных оленят, притаившихся в травяном гнездышке, устроенном матерью оленихой. Эти двое были так же смертельно перепуганы и так же очаровательны и стали умолять Йосс «никому не говорить» так смиренно и униженно, что у нее не оставалось другого выхода. Трясясь от холода, они цеплялись друг за друга, как дети; ноги Эйд были в болотной грязи.

— Пойдемте ко мне, — сухо сказала Йосс. — Ради всего святого.

И, развернувшись, пошла прочь. Парочка последовала за ней.

— Я вернусь через час, — так же сухо сообщила она, приведя их в свою единственную комнату с альковом для кровати. — Только простыни не пачкайте!

Этот час она кружила вокруг дома, проверяя, не ищет ли их кто-нибудь. Теперь же, год спустя, в то время как «оленята» наслаждаются любовью в ее крохотной спаленке, она уходит за покупками в деревню.

А вот отблагодарить ее им как-то не приходило в голову. Вада делал торфяные брикеты и запросто мог обеспечить благодетельницу топливом, не вызвав ни у кого ни малейших подозрений... Но они ни разу ей даже цветочка не подарили, хоть и оставляли всегда простыни чистыми и даже неизмятыми. Может, они просто были неблагодарными детьми? Да и за что им ее благодарить? Она всего-навсего дала им то, что они и так должны были иметь по праву молодости: постель, часок любви и немного покоя. Тут нет никакой ее заслуги, как, впрочем, и никакой вины в том, что никто другой не предоставил им этого.

Сегодня она собиралась зайти в лавку, которую держал дядя Эйд — деревенский кондитер. Когда Йосс приехала сюда два года назад, ее благие намерения придерживаться праведного воздержания в пище — горсточка зерна и глоток чистой воды в день — пошли прахом: от диеты из сухих круп у нее начался понос, а воду из торфяников было просто невозможно пить. Теперь она ела овощи, какие только удавалось купить или вырастить самой, и пила вино, привозимые из города соки и воду, которую продавали в бутылках. Кроме того, она постоянно пополняла запас сладостей: сушеных фруктов, изюма, жженого сахара и даже пирожных, которые пекли мать и тетка Эйд, — толстых галет, посыпанных толчеными орехами, сухих, ломких, но приторно-сладких.

Йосс набила сумку продуктами и задержалась, чтобы поболтать с теткой Эйд — смуглой, востроглазой маленькой женщиной, которая была вчера на поминках по старому Йаду и горела желанием поделиться впечатлениями.

— Эти люди, — имея в виду семью Вады, тетушка презрительно прищурилась и криво усмехнулась, — как всегда, вели себя по-свински: напились, задирали всех, безбожно хвастались, а потом заблевали всю комнату. Чего еще ждать от такой деревенщины!

Когда Йосс подошла к полке с прессой, чтобы взять свежую газету (вот и еще один нарушенный обет: она клялась читать лишь «Аркамье» и выучить его наизусть), в лавку вошла мать Вады, и все услышали, как «эти люди» (теперь уже семья Эйд) вчера вечером вели себя по-свински, хвастались напропалую, задирали всех и в конце концов заблевали весь дом. Йосс не только слушала — она расспрашивала обо всем до мельчайших подробностей, она буквально купалась в сплетнях.

«Как это глупо, — думала она, — сидеть на отшибе в болоте и молчать, как мышь под метлой! Что за идиоткой я была тогда, когда давала обет пить только воду и не произносить праздных речей. Я никогда, никогда не давала себе воли ни в чем! Я никогда не была свободной, да я и не заслуживаю свободы! Даже в своем преклонном возрасте я не могу отважиться поступать так, как действительно хочу. Даже потеряв Сафнан, я не решилась жить не так, как принято, а как хочется».

Стояли они меж пяти армий враждебных. И Энар, воздев

клинок, говорил: «Держу я в руках твою смерть, о всемогущий!» Камье же ответствовал: «Бедный мой брат, ты держишь в руках свою смерть».

Хоть что-то из «Аркамье» она помнила наизусть. Но эти строки знали все. А потом Энар отбросил меч, поскольку был героем и благородным, почти святым человеком. И младшим братом Камье. «А я вот не могу отбросить свою смерть. Я вцепилась в нее, я лелею ее, ем ее, пью, слушаю ее, отдаю ей свою постель, оплакиваю ее, делаю все возможное, чтобы она приближалась!»

Закат сегодня был так красив, что Йосс отвлеклась от мрачных мыслей, невольно залюбовавшись: безоблачное серо-голубое небо отражалось в далекой дуге канала, а садящееся в тростники солнце вызолотило колеблемые легким ветерком тонкие стволы. Чудесный день. Как прекрасен мир, как он прекрасен! «Меч в моей руке обернулся против меня. Зачем ты творишь красоту, чтобы убивать нас ею, Владыка милостивый?»

Сердце билось как сумасшедшее, Йосс еле передвигала ноги. Ну нет уж, хватит! Она туго стянула виски шарфом и несколько раз глубоко вдохнула, чтобы прийти в себя. Если она и дальше себе позволит так распускаться, то вскоре начнет бродить по болотам, в полубреду вопя во все горло — как Абберкам.

Вот ведь дернуло вспомнить об этом сумасшедшем! О черте речь, а он навстречу: не видя ничего перед собой, погруженный в свои мысли, Абберкам шел ей навстречу, стукая своей массивной тростью с такой яростью, словно каждый раз убивал змею. Его лицо обрамляли длинные седые кудри. Сейчас он не кричал — кричит он только по ночам, и то в последнее время нечасто — сейчас он говорил: она видела, как шевелятся его губы. Но вот он заметил Йосс и умолк, моментально превратившись в того, кем и был на самом деле — настороженного дикого зверя. Они медленно сближались на узеньких мостках, и вокруг не было ни единой живой души; только тростники, болотная грязь, ветер и вода.

— Добрый вечер, Вождь Абберкам, — мягко сказала Йосс, когда между ними осталось лишь несколько шагов. Каким огромным он был; всякий раз, встречаясь с ним, она не могла привыкнуть к виду его мощного, тяжелого, широкоплечего тела. Его иссиня-черная кожа была глад-

кой, как у молодого мужчины, но плечи ссутулились, а волосы седым-седы и всклокочены; нос торчал крючком, а глаза всегда смотрели куда-то вдаль.

Да что за день такой неудачный! Мало ей всех сегодняшних переживаний, самобичеваний и тревожных мыслей, так еще и это! Йосс остановилась — теперь Абберкам мог либо остановиться тоже, либо слепо двигаться прямо на нее — и спросила, стараясь казаться спокойной:

— Вы были вчера на поминках?

Старик вперился в нее тяжелым взглядом, словно недоумевая, кто она такая и что ей от него надо.

— Поминки? — переспросил он, словно вспоминал значение этого слова.

— Вчера похоронили старого Йада. Все перепились, и только чудом их старая свара не обернулась дракой.

— Свара? — скорее повторил он, чем спросил. Может, он уже окончательно перестал соображать, но попытаться пробиться к его сознанию все же стоило, и Йосс заговорила, боясь остановиться:

— Свара между Дэвисами и Камманерами. Они никак не могут поделить тот островок с хорошей пахотной землей. А их бедные дети боятся даже взглянуть друг на друга, чтобы родители не прибили их на месте. А ведь они любят друг друга и хотели бы пожениться. Что за идиотизм! Почему бы в самом деле не поженить их и не отдать им этот паршивый остров? А то, боюсь, того и гляди прольется кровь, и в самом ближайшем времени.

— Прольется кровь... — снова эхом повторил Вождь, а затем глубоким звучным голосом, который не раз разносился над ночными болотами, медленно проговорил: — Эти люди. Лавочники. У них души скряг. Они не хотят никого убивать. Но и делиться не умеют. Оторвать от себя кусок собственности. Никогда не научатся. Никогда.

И вновь перед мысленным взглядом Йосс взметнулся занесенный для удара меч.

— Ну, — пролепетала она, пытаясь справиться с внезапной дрожью, — тогда детям придется ждать, пока... пока старики не поумирают.

— Слишком долго. Будет поздно. — Йосс глянула старику в глаза, и его взгляд, острый и дикий, пригвоздил ее к месту.

Но Абберкам тут же нетерпеливо тряхнул седой гривой,

прорычал что-то на прощание и так стремительно ринулся вперед, что она едва успела отскочить на самый краешек мостков. «Вот так ходят вожди, и плевать им на нас, простых смертных», — подумала она с кривой улыбкой и снова двинулась к дому.

Но тут сзади раздались какие-то резкие звуки. Йосс испуганно обернулась, по горькому опыту городской жизни приняв их за выстрелы. Абберкам склонился над мостками, и все его мощное тело сотрясалось в пароксизме мучительного, раздиравшего легкие кашля; приступы были настолько сильными, что он едва стоял на ногах. Йосс хорошо знала, что означает такой кашель. Говорят, что пришлые умеют лечить эту болезнь, но она уехала из города до того, как хоть один из них успел появиться там. Она подошла к Абберкаму, который теперь тяжело хватал воздух ртом, пытаясь прийти в себя после приступа. Лицо его было серым, как пепел.

— У вас берлот. Вы только подхватили его или уже поправляетесь?

Старик яростно замотал головой.

Йосс молча ждала ответа.

«А какое мне, собственно говоря, дело до его болезни? Он приехал сюда умирать. Я еще прошлой зимой слышала, как он воет на болотах ночами. Воет от мучительной боли, воет, агонизируя, снедаемый стыдом и отчаянием, как человек на последней стадии рака, изводится тем, что все еще жив».

— Все в порядке, — злобно просипел Абберкам, явно желая, чтобы его оставили в покое.

Йосс ничего не оставалось, как кивнуть и уйти. Пусть подыхает, ей-то что? Да и могло ли остаться у него хоть малейшее желание жить после того, как он потерял все, что имел: власть, почет, богатство, честь? И потерял за дело: за то, что лгал, предавал своих приверженцев, присваивал чужие деньги! Хотя все политики этим занимаются... Великий Вождь Абберкам, герой Освобождения, уничтоживший Всемирную партию своей бездумной жадностью.

Йосс снова оглянулась. Старик медленно тащился по мосткам, возможно, даже покачиваясь — на таком расстоянии она не могла разглядеть. Мостки кончились, и Йосс ступила на тропинку, ведущую к ее дому.

Триста лет назад эта заболоченная гнилая топь была

одним из самых богатых и обширных земледельческих районов; первым, что осушила и возделала Сельскохозяйственная корпорация, а точнее, рабы, привезенные с Уэрела в колонию на Йеове. Уж колонизаторы постарались на чужих-то землях: так хорошо осушали землю, так тщательно обрабатывали, без всякой меры засыпая удобрениями, что доигрались, пока почва окончательно не истощилась и уже ничего не могла родить. И тогда хозяева бросили ее на произвол судьбы и ушли разрабатывать новые участки. Ирригационные каналы стали потихоньку разрушаться, и река вновь начала отвоевывать свои прежние владения: она периодически разливалась, и волны, гуляя по некогда тучным нивам, смывали остатки плодородной почвы и уносили к океану. Теперь здесь росли лишь тростники; на многие мили вокруг — шелестящий лес, покой которого тревожили лишь ветер, бесшумные тени низко скользящих туч да шорох крыльев голенастых болотных птиц. Где-то в глубинах его можно было набрести на небольшие островки все еще годной под пашню земли, на крохотные обработанные поля и деревушки рабов, брошенных на произвол судьбы. Никчемные люди на никчемной земле. Свобода на пустошах! Свобода сдохнуть от отчаяния и голода. И везде и повсюду по болотам были раскиданы полуразвалившиеся брошенные дома.

Религия Уэрела и Йеове позволяла и даже настоятельно советовала старикам, достигшим определенного возраста, обратиться к тишине: когда они уже взрастили детей и исполнили свой гражданский и семейный долг, когда тело ослабело, а дух окреп, они были вольны бросить все и начать жизнь с начала, с пустыми руками на пустом месте. Даже на плантациях боссы старым рабам позволяли уходить в чащобы и жить там свободно. Здесь же, на севере, освобожденные мужчины уходили на болота и вели там отшельнический образ жизни в уединенных ветхих домах. А после Освобождения стали уходить и женщины. Брошенные дома занимать было опасно: хозяин мог однажды вернуться и предъявить права на свое владение. Но большинство сооружений (как и крытый тростником домишко Йосс) принадлежали местным деревенским, которые содержали их в порядке и бесплатно отдавали отшельникам, надеясь исполнить тем самым свой религиозный долг и обогатить если уж не карман, так хотя бы душу. Йосс утешалась мыслью о том, что для хозяина своей развалюхи она является источником духовных благ; он был редким скупердяем, и его расчеты с провидением всегда склонялись в пользу дебета. Она осознавала, что все еще кому-то нужна и приносит хоть сомнительную, но пользу. И это еще один знак того, что она не способна отрешиться от мира, к чему призывал Камье. «Ты больше ни на что не годишься», — твердил он с тех пор, как ей исполнилось шестьдесят, сотни раз. Но Йосс не желала его слушать. Да, она оставила шумный мир и ушла в болота, но так и не смогла избавиться от него — беспрерывно болтающего, сплетничающего, поющего и плачущего. Этот неумолчный гул заглушал тихий голос ее Господина.

Войдя в дом, она обнаружила, что Эйд с Вадой уже ушли. На аккуратно заправленной постели дремал, свернувшись клубочком, ее лисопес Тикули. Губу, пятнистый кот, бродил с недоуменным видом, вопрошая, почему до сих пор не подали обеда. Йосс взяла его на руки и погладила шелковистую спинку. Кот довольно замурлыкал. Потом она его покормила. Тикули, как ни странно, не обратил на это никакого внимания. В последнее время он вообще слишком много спал. Йосс присела на кровать и почесала у него за ушами. Пес проснулся, зевнул, раскрыл янтарные глаза и, узнав хозяйку, завилял огненно-рыжим хвостом.

— А ты что, есть не хочешь? — спросила она. «Так и быть, поем, но только чтобы доставить тебе удовольствие», — ответил Тикули и спрыгнул с кровати, как ей показалось, не очень ловко.

— Ой, Тикули, да ты у меня стареешь, — сказала Йосс и ощутила в сердце холод вонзившегося меча. Когда же это было? Ее дочь Сафнан принесла матери в подарок маленького неуклюжего рыжего щенка с кривыми лапками и пушистым хвостом. Сколько лет прошло с тех пор? Восемь. Да, много. Для лисопса — вся жизнь.

Но он все же пережил и Сафнан и ее детей, внуков Йосс, — Энкамму и Уйи.

«Пока я жива, они мертвы, — подумала она в который уже раз. — А когда они оживут, меня уже не будет. Они улетели на корабле, летящем быстро, как луч света; они сами превратились в свет. Когда они вновь станут сами собой и ступят на землю далекого мира под названием Хайн, пройдет восемьдесят лет. И я уже буду мертва. Давно мерт-

ва. Я уже мертва. Они оставили меня, и я умерла. Но только пусть они живут, о всемилостивейший; я согласна умереть, лишь бы жили они! Я и приехала сюда умирать. За них. Вместо них. Я не могу, не могу позволить им умереть за меня».

В ее ладонь ткнулся холодный нос Тикули. Йосс внимательно посмотрела на пса. Раньше она не обращала внимания, что его янтарные глаза подернулись мутной пленкой и слегка выцвели. Она молча погладила его по голове и почесала за ухом.

Съел всего несколько кусочков, да и то лишь ради нее, и снова полез на кровать! Может, заболел? Йосс приготовила ужин: суп и пирожные, и машинально сжевала все, не замечая вкуса. Потом помыла три тарелки, подкинула в огонь хворосту и села с книгой в руках, надеясь, что чтение ее отвлечет. Тикули все дремал на кровати, а Губу пристроился у очага, золотистыми глазами глядя на огонь, и тихо тянул свое «мур-мур-мур». Раз он вскочил, услышав в тростниках какой-то подозрительный шум, и издал охотничий вопль, но потом снова улегся и, уставившись на пляшущие языки пламени, завел свою песню. Когда огонь погас и дом под беззвездным небом погрузился во тьму, он присоединился к Йосс и Тикули, уже спящим в теплой постели, на которой сегодня утром два юных любовника отдавали друг другу свою страсть.

Она поймала себя на том, что последние несколько дней неотступно думает об Абберкаме. Все это время она приводила свой огородик в порядок, готовя его к зиме, и потому голова была свободна.

Когда Вождь впервые появился на болотах и поселился в доме, принадлежавшем старосте, вся деревня загудела, как встревоженный улей. Опозоренный, низложенный, он все равно оставался великим человеком. Избранный всенародно вождем хеендов, одного из сильнейших племен Йеове, и создав и возглавив движение «Расовая свобода», он во время войны за Освобождение достиг огромной популярности. Идеи его Всемирной партии пришлись по душе особенно в сельских местностях, на плантациях: «Никто не имеет права жить в Йеове, кроме его народов: ни уэрелиане, ни ненавистные колонизаторы, ни боссы, ни хозяева». Война покончила с рабством, и в последующие несколько лет дипломаты из Экумены договорились о

полном и бесповоротном окончании экономической зависимости Йеове от Уэрела. Планета перестала быть колонией. Все боссы и хозяева — некоторые семьи жили здесь по несколько веков — были выдворены на родину, в Старый Мир, вращавшийся вокруг солнца по внешней орбите. Они были вынуждены уйти и увести свою армию. «Они уже не вернутся! — обещала Всемирная партия. — Ни как гости, ни как купцы. Никогда больше им не дозволено будет осквернять земли и души Йеове. И никаким другим пришельцам и захватчикам этого не позволят!» Чужаки из Экумены помогали Йеове скинуть цепи рабства, но им тоже пришлось улететь домой. «Это только наш мир. И он свободен. Здесь мы можем укреплять свой дух по заветам Камье-Меченосца». Абберкам повторял эти сентенции везде и всюду, и занесенный меч стал эмблемой Всемирной партии.

А затем полилась кровь. С самого Освобождения в Надами тридцать лет бесконечно шли войны, восстания, мятежи — половина жизни Йосс. И даже после того, как с планеты убрались все уэрелиане, война продолжалась. Снова и снова вырастали, мужали безусые юноши и очертя голову бросались по наущению престарелых вождей убивать друг друга, женщин, детей, стариков; здесь всегда шла война во имя свободы, мира и справедливости. Получившие свободу племена дрались между собою за землю, в то время как их вожди грызлись за власть. Все, что нажила Йосс за долгие годы работы учительницей в столице, пошло прахом, причем даже не во время самой войны за Освобождение, а после нее, когда в городе началась гражданская смута.

Правда, надо отдать должное Абберкаму: несмотря на меч, изображенный на эмблеме, он всеми способами пытался воздерживаться от военных действий, и отчасти это у него получалось. Он предпочитал бороться за власть с помощью убеждения, различными политическими и дипломатическими приемами, на которые был большой мастер, и почти добился успеха. Плакаты с занесенным мечом были расклеены везде и всюду, а речи Вождя на митингах неизменно пользовались большим успехом. «АББЕРКАМ И РАСОВАЯ СВОБОДА!» — призывали лозунги, протянутые над улицами. Ему оставалось только победить на первых в истории Йеове выборах и стать Вождем Мирового совета.

Но тут началось: сначала шепотки, слушки, потом уже открытые обвинения в измене. Потом самоубийство его сына. Затем публичные откровения матери его сына о развратном и не в меру роскошном образе жизни Вождя. А дальше посыпались обвинения в присвоении денег, выделенных его партией на восстановление кварталов столицы, разрушенных во время войны и бегства уэрелиан. Разоблачение тайного плана предательского убийства эмиссара Экумены, с тем чтобы впоследствии свалить вину на старого друга Абберкама и его сторонника Демье... Именно последнее и положило конец его карьере: на сексуальную распущенность, роскошный образ жизни и даже на злоупотребление властью Вождя еще могут посмотреть сквозь пальцы, но предательство старого товарища по партии — такое не прощают.

«Такова уж рабская мораль», — подумала Йосс. Большинство из прежних сторонников ополчились против Абберкама и взяли штурмом его резиденцию. Союзные войска Экумены соединились с частями, оставшимися верными Вождю, и вместе восстановили в столице порядок. За те несколько дней, пока длились беспорядки, в городе погибли сотни людей, а по всей планете жертвы вспыхнувших в поддержку Абберкама мятежей и бунтов исчислялись тысячами. Но потом Экумена встала на сторону временного правительства, вынудив его пойти на уступки в политике по отношению к Уэрелу. И Вождя повели под охраной ненавистных колонизаторов по залитым кровью улицам с полуобвалившимися от разрывов гранат домами. Народ, доверявший ему, обожавший его, ненавидевший его, молча смотрел, как его ведут через весь город под конвоем иностранцы, чужаки, которых он обещал вышвырнуть с планеты.

Йосс прочла обо всем в газете, так как это произошло, когда она уже год как жила на болотах. «И поделом ему!» — подумала она тогда. Действительно ли Экумена стала союзником Йеове или под прикрытием лояльности просто готовит возрождение старых порядков, она не знала, но ей приятно было видеть, как столь высоко вознесшийся Вождь был свергнут с пьедестала. Уэрелианские боссы, свалив главу страны, наняли десятки писак, поливавших его грязью. Но Йосс уже досыта наелась грязи за всю свою жизнь.

Когда несколько месяцев спустя ей сообщили, что Абберкам будет жить на болотах недалеко от нее и что он решил стать отшельником, она была потрясена и даже несколько пристыжена, поскольку считала все его пламенные высказывания и призывы лишь обычной политической болтовней. Неужели он в самом деле религиозен? И это после всех грабежей, оргий, убийств? Нет, конечно же, нет! Потеряв деньги и власть, он был вынужден устроить весь этот спектакль для отвергнувшего его общества и играть в нем роль нищего и несправедливо униженного. Ни стыда, ни совести! Йосс сама удивилась, сколько язвительности и горячей неприязни всколыхнуло в ней известие о его приезде. Когда она в первый раз увидела его, то единственным, что запомнилось тогда, стали огромные ступни с грязными большими пальцами, обутые в сандалии, — посмотреть ему в лицо она из презрения не пожелала.

Однажды зимней ночью с болот донесся леденящий, как пронизывающий ветер, жуткий вой. Губу и Тикули навострили уши, насторожились, но тут же успокоились. Йосс даже не сразу поняла, что эти надрывные звуки исторгает человеческая глотка; выл мужчина — пьяный? сумасшедший? — и было в его голосе столько муки и отчаяния, что она, несмотря на страх, отправилась посмотреть, нельзя ли ему помочь. Но он не искал помощи. «О великий всемогущий Камье!» — различила Йосс, выйдя за дверь, и на фоне бледного ночного неба, затянутого мутными облаками, увидела огромную фигуру человека, который шатаясь брел по мосткам, рвал на себе волосы и плакал, словно животное, словно душа, заблудившаяся в боли.

После этой ночи она больше не осмеливалась осуждать его. Они в равном положении. И, встретившись с ним в следующий раз, посмотрела ему в глаза и заговорила с ним.

Видела она его не часто: он действительно жил как отшельник. К нему никто не ходил. Ей жители деревни (ради спасения своей души) отдавали и кое-какие вещи, и излишки каждого урожая, а по праздникам угощали чем-нибудь горячим; но она ни разу не видела, чтобы кто-то нес что-либо Абберкаму. Может, поначалу ему и предлагали, а он оказался слишком гордым, чтобы принимать подаяние. А может, побоялись и предлагать.

Йосс вскапывала землю маленькой лопаткой с поло-

манной ручкой, которую ей отдала Эм Деви, и размышляла о ночных воплях Абберкама и его кашле. В четырехлетнем возрасте Сафнан чуть не умерла от берлота. В те страшные дни этот жуткий надрывный кашель преследовал Йосс днем и ночью. Может, когда она видела Абберкама в последний раз, тот направлялся к деревенскому доктору? А может, пошел да вернулся, так и не решившись попросить помощи?

Йосс накинула на плечи шаль: ветер посвежел, напоминая о том, что уже осень, и, выйдя к мосткам, свернула направо.

Жилище Абберкама было гораздо больше ее лачуги и сложено из бревен, отсыревших и замшелых: болотная вода просачивалась всюду. Такие дома перестали строить уже лет двести назад, после того, как срубили последнее дерево. Бывший фермерский дом, теперь он превратился в мрачную, обвитую дикими лозами развалину с прохудившейся крышей и выбитыми окнами; ступеньки на крыльце совсем прогнили и прогибались даже под Йосс.

Она позвала Абберкама, потом еще раз, погромче. Но в ответ лишь ветер шелестел в тростниках. Она постучала, подождала немного и, наконец решившись, толкнула разбухшую входную дверь. Оказавшись в узкой прихожей, Йосс услышала доносящееся из соседней комнаты хриплое бормотание:

— Никогда не входи, ни с какими намерениями, беги без оглядки, беги без оглядки... — И говорящий вновь зашелся в приступе мучительного кашля.

Йосс открыла дверь в комнату, остановилась на пороге и, когда глаза привыкли к темноте, огляделась. Когда-то здесь находилась гостиная, но сейчас все окна были забиты досками, а огонь в очаге давным-давно не разжигали. Из мебели остались только старый буфет, стол, лавка и кровать, стоявшая рядом с очагом. Скомканное одеяло валялось на полу, а Абберкам, совершенно голый, метался на кровати в горячечном бреду.

— О Камье всемогущий! — вырвалось у Йосс.

Огромное, черное, маслянисто-блестящее тело, широченная грудь и живот, поросшие седыми волосами, сильные руки с ладонями, напоминающими лопаты... Да она никогда в жизни не отважится подойти к нему!

Но все же Йосс поборола робость. Ведь Абберкам так

болен и слаб, к тому же не потерял сознания и в состоянии понять, что она хочет помочь. Йосс подняла с пола одеяло, укрыла больного, а сверху набросала все тряпки, которые только нашла в доме — даже коврик притащила из соседней комнаты; затем она развела огонь. Пару часов спустя больной начал потеть; он буквально обливался потом: все белье промокло насквозь.

«Что за человек, ни в чем не знает удержу!» — ворчала Йосс, глубокой ночью ворочая неподъемное тело, вытягивая из-под него простыни, чтобы высушить над очагом. Лихорадка не отступала, старика снова трясло и вновь скручивали приступы кашля, а Йосс тем временем заваривала принесенные с собой травы и заставляла его пить. И сама пила с ним за компанию. Наконец Абберкам заснул мертвым, настолько глубоким сном, что даже кашель, все не оставлявший его в покое, не мог его разбудить. Почти сразу и Йосс незаметно для себя задремала и очень удивилась, когда, проснувшись, обнаружила, что лежит на полу у погасшего очага, а сквозь щели в окна пробивается молочный свет дня.

Абберкам лежал на постели, укрытый ворохом тряпья; ковер, красовавшийся наверху, оказался чудовищно грязным. Грудь больного высоко вздымалась и опадала, но дыхание было ровным и глубоким. Йосс с трудом поднялась, буквально собирая себя по кусочкам, — каждое движение отдавалось болью, — развела огонь, поставила греться чайник и заглянула в буфет. К ее удивлению, там оказалось полно еды; очевидно, старика снабжали из ближайшего города. Она приготовила себе сытный завтрак и, когда Абберкам проснулся, напоила его травяным настоем. Его больше не лихорадило. Теперь, по ее разумению, единственную опасность могла представлять скопившаяся в легких мокрота — об этом ее когда-то предупреждали врачи, лечившие Сафнан. А ведь Абберкаму уже за шестьдесят, значит, если он вдруг перестанет кашлять, это окажется дурным знаком. Йосс помогла ему приподняться и приказала:

— А теперь кашляйте!

— Больно, — простонал он в ответ.

— Но это необходимо, — строго сказала Йосс, и старик покорно закашлял, правда, слабенько. — Сильнее! — Он подчинился и кашлял до тех пор, пока все его тело не скрутила судорога.

— Вот теперь хорошо, — похвалила Йосс. — А теперь спать! — И он заснул.

Ой, Тикуди и Губу, наверное, умирают с голоду! Йосс помчалась домой, покормила своих друзей, переоделась и часок отдохнула у очага, поглаживая Губу и слушая его бесконечное тихое «мур-мур-мур». А потом снова побежала к Вождю.

И снова она до сумерек сушила простыни и без конца перестилала постель. И опять сидела рядом с больным всю ночь. Но утром ему стало лучше, и Йосс, пообещав вернуться к вечеру, ушла. Он не ответил, так как был еще очень слаб.

Вечером кашель стал «мокрым», что было очень хорошим признаком, — «хороший» кашель, одним словом. Йосс вспомнила, что Сафнан, выздоравливая, тоже «хорошо» кашляла.

Абберкам много спал, а когда просыпался, Йосс вручала ему бутыль, приспособленную вместо «утки», и он отворачивался, чтобы помочиться. «Скромность — хорошее качество для Вождя», — думала она. Йосс была довольна и им, и собой. Она еще годится на что-то и может быть полезной, да еще как!

— Сегодня ночью я здесь не останусь, так что сами следите, чтобы одеяла не сползли. Но утром я вернусь, — строго сказала она, в глубине души очень довольная своей решительностью и непреклонностью.

Вечер был ясным, но холодным, и Йосс ускорила шаги. Войдя в дом, она обнаружила Тикули, свернувшегося клубочком в углу комнаты, где он никогда раньше не спал. Она отнесла его к миске, но пес отказался есть и попытался вернуться в тот же уголок. Йосс стала уговаривать любимца и, видя всю тщетность попыток накормить его, отнесла животное на кровать, но он сполз и упрямо улегся все в том же углу. «Оставь меня в покое, — сказал он, закрыв глаза и уткнувшись черным сухим носом в переднюю лапу. — Уйди, дай мне спокойно умереть».

Йосс легла спать, потому что глаза слипались, а ноги просто не держали. Губу всю ночь бродил по болотам. Утром Тикули, как и вчера, лежал, свернувшись клубочком, на том же самом месте, где никогда раньше не спал. Но он был жив.

— Я должна идти, — извиняющимся тоном сказала

Йосс. — Но скоро вернусь, очень скоро. Дождись меня, Тикули.

Он не ответил. Его янтарные, подернутые дымкой глаза смотрели куда-то мимо хозяйки, в неведомую даль. Он ждал, но не Йосс.

Она зло шагала по мосткам с сухими глазами, чувствуя себя до отвращения беспомощной. Абберкаму хуже не стало, правда, заметного улучшения тоже пока не наступило. Она покормила его рисовым отваром, помогла справить нужду и сказала:

— Я не могу остаться. Мой любимец тяжело болен, мне нужно вернуться.

— Любимец, — повторил Абберкам хрипло.

— Лисопес. Мне подарила его дочка.

Какого черта она извиняется и пускается в объяснения? Йосс решительно развернулась и ушла. Дома Тикули лежал все в том же углу. Она пыталась занять себя штопкой, стряпней, попробовала почитать об Экумене, о том мире, который никогда не знал войн, где всегда стояла зима и все люди были гермафродитами. Наконец она решила отнести Абберкаму поесть, но в тот момент, когда Йосс встала с кресла, Тикули тоже поднялся и очень медленно подошел к ней. Она снова села и наклонилась, чтобы взять его на руки, но пес положил острую мордочку на хозяйкину ладонь, тяжело вздохнул и вытянулся у ее ног, опустив голову на лапы. Потом вздохнул еще раз. И все.

Йосс плакала навзрыд, в голос, но недолго. Потом встала и пошла за садовой лопаткой. Вырыв могилку у стены, в солнечном месте, и взяв Тикули на руки, она вдруг испугалась: «Что же я делаю? Ведь он живой!» Но пес был мертв. Просто еще не остыл — пышный рыжий мех все еще хранил тепло. Йосс бережно завернула его в свой голубой шарф и уложила в ямку, ощущая сквозь ткань, как тело холодеет и застывает, словно деревянное. Потом она засыпала могилу землей, а сверху положила камень, отвалившийся от очага. Говорить она ничего не стала, лишь отчетливо представила себе, как где-то в мире ином Тикули бежит по цветущему лугу, устремляется вверх по солнечному лучу и тает в золотистом свете.

Йосс наполнила миску Губу, так и не показавшего носа домой, и снова пошла к Вождю. Стало холодно. Стебли тростника поседели, на лужах поблескивал тонкий ледок.

Абберкам уже сидел и чувствовал себя, судя по всему, лучше, но его еще немного лихорадило. Он хотел есть, и это тоже было добрым знаком. Когда Йосс принесла поднос с едой, он спросил:

— Как ваш любимец? Поправился?

— Нет, — ответила она и отвернулась. Ей пришлось собрать все силы, чтобы выговорить это слово: — Умер.

— Теперь он в руце Владыки, — хриплым звучным голосом сказал Абберкам, и Йосс снова увидела Тикули, бегущего по цветочному лугу, реального, живого, как сам солнечный свет.

— Да. — Она немного помолчала и добавила: — Спасибо.

Губы у нее дрожали, горло перехватило. Перед глазами неотступно маячило видение — небольшой голубой сверток. Ее голубой шарф. Ее... Хватит, надо чем-то себя занять, отвлечься. Йосс разожгла огонь в очаге и бессильно опустилась на лавку, лишь теперь осознав, как безумно она устала.

— До того как стать воином, Камье был простым пастухом, — сказал Абберкам, — а посему получил прозвище «Повелитель скотов». И еще прозывался порой Оленьим пастырем, потому что, когда он приходил в дикий лес, все олени сбегались навстречу. И среди их доверчивых стад львы резвились, не трогая ланей. Ибо не было страха меж ними.

Он произнес эти слова так обыкновенно, так буднично, что Йосс не сразу узнала известные с детства строки из «Аркамье».

Она подбросила в огонь еще кусок торфа и снова застыла на краю лавки.

— Расскажите, откуда вы родом, Вождь Абберкам, — попросила она.

— С плантации Геббы.

— Это где-то на востоке?

Он кивнул.

— И как там?

Огонь в очаге стал гаснуть, и потянуло едким острым дымком. В комнату прокрались сумерки. Как тихо вокруг. По ночам здесь всегда стоит такая оглушающая тишина, что в первые месяцы после переезда из города Йосс просыпалась каждую ночь, не в силах привыкнуть к безмолвию, окружавшему со всех сторон.

— И как там? — повторила она почти шепотом. Как у большинства представителей их расы, его зрачки цвета индиго заполняли глаз почти целиком, и теперь, когда Абберкам обернулся, Йосс уловила в полумраке комнаты их отблеск.

— Шестьдесят лет назад, — начал он, — мы жили на плантации все вместе, в одном бараке. Женщины и маленькие дети рубили сахарный тростник и работали на мельнице, а мужчины и мальчики старше восьми лет — на руднике. Некоторых девочек тоже брали в шахту — они нужны были в узких забоях, куда взрослый человек не мог протиснуться. Я был слишком крупным с самого детства, поэтому меня послали на рудник уже в восемь.

— И как там?

— Темно. — Абберкам снова сверкнул глазами. — Оглядываясь назад, я все время поражаюсь, как мы вообще выживали в таких условиях. Воздух в шахте был черен от угольной пыли. Черный воздух, да. Свет наших слабеньких фонарей пробивался сквозь него не дальше чем на пять футов. Большинство забоев были затоплены, и приходилось работать по колено в воде. Однажды в одном из штреков загорелся пласт угля, и забой мгновенно заполнился удушливым дымом. Но мы продолжали там работать, потому что рядом проходила богатая жила. Фильтры и маски, которые нам выдали, помогали мало: мы дышали угарным дымом. Тогда-то я и испортил себе легкие. Это не берлот, а застарелая хворь. Люди умирали от удушья. Умерли все, кто там трудился. Сорока-сорокапятилетние здоровые мужчины. Боссы выплатили племени деньги за их смерть. Страховку. Премию за труп. Для кого-то из родственников это еще больше усугубило боль утраты.

— И как же вы выкарабкались?

— Моя мать. Она была дочерью деревенского старосты. Она учила меня. Учила религии и свободе.

Йосс вспомнила, что об этом он рассказывал и раньше в своих предвыборных речах. Это был его стандартный миф.

— Как она вас учила?

Абберкам помолчал, потом медленно, словно нехотя, ответил:

— Она учила меня Святому Слову. Она говорила: «Ты и твой брат — настоящие люди, слуги великого Камье, его

воины, его львы. Только вы двое. Владыка Камье пришел к нам из Старого Мира, но принял наш мир как свой и, живя среди нас, сроднился с нами душой». Потому она и назвала меня Абберкам, что значит «Язык Владыки», а брата Домеркам — «Рука Владыки». Чтобы говорить лишь правду и сражаться за свободу.

И снова наступила тишина.

— А что стало с вашим братом? — наконец спросила Йосс.

— Его убили в Надами.

И снова тишина.

Надами был первым городом, в котором поднялась волна Освобождения, которая потом затопила весь Йеове. Рабы с окрестных плантаций и отпущенники плечом к плечу сражались с хозяевами и рабовладельцами. Если бы восстание не было стихийным и рабы успели договориться между собой, чтобы сообща ударить по корпорации, свобода пришла бы гораздо раньше и обошлась бы меньшей кровью. Но не было единого ядра, единого управляющего центра: мелкие вожди племен, главари дезертирских банд тешили свое самолюбие новообретенной властью, получив возможность грабить и делить освобожденные земли, а кое-кто не стыдился вступать в сговор с боссами, надеясь набить себе карман. Понадобилось тридцать лет войны и разрухи, чтобы несметные полчища уэрелиан убрались с планеты и у жителей Йеове появился шанс беспрепятственно убивать друг друга.

— Вашему брату повезло, — вымолвила Йосс и искоса глянула на Вождя, чтобы проверить, как тот воспримет ее слова.

При свете догорающих углей его широкое смуглое лицо казалось почти умиротворенным. Густые седые непослушные пряди снова выбились из-под шнурка, который она ему повязала, чтобы волосы не лезли в глаза. Глядя на умирающее пламя, он тихо произнес:

— Он был моложе меня. Он был Энаром на Поле Пяти Армий.

«Ах вот как, а ты, выходит, ни много ни мало — сам великий Камье?»

Йосс почувствовала, как снова тихо ожесточается и к ней возвращается привычный цинизм. Вот это эго! Но если заставить иронию замолчать, то, честно говоря, он мог

вкладывать в эти слова совсем другой смысл. Энар поднял меч на брата своего старшего, намереваясь убить его и не дать ему стать Господином этого мира. А Камье сказал, что меч, поднятый на брата, сулит смерть лишь ему самому, ибо нет в жизни иной власти и свободы, кроме свободы отречения от жизни, надежд и чаяний. И Энар опустил меч и ушел в пустыню, промолвив на прощание лишь: «Брат, я — это ты». А Камье поднял его меч и вступил в бой с армией Разрушителя, без всякой надежды на победу.

Так кем же он был на самом деле, этот человек, сидевший рядом с Йосс? Этот огромный мужчина. Этот больной старик и мальчик из забоя, этот хвастун, вор и лжец, возомнивший, что может поганить языком святое имя Владыки.

— Что-то мы заболтались, — заметила Йосс, хотя уже пять минут никто не сказал ни слова.

Она налила Абберкаму чашку отвара и снова поставила чайник на огонь, чтобы сделать воздух в комнате более влажным. Вождь следил за ней все с тем же кротким выражением лица, почти со смущением.

— Я хотел только свободы, — произнес он. — Свободы для нас.

Его угрызения совести ее не касаются.

— Укрывайтесь теплее, — вот и все, что она ответила.

— Вы уже уходите?

— Если я останусь еще хоть ненадолго, окончательно стемнеет, и я не увижу мостков.

Но уже стемнело, и звезд на небе не оказалось. Было очень непривычно идти по мосткам на ощупь — взять фонарь Йосс не додумалась. По дороге она представила себе черный воздух, о котором рассказывал Абберкам, и ей показалось, что и ее со всех сторон обступает давящая, удушливая стена мрака, жадно пожирающая любой свет. Она думала о черном огромном, сильном теле Абберкама. О том, что за всю жизнь ей редко доводилось гулять по ночам. Когда она была ребенком, рабов на плантации Банни на ночь запирали. Женщины жили отдельно — на женской половине и никогда не выходили в одиночку. Став отпущенницей и переехав в город, она поступила в школу и вот там впервые ощутила вкус свободы. Но потом началась война, и показываться женщине на улице одной стало небезопасно. Полиция в рабочих кварталах отсутствовала.

Там не было даже уличных фонарей. Банды хозяйничали, как у себя дома. Да они и были дома. Даже днем, ради безопасности, приходилось держаться людных мест и все время быть начеку.

Йосс уже начала сомневаться, в ту ли сторону пошла, но в этот момент ее глаза, уже привыкшие к ночной мгле, различили на фоне тускло-серой полоски зарослей тростника темное пятно ее дома. Она слышала, что чужаки плохо видят в темноте. У них совсем маленькие глаза почти без радужки: черная точка зрачка на белке, как у испуганной кошки. Только у кошек глаза красивее. Йосс не нравились глаза чужаков, зато цвет кожи был очень красивым: от бронзового до медного, гораздо более теплых оттенков, чем кожа рабов — скорее серая, чем коричневая, или такая, как у Абберкама, — иссиня-черная, доставшаяся ему по наследству от хозяина, который изнасиловал его мать.

Губу встретил хозяйку на тропке, молча танцуя вокруг и норовя потереться о ноги.

— Ну ты, поосторожнее! — прикрикнула Йосс. — А то я на тебя наступлю! — Но на самом деле она была очень рада и благодарна ему за встречу.

Войдя в дом, она взяла кота на руки и прижала к себе. А вот Тикули ее не встретил. И не встретит уже никогда. «Мур-мур-мур, — запел ей на ухо Губу. — Я-то здесь. Послушай меня, жизнь продолжается. А обед скоро?»

Все же пневмонии избежать не удалось, и Йосс пришлось сходить в деревню и вызвать врача из Вео — ближайшего города. Прислали практиканта, который наскоро осмотрел пациента и сказал, что вы все, мол, правильно делаете, надо, чтобы больной сидел и побольше отхаркивал, дескать, травяные настои тоже хорошо помогают, но присмотр все-таки нужен, а в общем, все хорошо, и ушел — вот уж спасибо. Теперь Йосс целые дни проводила с Абберкамом. Ее собственный дом без Тикули казался неуютным, осень была ненастной и холодной, так что ей еще оставалось делать? Она даже полюбила это мрачное старинное здание. Наводить там чистоту она не стала бы ни для Вождя, ни для кого на свете, кому плевать на порядок, но с интересом бродила по комнатам, которые стояли пустыми

уже много лет, любуясь старинными вещами. Даже если Абберкам туда и заглядывал, то, похоже, очень редко.

Наверху Йосс обнаружила террасу с застекленной стеной, откуда открывался чудесный вид. Там она все же подмела и вымыла окна, тщательно протерев каждое зеленоватое стеклышко. Когда Абберкам засыпал, она уходила туда и сидела часами на вытертом мохнатом ковре, составлявшем всю обстановку. Камин не топили уже давно, и из дымохода выпало несколько кирпичей, но так как он был расположен прямо над очагом в комнате Абберкама, то какое-то тепло доходило, а осеннее солнце сквозь толстые стекла нагревало террасу, как оранжерею. В этой комнате, в ее особой атмосфере, в странном зеленоватом освещении, было что-то умиротворяющее. Покои покоя. Здесь Йосс могла наконец расслабиться и посидеть, ни о чем не думая, чего ей никогда не удавалось у себя дома.

Силы к Вождю возвращались очень медленно. Чаще всего он бывал не в духе, казался мрачным, издерганным и диковатым, каким и должен быть человек, который (как Йосс раньше считала) измучен угрызениями совести. Но случались дни, когда он охотно вступал в разговор, много говорил сам и даже иногда слушал свою сиделку.

— Я тут как-то прочла книгу о мирах Экумены, — сказала Йосс, глядя на сковороду, где подрумянивались гренки. В последние дни она обедала вместе с Абберкамом, потом мыла посуду и, лишь когда начинало темнеть, уходила домой. — Очень интересно. Так вот, там совершенно неопровержимо доказывается, что мы произошли от народов Хайна. И мы, и, между прочим, чужаки с Экумены и Уэрела. Даже у наших животных там имеются родственники.

— Это они так говорят, — проворчал Вождь.

— Неважно, кто говорит, но у нас общая генная основа — это факт. И останется таковым, даже если вам это не по нутру.

— И что же это за «факт», которому миллион лет? Что он может сделать с вами, со мной, с нами всеми? Это наш мир. Мы есть мы. И нам с ними не по пути. И общаться с ними нам незачем.

— Но мы же все равно общаемся, — резко бросила Йосс, переворачивая гренки.

— Этого бы не случилось, если бы мне не помешали!

— А вы никак сердитесь? — рассмеялась она.

— Нет, — буркнул Абберкам.

Он обедал, все еще полулежа в постели, с подноса, Йосс сидела на лавке у очага и ела из миски, поставленной на колени. После еды она продолжила разговор, испытывая одновременно страстное желание и щемящий страх раздразнить этого быка; несмотря на то что он был еще болен и слаб, от его массивного тела веяло угрозой и опасностью.

— Значит, Всемирная партия боролась только за то, чтобы очистить планету для нас, а чужакам дать под зад коленом?

— Да, — глухо пророкотал Абберкам.

— Но почему? Ведь у народов Экумены так много общего с нами. Они же помогали ломать ярмо корпораций, душившее нас. Они же стояли на нашей стороне.

— Нас привезли в этот мир как рабов. Но он наш, и только наш, и нам самим решать, как жить. И с нами пришел Камье, Пастух, Невольник, Камье-Воин. Это наш мир. Наша планета. И никто не подарил нам ее. Но нам не нужно знаний чужаков и их богов. Здесь мы живем, на этой земле. И здесь умрем, чтобы присоединиться к воинству Камье всемогущего.

Йосс ответила не сразу.

— У меня были дочь, внук и внучка, — наконец заговорила она с грустью. — Они оставили этот мир четыре года назад. Улетели на Хайн на одном из тех кораблей. Все годы, что мне осталось прожить, пролетят для них как пара минут. Они прибудут туда через восемьдесят... нет, теперь уже через семьдесят шесть лет. Они станут жить и умрут на другой земле, на другой планете. Не здесь.

— Как же вы позволили им улететь?

— Выбор зависел от них.

— А не от вас?

— Я не могла решать за них: им жить.

— Но вам больно.

Оба замолчали, и наступила гнетущая тишина.

— Все не так! — вдруг взорвался он. — У нас была своя судьба, собственная! Свой путь к Владыке! А они отняли его у нас, и теперь мы снова рабы! Эти умники чужаки со всеми их мудреными знаниями и открытиями, наши бывшие владельцы. Они говорили: «Сделай так!» — и мы делали. Теперь они говорят: «Делай эдак!» — и мы опять послушно выполняем приказ. «Садись вместе с семьей на

наш чудесный корабль и лети к новым прекрасным мирам!» И дети улетели и уже не вернутся домой. И никогда не узнают, какой он, их дом, и кто они сами. Как не узнают и то, кто распорядился их судьбой.

Это была одна из тех речей, которые, как знала Йосс, Абберкам сотни раз произносил на митингах. В глазах его стояли слезы. Йосс почувствовала, что и сама вот-вот расплачется. Стоп! Она не должна позволять ему оттачивать на себе свое ораторское мастерство, играть ею, как он играл толпами.

— Даже если я с вами согласна, все же... Все же, — отважилась она, — почему тогда вы мошенничали, Абберкам? Вы же лгали своему собственному народу! Вы воровали у него!

— Никогда, — отрезал он. — Все, что я делал, — каждый мой вздох — было отдано во благо Всемирной партии. Да, я тратил деньги не считая, все, какие только мог достать, — но только на дело. Да, я угрожал эмиссару чужаков, поскольку хотел, чтобы все они убрались отсюда, да поскорее. Да, я лгал напропалую, потому что они хотели сохранить над нами контроль, а потом постепенно снова прибрать нас к рукам. Да, я на все был готов, только бы спасти мой народ от рабства! На все! — Он заколотил огромными кулаками по коленям и, задыхаясь, выкрикнул: — Но я так ничего и не добился, о Камье! — и закрыл лицо ладонями.

Йосс молчала, чувствуя, как внезапно заныло сердце.

Вождь плакал, как маленький ребенок, тихонько всхлипывая. Она ему не мешала. Наконец, успокоившись, он откинул спутанные пряди назад и вытер глаза и нос. Потом взял со стола поднос, поставил его на колени, наколол на вилку гренок, откусил кусочек, прожевал, проглотил. «Ну, если он может, то могу и я», — подумала Йосс и тоже стала есть. Когда с едой было покончено, она подошла к нему, чтобы забрать поднос, и тихо сказала:

— Простите меня.

— Все кончилось уже тогда, — очень спокойно и серьезно произнес он, глядя ей прямо в глаза. Он редко смотрел на нее. И еще реже видел.

Она замерла в ожидании неизвестно чего.

— Все кончилось уже тогда. Задолго до того, как началось. То, во что я верил тогда в Надами. Я верил, что стоит

только их прогнать, и мы сразу станем свободными. Но в круговороте войн мы заблудились, утратили свой путь, свое предназначение. Да, я лгал и знал, что лгу. Так какая разница, если я лгал чуть больше, чем нужно?

Из этой странной речи Йосс поняла лишь, что Абберкам полностью потерял душевное равновесие и его сумасшествие опять возвращается, и пожалела, что подзуживала его. Они оба были стариками, оба потерпели в жизни крах и оба потеряли детей. Зачем же ей было его мучить? Прежде чем забрать поднос, она на секунду накрыла ладонь Абберкама своей.

Потом ушла на кухню мыть посуду и вдруг услышала:

— Идите сюда, пожалуйста!

До сих пор Вождь никогда ее не звал, и Йосс поспешила в комнату.

— Кем вы были? — спросил он в упор. Она ошарашенно застыла в дверях, не понимая, о чем идет речь.

— Ну, прежде чем приехали сюда, — нетерпеливо произнес Абберкам.

— Я родилась на плантации. Потом училась в школе, жила в городе. Преподавала физику. Затем воспитывала дочь.

— И как вас зовут?

— Йосс. Я из племени седеви из Банни.

Абберкам кивнул. Йосс подождала еще немного и вернулась домывать посуду. «Он даже не знал, как меня зовут», — подумала она.

Теперь, когда он уже мог вставать, Йосс заставляла его ежедневно хоть немного гулять и сидеть в кресле; он повиновался, но быстро уставал. На следующий день она отважилась устроить ему более длительную прогулку, и Вождь так выбился из сил, что, едва оказавшись в постели, тут же заснул. Йосс на цыпочках поднялась по скрипучим ступенькам на свою любимую веранду и просидела там несколько часов, наслаждаясь тишиной и покоем.

Вечером Абберкам почувствовал себя лучше и сам захотел посидеть в кресле у очага, пока Йосс готовила обед. Она попыталась с ним заговорить, но вид у Вождя был угрюмый, и, хотя он ни словом не обмолвился о том, что произошло вчера, мысленно укорила себя за несдержанность. Разве они оба приехали сюда не за тем, чтобы забыть, оставить позади все свои прошлые ошибки и разочарования, как, впрочем, и победы, и ушедшую любовь. Пытаясь рассеять его мрачное настроение, Йосс стала рассказывать (нарочно углубляясь в подробности и пространные рассуждения, чтобы говорить подольше) историю Эйд и Валы — двух бедных влюбленных, которые в эту минуту снова резвились в ее кровати.

— Раньше мне некуда было уйти, чтобы их оставить наедине, разве что в деревню за покупками. А сейчас такая мерзкая погода, что носа из дома высовывать не хочется. Так что хорошо, что я могу прийти сюда. Мне нравится этот дом.

Абберкам хмыкнул, но Йосс была уверена, что он слушал достаточно внимательно и даже попытался понять, словно человек, разговаривающий с иностранцем, чьего языка он почти не знает.

— А вы не очень-то следили здесь за порядком. Вам что, все равно? — спросила она как можно дружелюбнее, разливая суп по тарелкам. — Ну что ж, по крайней мере это честно по отношению к самому себе. Вот взять меня, например: я до сих пор стараюсь притворяться святошей, которая заботится о своей душе, и пытаюсь пренебрегать тем, что действительно люблю: вещами, общением, комфортом. — Она устроилась у огня, поставив миску с супом на колени. — Наверху у вас есть чудесная комната. Та, что в углу, окнами на восход. Она хранит память о чем-то очень хорошем. Может, там был когда-то приют счастливых любовников. Даже болота из ее окон кажутся красивыми.

Когда Йосс собралась домой, Абберкам остановил ее вопросом:

— Вы думаете, они уже ушли?

— Кто? Оленята? Да, конечно. И давно. Вернулись в свои враждующие ненавистью семьи. Боюсь, что если бы они смогли зажить вместе, то вскоре тоже возненавидели бы друг друга. Они слишком невежественны. И помочь я тут уже ничем не могу. Это деревня бедняков, и соображают они довольно тяжело, с натугой. Но эти двое цепляются друг за друга, за свою любовь, словно чувствуют, словно понимают...

— Держись истины и благородства, — произнес Вождь.

Эту цитату она тоже знала.

— А хотите, я вам почитаю как-нибудь вечером? У меня есть «Аркамье», могу в следующий раз принести.

Он замотал головой, неожиданно светло улыбнувшись:

— Не трудитесь. Я знаю его наизусть.

— Весь?

Он кивнул.

— Я тоже собиралась его выучить... Ну, по крайней мере, хотя бы часть, самые любимые отрывки, когда приехала сюда, — призналась Йосс. — Но так и не собралась. Мне все казалось, что еще не время. А вы выучили его уже здесь?

— Да нет. Давным-давно. Когда сидел в тюрьме Геббы. Там было море свободного времени... Зато во время болезни я днями напролет сам себе его рассказывал. Это хоть как-то скрашивало часы вашего отсутствия.

Йосс растерялась и не нашла, что ответить.

— Мне хорошо, когда вы рядом, — добавил он.

Она поспешно закуталась в шаль и убежала, едва не забыв попрощаться.

Когда она возвращалась домой, широко шагая по мосткам, все в ней кипело от противоречивых, смешанных чувств. Ну что он за чудовище! Он заигрывает с ней — в этом нет никакого сомнения! Валяется в постели, словно матерый боров, покрытый седой щетиной. Хрипит, кашляет, как старая шарманка! Но какой звучный, красивый голос и какая улыбка!.. Да, этот лицедей хорошо знает силу своей улыбки и понимает: для того чтобы производить должное впечатление, часто пользоваться ею нельзя. Ему известно, как окрутить женщину, он окручивал их сотнями (если верить историям, которые о нем рассказывали), знает, как завоевать ее доверие, как потом войти в нее, а затем выйти — вот, мол, тебе мое семя, дар Вождя, и будь счастлива, детка, прощай. О Камье!

И как ей только в голову взбрело рассказывать ему, что вытворяют в ее постели Эйд с Вадой! Идиотка! А ледяной ветер бьет в лицо. Старая идиотка! Старая дура!

Губу снова вышел встречать хозяйку и стал тереться о ее ноги, игриво хватая ее мягкими лапками и победно махая обрубком хвоста. Уходя, она обычно не закрывала дверь на щеколду, чтобы кот мог войти в дом, когда вздумается. Дверь была приоткрыта. Комнату усеивали птичий пух и

перья, там и сям краснели капли крови, а на коврике у очага валялась недоеденная тушка.

— Чудовище! Пошел вон, убийца! — устало сказала Йосс.

Губу станцевал боевой танец и издал воинственный клич: «Ауау! Ауау!»

Всю ночь он проспал рядом с Йосс, согревая ей спину и безропотно отодвигаясь, когда она меняла позу.

А ей не спалось. Она ворочалась с боку на бок, представляя себе в полусне жар огромного, грузного мужского тела, тяжесть сильных рук на своих грудях, а на сосках нежные, властные поцелуи губ, пьющих из нее жизнь.

Йосс решила поменьше ходить к Абберкаму. Он уже вставал и мог сам себя обслуживать и даже готовить завтрак; ей же оставалось следить, чтобы ящик для торфа у очага всегда был полон, а в буфете не убавлялось припасов. Обед она ему принесла, но есть с ним не стала. Абберкам снова пребывал в мрачном расположении духа, да и Йосс не очень хотелось разговаривать. Оба были напряжены как струны. Что ж, она лишилась удовольствия проводить время на верхней террасе, но ведь это был лишь еще один мираж, сон, самообольщение, мечта о покое.

Однажды днем к Йосс зашла Эйд.

— Боюсь, я не смогу больше сюда приходить, — угрюмо сказала она, пряча глаза.

— Что-то случилось?

Девушка неопределенно пожала плечами.

— За тобой следят?

— Нет. Не знаю. Я подумала, может, вы знаете. Я, похоже, залетела.

Это старое словечко, означавшее беременность, осталось из лексикона рабов.

— А ты пользовалась контрацептивами? — Йосс закупала их специально для парочки в Вео и постоянно пополняла запас.

Эйд судорожно кивнула и, сжав губы, чтобы не расплакаться, прошептала:

— Не надо было этого делать.

— Чего? Заниматься любовью или предохраняться?

— Не надо было этого делать! — почти выкрикнула девушка, и глаза ее злобно сверкнули.

— Ладно, — только и оставалось сказать Йосс. Эйд повернулась и, даже не попрощавшись, почти бегом направилась к тропинке.

— До свидания, Эйд! — крикнула ей в спину Йосс и с горечью повторила про себя: «Держись истины и благородства».

Она побрела к могиле Тикули, но не смогла пробыть там и нескольких минут: холодный зимний ветер пробирал до костей. Она вернулась в дом и заперла двери. Ее жилище вдруг показалось ей таким маленьким, таким темным и неуютным. Горящий в очаге торф давал мало огня, зато нещадно дымил. Пахло гарью, как на пепелище. Стояла полная тишина: ветер внезапно улегся, и даже тростник не шелестел.

«Я хочу настоящих поленьев, о Владыка, как я хочу настоящего, жаркого, яркого огня, что с треском лижет сухой хворост, танцует на поленьях, рассказывает дивные истории. Огня, возле которого я так любила сидеть в бабушкином доме у нас на плантации».

На следующий день она сходила в полуразвалившийся пустой дом, стоявший на расстоянии примерно мили от ее хижины, и отодрала там несколько досок от крыльца. В тот вечер у нее снова был настоящий огонь в очаге. Она стала наведываться в тот дом почти ежедневно, и вскоре рядом с очагом выросла небольшая поленница. К Абберкаму она больше не ходила: старик полностью оправился, и, чтобы пойти туда снова, ей пришлось бы придумывать предлог. Ни топора, ни пилы у нее не было, и потому крупные куски досок она просто совала одним концом в огонь, постепенно, по мере сгорания, пропихивая их глубже, к тому же при таком способе одной доски хватало на целый вечер. Теперь Йосс большую часть времени проводила в кресле у яркого огня, пытаясь заставить себя выучить первую главу из «Аркамье». Рядом на коврике укладывался Губу, который то дремал, то, щурясь на огонь, выводил свое тихое «мур-мур-мур». Он совершенно перестал выходить из дому, считая, что делать в обледеневших тростниках совершенно нечего. Йосс пришлось даже поставить для него в уголке ящик с песком. Он это оценил и при надобности делал все свои дела только туда.

Морозы все не кончались. Еще ни разу, с тех пор как Йосс поселилась на болотах, не было такой холодной зимы. Оказалось, что в дощатых стенах лачуги полным-полно щелей, и Йосс замучилась, забивая их чем попало, но так и не добилась почти никакого эффекта — по дому все равно разгуливали сквознячки, и от стен тянуло холодом. Если очаг хоть на час потухал, в доме становилось не теплее, чем на улице, — даже вода в чашке подергивалась ледком. По ночам Йосс оставляла тлеть в очаге торф, но днем обязательно подкидывала хоть одно поленце, чтобы както осветить свою безрадостную жизнь. Она любила огонь, как доброго друга: когда в очаге плясало пламя, она чувствовала себя не так одиноко.

Продукты кончались, и пора было идти в деревню, однако Йосс день за днем оттягивала поход, надеясь, что морозы прекратятся, но становилось все холоднее. Торф промерз настолько, что теперь не столько горел, сколько чадил, и в очаг приходилось все время подкладывать поленья, чтобы в доме сохранилось хоть какое-то тепло. Но однажды, поняв, что откладывать больше нельзя, Йосс напялила на себя все теплые вещи, которые имела, закуталась двумя шалями и взяла продуктовую сумку. Губу сонно посмотрел на нее.

— Лентяй, деревенщина, — сказала Йосс, — мудрое животное.

Мороз был жутким. Она с ужасом представила себе, как, поскользнувшись, падает, ломает ногу и лежит беспомощная на обледеневших мостках. И замерзает, потому что никто из деревни не придет ее спасать. Стоит всего пару часов полежать так, и все будет кончено. «Ну и пусть — я в руках Камье великодушного, и смерть все равно уже близко. Так не все ли равно, сейчас или через пару лет! Только позволь мне, милостивый Владыка, добраться до деревни и хоть чуть-чуть согреться».

И она добралась и долго с наслаждением отсиживалась в кондитерской лавке, жадно слушая местные сплетни, а потом прочитала старую газету — всю, до последнего словечка. В передовице говорилось о новом восстании, вспыхнувшем в одной из провинций на востоке. Опять война! Тетки Эйд и родители Вады расспрашивали Йосс о самочувствии Вождя. И все по очереди говорили, что ей нужно зайти к хозяину ее домика Кеби, потому как он кое-что

припас для своей постоялицы. Оказалось, пачку дешевого скверного чая. Йосс все же поблагодарила Кеби, чтобы тот почувствовал себя благодетелем и душа его стала богаче. Он тоже забросал ее вопросами об Абберкаме: «Вождь серьезно болел? А сейчас ему лучше?» — «Как они мне все надоели, — думала Йосс, скупо и без всякой охоты удовлетворяя его любопытство. — Век бы не слышала их противных голосов. Одной жить лучше».

Она и продолжала-то беседовать с хозяином лишь потому, что очень не хотела выходить из жарко натопленной комнаты на трескучий мороз. Но отправляться лучше было сейчас, пока светло. Сумка оказалась тяжелее, чем обычно (Йосс отоварилась с запасом), и приходилось очень осторожно выбирать дорогу на покрытой замерзшими лужицами тропке к мосткам. И все же она припозднилась, заболтавшись, и не заметила, как прошло время.

Солнце опустилось почти к самому горизонту и спряталось за одну-единственную тучку на тусклом пустынном небе, словно не желало отдавать даже те крохи дневного тепла и света, на которые было так скупо нынешней зимой. Чтобы поскорее добраться до дому и сесть у очага, Йосс решила сократить путь и зашагала напрямую по промерзшей трясине. Она глядела прямо под ноги, чтобы не поскользнуться, и поэтому сначала услышала крик Абберкама и только потом увидела его самого, бегущего прямо на нее с выпученными глазами. Ну, точно, снова с ума сошел!

— Йосс! Йосс! Все в порядке!

Вождь подбежал уже так близко, что Йосс разглядела в его волосах клочья сажи и льдинки, да и сам он был покрыт копотью и грязью с головы до ног. Огромный свихнувшийся дикарь!

— Идите домой! Не подходите ко мне! Назад! Домой! — закричала она.

— Все в порядке, — задыхаясь от бега, повторил он. — Все в порядке. Вот только дом...

— Какой дом?

— Ваш дом. Он сгорел. Я пошел в деревню и увидел дым...

Он что-то еще говорил, но Йосс уже не слушала, застыв, словно в столбняке. Сегодня она заперла дверь. Машинально опустила щеколду. Раньше она никогда так не

делала, а вот сегодня заперла дверь на щеколду! Губу остался в доме и не мог выбраться. Он был заперт, метался с ошалевшими глазами, истошно вопя...

Она бросилась к дому, но Абберкам встал на пути.

— Пустите меня! — закричала она. — Мне нужно туда!

Бросив сумку, она обогнула гиганта и побежала, не глядя под ноги.

Но Абберкам схватил ее за руку и дернул с такой силой, что ее крутануло, словно в водовороте. Его огромное тело было сейчас совсем-совсем близко, а звучный голос над самым ухом сказал:

— Я же сказал: все в порядке. Ваш любимец жив. И сейчас у меня дома. Да выслушайте же меня, Йосс. Ваш дом сгорел. Но зверек не пострадал.

— Что? Что случилось? — яростно забилась она, пытаясь вырваться. — Пустите меня! Я ничего не понимаю! Что случилось?

— Сначала успокойтесь, — сказал он, отпуская ее руку. — Мы пойдем туда вместе. Вы сами все увидите. Хотя теперь там почти не на что смотреть.

Трясясь в ознобе, Йосс покорно двинулась за ним. Вождь стал рассказывать все по порядку, но смысл слов еще не доходил до нее.

— Но как это могло случиться? — вдруг спросила она. — Как же так?

— Думаю, случайная искра. Вы ведь не погасили очаг перед уходом? Ну да, конечно, ведь стоят такие морозы. А когда горит дерево, то всегда летят искры, и одна могла попасть на половицу или в тростник на крыше. А в такую сушь, как сейчас, все загорается, как порох. О Владыка милостивый! Я же думал, что вы там, внутри! Я шел в деревню и вдруг почувствовал запах дыма, оглянулся — огонь, и сразу оказался у ваших дверей, не знаю уж как — летать я не умею. Короче, я вмиг очутился там; толкнул дверь, а она на щеколде, тогда я толкнул сильнее, и она распахнулась, а внутри уже все пылает — пол, потолок — все. И повсюду дым, так что я не видел, там вы или нет. Тогда я вошел и в углу, куда огонь еще не добрался, обнаружил перепуганного кота. Я вспомнил, как вы страдали, когда умерла ваша собака, и попытался его поймать, но он пулей выскочил за дверь, а я глянул, нет ли в доме еще кого, и поспешил следом. И тут рухнула крыша. — Абберкам гордо расхохотался. — Свалилась прямо мне на голо-

ву! Вот, смотрите! — Он остановился, но Йосс была слишком мала ростом и не увидела, что у него там, на макушке. — Я вылил пару ведер воды из вашей бочки на наружную стену, чтобы хоть что-то спасти, но понял, что это глупо: весь дом пылал, как коробка спичек. Тогда я пошел искать вас и встретил у мостков вашего любимца: его так и трясло. Он сразу дался мне в руки, и я бегом отнес его к себе, оставил у очага, а дверь запер. Так что сейчас с ним все в порядке. А потом пошел искать вас в деревню, потому что где же вам еще быть?

Они подошли к развилке, и Йосс нерешительно ступила на свою дорожку. Над грудой обгоревших бревен вились серые клочья дыма. Черные доски. Лед. Ноги у нее подкосились, и она, сглатывая холодную слюну, опустилась прямо на обледеневшую землю. Небо и тростник поплыли перед глазами в плавном хороводе и, как Йосс ни просила их остановиться, вертелись все быстрее и быстрее.

— Ну хватит, пойдемте, все нормально. Пойдемте со мной.

Этот уверенный голос, эти сильные руки, помогающие подняться на ноги, и тепло этого огромного тела вернули Йосс к жизни. Она позволила вести себя, зажмурившись из страха перед головокружением. Но, постепенно приходя в себя, она решилась открыть глаза и посмотреть под ноги.

— Ой, моя сумка... Я ее бросила где-то... А в ней теперь все, что у меня осталось. — У нее вырвался нервный истерический смешок. Она попыталась повернуться, чтобы пойти и взять сумку, но голова снова закружилась, и Йосс еле устояла на ногах.

— Да я несу ее. Пойдемте, нам уже близко.

Да, все это время сумка висела у Абберкама на локте. И как она не заметила! А вторая рука, оказывается, бережно поддерживала Йосс за талию. Они шли к мрачному полуразвалившемуся дому Вождя, за которым полыхал оранжево-желтый закат с тонкими розовыми прожилками облачков. «Когда-то мы называли эти перистые облачка волосами солнца. Это было давно, в детстве». Но они не остановились, чтобы полюбоваться на заходящее солнце, а вошли в темноту прихожей.

— Губу! — позвала Йосс.

Тот не отозвался, и пришлось его искать. Наконец Йосс

обнаружила кота под кроватью и попыталась вытащить его оттуда, но животное упиралось всеми четырьмя лапами и злобно шипело. Тогда Йосс погладила его, и Губу неожиданно вылез сам. Она взяла его на руки — жалкий, перемазанный сажей, кот трясся всем телом. Йосс уселась на пол и принялась гладить пятнистую спинку, бока, грязно-белое брюшко; она ласкала его, чесала за ушами, но кот не переставал дрожать и, едва хозяйка сменила позу, вырвался и вновь сбежал под кровать.

— Прости меня, прости меня, прости меня, Губу, — как заклинание, произнесла Йосс.

Услышав ее голос, Вождь, чем-то занимавшийся на кухне, вошел в комнату, держа на весу мокрые руки.

— Как он? В порядке? — спросил Абберкам.

— Ему надо прийти в себя. Пожар. Теперь вот незнакомый дом. Кошки... они собственники. Им хорошо только на своей территории. Не любят чужих домов.

Йосс все еще не оправилась от потрясения, и слова, чтобы составить фразу, приходилось подбирать по одному.

— Так, значит, это кот?

— Да, пятнистый кот.

— Раньше такие домашние любимцы были только у боссов. Мы их никогда не держали и даже не знали, как они выглядят, — тихо сказал Абберкам, но для Йосс эти слова прозвучали почти как обвинение.

— Да, боссы привезли их сюда с Уэрела. Как и нас. — Только сейчас до нее дошло, что Вождь, может, вовсе не собирался ни в чем ее обвинять, а наоборот — пытался объяснить свое невежество.

Он стоял в дверях, по-прежнему держа руки на весу.

— Извините, но, похоже, мне нужно наложить повязку.

Йосс наконец пригляделась к его рукам.

— Да они же у вас обгорели!

— Да, чуть-чуть. Сам не знаю, как это случилось.

— Давайте посмотрю. — Йосс поднялась, подошла к Абберкаму и развернула огромные лапищи Вождя ладонями кверху. На одной руке между пальцами блестел лопнувший глянцевито-алый волдырь, а на второй, у основания большого пальца, красовалась довольно глубокая кровоточащая ссадина.

— Я не заметил их, пока не начал мыть руки. Мне совсем не больно.

— А теперь покажите голову! — приказала Йосс, вспомнив рассказ Вождя. Тот опустился на колени, и на самой макушке она увидела ярко-красную рану в обрамлении седых, покрытых сажей волос. — О мой Господин!

Внезапно огромное лицо со спутанной челкой оказалось совсем близко.

— Так на меня же крыша упала.

На Йосс вдруг напал приступ хохота.

— А вы едва заметили, верно? — давясь от смеха, еле выговорила она. — Нужно что-то посерьезнее, чтобы вы хоть внимание обратили! У вас есть... какие-нибудь чистые тряпки? Ах да, я же сама... оставляла в буфете полотенца... А что-нибудь дезинфицирующее?... — Справившись наконец со смехом, Йосс принялась обрабатывать раны. — Я в ожогах не разбираюсь, знаю лишь, что надо промыть их и оставить подсыхать. Придется снова звать врача из Вео. Завтра я могу сходить в деревню.

— А я думал, что вы раньше были врачом или медсестрой.

— Я была обычным школьным администратором. Сидела в управе.

— Но вы помогли мне встать на ноги.

— Просто мне хорошо знакома эта болезнь, и я знаю, как ее лечат. А вот об ожогах мне ничего не известно. Так что придется идти в деревню. Но только не сегодня.

— Да, сегодня не надо, — поспешно согласился Абберкам и, пошевелив пальцами, поморщился. — Ну вот, а я собирался приготовить поесть. Понятия не имел, что поранился. Сам не знаю, когда это случилось.

— Когда вы спасали Губу, — слабо улыбнулась дрожащими губами Йосс и заплакала. — Покажите, что у вас есть из продуктов, я сама займусь обедом.

А слезы все текли.

— Жалко, что вещи сгорели, — сказал Вождь.

— А, там почти ничего и не было моего: вся одежда на мне, — всхлипнула она. — Да, ничего там не было. Даже еды. Только «Аркамье». И еще книга о других мирах. — Перед глазами встали корчащиеся в пламени, рассыпающиеся черным пеплом страницы. — Мне ее прислала подруга из города, которая никогда не одобряла моего отшельничества и считала все это молчание и питье одной воды сплошным ханжеством. Как же она была права! Мне

нужно вернуться. Мне вообще не стоило приезжать сюда! Какой я была лгуньей и дурой! Я воровала доски! Воровала, чтобы любоваться настоящим, красивым пламенем! Чтобы согреться и хоть чуть-чуть разогнать уныние! И вот получила — дом сгорел, и не мой дом, а Кеби... и бедный мой котик, и бедные ваши руки! Я одна во всем виновата! Я забыла, что от поленьев могут полететь искры. Я забыла. Я про все на свете забыла, моя память предала меня, она лгала мне, потому что я сама давно изолгалась вконец. Я врала даже Владыке, притворяясь, что обратилась к нему, а сама не могу, не могу, не могу уйти от мира, отринуть его. Вот я и сожгла все! Меч изранил ваши руки. — Она взяла Абберкама за руки и спрятала лицо в его ладонях. — Слезы тоже дезинфицируют, — пролепетала она. — О, простите, простите меня!

Но Вождь не убрал рук. Своих больших, обгорелых ладоней. А наклонился и, поцеловав Йосс в голову, прижался щекой к ее волосам.

— Теперь я буду вам рассказывать «Аркамье». Ну, успокойтесь же. Вам надо чего-нибудь съесть. И согреться — вы вся дрожите. У вас просто шок, но это пройдет. Сядьте, посидите. Уж поставить на огонь котелок я смогу.

Йосс послушно села в кресло. Да, он прав, нужно согреться. Она придвинулась к огню и тихонько позвала:

— Губу! Все хорошо, малыш. Ну иди сюда, ко мне. Иди, не бойся.

Но под кроватью было по-прежнему тихо. Абберкам протянул ей стакан с красным вином.

— Откуда у вас вино? — ошарашенно спросила Йосс.

— Чаще всего я пью воду и молчу, — ответил Вождь. — Но иногда пью вино и тогда говорю без удержу. Выпейте.

— Да все в порядке. Я уже пришла в себя, — слабо попыталась возразить Йосс, но стакан взяла.

— Ну да, конечно, разве городскую женщину может что-нибудь напугать! — криво усмехнулся он. — А теперь помогите мне открыть банку.

— А как же вы открыли вино? — поинтересовалась Йосс, вскрывая банку с рыбным филе.

— Оно уже было открыто, — невозмутимо ответил Абберкам.

Они рядышком уселись у огня и налили каждый себе из котелка. Несколько ломтиков рыбы Йосс положила рядом

с кроватью на пол и снова позвала Губу, но тот так и не вышел.

— Ну, проголодаешься, выйдешь, — успокоила сама себя Йосс. Она уже устала от собственного нытья, от дрожи в голосе, от комка в горле. От чувства стыда. — Спасибо за обед. Теперь мне действительно лучше.

Йосс встала и пошла мыть посуду, настрого приказав Абберкаму не мочить рук. Да тот и не предлагал помощи, а молча сидел у огня, застыв, словно огромный каменный идол.

— Я пойду спать наверх, — сказала она, когда все закончила. — Если мне удастся выманить Губу, я возьму его с собой. Только дайте мне пару одеял.

— Все уже там, — кивнул Вождь, — и огонь я разжег.

Йосс не очень-то поняла, что он имеет в виду, но спрашивать не стала. Нужно было лезть за котом, и она заранее представляла себе это потешное зрелище: старуха стоит на четвереньках, выставив из-под кровати тощий зад, и шепчет: «Губу! Губу!» Но под кровать ползти не пришлось — кот сразу откликнулся и пошел к хозяйке. Йосс взяла его на руки, и он уткнулся сухим носом ей в ухо. Она села на пол и, сияя, промурлыкала:

— Вот он, мой хороший.

Йосс кряхтя поднялась на ноги и, пожелав Абберкаму доброй ночи, вышла из комнаты.

Держа кота обеими руками, она на ощупь поднялась по скрипучей лестнице, толкнула дверь да так и застыла с открытым ртом. Абберкам починил камин и сегодня весь день топил его. По террасе плясали теплые золотистые блики, а за окнами стояла черная ночь, и Йосс почувствовала себя здесь необычайно уютно. Вождь перенес сюда и одну из кроватей, стоящих в заброшенных комнатах, и почистил ее как смог. На ней лежали матрас, одеяло и чистое белое шерстяное покрывало. На полке стояли чашка и кувшин с водой. А старый драный ковер, на котором Йосс сидела раньше, переместился к камину, был выбит, вычищен и тщательно заштопан.

Губу стал вырываться. Йосс спустила кота на пол, и он тут же спрятался под кровать. Здесь ему будет хорошо. Йосс плеснула в чашку воды и поставила ее на пол на тот случай, если Губу захочется пить. А на другой случай имеется ящик с пеплом. «Ну вот, у нас есть все, что нужно», —

подумала она, глядя на отблески пламени, пляшущие на стенах и окнах. И вдруг почему-то ощутила легкую грусть.

Она вышла, плотно прикрыла за собой дверь и спустилась вниз. Абберкам по-прежнему сидел у огня. Когда Йосс вошла, он обернулся, и глаза его сверкнули. Она молча стояла в дверях, сама не зная, зачем пришла.

— Вам понравилась комната, — полуутвердительно-полувопросительно произнес он. Йосс кивнула.

— Вы как-то сказали, что, возможно, когда-то она была приютом счастливых любовников. Я подумал, а почему бы ей не стать таковым снова.

Йосс проглотила комок, застрявший в горле, и прошептала:

— Почему бы и нет?

— Но не сегодня, — проговорил Вождь с каким-то странным сухим смешком. Ну вот, его улыбку она уже видела, теперь слышит его смех.

— Нет, не сегодня, — тупо повторила она.

— Мне нужны здоровые руки. Я должен быть совсем здоров для этого. Для тебя.

Она молча смотрела на него.

— Йосс, присядь, пожалуйста.

Она послушно присела напротив.

— Во время болезни я думал вот о чем, — заговорил Абберкам, и в его голосе вновь стали проскальзывать ораторские нотки. — Я предал свое дело, я лгал и воровал во имя его, но только потому, что не смел себе признаться, что утратил в него веру. Я боялся чужаков, потому что страшился их богов. Слишком много у них богов! Я боялся, что они умалят, принизят моего Владыку! Как это допустить? — Он замолчал, опустив голову и взволнованно дыша, и Йосс услышала, как в легких у него все еще клокочет. — Я предавал мать моего сына несчетное количество раз. Я изменял ей, другим женщинам, самому себе. Я не держался ни истины, ни благородства. — Он развернул руки ладонями вверх и посмотрел на ожоги. — А ты, кажется, сумела удержаться.

Йосс помолчала, глядя в огонь, и, собравшись с духом, ответила:

— С отцом Сафнан я прожила лишь пару лет. Потом у меня были другие мужчины. И что, теперь это хоть сколько-нибудь важно?

— О, это-то не важно, я вообще не об этом. Я хотел сказать, что в главном ты не изменяла ни своим мужчинам, ни ребенку, ни самой себе. Да ну его, прошлое. Ты спрашиваешь, важно ли это — да ничуть! Но можешь ли ты дать мне один-единственный шанс, прекрасный, дивный шанс, удержаться за тебя. Я буду держать тебя крепко-крепко.

Йосс не ответила.

— Я пришел сюда покрытый позором, а ты протянула мне руку помощи, как равному.

— А почему нет? Кто я такая, чтобы осуждать тебя?

— «Брат, я — это ты».

Она бросила на Абберкама короткий испуганный взгляд и снова уставилась в огонь. Торф горел ровно и жарко, испуская легкий дымок, а не чад. Йосс вдруг подумала о жаре, таящемся в огромном черном теле Вождя.

— А мы сумеем жить в мире? — спросила она наконец.

— Тебе нужен мир?

Она слабо улыбнулась.

— Да я из кожи вылезу, — пообещал Абберкам. — Поживи здесь хоть немного и увидишь.

Она кивнула.

День Прощения

Солли была космическим ребенком — дочерью посланников-мобилей, которые жили то на одном, то на другом корабле, мотаясь по разным мирам и планетам. К десяти годам она налетала пятьсот световых лет, а к двадцати пяти прошла через альтерранскую революцию, научилась айджи на Терре и прозорливому мышлению у старого хилфера на Роканане, закончила университет Хайна, получила ранг наблюдателя и уцелела в командировке на смертоносной умирающей Кеаке, проскочив при этом на предельной скорости еще полтысячи световых. Несмотря на молодость, она повидала многое.

Конечно, Солли скучала в посольстве на Вое Део, где весь персонал, словно сговорившись, учил ее помнить и не забывать, остерегаться одного и стремиться к другому. Но, будучи посланницей-мобилем, она уже привыкла к подобному отношению. Уэрел действительно имел свои причуды. Хотя у какого мира их нет? Она прилежно зубрила свои уроки и теперь знала, когда надо делать реверансы и не рыгать за столом, а когда поступать наоборот или как захочется. Вот почему она так обрадовалась, получив наконец назначение в этот маленький причудливый город на небольшом и причудливом континенте. Солли стала первой и единственной посланницей Экумены в великом и божественном королевстве Гатаи.

Проведя несколько дней под крохотным ярким солнцем, изливавшим свет на шумные городские улицы, она влюбилась в эти сказочно высокие пики гор, которые возносились над крышами домов, в бирюзовое небо, где большие и близкие звезды сияли весь день, а по ночам ослепительно сверкали вместе с шестью лениво плывущими кусками луны. Она полюбила этих чернокожих и черноглазых людей, красивых и стройных, с узкими головами, тонкими руками и ногами — людей, которые стали ее народом! Она

любила их даже тогда, когда встречалась с ними слишком часто.

В последний раз Солли оставалась наедине с собой лишь в кабине аэроскиммера, который перевозил ее через океан, отделявший Гатаи от Вое Део. У посадочной полосы посланницу встречала делегация придворных, жрецов и советников короля. Величавые государственные мужи в коричневых, алых и голубых одеждах проводили ее во дворец, где было много реверансов и никаких отрыжек, утомительные знакомства, представление его маленькому сморщенному и старому величеству, занудливые речи и банкет — все по этикету, никаких проблем и даже без гигантского жареного цветка на ее тарелке во время торжественного обеда. Однако с самых первых шагов на посадочной полосе и каждую секунду после этого за спиной Солли, или рядом, или очень-очень близко находилось двое мужчин: ее гид и телохранитель.

Гида, которого звали Сан Убаттат, приставили к ней сами гатайцы. Он, конечно же, обо всем докладывал правительству, но был таким услужливым и милым шпионом, таким прекрасным лингвистом и приятным в общении советчиком, всегда готовым дать бесценный намек на ожидаемые действия или возможную ошибку, что Солли относилась к его опеке довольно спокойно. А вот с охранником все было иначе.

Он принадлежал к военной касте Вое Део, чей народ, будучи преобладающей силой на Уэреле, являлся в этом мире основным союзником Экумены. Узнав о его назначении, Солли подняла в посольстве настоящий скандал. Она кричала, что ей не нужен телохранитель: у нее не было в Гатаи врагов, а даже если таковые и имелись, она сама могла бы позаботиться о своей безопасности. Однако в посольстве только разводили руками. Извини, говорили они. Тебе придется смириться. Несмотря на экономическую независимость, гатайцы используют для охраны своего государства вооруженные силы Вое Део. Выполняя заказ такого выгодного клиента, Вое Део заинтересовано в защите законного правительства Гатаи от многочисленных террористических группировок. Твоя охрана входит в перечень услуг их договора, и мы не можем оспаривать этот вопрос.

Солли знала, что возражать начальству бесполезно, но она не желала подчиняться какому-то майору. Его воинское звание, «рега», она заменила архаическим словом «майор», которое запомнилось ей по смешной пародии, виденной когда-то на Терре. В этом фильме майор изображался напыщенным кителем, увешанным медалями и орденами. Он надувал щеки, передвигался с важным видом и отдавал приказы, время от времени извергаясь кусками своей начинки. Ах, если бы ее «майор» делал то же самое. Но он не только ходил с умным видом и командовал. Ко всему прочему, он был леденяще-вежливым, как улыбка каменной статуи, молчаливым, как дуб, и равнодушно-жестким, как трупное окоченение.

Солли довольно быстро отказалась от попыток разговорить его. Что бы она ни сказала, он отвечал «да» или «нет, мэм» с той ужасной демонстративной тупостью человека, который не желает вас слушать. Этот офицер, по должности не способный к человеческим чувствам, был с ней на всех встречах и мероприятиях, при разговорах с бизнесменами, придворными и государственными чиновниками, на улицах и в магазинах, в городе и во дворце, при осмотре достопримечательностей и в воздушном шаре, который поднимал их над горами, — день и ночь, везде и всюду, не считая, конечно, постели.

Впрочем, пристальное наблюдение продолжалось и в постели. Гид и охранник уходили вечерами по своим домам, но в гостиной у дверей ее комнаты «спала» служанка — подарок короля и личная собственность Солли.

Она вспомнила свое недоумение, когда несколько лет назад впервые прочитала текст о узаконенном рабстве. «Члены правящей касты Уэрела являются собственниками, а люди, прислуживающие им, считаются «имуществом». На этой планете только собственников можно называть мужчинами и женщинами; «имущество» же причисляется к домашним животным».

Теперь она тоже стала собственницей. Солли не могла отказаться от подарка короля. Рабыню звали Реве, и скорее всего она шпионила за посланницей Экумены. Хотя в это верилось с трудом. Величавая и красивая женщина выглядела лишь на несколько лет старше Солли и имела почти такую же смуглую кожу, только у Солли она была немного красноватой, а у Реве — синеватой. Ее ладони восхищали нежным голубоватым цветом. Манеры казались божественно изысканными, а такт, проницательность и

безошибочное предугадывание всех желаний своей новой госпожи вызывали восторг и удивление.

Солли обращалась с ней как с равной, с самого начала заявив, что ни один человек на свете не имеет права властвовать над другими людьми. Она сказала, что не будет отдавать Реве никаких приказов, и выразила надежду на их дальнейшую дружбу. Рабыня восприняла ее слова без особого воодушевления, как очередную прихоть молодой хозяйки. Вышколенная и покладистая, она улыбнулась и сказала «да». Но страстные речи Солли о равенстве и дружбе тонули в ее бездонном всепринятии и терялись там, оставляя Реве неизменной: заботливой и услужливой рабыней, приятной в общении, но совершенно невозмутимой. Она улыбалась, говорила «да» и пребывала за пределами каких-либо чувств и эмоций.

После ажиотажа первых дней, проведенных в Гатаи, Солли вдруг поняла, насколько ей необходимы разговоры с Реве. Служанка оказалась единственной женщиной, с которой она могла поговорить. Все гатайские аристократки жили в своих безах — женских половинах Домов. Им запрещалось выходить оттуда и уж тем более принимать в гостях посторонних людей. А рабыни, которых Солли встречала на улицах, являлись чьим-нибудь «имуществом» и боялись общаться со странной чужеземкой. За исключением Реве, ее окружали только мужчины — причем многие из них оказались евнухами.

Это была еще одна особенность, в которую Солли поверила с трудом. Она не понимала, как могли такие красивые и видные мужчины добровольно отказаться от своей стати и потенции в обмен на должности и более высокое социальное положение. Тем не менее она постоянно встречала их при дворе короля Хотата. Некоторые из них, родившись «имуществом», становились отпущенниками и добивались значительных постов в структуре государственной власти. К примеру, евнух Таяндан, дворцовый мажордом, подчинялся только королю и главенствовал над Советом. Совет состоял из хозяев различных рангов и сословий, но касту жрецов в нем представляли только туалиты. Камье поклонялись теперь лишь рабы, хотя первоначально он был главой божественного пантеона Гатаи. Век назад, когда к власти пришли туалиты, религию предков предали запрету и забвению.

Если бы Солли спросили, что ей больше всего не нравится в этом мире, кроме рабства и махрового патриархата, она остановилась бы на религии. Песни о Туал Милосердной были такими же прекрасными, как ее статуи и огромные храмы в Вое Део. И «Аркамье» казалось доброй и трогательной историей, хотя и немного раздутой. Но откуда тогда брались эти самодовольные, нетерпимые и глупые жрецы? Откуда появлялись их отвратительные доктрины, которые оправдывали любую жестокость, совершенную во имя веры? Иногда она даже спрашивала себя: а что может нравиться на Уэреле свободолюбивому человеку?

И всегда отвечала: я люблю этот мир! Я люблю это странное и яркое солнце, куски распадающейся луны, огромные горы, которые сияют, как ледяные стены, и людей — людей с черными глазами без белков, похожими на глаза животных, глазами из темного стекла, из темной воды, таинственными и притягательными... Я люблю этих людей. Я хочу узнать их ближе. Я хочу дотянуться до их сердец!

Однако ей пришлось признать, что руководители посольства оказались правы в одном: жизнь женщины на Уэреле неимоверно трудна. Она нигде не чувствовала себя на своем месте. Обладая независимостью и высоким общественным положением, Солли воплощала для гатайцев возмутительное противоречие: ведь настоящие женщины сидели по домам и носа оттуда не показывали. Только рабыни ходили по улицам, встречались с посторонними людьми и трудились на общественных работах. Она вела себя как служанка и совершенно не походила на собственницу. Тем не менее к ней относились с величайшим уважением. Она была посланницей желанного союза Экумены, к которому хотела присоединиться гатайская знать. Вот почему ее боялись обидеть. Вот почему официальные лица, бизнесмены и придворные, с которыми она обсуждала дела Экумены, обходились с ней как с равной, то есть как с мужчиной. Это притворство никогда не бывало полным и часто легко нарушалось. Старик король прилежно ощупывал Солли и каждый раз оправдывался тем, что ошибочно принял ее за одну из своих постельных грелок. Однажды в небольшой полемике она возразила лорду Гатуйо, и тот с минуту смотрел на нее такими изумленными глазами, словно с ним заговорил его комнатный башмак. Конечно, в тот миг он думал о ней как о женщине. Но, в общем-то, беспо-

лые отношения приносили неплохие плоды и позволяли ей работать в этом женоненавистническом обществе.

Солли начала приспосабливаться к игре и с помощью своей служанки придумывала наряды, которые почти во всем напоминали одежду гатайских боссов. Она специально избегала женственных линий и стремилась воссоздать мужской силуэт. Реве оказалась умелой и искусной портнихой. Яркие, тяжелые и тугие брюки были не только приличными, но и практичными, а вышитые жакеты вместе с роскошным внешним видом дарили благодатное тепло. Такая одежда даже нравилась Солли. Однако в общении с мужчинами она все чаще чувствовала себя бесполым существом и огорчалась, когда люди принимали ее за некое подобие евнуха. Вот почему ей так хотелось пообщаться с гатайскими женщинами.

Она попыталась встретиться с аристократками через их мужей, но натолкнулась на стену вежливости без дверей и щелочек. Какая прекрасная идея, говорили ей. Мы обязательно устроим такой визит, когда погода станет лучше! Как я польщен подобной честью! Ах, вы хотите принять у себя леди Майойо и ее дочерей? Вот только жаль, что мои провинциальные глупышки так непростительно застенчивы. Я прошу прощения и умоляю понять меня... О да! Конечно, конечно! Прогулка по внутреннему саду! Но лучше не сейчас. Лоза еще не зацвела! Давайте подождем до весны.

Ей не с кем было поговорить до тех самых пор, пока она не встретила макила Батикама.

Гастролирующая труппа из Вое Део стала театральным событием года. Лишь немногие артисты приезжали с концертами в маленькую горную столицу Гатаи. В основном это были храмовые танцоры — исключительно мужчины — или посредственные актеры со слащавыми постановками, которые анонсировались в афишах как лучшие драмы Уэрела. Солли упорно ходила на эти сырые пьесы, надеясь уловить в них намек на «домашнюю жизнь» местных женщин. Но ей уже претили истеричные девы, падавшие в обморок от любви, пока их упрямые герои-придурки умирали в великих битвах. Они все как один походили на «майора», и Туал Милосердная спускалась к ним с небес, чтобы с улыбкой принять их смерть. Ее глаза слегка косили, и выкрашенные белки выдавались за знак божественности.

Солли заметила, что мужчины Уэрела никогда не смотрели этих драм по телесети. Теперь она знала причину подобного пренебрежения. Однако приемы во дворце и вечеринки, которые устраивали в ее честь хозяева и боссы, оказались довольно скучными развлечениями: всегда и везде одни мужчины! Очевидно, им запретили приводить рабынь для забав на те мероприятия, где присутствовала посланница. Солли не смела флиртовать со стройными красавцами, поскольку это напомнило бы им о том, что она простая женщина, которая ведет себя совершенно не так, как подобает леди. Одним словом, ее восторг первых дней уже сошел на нет, когда в Гатаи приехала труппа макилов.

Солли спросила у Сана, своего надежного и учтивого гида, не нарушит ли она каких-либо обычаев, посетив постановку макилов. Тот смущенно покашлял, немного помялся и наконец с елейной деликатностью дал понять, что все будет нормально, если она оденется как мужчина.

— Как вы знаете, наши женщины не появляются на публике. Но иногда им тоже хочется посмотреть какое-нибудь представление. К примеру, леди Аматай ходит с мужем в театр, одевшись в его военную форму. Это известно всем, однако никто ничего не говорит. А вам, такой значительной и важной персоне, тем более нечего бояться. Никто и слова не скажет. Все будет чинно и прилично. К тому же мы с регой составим вам компанию. Просто как друзья, понимаете? Три хороших приятеля забрели посмотреть представление. Ну как? Годится?

— Годится, — покорно ответила она. — Мне даже будет веселее!

Это неплохая цена, подумала Солли, за возможность увидеть макилов. Их никогда не показывали по телесети. Как резонно сообщил Сан, некоторые представления макилов имели непристойное содержание и правительство не хотело смущать юных дев, смотревших развлекательные телепрограммы. Такие выступления проводились только в театрах. Клоуны, танцоры и проститутки, актеры, музыканты и макилы образовывали особый подкласс «имущества», которое никому особо не принадлежало. Корпорация развлечений скупала у собственников талантливых мальчиков-рабов, обучала подростков и опекала их на протяжении всей жизни, получая при этом неплохую прибыль.

Солли и двое мужчин отправились в театр, который на-

ходился за шесть или семь улиц. Она забыла, что макилы были трансвеститами. Она не вспомнила об этом даже тогда, когда увидела их на сцене. Стройные юноши носились в страстном танце, кружились и взлетали вверх в мятежных прыжках, напоминая силой и грацией больших свободных птиц. Она смотрела на них, ни о чем не думая, увлеченная красотой и подлинным искусством. Но музыка вдруг изменилась, и на сцену вышли клоуны: один, черный как ночь, олицетворял собственника, а другой был одет в цветастую юбку с длинным шлейфом. Он томно сжимал фантастически большие, торчащие груди, украшенные блестками, и напевал высоким, тонким и дрожащим голосом: «Ах, не насилуйте меня, пожалуйста, добрый хозяин. О, нет-нет, прошу вас! Только не сейчас!» И тогда по ходу действия, давясь от хохота и смущенно прикрывая ладонями лицо, Солли вспомнила, что это были за мужчины. Но затем на сцене появился Батикам и начал читать удивительно прекрасный, щемящий душу монолог. К тому времени, когда он закончил свой звездный выход, Солли стала его поклонницей.

— Я хочу увидеться с ним, — сказала она Сану в антракте. — Я хочу поговорить с Батикамом.

Гид вежливо улыбнулся и лукаво закусил губу, показывая, что за небольшую сумму он может устроить такую встречу. Но «майор», как всегда, был начеку. Прямой и чопорный, словно большая дубина, он медленно развернулся на каблуках и посмотрел на Сана. Выражение лица гида тут же изменилось.

Солли почувствовала гнев. Если бы ее предложение шло вразрез с какими-то правилами, Сан намекнул бы ей об этом или ответил вежливым отказом. Напыщенный «майор», приставленный к ней соглядатаем, опять пытался надеть на нее узду, как на одну из «своих» женщин, и на этот раз его вмешательство граничило с оскорблением. Солли посмотрела ему прямо в глаза и раздраженно сказала:

— Рега Тейео, я понимаю, что вы выполняете данный вам приказ и стараетесь держать меня под каблуком. Но если вы хотите, чтобы я и Сан повиновались вашим указаниям, потрудитесь высказывать их вслух, объясняя нам суть своих претензий. Я не желаю подчиняться вашим кивкам, ухмылочкам и подмигиваниям!

Наступившая пауза принесла ей искреннее удовлетворение. Холодная усмешка «майора» не изменилась. Во всяком случае тусклый свет театра скрывал выражение его черного лица. Тем не менее ледяная неподвижность в позе охранника подсказала Солли, что она остановила этого тупого солдафона. Он прочистил горло и сказал:

— Я уполномочен защищать вас, посланница.

— А разве мне угрожают макилы? Неужели вы видите какую-то опасность в том, что посланница Экумены поблагодарит одного из величайших артистов Уэрела?

И вновь наступило долгое молчание.

— Нет, — наконец ответил он.

— Тогда я прошу вас сопровождать меня после выступления за кулисы. Я хочу увидеться с макилом Батикамом.

Один жесткий кивок. Один сердитый кивок поражения. Очередное очко в ее пользу. Сев на свое место, Солли с удовольствием следила за мастерами пантомимы, эротическими танцами и трогательной драмой, которая завершала вечернее представление. Пьеса исполнялась на почти непонятном языке архаической поэзии, но от красоты актеров и проникновенной трепетности их голосов на глаза Солли наворачивались слезы.

— Жаль, что макилы всегда используют только «Аркамье», — с ханжеским осуждением произнес Убаттат.

Он не принадлежал к гатайской знати. И фактически не располагал «имуществом». Тем не менее Сан считался собственником, и ему нравилось выдавать себя за фанатичного туалита.

— Для нашей образованной публики больше подошли бы сцены из «Инкарнации Туал».

— Я думаю, рега полностью согласен с вами, — отозвалась Солли, наслаждаясь своей иронией.

— Не со всем, — ответил страж, причем с такой невыразительной вежливостью, что Солли поначалу даже не поняла, что он сказал.

Однако позже, проталкиваясь к сцене и договариваясь о разрешении пройти за кулисы в костюмерную исполнителей, она забыла о том небольшом смущении, в которое ее вверг рега Тейео.

Узнав, какая важная особа посетила их театр, управляющий хотел вывести из комнаты других актеров и оставить ее наедине с Батикамом (и, конечно же, с гидом и охранником), но Солли сказала:

— Нет-нет, эти замечательные артисты нам не помешают. Просто позвольте мне поблагодарить Батикама за его прекрасный монолог.

Она стояла среди ошалевших костюмеров и полуголых людей, перепачканных гримом, среди смеха и всеобщего расслабления, которое наступает после выступления за любыми кулисами любого мира. Она говорила с умным впечатляющим человеком, одетым в женский наряд из далекой изысканной эры. С человеком, который понравился ей с первого взгляда.

— Не могли бы вы прийти ко мне домой? — спросила она.

— С удовольствием, — ответил Батикам, ни разу не взглянув на Сана и «майора».

Он был первым рабом, который не выпрашивал у ее гида и охранника позволения говорить или совершать какие-то действия. Солли быстро повернулась, чтобы посмотреть, насколько они шокированы. Сан смущенно хихикал, как при тайном сговоре. Взгляд «майора» застыл на точке левее ее головы.

— Мы встретимся немного позже, — сказал Батикам. — Я должен изменить свой вид.

Они обменялись улыбками, и Солли ушла. За ее спиной затихли голоса восторженных актеров. Неимоверно близкие звезды сияли в небе гроздьями, словно огненный виноград. Куски луны кувыркались по небу через заснеженные горные пики, а один из них раскачивался взад и вперед, как кривобокий фонарь, подвешенный над ажурными башнями дворца. Солли шагала по темной улице, радуясь теплу и свободе своей мужской накидки. Сан почти бежал, стараясь угнаться за ней. Длинноногий «майор» без видимых усилий шел рядом. Внезапно за ее спиной раздался высокий вибрирующий голос:

— Посланница! Подождите!

Солли с улыбкой повернулась и замерла на месте, увидев, что «майор» набросился на какого-то человека, стоявшего в тени портика. Мужчина вырвался и отпрыгнул в сторону. Охранник без слов схватил Солли за руку и, сильно дернув, заставил ее перейти на бег.

— Отпустите меня! — закричала она, отчаянно сопротивляясь.

Ей не хотелось прибегать к айджи, а слова убеждений

до «майора» просто не доходили. Рега рывком увлек ее за собой на темную аллею, и, чтобы не упасть, она побежала рядом с ним, позволив ему держать себя за руку. Неожиданно они оказались на знакомой улице перед воротами дома посланницы. Открыв дверь кодовым словом, «майор» втолкнул Солли в прихожую и быстро вставил в паз широкий металлический засов.

— Что все это значит? — строго спросила она, растирая запястье, где жесткие пальцы могли оставить синяки.

Заметив на лице «майора» последний след веселой улыбки, Солли даже затопала ногами от возмущения.

— Вы не пострадали? — переведя дыхание, спросил он.

— Пострадала? Ну разве что от ваших грубых рук! И что же вы сейчас сделали?

— Отогнал от вас того парня.

— Какого парня?

Он обиженно промолчал.

— Того, который позвал меня? А что, если он просто хотел поговорить со мной?

Подумав минуту, «майор» ответил:

— Возможно, вы правы. Однако он стоял в тени. Мне показалось, что я увидел у него в руках оружие. Извините, но я должен выйти и отыскать Сана Убаттата. До моего возвращения держите дверь закрытой на замок.

Отдав этот дерзкий приказ, он вышел и захлопнул дверь. Солли даже не успела слова произнести. Ей оставалось только ждать и негодовать от ярости. Неужели этот болван считает, что она не может позаботиться о себе? Почему он так рьяно вмешивается в ее дела и пинает рабов, якобы защищая жизнь своей подопечной? Может быть, стоило показать ему айджи? Он сильный и ловкий, но ничего не знает о лучшем стиле рукопашного боя. Да, с этим дилетантством пора кончать. Она не потерпит амбиций тупого вояки. Надо будет отправить в посольство еще один протест.

Когда «майор» втащил в дом перепуганного и дрожащего Сана, Солли устроила ему настоящий разнос:

— Вы открыли мою дверь кодовым словом. Почему меня не информировали о том, что у вас есть право доступа в мой дом не только днем, но и ночью?

Он тут же опустил забрало невозмутимой вежливости.

— Не имею понятия, мэм.

— Вы больше никогда не будете действовать подобным образом! Я запрещаю вам хватать меня за руки и препятствовать моему общению с другими людьми! Если же вы попытаетесь проделать это вновь, я покалечу вас, рега! Предупреждаю, что вы шутите с огнем! Если вас что-то встревожит, скажите об этом мне, и я сама найду решение любой проблемы. Теперь же прошу вас удалиться.

— С огромной радостью, мэм, — ответил он и вышел из комнаты, печатая шаг.

— Ах, леди... Ах, посланница, — заскулил Убаттат. — Это очень опасный тип. Они все опасные люди. Я прошу прощения за это слово: бесстыдные!

И он что-то забормотал на своем языке. Солли поинтересовалась, кем, по мнению Сана, был человек, встретившийся им на улице: религиозным раскольником, патриотом или одним из староверов. Последние, насколько она успела узнать, придерживались исконной гатайской религии и испытывали лютую ненависть ко всем чужакам и иноверцам.

— Мне показалось, что это был какой-то раб, — добавила она, и ее слова шокировали гида-переводчика.

— О, нет-нет! Это был настоящий мужчина! Пусть самый заблудший и фанатичный из всех язычников, но мужчина! Эти люди называют себя кинжальщиками. Но вам нечего бояться, леди... Извините, посланница. Он определенно был мужчиной!

Мысль о том, что какой-то раб мог коснуться посланницы Экумены, тревожила его сильнее, чем сама попытка покушения. Если только это действительно было покушение.

Обдумав ситуацию, Солли пришла к заключению, что нападавший мог оказаться помощником «майора». После того как она отчитала охранника в театре, рега решил поквитаться с ней и поставить ее на место, «защитив» от так называемого кинжальщика. Ничего! Если он попытается проделать это снова, она протрет им все стены и пол!

— Реве! — позвала она, и рабыня тут же появилась в дверном проеме. — Сейчас ко мне придет один из актеров. Ты не могла бы приготовить нам чай и какую-нибудь закуску?

Реве с улыбкой кивнула и побежала на кухню. Послышался стук в дверь. Открыв ее, Солли увидела на крыльце

Батикама и «майора», который, очевидно, охранял дом снаружи. Оба вошли в прихожую.

Она не ожидала, что макил по-прежнему будет в женской одежде. Его платье — одно из тех, что носили в пьесах обморочные дамы, — отличалось от пышного и величавого наряда, в котором он встречал ее за кулисами театра. Тем не менее оно еще больше подчеркивало элегантность и утонченность Батикама. Переливаясь оттенками, играя светом и тьмой, это платье придавало особую пикантность собственному мужскому костюму Солли. Конечно, «майор» был более красивым и притягательным мужчиной, пока не открывал рот. Но макил обладал каким-то необъяснимым магнетизмом. На Батикама хотелось смотреть и смотреть. Его кожа выглядела серовато-коричневой, а не иссиня-черной, чем так гордились аристократы Уэрела. (Впрочем, Солли видела многих черных слуг, и это ее нисколько не удивляло: ведь каждая рабыня должна была безропотно выполнять сексуальные прихоти своего хозяина.) Через грим макила и «звездную пудру» его лицо источало симпатию и живой интеллект.

Взглянув на нее и Сана, а затем на «майора», Батикам издал приятный благозвучный смех. Он смеялся как женщина — с теплой серебристой вибрацией, а не грубым мужским «ха-хаха». Актер протянул руки к Солли, и она, подойдя к нему, нежно сжала в своих ладонях кончики длинных ухоженных пальцев.

— Спасибо, что пришли, Батикам! — сказала она.

— А вам спасибо за то, что пригласили меня к себе, — ответил он. — Чудесная посланница звезд!

— Сан! — вдруг возмутилась Солли. — Где же ваша былая сообразительность?

На лице гида промелькнула смущенная нерешительность. Какой-то миг он хотел сказать о чем-то, но затем улыбнулся и елейно произнес:

— Да-да, прошу меня извинить. Доброй вам ночи, посланница Экумены! Надеюсь увидеть вас завтра в управлении рудников. В полуденный час, как мы и условились, верно?

Отступая, он надвигался на «майора», который неподвижно стоял в дверном проеме. Солли с вызовом взглянула на охранника, готовая без всяких церемоний напомнить ему о том, с какой радостью он хотел покинуть ее

дом. И тут она увидела его лицо. Маска холодной вежливости растворилась в подлинном чувстве, и это чувство было презрением, скептическим и тошнотворным, словно его заставили смотреть на человека, который ел чужое дерьмо.

— Уходите! — закричала она и отвернулась от них. — Прошу вас пройти сюда, Батикам. — Она потянула макила в спальню. — Только здесь я еще нахожу какое-то уединение.

Тейео родился там, где рождались его предки, — в старом холодном доме у подножия холмов чуть выше Ноехи. Мать не плакала, рожая его, потому что она была женой солдата. Ему дали имя великого сородича, убитого в битве под Сосой. Он рос в непреклонной дисциплине обедневшего, но чистого и древнего рода веотов. Отец, приезжая домой во время редких и краткосрочных отпусков, обучал его искусствам, которые обязан знать каждый солдат. А когда он отбывал в свою часть для несения воинской службы, за мальчиком присматривал старый раб Хаббакам, некогда служивший сержантом. Он учил Тейео летом и зимой, с пяти утра и до вечера, делая лишь короткие перерывы на молитвы и поклонение богине. Фехтование коротким и длинным мечом сменяла стрельба, после которой начинался бег по пересеченной местности. По вечерам же мать и бабушка учили мальчика другим искусствам, которые обязан знать мужчина. Начиная с двух лет, ему преподавали уроки хороших манер, истории, поэзии и неподвижного созерцания.

День Тейео был наполнен тренировками, уроками и поединками с другими учениками сержанта, но день у ребенка длинный. Иногда выдавались свободные часы, а то и целые вечера для игр в комнате, поместье или на холмах. Он дружил с любимыми животными: лисопсами, пятнистыми гончими, котами-ищейками, рогатыми буйволами и большими лошадьми. Дружить с людьми у него как-то не получалось.

Все рабы семьи, кроме Хаббакама и двух наложниц, считались издольщиками. Они возделывали каменистую землю предгорий и, как их хозяева, любили ее преданно и на века. Дети слуг отличались не только светлой кожей, но и робостью. Они с колыбели привыкали к тяжелой пожизненной работе и знали лишь свои поля, холмы и неизменные обязанности. В летние месяцы они купались с Тейео в заводях на реке. А иногда он играл с ними в войну или вел их в атаку на коровье стадо. Построив в шеренгу этих неотесанных неуклюжих парней, он кричал им: «В атаку!», и мальчишки мчались на невидимых врагов. «За мной!» — пронзительно орал Тейео, и подростки послушно топали позади него, стреляя наобум из сломанных веток — «пум, пум, бу-бум». Но чаще он гулял один: пешком, с котомищейкой, сопровождавшим его на охоте, или верхом на своей кобыле Тэси.

Несколько раз в году в поместье приезжали гости: родственники или боевые товарищи отца, привозившие своих детей и дворовую челядь. Тейео молча и вежливо показывал детям окрестности, знакомил их с животными и брал на охоту в холмы. Молча и вежливо он ненавидел своего кузена Гемата, и тот отвечал ему тем же. В четырнадцать лет они сражались по часу на поляне за домом и, следуя всем ритуалам борьбы, безжалостно избивали друг друга. Теряя терпение и выдержку, они познавали жажду крови, отчаяние и волю к победе, а затем по невысказанному согласию откладывали бой на следующий день и возвращались в молчании домой, где остальные собирались к ужину. Все видели это и ничего не говорили. Мальчишки торопливо умывались и садились к столу. Из носа Гемата текла кровь. Челюсть Тейео болела так сильно, что он едва двигал ею, просовывая в рот кусочки незатейливой пищи. Но никто не делал им никаких замечаний.

В пятнадцатилетнем возрасте молча и вежливо он и дочь реги Тоебавы полюбили друг друга. В последний день перед ее отъездом они убежали по невысказанному сговору из дома и ускакали в холмы. Он отдал ей свою Тэси. Они мчались бок о бок несколько часов, слишком застенчивые, чтобы заговорить. Спешившись у воды и оставив лошадей в небольшой долине, они сидели друг перед другом на вежливом расстоянии и молча наблюдали, как тихий ручей несет свои воды.

— Я люблю тебя, — сказал Тейео.

— Я тоже люблю тебя, — ответила Эмду, пригнув к коленям черное сияющее лицо.

Они не смели прикоснуться друг к другу, не смели смотреть в любимые глаза, но возвращались домой счастливые и молчаливые.

Когда Тейео исполнилось шестнадцать, его отослали в офицерскую академию главного города их провинции. Там он продолжил свою практику в искусствах войны и в науках мира. Их провинция была сельской окраиной Вое Део, где придерживались старых консервативных устоев. Вот почему его обучение проходило в соответствии с древними обычаями страны. Тем не менее там преподавали и технологию современных войн. Он стал виртуозным пилотом боевой гондолы и экспертом телезондирования, хотя, в отличие от других офицерских школ, курсантов не учили логике компьютерного мышления и другим новомодным наукам. Так, например, вместо истории и экономической политики Экумены они углубляли свои познания в поэзии и истории Вое Део.

Присутствие пришельцев с других звезд оставалось для Тейео чисто теоретическим — слишком уж мало их было на Уэреле. Его реальность диктовалась старыми традициями веотов, чье сословие сторонилось людей, не состоявших в солдатском братстве, — будь они собственниками, «имуществом» или врагами. Что касается женщин, то Тейео считал свое превосходство над ними абсолютным и именно поэтому относился к знатным дамам с рыцарским благородством, а к рабыням — с покровительственной благосклонностью. Тейео разделял расхожее мнение о том, что все пришельцы были враждебными язычниками и не заслуживали никакого доверия. В религии он почитал Туал Милосердную, но поклонялся Владыке Камье. Тейео не ждал справедливости, не искал наград и превыше всего ценил компетентность, отвагу и уважение к себе. В некоторых отношениях веот казался совершенно неприспособленным к жизни в огромном мире. Но в остальном он неплохо освоился в нем — возможно, потому, что семь лет провел на Йеове, принимая участие в войне, в которой не было справедливости, наград и даже маленькой иллюзии на окончательную победу.

Звание среди веотов передавалось по наследству, и Тейео имел самое высокое из возможных трех — звание реги. Никакая глупость офицера и никакие заслуги не могли изменить его статус и жалованье. Впрочем, материальные запросы не соответствовали кодексу веотов. Ценились только честь, готовность выполнить долг и ответственность перед родиной. Вот к чему стремился Тейео. Ему нравилась воинская служба. Ему нравилась жизнь. И он знал, что лучшее в ней достигалось разумным подчинением и эффективностью отданных команд. Закончив академию с наилучшими отзывами и рекомендациями, он, как многообещающий офицер и привлекательный молодой человек, получил назначение в столицу.

К двадцати четырем годам он стал настоящим красавцем. Его тело могло дать все, чего бы он от него ни потребовал. Строгое воспитание не поощряло потворства своим желаниям, но роскошь и развлечения большого города открыли для веота немало новых удовольствий. Он был сдержанным в чувствах и даже немного робким, но ему нравилось веселье и общение с другими молодыми людьми. Благодаря красивой внешности Тейео за год узнал все прелести жизни привилегированной молодежи. Сладость этих удовольствий усиливалась на темном фоне войны на Йеове — восстания рабов на колониальной планете, которое длилось всю его жизнь. С каждым годом противостояние становилось сильнее. Возможно, этот фон и делал столичную жизнь такой счастливой. Но Тейео вряд ли понравились бы одни развлечения или одни диверсии. Вот почему его радость была почти бесконечной, когда он получил приказ о назначении пилотом и командиром подразделения, которое улетало на Йеове.

Перед уходом на фронт Тейео приехал домой в тридцатидневный отпуск. С одобрения родителей он отправился верхом через холмы в поместье реги Тоебавы и попросил руки его дочери. Рега с супругой не имели ничего против, но как добрые родители оставили окончательный ответ за своей дочерью. Та согласилась без всяких колебаний. Будучи взрослой незамужней девой, она жила на женской половине дома, но ей и Тейео позволили встретиться и даже немного поговорить, хотя пожилая дама, сопровождавшая Эмду, все время прохаживалась неподалеку. Молодой веот поведал невесте о своем трехлетнем контракте.

— Мы можем пожениться сейчас или подождать еще три года, — сказал он ей. — Когда ты хочешь устроить нашу свадьбу?

— Сейчас, — ответила она, прикрывая ладонями сияющее от счастья лицо.

Тейео радостно засмеялся, и она подхватила его смех. Они поженились через девять дней. Быстрее не получи-

лось, так как требовалось выполнить некоторые формальности. Все понимали, что это была свадьба солдата, уходившего на войну, но церемонии на Уэреле имели первостепенное значение. Тейео и Эмду любили друг друга семнадцать дней. Они бродили по холмам и предавались любви, скакали вдоль реки и влюблялись еще сильнее, ссорились, мирились и любили, засыпали, обнявшись, и, просыпаясь, любили, любили, любили. А потом он улетел на другую планету, и она перебралась на женскую половину дома, где жили родители ее мужа.

Срок службы тянулся год за годом, и его репутация как отважного и опытного офицера укреплялась с каждой новой битвой. Война на Йеове перешла от беспорядочных атак и оборонительных операций в отчаянное и поспешное отступление. В такой обстановке было не до отпусков, но военный штаб послал на Йеове милостивое разрешение отозвать Тейео на Уэрел, поскольку его жена умирала от берлота. Однако в тот момент на Йеове начался настоящий ад. Армия отступала с трех сторон к старой колониальной столице. Подразделение Тейео сражалось в приморских топях, прикрывая тылы отходящих частей. Связь с Уэрелом была прервана. Командование недоумевало: невежественные рабы, с простым стрелковым оружием, громили армию обученных и дисциплинированных солдат, оснащенных коммуникационной сетью, скиммерами, гондолами, современными приборами и средствами уничтожения, которые разрешались конвенцией Экумены. Мощная оппозиция в Вое Део объясняла неудачи на Йеове бессилием нынешнего правительства и покорным соблюдением правил, навязанных пришельцами. «К чертям собачьим конвенцию Экумены! — кричали они. — Надо нанести массированный бомбовый удар и превратить жалких смердов в дерьмо, из которого они сделаны! Почему не применяются биобомбы? Давайте уберем наших воинов с этой дурацкой планеты и стерилизуем ее до первозданной чистоты! Начнем все заново. Если мы не выиграем войну на Йеове, следующая революция произойдет прямо здесь, на Уэреле, в наших собственных городах, в наших собственных домах!»

Пугливое правительство с трудом противостояло этому давлению. Уэрел проходил испытательный срок, и Вое Део желало влиться в союз Экумены. Поражения приуменьша-

лись, о потерях ничего не говорилось, а скиммеры, гондолы, оружие и люди поставлялись на Йеову все в меньших и меньших количествах. К концу седьмого года некогда грозная и мощная колониальная армия была, по сути, уничтожена своим правительством. В начале восьмого года, когда посланцы Экумены посетили Йеове, Вое Део и другие страны, принимавшие участие в войне, остатки разгромленной армии начали отзывать домой.

Вот так и получилось, что Тейео узнал о смерти жены лишь после того, как вернулся на Уэрел. Он отправился в родное поместье, и седой отец встретил его молчаливым объятием. Мать плакала, целуя сына в шею и лицо. Он встал перед ней на колени и попросил прощения за то, что принес ей столько горя.

Той ночью он лежал в холодной комнате безмолвного дома и слушал, как стучало его сердце — медленно и ровно, словно боевой барабан. Тейео не чувствовал особой печали. Слишком велика была радость вновь оказаться под отчим кровом и мирным небом. Однако где-то внутри, за броней спокойствия, бурлили ярость и гнев. Он не привык к таким чувствам и даже не мог бы сказать, что с ним происходит. Но какое-то мрачное зарево разрасталось в его груди, высвечивая лица погибших товарищей. И Тейео лежал, вспоминая Йеове, где он семь лет воевал то в воздухе, то на земле. Перед глазами возникали картины долгого отступления, трупы людей, безумные атаки и моменты, когда смерть лишь чудом обходила его стороной.

Почему их обрекли на поражение и верную смерть? Почему, оставив там своих солдат, правительство не послало им подкрепление? Но нет, такие вопросы задавать не стоило, как не стоило теперь и искать на них ответ. Он мог сказать себе только следующее: «Мы делали то, что нам приказывали. Мы выполняли свой долг, и поэтому нечего жаловаться». Новое понимание резало душу остро, как нож, и затмевало собою прежнее знание. «Я сражался за каждый шаг, — думал он без всякой гордости. — Но мы потеряли Йеове. И пока я был там, моя жена умерла. Все оказалось напрасным — и здесь, и на Йеове». Тейео лежал в холодной и молчаливой темноте, вдыхая сладкие запахи холмов.

— О великий Камье, — произнес он вслух, — помоги мне. Мой ум предал меня. И я не знаю, что делать.

Во время долгого отпуска мать часто рассказывала ему об Эмду. Поначалу он слушал только из вежливости и любви. Ведь так легко было забыть застенчивую милую девушку, которую он знал семь лет назад всего лишь семнадцать дней. Но мать не позволила ему этого, и постепенно он узнал, какой преданной и доброй женщиной была его жена. Со слезами на глазах мать делилась с ним той радостью, которую она нашла в своей Эмду, в своей любимице и подруге. Даже отец, суровый и молчаливый отставной военный, однажды сказал:

— Она была светом этого дома.

Родители благодарили сына за нее. Они говорили, что его любовь не прошла напрасно. Но что ожидало их впереди? Старость без внуков? Пустой молчаливый дом? Они не жаловались и смиренно довольствовались тем, что давала суровая тяжелая жизнь. Но между их прошлым и будущим пролегла бездонная пропасть.

— Если хочешь, я женюсь еще раз, — сказал Тейео матери. — Может быть, у тебя уже есть на примете какая-то девушка...

Шел дождь. Серый свет дрожал на мокрых стеклах окна, и тяжелые капли стучали по кровле. Мать склонилась над своим шитьем, скрывая слезы, которые покатились по ее щекам.

— Нет, — ответила она. — Я не знаю ей замены. — И, взглянув на сына, перевела разговор на другую тему: — Как думаешь, куда тебя отправят служить?

— Не имею понятия.

— Ведь войны больше нигде нет, — добавила она мягким и ровным голосом.

— Да, нигде, — ответил Тейео.

— А будет когда-нибудь? Как ты считаешь?

Он встал, прошелся по комнате и снова сел напротив нее. Их спины были прямыми и неподвижными. Пальцы матери продолжали штопать старую одежду, а руки Тейео лежали одна на другой — так, как его учили с двухлетнего возраста.

— Я не знаю, — произнес он в ответ. — Все выглядит очень странным. Словно не было войны на Йеове. Словно мы вообще не владели этой планетой. О восстании рабов даже не упоминают. Будто его и не случилось. Будто мы не сражались с ними в полувековой войне. Все по-новому. Все не так, как раньше. По телесети говорят, что наступила новая эра — эра мира и братства с другими мирами. Зачем же нам теперь тревожиться о Йеове? Разве мы не побратались с Гатаи, Бамбуром и Сорока государствами? Зачем нам тревожиться о своих рабах... Но я их не понимаю. Я не знаю, чего они хотят. Я даже не знаю, как мне жить дальше.

Его голос тоже был тихим и ровным.

— Ты не должен оставаться здесь, — сказала мать. — Во всяком случае сейчас.

— Я думал, что дети... — произнес Тейео.

— Конечно. Когда придет время, — с улыбкой ответила она. — Ты никогда не мог сидеть спокойно больше получаса. Подожди... Подожди, и ты все поймешь.

Конечно, она была права, но то, что он видел по телесети и в городе, подтачивало его терпение и гордость. Казалось, что солдатское ремесло стало теперь позорным. В отчетах правительства, в новостях и сводках событий об армии говорилось с язвительным презрением. Касту веотов называли доисторическим ископаемым. Их считали дорогой и бесполезной роскошью, которая мешала Вое Део вступить в союз Экумены. Тейео почувствовал себя абсолютно никому не нужным, когда в ответ на прошение о новом назначении ему предложили отставку с пенсией в пол-оклада. Да, так ему и сказали, что он может идти на пенсию — это в его-то тридцать два года!

Тейео хотел смириться, принять ситуацию и, поселившись в поместье, найти себе жену. Но мать посоветовала ему поговорить с отцом. Он так и сделал.

— Конечно, сын, — сказал отец. — Помощь нам не помешает. Однако я и сам бы справился с хозяйством. Твоя мать считает, что ты должен отправиться в столицу, в штаб армии. Они не посмеют отвергнуть тебя, когда ты посмотришь им в глаза. Семь лет боевой выслуги... С твоими наградами...

Тейео знал, чего они теперь стоили. Но он действительно чувствовал себя дома ненужным. Отца сердили его идеи относительно обновления поместья, и старикам не хотелось менять уклад, к которому они привыкли в течение жизни. Родители были правы: ему следовало поехать в столицу и узнать, на какую роль он мог претендовать в этом новом мире без войн и воинской чести.

Первые полгода принесли ему одни лишь огорчения.

Он никого не знал в Главном штабе и столичном гарнизоне. Его фронтовые друзья погибли в боях, стали инвалидами или сидели по домам на половинном окладе. Молодые офицеры, которые слышали о Йеове только по телесети, казались ему холодными и скупыми на слова, а уж если и говорили, то только о деньгах и политике. Про себя он называл их мелкими бизнесменами. Тейео догадывался, что они боялись его заслуг и репутации. Сам того не желая, он напоминал им о проигранной войне, о гражданском противостоянии, где класс шел на класс, где свои сражались против своих. Эти молодые парни хотели забыть его войну, которая не имела к ним никакого отношения. Они считали ее бессмысленной ссорой с каким-то далеким-далеким миром.

Тейео бродил по улицам столицы, наблюдал за толпами рабов, спешивших по делам своих хозяев, и удивлялся: чего они ждут?

— Союз Экумены не вмешивается в социальные, культурные и экономические дела каких-либо народов, — повторяли в теленовостях послы и правительственные чиновники. — Любая нация и народ могут стать полноправными членами союза, если подпишут конвенцию, которая предполагает отказ от жестоких методов ведения войны и средств массового уничтожения.

За этими словами обычно следовал список запрещенного оружия, состоявший на девяносто процентов из незнакомых названий. Однако в нем были и биобомбы, изобретенные в Вое Део. Пришельцы называли их невролазерами.

Тейео соглашался с позицией Экумены по поводу таких устройств и уважал терпение чужаков, с которым те уговаривали Вое Део и остальной Уэрел принять конвенцию и правила союза. Но его возмущала их снисходительность. Они говорили с людьми его мира так, словно смотрели на них свысока. Чем меньше чужаки упоминали о рабстве и делении общества на классы, тем отчетливее проступало их неодобрение.

«Рабство является очень редким явлением в мирах Экумены, — писалось в их книгах, — и полностью исчезает при равноправном участии в экономической политике союза».

Не этого ли добивались послы Экумены, прилетавшие в Вое Део?

— Клянусь Святой Туал! — сказал как-то раз один из молодых офицеров-туалитов. — Пришельцы скорее признают этих смердов с Йеове, чем нас!

От возмущения и ярости он брызгал слюной, словно старый рега, отчитывавший наглого раба-солдата.

— Подумать только! Йеове — эта проклятая планета рабов, язычников и варваров — будет принята в союз раньше нас!

— Эти варвары показали себя хорошими воинами, — ответил Тейео, прекрасно понимая, что ему не следовало говорить подобных слов.

Однако ему не нравилось, когда мужчин и женщин, с которыми он сражался, называли смердами. Рабами, мятежниками и врагами — да, но не смердами!

Молодой человек взглянул на него с усмешкой и язвительно спросил:

— Неужели они вам нравятся, рега? Неужели вам нравятся эти смерды?

— Я убивал столько, сколько мог, — вежливо ответил Тейео и тактично перевел разговор на другую тему.

Молодой человек, хотя и служил при штабе, имел ранг оги, самый нижний у веотов, поэтому любое пренебрежение к нему со стороны старшего офицера считалось бы признаком дурного тона.

Чванливость молодых военных раздражала. Веселые дни солдатского братства остались в далеком прошлом. Начальники штабных отделов, зевая, читали прошения Тейео о новом назначении и отсылали его в кабинеты других департаментов. Для него не нашлось даже койки в бараках, и ему пришлось снимать квартиру, словно какому-то штатскому. Огромный город по-прежнему предлагал обилие удовольствий, но половинного жалованья хватало только на еду и кров.

Дожидаясь встреч, которые ему назначали те или иные должностные лица, Тейео проводил свободные дни в библиотеке офицерской академии. Он понимал, что недостаточно образован, и хотел наверстать упущенное. Его страна готовилась к вступлению в союз Экумены. Чтобы снова стать полезным ей, он должен был узнать о пришельцах все, что только можно, включая их новые технологии и образ

мыслей. Стараясь выбрать какую-то конкретную тему, Тейео блуждал в компьютерной сети, смущался от обилия доступной информации и все сильнее осознавал, что не так умен, не так обучен и, возможно, никогда не поймет изворотливого разума чужаков. Тем не менее он упрямо вырывался из оков своего невежества.

Один из служащих посольства предложил академии ознакомительный курс лекций по истории Экумены. Тейео записался в группу и посетил около восьми занятий. Он не принимал участия в обсуждениях, безмолвно сидел на скамье с прямой спиной и лишь порой делал какие-то пометки в своем конспекте. Лектор, уроженец Хайна, чье длинное имя переводилось как «Старая Музыка», попытался вовлечь Тейео в дискуссию и, потерпев неудачу, попросил его задержаться в зале после лекции.

— Я очень рад познакомиться с вами, рега, — сказал он, когда другие слушатели разошлись.

Они немного посидели в кафе, потом встретились еще раз. Тейео не нравились манеры чужака, поскольку казались ему несдержанными и слишком импульсивными. Он не доверял искрометному уму инопланетянина и считал, что Старая Музыка изучает его как веота, солдата и, возможно, варвара. Чужак, уверенный в своем превосходстве, нарочито не замечал холодной вежливости Тейео. Он предлагал свою помощь в поиске необходимой информации и бесстыдно повторял вопросы, на которые его собеседник не желал отвечать. Например: «Почему вы сидите сложа руки, ничего не делаете и довольствуетесь половинным жалованьем?»

— Это не мой выбор, мистер Старая Музыка, — ответил Тейео, услышав этот вопрос в третий раз.

Он очень рассердился на наглого инопланетянина и поэтому говорил особенно любезно. Тейео отвел взгляд в сторону, стараясь не смотреть в глаза чужака — голубые, с желтоватыми белками, как у испуганной лошади. Он никак не мог привыкнуть к их странному виду.

— Вам не хотят давать новое назначение?

Тейео вежливо кивнул. Возможно, пришелец, не знакомый с обычаями Уэрела, считал свои унизительные вопросы вполне уместными.

— А вы не хотели бы служить в охране посольства?

На какой-то миг Тейео лишился дара речи, а потом совершил ужасную грубость, ответив вопросом на вопрос:

— Почему вы спрашиваете меня об этом?

— Мне хотелось бы иметь в нашей службе безопасности такого человека, как вы, — сказал Старая Музыка. И через несколько секунд добавил с потрясающей прямотой: — Многие из охранников — шпионы или болваны. Вот почему мы хотели бы найти человека, который не относится ни к тем ни к другим. Как вы понимаете, это не просто караульная служба. Очевидно, ваше правительство потребует, чтобы вы докладывали о своей работе соответствующим службам. Мы вполне допускаем такую возможность. Тем не менее, учитывая ваш опыт и храбрость, я предлагаю вам должность офицера связи, которая предполагает работу не только здесь, но и в других государствах Уэрела. Обещаю, что мы не будем требовать от вас какой-либо секретной информации. Я понятно выражаюсь, Тейео? Мне хотелось бы устранить любое недопонимание по поводу того, кто я такой, и убедить вас, что мы не собираемся выведывать секреты Вое Део с вашей помощью.

— А вы можете... — начал осторожно Тейео.

— Да, — со смехом ответил пришелец. — У меня есть ниточки, за которые я могу дергать руководство вашего Главного штаба. Они мне кое-чем обязаны. Так что вы скажете на все это?

Тейео задумался на минуту. Он находился в столице почти год и все это время в ответ на свои прошения о назначении получал лишь бюрократические отговорки. А недавно ему даже намекнули, что его настойчивость воспринимается как непокорность.

— Я принимаю ваше предложение, — произнес он с холодной почтительностью.

Хайнец взглянул на веота, и его улыбка исчезла.

— Благодарю вас, — сказал он. — Через несколько дней вы получите распоряжение Главного штаба.

Вот так Тейео и вернул себе форму. Он переехал в городские бараки, а затем семь лет прослужил на чужой земле. По дипломатическому соглашению посольство Экумены считалось территорией чужаков — куском планеты, который больше не принадлежал Уэрелу. Охранники, предоставленные послам, служили скорее декоративным, чем защитным элементом. Об этом говорила даже их золотис-

то-белая форма, которой они выделялись среди сотрудников посольства. Но поскольку в стране по-прежнему случались акты насилия, направленные против чужаков, каждый из охранников носил при себе оружие.

Поначалу Тейео командовал небольшим отрядом внутренней охраны. Однако вскоре его перевели на другую должность, и он начал сопровождать сотрудников посольства в их поездках по стране и по планете. Став телохранителем, он сменил форму на штатский костюм. Посланцы Экумены не хотели использовать для охраны своих людей и оружие. Тем самым они как бы возлагали обеспечение их безопасности на правительство Вое Део.

Тейео часто просили выступить в роли гида и переводчика, а иногда и просто спутника. Ему не нравилось, когда гости с других планет, проявляя чрезмерную общительность и самонадеянность, расспрашивали его о личной жизни или приглашали выпить в их компании. Скрывая неприязнь идеальной вежливостью, он раз за разом отказывался от таких предложений. Тейео делал свою работу и держал пришельцев на почтительной дистанции. Именно за это его и ценили в посольстве. Их уверенность в нем приносила ему моральное удовлетворение.

Офицеры столичной контрразведки даже не пытались сделать его своим информатором, хотя он, конечно, знал многое из того, что могло бы их заинтересовать. По традиции Вое Део ни один веот не согласился бы стать тайным агентом спецслужб. Тейео было известно, кто из охранников посольства шпионил для правительства, и некоторые из них предлагали ему немалые деньги за определенную информацию. Но он не собирался выполнять чужую работу.

Однажды Старая Музыка, который руководил службой безопасности посольства, отозвал его из зимнего отпуска. В разговоре с веотом пришелец старался сдерживать свои эмоции. Но не мог утаить симпатии, приветствуя Тейео:

— Рад вас видеть, рега! Надеюсь, ваше семейство пребывает в добром здравии? Прекрасно. У меня есть для вас серьезное поручение. Поездка в королевство Гатаи. Вы уже были там с Кемеханом два года назад, не так ли? Теперь они просят, чтобы мы отправили им своего посланника. Они хотят присоединиться к нашему союзу. Мы понимаем, что старый король является марионеткой вашего правительства, но работы там непочатый край. К примеру,

надо разобраться с мощным религиозным движением сепаратистов. Да и фракция патриотов протестует против инопланетян и иноземцев из Вое Део. Тем не менее король и Совет готовы принять нашего эмиссара, а женщина, которую мы собираемся отправить к ним, прилетела на Уэрел всего лишь месяц назад. Она еще не вошла в курс дела и может создать для вас несколько щекотливых проблем. Лично я считаю ее немного упрямой. Прекрасный сотрудник, подающий большие надежды, но... молода. Очень молода. Я отозвал вас из отпуска, потому что могу доверить ее только такому опытному человеку, как вы. Будьте терпеливы с ней, рега. Впрочем, возможно, вы найдете ее привлекательной и милой.

Однако надежды мудрого пришельца не оправдались.

За семь лет Тейео привык к глазам чужаков, к их запаху, цвету кожи и манерам. Защищаясь безупречной вежливостью и кодексом чести, он терпел или игнорировал их странное, вызывающее и порою шокирующее поведение. Ему доверяли защиту пришельцев, и он выполнял свой солдатский долг, не задевая чувств других людей и оставаясь незатронутым ими. Его подопечные с благодарностью принимали помощь и довольно быстро прекращали фамильярничать с ним. Женщины лучше понимали и реагировали на его запрещающие знаки, чем мужчины, и у него даже были почти дружеские отношения со старой терранской наблюдательницей, которую он сопровождал в нескольких длительных путешествиях по планете.

— Вы мирный и добрый, как кот, — сказала она ему однажды, и он по достоинству оценил этот скромный комплимент.

Но посланница в Гатаи была из другого теста. Она оказалась весьма привлекательной, с детской красновато-коричневой кожей, с блестящими волнистыми волосами и легкой походкой — но слишком уж непосредственной. Она гордо и бесстыдно выставляла напоказ свое зрелое стройное тело, разбивая тем самым сердца мужчин, которые не имели к нему права доступа. Эта женщина судила обо всем с вульгарной самоуверенностью. Она не воспринимала намеков и отказывалась подчиняться приказам. Несмотря на сексуальную привлекательность взрослой женщины, она была по сути агрессивным избалованным

ребенком. И вот эту вздорную несдержанную особу послали дипломатом в опасную и нестабильную страну.

Едва взглянув на нее, Тейео понял, что взялся за непосильное задание. Еще через пару дней он потерял доверие к себе. Ее сексуальное бесстыдство возбуждало его и в то же время вызывало отвращение. Он видел в ней шлюху, к которой должен был относиться как к принцессе. Ему приходилось терпеть ее выходки и сдерживать свое влечение. Теряя самоконтроль и балансируя на грани срыва, он начал ненавидеть ее и себя.

К тому времени Тейео уже познакомился с гневом, однако ненависть к женщине была для него новым чувством. Он никогда не отказывался от доверенных ему поручений. Но после того как она повела в свою спальню макила, Тейео послал в посольство церемонное прошение о замене его на более компетентное лицо. Используя дипломатический канал компьютерной сети, Старая Музыка ответил ему простым сообщением: «Любовь к Богу и стране подобна огню — прекрасному другу и грозному врагу. Только дети играют с огнем. Мне не нравится эта ситуация, но я пока не могу заменить ни вас, ни ее. Не согласились бы вы потерпеть еще немного?»

Тейео не знал, как отказать начальнику, ибо для веота отречение от долга равносильно несмываемому позору. Он стыдился собственной слабости и еще сильнее ненавидел женщину, которая пробудила в нем этот стыд.

Первая фраза послания показалась ему загадочной и двусмысленной. Старая Музыка обычно не выражался так витиевато и уклончиво. Сообщение больше походило на закодированное предупреждение. Тейео не знал дипломатических шифров, которые использовались чужаками и контрразведкой Вое Део, и поэтому его начальнику пришлось прибегнуть к намекам. Очевидно, «любовь к Богу и стране» означала староверов и патриотов — две подпольные гатайские группировки, фанатично ненавидящие инопланетян и иноземцев. Тогда под ребенком, играющим с огнем, подразумевалась посланница.

Неужели она попала под прицел одной из этих группировок? Тейео не находил пока этому никаких подтверждений. А тот человек на улице, с кожаным поясом кинжальщика? Вряд ли он хотел пожелать им доброй ночи. Люди Тейео присматривали за домом посланницы круглые сут-

ки. Правительство Гатаи выделило для этой цели дюжину солдат. Что можно сказать о Батикаме? Будучи рабом и макилом, он не стал бы участвовать в движении патриотов и староверов. Но он мог оказаться членом Хейма — подпольной организации, которая боролась за свободу рабов в Вое Део. Впрочем, как таковой он не представлял опасности для посланницы, поскольку союз Экумены был для рабов единственным билетом к Йеове и желанной свободе.

Веота смущала загадка из слов. Он переставлял их и так, и эдак, чувствуя себя наивной и глупой мухой, попавшей в паутину политических интриг. Зевая и потирая глаза, Тейео подтвердил прием сообщения, отключил компьютер и отправился в душ. Чуть позже он лег в кровать, выключил свет и тихо прошептал:

— Великий Камье, придай мне мужества для благого дела.

А потом он заснул как убитый.

Макил приходил в дом посланницы каждый вечер. Тейео пытался убедить себя, что ничего плохого не происходит. Он и сам развлекался с макилами в счастливые дни перед войной. Их искусство артистического секса привлекало многих мужчин и женщин. Он часто слышал истории о том, как богатые горожанки нанимали макилов, чтобы скрасить свою разлуку с мужьями. Но они делали это скрытно и осмотрительно, а не в такой вульгарной и бесстыдной манере. Посланница вела себя слишком беспечно и дерзко. Она нарушала правила приличия и попирала их моральный кодекс, словно имела какое-то право творить здесь все, что ей хотелось и когда хотелось.

Конечно, у макила были свои причины поддерживать эту связь. Играя на ее страсти и безрассудном увлечении, он высмеивал порядки Уэрела и Гатаи. Он высмеивал Тейео и насмехался над ней самой, хотя она не знала об этом. Но какой раб отказался бы от возможности выставить дураками всех хозяев и правителей планеты?

Наблюдая за Батикамом, Тейео пришел к заключению, что тот действительно был членом Хейма. Его насмешки никогда не выходили за грань дозволенного, и он не пытался обесчестить имя посланницы. Наоборот, он вел себя с куда большим благоразумием, чем она. Смешно сказать,

но этот макил удерживал ее от позора. Он и Тейео относились друг к другу с холодной вежливостью, но раз или два их взгляды встречались, и между ними возникало бессловесное ироническое взаимопонимание.

А в городе намечался большой религиозный праздник туалитов, который назывался Днем Прощения. Король и Совет направили посланнице официальное приглашение и предназначили для нее лучшую роль в сценарии праздничных торжеств. Тейео поначалу думал только о том, как обеспечить ее безопасность в окружении толпы, возбужденной зрелищами. Но потом Сан сообщил ему, что праздник совпадал с величайшим днем святых, который считался главным в гатайской старой религии. Маленький гид казался очень встревоженным. Он сказал, что староверы оскорблены подменой их собственных ритуалов чужеземными. По его словам, они могли устроить в городе резню и беспорядки. На следующее утро Сана внезапно заменили стариком, который с трудом говорил на языке Вое Део. Это еще больше обеспокоило Тейео, и он попытался выяснить, куда девался Убаттат.

— Ему дали другое поручение, — ответил старый переводчик на корявой, едва понятной смеси двух языков. — У нас сейчас веселое и приятное время, не так ли, рега? Убаттат получил приятное поручение.

За несколько дней до праздника напряженность в городе начала угрожающе возрастать. На стенах появились лозунги и символы старой религии. Храм туалитов был осквернен. На центральные улицы вышла королевская гвардия. Тейео отправился во дворец и, встретившись с сотрудником службы государственной безопасности, потребовал освободить посланницу Экумены от участия в публичных церемониях. Он аргументировал это возможностью террористического акта. В тот же день его вызвали в Совет и с демонстративным высокомерием, кивками притворного согласия и унизительным подмигиванием попросили не драматизировать события. Беседа оставила у него тревожное чувство. Усилив ночной дозор у дома посланницы, он вернулся в маленький барак, который гатайцы отдали под жилье охранникам с Вое Део. Войдя в свою комнату, он увидел открытое окно и записку, лежавшую на столе. Она гласила: «День Прощения избран для убийства».

На следующее утро Тейео явился в дом посланницы и велел служанке разбудить госпожу. Солли вышла из спальни, небрежно набросив простыню на голое тело. Следом за ней тащился сонный и полуодетый Батикам. Веот повел подбородком, приказывая ему уйти, и макил ответил на этот жест спокойной снисходительной улыбкой.

— Я пойду немного перекушу, — сказал он посланнице. — Эй, Реве! У тебя уже готово что-нибудь на завтрак?

Когда оба раба покинули комнату, Тейео повернулся к посланнице и протянул ей клочок бумаги, найденный на столе.

— Я получил это послание прошлым вечером, мэм, — сказал он. — И теперь мне приходится просить вас об одном одолжении. Не ходите на завтрашний праздник.

Осмотрев записку, она прочитала текст и зевнула:

— Кто вам ее передал?

— Я не знаю, мэм.

— А что значит: «Избран для убийства»? Неужели они не могли выразиться поточнее?

Помолчав около минуты, Тейео сдержанно ответил:

— У меня есть причины... причем очень серьезные... настаивать на том, чтобы...

— ...я не посещала праздник. Верно? Вы это мне уже говорили.

Солли подошла к скамье у окна и села. Простыня распахнулась, приоткрыв ноги: голые коричневые ступни с пухленькими розовыми пятками и красивые стройные бедра. Тейео смущенно отвел взгляд. Повертев в руках клочок бумаги, она усмехнулась и язвительно сказала:

— Если вы считаете, что праздничная церемония настолько опасна, возьмите с собой еще одного охранника. Или двух. Но я должна быть там. Как вам известно, меня пригласил сам король. Мне предстоит зажечь на площади большой костер примирения. Похоже, это все, что они позволили сделать женщине на публике... Одним словом, я не могу отказать королю в его просьбе.

Она протянула Тейео смятый клочок бумаги, и веоту пришлось приблизиться к ней. Солли с наглой улыбкой смотрела ему в глаза. Она всегда улыбалась, когда отвергала его советы или отвечала отказом на просьбы.

— И кто же, по вашему мнению, хочет меня убить? Патриоты?

— Или староверы, мэм. Завтрашний день считается одним из их святых праздников.

— А ваши туалиты, значит, отняли его у них? Но при чем здесь союз Экумены?

— Я думаю, что, возможно, правительство Гатаи заинтересовано в подобной провокации. В качестве ответной меры они могли бы раз и навсегда разделаться с оппозицией и подпольем.

Солли беспечно рассмеялась и вдруг поняла смысл того, что ей сказали. Нахмурив брови, она желчно спросила:

— Вы считаете, что Совет использует меня как детонатор бомбы, которая уничтожит мятежников? Какие у вас доказательства, рега?

— Почти никаких, мэм, — ответил он после минутной паузы. — Разве что исчезновение Сана Убаттата...

— Сан заболел. Так сказал мне новый переводчик, которого прислали на замену. Старик почти бесполезен, но вряд ли представляет собой какую-то угрозу. Так, значит, это все ваши доказательства?

Тейео промолчал, и она раздраженно закончила:

— Сколько же вас просить: не вмешивайтесь в мои дела без должных оснований! Ваша паранойя, вызванная войной, не должна распространяться на людей, с которыми я контактирую. Контролируйте себя, пожалуйста! Завтра вы можете взять с собой одного-двух охранников, и этого вполне достаточно.

— Да, мэм, — ответил Тейео и ушел. В голове у него звенело от гнева. Сбежав с крыльца, он вдруг вспомнил, что новый переводчик называл ему другую причину, по которой заменили Убаттата. Старик говорил, что Сана отозвали для выполнения каких-то религиозных обязанностей. Однако веот не стал возвращаться. Он знал, что это бесполезно.

Подойдя к охраннику, стоявшему у ворот, Тейео попросил его задержаться еще на час, а затем торопливо зашагал по улице, словно пытался уйти от гладких коричневых бедер Солли, ее розовых пяток и наглого развратного голоса, которым она отдавала ему приказы. Морозное солнечное утро обещало покой и умиротворение. Над улицами развевались праздничные флаги, а выше, почти касаясь неба, сияли горные вершины. Шум рынка, суета и толпы людей могли сбить с толку кого угодно. Но Тейео шел вперед, и его черная тень, знавшая все о тщетности жизни, скользила по камням, как клинок из тьмы.

— Рега выглядел очень встревоженным, — сказал Батикам своим теплым шелковистым голосом.

Солли засмеялась, пронзила плод ножом и, разрезав его, положила дольку фрукта в рот макила.

— Реве! Неси нам завтрак! — крикнула она, усаживаясь напротив Батикама. — О, как я проголодалась! Наш солдафон впал в один из своих фаллократических припадков. Он еще ни разу меня не спас. А ведь это его единственная функция. Бедняга выдумывает истории о террористах и пытается напугать ими других. Как бы мне хотелось выскрести его из своих волос. Хорошо, что хоть Сан больше не вертится рядом. Он цеплялся за меня, как клещ, подсунутый Советом. Теперь бы избавиться от рега, и здравствуй, полная свобода!

— Рега Тейео — человек долга и чести, — сказал макил, и в его тоне не было иронии.

— Разве рабовладелец может быть человеком чести?

Батикам посмотрел на Солли с укором, и его ресницы затрепетали. Она не понимала взглядов уэрелиан. Их красивые глаза казались ей загадкой.

— Мужчины во дворце просто помешаны на разговорах о чистоте своей драгоценной крови, — сказала она. — И, конечно же, чести «их» женщин.

— Честь — это великая привилегия, — ответил Батикам. — Мне ее очень не хватает. Я даже завидую реге Тейео.

— Нет, черт возьми! Их честь — это ложное чувство собственного достоинства. Она похожа на мочу, которой собаки метят свою территорию. Если тебе и есть чему завидовать, Батикам, то только свободе.

— Из всех людей, которых я знаю, ты единственная никому не принадлежишь и не являешься собственницей. Вот настоящая свобода. Но мне интересно, понимаешь ли ты это?

— Конечно, понимаю, — ответила она. Макил улыбнулся и стал доедать свой завтрак. Солли уловила в его голосе какие-то новые нотки. Смутная тревога породила догадку, и она тихо спросила:

— Ты скоро оставишь меня?

— О-о! Посланница звезд читает мои мысли. Да, госпожа. Через десять дней наша труппа отправляется в турне по Сорока государствам.

— Ах, Батикам, мне будет не хватать тебя! Ты стал для

меня здесь единственной опорой... единственным человеком, с которым я могла поговорить или насладиться сексом...

— А разве это было?

— Было, не часто, — со смехом ответила она. Ее голос немного дрожал. Макил протянул к ней руки. Солли подошла и села к нему на колени. Наброшенный халат упал с ее плеч.

— О, прекрасные груди посланницы, — прошептал он, касаясь их губами и лаская рукой. — Маленький мягкий живот, который так хочется целовать...

Реве вошла с подносом, поставила его на стол и тихо удалилась.

— А вот и твой завтрак, госпожа, — сказал Батикам, и Солли, вскочив с его колен, вернулась в свое кресло.

— Ты свободна и поэтому можешь быть честной, — произнес Батикам, очищая плод пини. — Не сердись на тех из нас, кто лишен всех прав на подобную роскошь.

Макил отрезал ломтик фрукта и передал его Солли.

— Он имеет вкус свободы. Узнай его. Это лишь намек, оттенок, но для нас...

— Через несколько лет ты тоже станешь свободным. Мы не потерпим ваш идиотский рабовладельческий строй. Пусть только Уэрел войдет в союз Экумены, и тогда...

— А если не войдет?

— Как это не войдет?

Батикам пожал плечами и со вздохом сказал:

— Мой дом на Йеове, и лишь там меня ожидает свобода.

— Ты прилетел с Йеове? — спросила Солли.

— Нет, я никогда не был на этой планете и, возможно, никогда не буду, — ответил он. — Какую пользу может принести там макил? Но Йеове — мой дом. Это планета моей свободы. И если бы ты знала...

Батикам сжал кулак так, что хрустнули кости. Но тут же раскрыл ладонь, словно выпуская что-то. Потом улыбнулся и отодвинул от себя тарелку.

— Мне пора возвращаться в театр, — сказал он. — Мы готовим новую программу ко Дню Прощения.

Солли провела весь день во дворце. Она настойчиво пыталась добиться разрешения на посещение правительственных рудников и огромных ферм по ту сторону гор, которые считались источником всех богатств Гатаи. Неделю назад, столкнувшись с бесконечным потоком согласительных протоколов и бюрократией Совета, она решила, что ее пустили по кругу бессмысленных встреч лишь для того, чтобы чиновники могли показать свое мужское превосходство над женщиной-дипломатом. Однако недавно один из бизнесменов намекнул ей об ужасных условиях, царивших на рудниках и фермах. Судя по его словам, правительство скрывало там еще более грубый вид рабства, чем тот, который она видела в столице.

День прошел впустую. Она напрасно ожидала обещанных бесед, которые так и не состоялись. Старик, замещавший Сана, перепутал все даты и часы. Намеренно или по глупости он безбожно перевирал языки Вое Део и Гатаи, создавал тем самым невыносимые ситуации с недопониманием и взаимными обидами. «Майор» отсутствовал все утро, и его замещал какой-то солдат. Появившись во дворце, рега присоединился к Солли с мрачным и угрюмым видом. В конце концов она отказалась от дальнейших попыток и ушла домой, решив принять ванну и подготовиться к встрече с макилом.

Батикам пришел поздно вечером. В середине любовной игры с переменой поз и ролей, которые возбуждали Солли все сильнее и сильнее, его руки вдруг стали двигаться медленнее, нежно скользя по телу, как перья. Дрожа от неукротимого желания, она прижалась к нему и вдруг поняла, что макил заснул.

— Проснись! — вскричала она и, все еще трепеща от страсти, встряхнула его за плечи.

Батикам открыл глаза, и она увидела в них страх и смущение.

— Прости! Прости, — сказала она. — Спи, если хочешь, и не обращай на меня внимания. Ты устал, и уже довольно поздно. Нет-нет, я как-нибудь справлюсь с этим.

Однако он удовлетворил ее желание, и в нежности макила она впервые уловила не искреннее чувство, а работу хорошего мастера. Утром за завтраком она спросила его:

— Почему ты не видишь во мне человека, равного тебе?

Батикам выглядел более усталым, чем обычно. Улыбка исчезла с его лица.

— Что ты хочешь сказать? — ответил он вопросом на вопрос.

— Считай меня равной.

— Я так и делаю.

— Ты не доверяешь мне, — сказала она со злостью.

— Не забывай, что сегодня День Прощения, — со вздохом произнес макил. — Туал Милосердная пришла к людям Асдока, которые натравили на ее последователей свирепых котов-ищеек. Она проехала среди них на спине огромного огнедышащего кота, и люди пали на землю от ужаса. Но она благословила и простила их.

Его руки совершали плавные движения, как будто сплетали историю из воздуха.

— Вот и ты прости меня, — сказал он.

— Тебе не нужно никакого прощения!

— Оно необходимо каждому из нас. Именно поэтому мы, верные Владыке Камье, время от времени просим милости у Туал Милосердной. Мы просим ее о прощении. Почему бы тебе сегодня не стать настоящей богиней?

— Они позволили мне только зажечь костер, — встревоженно ответила она, и макил с улыбкой погладил ее по щеке.

Прощаясь с ним, Солли пообещала прийти в театр и посмотреть на праздничное выступление.

Ипподром, единственное ровное и достаточно обширное место возле города, заполнялся народом. Продавцы зазывали людей к своим маленьким ларькам, дети размахивали флажками, а королевские мотокары двигались прямо через толпу, которая разбегалась в стороны и смыкалась за ними, как вода. Для знатных персон построили рахитичные трибуны, часть которых была прикрыта занавесами для леди и их служанок.

Солли увидела подъехавшую к трибуне машину. Из кабины вышла фигура, закутанная в красную мантию. Женщина взбежала по ступеням и торопливо проскользнула за занавес. Скорее всего в ткани имелись прорези, сквозь которые дамы могли смотреть на праздничную церемонию. Толпа горожан наполовину состояла из женщин, но то были наложницы и рабыни. Солли вспомнила, что ей тоже полагалось скрываться от глаз людей до того момента, пока король не объявит выход Туал. В стороне от трибун, неподалеку от огороженного места, где пели жрецы, ее ожидала красная палатка. Она вышла из машины и направилась туда в сопровождении подобострастных придворных.

Рабыни в палатке предложили ей чай и сладости, обступили ее, держа в руках зеркала, косметические принадлежности и масло для волос. Они помогли ей надеть тяжелый наряд из красной и желтой ткани — костюм Солли для краткой роли в обличье Туал. До сих пор никто не сказал ей, что надо делать, и на все вопросы смущенные женщины отвечали:

— Ах, леди! Вам все покажут жрецы. Вы пойдете за ними и зажжете костер. Факел и хворост уже готовы.

У Солли сложилось впечатление, что они знали о церемонии не больше ее самой. К тому же они были придворными рабынями, молоденькими девушками, совершенно безразличными к религии. Участие в празднике возбуждало их, как крепкое вино. Тем не менее они рассказали Солли, что олицетворяет костер, который ей предстояло зажечь. Люди бросали в него свои ошибки и проступки. Их прегрешения сгорали и таким образом прощались. Прекрасная наивная идея.

Жрецы радостно закричали, и Солли выглянула наружу. В ткани палатки действительно имелись дырки, через которые можно было наблюдать за тем, что творилось вокруг. Толпа за веревочными ограждениями становилась все более многочисленной. Почти никто из горожан, кроме сидевшей на трибунах публики, не видел того, что происходило в священном квадрате. Но все махали красно-желтыми флажками, жевали проперченные мясные лепешки и радостно выкрикивали лозунги туалитов. Жрецы продолжали петь свои песни.

Правее отверстия мелькнула знакомая одежда. «Ну конечно же, «майор»», — подумала Солли. Ему не хватило места в мотокаре, и он был вынужден идти сюда пешком. Несмотря на все препятствия и обиды, рега примчался к ней, чтобы выполнить свой долг.

— Леди, леди! — закричали придворные служанки. — Жрецы уже идут за вами!

Девушки закружились вокруг нее, проверяя, хорошо ли держится головной убор, поправляя узкие юбки и каждую складочку на них. С минуту они щипали и поглаживали ее, а затем принялись подталкивать к распахнувшемуся пологу. Солли вышла из палатки и, щурясь от яркого солнечного света, грациозно помахала рукой взревевшей от восторга толпе. Она старалась держаться очень прямо и благо-

родно, как и подобало богине. Ей не хотелось испортить их милую церемонию.

Ее уже ожидали двое мужчин с регалиями жрецов. Они шагнули навстречу, подхватили Солли под локти, и один из них произнес:

— Сюда, леди. Сюда.

Очевидно, ей действительно не полагалось знать о дальнейших действиях. Возможно, женщин считали настолько глупыми существами, что не объясняли им даже таких элементарных вещей. Впрочем, ей было не до этого. Жрецы торопили и подталкивали ее. Она путалась в узких юбках и длинной накидке. Оказавшись позади трибун, Солли с удивлением поняла, что ее не собираются вести к костру.

Разметав в стороны столпившихся зрителей, к ним подъехала машина. Кто-то закричал. Раздалось несколько выстрелов. Жрецы быстро потащили Солли под руки. Внезапно один из них выпустил ее и упал, сбитый с ног куском летящей тьмы, которая ударила его в висок. Стараясь вырваться из рук второго жреца, Солли оказалась в середине свалки. Ноги снова запутались в юбке. Послышался странный шум, который проник в ее мозг и пригнул к земле. Ослепленная и оглушенная, посланница почувствовала, как ее толкнули в какую-то темноту, и погрузилась в удушающее колючее забытье. В угасавшем разуме мелькнула мысль: если ей связывают руки, значит, она жива и не все еще потеряно...

Солли очнулась от тряски. Машина мчалась неведомо куда. Люди в кабине тихо переговаривались на гатайском языке. В голове у пленницы мутилось, и было трудно дышать, но она понимала, что любое сопротивление бесполезно. Ее связали по рукам и ногам, а на голову надели мешок.

Через некоторое время ее вытащили из машины и, словно труп, понесли куда-то вниз по каменной лестнице. Мужчины бросили Солли на низкий топчан — не грубо, но в заметной спешке. Она замерла, стараясь не шевелиться. Люди о чем-то говорили шепотом, но их речь оставалась для нее непонятной. В ушах звенели отголоски того ужасного шума. Был ли он реальным? Или ее оглушили ударом по голове? Она чувствовала себя так, словно находилась в комнате с ватными стенами. При каждом вдохе тонкая ткань мешка попадала ей в рот и в ноздри.

Кто-то дернул Солли за ноги. Мужчина склонился над ней и, перевернув пленницу на живот, начал развязывать ей руки.

— Не бойтесь, леди, — шепнул он ей на языке Вое Део. — Мы не причиним вам вреда.

Сняв мешок с ее головы, мужчина отступил на несколько шагов. В тусклом свете Солли разглядела еще четыре фигуры.

— Посидишь здесь немного, и все будет в порядке, — с ужасным акцентом произнес другой человек. — Просто радуйся как ни в чем не бывало.

Солли попыталась сесть, и от этого усилия у нее закружилась голова. Когда цветные пятна, мелькавшие перед глазами, растворились в сумеречном свете, она обнаружила, что мужчины ушли. Исчезли, словно по волшебству. «Просто радуйся как ни в чем не бывало».

Она осмотрела небольшую комнату с высоким потолком и содрогнулась от вида темных кирпичных стен и спертого воздуха с запахом сырой земли. Свет маленькой биолюминесцентной пластины бил в потолок и разливался по комнате слабым рассеянным сиянием. Неужели его хватало для глаз уэрелиан? «Просто радуйся как ни в чем не бывало».

«Черт, меня похитили, — подумала Солли. — Кому это понадобилось?»

Она медленно перевела взгляд с матраса на одеяло, потом на кувшин и кубок, стоявшие у двери, а затем на отхожее место в углу. Разве здесь нельзя было поставить обычный унитаз? Солли спустила ноги с топчана, и ее подошвы уперлись во что-то мягкое. Она нагнулась, разглядывая черную массу — вернее, тело, лежавшее на полу. Мужчина. Еще не рассмотрев как следует черт лица, она узнала его.

О дьявол! Даже здесь...

Да, даже здесь «майор» был рядом. Солли, шатаясь, встала и опробовала туалет, который в действительности оказался дырой в цементном полу, вонявшей экскрементами и каким-то химическим веществом. Постанывая от головной боли, Солли снова села на топчан и начала массировать руки и лодыжки. Ее методичные и ритмичные движения восстанавливали не только кровообращение, но и уверенность в себе.

«Вот же дерьмо! Они меня похитили. Зачем? «Просто радуйся как ни в чем не бывало». У-у, гад! А что с Тейео?»

При мысли о том, что он мог погибнуть, Солли вздрогнула и на миг подтянула к себе колени. Через некоторое время она склонилась над Тейео, пытаясь рассмотреть его лицо. Ей снова показалось, что она оглохла. Солли не слышала даже собственных вздохов. Слабая и дрожащая, она приложила ладонь к его лицу. Щека была холодной и неподвижной, однако тепло дыхания касалось ее пальцев, снова и снова. Она легла на матрас и осмотрела его. Мужчина лежал абсолютно неподвижно, но, положив руку ему на грудь, Солли почувствовала медленные удары сердца.

— Тейео, — шепнула она.

Потом она снова положила ладонь на его грудь. Ей хотелось еще раз почувствовать это медленное и ровное сердцебиение. Оно дарило какую-то надежду на будущее. «Просто радуйся...»

«Посиди здесь», — сказали они. Как будто у нее есть выбор! Впрочем, это и будет ее программой действий. А может быть, немного поспать? Да, надо просто заснуть, и когда она проснется, ее уже выкупят, и каждый получит свое.

Солли проснулась с мыслью, что надо посмотреть на часы. После сонного изучения крохотного серебристого табло она поняла, что проспала три часа. Праздничный день продолжался. И вряд ли за пленников успели уплатить выкуп. Значит, она не успеет прийти в театр на вечернее выступление макилов.

Ее глаза привыкли к тусклому свету. Осмотревшись, она увидела на полу рядом с головой Тейео засохшую кровь. Ощупав его череп, Солли обнаружила выше виска большую опухоль величиной с кулак. Ее пальцы стали липкими от крови. По-видимому, его оглушили. Он переоделся жрецом, чтобы охранять ее во время церемонии. Но что было дальше, она не знала. Ей вспоминались лишь крики, кусок летящей тьмы и увесистый удар, за которым последовал хриплый вздох. Все произошло слишком быстро, как в атаке айджи. А потом мир дрогнул и померк в ужасном вибрирующем шуме.

Солли щелкнула языком и похлопала по стене, проверяя свой слух. Все в порядке. Ватные стены исчезли. Может быть, ее тоже ударили по голове? Она ощупала себя, но не нашла ни шишек, ни ран. Тейео не приходил в сознание уже больше трех часов. Это свидетельствовало о серьезном сотрясении мозга. Но насколько тяжела его рана? И когда вернутся люди, захватившие их в плен?

Солли встала и едва не упала, запутавшись в узких юбках богини. Эх, если бы на ней сейчас была ее одежда, а не этот причудливый наряд, который напялили придворные служанки! Она оторвала узкий лоскут и подвязала юбки с таким расчетом, чтобы они доходили до колен. В подвале было прохладно и сыро. Солли походила по комнате, махая руками, чтобы согреться, — четыре шага вперед и четыре шага назад.

«Тейео бросили на пол, — вдруг подумала она. — Ему же холодно! А что, если сотрясение вызвало шок? Человек, пребывающий в шоке, нуждается в тепле».

Солли остановилась, смущенная своей нерешительностью. Она не знала, что предпринять. Может быть, поднять Тейео на топчан? Или пусть лежит, как лежит? Куда же, черт возьми, подевались похитители? А что, если он сейчас умирает? Она подошла к нему и позвала:

— Тейео! Откройте глаза!

Он тихо вздохнул.

— Очнитесь, рега!

Солли вспомнила, что люди с сотрясением мозга часто впадают в кому. Но она не знала, как воспрепятствовать этому. Тейео снова вздохнул, и его лицо расслабилось, освобождаясь от тисков неподвижности. Глаза открылись и закрылись. Она приподняла пальцем его веко и увидела расфокусированный зрачок.

— О Камье всемогущий, — прошептал он тихо и слабо.

Она испытала невероятную радость, увидев, что Тейео пришел в себя. «Радуйся как ни в чем не бывало». Наверное, у него чудовищно болела голова, а в глазах двоилось. Солли помогла ему перебраться на топчан и укрыла его одеялом. Рега не задавал никаких вопросов. Он молча лежал, соскальзывая в сон. Убедившись, что с ним все в порядке, Солли возобновила упражнения и около часа растягивала затекшие мышцы. Потом взглянула на часы. Праздничный день заканчивался. Но ночь еще не наступила. Когда же они придут?

Они пришли рано утром после долгой, почти бесконечной ночи. Металлическая дверь распахнулась и с грохотом

ударилась о стену. Один из похитителей вошел с подносом, а двое остались стоять в дверном проеме, нацелив оружие на пленницу. Мужчина не посмел поставить поднос на пол и передал его Солли.

— Прошу прощения, леди, — сказал он и, повернувшись, вышел из комнаты.

Дверь закрылась. Загремели засовы. А Солли по-прежнему стояла на месте, держа поднос.

— Эй, подождите! — закричала она. Тейео проснулся и, морщась от боли, осмотрелся. Чувствуя, что он рядом в этой маленькой комнате, она забыла кличку, которую дала ему, и больше не думала о нем как о «майоре». Однако ей не хотелось называть его по имени.

— Я полагаю, это завтрак, — сказала она и села на край топчана.

На плетеный поднос была наброшена ткань. Под ней находилась горка булок с мясом и зеленью. Рядом лежали кусочки фруктов, а в центре стоял графин, наполненный водой. Его оплетала тонкая узорчатая сетка из какого-то металлического сплава.

— Наш завтрак, обед и, возможно, ужин, — со вздохом добавила Солли. — Хм-м. Булки выглядят довольно аппетитно. Рега, вы можете есть? Вы можете сесть?

Тейео приподнялся на локтях и с трудом сел, опершись спиной о стену. Заметив, что он щурится, Солли с сочувствием спросила:

— Все еще двоится в глазах?

Он с тихим стоном кивнул.

— Хотите пить?

Еще один едва заметный кивок.

— Держите.

Солли передала ему чашку. Держа ее обеими руками и морщась при каждом глотке, Тейео медленно выпил воду. Она к тому времени съела три булки, потом заставила себя остановиться и попробовала дольку кисловатого плода.

— Хотите фрукт? Кисленький, — сказала она, почувствовав себя немного виноватой.

Он ничего не ответил. Солли вспомнилось, как за завтраком, предыдущим днем или сто лет назад, Батикам угощал ее долькой пини. Еда, потревожив пустой желудок, вызвала тошноту. Тейео снова заснул. Она взяла чашку из

его расслабившихся рук, налила воды и выпила, медленно глотая.

Почувствовав себя лучше, Солли подошла к двери и осмотрела петли, замок и поверхность. Потом простучала кирпичные стены и гладкий бетонный пол, надеясь найти какой-нибудь путь для бегства. Подвальный холод заставил ее взяться за физические упражнения. Чуть позже вернулась тошнота, а вместе с ней и апатия. Солли забралась с ногами на топчан и вскоре поняла, что плачет. А еще через несколько минут сообразила, что засыпает. Ей захотелось в туалет. Она посидела над дырой, смущаясь звуков, которые сама же издавала. Туалетной бумаги не оказалось. Это тоже смутило ее. Она подошла к топчану, села и подтянула колени к груди. От тишины звенело в ушах.

Взглянув на Тейео, Солли заметила, как тот быстро отвернулся. Рега по-прежнему полулежал в неудобной, но расслабленной позе, прислонившись спиной к стене.

— Хотите пить? — спросила она.

— Спасибо, — ответил Тейео.

Здесь, где не осталось ничего определенного и время оторвалось от прошлого, его тихий голос радовал своей знакомой интонацией. Солли налила полную чашку и передала ему. Он взял ее уже более уверенно и, выпив воду, повторил:

— Спасибо.

— Как ваша голова?

Он потрогал распухший висок, поморщился и снова прислонился к стене.

— У одного из них был металлический посох, — сказала она, увидев вдруг четкий образ во вспышке путаных воспоминаний. — Ну да! Жезл жреца. Он ударил вас, когда вы набросились на другого.

— Они забрали мое оружие, — шепотом ответил он. — В обмен на участие в праздничной церемонии. — Рега устало закрыл глаза.

— А я запуталась в своих длинных юбках и не смогла вам помочь. Послушайте! Там был какой-то шум. Возможно, даже взрыв.

— Да. Я же говорил вам о диверсии.

— А кто, по-вашему, эти люди?

— Революционеры. Или...

— Вы намекали, что правительство Гатаи как-то замешано в этом.

— У меня нет никаких доказательств, — шепотом ответил Тейео.

— Вы были правы. Извините, что я не послушала вашего совета, — сказала Солли, с достоинством признав свою ошибку.

Он слегка шевельнул рукой в жесте мрачного безразличия.

— У вас все еще двоится в глазах?

Тейео не ответил. Он снова заснул.

Солли встала и попыталась вспомнить дыхательные упражнения селишей. Через несколько минут загромыхали засовы, и дверь со скрипом отворилась. В комнату вошли все те же трое мужчин: двое с оружием и один с подносом — молодые чернокожие парни, очень нервные и чем-то явно недовольные. Когда мужчина ставил поднос на пол, Солли решительно наступила на его ладонь и надавила всем весом.

— Подождите! — сказала она, глядя в лица двух вооруженных людей. — Вы должны выслушать меня! У моего спутника тяжелая травма черепа. Нам нужен врач. Нам нужна вода. Я даже не могу промыть его рану! Кроме того, мы хотим получить туалетную бумагу. И потом... Кто вы такие, черт бы вас побрал?

— Уберите ногу, леди! — закричал мужчина, пытаясь выдернуть руку. — Сейчас же уберите ногу!

Двое других услышали крик. Солли отступила назад, и кричавший отбежал к двери и спрятался за спины своих вооруженных товарищей.

— Ладно, леди. Мы просим прощения за неудобства, — сказал он со слезами на глазах и принялся растирать ладонь. — Нас называют патриотами. Мы послали королю изменников свой ультиматум с вестью о том, что вы находитесь у нас. Так что давайте не будем обижать друг друга. Хорошо?

Он повернулся, кивнул одному из охранников, и тот закрыл дверь. Запоры скрипнули, а затем наступила тишина. Солли вздохнула и села на топчан. Тейео поднял голову.

— Это было опасно, — сказал он с печальной улыбкой.

— Я знаю, — ответила она. — И глупо. Но я не могла сдержаться. А вы видели, как они стушевались и бежали

отсюда? Теперь у нас будет вода! — Она заплакала. Она всегда плакала после ссор и после того, как причиняла кому-то боль. — Посмотрим, что они принесли на этот раз.

Солли поставила поднос на матрас и приподняла салфетку. Обычно так подавали заказанную пищу в номера третьеразрядных отелей.

— Прямо все удобства, — прошептала она. Под тканью лежало множество предметов: горсть печенья, небольшое пластиковое зеркальце, гребень, крохотный горшочек с каким-то веществом, от которого пахло сгнившими цветами, и пачка женских гатайских тампонов.

— Набор для леди, — проворчала Солли. — Черт бы их побрал, тупых придурков! Зачем мне здесь зеркало?! — Она отшвырнула его к стене. — Неужели они думают, что я и дня не могу провести, не взглянув на свое отражение? Идиоты!

Она сбросила на пол все предметы, оставив на подносе только печенье. Впрочем, Солли знала, что позже подберет тампоны и положит под матрас на тот случай, если их задержат здесь больше чем на десять дней. А что, если дольше?

— О боже, — прошептала она.

Солли встала и подобрала зеркало, маленький горшочек, пустой кувшин и фруктовую кожуру от предыдущего завтрака. Положив все это на пустой поднос, она поставила его рядом с дверью.

— Наша мусорная корзина, — сказала она Тейео на языке Вое Део.

К счастью, в гневе она всегда выражалась на альтерранском наречии. Ей не хотелось показаться веоту излишне грубой и несдержанной.

— Если бы вы только знали, как трудно быть в вашем обществе женщиной, — сказала она, снова усаживаясь на матрас. — Такое впечатление, что все мужчины Уэрела ярые женоненавистники!

— Я думаю, они хотели сделать как лучше, — ответил Тейео.

В его голосе не было ни насмешки, ни оправдания. Если он и радовался ее смущению, то неплохо скрывал это чувство.

— Кроме того, они дилетанты, — добавил рега.

— Возможно, это и плохо, — подумав, ответила она.

— Возможно.

Он сел и осторожно ощупал повязку на голове. Его волнистые волосы слиплись от крови.

— Вас похитили, чтобы потребовать выкуп, — сказал Тейео. — Вот почему они нас не убили. У них не было оружия. Возможно, эти парни даже не умеют обращаться с ним. Жаль, что жрецы отобрали мой пистолет.

— Вы хотите сказать, что это не они предупреждали вас?

— Я не знаю, кто предупреждал меня.

Головная боль заставила его замолчать на несколько минут.

— Солли... У нас есть вода?

Она принесла ему полную чашку.

— К сожалению, ее не хватит, чтобы промыть вашу рану. Зачем мне зеркало, когда у нас нет воды!

Он поблагодарил ее, утолил жажду и сел у стены, оставив в чашке воды на последний глоток.

— Они не планировали брать меня в плен, — сказал Тейео.

Подумав об этом, Солли кивнула и спросила:

— Боялись, что вы опознаете их?

— Будь у них место для второго человека, они не поместили бы меня вместе с леди. — Он говорил без всякой иронии. — Они приготовили это помещение только для вас. Я думаю, оно находится где-то в городе.

Солли кивнула:

— Машина ехала около получаса. Однако я не видела дороги, потому что они надели мне на голову мешок.

— Наши похитители отправили во дворец ультиматум, но не получили ответа. Или, возможно, им ответили насмешливым отказом. Скоро они потребуют, чтобы вы написали королю записку.

— Ага! Им хочется убедить правительство, что я действительно нахожусь у них? А почему им нужно в этом кого-то убеждать?

Они оба помолчали, и Тейео ответил:

— Извините меня. Я не в силах думать. — Он лег на спину.

— Чувство усталости пересилило возбуждение Солли, и она улеглась рядом, сложив юбку богини и пристроив ее себе под голову вместо подушки. Колючее одеяло прикрывало их ноги.

— Надо попросить у них подушку, — сонно сказала она. — Кроме того, я хочу получить мыло, свое одеяло и... Что еще?

— Может быть, ключ от двери? — тихо прошептал Тейео.

Они лежали бок о бок в объятиях тишины и тусклого ровного света.

На следующий день около восьми часов утра в комнату вошли четыре патриота. Двое остались у двери, нацелив на пленников оружие. Другая пара, неуклюже подталкивая друг друга, подошла к Тейео и Солли, которые сидели на низком топчане. Незнакомый мужчина заговорил на языке Вое Део. Он извинился за неудобства, причиненные леди, и пообещал сделать все возможное, чтобы смягчить дискомфорт. Взамен он попросил немного потерпеть и написать записку проклятому королю предателей: всего лишь несколько слов о том, что ее выпустят на свободу только после того, как Совет отменит свой договор с Вое Део.

— Совет не отменит его, — ответила Солли. — И королю не позволят совершить такой поступок.

— Прошу не спорить, — раздраженно сказал мужчина. — Вот письменные принадлежности. А вот текст, который вы должны переписать.

Он бросил на матрас бумагу и ручку и отступил на шаг, словно боялся приблизиться к ней.

Солли осознала, что Тейео демонстративно устранился от разговора. Он был абсолютно неподвижен. Его голова опустилась, взгляд застыл на животе. И мужчины не обращали на него никакого внимания.

— Я согласна переписать ваш текст, но взамен хочу воды — причем много воды, — одеяло, мыло, туалетную бумагу, подушку и врача. Я хочу, чтобы кто-то отзывался на мой стук в дверь. И еще мне нужна подходящая одежда. Теплая мужская одежда.

— Никакого врача! — ответил человек. — Пожалуйста, перепишите текст! Сейчас же!

Он был так раздражен и нетерпелив, что Солли не посмела настаивать на своем. Она прочитала их требования, переписала текст крупным детским почерком и отдала записку вожаку. Тот прочел написанное, кивнул и, ничего не сказав, покинул комнату. Следом за ним ушли и остальные. Раздался скрип засовов и звон ключей.

— Наверное, мне надо было отказать этим олухам.

— Я так не думаю, — ответил рега.

Он встал, потянулся, но, почувствовав головокружение, снова опустился на матрас.

— А вы неплохо торгуетесь, — похвалил Тейео.

— Поживем — увидим. О мой бог! Что же будет дальше?

— Скорее всего правительство Гатаи не выполнит их требований, — ответил рега. — Но если Вое Део и послы Экумены узнают о вашем пленении, они окажут давление на короля.

— Как бы мне хотелось, чтобы они поторопились. Советники сейчас растеряны и сбиты с толку. Спасая репутацию правительства, они могут попытаться скрыть мое исчезновение.

— Это вполне вероятно.

— Но как долго они могут хранить его в тайне? И что будут делать ваши люди? Они начнут вас искать?

— Вне всяких сомнений, — вежливо ответил Тейео.

Любопытно, что его чопорные манеры, которые там, на воле, всегда отталкивали Солли, теперь имели совсем другой эффект: сдержанность и официальность Тейео пробуждали в ней воспоминание о том, что она по-прежнему являлась частью огромного мира — мира, из которого их забрали и куда они должны были вернуться, мира, где люди жили долго и счастливо.

«А что означает долгая жизнь?» — спросила она себя и не нашла ответа. Солли никогда не думала на такие темы. Но эти молодые патриоты обитали в мире коротких жизней. Они подчинялись своим законам, которые определялись требованиями, насилием, неотложностью и смертью. И что их толкало на это? Фанатизм, ненависть и жажда власти.

— Каждый раз, когда наши похитители закрывают эту дверь, я начинаю бояться, — тихо сказала она.

Тейео прочистил горло и ответил:

— Я тоже.

Они упражнялись в айджи.

— Хватай! Нет, хватай как следует! Я же не стеклянная. Вот так...

— Понятно! — возбужденно воскликнул Тейео, когда Солли показала ему новый прием.

Он повторил движение и вырвался из захвата.

— Хорошо! Теперь ты делаешь паузу... и наносишь удар! Вот так! Ты понял?

— У-у-у!

— Прости. Прости меня, Тейео... Я забыла о твоей ране. Как ты себя чувствуешь? Я прошу прощения...

— О великий Камье, — прошептал он, садясь у стены и сжимая руками голову.

Рега сделал несколько глубоких вдохов. Солли опустилась рядом с ним на колени и озабоченно осмотрела опухоль на виске.

— Но это нечестный бой, — сказал он, опуская руки.

— Конечно, нечестный. Это айджи. Честным можно быть только в любви и на войне. Так говорят на Терре. Прости меня, Тейео. Это было очень глупо с моей стороны!

Он смущенно и отрывисто хохотнул и покачал головой:

— Нет, Солли. Показывай дальше. Я еще такого не видел.

Они упражнялись в созерцании.

— И что мне делать с моим разумом?

— Ничего.

— Значит, ты позволяешь ему блуждать?

— Нет. А разве я и мой разум — разные вещи?

— Тогда... Разве ты не концентрируешься на чем-то? Неужели твое сознание блуждает как хочет?

— Нет.

— Значит, ты все-таки не позволяешь ему возбуждаться?

— Кому? — спросил он и быстро взглянул вниз. Наступила неловкая пауза.

— Ты подумал о...

— Нет-нет! — ответил он. — Ты ошиблась! Попробуй еще раз.

Они молчали почти четверть часа.

— Тейео, я не могу. У меня чешется нос. У меня чешутся мысли. Сколько времени ты потратил, чтобы научиться этому?

Он помолчал и неохотно ответил:

— Я занимался созерцанием с двух лет.

Нарушив расслабленную и неподвижную позу, он нагнул голову, вытянул шею и помассировал мышцы плеч. Солли с улыбкой наблюдала за ним.

— Я снова думала о долгой жизни, — сказала она. — Но только не в терминах времени, понимаешь? Например, я могла бы прожить одиннадцать веков. А что это значит? Ничего. Знаешь, что я имею в виду? Мысли о долгой жизни создают некую разницу. Вот ты была одна, а потом у тебя рождаются дети. Даже сама мысль о будущих детях меняет что-то внутри — нарушает какое-то тонкое равновесие. Странно, что я думаю об этом сейчас, когда мои шансы на долгую жизнь начинают стремительно падать...

Тейео не ответил. Он не дал ей ни малейшего шанса продолжить разговор. Рега был одним из самых молчаливых людей, которых Солли знала. Многие мужчины поражали ее своей многословностью. Она и сама любила поговорить. А вот этот был тихим. И ей хотелось узнать, что давала такая умиротворенность.

— Вое зависит от практики, верно? — спросила она. — Надо просто сидеть и ни о чем не думать.

Тейео кивнул.

— Годы и годы практики. О боже! Неужели мы просидим здесь так долго...

— Конечно же, нет, — ответил он, уловив ее мысли.

— Почему они ничего не делают? Чего они ждут? Прошло уже девять дней!

С самого начала по молчаливому соглашению они поделили комнату пополам. Линия проходила посередине топчана, от стены до стены. Дверь находилась на территории Солли — слева, а туалет принадлежал Тейео. Любое вторжение в чужое пространство требовало какого-то очевидного намека и обычно позволялось кивком головы. Если один из них пользовался туалетом, другой отворачивался. А когда у них набиралось достаточное количество воды, они по очереди принимали «кошачью баню», и тогда кто-то снова сидел лицом к стене. Впрочем, это случалось довольно редко. Разграничительная линия на топчане была абсолютной. Ее пересекали только голоса, храп и запахи тел. Иногда Солли чувствовала его тепло. Температура тела уэрелиан на несколько градусов превышала ее собственную, и, когда Тейео спал, Солли чувствовала в прохладном воздухе исходившее от него тепло. Интересно, что

даже в глубоком сне они и пальцем не смели пересечь невидимую границу.

Солли часто задумывалась над их вежливым нейтралитетом и порою находила такие отношения забавными. Но иногда они казались ей глупыми и возникшими исключительно по причине каприза. Неужели они оба не могли воспользоваться простыми человеческими удовольствиями? Солли прикасалась к Тейео лишь дважды: в тот день, когда помогала ему забраться на топчан, и еще раз, когда, накопив воды, промывала рану на его голове. Используя гребень и куски от юбки богини, она постепенно удалила из волос Тейео смердящие комочки крови. Затем перевязала ему голову. Все юбки были порваны на бинты и тряпки для мытья. А когда рана немного зажила, они начали практиковаться в айджи. Однако захваты и объятия айджи имели безликую ритуальную чистоту и находились за гранью живого общения. Время от времени Солли даже обижалась на сексуальную незаинтересованность Тейео.

И все же его твердое самообладание стало для нее единственной поддержкой в этих неописуемо трудных условиях. Так вот, оказывается, какие они — Тейео, Реве и многие уэрелиане. А Батикам? Да, он исполнял ее прихоти и желания, но являлась ли эта уступчивость настоящим контактом? Солли вспоминала страх в его глазах той ночью. Нет, им двигало не самообладание, а принуждение.

Вот она — парадигма рабовладельческого общества: рабы и хозяева, попавшие в одну и ту же ловушку тотального недоверия и самозащиты.

— Тейео, — произнесла она, — я не понимаю рабства. Позволь мне высказать свои мысли.

Хотя он не ответил ни согласием, ни отказом, на лице его появилось выражение дружеского внимания.

— Я хочу понять, как возникает социальное обустройство и как отдельный человек становится его неотъемлемой частью. Давай оставим пока вопрос, почему ты не желаешь рассматривать рабство как неэффективную и жестокую модель общества. Я не прошу тебя защищать его или отрекаться от своих убеждений. Я просто пытаюсь понять, как человек может верить в то, что две трети людей его мира принадлежат ему по праву рождения. Даже пять шестых, если считать ваших жен и матерей.

Тейео выдержал долгую паузу и сказал:

— Моя семья владеет только двадцатью пятью рабами.

— Не уклоняйся от вопроса.

Он улыбнулся, принимая упрек.

— Мне кажется, что вы оборвали все человеческие связи друг с другом, — продолжала Солли. — Вы игнорируете рабов, а им, в свою очередь, нет до вас никакого дела. Между тем все люди должны взаимодействовать. Вы разделили общество на две половины и не покладая рук трудитесь над ежедневным воссозданием этой границы. Сколько сил теряется напрасно! Ведь это не естественная граница! Она искусственно создана людьми. Лично я не могу назвать никаких отличий между собственниками и рабами. А ты можешь?

— Конечно.

— И все они будут иметь отношение к культуре и поведению, верно?

Подумав немного, Тейео кивнул.

— Вы принадлежите к одной и той же расе и даже народу. Вы одинаковы во всем, не считая легких различий в оттенках кожи. Если воспитать ребенка-раба как хозяина, он станет собственником во всех отношениях, и наоборот. Таким образом, вы всю жизнь поддерживаете разграничение, которого на самом деле не существует. И я не могу понять, почему вы не видите, насколько это напрасно и бесполезно, — причем не только в экономике, но и...

— На войне, — вдруг добавил рега.

Наступило долгое молчание. Солли еще о многом хотелось сказать, однако она терпеливо ожидала развития разговора.

— Я был на Йеове, — сказал Тейео в конце концов. — На самом острие гражданской войны.

«Так вот откуда все твои шрамы», — подумала она.

Как бы скрупулезно Солли ни отводила взгляд в сторону, она давно уже рассмотрела стройное черное тело Тейео, а на занятиях айджи увидела на его левой руке длинный широкий шрам.

— Как ты, наверное, знаешь, рабы колонии подняли мятеж — сначала в некоторых городах, а потом на всей планете. Наша армия состояла только из рабовладельцев. Мы не посылали туда рабов-солдат, потому что они могли нарушить присягу. На фронт улетали лишь веоты-добровольцы. Мы считали себя хозяевами, а их — слугами, но

война шла на равных. Я понял это довольно быстро. А позже мне пришлось признать, что мы воевали с сильным и умным противником. Они победили нас.

— Но это... — начала было Солли и замолчала. Она не знала, что сказать.

— Они побеждали нас с самого начала, — рассказывал он. — Частично из-за того, что наше правительство не понимало, насколько неприятель силен. А они сражались лучше и злее нас, разумно и с исключительной смелостью.

— Они боролись за свою свободу!

— Возможно, — вежливо ответил Тейео.

— И ты...

— Я хочу оказать, что уважал своих противников.

— А мне ничего не известно об этой войне, да и вообще о войнах, — сказала Солли, и в голосе ее смешались горечь и раздражение. — Какое-то время я жила на Кеаке, но там не было войны. Там происходило расовое самоубийство. Бездумное уничтожение биосферы. Наверное, существует большая разница... Именно тогда союз Экумены решил ввести запрет на некоторые виды вооружения. Мы просто не могли смотреть, как Оринт и Кеака разрушали самих себя. Терране тоже отвергали Конвенцию союза. И едва не погубили свою планету. Между прочим, я наполовину терранка. Мои предки веками гонялись друг за другом по планете — сначала с дубинами, а позже с атомными бомбами. Они тоже делились на хозяев и слуг... целые тысячелетия. Я не знаю, насколько хороша Конвенция союза и верна ли она. Кто мы такие, чтобы позволять другим планетам одно и запрещать другое? Но идея Экумены предлагает способ сосуществования! Способ открытого общения. Мы не хотим мешать кому-то двигаться вперед.

Тейео слушал ее и ничего не говорил. И только позже тихо прошептал:

— Мы учились смыкать ряды. Всегда. Я думаю, ты права. Это была напрасная трата времени, сил и духа. Вы более открыты. И мне нравится ваша свобода.

«Эти слова многого стоили ему», — подумала Солли. Не то что ее излияния, похожие на танцы света и тени. Он говорил от чистого сердца, и поэтому Солли с благодарностью принимала его похвалу. К тому времени она начала понимать, что с каждым прошедшим днем все больше и больше теряет уверенность и надежду. Она теряла убеж-

денность в том, что их выкупят, освободят, что они когда-нибудь выберутся из этой комнаты и вообще останутся в живых.

— Эта война была жестокой?

— Да, — ответил Тейео. — Я даже не могу объяснить... Не могу сказать... Там все происходило ослепительно быстро, как в мощных вспышках света.

Он поднял руки к лицу, словно хотел закрыть глаза, а затем с укором посмотрел на Солли. И тогда она поняла, что его стальное на вид самообладание было уязвимо во многих местах.

— То, что я видела на Кеаке, происходило так же, — сказала она. — Я тоже ничего не могла объяснить. Как долго ты был на Йеове?

— Чуть меньше семи лет.

Она поморщилась:

— Значит, ты везучий?

Этот странный вопрос не имел прямого отношения к тому, о чем они говорили, но Тейео по достоинству оценил его.

— Да, — ответил он. — Мне всегда везло. Большинство из моих друзей погибли в боях, и многие из них — в первые три года. Мы потеряли на Йеове триста тысяч человек. Правительство замалчивает это. Подумать только: две трети веотов Вое Део убиты! А я остался жив. Наверное, я действительно очень везучий.

Он опустил подбородок на сцепленные пальцы и замкнулся в мрачном молчании. Через какое-то время Солли тихо прошептала:

— Надеюсь, ты по-прежнему удачлив.

Он ничего не ответил.

— Как долго их уже нет? — спросил Тейео. Солли посмотрела на часы и прочистила пересохшее горло.

— Шестьдесят часов.

Вчера похитители не пришли в положенное время. Не пришли они и нынешним утром. У пленников кончилась еда, а затем и вода. Солли и Тейео становились все более мрачными и молчаливыми. Иногда они перебрасывались короткими фразами, но большую часть времени в комнате царила тишина.

— Это ужасно, — сказала она. — Это просто ужасно. Я начинаю думать...

— Они не бросят тебя, — проворчал Тейео. — Они взяли на себя ответственность за твою жизнь.

— Потому что я женщина?

— Частично.

— Вот же дерьмо!

Он улыбнулся, вспомнив, что там, на воле, ее грубость казалась ему невыносимой.

— А вдруг их поймали и расстреляли? — воскликнула она. — Что, если они никому не успели рассказать, где нас держат?

Тейео тоже не раз подумывал об этом. И теперь не знал, как ее успокоить.

— Мне не хотелось бы умереть в таком противном месте, — заплакала Солли. — Здесь холодно и грязно. Я воняю, как падаль. Я воняю уже двадцать дней! От страха смерти у меня болит живот, а я не могу выдавить из себя и капельку кала. Меня мучает жажда, но у нас нет ни капли воды!

— Солли! — резко произнес Тейео. — Успокойся! Не теряй самообладания! Оставайся твердой как кремень!

Она с изумлением посмотрела ему в лицо:

— А для чего мне оставаться твердой?

Рега смущенно замолчал, и она спросила:

— Я задела твою благородную честь?

— Нет, но...

— Тогда в чем дело? Что тебя волнует?

Он подумал, что у нее начнется истерика, но Солли вскочила, схватила пустой поднос и стала колотить им по двери, пока не разломала его на части.

— Идите сюда, черт бы вас побрал! — кричала она. — Идите сюда, ублюдки! Выпустите нас отсюда!

Потом Солли села на матрас и с печальной улыбкой посмотрела на Тейео.

— Вот так, — сказала она.

— Подожди-ка! Слушай!

Они на миг затаили дыхание. Где бы ни находился этот подвал, городские звуки до него не доходили. Но теперь неподалеку отсюда происходило что-то очень серьезное. Они услышали взрывы и приглушенную канонаду.

Дверные засовы заскрипели.

Пленники вскочили на ноги. Дверь открылась — на этот раз очень тихо и медленно. На пороге стоял вооруженный мужчина. Держа винтовку наперевес, он отступил на шаг, и в комнату вошли два патриота. Первого, что был с пистолетом, заключенные никогда не видели. Второго, с перекошенным от страха лицом, Солли называла представителем. Он выглядел так, словно долго бежал или с кем-то сражался — грязный, оборванный и немного ошалевший. Прикрыв дверь, он протянул им несколько листков. Все четверо настороженно смотрели друг на друга.

— Дайте нам воды, ублюдки! — прохрипела Солли.

— Леди! — торопливо произнес представитель. — Я прошу прощения.

Казалось, он не слышал ее слов. Его взгляд впервые устремился на регу.

— В городе идет ужасное сражение, — сказал он.

— А кто сражается? — спросил Тейео ровным властным голосом.

— Вое Део и мы, — ответил молодой патриот. — Они послали в Гатаи свои отряды. Сразу после похорон ваше правительство потребовало от нас капитуляции. А вчера они ввели свои войска и затопили город кровью. Кто-то передал солдатам Вое Део все адреса староверческих центров. И некоторые из наших.

В его голосе чувствовалось смущение — злое обиженное смущение.

— Вы сказали, похороны? — спросила Солли. — Чьи похороны?

Представитель хмыкнул, и тогда Тейео повторил вопрос:

— Чьи похороны?

— Похороны леди. Ваши. Вот, смотрите... Я принес отпечатанные на принтере сообщения, взятые из информационной сети. Похороны по высшему разряду. Они сказали, что вы погибли при взрыве бомбы.

— При каком еще взрыве, черт бы вас побрал? — хрипло закричала Солли.

Патриот повернулся к ней и сердито ответил:

— При взрыве, который произошел на празднике. Его устроили староверы. Они заложили в костер Туал огромное количество взрывчатки. Но мы узнали об их плане и решили немного изменить его. Мы спасли вас от верной смерти, леди!

— Спасли меня? Да хватит лгать! Вы хотели получить за меня выкуп, ослиные задницы!

Пересохшие губы Тейео потрескались от смеха, который ему едва удалось удержать.

— Дайте мне ваши копии, — сказал он, и молодой человек передал ему пачку листков.

— Немедленно принесите нам воды! — закричала Солли.

— Нет-нет, господа. Я прошу вас задержаться, — поспешно добавил Тейео. — Нам надо обсудить сложившуюся ситуацию.

Сев на матрас, он и Солли за несколько минут прочитали статьи о трагическом окончании праздника и прискорбной кончине всеми уважаемой и любимой посланницы Экумены. В правительственной речи сообщалось, что она погибла в результате террористического акта, осуществленного староверами, а ниже кратко упоминались имена ее телохранителя, жрецов и зрителей, которые были убиты при взрыве. Несколько статей посвящались длинному описанию траурных мероприятий, отчетам о беспорядках и репрессиях. Затем шла благодарственная речь короля, которую тот произнес в ответ на предложенную помощь Вое Део. Он просил уничтожить раковую опухоль терроризма...

— Так, — задумчиво произнес Тейео. — Значит, Совет не ответил на ваш ультиматум. Почему же вы оставили нас в живых?

Солли нахмурилась. Этот вопрос показался ей бестактным, но представитель спокойно ответил:

— Мы решили, что выкуп за вас даст Вое Део.

— Я думаю, они нас выкупят, — согласился Тейео. — Но вам лучше не сообщать своему правительству о том, что вы оставили нас в живых. Если Совет...

— Подожди, — сказала Солли, касаясь его руки. — Я хочу подумать об этом. Скорее всего нас выкупит посольство Экумены. Но как передать им послание?

— Не забывай, что в город введены войска Вое Део. Мне лишь надо написать сообщение и отправить его охранникам из моей команды.

Солли сжала его запястье, подавая какой-то предупреждающий знак. Потом взглянула на представителя и ткнула в его сторону указательным пальцем:

— Вы украли посла Экумены, ослиные задницы! Теперь

вам придется кое-что сделать, чтобы заслужить мое расположение. Я готова простить вас, потому что нуждаюсь в вашей помощи. Если ваше чертово правительство узнает, что я жива, оно попытается спасти свою репутацию и, конечно же, уничтожит меня. Где вы прячете нас? Есть ли у нас хоть какой-то шанс выбраться из этого подвала?

Мужчина раздраженно покачал головой.

— Нет, мы все теперь отсиживаемся здесь, внизу, — ответил он. — И вы останетесь здесь. Мы не хотим подвергать вас опасности.

— Да, тупоголовые придурки! Вам сейчас надо беречь нас изо всех сил, — сказала Солли. — Мы стали вашей единственной гарантией спасения! Принесите нам воды, черт бы вас побрал! И дайте нам поговорить немного! Возвращайтесь через час!

Молодой человек склонился над ней, и его лицо исказилось от гнева.

— Леди! Вы ведете себя как пьяная развратная рабыня! Вы... Вы грязная и вонючая инопланетная сучка!

Тейео вскочил на ноги, но Солли дернула его за руку. Представитель и другой мужчина молча подошли к двери, отперли замок и вышли.

— Ты только посмотри... — сказала она с ошеломленным видом.

— Зря... Зря... — шептал Тейео. Он даже не знал, как выразить свою мысль. — Они не поняли тебя. Лучше бы с ними говорил я.

— Ну да, конечно! Женщинам не положено отдавать приказы. Женщины вообще не должны говорить. Говнюки! Самовлюбленные ничтожества! Но ты же говорил, что они чувствуют ответственность за мою жизнь!

— Да, это так, — ответил он. — Но они очень молоды и фанатичны. И к тому же ужасно напуганы.

«Ты говорила с ними, как с рабами», — подумал он. Однако не посмел сказать этого вслух.

— Я тоже ужасно напугана! — закричала Солли, и по ее щекам побежали слезы.

Она вытерла глаза и села среди бумаг.

— О Боже! Мы мертвы уже двадцать дней. Похороны состоялись полмесяца назад. Интересно, кого они кремировали вместо нас?

Тейео удивлялся ее силе. Его рука болела. Он мягко помассировал запястье и с улыбкой взглянул на Солли.

— Спасибо, что удержала меня, — сказал он. — Иначе я ударил бы его.

— Знаю. Бесшабашное рыцарство. А тот парень с оружием сделал бы в твоей голове дыру. Послушай, Тейео, ты уверен, что нас спасут, если твое послание попадет в руки армейского офицера или охранника из Вое Део?

— Конечно.

— А что, если твоя страна играет в ту же игру, что и Гатаи?

Тейео взглянул на Солли, и гнев, который то пробуждался в нем, то угасал на протяжении этих бесконечных дней, захлестнул его неудержимым потоком. Он не мог говорить, потому что на языке крутились те же оскорбления, которые бросил в лицо Солли молодой патриот. Тейео прошелся по своей территории, сел на топчан и отвернулся к стене. Он сидел, скрестив ноги и положив одну ладонь на другую. Солли что-то говорила, но он не слушал ее.

Почувствовав недоброе, она замолчала, а затем напомнила:

— Мы хотели поговорить, Тейео. У нас в запасе только час. Я думаю, наши похитители выполнят все, что мы потребуем. Но нам надо предложить им какой-то стоящий план — то, что можно реально исполнить.

Тейео не отвечал. Кусая губы, он хранил молчание.

— Что я такого сказала? Неужели я чем-то обидела тебя? О господи! Тогда прости меня. Я ничего не понимаю...

— Они... — Тейео замолчал и попытался овладеть собой и своими непослушными губами. — Они нас не предадут.

— Кто? Патриоты?

Он не ответил.

— Ты хочешь сказать, Вое Део? Ты действительно уверен в этом?

После этого недоверчивого вопроса он вдруг понял, что Солли права. Разве правительство уже не предавало своих сынов на Йеове? Разве не напрасной оказалась его верность стране и долгу? И что стоила для них жизнь никому не нужного веота? Солли продолжала извиняться и твердить, что он, возможно, прав. А Тейео сжимал пальцами виски, жалея, что не может заплакать, — глаза были сухи, как песок в пустыне.

Солли нарушила границу и положила руку ему на плечо.

— Тейео, прости, — сказала она. — Я не хотела оскорблять твое достоинство! Я очень уважаю тебя. Только ты моя надежда и помощь.

— Все это ерунда, — сказал он. — Вот если бы я... Просто мне хочется пить.

Она вскочила и забарабанила в дверь кулаками.

— Дайте нам воды! — закричала она. — Сволочи, сволочи!

Тейео встал и зашагал по комнате: три шага вперед, поворот, три шага назад, поворот. Внезапно он остановился на своей половине.

— Если ты права, нам и нашим похитителям угрожает серьезная опасность. Сообщение о твоей смерти помогло гатайцам оправдать вторжение отрядов Вое Део. С их помощью король и Совет хотят уничтожить все антиправительственные фракции и группировки. Вот почему нашим солдатам стали известны адреса подпольных центров. Как бы там ни было, правительства Гатаи и Вое Део не позволят тебе воскреснуть. Нам повезло, что мы находимся в плену у патриотов.

Солли смотрела на Тейео с какой-то странной нежностью, которую он нашел неуместной.

— Теперь бы еще понять, какую позицию займет союз Экумены, — продолжал Тейео. — Я хочу сказать... Ваши люди действительно поступают так, как говорят?

— У политиков всегда две правды. Если посольство увидит, что Вое Део пытается подчинить Гатаи, они не станут вмешиваться, но и не одобрят насилия, о котором говорили патриоты.

— Репрессии направлены против тех, кто мешает гатайцам вступить в союз Экумены.

— Все равно их не одобрят. А если в посольстве узнают, что я жива, Вое Део получит хорошую взбучку. Но как нам отправить туда весточку о себе? Я была здесь единственной посланницей Экумены. Кто мог бы стать надежным курьером?

— Любой из моих людей, но...

— Скорее всего их уже отозвали. Зачем держать охрану посла, если тот погиб во время террористического акта? Но эту возможность надо отработать до конца. Вернее, попросить об этом наших похитителей. — Ее голос стал тише

и задумчивее. — Вряд ли они позволят нам уйти. А если переодетыми? Пожалуй, это будет самый безопасный способ.

— Но как мы переберемся через океан? — спросил Тейео.

Солли несколько раз ударила себя ладонью по лбу:

— Ну почему они не могут принести нам воды...

Ее голос походил на шуршание бумаги. Тейео стало стыдно за свой гнев и обиду. Ему захотелось сказать, что она тоже была его помощью и надеждой, что он гордился ею и уважал, как друга. Но ни одна из этих фраз не сорвалась с его уст. Он чувствовал себя пустым и усталым. Он чувствовал себя высохшим стариком. Ах, если бы ему дали глоток воды...

Наконец им принесли и воду и пищу. Еды было мало — в основном заплесневелый хлеб. По иронии судьбы тюремщики сами стали заключенными. И теперь экономили припасы. Представитель назвал пленникам свое военное прозвище: Кергат, что по-гатайски означало «свобода». Он рассказал, что войска Вое Део провели на окрестных территориях так называемую зачистку, предали огню немало домов и взяли под контроль почти весь город, включая королевский дворец. Однако по телесети об этом ничего не говорилось.

— Дурацкие интриги Совета закончились тем, что нашу страну захватила армия Вое Део! — воскликнул он, едва не рыдая от ярости.

— Это ненадолго, — сказал Тейео.

— А кто сможет их победить? — спросил молодой человек.

— Йеове. Идея Йеове.

Кергат и Солли с удивлением посмотрели на него.

— Революция, — пояснил Тейео. — Вскоре Уэрел станет Новым Йеове.

— Вы имеете в виду рабов? — спросил Кергат. — Но они никогда не объединятся во фронт сопротивления.

— Но когда они сделают это, будьте осторожны, — мягко добавил веот.

— А разве в вашей группе нет рабов? — удивленно спросила Солли.

Кергат даже не потрудился ответить. Тейео вдруг понял, что молодой патриот относится к ней как к рабыне.

Впрочем, он и сам поступал так же, там, в другой жизни, где такое разграничение имело смысл.

— Скажи, а твоя служанка Реве настроена к тебе подружески? — спросил он Солли.

— Да, — ответила она. — Вернее, это я пыталась стать ее подругой. Она не сделает того, что ты хочешь.

— А макил?

Она задумалась почти на минуту.

— Возможно. Да.

— Он все еще здесь?

Солли неуверенно пожала плечами:

— Их труппа собиралась в турне. Отъезд должен был состояться через несколько дней после праздника.

— Он из Вое Део. Если труппа макилов все еще здесь, их скорее всего отправят домой. Кергат, вам надо выяснить этот вопрос и связаться с актером по имени Батикам.

— Он макил? — спросил молодой патриот, и его лицо исказилось от отвращения. — Один из ваших кривляк-гомосексуалистов?

Тейео быстро посмотрел на Солли. Терпение, терпение.

— Бисексуалов, — поправила Солли, не обращая внимания на предостерегающий взгляд. — И не кривляк, а актеров.

К счастью, Кергат пропустил ее слова мимо ушей.

— Он очень хитрый человек, — сказал Тейео. — С большими связями. Батикам поможет не только нам, но и вам. Поверьте, это стоит усилий. Лишь бы он оказался здесь. Вы должны поторопиться.

— С какой стати макил будет помогать нам? Он же из Вое Део.

— Не забывайте, что он раб, а не мужчина, — сказал Тейео. — Батикам является членом Хейма, рабского подполья, которое противостоит правительству Вое Део. Союз Экумены симпатизирует им. Представьте, какую вы получите поддержку, если макил расскажет в посольстве о том, что группа патриотов спасла посланницу от неминуемой смерти и теперь, рискуя всем своим благополучием, прячет ее в безопасном месте. Пришельцы со звезд будут действовать решительно и быстро. Я верно говорю, посол?

Быстро входя в роль авторитетной и важной персоны, Солли ответила кратким величественным кивком.

— Быстро и решительно, но осторожно, — сказала

она. — Мы стараемся избегать излишней жестокости и обычно используем политическое принуждение.

Молодой человек прикусил губу и задумался над предложением своих пленников. Понимая его смущение и осторожность, Тейео спокойно ожидал ответа. Он заметил, что Солли тоже неподвижно сидит на топчане, положив одну ладонь на другую. Она была худой и грязной. Немытые засаленные волосы свисали сосульками на плечи. Но она вела себя храбро, как отважный солдат, — особенно в эти минуты, когда все зависело от нервов. Он знал, чего ей стоило успокоиться и смирить свое гордое сердце.

Кергат начал задавать вопросы, и Тейео отвечал на них убедительно и степенно. Когда в разговор вступала Солли, Кергат прислушивался, хотя после ссоры и взаимных оскорблений демонстративно не замечал ее присутствия. В конце концов патриоты ушли, так и не сказав, что собираются предпринять. Но Кергат еще раз повторил имя Батикама и то сообщение, которое рега хотел передать в посольство: «Веоты на половинном жалованье охотно учатся петь старые песни».

Когда тяжелая дверь закрылась, Солли спросила у Тейео:

— Это какой-то пароль?

— Разве ты не знаешь человека по имени Старая Музыка?

— Знаю. А он что, твой друг?

— Почти.

— Он работает на Уэреле с самого начала. Наш первый наблюдатель. Очень уважаемый и умный человек. Да, он сделает все, чтобы вытащить нас отсюда... Что-то я вообще уже не соображаю. Знаешь, чего мне сейчас хочется? Лежать на берегу небольшого ручья в красивой маленькой долине. Лежать и пить проточную воду. Весь день. Просто вытягивать шею и пить. И чтобы вода серебрилась в сиянии солнца. О Боже, Боже! Я тоскую по солнечному свету. Тейео, мне так тяжело. Еще тяжелее, чем вчера или позавчера. Сижу и верю, что у нас действительно появилась надежда выбраться отсюда. Я пытаюсь отбросить ее, но у меня ничего не получается. О, как я устала от этого плена!

— Который теперь час?

— Половина девятого. Уже стемнело. О, как я хочу побыть в темноте! Послушай... А мы чем-нибудь можем при-

крыть эту чертову биопластину? Давай устроим себе ночь и день.

— Ты можешь дотянуться до нее, если станешь мне на плечи. Но как мы закрепим ткань?

Они с минуту смотрели на пластину.

— Не знаю, что и придумать, — сказала Солли. — А ты заметил, что маленькое пятно на ней увеличилось? Похоже, эта биопластина умирает. Может быть, нам не стоит тревожиться? Если мы задержимся здесь, темноты у нас окажется предостаточно.

— Ладно, — сказал Тейео с какой-то странной застенчивостью. — Я устал.

Он поднялся, потянулся и взглядом спросил разрешения войти на ее территорию. Попив воды, Тейео вернулся к топчану, снял китель и обувь, подождал, пока Солли не отвернется, затем снял брюки и укрылся одеялом. Его губы по привычке прошептали знакомые с детства слова: «О Камье всемогущий, позволь мне сохранить твердость ради благородной цели». Но он не заснул. Он слышал ее легкие движения: она сходила в туалет, попила воды и, сняв сандалии, легла на топчан.

Прошло какое-то время.

— Тейео.

— Да.

— А тебе не хочется... Наверное, это неправильно с моей стороны... Особенно в таких условиях... Скажи, ты хочешь меня?

Он долго не отвечал.

— В таких условиях не очень, — чуть слышно произнес Тейео. — Но там, в другой жизни...

Он смущенно замолчал.

— Короткая жизнь против длинной, — прошептала она.

— Да.

Наступило долгое молчание.

— Нет, все это только слова, — сказал он и повернулся к ней.

Они сжали друг друга в объятиях. Их тела сплелись, жадно и страстно, в слепой спешке, в порыве истосковавшихся сердец. Вместе с рычанием и стонами с их уст на разных языках срывалось имя бога, как благодарность за минуты счастья, как гимн всепобеждающей любви. А потом они прижимались друг к другу — истощенные, липкие, потные и в то же время обновленные и возрожденные нежностью тел. О, это древнее и бесконечное открытие! Неудержимый полет в новый мир!

Тейео просыпался медленно и легко, наслаждаясь близостью ее тела. Он мог коснуться губами розового соска или руки, которая гладила его волосы, шею и плечо. Он упивался счастьем, осознавая только этот ласковый ленивый ритм и прохладу гладкой женской кожи под своей щекой.

— Я вдруг поняла, что не знаю тебя, — сказала Солли. Ее голос исходил наполовину из груди, наполовину из уст. — Мне хотелось бы услышать историю твоей жизни. — Она прижалась к его лицу губами и щекой.

— А что ты хочешь узнать?

— Все-все. Расскажи мне, кто такой Тейео...

— Какой простой вопрос. Это тот мужчина, который держит тебя в объятиях.

— О господи! — рассмеялась она и на миг спрятала лицо в зловонном одеяле.

— О ком ты говоришь? — спросил он лениво и сонно.

Они говорили на языке Вое Део, но Солли часто использовала слова альтерранского наречия. В данном случае она употребила слово «Сеит», и поэтому Тейео спросил:

— Кто такой Сеит?

— Сеит для меня такое же божество, как Туал Милосердная или Владыка Камье. Я часто произношу это имя без должного повода. Дурная привычка, от которой мне никак не избавиться. А ты веришь в своих богов? Прости меня, Тейео! Рядом с тобой я чувствую себя глупой девчонкой. Все время сую свой длинный нос в твою душу, верно? Мы, пришельцы, как орды захватчиков, несмотря на то что кажемся такими мирными и самодовольными...

— Могу ли я выразить свою признательность уважаемой посланнице Экумены? — шутливо спросил Тейео, принимаясь гладить ее грудь.

— О да, — дрожа от страстного желания, ответила она. — Да! Да-а!

Как странно, что секс почти ничего не меняет в жизни, размышлял Тейео. Все осталось прежним, хотя их заключение начало казаться менее стеснительным и мрачным.

У них появился постоянный источник наслаждений, но и он зависел от количества воды и пищи, потому что требовал сил и настроения. Тем не менее секс дал ему что-то новое, и ни одно из слов — удобство, нежность, любовь и доверие — не могло вместить в себя это емкое и интимное чувство. Оно брало начало в единстве их тел и было огромным, как космос. И в то же время оно ничего не меняло в этом мире — даже в таком крохотном и жалком, как тюремная камера. Они по-прежнему находились в заточении. Они по-прежнему голодали и изнывали от жажды. И они все больше и больше боялись своих истеричных и злых тюремщиков.

— Я должна стать настоящей леди, — говорила Солли. — Хорошей девочкой. Подскажи, как это сделать, Тейео.

— Мне не хочется, чтобы ты отказывалась от самой себя. — Увидев слезы в ее глазах, он обнял Солли и прошептал: — Оставайся гордой. Не теряй твердость духа!

— Хорошо.

Когда в камеру приходили Кергат или другие патриоты, Солли вела себя спокойно. Она отворачивалась к стене или закрывала глаза, тем самым как бы отстраняясь от разговора мужчин. Глядя на нее в такие минуты, Тейео чувствовал унижение от такой покорности, но знал, что она права.

Загремели засовы, и дверь со скрипом открылась, вырывая его из кошмара, навеянного жаждой и голодом. К ним еще никогда не приходили так рано. В поисках уюта и тепла он и Солли заснули, прижавшись друг к другу. Увидев презрительную усмешку Кергата, Тейео испугался. До сих пор пленникам удавалось скрывать свою сексуальную близость. Полусонная Солли все еще цеплялась за его шею.

В комнату вошел второй мужчина. Кергат молчал. Тейео потребовалась почти минута, чтобы узнать Батикама. Но и после этого рега остался невозмутимым. Он лишь прошептал имя макила и умолк.

— Батикам? — прохрипела Солли. — О мой бог!

— Какой волнующий момент, — произнес Батикам бархатистым голосом.

Заметив на нем одежду гатайца, Тейео понял, что актер не был трансвеститом.

— Я не хотел смущать вас, посланница. И тем более вас, уважаемый рега. Я пришел сюда, чтобы предложить вам свою помощь. Надеюсь, вы не против?

Тейео протянул руку и достал свои грязные брюки. Солли спала в рваных кальсонах, которые ей дали тюремщики. Подвальный холод заставлял их спать в одежде.

— Вы были в посольстве, Батикам? — спросила она, надевая сандалии. Ее голос дрожал от надежды и волнения.

— О да. Сгонял туда и обратно. Извините, что это заняло так много времени. Боюсь, я не вполне понимал серьезность вашего положения.

— Кергат помогал нам, как только мог, — сдавленным голосом сказал Тейео.

— Да-да, я вижу. Огромный риск. Но теперь вам не о чем волноваться. Если только... — Актер посмотрел Тейео в глаза. — Рега, ваша гордость позволит вам отдаться в руки Хейма? Возможно, у вас есть какие-то возражения?

— Батикам, — оборвала его Солли. — Доверяйте ему, как мне!

Тейео завязал шнурки, поднялся с топчана и сказал:

— Все мы в руках Камье всемогущего.

Батикам ответил ему красивым вибрирующим смехом, который Тейео запомнил с первой встречи.

— Хорошо, я поправлюсь: не в руки Хейма, а в руки Камье всемогущего, — сказал макил и повел их из комнаты.

В «Аркамье» говорится: «Жить просто — это самое сложное в жизни».

Солли потребовала оставить ее на Уэреле и после длительного отпуска на одном из морских курортов была послана наблюдательницей в Южное Вое Део. Тейео уехал домой, так как его отец находился при смерти. После кончины отца он уволился из охраны посольства и прожил в родном имении два года, пока не скончалась его мать. За это время он и Солли виделись всего лишь несколько раз.

Похоронив мать, Тейео дал вольную всем рабам семьи, переписал на них поместье, продал на аукционе фамильные ценности и уехал в столицу. На встрече со Старой Музыкой он узнал, что Солли тоже приехала в посольство. Рега нашел ее в небольшом кабинете правительственного особняка. Она выглядела более зрелой и элегантной, хотя

и немного усталой. Визит Тейео удивил ее, но она и шагу не сделала, чтобы подойти и поприветствовать его. Вместо этого Солли тихо сказала:

— Меня отправляют на Йеове. Первым послом Экумены.

Тейео стоял и молча смотрел на нее.

— Я только что беседовала с главой нашей миссии на Хайне... — Она закрыла лицо руками. — О Боже! Что я говорю?

— Прими мои поздравления, Солли, — сказал Тейео и повернулся к двери.

Она подбежала к нему, обвила руками его шею и заплакала:

— Ах, милый. Я только сейчас узнала, что твоя мать умерла. Прости меня. Я никогда... Никогда... Я думала, мы будем вместе... Что ты собираешься делать дальше? Хочешь остаться здесь?

— Я продал всю свою собственность и теперь свободен как птица, — ответил Тейео. Ему хотелось прижать Солли к груди, но он сдержался. — Думаю вернуться на службу.

— Ты продал свое имение? А я даже не видела его!

— Я тоже не видел тех мест, где ты провела свою юность.

Наступила неловкая пауза. Солли разжала руки и отошла от Тейео. Они растерянно посмотрели друг на друга.

— Ты придешь еще? — спросила она.

— Приду, — ответил Тейео.

Через несколько лет Йеове вошла в союз Экумены. Посланница-мобиль Солли Агат Терва была направлена на Терру, а позже отозвана на Хайн, где, получив ранг стайбаиля, служила в дипломатическом корпусе союза. Во всех командировках и путешествиях ее сопровождал супруг, красивый и представительный мужчина, отставной офицер уэрелианской армии. Людей, знавших их достаточно близко, всегда поражали страстная нежность, гордость и верность этой пары. Солли часто говорила, что она одна из самых счастливых женщин на свете. У нее была прекрасная работа, награды за труд и любимый муж. Да и Тейео не выглядел печальным. Конечно, он скучал по своей далекой планете, но хранил твердость духа ради благородной цели.

Муж рода

СТСЕ

Вместе с отцом сидел он на берегу большой запруды. Словно разгорающиеся в ранних сумерках светлячки, перед глазами порхали невесомые искристые крылышки. Легкие круги на воде то и дело возникали, ширились и, набегая друг на друга, мелкой рябью угасали на безмятежной глади.

— Почему вода ведет себя так чудно? — спросил он у отца чуть ли не благоговейным шепотом и получил столь же негромкий ответ:

— Это арахи — когда пьют, крылом касаются поверхности.

Вот тогда и постиг он, что центр, образующая каждого такого круга — неутоленное желание, жажда. Затем настало время возвращаться домой, и мальчик, вообразив себя стремительно летящим арахой, помчался в сумерках впереди отца навстречу ярко освещенным уступам близкого городка на склоне холма.

Полное его имя звучало так: Маттин-Йехедархед-Дьюра-Га-Мурускетс Хавжива. «Хавжива» означало «обручальный агат» — небольшой камень с кварцевым пояском. Испокон веку в Стсе в чести названия камней. Все мальчики рода Неба, Иного Неба, потомки Незыблемого Скрещения, по древней традиции получали имена в честь камней или определенных мужских достоинств — таких, как отвага, терпимость, милосердие. Семья Йехедархед стойко придерживалась родовых обычаев. «Если не ведаешь, какого ты роду-племени, то не знаешь, кто ты сам», — говаривал Гранит, отец Хавживы. Тихий и любезный человек, с неуклонной серьезностью исполнявший отцовские обязанности, он любил изъясняться поговорками.

Гранит, естественно, был братом матери, то есть дядей мальчика — так, собственно, в их роду и считали отцовство. Мужчина, принимавший участие в зачатии Хавживы, жил на далекой ферме. Изредка бывая по делам в городе,

он неизменно заглядывал в гости, но всегда ненадолго. Ибо мать Хавживы, носившая титул Наследницы Солнца, свободным временем почти не располагала. Хавжива завидовал своей кузине Алоэ, у которой отец был старше ее лишь на шесть лет и играл с нею, точно настоящий старший брат. Еще сильнее завидовал он другим детям — их матери не облечены столь важными обязанностями. Хавжива почти не видел собственной — мать постоянно торопилась на очередной бал или в какой-нибудь безотлагательный вояж. Не имея постоянного мужа, она крайне редко проводила ночь в родных стенах. Вместе с ней было чудесно, но и непросто. Приходилось изображать из себя сынка важной госпожи, эдакого пай-мальчика, и Хавжива испытывал определенное облегчение, оставаясь дома один, с отцом, с ласковой и нетребовательной бабушкой или с ее сестрой, Распорядительницей Зимнего Бала, прибывшей с визитом вместе с мужем, или с другими родичами по Иному Небу, понаехавшими с ферм, или с прочими деревенскими гостями, которые в их доме не переводились.

В Стсе было всего два странноприимных имения — дом Йехедархедов и дом Дойефарадов, — и первые славились своим радушием, поэтому вся родня обычно у них и предпочитала останавливаться по приезде в город. Если бы гости не привозили с собой разную сельскую снедь, то, невзирая на громкий титул хозяйки дома, Йехедархедам приходилось бы несладко. Тово, мать Хавживы, немало зарабатывала учительством, отправлением ритуалов и прочей церемониальной помощью посторонним, но все, как в прорву, уходило на бесчисленных сородичей, на те же ритуалы, на всяческого рода торжества, празднества да и поминки.

— Богатство не может быть недвижным, — объяснял Гранит мальчику. — Деньги должны течь, как кровь в человеческих жилах. Попробуй только останови в себе кровоток — тут же получишь инфаркт и помрешь.

— Значит, старик Хеже скоро умрет? — полюбопытствовал мальчик. Этот сквалыга и гроша ломаного не истратил ни на родственников, ни на ритуалы, а от зоркого глаза Хавживы не ускользало ничто.

— Да, — согласился отец. — Его араха уже давно мертв.

Араха — это достоинство и гордость, особое свойство, присущее как мужчинам, так и женщинам. Но это одно-

временно и щедрость, и вкус к изысканным кушаньям, тонким винам, к красивой жизни вообще.

Точно так же зовется и щедро изукрашенный природой летучий зверек, полетами которого в сумерках — огненными росчерками над гладью водохранилища — и любовался по вечерам Хавжива.

Стсе — можно сказать, остров, отделенный от великого Южного материка непроходимыми топями и мелеющими в отлив протоками, где устроили себе гнездовья миллионы пернатых. На берегу сохранились руины колоссальных размеров древнего моста, изрядный его фрагмент выступал из воды у основания городского причала, возле волнолома. Следы строительной активности былых веков встречались по всему Хайну, и обитатели этого мира давно уже привыкли воспринимать их как естественную и неотъемлемую часть ландшафта. Разве только ребенок, маша ручонкой с пирса вслед отбывающей в морское путешествие родительнице, мог подивиться, зачем это понадобилось древним возиться со столь грандиозной постройкой, когда есть куда как более удобные средства сообщения — корабли да флайеры. «Может статься, тогда просто больше любили ходить пешком, — мог предположить он. — Мне же лично по душе плавание. Или полет».

Но высокоскоростные флайеры, так никогда и не приземляясь, только сверкали серебром в невероятной высоте над Стсе — из одних таинственных мест, где обитали историки, они летели в другие, не менее загадочные. Зато в гавани постоянно теснились проходящие суда, вот только нога представителя рода Хавживы крайне редко ступала на их борт. Испокон веку все его сородичи жили в городке Стсе — таков был раз и навсегда заведенный порядок вещей. Все познания, необходимые для подобной жизни, можно было получить на месте, не пускаясь в долгие морские странствия.

— Люди должны учиться быть людьми, — говорил отец. — Посмотри, к примеру, на дочурку Шеллы. Как упорно цепляется она ко всем: «Поцему так? Поцему эдак?»

«Почему» на языке Стсе звучало как «аова».

— Эта кроха часто лепечет нечто вроде «нга-а-а!», — заметил Хавжива.

— Конечно, — кивнул Гранит. — Ей еще только предстоит научиться выговаривать слова как следует.

Хавжива крутился вокруг малышки всю прошлую зиму, играя с ней и уча ее всему понемножку. Девочка доводилась ему дальней родственницей, седьмая вода на киселе, и прибыла из Этсахина вместе с матерью, отцом и его женой. Вся загостившаяся семейка, глядя, как охотно мальчик возится с пухлой и безмятежной глазастой крохой, как терпеливо повторяет ей «баба» да «гу-гу», чуть ли слезы умиления не проливала. И хотя собственной сестры, а значит, и перспективы стать настоящим отцом, у Хавживы не было, при таком пристрастии к возне с детьми он мог запросто заслужить со временем право и честь стать приемным отцом ребенку, чья мать не имела брата.

Хавжива посещал занятия в школе и в храме, учился церемониальным танцам, а также играл в местную разновидность футбола. В классах он отличался завидным прилежанием. И в футбольной команде считался далеко не последним игроком, хотя и не столь ярким, как лучшая его подружка из рода Потайного Кабеля по имени Йан-Йан, традиционном в ее роду для девочек — так называлась юркая морская птаха. До двенадцати лет мальчики и девочки в Стсе обучались совместно и одному и тому же. Йан-Йан считалась лучшей нападающей в школьной команде, и на второй тайм ее, как правило, передавали соперникам, чтобы хоть как-то уравнять игру и уйти с поля без слез и обид. Успехи Йан-Йан отчасти объяснялись тем, что уродилась она девочкой весьма рослой, но и в дриблинге ей тоже не было равных.

— Когда вырастешь, станешь, наверное, служителем при храме? — спросила она Хавживу, когда они вдвоем устроились на коньке крыши ее дома, чтобы полюбоваться церемонией первого дня Мистерии Високосных Богов, проводящейся раз в одиннадцать лет.

Торжества еще не начались, смотреть пока было не на что, и даже музыка из изношенных репродукторов, установленных на рыночной площади, доносилась слабо и с громкими потрескиваниями. Болтая ногами, друзья негромко беседовали.

— Нет, пожалуй. Лучше уж поучусь у отца ткацкому ремеслу, — задумчиво протянул мальчик.

— Хорошо тебе! Почему только глупым мальчишкам разрешается подходить к ткацким станкам?

Вопрос был чисто риторическим, и отвечать на него

Хавжива не стал. Женщины не ткут. Мужчины не обжигают кирпич. Люди Иного Неба не водят морские суда, зато занимаются ремонтом электронных устройств. Люди Потайного Кабеля не холостят скотину, но обслуживают генераторы. Таков извечный порядок вещей — ты делаешь что-либо для других, остальные — что-то для тебя. Одним ты вправе заняться, другим — нет.

По достижении половой зрелости друзьям предстояло принять самое первое в жизни самостоятельное решение — выбрать первую профессию. Йан-Йан уже определилась — собиралась пойти в подмастерья к каменщице. А кроме того, ее давно уже зазывали во взрослую футбольную команду.

Наконец внизу появился большой серебристый шар на длинных паучьих лапках, скачущий большими прыжками. При каждом прикосновении лап к земле вырывался яркий сноп искр. Шестеро в красном, в высоких белых масках, вопя что было сил, неслись следом и швыряли в шар цветную фасоль горстями. Хавжива и Йан-Йан, ахнув от восторга, свесились с крыши, чтобы лучше видеть, когда шар свернет на площадь за углом. Оба знали, что под личиной этого Високосного Бога скрывается Чирт, парень из Небесного рода, вратарь взрослой футбольной команды, знали, что он одержим божеством по имени Царстса, или Скачущий Мяч. Бог на время вселялся в тело человека, дабы личным присутствием почтить церемонию, и несся теперь вдоль улицы, сопровождаемый благоговейными восклицаниями, воплями притворного и неподдельного ужаса и осыпаемый благодатными дарами земли.

Захваченные спектаклем, друзья возбужденно смаковали малейшие детали: качество маскарадного костюма бога, невероятную длину прыжков, пиротехнические эффекты — и также прониклись благоговением, настолько великолепным оказалось зрелище. Бог уже давно пронесся мимо, а они все сидели в мечтательной задумчивости на своей крыше под нежарким, затянутым дымкой солнцем. Оба они были детьми, оба постоянно жили в согласии с повседневными своими богами. Сейчас же им довелось лицезреть необычного, редкостного бога. И они попросту опасались расплескать новые впечатления. Когда им еще доведется увидеть такое? Ведь для бессмертных богов время — ничто.

В пятнадцать лет Хавжива и Йан-Йан на пару сами стали богами.

Уроженцы Стсе в возрасте от двенадцати до пятнадцати лет находились под неусыпным надзором — великое бесчестье и неизгладимый позор тому роду, дому, семье, чей отпрыск утратит невинность преждевременно, без установленной церемонии. Девственность священна — горе тому, кто бездумно лишится ее. Сношения между полами священны — горе тем, кто вступает в них безрассудно. Допускалось и даже негласно поощрялось, чтобы мальчики в определенном возрасте мастурбировали и пускались в гомосексуальные эксперименты — но лишь до определенных пределов. На тех юношей, которые подпадали под подозрение в устоявшейся гомосексуальной связи или попытках уединиться с какой-либо девочкой, обрушивалась настоящая педагогическая буря, им просто проходу не было от нотаций, смешков и косых взглядов. Взрослый же за какие-либо поползновения в отношении девственника или девственницы рисковал должностью, правами собственности и мог даже стать изгоем.

Вступление в зрелость отнимало немало времени. Мальчиков и девочек долго учили распознавать и контролировать свое половое влечение, которое в хайнской физиологии рассматривалось как дело сугубо приватное. В результате в Стсе практически не было случаев незапланированной беременности. Зачатие могло произойти лишь по обоюдному решению мужчины и женщины. В тринадцать мальчиков начинали учить технике осмотрительного семяизвержения. Наставления, предупреждения и даже угрозы, в которых заключалась подобная премудрость, мало пугали подростков. Но через год-другой наступала пора проверки потенции, своеобразного порогового ритуала. Происходил он в столь таинственной атмосфере, окутывался такими строгостями, что мальчики изрядно трусили. Пройти такую проверку было делом чести каждого, неудача обрекала на страшный позор. И как большинство подростков, Хавжива с тревогой ожидал финальных процедур посвящения, скрывая страхи за маской мрачного безразличия.

Девочки же учились совсем иному. Народ в Стсе считал, что женский цикл плодородия делает их восприимчивее к премудростям продолжения рода, поэтому учеба, посвященная этому, была для них куда как менее обременительной. И пороговый ритуал носил характер своего рода празднества, скорее славословия, нежели запугивания, и порождал в их душах не страхи, а сладостное предвкушение. Годами женщины-педагоги, прибегая к красноречивым иллюстрациям, объясняли девочкам, чего будет добиваться от них мужчина, как привести его в состояние полной готовности, как дать понять, что нужно от него самой женщине.

Многие девочки интересовались, нельзя ли пока потренироваться друг с дружкой, но слышали в ответ лишь брань да нотации. «Нет, нельзя, запрещено категорически! Вот когда пройдете посвящение и станете взрослыми, — отвечали наставницы, — делайте что вздумается, но сперва каждой из вас следует пройти через положенную «двойную дверь».

Обряды посвящения проводились, когда ответственным за них удавалось собрать равное количество пятнадцатилетних мальчиков и девочек из городка и окрестных селений. Чтобы составить подходящую пару, зачастую приходилось выписывать кого-либо и из более отдаленных мест. Пышно наряженные, в непроницаемых масках, притихшие участники ритуала весь день танцевали на рыночной площади, чествуемые родней и зеваками, а к вечеру переходили в дом, должным образом освященный для финальной церемонии. Там в торжественной тишине они вкушали ритуальную трапезу, затем молчаливые служители в масках разбивали молодежь на пары и разводили по комнатам. Под масками большинство участников этой анонимной церемонии прятали благоговейный трепет.

Поскольку выходцы из рода Иного Неба имели право вступать в сношения лишь с уроженцами Первоисточника или Потайного Кабеля, Йан-Йан и Хавжива — а они оказались единственными представителями своих родов на церемонии — предугадали свою судьбу заранее. Они узнали друг друга и под масками уже в самом начале танцев. И как только остались одни в отведенном для них помещении, тут же сбросили маски. Встретились взглядом. И смущенно потупились.

На протяжении последних двух дет друзья встречались крайне редко и совершенно не виделись все долгие последние месяцы. Хавжива как следует раздался в плечах и почти догнал подругу ростом. Перед каждым из них пред-

стал как бы незнакомец. Они молча приблизились друг к другу, и каждый подумал: «Так вот с кем мне придется пройти через это». Они коснулись друг друга, и в них вошел бог — бог, ради которого они и пришли к своему порогу. Они стали слово, и слово это было бог. Сперва бог неловкий и неуклюжий, но зато после — ослепительно прекрасный.

Покинув на следующий день ритуальный дом, они пришли домой к Йан-Йан.

— Отныне Хавжива будет жить здесь со мной, — объявила Йан-Йан как взрослая женщина. И все члены ее семьи, приняв ее слова как должное, почтительно приветствовали молодых.

Когда Хавжива вернулся к себе домой за вещами, там тоже никто не выказал удивления, все только сердечно поздравляли, а пожилая родственница из Этсахина отпустила весьма двусмысленную шуточку. Отец сказал Хавживе:

— Вот теперь ты настоящий мужчина из дома Йехедархед. Всегда будем ждать тебя к обеду.

С тех пор Хавжива ночевал только у Йан-Йан, завтракал с нею, а к обеду возвращался домой. Повседневную свою одежду он перенес в новый дом, а за одеждой для танцев и церемоний постоянно забегал к родителям. Учеба его заключалась теперь в освоении ткацких премудростей на больших станках и в изучении космогонии. Вместе с Йан-Йан он стал играть за взрослую сборную по футболу.

Хавжива чаще виделся теперь и с собственной матерью — когда ему стукнуло семнадцать, она предложила изучать под своим руководством культ Солнца, связанные с ним обряды, ведение торгового баланса, хитрости обменного рынка для фермеров Стсе и искусство торговли с купцами иных родов и заезжими чужестранцами. Детали обрядов следовало затвердить назубок, торговый же протокол изучался на практике.

Вместе с матерью Хавжива стал посещать торговые ряды, окрестные фермы и даже совершал вояжи через залив в города на континенте. С легкостью и даже удовольствием отвлекся он от опостылевших ткацких узоров, от которых пухла голова. Морские прогулки оказались весьма и весьма приятными, работа на континенте — чрезвычайно любопытной. Авторитет матери, ее компетентность, острота ума и бесконечный такт оставляли неизгладимое впе-

чатление. Присутствие среди служителей Солнца на переговорах с группой почтенных торговцев, восхищение замечательным дипломатическим искусством матери и ее помощников сами по себе были ему лучшей наукой. Мать никогда ни на кого не давила, взяв на себя в переговорах только направляющую и умиротворяющую роль. Изучение сложнейших вопросов, посвященных культу Солнца, требовало многолетнего опыта, и при матери были помощники, поступившие в учение задолго до Хавживы. Но она находила сына чрезвычайно способным. «У тебя, сынок, есть настоящий дар убеждения, — сказала она как-то, когда лодка везла их домой из очередной поездки и в мглистом полуденном мареве над золотистой водой уже замаячили зыбкие крыши родного Стсе. — Ты мог бы наследовать Солнцу, если пожелаешь».

«А пожелаю ли я?» — колебался Хавжива. Он спрашивал сам себя и вместо внятного ответа от внутреннего своего бога получал лишь какие-то смутные ощущения. Занятие само по себе вроде бы ничего. Никаких тебе раз и навсегда затверженных шаблонов, как в ремесле ткача. Путешествия, общение с самыми разными людьми — это ему по душе, это давало возможность узнавать от чужеземцев нечто неведомое, постоянно учиться новому.

— Скоро в гости к нам пожалует подружка твоего отца, — сообщила мать.

Хавжива погрузился в раздумья. Гранит никогда не был женат. Обе женщины, родившие от него детей, жили в Стсе и далеко никогда не уезжали. Он промолчал, понимая, что деликатная пауза — среди взрослых лучший способ дать понять, что ты ждешь продолжения.

— Они тогда были еще совсем молоды. Детей не нарожали, — пояснила Тово. — Затем она уехала, сделалась историком.

— А-а! — удивленно протянул Хавжива. Никогда прежде он не слыхал о ком-либо, кто стал бы историком. Это казалось невероятным — так же, как чужеземцу стать уроженцем Стсе. Ты тот, кем уродился. Где родился, там и живешь.

Пауза так затянулась, что Тово не могла не понять ее смысл. Добрая доля ее педагогического искусства как раз и заключалась в точном знании, когда следует продолжать,

а когда пора остановиться. Сейчас она предпочла промолчать.

Когда лодка, замедлив ход, причаливала к пирсу, сооруженному на останках древнего моста, Хавжива все же не удержался и спросил:

— А эта приезжая, историк, она из рода Кабеля или Первоисточника?

— Из рода Потайного Кабеля, — ответила мать. — Ох, как же у меня затекли ноги! Просто одеревенели! И неудивительно, когда плывешь на деревянном сундуке.

Женщина, правившая лодкой, перевозчица из рода Травы, обиженно округлила глаза, но смолчала и не стала защищать свое послушное и юркое детище.

— К вам как будто приезжает родственница? — тем же вечером спросил Хавжива у Йан-Йан.

— А, да, было такое сообщение. — Йан-Йан имела в виду телеграмму, поступившую в информационный центр Стсе и переадресованную на домашний рекордер. — Мать сказала, что она остановится в вашем доме. Ты-то сам что нового повидал сегодня в Этсахине?

— Просто встречался с несколькими служителями Солнца. А ваша родственница, она что, на самом деле историк?

— Все они там слегка чокнутые, — равнодушно заметила Йан-Йан и, усевшись верхом на обнаженного Хавживу, стала массировать ему спину.

Когда загадочная гостья — маленькая и худощавая женщина лет пятидесяти по имени Межа — наконец прибыла, Хавжива сразу убедился, что безумием здесь и не пахнет. Межа носила традиционную для Стсе одежду и разделяла свой завтрак с кем угодно. Светлые глаза лучились тихой радостью, но лишних слов она не говорила. Ничто в ней не выдавало, что перед вами женщина, отринувшая общественные устои, творящая то, что женщине отнюдь не к лицу, порвавшая отношения с собственным родом и избравшая иной образ жизни. Хавжива подозревал, что женщина-историк должна состоять в непристойном браке с отцом собственных детей, а на досуге может заниматься ткачеством и даже холостить скотину. Но никто от Межи не шарахался, а после завтрака старики ее рода устроили настоящую церемонию в честь прибытия редкой гостьи, тем самым приняв ее как самую дорогую родственницу.

Интерес к ней у Хавживы не иссякал. Любопытствуя, что гостья собирается делать в Стсе, он приставал к Йан-Йан с расспросами, пока та не отрезала:

— Не имею ни малейшего понятия, что Межа думает здесь делать! Я не умею читать мысли чокнутых историков. Спроси ее сам!

Когда Хавжива понял, что боится поступить так, как советует Йан-Йан, боится без всякой на то причины, он решил, что его посетило некое божество и тому что-то понадобилось от него. Тогда юноша поднялся в холмы и выбрал плоский камень, удобный для долгих раздумий. Далеко внизу темнели крыши и белели стены домов Стсе, прилепившихся к крутым склонам, посреди полей и садов серебрились пятна прудов. За сушей до самого горизонта простиралось равнодушное море. Он провел там в тишине целый день, погрузившись в созерцание моря и собственной души. Затем вернулся на ночлег в родительский дом. Когда поутру Хавжива пришел завтракать к Йан-Йан, та только внимательно взглянула и ничего не сказала.

— Я постился, — виновато сообщил он.

Йан-Йан пожала плечами.

— Тогда приятного аппетита! — сказала она, присаживаясь.

После завтрака Йан-Йан отправилась на работу. Хавжива остался, хотя его и ожидали в ткацкой мастерской.

— О Мать Всех Детей, — обратился он к историку, выбрав для первой беседы самый что ни на есть почтительный титул, с каким только мужчина из одного рода может обратиться к женщине другого. — Существуют вещи, которых я не знаю, а ты знаешь.

— Всем, что знаю, поделюсь с превеликим удовольствием, — ответила она с такой готовностью, словно всю жизнь провела в Стсе. Затем улыбнулась и упредила следующий вопрос Хавживы: — Все, что дано тебе, передашь другим. — Подобная формула отвергала возможные предложения платы за учебу. — Только давай-ка мы с тобой перейдем на площадь.

Рыночная площадь в Стсе была общепринятым местом для бесед. Любой мог сидеть здесь на ступенях или возле фонтана, или же в тени галерей, глазея на череду прохожих. Хавживе уютнее было бы в более укромном месте, но, прислушавшись к своему внутреннему богу, он подчинился.

Они устроились в нише основания фонтана и принялись беседовать, лишь изредка прерываясь, чтобы поприветствовать знакомых.

— Почему ты... — начал было Хавжива и запнулся.

— Почему уехала? И куда? — Ясноглазая, как араха, Межа подняла взгляд, чтобы проверить свою догадку по выражению лица собеседника.

— Да... Конечно, у нас с Гранитом, твоим отцом, была любовь, настоящая любовь, но иметь детей не получалось, а он так страстно желал ребенка... Ты удивительно похож на него тогдашнего. Мне приятно смотреть на тебя... Ну вот, в этом и заключалась моя главная беда. И ничто здесь уже не радовало. А еще я знала, как следует устроить все здесь, в Стсе. Вернее, думала, что знаю это лучше других.

Хавжива понимающе кивнул.

— Я служила при храме. Принимала сообщения, передавала их дальше и постоянно искала в этом какой-либо смысл. И мне открылось, что за пределами Стсе существует огромный неведомый мир. Почему же мне суждено всю жизнь провести именно здесь? Смириться с этим было трудно. Тогда я начала общаться кое с кем из тех, кто, как и я, служил при храмах на передаче информации. Кто ты, чем занимаешься, где живешь, каково там у вас?.. Вскоре меня связали с группой историков, которые, как и мы с тобой, родились в городках, а тогда как раз разыскивали людей вроде меня, но скорее чтобы убедиться в тщетности подобных поисков...

Это тоже было вполне понятно, и Хавжива снова кивнул.

— Я стала задавать вопросы. Они тоже. Историки это умеют, ведь это их хлеб. Вскоре я уже знала, что у них есть свои особенные школы, и поинтересовалась, нельзя ли попасть в одну из таких. Они прислали в Стсе своих представителей, те поговорили со мной, с родителями, с другими людьми — выясняли, не причинит ли мой отъезд каких-либо неприятностей. Стсе ведь весьма консервативный городок. У них там уже четыре столетия не было ни единого историка — выходца из наших мест.

Межа улыбнулась приятной мимолетной улыбкой, но юноша слушал весьма напряженно и веселости не выказал. Женщина не сводила с него ласково светящихся глаз.

— Народ у нас был потрясен, конечно, но никто особенно не рассердился. Поэтому вскоре я и отбыла вместе с историками. Мы улетели в Катхад. Там есть школа. Мне стукнуло полных двадцать два года, когда я начала свое образование сызнова. Я полностью изменила свое бытие, я училась быть историком.

— Как это? — спросил Хавжива после продолжительной паузы.

Межа глубоко вздохнула.

— Очень просто. Задавая прямые вопросы, — ответила она. — Как и ты сейчас. Плюс решительным отказом от всего своего прежнего знания.

— Как это? — повторил Хавжива, не веря своим ушам. — Почему?

— Подумай сам. Кем я была, когда уезжала? Женщиной из рода Потайного Кабеля. Когда оказалась там, от подобного титула пришлось отказаться. Там я вовсе не женщина из рода Потайного Кабеля. Я просто женщина. Могу вступить в связь с кем угодно по собственному усмотрению. Могу избрать любую профессию. Родовые ограничения имеют значение здесь, но не там. Там их нет вовсе. Здесь они в чем-то даже полезны, играют весьма важную роль, но за пределами этого тесного мирка теряют всякий смысл. — Межа разгорячилась. — Существуют два вида знания — локальное, то есть местное, и всеобщее, универсальное знание. А также два вида времени — местное и историческое.

— А может, и боги там совсем иные?

— Нет, — решительно возразила она. — Там нет их вовсе. Все боги здесь.

Межа заметила, как вытянулось лицо юноши. И после паузы добавила:

— Зато там есть души. Множество человеческих душ, сознаний, исполненных знания и страстей. Души живых и давно усопших. Души людей, обитавших на этой земле сотни, тысячи, даже сотни тысяч лет тому назад. Сознания и души людей из иных миров, удаленных от нас на сотни световых лет. И все с уникальным знанием, со своей собственной историей. Мир священен, Хавжива. Космос — это святыня. У меня, собственно, не было знания, от которого пришлось бы отречься. Все, что я знала, все, чему когда-либо училась, — все лишь подтверждение этому. В мире не существует ничего, что не было бы священно. — Она понизила голос и снова заговорила медленно, как

местная уроженка: — Тебе самому предстоит сделать выбор между святостью здешней и великой единой. В конце концов, они, по существу, одно и то же. Но только не в жизни конкретного человека. Там знание предоставляет человеку выбор — измениться или остаться таким, каков ты есть, река или камень. Роды, обитающие на Стсе, — это камень. Историки — река.

Поразмыслив, Хавжива возразил:

— Но ведь русло реки — это тоже камень.

Межа рассмеялась, ее взгляд снова остановился на нем — вдумчивый и приязненный.

— Мне, пожалуй, пора, — сказала она. — Устала немного, пойду прилягу.

— Так ты теперь не... ты больше не женщина своего рода?

— Это там. Здесь я по-прежнему принадлежу роду. Это навсегда.

— Но ты ведь изменила свое бытие. И скоро снова покинешь Стсе.

— Конечно, — без промедления ответила Межа. — Человек может принадлежать более чем одному виду бытия разом. И у меня там работа.

Тряхнув головой, Хавжива сказал — медленнее, чем его собеседница, но столь же непреклонно:

— Что проку в работе, если ты лишаешься своих богов? Мне невдомек это, о Мать Всех Детей, моим слабым умом того не постичь.

Межа загадочно улыбнулась.

— Полагаю, ты поймешь то, что захочешь понять, о Муж Моего Рода, — ответила она церемониальным оборотом, позволяющим собеседнику закончить разговор и откланяться в любой момент, когда только вздумается.

Мгновение помешкав, Хавжива ушел. Направляясь в мастерские, он снова без остатка погрузился в мир затверженных назубок шаблонных ткацких узоров.

В тот же вечер он приятно удивил Йан-Йан неистовым любовным пылом и довел ее буквально до изнеможения. В них как будто опять на время вселился бог — воспылал и вновь погас.

— Хочу ребенка, — объявил вдруг Хавжива, когда они, не размыкая влажных объятий, переводили дух в мускусной тьме.

— Ой... — поморщилась Йан-Йан, не в состоянии ни думать, ни решать, ни спорить. — Немного позже... Скоро...

— Сейчас, — настаивал он. — Сегодня.

— Нет, — сказала она мягко, но властно. — Помолчи!..

И Хавжива замолчал. А Йан-Йан вскоре уснула.

Больше года спустя, когда им стукнуло девятнадцать, Йан-Йан сказала как-то, прежде чем погасить свет на ночь:

— Хочу ребеночка.

— Еще не время.

— Почему? Ведь моему брату уже скоро тридцать. И жена его ничуть не возражает — ей даже хочется, чтобы рядом вертелся эдакий пухленький живчик. А когда выкормлю ребенка, перейдем ночевать в дом твоих родителей. Ты ведь всегда желал этого.

— Еще не время, — повторил Хавжива. — Я еще не хочу.

Повернувшись к нему лицом, Йан-Йан обиженно поинтересовалась:

— А чего же ты хочешь тогда?

— Пока не знаю.

— Ты собрался уйти. Ты намереваешься покинуть род. Ты хочешь податься в безумцы. А все эта женщина, эта проклятущая ведьма!

— Никаких ведьм не существует, — холодно ответил Хавжива. — Глупые бабушкины сказки. Детские суеверия.

Они уставились друг на друга — лучшие в мире друзья, пылкие любовники.

— Тогда что же не так, Хавжива? Если хочешь перебраться в родительский дом, так и скажи. Если приглянулась другая, ступай к ней. Но сперва дай мне ребенка! Прошу тебя. Неужели ты уже совсем утратил своего араху?

Ее глаза наполнились слезами.

Хавжива спрятал лицо в ладони.

— Все не так, — пробормотал он. — Все неправильно. Все вроде бы делаю как принято, но меня не оставляет чувство — ты назовешь это безумием, — что можно и по-другому. Что есть другие способы...

— Есть только один способ жить правильно, — прервала Йан-Йан. — Тот, что я знаю. И там, где я живу. Есть только один способ делать детей. Если тебе известен другой, пойди и попробуй с кем-нибудь еще! — Она сорвалась

на крик, напряжение последних месяцев разом выплеснулось в истерике, и Хавживе оказалось непросто успокоить ее, баюкая в нежных объятиях.

Когда Йан-Йан снова оказалась в состоянии говорить, она отвернулась к стене и глухо, хрипловатым голосом спросила:

— Ты дашь знать, когда соберешься уходить, Хавжива?

Прослезившись от стыда и жалости, он шепнул ей:

— Да, любимая.

В эту ночь они уснули, точно малые дети, пытаясь утешиться друг у друга в объятиях.

— Я опозорен, опозорен навеки! — простонал Гранит.

— Разве ты так уж виноват в том, что это случилось? — сухо спросила сестра.

— А я знаю? Может, и виноват. Сперва Межа, а теперь вот еще и мой сын. Может, я был слишком суров с ним?

— Думаю, нет.

— Тогда слишком мягок! Видно, плохо учил! Отчего он утратил разум?

— Хавжива вовсе не обезумел, брат мой. Изволь выслушать, как расцениваю случившееся я. Его, точно дитя малое, постоянно мучило, почему так да почему этак. Я отвечала: «Так уж все заведено, так делается испокон веку». И он вроде бы все понимал и соглашался. Но в душе его не было покоя. Со мной такое тоже случается, если вовремя себя не одернуть. Изучая премудрости Солнца, он постоянно спрашивал меня, почему, мол, именно так, а не как-то иначе. Я отвечала: «Во всем, что делается изо дня в день, и в том, как это делается, мы олицетворяем собой богов». Тогда, замечал он, боги — лишь то, что мы делаем. В каком-то смысле да, соглашалась я, в том, что мы делаем правильно, боги присутствуют, это верно, в том и заключается истина. Но он все же не был до конца удовлетворен этим. Хавжива не безумен, брат мой, он просто охромел. Он не может идти. Он не в силах идти с нами. А как должен поступать мужчина, если он не в силах идти дальше?

— Присесть и спеть, — медленно сказал Гранит.

— А если он не умеет спокойно сидеть? Не может летать?

— Летать?

— У них там найдутся крылья для него, брат мой.

— Позор, какой позор!. — Гранит спрятал пылающее лицо в ладонях.

Посетив храм, Тово отправила сообщение в Катхад для Межи: «Твой ученик изъявил желание составить тебе компанию». В словах депеши читалась неприкрытая обида. Тово винила историка в том, что сын утратил присутствие духа, был выведен из равновесия и, как выражалась она, душевно охромел. А также ревновала к женщине, которой в считанные дни удалось зачеркнуть все, чему сама она посвятила долгие годы. Тово сознавала свою ревность и даже не пыталась ее унять или скрыть. Какое значение имеют теперь ее ревность и унижение брата? Им обоим осталось лишь оплакивать собственное поражение.

Когда судно на Даху легло на курс, Хавжива обернулся, чтобы в последний раз окинуть взглядом Стсе. При виде одеяла из тысячи лоскутков зелени разных оттенков — буроватых топей, отливающих золотом колосящихся полей, пастбищ, обведенных ниточками плетней, цветущих садов — защемило сердце; город своими серыми гранитными и белыми оштукатуренными стенами карабкался ввысь по крутым склонам холмов, черные черепичные крыши наползали одна на другую. Издали город все больше и больше походил на птичий базар — весь в пятнышках пернатых его обитателей. Над утопающим в дымке Стсе, упираясь в невысокие кудреватые облака, вздыбились иссиня-серые вершины острова, припудренные настоящими птичьими стаями.

В порту Дахи, хотя Хавживе и не доводилось еще забираться так далеко от родных мест и люди здесь говорили с чудным акцентом, он все же почти все понимал и с интересом глазел на вывески, которых прежде не видывал. Хавжива сразу же признал их бесспорную полезность. По ним он легко нашел дорогу к залу ожидания флайеропорта, откуда предстояло лететь в Катхад. Народ в зале ожидания, завернувшись в одеяла, дремал на лавочках. Отыскав свободное местечко, Хавжива тоже улегся и накрылся одеялом, которое несколько лет назад соткал для него Гра-

нит. После необычно краткого сна появились люди в униформах с фруктами и горячими напитками. Один из них вручил Хавживе билет. Ни у кого из пассажиров не было знакомых в этом зале, все здесь были странники, все сидели, потупившись. После объявления по трансляции все похватали чемоданы и направились к выходу. Вскоре Хавжива уже сидел внутри флайера.

Когда мир за бортом стал стремительно проваливаться вниз, Хавжива, шепча тихонько «напев самообладания», заставил себя глядеть в иллюминатор. Путешественник на сиденье напротив тоже зашевелил губами.

Когда мир вдруг вздыбился и стал заваливаться набок, Хавжива невольно зажмурился и затаил дыхание.

Один за другим они покидали флайер, выходя в дождливую тьму. Повторяя имя гостя, из темноты вдруг вынырнула Межа.

— Добро пожаловать в Катхад, Хавжива, добро пожаловать, Муж Моего Рода! Рада видеть тебя. Пойдем же, пойдем скорее! В школе уже заждались, для тебя там приготовили отличное местечко.

КАТХАД И ВЕ

На третьем году пребывания в Катхаде Хавжива уже знал немало такого, что прежде его рассудок попросту бы отверг. Прежнее знание тоже было весьма неоднозначным, но не столь ошеломляющим. Построенное на притчах и сказаниях, оно обращалось скорее к чувствам и всегда вызывало живой отклик. Новое — сплошь факты да резоны — не оставляло места эмоциям.

К примеру, Хавжива узнал, что изучают историки вовсе не историю. Человеческие разумение и память оказывались почти бессильными перед трехмиллионолетней историей Хайна. События первых двух миллионов, так называемая Эпоха Предтеч, спрессованные, точно каменноугольные пласты, настолько деформировались под весом бесконечной череды последующих тысячелетий, что по уцелевшим крохам удавалось воссоздать лишь самые основные вехи. Если кому-то и удалось бы вдруг обнаружить чудом уцелевший письменный памятник, датированный той далекой эпохой, что могло измениться? Такой-то ко-

роль правил тогда-то и тогда-то в Азбахане, Империя некогда обратилась в язычество, на Ве однажды рухнул потерявший управление ракетоплан... Находка попросту затерялась бы в круговерти царей, империй, нашествий, среди триллионов душ, обитавших в миллионах давно исчезнувших государств: монархий, демократий, олигархий и анархий, — в веках хаоса и тысячелетиях относительного порядка. Боги громоздились здесь пантеон на пантеон, бесчисленные баталии на миг сменялись мирной жизнью, свершались великие научные открытия, бесследно канувшие затем в Лету, триумфы наследовали кошмарам — словно шла некая беспрерывная репетиция сиюминутного настоящего. Что проку пытаться описать капля за каплей течение полноводной реки? В конце концов, махнув рукой, ты сдашься и скажешь себе: «Вот великая река, она течет здесь испокон веку и имя ей — История».

Осознание того, что собственная его жизнь, как и жизнь любого смертного, — лишь мгновенная мелкая рябь на поверхности этой реки, порой повергало Хавживу в отчаяние, а порой приносило ощущение подлинного покоя.

На самом же деле историки занимались преимущественно кропотливым изучением мимолетных турбуленций в той самой реке. Хайн уже несколько тысячелетий кряду переживал период относительной стабильности, отмеченный мирным сосуществованием множества небольших полузамкнутых социумов (историки прозвали их пуэбло, или резервациями), технологически вполне развитых, но с невысокой плотностью населения, тяготеющего в основном к информационным центрам, гордо именуемым храмами. Многие из служителей этих храмов, в большинстве своем историки, проводили жизнь в нескончаемых путешествиях с целью сбора любых сведений об иных населенных мирах у пояса Ориона, сведений о планетах, колонизированных далекими предками еще в Эпоху Предтеч. И руководствовались они лишь бескорыстной тягой к познанию, своего рода детским любопытством. Они уже нащупали контакты с давно утраченными в безбрежном космосе собратьями. И стали именовать зарождающееся сообщество обитаемых миров заемным словом «Экумена», которое означало: «Населенная разумными существами территория».

Теперь Хавжива понимал, что все его предыдущие по-

знания, все, что он сызмальства изучал в Стсе, может быть сведено если и не к обидному ярлычку, то к весьма пренебрежительной формуле: *«Одна из типичных замкнутых культур пуэбло на северо-западном побережье Южного материка»*. Он знал, что верования, обряды, система родственных отношений, технология и культурные ценности разных пуэбло совершенно отличны друг от друга — один пуэбло экзотичнее другого, а родной Стсе занимает в этом списке одно из самых заурядных мест. И еще он узнал, что подобные социумы складываются в любом из известных миров, стоит лишь его обитателям укрыться от знания, приходящего извне, подчинить все свои стремления тому, чтобы как можно лучше приспособиться к окружающей среде, рождаемость свести к минимуму, а политическую систему — к вечному умиротворению и консенсусу.

На первых порах такое прозрение Хавживу обескуражило. И даже причиняло душевные муки. Порой бросало в краску и выводило из себя. Он решил было, что историки утаивают подлинное знание от обитателей пуэбло, затем — что старейшины пуэбло скрывают правду от своих родов. Хавжива высказывал свои подозрения учителям — те мягко разуверяли его. «Все это не совсем так, как ты полагаешь, — объясняли они. — Тебя прежде учили тому, что определенные вещи — это правда иди жизненная необходимость. Так оно и есть. Необходимость. Такова суть местного знания Стсе».

«Но все эти детские, неразумные суеверия!» — упирался Хавжива. Учителя смотрели с немым ласковым укором, и он понимал, что сам ляпнул нечто детское и не вполне разумное.

«Местное знание — отнюдь не часть некоего подлинного знания, — терпеливо объясняли ему. — Просто существуют различные виды знания. У всех свои достоинства и недостатки. У каждого своя цель. Знание историков и знание ученых — всего лишь два из великого многообразия этих видов. Как и всякому местному, им следует долго учиться. В пуэбло действительно обучают не так, как в Экумене, но это отнюдь не означает, что от тебя что-то скрывали — мы или твои прежние учителя. Каждый хайнец имеет свободный доступ ко всей информации храмов».

Хавжива знал, что это сущая правда. То, что он изучал теперь, он и сам мог прежде прочитать на экранах, установленных в храме Стсе. И некоторые из нынешних его однокашников, уроженцы иных пуэбло, сумели таким способом познакомиться с историей даже прежде, чем встретились с самими историками.

«Но книги, ведь именно книги — главная сокровищница знаний, а где их найдешь в Стсе? — продолжал взыскивать к своим учителям Хавжива. — Вы скрываете от нас книги, все книги из библиотеки Хайна!» — «Нет, — мягко возражали ему, — пуэбло сами избегают обзаводиться лишними книгами. Они предпочитают жить разговорным или экранным знанием, передавать информацию изустно, от одного живого сознания к другому. Признайся, разве такой способ обучения сильно уступает книжному? Разве намного больше ты узнал бы из книг? Есть множество различных видов знания», — неустанно твердили историки.

На третьем году учебы Хавжива пришел к выводу, что существуют также различные типы людей. Обитатели пуэбло, неспособные смириться и принять, что мироздание есть нечто незыблемое, своим беспокойством обогащали мир интеллектуально и духовно. Те же из них, кто не успокаивался перед неразрешимыми загадками, приносили больше пользы, становясь историками и пускаясь в странствия.

Тем временем Хавжива учился спокойному общению с людьми, лишенными рода, близких, богов. Иногда в приступе необъяснимой гордыни он заявлял самому себе: «Я гражданин Вселенной, частица всей миллионолетней истории Хайна, моя родина — вся Галактика!» Но в иные моменты он, остро чувствуя собственную ничтожность и неполноценность, забрасывал опостылевшие учебники и экраны и искал развлечений в обществе других школяров, в особенности девушек, столь компанейских и всегда дружелюбных.

К двадцати четырем годам Хавжива, или Жив, как прозвали его новые товарищи, уже целый год обучался в Экуменической школе на Ве.

Ве, соседняя с Хайном планета, была колонизирована уже целую вечность, на первом же шагу беспредельной хайнской экспансии Эпохи Предтеч. С тех пор одни исторические эпохи сменялись другими, а Ве всегда оставалась

спутником и надежным партнером хайнской цивилизации. К настоящему времени основными ее обитателями были историки и чужаки.

В текущую эпоху (по меньшей мере вот уже сто тысяч лет), отмеченную политикой самоизоляции и полного невмешательства в чужие дела, хайнцы оставили Ве на произвол судьбы, и климат планеты без человеческого участия постепенно вернулся к былым холодам и засухам, а ландшафт снова стал суровым и бесцветным. Пронзительные ветра оказались по нраву лишь уроженцам высокогорий Терры и выходцам из гористого Чиффевара. Живу климат тоже пришелся по вкусу, и он любил прогуливаться по безлюдным окрестностям вместе со своей новой однокашницей Тью, другом и возлюбленной.

Познакомились они два года назад еще в Катхаде. Тогда Хавжива неустанно наслаждался доступностью любой женщины, свободой, которая лишь забрезжила перед ним и от которой деликатно предостерегала Межа. «Тебе может показаться, что нет никаких правил, — говорила она. — Тем не менее правила есть, они существуют всегда». Но Хавжива не уставал любоваться и восхищаться собственным бесстрашием и беззаботностью, преступая эти самые правила, дабы разобраться в них. Не всякая женщина желала заниматься с ним любовью, некоторых, как открылось ему позднее, привлекали отнюдь не мужчины. И все же круг выпадавших на его долю возможностей оставался поистине неисчерпаемым. Хавжива обнаружил вдруг, что считается вполне привлекательным. А также, что хайнец среди чужаков обладает определенными преимуществами.

Расовые отличия, позволяющие хайнцу контролировать потенцию и вероятность оплодотворения, не были простой игрой генов. Это был результат продуманной и радикальной перестройки человеческой психологии, осуществляемой на протяжении по меньшей мере двадцати пяти поколений — так считали историки-хайнцы, изучавшие вехи новейшей истории и полагавшие известными главные шаги, приведшие к подобной трансформации. Однако, похоже, подобным искусством владели еще древние. Правда, они предоставляли колонистам, остающимся в иных мирах, самим решать свои проблемы — в том числе и эту, важнейшую из гетеросексуальных проблем. И решений нашлось бесконечное множество, многие из них весьма остроумные, но во всех случаях, чтобы избежать зачатия, приходилось все же что-либо надевать, вставлять или принимать вовнутрь — кроме как при сношении с уроженцем Хайна.

Жив был до глубины души оскорблен, когда однажды девушка с Бельдене усомнилась в его способности уберечь ее от беременности.

— Откуда тебе *знать*? — подивилась она. — Может, для полной *безопасности* мне все же стоит принять нейтрализатор?

Задетый за живое, он нашелся с ответом:

— Думаю, для тебя самым безопасным будет вообще со мной не связываться.

К счастью, никто более ни разу не усомнился в его прямоте и честности, и Жив вовсю предавался любовным утехам, беззаботно меняя партнерш, покуда не повстречался с Тью.

Она была отнюдь не из чужаков. Жив предпочитал мимолетные связи с женщинами из иных миров — это придавало остроту ощущениям и, как он полагал, обогащало новыми знаниями, к чему и следовало стремиться каждому настоящему историку. Но Тью оказалась хайнкой. Она, как и все ее предки, родилась и выросла в Дарранде, в семье историков. Она была такое же дитя историков, как Жив — отпрыск своего рода. И юноша очень скоро обнаружил, что новое чувство со всеми его проблемами куда прочнее прежних шальных связей, что несходство их характеров — вот настоящая пропасть, а сходство в чем-либо — уже подлинное сродство. Тью оказалась для Жива той землей обетованной, ради которой он и пустился в плавание, покинув родину. Она была такой, каким он только стремился стать. Она стала для него также всем тем, по чему он уже давно истосковался.

Главное, чем обладала Тью — или Хавживе так лишь казалось? — это совершенное равновесие. Когда Жив проводил время в одной с ней компании, он чувствовал себя младенцем, который только собирается сделать первые в своей жизни шаги. И, кстати, даже ходить учился, как Тью — грациозно и беззаботно, словно дикая кошка, и в то же время осторожно, выявляя на своем пути все, что может вывести из равновесия, и пользуясь этим, как кана-

тоходец своим шестом. Вот же, не уставал поражаться юноша, пример полной раскованности, свободы духа и подлинной гармонии в человеке...

Жив впервые ощутил себя совершенно счастливым. И долгое время ни о чем ином, кроме как быть подле Тью, и думать не хотел. А она осторожничала, была вежлива, даже нежна порой, но держала его на определенной дистанции. Жив не винил ее за это, он знал свое место. Жалкий провинциал, еще недавно считавший отцом собственного дядю, он понимал опасения Тью. Невзирая на безбрежные познания о человеческой природе, историки так и не сумели в самих себе искоренить некоторые предубеждения. И хотя Тью не страдала явной ксенофобией, что такого мог предложить ей Жив? Она обладала и была всем. Она была само совершенство. К чему ей он? Все, о чем он мог мечтать и от чего был бы счастлив, — это лишь любоваться ею, хотя бы издали.

Тью же сама, разглядев Жива, нашла его привлекательным, хотя и немного робким. Она видела, как он сох по ней, как мучился, водрузив ее на пьедестал в центре своей жизни и даже не сознавая этого. Такое чувство казалось ей чрезмерным. Тью убеждала себя вести себя с ним холодно, старалась оттолкнуть. Ни на что не сетуя, Жив подчинялся и уходил. И снова наблюдал за нею издалека.

Однажды после двухнедельной разлуки он пришел и заявил:

— Тью, я умру, без тебя просто жить не смогу.

От слов его повеяло такой неподдельной страстью, что сердце девушки дрогнуло, и она ответила:

— Ну что ж, давай поживем немного вместе.

Тью ошиблась — связь их не получилась столь же краткой, как прочие. Страсть Жива постепенно взяла власть и над ее сердцем. И все прочие вокруг стали казаться бесцветными и плоскими.

Секс для них сразу стал безмерной радостью, сплошным бесконечным восторгом. Тью сама себе поражалась — как это мужчине удалось занять в ее жизни столь важное место. Никогда и никому не позволяя боготворить себя, и в себе самой она никак не ожидала зарождения подобных чувств.

Прежде Тью вела обычную упорядоченную жизнь, контроль над которой извне был скорее личностным и духовным, а не социально-деспотическим, как в жизни Хавживы в Стсе. И она всегда знала, кем хочет стать, чем займется. Был в характере Тью эдакий несгибаемый стержень, своего рода истинный меридиан, по которому всегда и везде следовало держать курс. Первый год вдвоем стал для любовников праздником бесконечных открытий, своеобразным брачным танцем, каждое движение в котором оказывалось непредсказуемым и вызывало новые восторги. Но к исходу года в душе Тью стало накапливаться нечто вроде усталости, некое противление постоянному экстазу. Все это прекрасно, но ведь нельзя так жить вечно, рассуждала она. Нужно продвигаться вперед. Неумолимая душевная ось снова стала отдалять ее от Жива, хотя и резала буквально по живому. Для юноши решение Тью было точно гром среди ясного неба, но он не собирался сдаваться без боя.

Этим, после долгой дневной прогулки по барханам пустыни Азу-Ази, он и занимался сейчас в умиротворяющем тепле палатки гетхенского изготовления. За тонкими ее стенами завывал холодный суховей, заплутавший в нависших над местом стоянки багровых скалах, отполированных до зеркального блеска неумолимым временем — самый типичный для Ве ландшафт.

В тусклом свете жаровни Чабе они казались друг другу братом и сестрой — одинаково бронзовый цвет кожи, жесткие черные кудри, одна и та же изящная, но крепкая конституция. Лишь пылкая скороговорка Тью контрастировала с тихим и пристойным для уроженца пуэбло говором Жива.

Но сейчас и она роняла слова медленно и отчетливо.

— Не вынуждай меня делать выбор, Жив, — сказала Тью. — С самого начала учебы в школе я мечтала попасть на Терру. Даже раньше. Еще ребенком. Всю свою сознательную жизнь. А сейчас такая возможность представилась. Ради этого я столько сил положила. Как у тебя только язык повернулся просить меня отказаться от подобного шанса?

— Вовсе я и не просил.

— Но ведь мы оба прекрасно знаем, что у тебя на уме. Если я соглашусь с тобой теперь, то могу потерять свой шанс навсегда. Даже если и не навсегда — зачем идти на столь серьезный риск из-за годичной разлуки? Ведь на будущий год ты сможешь ко мне приехать.

Жив промолчал.

— Если захочешь, — добавила Тью жестко. Как и прежде, она демонстрировала готовность бесповоротно отказаться от каких бы то ни было претензий на Жива. Возможно, потому, что так и не сумела до конца поверить в его любовь. Не считая себя способной вызвать у мужчины бурю подлинной страсти, она, возможно, опасалась еще и собственной фальши в подобных весьма обременительных отношениях. Ее самооценка всегда опиралась лишь на интеллектуальный фундамент.

— Ты сотворил из меня кумира, — бросила Тью и не поняла Жива, когда он со счастливой решительностью вдруг возразил:

— Это мы вместе с тобой сотворили себе божество. Извини, — добавил он после паузы. — Эти слова из иной реальности, к делу не относятся. Суеверие, можно сказать. Но я бессилен, Тью. Терра от нас на расстоянии в сто сорок световых лет. Если ты уедешь, то, когда доберешься до места, я давно уже буду покойником.

— Неправда! Тебе предстоит всего лишь провести здесь год без меня и отправиться следом на Терру! И прибудешь ты туда годом позже!

— Знаю, такую теорию мы изучали еще в Стсе, — согласился Жив безучастно. — Но ведь я, как ты знаешь, суеверен. Мы умрем друг для друга, если ты уедешь. Ты могла понять это еще в катхадской школе.

— Ну, просто даже не знаю, что и сказать. Все равно это неправда. Как ты только можешь уговаривать меня отказаться от редчайшей в моей жизни возможности, и все ради того, что сам же считаешь суеверием? Где же твоя хваленая честность, Жив?

После продолжительного молчания юноша кивнул.

Тью сидела точно оглушенная, понимая, что победила. Но какой ценой!

Она потянулась к Живу, чтобы утешить его, но скорее себя. Ее напугала горькая тьма, появившаяся вдруг в его взгляде, его немое приятие измены. Но ведь это вовсе не так, не измена — она с ходу отвергла такое слово. Она отнюдь не собирается изменять Живу! Они любят друг друга, и речи не может быть о какой-то там измене. Жив сможет приехать к ней спустя год, максимум два. Они ведь взрослые люди — незачем им цепляться друг за друга, точно детям малым. Любовь взрослых людей основана на обоюдной свободе, на взаимном доверии. Тью повторяла теперь все это себе, как прежде говорила ему. «Да, да», — почти беззвучно отвечал он, баюкая ее и лаская. После Жив лежал в абсолютной, до звона в ушах тишине пустыни, сна ни в одном глазу, и думал: «Это умерло, не родившись. Это никогда и не начиналось».

Они сохраняли близость все немногие оставшиеся до отлета Тью недели. Они любили друг друга — нежно и бережно, они продолжали беседовать на темы истории, экономики, этнологии, они цеплялись за любое занятие. Тью готовилась к обязанностям, которые предстояло исполнять в экспедиции на Терру, изучала принципы иерархии на далекой планете. Жив сочинял курсовое эссе о социально активных поколениях на планете Уэрел. Оба трудились весьма настойчиво. Друзья устроили для Тью грандиозные проводы. На другой день Жив сопровождал возлюбленную в космопорт. Тью крепко ухватилась за него и, не в силах оторваться, то и дело целуя, повторяла, чтобы он не откладывал, непременно через год поспешил следом за ней на Терру. Жив посадил ее на борт флайера, которому предстояло доставить путешественников на орбиту, где их ждал звездолет системы НАФАЛ, и помахал на прощание рукой. Затем вернулся в свою квартирку в южном кампусе школы.

Там его и нашли друзья три дня спустя. Он сидел за столом в странном оцепенении. Глядя в одну точку на стене, Жив не пил, не ел и почти не отвечал на тревожные расспросы друзей. Такие же, как он, выходцы из пуэбло, приятели вмиг сообразили, в чем дело, и сразу же послали за целителем (так называли врачей на Хайне). Поняв, что дело придется иметь с уроженцем одного из южных пуэбло, целитель сказал:

— Хавжива! Бог не может оставить тебя здесь, он не умер в тебе.

После долгого молчания юноша отозвался голосом, в котором непросто было признать голос прежнего Жива:

— Я должен вернуться домой.

— Это пока невозможно, — вздохнул целитель. — Но мы можем прибегнуть к «напеву самообладания», а я тем временем отыщу человека, способного воззвать к твоим богам.

Он немедленно обратился к студентам — уроженцам

юга. Четверо откликнулись тут же. Всю ночь они сидели с Живом и пели «напев самообладания» на двух языках и четырех диалектах, пока наконец страдалец хриплым шепотом не подтянул им на пятом, с трудом выговаривая слова одеревенелыми губами. Затем он свернулся клубком и проспал тридцать часов кряду.

Проснулся он в собственной комнате. Сидящая рядом пожилая женщина с кем-то беседовала. Но в комнате, кроме них двоих, никого не было.

— Ты не здесь теперь, — говорила она. — Ты блуждаешь. Ты не вправе умереть здесь. Это неправильно, это стало бы непоправимой ошибкой. И ты это знаешь. Неподходящее место. Неправедная жизнь. Ты знаешь это! Что держит тебя здесь? Ты заплутал? Ты не знаешь дороги домой? Ты ищешь ее? Так слушай, вот она. — И старуха высоким визгливым голосом завела песнь почти без слов и без мелодии, вроде бы знакомую Хавживе — казалось, он слышал ее целые столетия назад. Когда женщина, завершив пение, продолжила свою бессвязную речь, свою беседу ни с кем, он опять провалился в сон.

Когда же проснулся снова, старухи уже не было. Жив так никогда и не узнал, кто была она и откуда взялась. Да он и не спрашивал. Старуха говорила с ним на его собственном языке, на диалекте Стсе.

Юноша уже отнюдь не собирался умирать, но был крайне изможден. Целитель распорядился перевести его в лечебницу в Тесе, самом климатически благоприятном уголке планеты, настоящем оазисе с горячими источниками. Здесь под защитой кольцевой гряды скал зеленел лес и даже распускались цветы. Бесконечные тропки петляли вокруг подножий гигантских деревьев, выводя к берегам всегда теплых озер. Небольшие пруды давали приют говорливым пернатым, голосам которых вторили гейзеры и бесчисленные крохотные водопады, не умолкавшие, в отличие от птиц, и в ночи. Сюда он и был послан на поправку.

Спустя недели три он снова начал наговаривать заметки на диктофон. Греясь на солнышке на пороге своего коттеджа, расположенного посреди заросшей папоротником прогалины, он разговаривал как бы сам с собой.

— Все едино, с чего начинать собственную историю. Часть всегда меньше целого. Ничто всегда меньше части, — говорил он, следя за колебаниями темнеющих на

фоне неба тяжелых ветвей. — И неважно, из чего ты выстроишь собственный мир, свой крохотный, разумно устроенный, уютный мирок, если это как раз и есть ничто, которое всегда меньше целого. Поэтому любой твой выбор оспорим. А любое знание ограничено — бесконечно ограничено. Разум — это сачок, запущенный в безбрежный океан. Все, что ни зачерпнешь, — это всегда фрагмент, всегда взгляд украдкой, всегда беглая сцинтилляция. Все человеческое знание локально и изначально частично. И всякая жизнь, жизнь любого из людей, извечно ничтожна, произвольна, бесконечно мала, она слабый проблеск отражения от... — Его голос пресекся, и над поляной посреди вековечного леса вновь повисла беспокойная дневная тишина.

Спустя полтора месяца юноша вернулся в школу. Он сменил квартиру. А также факультет — оставив социологию, любимую науку Тью, он обратился к занятиям в Службе Экумены, которые были сродни прежним, но вели к совершенно другой работе в будущем. Такая перемена должна была задержать его в школе по меньшей мере на год, после чего, если позволят успехи, он мог надеяться на приличную должность в системе. Справился он блестяще, и спустя два года его вызвали в администрацию школы и самым деликатным образом, принятым среди консулов Службы, спросили, не сочтет ли он для себя возможным и уместным принять назначение на Уэрел. Юноша немедленно ответил согласием. Друзья закатили грандиозную пирушку в честь такого события.

— А я-то, дура, думала, что ты отправишься на Терру, — призналась за столом одна из однокурсниц. — Все эти материалы о войнах и рабстве, о классах, кастах и дискриминации — разве все это не из истории Терры?

— Это из текущих событий на Уэреле, — ответил Хавжива.

Никто не называл его теперь Живом. Из госпиталя он вернулся уже под прежним своим полным именем.

Сосед по столу пихнул ногой бестактную приятельницу, но та не унималась.

— Я-то полагала, что ты отправишься следом за Тью, — вздохнула она. — Решила, что именно поэтому ты больше не обзаводишься подружкой. Господи, если б я только раньше знала!

Все остальные вздрогнули, но Хавжива мягко улыбнулся и примирительно обнял раздосадованную однокашницу за плечи.

Самому ему все было ясно как божий день — как он некогда предал любовь и бросил Йан-Йан, так теперь предали его самого. Не существует пути назад, но нет пути и вперед. Стало быть, следует свернуть, уйти в сторону. И, хотя он человек, ему не жить с людьми. Хоть он и стал одним из историков, ему с ними не по пути. Остается лишь жизнь с иной расой.

Хавжива более не питал надежд на какие-то грядущие радости. Он знал, что сам себе все испортил. Но он знал также, что два главных стержня, пронизавшие его жизнь, — боги и историзм, — в сочетании друг с другом наделили его недюжинной силой, применимой в любых обстоятельствах, где угодно. И еще он знал, что единственно верное применение знания — осуществлять свое предназначение.

Целитель, навестив Хавживу за день до отъезда на Уэрел, тщательно простукал его и молча присел. Хавжива тоже уселся. Искушенный в молчании, юноша частенько забывал, что оно отнюдь не принято среди историков.

— Что-нибудь беспокоит? — спросил наконец целитель.

Вопрос показался Хавживе риторическим, во всяком случае задан он был почти в медитативном тоне. Как бы то ни было, нужды отвечать на него юноша не нашел.

— Поднимись, пожалуйста, — велел целитель и, когда Хавжива подчинился, добавил: — Теперь пройдись туда-сюда.

Понаблюдав с минуту, врач констатировал:

— Ты не в себе, вышел из равновесия. Тебе это известно?

— Да.

— Может, устроим вечером «напев самообладания»?

— Незачем, благодарю, со мной все в порядке, — ответил Хавжива. — Просто я всегда теперь такой, немного не в себе.

— От этого ведь вполне можно избавиться, — заметил целитель. — С другой стороны, раз уж ты собрался на Уэрел, может, это даже и к лучшему. Прощай, беззаботная студенческая жизнь!

Они обнялись, как все историки, знающие, что больше никогда не увидятся друг с другом. В этот день Хавживе

пришлось выдержать немало таких прощальных объятий. А назавтра он уже ступил на борт звездолета «Ступени Дарранды» и канул в космическую пустоту навечно.

ЙЕОВЕ

За время перелета — восемьдесят световых лет, релятивистские скорости — умерла мать Хавживы, умер отец, не стало и Йан-Йан. В мир иной перешли все, кого он знал в Стсе, и все друзья по учебе в Катхаде и Ве. К моменту посадки они были мертвы уже долгие годы. Даже ребенок, рожденный Йан-Йан, успел стать взрослым, состариться и умереть.

С этим знанием Хавжива жил с тех пор, как посадил Тью на борт корабля, а сам остался умирать. Благодаря усилиям целителя, четверки студентов, певших вместе с Хавживой, старухи, пробудившей в нем бога, благодаря водопадам Теса он все же выжил — но жил теперь исключительно этим знанием.

За время путешествия изменилось и многое другое. Когда Хавжива только покидал Ве, колония Уэрела, планета Йеове, была миром рабов, гигантским трудовым лагерем. К моменту прибытия НАФАЛ-звездолета к цели путешествия там уже отполыхала межпланетная освободительная война, Йеове провозгласила свою независимость от Уэрела, да и сам институт рабства в метрополии если не начал распадаться, то сильно пошатнулся.

Хавжива предпочел бы понаблюдать за этим ужасным, но захватывающим процессом подольше, но посольство безотлагательно спровадило его к месту прохождения службы на Йеове. Хайнец по имени Сохикельвеньанмуркерес Эсдардон Айя консультировал Хавживу перед самым отбытием.

— Если вы ищете опасности, — сообщил он, — то встретите ее на Йеове. Если взыскуете надежд, найдете там и надежду. Уэрел пожрет сам себя, а в мятежной колонии тем временем все может и наладиться. Но гарантировать это вам не сможет никто. Вот что я скажу напоследок, Йехедархед Хавжива: в обоих этих мирах на свободу вырвались весьма могущественные боги.

Йеове сбросила иго боссов, своих хозяев — четырех

корпораций, триста лет безраздельно властвовавших над рабами на бескрайних плантациях. Но хотя за тридцать лет кровопролитных боев независимость была завоевана, войны на планете так и не прекратились. Народные трибуны и полководцы, обретшие среди бывших рабов власть и авторитет в период Освобождения, сражались теперь друг с другом, деля захваченный пирог. Поводом для свары служил также и вопрос, изгнать ли всех чужаков с планеты раз и навсегда или все же допустить их присутствие и присоединиться тем самым к Экумене. В конце концов поборники полной изоляции потерпели сокрушительное поражение, и в старой колониальной столице появилось новое учреждение — посольство Экумены. Хавжива провел в нем определенное время, «дабы изучить местный говор и застольные манеры», как ему и было велено. Затем посол, ловкая девица с Терры по имени Солли, откомандировала Хавживу в южный регион, в провинцию Йотеббер, которая давно уже добивалась автономии.

История — одна сплошная подлость, думал Хавжива, глядя из окна вагона на бесконечные руины разрушенного мира.

Уэрелианские капиталисты триста лет измывались над рабами и бездумно истощали недра Йеове ради немедленной прибыли. Бесповоротно искалечить целый мир не так-то просто, но если очень уж постараться, то все же это вполне достижимо. Гигантские карьеры обезобразили ландшафт, отсутствие правильного севооборота обесплождило почву. Иссохли реки. Огромное облако пыли затягивало теперь весь восточный горизонт.

Боссы правили планетой при помощи насилия и устрашения. Больше столетия сюда завозили лишь рабов-мужчин, непосильным трудом загоняли их до смерти, а затем заменяли свежей рабочей силой. Земледельческие артели в таких мужских гетто постепенно приняли форму первобытно-общинных иерархий. В конце концов, когда цена рабов на Уэреле, а также стоимость их доставки оттуда резко подскочили, корпорации стали закупать также и крепостных-женщин. Поэтому в течение следующих двух столетий население Йеове значительно возросло, появились даже города, населенные одними рабами. Такие «имуществограды» и «пыльные» деревеньки посреди бескрайних плантаций возникали на основе былых резерваций. Хавжива знал, что первыми бучу на планете затеяли женщины, взбунтовавшиеся против мужского засилья в советах племен, и лишь позже вспыхнувший мятеж перерос в восстание против рабства вообще.

Едва ползущий поезд тормозил на каждом полустанке, за окном миля за милей проплывали лачуги, пепелища, изрытые воронками пустоши, фабрики, превращенные в сплошные руины, сменялись частично действующими, донельзя закопченными, отвратительно грохочущими и изрыгающими из приземистых труб облака ядовитого смрада. На каждой остановке сотни пассажиров покидали поезд, но им на смену спешили все новые и новые толпы. Ругаясь с проводниками об оплате за проезд и отчаянно толкаясь, люди лезли во все щели, кишели в проходах и тамбурах, карабкались даже на крышу вагонов. Бдительная станционная охрана, грозно размахивая увесистыми дубинками, безжалостно сметала их оттуда.

На севере огромного континента Хавживе встречались в основном такие же, как на Уэреле, темнокожие, иссиня-черные люди. Но ближе к югу их становилось меньше, стали мелькать более светлые лица, пока в самом Йотеббере Хавжива не увидел людей даже светлее, чем он сам, — с кожей пепельно-голубого цвета. Это и были так называемые пыльные — потомки сотен поколений уэрелианских рабов.

Йотеббер оказался одним из первых центров мятежа и первым же попал под безжалостный удар боссов. Не ограничиваясь полицейскими репрессиями, корпорации применили против восставших ковровое бомбометание и отравляющие газы — в одночасье погибли многие тысячи людей. Целые города сжигались после акции, чтобы заодно кремировать тела вышедших из повиновения рабов и туши павшей скотины. Устье большой реки запрудили разлагающиеся трупы. Но все это в прошлом. Теперь свободная Йеове стала новым членом Экумены, и Хавжива в ранге вице-посла направлялся в Йотеббер, чтобы помочь жителям провинции начать новую жизнь. Вернее, с точки зрения уроженца Хайна, вернуть ее к позабытым истокам.

На вокзале в Йотеббер-Сити его встречала огромная толпа ликующего народа, оттесненного за плотные полицейские кордоны. По эту сторону от шеренги стражей по-

рядка оказалась лишь весьма представительная группа официальных лиц, разряженных в экзотически пестрые мундиры — все наиболее заметные в этой провинции политические деятели. Помпезное действо прошло как положено: долгие приветственные речи, бурные аплодисменты, крики «браво!», тьма репортеров с головидения и фотографов из множества агентств новостей. И все это абсолютно серьезно, без тени улыбки — большие политики хотели, чтобы высокий гость понял сразу: он здесь популярен, он, как выразился комиссар в своем сжатом, но прочувствованном спиче, — «не просто персона грата, но посланник самого будущего!».

В тот же вечер, устраиваясь на отдых в апартаментах-люкс бывшей резиденции боссов, ныне превращенной в роскошный отель, Хавжива сказал себе: «Знали бы они, что посланник будущего сам вырос в захолустном пуэбло и до прибытия в их мир про головидение даже не слыхал...»

Он надеялся, что справится с новыми своими обязанностями и не разочарует тех, кто с таким нетерпением ожидал его приезда. Эти люди, населяющие обе планеты, понравились ему еще на Уэреле, буквально с первого взгляда — невзирая на всю их чудовищно организованную социальную систему. Они были полны жизненной силы и гордости, а здесь, на Йеове, еще и верили в справедливость. Хавживе вспомнился древний терранский афоризм, посвященный чужим богам: «Верую, ибо это невозможно». Прекрасно выспавшись, он проснулся ранним солнечным утром, полный самых радужных надежд и предвкушений. И решил немедленно начать знакомство с городом — отныне его городом.

На выходе из вестибюля отеля швейцар (Хавживе показалось весьма странным, что люди, положившие на алтарь свободы столько жертв, до сих пор имеют слуг) отчаянно попытался уговорить постояльца дождаться гида с машиной и был страшно обеспокоен столь необычным — прогулка пешком без свиты! — поведением высокого гостя. Хавжива объяснил ему, что хочет просто подышать воздухом и любит бродить в одиночестве. И вышел, оставив за спиной растерянного служителя, сообразившего крикнуть напоследок:

— Ой, сэр, только не вздумайте ходить в Центральный парк, умоляю вас, сэр!

Решив, что парк, видимо, закрыт на время проведения каких-либо церемоний либо работ по озеленению, Хавжива прислушался к совету. И отправился прямиком на рыночную площадь, где в этот ранний час торг был уже в полном разгаре. Вскоре Хавжива обнаружил, что на него обращают внимание, он становится центром толпы. Люди постепенно обступали его, опасливо замолкая и не отводя настороженных взглядов. Хотя Хавжива и был облачен в светлую йеовианскую одежду, он оказался единственным бронзовокожим среди четырехсот тысяч горожан. Угрюмые взгляды со всех сторон выразительно свидетельствовали: «Чужак!» Тогда он выбрался из притихшей толпы и скрылся в прилегающих к рынку улочках. Наслаждаясь утренней свежестью, Хавжива стал любоваться архитектурными красотами — ветхими домами, выстроенными некогда в очаровательном и несколько вычурном колониальном стиле. И застыл как вкопанный в совершенном восхищении перед орнаментами храма Туал. Церковь выглядела позабытой и запущенной, но в изножье барельефа Праматери в нише возле входа Хавжива углядел пучок свежих цветов — стало быть, все же кто-то хранит верность заветам. Нос Праматери за время войн был почти полностью отбит, но улыбка ее оставалась по-прежнему безмятежной и как бы чуточку удивленной.

Внезапно Хавжива почувствовал, что за спиной у него кто-то есть.

— Убирайся из наших краев, ты, дерьмо заморское! — раздался грубый окрик.

Хавживе жестоко заломили руку за спину, земля вдруг выскочила у него из-под ног. Перед глазами сомкнулись ухмыляющиеся, что-то вопящие рожи. Посыпались беспорядочные удары, чудовищная боль пронизала все тело, взгляд заволокла багровая пелена, бешеные крики смешались с всплесками боли воедино, и наступило наконец спасительное забытье.

Сидевшая рядом с его койкой дама почтенного возраста почти беззвучно напевала что-то смутно знакомое.

Сиделка сосредоточенно считала петли на своем вязанье; наконец, оторвавшись на миг от вязанья, она встретилась взглядом с пациентом и тихонько ахнула. С трудом

сфокусировав зрение, Хавжива разглядел, что лицо у нее пепельно-голубого цвета, а глаза сплошь черные.

Сиделка тут же поправила что-то в опутывающей больного аппаратуре и доложила:

— Я медсестра, ваша ночная сиделка. У вас сотрясение, небольшая трещина в черепе, почечные ушибы, перелом левой ключицы и ножевое ранение в живот. Но не тревожьтесь, скоро пойдете на поправку.

Вся тирада прозвучала на местном наречии, которое Хавжива как будто должен был понимать — просьбу не тревожиться он, во всяком случае, понял точно. И покорно подчинился.

Ему казалось, что он снова на борту «Ступеней Дарранды» в состоянии НАФАЛ-прыжка через космическую пустоту. Столетия проносились как в дурном сне, а кошмар отступать и не думал. Время и сами люди утратили человеческий облик. Хавжива пытался исполнить «напев самообладания», но не мог вспомнить, слова исчезли, начисто испарились из памяти. Пожилая сиделка брала его за руку и, нежно поглаживая, ласково, но непреклонно влекла назад к настоящему, в бытие, в сумеречную тихую палату с незаконченным вязаньем у нее на коленях.

И настало утро — с ярким солнечным светом в окнах. В изножье постели стоял сам комиссар провинции Йотеббер, плечистый верзила в белом, шитом пурпуром одеянии.

— Весьма сожалею, — с трудом шевеля разбитыми губами, прошептал Хавжива. — Очень глупо было пойти гулять без охраны. Во всем виноват я один.

— Злоумышленники уже схвачены и вскоре предстанут перед Судом справедливости, — отчеканил комиссар.

— Они же совсем мальчишки, — прохрипел Хавжива. — Всему виной мои собственные невежество и безрассудство...

— Негодяи понесут заслуженное наказание! — отрезал комиссар.

Дневные сиделки, девицы помоложе, всегда притаскивали с собой в палату головизор и смотрели по нему новости и сериалы. Смотрели почти без звука, чтобы не мешать пациенту. Однажды в жаркий полдень, когда Хавжива бездумно любовался парящими высоко в небе облаками, к нему крайне почтительно обратилась очередная сиделка:

— Ой, извините, пожалуйста, но, если господин пожелает сейчас взглянуть, он сию же минуту увидит исполнение приговора над злодеями, которые напали на него исподтишка!

Хавжива машинально повернулся на бок и увидел подвешенное за ноги тощее человеческое тело, бьющееся в смертных судорогах. Кишки, выпущенные из распоротого живота, свисали на грудь и заливали лицо кровью. Вскрикнув, Хавжива зажмурился.

— Выключите это! — взмолился он. — Выключите... это... немедленно! — Ему недоставало воздуха. — Разве люди способны на такое? — Последнюю фразу, крик души, он прохрипел уже на родном наречии, диалекте Стсе.

Поднялся переполох, кто-то выбежал из палаты, кто-то, наоборот, вбежал внутрь, и рев торжествующей на экране толпы оборвался. Хавжива лежал с закрытыми глазами и, едва переводя дух и унимая сердцебиение, повторял про себя строки «напева самообладания» до тех пор, пока его душа и тело снова не обрели равновесие, хотя и непрочное.

Вкатили тележку с едой — Хавжива категорически отказался от трапезы.

И снова был полумрак, снова комната освещена лишь ночником, скрытым где-то в углу, и отблесками городских фонарей. Снова рядом с Хавживой ночная сиделка с вязаньем на коленях.

— Весьма сожалею, — пробормотал он наобум, не в силах припомнить, что говорил до этого.

— Ой, господин посол... — вздрогнув, сказала сиделка и вздохнула. — Я читала о вашем народе. О Хайне. Вы ведете себя совсем иначе, чем мы. Вы не истязаете и не убиваете друг друга. Живете в мире и согласии. Представляю себе, какими омерзительными мы вам показались. Вроде ведьм и исчадий ада, наверное?

— Вовсе нет, — ответил Хавжива, сглотнув комок горькой желчи.

— Когда вы, господин посол, оправитесь, когда хоть чуточку окрепнете, я поведаю вам кое-что. — В негромком голосе сиделки читалась скрытая мощь — та, которая, как чувствовал Хавжива, может вылиться в нечто большее, внушающая уважение сила. Он знавал немало людей, всю свою жизнь говоривших с подобными интонациями.

— Я и сейчас в состоянии вас выслушать, — заметил он.

— Не теперь, — возразила сиделка. — Позже. Теперь вы слишком утомлены. Хотите, я спою вам?

— Хочу, — согласился Хавжива, и женщина, продолжая набирать петли, шепотом завела песнь — почти без слов и без мелодии. Он разобрал лишь имена богов: Туал, Камье. Это ведь не мои боги, хотел сказать Хавжива, но веки налились неодолимой тяжестью, и он уснул, убаюканный шатким своим равновесием.

Ее звали Йерон, и она вовсе не была старухой, как поначалу показалось Хавживе. Сиделке не было еще и пятидесяти. Но тридцать лет войны и тяжкие годы недородов оставили на ее лице неизгладимый отпечаток. Все зубы искусственные — вещь, для Хавживы неслыханная, — а на глазах стекла в тонкой металлической оправе. На планете Уэрел уже научились применять регенерацию органов, но, как объяснила Йерон, лишь немногие из обитателей Йеове могли позволить себе столь дорогостоящие процедуры. Она была страшно худа, сквозь жидкие волосы просвечивал череп. Осанка оставалась прямой, но при ходьбе Йерон сильно прихрамывала — давало себя знать давнее ранение в левое бедро.

— Все поголовно, буквально каждый в нашем мире может продемонстрировать вам или шрам от штыка, или следы перелома, носит в себе либо неизвлеченную пулю, либо умершее дитя в своем сердце, — говорила она Хавживе. — Теперь вы один из нас, господин посол. Вы тоже прошли сквозь огонь.

Под присмотром целого штата врачей, ежедневно проводивших консилиум, Хавжива быстро поправлялся. Сам комиссар, чтобы справиться о здоровье высокого гостя, навещал чуть ли не через день, в остальные же неизменно являлись его официальные порученцы. Как неожиданно выяснилось, комиссар был весьма признателен Хавживе. Коварное нападение на полномочного посланника Экумены дало ему всенародную поддержку и предоставило прекрасный повод окончательно разобраться с оппозицией, возглавляемой другим героем Освобождения, ныне проводившим политику полной изоляции. Комиссар присылал Хавживе в палату роскошные букеты вкупе с цветистыми

отчетами о собственных викториях. Головидение непрерывно транслировало с места событий живые батальные сцены: палящих на бегу солдат, пикирующие флайеры, живописные разрывы тяжелых фугасов на склонах холмов. Когда, набравшись силенок, Хавжива впервые выбрался в коридор, он увидел в большинстве палат и даже в холлах множество раненых и калек — тех самых героев из новостей, что «прошли сквозь огонь и воду», как бодро вещали с экранов бравые военачальники и послушные власть имущим корреспонденты.

По ночам экраны гасли, победоносные реляции на время смолкали, в призрачном полумраке приходила и усаживалась рядом Йерон.

— Вы как-то сказали, что хотите мне поведать нечто, — напомнил однажды Хавжива.

За окном, которое сиделка приоткрыла, чтобы проветрить палату, продолжала шуметь нескончаемая городская жизнь — гудки машин, шаги, голоса, музыка в отдалении.

— Да, хочу. — Женщина отложила вязанье в сторону. — Я ваша сиделка, господин посол, но также и вестница. Уж простите великодушно, но, когда я услыхала о вашей беде, вознесла благодарственные молитвы великому Камье и Матери Милосердия. Потому что только так, в качестве сиделки, могла донести до вас свою весть. — Она помолчала. — Я заведовала этим госпиталем в течение пятнадцати лет. Почти полвойны. И у меня сохранились здесь кой-какие связи.

Опять пауза. Как и тихий голос, молчание ее казалось Хавживе смутно знакомым.

— Весть моя, — продолжала Йерон, — предназначена для всей Экумены. И она от женщин, всех женщин Йеове. Мы желаем вступить в альянс с вами... Знаю, что правительство уже сделало это. Йеове уже состоит членом Экумены — мы в курсе. Но что это значит — для нас? Ничего, абсолютно ничего. Известно ли вам, что такое женщина в этом мире? Она ничто, пустое место. В правительстве нет ни единой женщины. А ведь именно женщины замыслили и осуществили Освобождение, они сражались и умирали за свободу наравне с мужчинами. Но нас не назначали генералами, и вождями мы не стали. Ведь мы ничто. А на селе так даже меньше, чем ничто — рабочая скотина, доильный инвентарь. Да и в городе ненамного лучше. Я, к примеру,

закончила медшколу в Бессо. У меня диплом, а работать приходится сиделкой. При боссах я командовала всем госпиталем. Теперь же им управляет мужчина. Мужчины — наши господа теперь, господин посол. А мы, женщины, как были собственностью, так и остались ею. Думаю, что боролись мы и отдавали жизнь за иное. Как вы считаете, господин посол? Полагаю, существующее положение — предвестие новой революции. Мы должны завершить раз начатое.

После томительно долгой паузы Хавжива мягко поинтересовался:

— У вас уже есть организация?

— Есть, разумеется, есть! Как и в былые дни. Мы привыкли действовать в подполье. — Йерон тихонько рассмеялась. — Но я не думаю, что нам следует действовать в одиночку и сражаться лишь за свои права. Мы хотим все перевернуть с ног на голову. Мужчины полагают, что они вправе командовать нами. Им придется переменить свои убеждения. За свою жизнь я хорошо усвоила один урок — силой оружия никого и ни в чем нельзя убедить. Ты уничтожаешь босса и сам становишься боссом — вот в чем кроется корень зла, вот что следует сломить. Старое рабское мышление. Психологическую установку «или раб, или хозяин». И мы искореним ее, господин посол. С вашей помощью. С помощью всей Экумены.

— Меня прислали сюда именно для связи вашего народа с Экуменой, — заметил Хавжива. — Но мне нужно время. Я так мало знаю о вас.

— В вашем распоряжении достаточно времени, господин посол. Мы прекрасно знаем, что рабскую психологию не искоренить ни за день, ни за год. Весь вопрос здесь в воспитании и образовании. — Слово «образование» Йерон произнесла как нечто священное. — А это займет немало времени. Так что нам торопить вас незачем. Все, что я хотела бы получить сегодня, — это уверенность, что вы станете к нам прислушиваться.

— Будьте уверены, — ответил Хавжива. Облегченно вздохнув, Йерон снова взялась за вязанье. Помолчав с минуту, добавила:

— Это может оказаться не так уж и просто — прислушиваться к нашим словам.

Хавжива почувствовал утомление. Столь серьезные беседы были ему пока не по силам. Он не совсем понял, что означает последняя фраза собеседницы. Но ведь деликатная пауза — лучший среди взрослых способ дать понять собеседнику, что ждешь продолжения. И Хавжива промолчал.

Йерон снова оторвала взгляд от вязанья.

— Как нам связываться с вами? Это самое трудное. Ведь мы, женщины, здесь абсолютное ничто. Мы можем оказаться вблизи вас как сиделки, горничные, прачки. Но нам нет места среди руководства. Нас не пускают в советы. Мы можем подавать блюда на банкете, но никак не сидеть за одним столом с мужчинами.

— Так объясните мне... — Хавжива замялся. — Объясните, с чего начать. Ищите свидания со мной при любой оказии, приходите, как только подвернется случай, если... если это... будет для вас безопасно. — Он всегда был скор в восприятии нового, лишь подозревать подвох так и не научился. — Я выслушаю. И сделаю все, что смогу.

Йерон склонилась над изголовьем и нежно поцеловала Хавживу. Губы ее оказались сухими и мягкими.

— Вот, — сказала она, — ни один политик не даст вам такого.

И снова принялась набирать петли. Хавжива уже начал было дремать, когда Йерон вдруг спросила:

— Ваша матушка еще жива, господин Хавжива?

— Все мои родные давно умерли.

Йерон испустила короткий сочувственный вздох.

— Простите, — сказала она. — А супруга?

— Я не женат.

— Тогда мы станем для вас матерями, сестрами и дочерьми. Мы заменим для вас утраченных родных. Примите мой поцелуй как знак любви между нами. Настоящей любви. Увидите сами.

— Вот список приглашенных на прием, господин Йехедархед, — сообщил Доранден, комиссарский порученец, офицер связи при посольстве.

Хавжива пробежал взглядом протянутый портативный экран, просмотрел еще раз, уже внимательнее, и невинно поинтересовался:

— А где же все остальные?

— Извините, господин посланник... Мы кого-либо упустили? Это полный список.

— Но ведь здесь одни мужчины.

Под затянувшееся растерянное молчание офицера Хавжива неожиданно обнаружил в себе новые точки опоры — его пошатнувшееся было равновесие как будто начинало восстанавливаться.

— Вам угодно, чтобы приглашенные явились с супругами? — сообразил донельзя смущенный Доранден. — Ну конечно же! Если таков обычай Экумены, мы с удовольствием включим в список также и дам.

В том, как офицер связи произнес словечко «дамы», принятое на Уэреле лишь в аристократических кругах, крылось нечто плотоядное, глазки у него замаслились. Равновесие Хавживы снова нарушилось.

— Каких еще дам? — хмурясь, удивился он. — Я говорю о женщинах. Может, они и вовсе не принимают у вас участия в общественной жизни?

Хавжива начал нервничать, не понимая, где же здесь могут таиться подводные камни. Если безобидная прогулка по пустой улочке приводит к столь плачевному исходу, то куда его может завести препирательство с порученцем самого комиссара?

А Доранден был уже не просто смущен — ошеломлен. У него просто челюсть отвисла.

— Весьма и весьма сожалею, уважаемый господин Доранден, — сказал Хавжива примирительно. — И прошу простить мне неуместную игривость. Разумеется, я не сомневаюсь, что женщины у вас занимают ответственные посты в самых различных областях. Своим неловким и неудачным выражением я просто пытался сказать, что был бы рад принять у себя таких женщин вместе с их мужьями — равно как и жен всех гостей из вашего списка. Надеюсь, я не совершил этим новую оплошность, не нарушил каких-либо обычаев и не оскорбил ваших чувств? Мне казалось, что у вас на Йеове не должно быть дискриминации, как на Уэреле — в том числе и женской. Если я в чем-то заблуждаюсь, то снова прошу вас великодушно простить невежественного чужестранца.

Добрая половина дипломатии — это болтливость, к такому выводу Хавжива пришел уже давно. Другая же — умение вовремя промолчать.

Доранден забрал список и, заверив посла, что все упущения будут немедленно исправлены, почтительно откланялся. Но Хавжива продолжал тревожиться — до самого следующего утра, когда офицер явился снова, уже с поправками. В списке фигурировало одиннадцать новых имен, все женские. Среди них один школьный директор и две учительницы, остальные с пометкой «в отставке».

— Великолепно, просто великолепно! — восхитился Хавжива. — Вы позволите мне самому добавить к этому списку еще одно имя?

— Разумеется, ваше превосходительство? Какое только ни пожелаете!

— Доктор Йерон, — сказал Хавжива. Снова невыносимо долгая пауза — похоже, Доранден хорошо знал, о ком речь.

— Да, — выдавил он наконец.

— Доктор Йерон, как вам, наверное, известно, прекрасно ухаживала за мной в вашем великолепном госпитале. Мы подружились. Обычной сиделке, разумеется, не место среди столь почетных гостей, но она ведь вполне квалифицированный медик, а я приметил, что в вашем списке уже есть несколько докторов медицины.

— Все в порядке, — сказал Доранден не без тени смущения.

После печального инцидента комиссар и вся его команда старались потворствовать вице-послу во всех прихотях, пока, впрочем, весьма немногочисленных, относясь к этому представителю мира, где не умеют ни нападать, ни защищаться, бережно, точно к хрупкой и дорогой статуэтке. Хавжива понимал это. Его трактовали здесь не как личность, а как некий абстрактный символ. Как человека его в этих краях и в грош не ставили. Но, зная, что его посольская миссия может привести к самым серьезным социальным сдвигам, Хавжива не возражал против подобной недооценки. Поживем — увидим, решил он про себя.

— Уверен, теперь вы не станете отказываться от сопровождающих, господин посол, — заявил генерал с каменным лицом и заметным лишь в голосе беспокойством.

— Да, генерал Денкам, я уже понял, что ваш город опасен, весьма опасен. Опасен для любого жителя. Я просмотрел голорепортаж о шайках юнцов вроде тех, что напали на меня, свободно шатающихся по улицам, террори-

зирующих население и плюющих на стражей порядка. Каждый ребенок и каждая женщина в этом городе должны иметь личных телохранителей. Было бы весьма огорчительно сознавать, что безопасность, являющаяся естественным правом любого жителя, достанется лишь мне одному как некая особая привилегия.

Растерянно мигнув, генерал машинально схватился за кобуру:

— Но мы ведь не вправе допустить, чтобы вы случайно пали от руки какого-нибудь террориста-маньяка.

Хавжива просто обожал иметь дело с такими честными и бесхитростными служаками.

— Согласен, меня подобная перспектива тоже не слишком радует, — сказал он. — И вот вам мое предложение. Я слышал, сэр, что у вас в полиции служат женщины. Подберите охрану для меня из их числа. В конце концов, хорошо владеющая оружием женщина ничем не уступит вооруженному мужчине, не так ли? А я буду рад отметить и почтить тем самым величайшую роль, которую сыграли женщины в борьбе за освобождение Йеове, как превосходно выразился во вчерашней речи сам комиссар.

Генерал заметно смягчился — будто железную маску с лица сбросил.

Хавжива не питал особенно теплых чувств к новой своей охране, состоявшей из крепко сбитых бабенок, грубовато немногословных и общавшихся между собой на сленге, которого он почти не понимал. У некоторых дома были детишки, но все попытки Хавживы завести о них разговор упирались в глухую стену. Дамочки оказались чертовски умелыми бойцами, так что жизни посла отныне ничто не угрожало. Когда Хавжива шел теперь по городу в сопровождении своих вечно настороженных амазонок, он читал во взглядах толпы новые чувства — изумление и даже нечто вроде симпатии. «А у этого парня, похоже, котелок варит. И чувство юмора есть», — услыхал он как-то у себя за спиной.

За глаза все называли комиссара Шефом — но лишь за глаза.

— Господин президент, — дипломатично начал Хавжива, — вопрос не только в принципах Экумены и обычаях, принятых на Хайне. Вернее, вовсе не в них — здесь, на

Йеове они имеют так мало веса по сравнению с вашим словом, сэр. Это ведь целиком ваш мир...

Комиссар едва заметно кивнул.

— ...В который, — продолжал Хавжива, сделав на сей раз ставку на первую половину дипломатического искусства, — стало прибывать теперь множество беженцев из Уэрела, и еще больше их ожидается в близком будущем, так как тамошний правящий класс, приоткрыв клапан, то есть разрешив бедноте эмиграцию, пытается тем самым выпустить пар и снизить революционный дух масс. Ведь вы, сэр, куда лучше меня знаете затруднения и проблемы, которые может причинить Йотебберу массовый наплыв иммигрантов. Не меньше половины приезжих окажутся женщинами, и, как я считаю, следовало бы повнимательней отнестись к разнице во взаимоотношениях полов на Уэреле и Йеове, во всех ее аспектах: в социальной роли мужчин и женщин, в их ожиданиях, поведении, сексуальных контактах и прочая, и прочая. Большинство из тех эмигрантов с Уэрела, которые что-то из себя представляют, то бишь способны на поступки и неожиданные решения, наверняка окажутся женщинами. Совет Хейма, как известно, на девять десятых состоит из женщин. Все без исключения заметные ораторы у них тоже женщины. Эти люди вторглись и успешно внедрились в социум, обустроенный и управляемый до того одними мужчинами. Полагаю, если своевременно предпринять осторожные предупредительные меры, сделать некие профилактические шаги, то удастся избежать конфронтации и серьезных социальных коллизий. Например, можно ввести в состав совета несколько депутатов-женщин...

— Среди рабов Старого Мира, — перебил комиссар, — они могли заправлять. У нас же все вожди мужчины. Таков порядок вещей. Рабы Старого Мира могут стать свободными людьми Нового.

— А что касательно женщин, господин президент?

— Но ведь жены свободных мужчин такие же свободные люди, — ответил комиссар.

— Значит, так, — сказала Йерон и глубоко вздохнула. — Полагаю, пора уже выколотить немного пыли.

— Дельце как раз для «пыльных», вроде нас, — заметила Добибе.

— Тогда уж лучше взбить пыль как следует, — заявила Туальян. — Все одно поднимется страшный хипеж, что бы мы ни затеяли. Все равно на каждом углу станут вопить про движение женщин, ратующих за кастрацию младенцев мужского пола. Если пятеро из нас просто споют хором песню, в новостях тут же объявят, что пять сотен чокнутых баб вооружились бомбами и пулеметами и вот-вот сокрушат порядок и цивилизацию на всей планете. Поэтому и предлагаю не размениваться по мелочам. Давайте выведем на демонстрацию по меньшей мере пять тысяч поющих женщин. Давайте заблокируем железные дороги. Ляжем на рельсы. Представляете — пять тысяч поющих женщин лежат на рельсах по всему Йотебберу! Грандиозно!

Собрание (очередное заседание Ассоциации содействия образованию провинции Йотеббер) происходило в классе одной из городских школ. Две телохранительницы из эскорта посла, одетые в простенькие платьица, сметливо остались поджидать его в коридоре. Хавжива и все сорок разгоряченных активисток теснились на крохотных стульчиках, намертво соединенных со столами-экранами.

— Ваши требования? — спросил Хавжива.

— Тайное голосование!

— Равных прав при найме на работу!

— Оплата по труду!

— Тайное голосование!

— Декретный отпуск до года!

— Тайное голосование!

— Требуем уважения!

Диктофон у Хавживы едва успевал все записывать. Всласть нашумевшись, женщины вновь расселись по партам и продолжили разговор.

— Скажите, сэр, — поинтересовалась одна из телохранительниц по пути домой, — они что, все до единой простые учительницы?

— Да, — ответил Хавжива. — Вроде того.

— Вот дьявол! — удивилась женщина. — До чего ж непохоже.

— Йехедархед! Какого черта вы творите там на Йеове?

— Мадам?

— Вы попали в выпуск последних известий. Вместе с

миллионом женщин, валяющихся на рельсах, на всех взлетных полосах и вокруг президентского дворца. Вы беседовали с ними и чему-то там ухмылялись.

— Было весьма трудно удержаться, мадам.

— Когда президентские войска откроют огонь, вы тоже будете ухмыляться?

— Нет, мадам, не буду. Прошу вас оказать поддержку.

— Чем?!

— Словом. Выразите на словах солидарность посла Экумены с женщинами Йотеббера. Подчеркните, что Йеове — образчик свободного социума для иммигрантов из мира рабов. Несколько слов похвалы правительству Йотеббера — за сдержанность, высокую просвещенность и тому подобное. Мол, Йотеббер — пример для подражания всей Йеове и прочее в том же духе.

— Ладно. Надеюсь, что сработает. А это не революция, Хавжива?

— Это просвещение, мадам.

* * *

Ворота в массивной раме стояли нараспашку, самой стены не было и в помине.

— В колониальные времена, — рассказывал старейшина торжественным тоном, — эти железные врата распахивались лишь дважды в день: утром, чтобы пропустить людей на полевые работы, и вечером — для прохода назад в трущобы. Все остальное время они стояли запертыми на все засовы.

Он продемонстрировал огромный сломанный замок, висевший на внешней стороне ворот, массивные ржавые болты всех прочих запоров. Движения старца были так же величавы, как его голос, и снова Хавжива восхитился чувством собственного достоинства, с которым эти люди сумели пройти сквозь тяжкие времена и которое умудрились сохранить вопреки всем тяготам и унижениям многовекового рабства. Он уже начинал постигать, какое беспримерное влияние на их ментальность оказали священные тексты «Аркамье», передаваемые прежде из поколения в поколение в изустных преданиях. «Вот что мы имели прежде, вот что было нашим единственным скарбом», — как-то сказал ему в городе один старик, ласково поглаживая за-

скорузлыми пальцами корешок книги, которую в возрасте под семьдесят лишь учился читать.

Хавжива и сам только приступил к чтению этой книги на языке оригинала. Медленно продираясь сквозь сплошные архаизмы, он пытался постичь, что же в этих хитросплетениях вековой мудрости с отвагой и бесконечным самопожертвованием могло обнадеживать и согревать людей в течение трех тысячелетий позорного рабства. Частенько среди каденций древней истории он словно бы слышал голоса настоящего.

Сейчас Хавжива уже с месяц гостил в деревеньке племени Хайява, самом первом из поселений рабов Сельскохозяйственной корпорации Йеове в Йотеббере, основанном добрых три с половиной века тому назад. В этом глухом уголке южного побережья еще сохранились в нетронутом виде многие черты былого общественного уклада. Йерон и другие активистки освободительного движения давно говорили Хавживе, что лучше всего узнать жителей Йеове можно, познакомившись поближе с племенами, до сих пор обитающими на плантациях.

Он уже знал, что в течение первого столетия поселения были чисто мужскими — без женщин и детей. У первых обитателей резервации сложилось нечто вроде внутреннего правления со строгой иерархией, основанной на политике кнута и пряника. Самые сильные рабы, проходя через ряд испытаний, захватывали власть и удерживали ее затем интригами да подачками. Когда туда попали первые женщины, они в этой жесткой системе оказались на положении рабов у рабов. Мужчины, как прежде боссы, использовали женщин в качестве служанок и покорных сливных отдушин для избыточного семени. Самостоятельные решения и свободный выбор, как в вопросах секса, так и всех прочих, оставались чисто мужской привилегией. В течение последующих столетий присутствие в поселении детей несколько изменило племенные обычаи, обогатив их новыми деталями, но принцип мужского превосходства, поощряемый также и со стороны рабовладельцев, изменений почти не претерпел.

— Мы надеемся, что господин посланник удостоит завтра своим присутствием обряд посвящения, — сказал старейшина своим замогильным голосом, и Хавжива заверил, что ничто не доставит ему большей чести и удовольствия, нежели посещение столь важной церемонии. Невозмутимый до того старейшина выказал явные признаки удовлетворения. Возрастом далеко за пятьдесят, он родился во времена боссов, и все пертурбации освободительных войн пришлись на его зрелые лета. Памятуя слова Йерон о военных отметинах, Хавжива поискал их взглядом и нашел — дистрофически худой старик сильно прихрамывал и, открывая рот, демонстрировал сильно щербатую улыбку. Война и недороды не обошли его своими ласками. Кроме того, по плечу от шеи к локтю своеобразными эполетами сбегали четыре глубоких ритуальных шрама, и посреди лба синей татуировкой светился распахнутый глаз — знак принадлежности к вождям племени. Вожди рабов, раб на рабе и рабом погоняет — так было, пока не рухнули стены резервации, так оно во многом и теперь.

Старейшина двинулся от ворот к «длинному дому» по определенному маршруту, и Хавжива, следуя за ним, обратил внимание, что никто больше не смеет пользоваться этой тропинкой. Все: мужчины, женщины, дети — всегда шли по параллельным, приводящим к другим входам в барак. Он следом за старейшиной, очевидно, шел дорогою вождей — весьма узкой, кстати, дорожкой.

В тот же вечер, пока дети, которым завтра предстояло посвящение, под бдительным присмотром постились на женской половине поселения, вожди и старейшины собрались на пирушку, состоявшую в бесконечной смене блюд — все с тяжелой и пряной пищей. Основу каждого составляла гора риса, затейливо изукрашенная разноцветными травами, поверх нее — обязательно мясо. Молчаливые женщины вносили все ярче и пестрее изукрашенные блюда, и на каждом все больше и больше мяса — вырезка, господская пища, явный и непременный атрибут свободы, обретенной рабами.

Хавжива, взращенный в основном на вегетарианской пище, махнув рукой на предстоящие желудочные колики, отважно прокладывал себе дорогу сквозь бифштексы и жаркое. Кухня оказалась просто превосходной, покоя не давали лишь воспоминания о бесчисленных голодающих, часть которых он мог бы отыскать прямо за стеной.

Наконец, когда огромные корзины фруктов сменили последнее блюдо, женщины скрылись и началась «музыка». Вождь племени кивнул своему леосу (нечто среднее

между фаворитом, названым братом, приемным сыном и согревателем ложа). Тот, смазливый молодой человек весьма женственной наружности, заулыбавшись, мягко хлопнул в ладоши, затем стал отбивать медленный ритм. Когда за столом воцарилась полная тишина, он запел, но запел почти что шепотом.

На большинстве плантаций музыкальные инструменты были запрещены испокон веку — боссы позволяли крепостным исполнение лишь ритуальных песнопений в честь Туал в ходе ежегодной десятидневной службы. Во времена господства корпораций рабу, застигнутому за пением, заливали в глотку кислоту — мол, пока есть силы работать, нечего шуметь попусту.

В результате на этих плантациях зародилась и получила развитие особая почти беззвучная музыка, тихое похлопывание ладонями, едва слышные голоса, протяжные заунывные мелодии. Слова таких песен, искаженные за многие поколения бесчисленными поправками, уже почти утратили свой былой смысл. «Шеш», так называли это хозяева, то есть вздор. И в конце концов рабам стали дозволять «хлопать в ладошки и петь свой вздор» — при условии, что за стенами поселения ничего не будет слышно. Привыкнув за триста лет к такой манере пения, бывшие рабы придерживались ее и по сей день.

Хавживу постоянно нервировало, едва ли не пугало, когда опять шепотом вступал очередной голос — едва ли не в противофазе с предыдущими, усложняя мелодический рисунок и усиливая свистящий звук почти до непереносимого, нанизывая на тягостный ритм слова, в которых отчетливым был лишь первый слог. Захваченный этим жутковатым хором, едва не теряясь в нем, он ждал — вот-вот один из них возвысит голос — хотя бы леос, любимчик вождя, ощутив себя свободным, испустит триумфальный вопль — но нет, такого не случалось еще ни разу. Эта мягкая, давящая, как бы подводная музыка с ее плавно пульсирующим ритмом тянулась и тянулась, бесконечная, как река. По столу гуляли бутылки с йотским апельсиновым вином. Участники празднества активно бражничали. В конце концов, пили они как свободные люди. Напивались вдрызг. Смех и пьяные выкрики начинали заглушать музыку. Но само пение от этого громче не стало. И никогда не становилось.

Затем, поддерживая друг друга и время от времени задерживаясь за деревьями, чтобы отблеваться, веселая компания брела тропинкою вождей назад в большой барак. Любезный смуглокожий сосед по столу неведомо как оказался в одной постели с Хавживой.

Еще в самом начале вечеринки он долго объяснял Хавживе, что в течение всего периода подготовки и проведения ритуалов посвящения контакты с женщинами запрещены, как нарушающие некие особые энергетические поля. Мол, тогда вся церемония пойдет насмарку и мальчикам уже никогда не стать полноценными членами племени. Одни лишь ведьмы, естественно, мечтают нарушить табу, а их среди женщин великое множество, и каждая так и пытается поймать мужчину в свои нечестивые сети. Сбить с пути истинного. Нормальные же сношения, то есть между мужчинами, наоборот — поддерживают энергию посвящения и помогают детям пройти сквозь назначенные испытания. Следовательно, каждый добропорядочный мужчина обязан выбрать себе приятеля на эту ночь.

Хавжива был доволен, что достался в партнеры этому говоруну, а не кому-нибудь из старейшин, которые могли потребовать от него по-настоящему энергетического, то бишь темпераментного представления. Теперь же он проснулся поутру со смутными воспоминаниями, что оба они оказались слишком пьяны и, едва добравшись до постели, вырубились напрочь.

Злоупотребление золотистым йотским вином приводит к тяжкому похмелью. Хавжива знал это и прежде, теперь же, по пробуждении, звон в ушах и тошнотворная слабость во всем теле красноречиво подтверждали это.

В полдень новый приятель повлек Хавживу к местам для почетных гостей на деревенской площади, уже битком набитой зрителями исключительно мужского пола. Длинные мужские бараки остались у зрителей за спиной, перед глазами — глубокий ров, отделяющий женскую половину от мужской, или привратной, как продолжали называть ее до сих пор, хотя стены исчезли и ворота, одиноко возвышающиеся над крышами хижин и бараков, стали историческим памятником. Дальше во все стороны простирались бескрайние рисовые поля, подернутые жарким полуденным маревом.

Шестеро мальчиков скорым шагом направлялись от

женских хижин ко рву. Пожалуй, эта канава широковата для тринадцатилетних ребятишек, подумалось Хавживе, но двое из шести все же сумели прыжком с разгона преодолеть преграду. Остальные четверо тоже отважно прыгнули, но сорвались и карабкались теперь по стенке рва. Один из неудачников, первым выбравшийся на поверхность, тихонько скулил от боли в поврежденной ноге. Даже оба более удачливых прыгуна выглядели изможденными и напуганными, и все шестеро покачивались, точно былинки на ветру, совершенно синие от долгого поста и непрерывного бодрствования. Окружившие мальчуганов старейшины выстроили их, обнаженных и трепещущих, в ряд лицом к зрителям.

Хавжива нигде не находил взглядом ни единой женщины, даже на женской половине селения.

Начался экзамен. Вожди и старейшины по очереди отрывисто выкрикивали вопросы, отвечать на которые следовало без малейшей запинки, то кому-либо одному, то всем вместе — в зависимости от жеста экзаменатора. Религиозные обряды, официальный протокол, проблемы этики — вымуштрованные ребятишки петушиными своими фальцетиками отбарабанивали ответы на любые темы. Неожиданно одного из мальчиков — того самого, что хромал после падения, — вырвало желчью, и, ослабев, он осел наземь. Ничто не переменилось, никто даже не шевельнулся, экзамен продолжался как ни в чем не бывало — лишь после тех вопросов, что адресовались упавшему в обморок, повисала короткая болезненная пауза. Спустя минуту-другую мальчик пришел в себя, сел, затем, преодолев слабость, поднялся и занял свое место в шеренге. Его мертвенно-голубые губы снова шевелились в такт общим выкрикам, но теперь, похоже, совсем уж беззвучно.

Хавжива старательно наблюдал за ритуалом, хотя мысли его витали в иных сферах, в далеком прошлом. «Все, что знаем, мы узнаем в поте лица своего, — думал он, — но всякое наше знание ограничено, всегда оно лишь часть недостижимого целого».

После инквизиторского допроса наступило время самой настоящей пытки — ритуальное клеймо в виде глубоких царапин от шеи по обоим плечам до локтевого сгиба каждого несчастного мальчугана выполнялось при помощи заостренного колышка твердого дерева, раздиравшего

нежную детскую плоть чуть ли не до самых костей, чтобы оставить по себе глубокий, хорошо заметный шрам, доказывающий мужество испытуемого. Рабам не дозволялось держать внутри поселения никаких металлических инструментов, сообразил Хавжива с заметным содроганием, но взгляда не отвел, как это и пристало почетному гостю. После каждой очередной кровавой борозды старейшины прерывались для заточки своего страшного орудия о желоб в большом камне, установленном посреди площади в незапамятные времена. От жуткой боли мальчики корчились, один, не в силах терпеть, дико вскрикнул и тут же зажал себе рот свободной ладошкой. Другой сразу же прикусил себе большой палец, да так сильно, что по окончании процедуры кровь из пальца хлестала ничуть не слабее, чем из обезображенных плеч. Наконец, когда все до последнего прошли через ритуальную живодерню, вождь племени, промыв мальчикам раны, замазал их каким-то целебным снадобьем. Ошеломленно пошатываясь, мальчики вновь выстроились в ряд — старейшины, улыбаясь, нежно похлопывали их по неповрежденным местам. «Герои, наши соплеменники, мужественные парни!» — услышал Хавжива и перевел дух с чувством глубокого облегчения.

Неожиданно на площади появились еще шестеро детишек, на сей раз девочки. На мужскую половину они прошли через мостик — каждая в сопровождении отдельной дуэньи, с головой закутанной в покрывало. На девочках же, напротив, — никакой одежды, только браслеты на лодыжках и запястьях, по-птичьи костлявых. При виде новых жертв толпа зрителей испустила единый ликующий вопль. Хавжива поразился — неужто девочкам тоже предстоит пройти через обряд посвящения? Это было бы добрым знаком, решил он.

Две из девочек по возрасту были под стать мальчикам, остальные куда моложе — одной, пожалуй, не больше шести. Они выстроились рядком перед свежеиспеченными мужчинами тощенькими ягодицами к ухмыляющимся зрителям. За спиной каждой стояла задрапированная дуэнья, как за спиной каждого из мальчиков — обнаженный старейшина. Не в силах отвести глаз и отвлечься мыслями от происходящего, Хавжива наблюдал, как девочки ложатся на спину прямо в пыль и грязь площади. Одну из них, чуток замешкавшуюся, силком уложила ее дуэнья. Старики,

миновав новообращенных, под рев и улюлюканье восторженной публики мигом улеглись на девочек. Каждая дуэнья присела на корточки возле своей подопечной; одна, низко склонив голову, прижала к земле руку девочки. Обнаженные мужские ягодицы нелепо подпрыгивали; Хавжива не мог разобрать, было ли то настоящее сношение или только его имитация. «Вот как надо, смотрите, сынки, смотрите!» — восторженно ревели зрители. Под шутки, смех и улюлюканье старейшины, исполнив свой долг, один за другим вставали, причем каждый с интригующей скромностью пытался прикрыть свой детородный орган от любопытствующей публики.

Когда поднялся последний, вперед выступили мальчики, каждый улегся на предназначенную ему девочку и точно так же, как старшие до него, задрыгал попкой. Это уж точно была чистой воды имитация, эрекции ни у одного из мальчиков Хавжива не заметил. Зрители, невольно обступившие место действия, с воплями: «Может, помочь?», «Вот, возьми попробуй моим!» — наперебой демонстрировали свои напряженные фаллосы. Наконец все мальчики встали. Девочки продолжали лежать пластом с широко раздвинутыми ногами, точно маленькие дохлые ящерицы. По толпе мужчин прошло жутковатое движение, зрители с готовностью продолжить веселье прянули вперед — но старухи уже волокли девочек к мосту. Их поспешную ретираду толпа сопроводила всеобщим вздохом, едва ли не стоном разочарования.

— Они под воздействием целебных снадобий, чтоб вы чего не подумали! — заметил смуглокожий спутник Хавживы, искательно заглядывая в лицо. — Эти соплячки. Так что им не очень-то и больно.

— Да, я вижу, — откликнулся Хавжива со своего почетного места.

— Им еще повезло — участвовать в посвящении для них великая честь, редкостная привилегия. Крайне важно, чтобы девчонки теряли невинность как можно раньше. И имели сношения с как можно большим количеством мужчин. Чтобы не могли потом причитать, мол, это твой сын, а тот мальчик — сын вождя, тебе не чета, и прочее в том же духе. Это все ведьмовство. На самом деле сына выбирают. У настоящего сына не должно быть никакой прямой связи с этими крепостными шлюхами. И им следует

усвоить это с пеленок. А этих к тому же еще напичкали и снадобьями. Теперь не то что в прежние времена, при хозяевах. Тогда никаких снадобий тратить на них не стали бы.

— Понимаю, — сказал Хавжива и, взглянув на своего «партнера», подумал, что смуглый цвет кожи означает добрую толику хозяйской крови в его жилах; может статься, он даже родной сын одного из боссов. Ублюдок бесправной и безвестной рабыни. Сына он себе избирает. Всякое знание ограничено, любое знание частично, вспомнилось снова. Будь то в Стсе, в Экуменической школе или в поселениях Йеове.

— Стало быть, вы до сих пор считаете женщин крепостными? — уточнил Хавжива. Все его чувства замерзли и притупились, и вопрос прозвучал как бы с неким отстраненным любопытством.

— Нет, — спохватился смуглокожий приятель, — нет, что вы! Извините меня, я просто оговорился — знаете, как привыкнешь с детства... Тысяча извинений!

— Не по адресу.

Снова Хавжива поймал себя на несдержанности. Собеседник притих и пригорюнился.

— Друг мой, покорнейше прошу вас сопроводить меня в апартаменты, — сказал Хавжива, и смуглокожий вновь просиял.

Лежа в потемках, Хавжива тихонько беседовал похайнски со своим электронным дневником.

«Ты ничего не можешь изменить и поправить извне. Стоя в стороне, глядя сверху вниз, ты разглядишь лишь общий узор. Что-то в нем не так, где-то зияет прореха. Ты можешь попытаться понять, в чем она, но извне тебе никогда не удастся наложить на нее заплату. Ты должен оказаться внутри, ты должен стать ткачом. А может быть, даже нитью в узоре».

Последнюю фразу Хавжива произнес на диалекте Стсе.

* * *

Когда Йехедархеду Хавживе по прозвищу Неколебимый исполнилось пятьдесят пять, он вновь отправился в Йотеббер. Он не бывал там уже с давних пор. Должность

советника при министерстве общественного правосудия Йеове крепко привязывала его к северу, и путешествовать в южное полушарие доводилось крайне редко. Долгие годы провел он в Старой столице, проживая там вместе со своей подругой и отрываясь от относительно спокойной и размеренной жизни лишь на время поездок в Новую столицу для консультаций в сложных вопросах по просьбе молодого посла Экумены. Подруга Хавживы — а прожили они вместе уже полных восемнадцать лет — спешно завершала работу над очередной книгой, и перспектива провести недели две в одиночестве ее только обрадовала.

— Поезжай! — чуть ли не велела она ему. — Ты так давно об этом мечтал. Я присоединюсь к тебе, как только закончу работу. Обещаю, что никто из этих чертовых политиков ничего не пронюхает о твоем отъезде. Смывайся же! И скорее!

И Хавжива отбыл. Он так и не сумел привыкнуть к стремительным взлетам и посадкам флайеров, хотя летать ему приходилось довольно часто, и сейчас предпочел долгое путешествие поездом — комфортабельным трансконтинентальным экспрессом. Поезда теперь мчались гораздо быстрее, но курсировали по-прежнему битком набитые пассажирами. Каждая остановка по-прежнему превращалась в штурм вагонов низшего класса, хотя забираться на крышу, как в былые годы, никто уже не решался — при скорости-то под сто пятьдесят. Хавжива купил себе отдельное купе в прямом вагоне на Йотеббер и долгие часы проводил, молчаливо созерцая мелькающий за окошком ландшафт. Следы былого запустения в основном сменились молодыми лесопосадками вперемежку со строящимися городами, затем снова замелькали бесконечные ряды лачуг, но вот тебе и вполне приличные коттеджи, вот особняки с садами в уэрелианском стиле, дымящие фабрики, гигантские новые производства, снова внезапно необозримые поля, изрезанные серебристыми стрелами оросительных каналов обязательно с босоногими детишками по берегам. Наступала очередная короткая северная ночь, и Хавжива погружался в безмятежный дорожный сон.

На третий день пополудни он прибыл на конечную станцию — центральный вокзал Йотеббера. Никакой тебе толпы. Никаких встречающих. Никаких телохранителей. Хавжива брел по знакомым раскаленным улицам, миновал рынок, прогулялся по Центральному парку. Видимо, все же немного бравируя — бандиты в городе еще пошаливали. И он бдительно озирался по сторонам. Дойдя до храма безносой старушки Туал, Хавжива возложил к ее ногам белый цветок, сорванный по пути в парке. Прамать по-прежнему чему-то загадочно улыбалась. Подмигнув ей в ответ, Хавжива отправился в новый большой район, где проживала Йерон.

Бывшей сиделке стукнуло уже семьдесят четыре, и она недавно оставила работу в клинике, которой руководила, практикуя и читая лекции студентам, последние пятнадцать лет. Йерон не так уж сильно изменилась с тех пор, как Хавжива увидел ее впервые у своего изголовья, лишь как бы немного усохла. Совершенно облысевшую ее голову покрывал мерцающий платок, аккуратно повязанный на затылке. Они обнялись и расцеловались, и Йерон ласково поглаживала Хавживу по плечу, расплываясь в неудержимой улыбке. Они никогда не спали вместе, но между ними всегда существовало обоюдное тяготение, желание прикоснуться друг к другу.

— Взгляните! — воскликнула Йерон, касаясь головы дорогого гостя. — Нет, вы только взгляните на эти седины! Как ты прекрасен! Проходи же скорей и выпей со мною стаканчик вина. Где же, наконец, твой араха? Когда же ты все-таки поумнеешь и прекратишь свои мальчишеские выходки! Снова шел через весь город пешком, да еще с багажом? Нет, ты по-прежнему чокнутый!

Хавжива извлек из сумки и вручил ей подарок — трактат о лечении каких-то редкостных в системе Уэрел — Йеове болезней, составленный медиками Экумены. Йерон просто рассыпалась в благодарностях. И некоторое время даже разрывалась от желаний одновременно принять Хавживу как следует и проглядеть главу о берлоте. Они допивали уже по второму бокалу бледного оранжского, когда Йерон, отложив книгу в сторонку, повторила:

— Как ты прекрасен, Хавжива! — Ее темные глаза засветились любовью. — Ты похож на настоящего святого. Да ты и есть святой.

— Но я ведь покуда еще живой, Йерон.

— Ну, тогда на героя. И не спорь со мной!

— Не стану, — ответил он, счастливо улыбаясь. —

Я знаю, что такое быть настоящим героем, отрицать не стану.

— Что случилось бы со всеми нами, если бы не ты?

— Примерно то же, что и сейчас... — Хавжива вздохнул. — Иногда мне кажется, что мы теряем даже то немногое, что обрели прежде. Этот Туальбеда из провинции Детаке, к примеру, — его никак нельзя недооценивать, Йерон. Его ораторский гений возбуждает и заражает ксенофобией очень многих, толпа просто обожает этого маньяка...

Йерон досадливо взмахнула рукой.

— Этому никогда не будет конца, — заявила она. — Но я всегда знала, что ты пойдешь одним путем с нами. Еще прежде, чем познакомилась с тобой. Как только впервые услыхала твое имя. Я знала!

— Надо сказать, что выбор у меня был относительно невелик.

— Ба-бах! Ты сам выбирал, мужчина!

— Да, — сказал Хавжива, пригубив вино. — Я выбирал. — И после паузы добавил: — Не многим выпал подобный жребий. Я выбирал, как жить, с кем, чем заниматься. Иногда мне кажется, что моя способность выбирать возникла от неприятия выбора, который кто-то делает за тебя.

— И поэтому ты восстал, чтобы проложить свой собственный путь, — кивнула Йерон.

— Я отнюдь не повстанец, — улыбнулся Хавжива.

— Ба-бах! — повторилась хозяйка. — Как это не повстанец? Ты всегда в самом центре нашего Движения, едва ли не во главе!

— Ну да, — сказал Хавжива. — Но вовсе не как повстанец. Дух восстания — это по вашей части. Мое дело — одобрение. Дух сдержанности и приятия. Этому я и учился всю свою жизнь. Изменять не мир, но собственную душу. И жить в мире. Только так и можно существовать.

Йерон слушала внимательно, но недоверчиво.

— Звучит как-то по-женски, — сказала она. — Мужчины всегда стремятся подчинить мир себе.

— Но не мужчины моего рода, — ответил Хавжива.

Йерон снова наполнила бокалы.

— Расскажи-ка мне о своем роде. Раньше я всегда как-то стеснялась спрашивать. Хайн ведь столь древняя цивилизация! Столь мудрая! Вам ведома История, вам покорны межзвездные пространства! Что такое перед вами мы — с нашими тремя веками невежества, ничтожества и моря крови? Ты просто не состоянии представить, какими мелкими чувствуем мы себя порой перед вами.

— Мне кажется, я знаю это, — сказал Хавжива. Помолчав, он продолжил: — Ведь родился я в крохотном городке под названием Стсе...

Он поведал историю своей жизни в пуэбло, рассказал о людях Иного Неба, о дяде, который доводился ему отцом, о матери — Наследнице Солнца, об обычаях, празднествах, богах повседневных и високосных. Хавжива рассказал, как изменил свою жизнь — еще до визита историка и своего отъезда в Катхад — и как изменил ее снова, уже после.

— Такое великое множество правил? — изумилась Йерон. — Столь сложных и непререкаемых. В точности как у наших племен. Неудивительно, что ты сбежал.

— Все, что я сделал, — отправился в Катхад изучать то, что было недоступно мне в Стсе, — сказал Хавжива с улыбкой. — В чем суть и смысл правил. Почему люди нужны друг другу. Экология человека. Все то же самое, что и тут, на Йеове, все эти долгие годы. Мы ведь здесь тоже пытаемся создать свод приемлемых правил — узор, порождающий приятные ощущения. — Поднявшись, Хавжива потянулся. — Кажется, я уже пьян. Может, подышим воздухом?

Они вышли в солнечный сад и стали бродить по извилистым дорожкам среди пышной зелени и цветочных клумб. Йерон кивала встречным прохожим, почтительно приветствующим доктора полным ее титулом. Она гордо шагала под руку с Хавживой. Он же старательно соразмерял свою походку с её семенящим старческим шагом.

— Когда приходится неподвижно сидеть, тебя так и тянет в полет, — сказал Хавжива, нежно поглаживая шишковатые пальцы спутницы. — Когда же приходится лететь, так и тянет присесть. Я обучался сидя — у себя в Стсе. Я обучался и в полете — вместе с историками. Но и там я был не в силах обрести равновесие.

— Тогда ты и пришел к нам, — сказала Йерон.

— Тогда я и пришел к вам.

— И ты обрел его?

— Я научился ходить, — ответил Хавжива. — Ходить рука об руку со своим народом.

Освобождение женщины

Близкий друг попросил записать историю моей жизни, считая, что она может представить интерес для людей других миров и времен. Я обыкновенная женщина, но мне довелось жить в годы великих перемен, и я всем существом поняла, в чем суть рабства и смысл свободы.

Вплоть до зрелых лет я не умела читать и писать и посему прошу простить ошибки, которые я сделаю в своем повествовании.

Я была рождена рабыней на планете Уэрел. Ребенком я носила имя Шомеке Радоссе Ракам. Что значило «собственность семьи Шомеке, внучка Доссе, внучка Камаи». Род Шомеке владел угодьями на восточном побережье Вое Део. Доссе была моей бабушкой. Камье — Владыкой всемогущим.

В имущество Шомеке входило больше четырехсот особей; большей частью они возделывали поля, где пасли коров на пастбищах сладкой травы, работали на мельницах и обслугой в Доме. Род Шомеке был прославлен в истории. Наш хозяин считался заметной политической фигурой и часто пропадал в столице.

«Имущество» получало имена по бабушке, потому что именно она растила детей. Мать работала весь день, а отцов не существовало. Женщины всегда зачинали детей не только от одного мужчины. Если даже тот знал, что ребенок от него, это его не заботило. В любой момент его могли продать или обменять. Молодые мужчины редко оставались в поместье надолго. Если они представляли собой какую-то ценность, их сбывали в другие усадьбы или продавали на фабрики. А если от них не было никакого толка, им оставалось работать до самой смерти.

Женщин продавали нечасто. Молодых держали для работы и размножения, пожилые растили детей и содержали поселение в порядке. В некоторых поместьях женщины

рожали каждый год вплоть до смерти, но в нашем большинстве имели всего по два или три ребенка. Шомеке ценили женщин лишь как рабочую силу. И не хотели, чтобы мужчины вечно болтались вокруг них. Бабушки одобряли такое положение дел и бдительно оберегали молодых женщин.

Я упоминаю мужчин, женщин, детей, но надо сказать, что нас не называли ни мужчинами, ни женщинами, ни детьми. Только наши хозяева имели право так именовать себя. Мы, «имущество», или рабы, мужчины и женщины, были крепостными, а дети — щенками. И я стану пользоваться этими словами, хотя вот уже много лет в этом благословенном мире не слышала и не употребляла их. Частью поселения, что примыкала к воротам и где жили крепостные мужского пола, управляли надсмотрщики, мужчины, некоторые из них были родственниками Шомеке, а остальные — наемниками. Внутри поселения обитали дети и женщины. К ним имели свободный допуск двое «укороченных», кастратов из крепостных, которых называли надсмотрщиками, но на самом деле правили тут бабушки. Без их соизволения в поселении ничего не происходило.

Если бабушки говорили, что та или иная одушевленная скотина слишком слаба, чтобы работать, надсмотрщики позволяли той оставаться дома. Порой бабушки могли спасти крепостного от продажи, случалось, оберегали какую-нибудь девушку, чтобы та не зачала от нескольких мужчин, или давали предохранительные средства хрупкой девчонке. Все в поселении подчинялись совету бабушек. Но если какая-то из них позволяла себе слишком много, надсмотрщики могли засечь ее, или ослепить, или отрубить ей руки. Когда я была маленькой, в поселении жила старуха, которую мы называли прабабушка — у нее вместо глаз зияли дыры и не было языка. Я думала, что такой она стала с годами. И боялась, что у моей бабушки Доссе язык тоже усохнет во рту. Как-то раз я сказала ей об этом.

— Нет, — ответила она. — Он не станет короче, потому что я не позволяла ему быть слишком длинным.

В этом поселении я и жила. Тут мать произвела меня на свет, и ей было позволено три месяца нянчить меня; затем меня отняли от груди и стали вскармливать коровьим молоком, а моя мать вернулась в Дом. Ее звали Шомеке Райова Йова. Она была светлокожей, как и большинство осталь-

ного «имущества», но очень красивой, с хрупкими запястьями и лодыжками и тонкими чертами лица. Моя бабушка тоже была светлой, но я отличалась смуглостью и была темнее всех в поселении.

Мать приходила навещать меня, и кастраты позволяли ей проходить через воротца. Как-то она застала меня, когда я растирала по телу серую пыль. Когда она стала бранить меня, я объяснила, что хочу выглядеть как все остальные.

— Послушай, Ракам, — сказала она мне, — они люди пыли и праха. И им никогда не подняться из него. Тебе же суждено нечто лучшее. Ты будешь красавицей. Как ты думаешь, почему ты такая черная?

Я не понимала, что она имела в виду.

— Когда-нибудь я расскажу тебе, кто твой отец, — сказала она, словно обещала преподнести дар.

Я знала, что жеребец, принадлежащий Шомеке, дорогое и ценное животное, покрывал кобыл в других поместьях. Но понятия не имела, что отцом может быть и человек.

Тем же вечером я гордо сказала бабушке:

— Я красивая, потому что моим отцом был черный жеребец! — Доссе дала мне такую оплеуху, что я полетела на пол и заплакала.

— Никогда не говори о своем отце! — сказала она.

Я знала, что между матерью и бабушкой состоялся гневный разговор, но лишь много времени спустя догадалась, что явилось его причиной. И даже сейчас не уверена, поняла ли я все, что существовало между ними.

Мы, стаи щенят, носились по поселению. И ровно ничего не знали о том мире, что лежал за его стенами. Вся наша вселенная состояла из хижин крепостных женщин и «длинных домов», в которых обитали мужчины, из огородика при кухне и голой площадки, почва на которой была утрамбована нашими босыми пятками. Я считала, нам никогда не покинуть этих высоких стен.

Когда ранним утром заводские и сельские тянулись к воротам, я не знала, куда они отправляются. Они просто исчезали. И весь нескончаемый день поселение принадлежало только нам, щенкам, которые, голые летом, да и зимой, носились по нему, играли с палками и камнями, копошились в грязи и удирали от бабушек до тех пор, пока

сами не прибегали к ним, прося что-нибудь поесть, или же пока те не заставляли нас пропалывать огород.

Поздним вечером возвращались работники и под охраной надсмотрщиков медленно входили в ворота. Некоторые из них были понурыми и усталыми, а другие весело переговаривались между собой. Когда последний переступал порог, высокие створки ворот захлопывались. Из очагов поднимались струйки дыма. Приятно пахло тлеющими лепешками коровьего навоза. Люди собирались на крылечках хижин и «длинных домов». Мужчины и женщины тянулись ко рву, который отделял одну часть поселения от другой, и переговаривались через него. После еды тот, кто свободно владел словом, читал благодарственную молитву статуе Туал, мы возносили наши моления Камье, и все расходились спать, кроме тех, кто собирался «попрыгать через канаву». Порой летними вечерами разрешалось петь или танцевать. Зимой один из дедушек — бедный, старый, немощный мужчина, которого было и не сравнить с бабушками, — случалось, «пел слово». То есть так мы называли разучивание «Аркамье». Каждый вечер кто-то произносил, а другие заучивали священные строки. Зимними вечерами один из этих старых, бесполезных крепостных мужчин, который продолжал существовать лишь по милости бабушек, начинал «петь слово». И тогда даже мы, малышня, должны были слушать это повествование.

Моей сердечной подружкой была Валсу. Она была крупнее меня и выступала моей защитницей, когда среди молодых возникали ссоры и драки или когда детишки постарше дразнили меня «Черной» или «Хозяйкой». Я была маленькой, но отличалась отчаянным характером. И нас с Валсу задевать остерегались. Но потом Валсу стали посылать за ворота. Ее мать затяжелела, стала неповоротливой, и ей потребовалась помощь в поле, чтобы выполнять свою норму.

Посевы геде убирать можно было только руками. Каждый день вызревала новая порция стеблей, которые приходилось выдергивать, поэтому сборщики геде каждые двадцать или тридцать дней возвращались на уже знакомое поле, после чего переходили к более поздним посевам. Валсу помогала матери прореживать отведенные ей борозды. Когда мать слегла, Валсу заняла ее место, и девочке помогали выполнить норму матери. По подсчетам владельца,

ей было тогда шесть лет, ибо всем одногодкам «имущества» определяли один и тот же день рождения, который приходился на начало года, что вступал в силу с приходом весны. На самом деле ей было не меньше семи. Ее мать плохо себя чувствовала до родов и после, и все это время Валсу подменяла ее на полях геде. И, возвращаясь, она больше не играла, ибо вечерами успевала только поесть и лечь спать.

Как-то мы повидались с ней и поговорили. Она гордилась своей работой. Я завидовала ей и мечтала переступить порог ворот. Провожая ее, я смотрела сквозь проем на окружающий мир. И мне казалось, что стены поселения сдвигаются вокруг меня.

Я сказала бабушке Доссе, что хочу работать на полях.

— Ты еще слишком маленькая.

— К новому году мне будет семь лет.

— Твоя мать пообещала, что не выпустит тебя за ворота.

На следующий раз, когда мать навестила меня в поселении, я сказала ей:

— Бабушка не выпускает меня за ворота. А я хочу работать вместе с Валсу.

— Никогда, — ответила мать. — Ты рождена для лучшей участи.

— Для какой?

— Увидишь.

Она улыбнулась мне. Я догадывалась, что она имела в виду Дом, в котором работала сама. Она часто рассказывала мне об удивительных вещах, которыми был полон Дом, ярких и блестящих, хрупких, чистых и изящных предметах. В Доме стояла тишина, говорила она. Моя мать носила красивый красный шарф, голос у нее был мягким и спокойным, а ее одежда и тело — всегда чистыми и свежими.

— Когда увижу?

Я приставала к ней, пока она не сказала:

— Ну хорошо! Я спрошу у миледи.

— О чем спросишь?

О миледи я знала лишь, что она была очень хрупкой и стройной и что моя мать каким-то образом принадлежала ей, чем очень гордилась. Я знала, что красный шарф матери подарила миледи.

— Я спрошу ее, можно ли начать готовить тебя для пребывания в Доме.

Моя мать произносила слово «Дом» с таким благоговением, что я воспринимала его как великое святилище, подобное тому, о котором говорилось в наших молитвах: «Могу ли я войти в сей чистый дом, в покои принца?»

Я пришла в такой восторг, что стала плясать и петь: «Я иду в Дом, в Дом!» Мать шлепнула меня и сделала выговор за то, что я не умею себя вести. «Ты еще совсем маленькая! — сказала она. — И не умеешь вести себя! И если тебя выставят из Дома, ты уже никогда не вернешься в него».

Я пообещала, что буду вести себя, как подобает взрослой.

— Ты должна делать все абсолютно правильно, — сказала мне Йова. — Когда я что-то говорю тебе, ты должна слушаться. Никогда ни о чем не спрашивать. Никогда не медлить. Если миледи увидит, что ты не умеешь себя вести, то отошлет тебя обратно. И тогда для тебя все будет кончено. Навсегда.

Я пообещала, что буду слушаться. Я пообещала, что буду подчиняться сразу и безоговорочно и не открывать рта. И чем больше мать пугала меня, тем сильнее мне хотелось увидеть этот волшебный сияющий Дом.

Расставшись с матерью, я не верила, что она осмелится поговорить с миледи. Я не привыкла к тому, что обещания исполняются. Но через несколько дней мать вернулась, и я увидела, как она говорит с бабушкой. Сначала Доссе разозлилась и стала кричать. Я притаилась под окном хижины и все услышала. Я слышала, как бабушка заплакала. Я удивилась и испугалась. Бабушка была терпелива со мной, всегда заботилась обо мне и хорошо меня кормила. И пока она не заплакала, мне не приходило в голову, что у нас могут быть и другие отношения. Ее слезы заставили заплакать и меня, словно я была частью ее самой.

— Ты должна оставить мне ее еще на год, — говорила бабушка. — Она же совсем ребенок. Я не могу выпустить ее за ворота. — Она молила, словно перестала быть бабушкой и потеряла всю свою властность. — Йова, она моя радость!

— Разве ты не хочешь, чтобы ей было хорошо?

— Всего лишь год. Она слишком несдержанна, чтобы находиться в Доме.

— Она и так слишком долго находится в неопределен-

ном состоянии. И если останется здесь, ее пошлют на поля. Еще год — и ее не возьмут в Дом. Она покроется пылью и прахом. Так что не стоит плакать. Я обратилась к миледи, и та ждет. Я не могу возвратиться одна.

— Йова, не позволяй, чтобы ее обижали, — очень тихо проговорила Доссе, словно стесняясь таких слов перед дочерью, и тем не менее в ее голосе слышалась сила.

— Я забираю ее, чтобы оберечь от бед, — сказала моя мать. Затем она позвала меня, я вытерла слезы и последовала за ней.

Как ни странно, но я не помню ни мою первую встречу с миром за пределами поселения, ни первое впечатление от Дома. Могу лишь предполагать, что от испуга не поднимала глаз и все вокруг казалось настолько странным, что я просто не понимала, что происходит. Знаю, что минуло несколько дней, прежде чем мать отвела меня к леди Тазеу. Ей пришлось основательно подраить меня щеткой и многому научить, дабы увериться, что я не опозорю ее. Я была испугана, когда она взяла меня за руку и, шепотом внушая строгие наставления, повела из помещений крепостных через залы с дверьми цветного дерева, пока мы не оказались в светлой солнечной комнате без крыши, заплетенной цветами, что росли в горшках.

Вряд ли мне доводилось раньше видеть цветы — разве что сорняки в садике у кухни, — и я смотрела на них во все глаза. Матери пришлось дернуть меня за руку, чтобы заставить взглянуть на женщину, которая полулежала в кресле среди цветов, в удобном изящном платье, столь ярком, что оно не уступало цветам. Я с трудом отличала одно от другого. У женщины были длинные блестящие волосы и такая же блестящая черная кожа. Мать подтолкнула меня, и я сделала все так, как она старательно учила меня: подойдя, опустилась перед креслом на колени и застыла в ожидании, а когда женщина протянула длинную, тонкую, черную руку с лазурно-голубой ладонью, я прижалась к ней лбом. Далее предстояло сказать: «Я ваша рабыня Ракам, мэм», но голос отказался подчиняться мне.

— Какая милая маленькая девочка, — сказала леди. — И такая темная. — На последних словах ее голос слегка дрогнул.

— Надсмотрщики приходили... в ту ночь, — с застенчивой улыбкой сказала Йова и смущенно опустила глаза.

— В чем нет сомнения, — сказала женщина. Я осмелилась еще раз глянуть на нее. Она была прекрасна. Я даже не представляла себе, что человеческое создание может быть столь красиво. Она снова протянула длинную нежную руку и погладила меня по щеке и шее. — Очень, очень мила, Йова, — сказала женщина. — Ты поступила совершенно правильно, что привела ее сюда. Она уже принимала ванну?

Ей бы не пришлось задавать такой вопрос, если бы она увидела меня в первый же день, покрытую грязью и благоухающую навозом, что шел на растопку очагов. Она ничего не знала о поселении. И не имела представления о жизни за пределами безы, женской половины Дома. Она жила в ней столь же замкнуто, как я в поселении, ничего не зная о том, что делалось за ее пределами. Она никогда не обоняла навозные запахи, так же, как я никогда не видела цветов.

Мать заверила миледи, что я совершенно чистая.

— Значит, вечером она может прийти ко мне на ложе, — сказала, женщина. — Я так хочу. А ты хочешь спать со мной, милая маленькая... — она вопросительно посмотрела на мать, которая шепнула: «Ракам». Услышав мое имя, мадам облизала губы. — Оно мне не нравится, — пробормотала она. — Такое ужасное. Тоти. Да. Ты будешь моей новой Тоти. Приведи ее сегодня вечером, Йова.

У нее был лисопес, которого звали Тоти, рассказала мне мать. Ее любимец умер. Я не знала, что у животных могут быть имена, и мне не показалось странным, что теперь я стану носить собачью кличку, но сначала удивило, что больше не буду Ракам. Я не могла воспринимать себя как Тоти.

Тем же вечером мать снова помыла меня в ванне, натерла тело нежным светлым маслом и накинула на меня мягкий халат, даже мягче ее красного шарфа. Потом еще раз строго поговорила со мной, внушая разные указания, но видно было, что она в восторге и радуется за меня. Мы снова направились в безу, минуя залы и коридоры и встречая по пути других крепостных женщин — пока наконец не оказались в спальне миледи, удивительной комнате, увешанной зеркалами, картинами и драпировками. Я не понимала, что такое зеркало или картина, и испугалась,

увидев нарисованных людей. Леди Тазеу заметила мой испуг.

— Иди сюда, малышка, — сказала она, освобождая для меня место на своей огромной широкой мягкой постели, устланной подушками. — Иди сюда и прижмись ко мне. — Я свернулась калачиком рядом с ней, а она гладила меня по волосам и ласкала кожу, пока я не успокоилась от прикосновения мягких теплых рук.

— Вот так, вот так, малышка Тоти, — говорила она, и наконец мы уснули.

Я стала домашней любимицей леди Тазеу Вехома Шомеке. Почти каждую ночь я спала с ней. Ее муж редко бывал дома, а когда появлялся, предпочитал получать удовольствие в обществе крепостных женщин, а не с супругой. Порой миледи звала к себе в постель мою мать или другую женщину, помоложе, — когда это случалось, меня отсылали, пока я не стала постарше, лет десяти или одиннадцати, и тогда мне позволяли присоединяться к ним, — и учила, как доставлять наслаждение. Мягкая и нежная, в любви она предпочитала властвовать, и я была инструментом, на котором она играла.

Кроме того, я обучалась искусству ведения дома и связанным с этим обязанностям. Миледи учила меня петь, потому что у меня был хороший голос. Все эти годы меня никогда не наказывали и не заставляли делать тяжелую работу. Я, которая в поселении была совершенно неуправляемой, стала в Большом Доме воплощением послушания. В свое время я то и дело восставала против бабушки и не слушалась ее приказов, но что бы мне ни приказывала миледи, я охотно исполняла. Она быстро подчинила меня себе с помощью любви, которую дарила мне. Я воспринимала ее как Туал Милосердную, что снизошла на землю. И не в образном смысле, а в самом деле. Я видела в ней какое-то высшее существо, стоящее неизмеримо выше меня.

Может быть, вы скажете, что я не могла или не должна была испытывать удовольствие, когда хозяйка так использовала меня без моего на то согласия, а если бы я и дала его, то не должна была чувствовать ни малейшей симпатии к откровенному воплощению зла. Но я ровно ничего не знала о праве на отказ или о согласии. То были слова, рожденные свободой.

У миледи был единственный ребенок, сын, на три года

старше меня. Он жил в уединении, окруженный лишь нами, крепостными женщинами. Род Вехома принадлежал к аристократии Островов, а те придерживались старомодных воззрений, по которым их женщины не имели права путешествовать, а потому были отрезаны от своих семей, откуда происходили. Единственное общество, где ей приходилось бывать, составляли друзья хозяина, которых он привозил из столицы, но все это были мужчины, и миледи составляла им компанию только за столом.

Хозяина я видела редко и только издали. Я и его считала неким высшим существом, но от него исходила опасность.

Что же до Эрода, молодого хозяина, то мы видели его, когда он днем навещал мать или отправлялся на верховые прогулки со своими наставниками. Мы, девчонки лет одиннадцати-двенадцати, тихонько подглядывали за ним и хихикали между собой, потому что он был красивым мальчиком, черным как ночь и таким же стройным, как его мать. Я знала, что он боялся отца, потому что слышала, как Эрод плакал у матери. Та утешала его лакомствами и, лаская, говорила: «Мой дорогой, скоро он снова уедет». Я тоже жалела Эрода, который существовал как тень, такой же бесплотный и безобидный. В пятнадцать лет он был послан в школу, но еще до окончания года отец забрал его. Крепостные поведали, что хозяин безжалостно избил сына и запретил покидать пределы поместья даже на лошади.

Крепостные женщины, обслуживавшие хозяина, рассказывали, как он жесток, и показывали синяки и ссадины. Они ненавидели его, но моя мать не соглашалась с ними.

— Кем ты себя воображаешь? — сказала она девочке, которая пожаловалась, что хозяин использовал ее. — Леди, с которой надо обращаться как с хрусталем?

А когда девочка поняла, что забеременела (объелась, говорили мы), мать отослала ее обратно в поселение. Я не поняла, почему она это сделала. И решила, что Йова ревнива и жестока. Теперь я думаю, что она спасала девочку от ревности нашей миледи.

Не знаю, когда я поняла, что была дочкой хозяина. Таясь от нашей властительницы, мать считала, что этого никто не знает. Но всем крепостным женщинам в доме это

было известно. Не знаю, услышала я о своем происхождении или подслушала, но помню, что, увидев Эрода, я внимательно рассмотрела его и подумала, что куда больше похожу на нашего отца, чем он, ибо к тому времени уже знала, что у нас общий отец. Я удивлялась, почему леди Тазеу не видит нашего сходства. Но она предпочитала жить в неведении.

За эти годы я редко появлялась в поселении. Первые полгода или около того я с удовольствием забегала повидаться с Валсу и бабушкой, показывала им свои красивые наряды, блестящие волосы и чистую кожу; но, когда я приходила, малыши, с которыми я играла, бросались грязью и камнями и рвали на мне одежду. Валсу работала на полях, и мне приходилось весь день прятаться в хижине бабушки. Когда же бабушка посылала за мной, я могла появляться только в присутствии матери и старалась держаться поближе к ней. Обитатели поселения, даже моя бабушка, стали относиться ко мне сухо и недоброжелательно. Их тела, покрытые язвами и шрамами от ударов надсмотрщиков, были грязны и плохо пахли. У них были загрубевшие руки и ноги с раздавленными ногтями, изуродованные пальцы, уши или носы. Я уже отвыкла от их вида. Мы, обслуга Большого Дома, сильно отличались от этих людей. Служа высшим существам, мы сами стали походить на них.

Когда мне минуло тринадцать или четырнадцать лет, я продолжала спать в постели леди Тазеу, которая часто занималась со мной любовью. Но она обзавелась и новой любимицей, дочкой одной из поварих, хорошенькой маленькой девочкой, хотя кожа у нее была белой, как мел. Как-то ночью миледи долго ласкала потаенные уголки моего тела, зная, каким образом довести меня до экстаза, который сотрясал с головы до ног. Когда я в изнеможении замерла в ее объятиях, она стала покрывать поцелуями мое лицо и грудь, шепча: «Прощай, прощай». Но я была так утомлена, что не удивилась этим словам.

Наутро миледи позвала нас с матерью и сказала, что решила подарить меня сыну на его семнадцатилетие.

— Мне будет ужасно не хватать тебя, Тоти, дорогая, — сказала она со слезами на глазах. — Ты доставляла мне столько радости. Но в доме нет другой девочки, которую я могла бы вручить Эроду. Ты самая чистенькая, милая и обаятельная из всех. Я знаю, что ты невинна, — она имела

в виду, с точки зрения мужчины, — и не сомневаюсь, что мой мальчик сможет доставить тебе много радости. Он будет добр с ней, Йова, — убежденно обратилась она к моей матери.

Та поклонилась и ничего не сказала. Да ей и нечего было сказать. Ни словом она не обмолвилась и со мной. Слишком поздно было посвящать меня в ту тайну, которой она так гордилась.

Леди Тазеу дала мне лекарство, чтобы предотвратить зачатие, но мать, не доверяя препаратам, отправилась к бабушке и принесла от нее специальные травы. Всю неделю я старательно принимала и то и другое.

Если мужчина в Доме решал нанести визит жене, он отправлялся в безу, но если ему была нужна просто женщина, за ней «посылали». Так что вечером в день рождения молодого хозяина меня облачили во все красное и в первый раз в жизни отвели в мужскую половину Дома.

Мое преклонение перед миледи распространялось и на ее сына, тем более что мне внушили: хозяева по самой своей природе превосходят нас. Но он был мальчиком, которого я знала с детства и считала сводным братом.

Я думала, что его застенчивость объяснялась страхом перед подступающим возмужанием. Другие девочки пытались соблазнить его и потерпели неудачу. Женщины рассказали мне, что я должна делать, как предложить себя и возбудить его, и я была готова все это исполнить. Меня привели в огромную спальню, стены которой были заплетены каменными кружевами, с высокими узкими окнами фиолетового стекла. Я покорно остановилась у дверей, а он стоял у стола, заваленного бумагами. Наконец он подошел ко мне, взял за руку и подвел к креслу. Потом заставил меня сесть и обратился ко мне, стоя рядом, что было странно и смущало меня.

— Ракам, — сказал он. — Это твое имя, не так ли? — Я кивнула. — Ракам, моя мать руководствовалась самыми лучшими намерениями, и ты не должна думать, что я не ценю их или не вижу твоей красоты. Но я не возьму женщины, которая не может предложить себя по собственной воле. Соитие между хозяином и рабыней — это изнасилование. — И он продолжал говорить, так красиво, словно миледи читала мне одну из своих книг. Я почти ничего не поняла, кроме того, что буду являться по его указанию и

спать в его постели, но он никогда не прикоснется ко мне. И об этом никто не должен знать. — Мне жаль, мне очень жаль, что я вынуждаю тебя лгать, — сказал он так серьезно, что я поняла: необходимость лгать причиняет ему страдания. Это свойство было присуще скорее богам, чем человеческому существу. Если ты страдаешь от лжи, как вообще можно существовать?

— Я сделаю все, что вы прикажете, лорд Эрод, — сказала я.

И много ночей слуга приводил меня к нему. Я засыпала на огромном ложе, пока Эрод, сидя за столом, работал с бумагами. Сам же он спал на узком диванчике у окна. Часто он изъявлял желание говорить со мной, и порой наши разговоры длились долго-долго, когда он делился со мной мыслями. Еще учась в столичной школе, Эрод стал членом группы властителей, которые хотели покончить с рабством. Они называли себя Общиной. Узнав об этом, отец забрал его из школы, отослал домой и запретил ему покидать поместье. Так Эрод тоже оказался заключен в его стенах. Но он постоянно по телесети переписывался с другими членами Общины, ибо знал, как пользоваться этой системой связи втайне и от отца и от правительства.

Он был полон идей и не мог не излагать их. Часто Геу и Ахас, двое молодых крепостных, которые выросли вместе с ним и всегда являлись за мной по приказу молодого хозяина, оставались слушать его речи о рабстве, о свободе и о многом другом. Нередко меня одолевала сонливость, но я все же старалась слушать и узнала много того, что было мне непонятно или во что я просто не могла поверить. Эрод рассказал нам, что те, кто считался «имуществом», создали организацию, именовавшуюся Хейм, которая похищала рабов на плантациях. Этих рабов доставляли к членам Общины, которые выправляли им фальшивые документы на других хозяев, хорошо обращались с ними и помогали обзавестись достойной работой в городах. Он рассказывал нам о больших городах, и я любила слушать его. Эрод поведал нам о колонии Йеове и сообщил, что там рабы подняли революцию.

О Йеове я ничего не знала. Кроме того, что это была большая синевато-зеленая звезда, которая исчезала после восхода солнца и появлялась перед закатом; она была куда ярче, чем самая маленькая из лун. Йеове было названием

из старой песни, которую затягивали в поселении: «О, о, Йе-о-ве, никто никогда не вернется с нее».

Я понятия не имела, что такое революция. Когда Эрод растолковал мне, что «имущество» на плантациях Йеове вступило в бой со своими властителями, я просто не поняла, как «имущество» могло сделать такое. С начала времен было определено, что должны существовать высшие существа и низшие, что есть Господь и есть человек, мужчины и женщины, владеющие и принадлежащие. Моим миром было поместье Шомеке, которое покоилось на этом фундаменте. Кому могло прийти в голову сокрушить его? Любой погибнет под его обломками.

Мне не нравилось, когда Эрод называл «имущество» рабами, ибо это уродливое слово сводило на нет нашу ценность. Про себя я решила, что тут, на Уэреле, мы «имущество», а в другом месте, в колонии Йеове, — рабы, тупые и бестолковые крепостные. Поэтому их туда и отослали. Что имело глубокий смысл.

Из этого вы можете сделать вывод, насколько я была невежественна. Порой леди Тазеу позволяла нам смотреть вместе с ней головизор, но сама предпочитала драмы, а не новости или репортажи о событиях. О мире, существовавшем за пределами поместья, я не имела представления, кроме того, что узнала от Эрода и чего совершенно не понимала.

Эрод побуждал нас спорить с ним. Он считал, что таким образом наше мышление расковывается и обретает свободу. Геу это нравилось. Он задавал вопросы типа: «Но если не будет «имущества», кто же станет работать?» После чего Эрод нам все растолковывал, сияя глазами и блистая красноречием. Я обожала его, когда он говорил с нами. Он был прекрасен, и то, что он говорил, тоже было прекрасно. Словно я возвращалась в свое щенячье детство и слушала в поселении старика, «поющего слово» Аркамье.

Я пользовалась контрацептивами, которые миледи каждый месяц вручала мне, как и девушкам, нуждавшимся в них. Леди Тазеу возбудила во мне чувственность, и я привыкла, что меня используют в сексуальном смысле слова. Мне не хватало ее ласк. Но я не знала, как сблизиться с кем-то из крепостных женщин, а те опасались приближаться ко мне, ибо знали, что я принадлежу молодому хозяину. Я часто проводила с ним время, слушая его речи, но

мое тело томилось по нему. Лежа в постели, я мечтала, как он подойдет, склонится надо мной и сделает то, что обычно делала миледи. Но он никогда не прикасался ко мне.

Геу тоже был красивым юношей, чистоплотным и воспитанным, довольно смуглым и привлекательным. Он не спускал с меня глаз. Но не приближался ко мне, пока я не рассказала, что Эрод так и не тронул меня.

Так я нарушила данное Эроду обещание никому ничего не рассказывать; но я не считала себя связанной этим обязательством, так же, как не думала, что всегда и везде обязана говорить только правду. Честь вести себя подобным образом могут позволить себе только хозяева, а не мы.

После этого Геу стал договариваться со мной о встречах на чердаке Дома. Удовольствия от них я не получала. Он не входил в меня, считая, что должен сохранять мою девственность для хозяина. Вместо этого он вводил мне член в рот, но, перед тем как кончить, вынимал его, ибо сперма раба не должна пятнать женщину хозяина. Это слишком большая честь для раба.

Вы с отвращением можете сказать, что вся моя история посвящена лишь такой теме, хотя в жизни, даже в жизни раба, существует не только секс. Совершенно верно. Могу лишь возразить, что только с помощью чувственности легче всего забыть о рабском состоянии, и мужчинам, и женщинам. И бывает, что, даже обретя свободу, и мужчины и женщины чувствуют, как трудно пребывать в новом состоянии. Ибо плоть властно заявляет о себе.

Я была молода, здорова и полна радости жизни. И даже теперь, даже здесь, вглядываясь сквозь пелену лет в тот мир, где остались поселение и Дом Шомеке, я ярко вижу их. Я вижу большие натруженные руки бабушки. Я вижу улыбку матери и красный шарф у нее на шее. Я вижу черный шелк тела миледи, раскинувшейся среди подушек. Я вдыхаю дымок навоза, горящего в очаге, и обоняю ароматы безы. Я ощущаю мягкость красивой одежды, облегающей мое юное тело, руки и губы миледи. Я слышу, как старик «поет слово», и как мой голос сплетается с голосом миледи в песне любви, и как Эрод рассказывает нам о свободе. У него возбужденно пылает лицо, когда он видит перед собой ее облик. За ним фиолетовое стекло окна в каменном переплете смотрит в ночь. Я не говорю, что хотела бы вернуться туда. Лучше смерть, чем возвращение в Шомеке. Я бы предпочла умереть, но не покинуть свободный мир, мой мир, и вернуться туда, где царит рабство. Но воспоминания моей юности, полной красоты, любви и надежды, не покидают меня.

Но все это было предано. Ибо покоилось на фундаменте, который в конце концов рухнул.

В тот год, когда мир изменился, мне минуло шестнадцать лет. Первые перемены, о которых я услышала, не вызвали у меня никакого интереса, если не считать, что милорд был взволнован, так же, как Геу, Ахас и еще кое-кто из молодых крепостных. Даже бабушка изъявила желание услышать о них, когда я навестила ее.

— На этом Йеове, в мире рабов, никак обрели свободу? — сказала она. — И прогнали своих хозяев? И открыли ворота? О, мой благословенный Владыка Камье, да как же это может быть? Да будь благословенно его имя и сотворенные им чудеса! — Сидя на корточках в пыли и положив руки на колени, она раскачивалась вперед и назад. Ныне она была старой, морщинистой женщиной. — Расскажи мне! — потребовала она.

В силу неведения я мало что могла поведать.

— Вернулись все солдаты, — сказала я. — А те другие, чужи, остались на Йеове. Может, теперь они стали новыми хозяевами. Все это где-то там. — Я махнула рукой куда-то в небо.

— А кто такие чужи? — спросила бабушка, но я не смогла ответить.

Все это были слова, не имеющие для меня смысла.

Но когда нашего хозяина, лорда Шомеке, больным привезли домой, я начала кое-что понимать. Его доставили на флайере в наш маленький порт. Я видела, как его несли на носилках, глаза его побелели, а черная кожа обрела сероватый цвет. Он умирал от болезни, которая свирепствовала в городах. Моя мать, сидя рядом с леди Тазеу, слышала, как политик, выступая по телесети, сказал, что чужи занесли на Уэрел эту болезнь. В его голосе звучал такой ужас, что мы решили, будто всем предстоит умереть. Когда я рассказала об этом Геу, он лишь фыркнул.

— Чужаки, а не чужи, — сказал он, — и они не имеют к этому никакого отношения. Милорд говорил с врачами. Это всего лишь новый вид гнойных червей.

Достаточно было и этого ужасного заболевания. Мы

знали, что любое «имущество», заразившееся им, убивали без промедления, как скот, а труп сжигали на месте.

Но хозяина не прирезали. Теперь Дом был полон врачей, а леди Тазеу дни и ночи проводила у ложа супруга. Он умирал в ужасных мучениях, поскольку смерть все медлила с приходом. Страдая, властитель Шомеке издавал ужасные крики и стоны. Трудно было поверить, что человек способен часами так кричать. От тела его, покрытого язвами, отваливались куски, страдания сводили больного с ума, но он все не умирал.

Если леди Тазеу превратилась в усталую молчаливую тень, то Эрод был полон сил и возбуждения. Порой, когда до него доносились вопли и стоны отца, у него возбужденно блестели глаза. Он шептал: «Да смилуется над ним Туал», — но жадно внимал этим крикам. От Геу и Ахаса, которые росли вместе с ним, я знала, как отец мучил и презирал сына и как Эрод дал обет ни в чем не походить на отца и положить конец всему, что тот делал.

Но конец положила леди Тазеу. Как-то ночью она отослала всех слуг, что нередко делала, и осталась наедине с умирающим мужем. Когда он снова начал стонать и выть, она вынула небольшой ножичек для рукоделия и перерезала ему горло. Затем исполосовала себе вены, легла рядом с ним и так скончалась. Моя мать всю ночь находилась в соседней комнате. Она рассказала, что сначала ее удивило наступившее молчание, но она так устала, что провалилась в сон, а когда утром вошла в покои, то обнаружила обоих хозяев в лужах остывшей крови.

Я хотела всего лишь оплакать мою леди, но все вокруг пришло в смятение. Всю обстановку в комнате умерших предстояло сжечь, сказали врачи, а тела без промедления тоже предать огню. В Доме объявили карантин, так что провести похоронный обряд могли только священники Дома. В течение двадцати дней никто не имел права покинуть пределы поместья. Но часть медиков сами остались с Эродом, который, став отныне властителем Шомеке, рассказал им, что собирается делать. Я услышала несколько сбивчивых слов от Ахаса, но, преисполненная печали, не обратила на них внимания.

Тем вечером все, кто составлял «имущество» Дома, собрались у часовни, где шла заупокойная служба; они слушали песнопения и читали молитвы. Надсмотрщики и

«укороченные» пригнали людей из поселения, и те толпились за нашими спинами. Мы видели, как вышла траурная процессия, неся белый паланкин, как вспыхнул погребальный костер и к небу поднялся черный дым. И не успел он еще растаять в небе, как новый властитель Шомеке подошел к нам.

Поднявшись на холмик за часовней, Эрод обратился к нам, говоря сильным и четким голосом, которого я никогда раньше не слышала у него. В Доме, погруженном во мрак, все только перешептывались. А теперь, при свете дня, раздался громкий сильный голос. Эрод стоял, вытянувшись в струнку, и черный цвет его кожи оттеняли белые траурные одеяния. Ему еще не было и двадцати лет.

— Вы, люди, слушайте, — сказал он. — Вы были рабами, но обретете свободу. Вы были моей собственностью, но теперь сами станете распоряжаться своими жизнями. Утром я отослал в правительство распоряжение о вольной для всего «имущества» поместья, на четыреста одиннадцать мужчин, женщин и детей. Если завтра утром вы зайдете в мой кабинет, я каждому вручу документ, в котором он поименован свободным человеком. Никто из вас никогда больше не будет рабом. С завтрашнего дня вы вольны делать все, что хотите. Каждый получит деньги, чтобы начать новую жизнь. Не ту сумму, что вы заслужили, не то, что вы заработали, трудясь на нас, а всего лишь то, что я в состоянии вам выделить. Я оставляю Шомеке. И отправляюсь в столицу, где буду добиваться свободы для всех рабов на Уэреле. День свободы, что воцарилась на Йеове, придет и к нам — и скоро. И я зову с собой всех, кто хочет примкнуть ко мне! Для нас хватит работы!

Я помню все, что он сказал. И передала его слова так, как он произносил их. Поскольку никто из рабов не умел читать и не был знаком с понятиями из телесети, его слова проникали в души и сердца.

Когда он замолчал, воцарилось такое молчание, которого я никогда не слышала.

Один из врачей начал было говорить, возражая Эроду и напирая на то, что карантин нарушать нельзя.

— Зло ушло с пламенем, — сказал Эрод, широким жестом показывая на столб черного дыма. — Здесь царило зло, но оно больше не выйдет за пределы Шомеке!

Среди обитателей поселения, стоящих за нами, возник

слабый звук, который превратился в восторженный рев, смешанный с плачем, стонами, рыданиями и воплями.

— Великий Камье! Всемогущий Камье! — кричали люди.

Какая-то старуха вышла вперед: это была моя бабушка. Она раздвигала толпу «имущества» Дома, словно люди были стеблями травы. Бабушка остановилась на почтительном расстоянии от Эрода.

— Господин и хозяин наш, — сказала она, — ты выгоняешь нас из наших домов?

— Нет, — сказал Эрод. — Дома ваши. И земля, которой вы пользуетесь, тоже ваша. Как и доходы с угодий. Тут ваш дом, и вы свободны!

И снова раздались крики, такие оглушительные, что я пригнулась и заткнула уши, но я тоже плакала и кричала, вместе со всеми в едином хоре восхваляя властителя Эрода и Владыку Камье.

В отблесках затухающего погребального костра мы танцевали и пели вплоть до захода солнца. Наконец бабушки и «укороченные» принялись загонять людей обратно в поселение, говоря, что у них еще нет документов. Мы, обслуга, побрели в Дом, судача о завтрашнем дне, когда получим свободу, деньги и землю.

Весь следующий день Эрод сидел в кабинете, выдавая документы рабам и вручая каждому одинаковую сумму: сто кью наличными и чек на пятьсот кью, которые подлежали выдаче лишь через сорок дней. Чтобы таким образом, объяснил он каждому, уберечь человека от неразумных трат, прежде чем он поймет, как лучше использовать деньги. Он посоветовал рабам организовать кооператив, собрать все средства в единый фонд и управлять поместьем сообща.

— Господи, деньги в банке! — заорал на выходе какой-то старый калека, приплясывая на скрюченных ногах. — Деньги в банке, Господи!

Если они хотят, снова и снова повторял Эрод, то могут поберечь деньги и связаться с Хеймом, который поможет перебраться на Йеове.

— О, о, Йе-о-ве, — затягивал кто-то, и все подхватывали иные слова: — Все соберутся туда. О, о, Йе-о-ве, все соберутся туда.

Люди пели весь день напролет. И ничто не могло прогнать печаль того дня. И теперь, вспоминая то пение, тот день, я чувствую, как на глаза наворачиваются слезы.

На следующее утро Эрод уехал. Ему не терпелось покинуть место, где он испытал столько унижений, и начать новую жизнь в столице, работая во имя свободы. Со мной он не простился. Но взял с собой Геу и Ахаса. За день до него снялись с места все врачи, их помощники и слуги. Мы смотрели, как их флайер растворяется в воздухе.

Мы вернулись в мертвый, безмолвный Дом. В нем не было владельцев, не было хозяев, и никто не говорил нам, что делать.

Мы с матерью пошли укладывать вещи. Мы почти не говорили друг с другом, но чувствовали, что не можем тут оставаться. Мы слышали, как другие женщины бродили по безе, рылись в комнатах леди Тазеу, обшаривали ее шкафы и комоды, смеясь и вскрикивая от восторга, когда находили драгоценности и украшения. В холле мы слышали голоса мужчин: то были надсмотрщики.

Молча мы с матерью взяли свои вещи, вышли через заднюю дверь, миновали живую изгородь сада и направились в поселение.

Огромные ворота его стояли распахнутыми настежь.

Как мне поведать вам, что значило для нас это зрелище? Как рассказать вам?

ЗЕСКРА

Эрод понятия не имел, как идут дела в поместье, потому что распоряжались в нем надсмотрщики. Он тоже находился на положении заключенного. И жил в окружении своих экранов, поглощенный мечтами и видениями.

Бабушки и остальные обитатели поселения провели всю ночь за составлением планов, как сплотить наших людей, чтобы те могли защищаться. Утром, когда пришли мы с матерью, мужчины, обзаведясь оружием, сделанным из сельскохозяйственного инвентаря, охраняли поселение. Бабушки и «укороченные» собрались провести выборы главы общины, которым должен был стать сильный и всеми уважаемый работник с полей. Таким путем они надеялись привлечь молодежь.

Но к полудню всем надеждам пришел конец. Молодежь

словно взбесилась и ринулась в Дом грабить. Надсмотрщики открыли огонь из окон и многих убили, остальные убежали. Надсмотрщики забаррикадировались в Доме и принялись пить вино из подвалов Шомеке. Владельцы окружающих плантаций по воздуху стали подбрасывать им подкрепление. Мы слышали, как приземлялись их флайеры, один за другим. И женщинам, которые остались в Доме, теперь оставалось надеяться лишь на милосердие.

Что же до нас в поселении, то ворота снова закрылись. Мы переместили мощные запоры с внешней стороны ворот на внутреннюю и решили, что по крайней мере до утра в безопасности. Но к полуночи к поселению подогнали тяжелые тракторы, проломили стену, и в дыру вломилось больше ста человек — наши надсмотрщики и владельцы всех плантаций в округе. Они были вооружены винтовками. А мы дрались лопатами и палками. Один или два из нападавших были убиты или ранены. Они же перебили столько людей, сколько хотели, а затем начали насиловать нас. Это продолжалось всю ночь.

Группа налетчиков собрала стариков и старух и каждому из них всадила пулю меж глаз, как скотине. Одной из них была моя бабушка. Я так и не узнала, что случилось с матерью. Когда утром меня уводили, я не видела живым никого из крепостных. Мне бросились в глаза окровавленные бумаги, валявшиеся на земле. Документы свободы.

Нас, несколько девушек и молодых женщин, оставшихся в живых, запихали в кузов машины и доставили в аэропорт. Подталкивая и подгоняя дубинками, нас заставили погрузиться во флайер, который вскоре взмыл в воздух. Я была не в себе и ничего не соображала. Лишь потом, с чужих слов, я узнала, что произошло.

Мы оказались в поселении, которое как две капли воды походило на наше. Мне даже показалось, что нас вернули домой. Уже занималось утро, и все ушли на работу; в поселении оставались только бабушки, малыши и старики. Бабушки встретили нас с откровенной неприязнью. Сначала я не могла понять, почему все они кажутся мне чужими. Я искала свою бабушку.

Мы вызывали у обитателей поселения страх, потому что нас приняли за беглецов: в последние годы случалось, что рабы убегали с плантаций, стремясь добраться до городов. И местные жители решили, что наша непокорность

доставит им неприятности. Но все же помогли нам помыться и привести себя в порядок, после чего отвели нам место рядом с башней. Свободных хижин не имеется, сказали нам. Мы узнали, что находимся в поместье Зескра. Никто не хотел и слышать о том, что случилось в Шомеке. Им было не нужно наше присутствие. Наши беды их не волновали.

Мы легли спать прямо на земле, без крыши над головой. Некоторые крепостные ночью перебирались через канаву и насиловали нас, и мы не могли защититься, ибо ни для кого не представляли ценности. Кроме того, мы были слишком слабы и измучены, чтобы сопротивляться. Одна из нас, девочка Абайе, попыталась отстоять себя. Но насильник безжалостно избил ее. Утром она не могла подняться, не могла произнести ни слова. Когда пришли надсмотрщики и увели нас, она так и осталась лежать. Осталась еще одна, крупная и высокая, с большим белым шрамом на голове, уходившим в копну волос. Когда нас уводили, я глянула на нее и узнала Валсу, бывшую мою подругу. Она сидела в грязи, свесив голову.

Пятерых из нас отправили из поседения в Большой Дом Зескры, на женскую половину. Во мне затеплилась было надежда, потому что я хорошо знала, как вести дом. Но я еще не представляла, как Зескра отличается от Шомеке. Дом в Зескре был полон людей, владельцев и хозяев. Здесь жила большая семья, и если раньше я знала единственного лорда Шомеке, то тут кишели десятки людей со своими вассалами, прислугой и гостями, так что случалось, на мужской половине обитало тридцать-сорок человек и столько же женщин в безе, не говоря уж, что обслуга Дома составляла человек пятьдесят, а то и больше. Нас доставили сюда не в качестве домашних слуг, а как «расхожих женщин».

После того как мы помылись, нас оставили в большой комнате, где негде было укрыться. Тут уже располагалось больше десятка «расхожих женщин».

Те из них, которым нравились эти обязанности, встретили нас без особой радости, восприняв как соперниц, но другие обрадовались нашему появлению, надеясь, что мы заменим их и позволим им вернуться в ряды простых слуг. Все же никто нас не обижал, а кое-кто проявил и заботу о нас, найдя одежду, ибо все это время мы были голыми, и

утешив самую юную из нас, Мио, девочку десяти или одиннадцати лет, чье хрупкое белое тело покрывали синевато-коричневые синяки.

Одной из тех, кто встретил нас, была высокая женщина по имени Сези-Туал. Она с ироническим выражением лица уставилась на меня, и в моей душе что-то ворохнулась.

— Ты не из «пыльных», — сказала она. — Ты такая же черная, как сам старый черт, лорд Зескры. Малышка, да ты никак важная персона?

— Нет, мэм, — сказала я. — Я дитя лорда. И ребенок Владыки. Меня зовут Ракам.

— В последнее время твой дедушка обращался с тобой не лучшим образом, — сказала она. — Может, тебе стоит возносить моления леди Туал Милосердной?

— Я не ищу милосердия, — ответила я. После этих слов Сези-Туал полюбила меня и взяла под защиту, в которой я так нуждалась.

Почти каждую ночь нас отсылали на мужскую половину. Когда после обеда леди покидали зал, туда впускали нас, и мы рассаживались на коленях у мужчин и пили с ними вино. Затем они пользовались нами — или тут же, на диванах, или уводили в свои помещения. Мужчины в Зескре не были жестокими. Правда, кое-кому нравилось грубое насилие, но большинство предпочитало думать, что мы получаем наслаждение и хотим того же, чего желают они. И тех и других нетрудно было ублажить, ибо перед одними надо было демонстрировать страх и покорность, а под другими стонать от наслаждения. Но кое-кто из гостей относился совсем к другому типу мужчин.

Не было ни законов, ни правил, запрещающих уродовать или убивать «расхожих женщин». Хозяину это могло не нравиться, но чувство гордости не позволяло ему противиться прихоти гостя, тем более что у него имелось так много «имущества», что потеря части его не имела значения. Так что мужчины, которые испытывали удовольствие от мучения женщин, охотно приезжали в гостеприимную Зескру. Сези-Туал, любимица старого лорда, могла протестовать и делала это, после чего таких гостей больше не приглашали. Но пока я была в Зескре, Мио, та маленькая девочка из Шомеке, была убита одним из гостей. Он привязал ее к кровати и так сильно затянул узел на шее, что девочка задохнулась.

Я больше не буду рассказывать о таких вещах. Мне объяснили, что я должна поведать обо всем. Но есть такие истины, которые не приносят никакой пользы. Каждому знанию найдется свое место, сказал мой друг. Но в таком случае что толку в знании того, как этому ребенку пришлось встретить смерть? Не в том ли истина, что она не должна была так умирать?

Меня часто брал лорд Ясео, мужчина средних лет, которому нравилась моя темная кожа. Он называл меня «миледи». И еще «бунтовщица», потому что события в Шомеке считались бунтом рабов.

В те ночи, когда за мной не посылали, я обслуживала всех, кто пожелает.

Так прошли два года моего пребывания в Зескре, и както рано утром ко мне подошла Сези-Туал. Я лишь глубокой ночью покинула постель лорда Ясео. В комнате почти никого не было, потому что ночью шла большая пьянка и почти все девушки присутствовали на ней. Сези-Туал разбудила меня. У нее была странная прическа — густые, как кустарник, кудряшки. Я помню, как надо мной склонилось ее лицо, на которое падали завитки волос.

— Ракам, — шепнула она, — прошлой ночью ко мне обратился слуга одного из гостей и дал мне вот это. И сказал, что его зовут Сухейм.

— Сухейм, — повторила я. Мною владело сонное забытье. Я посмотрела на предмет, что она мне протягивала, — какая-то грязная скомканная бумага. — Я не умею читать! — нетерпеливо буркнула я, зевая.

Но, приглядевшись, я вспомнила, о чем говорилось в этой бумажонке. О свободе. Я видела, как лорд Эрод писал на ней мое имя. Каждый раз, выводя чье-то имя, он громко произносил его, чтобы мы могли знать, на кого выписывается документ. Я запомнила размашистый росчерк первых букв моих имени и фамилии: Радоссе Ракам. Я дрожащими руками взяла бумагу и прошептала:

— Откуда она взялась?

— Об этом лучше спроси у Сухейма, — сказала Сези-Туал.

И тут я поняла, что означает это имя. «Из Хейма». Имя служило паролем. Сези-Туал тоже это знала. Не сводя с меня глаз, она внезапно наклонилась и прижалась лбом к моему лицу, обдавая дыханием шею.

— Если удастся, я помогу, — прошептала она.

Я встретилась с «Сухеймом» в одной из кладовок. И узнала его с первого взгляда: Ахас, который вместе с Геу всегда находился рядом с лордом Эродом. Стройный молчаливый юноша с пыльной пепельной кожей, он никогда не привлекал моего внимания. Разговаривая с Геу, я думала, что, глядя на нас, Ахас таит какие-то нехорошие намерения. И теперь, когда он смотрел на меня, у него тоже было какое-то странное выражение лица — внимательное и бесстрастное.

— Как ты очутился здесь с лордом Боэбой? — спросила я. — Разве ты не свободен?

— Я свободен так же, как и ты, — сказал Ахас. Я не поняла его.

— Лорд Эрод не смог защитить даже тебя?

— Смог, — ответил он. — Я свободный человек. — Лицо его оживилось, теряя мертвенную неподвижность. — Леди Боэба — член Общины. Я работаю для Хейма. Пытаюсь разыскать людей из Шомеке. Мы услышали, что тут живет несколько наших женщин. Живы ли остальные, Ракам?

У него был тихий, мягкий голос, и, когда он произнес мое имя, у меня перехватило дыхание и в горле встал комок. Я тоже произнесла его имя и приникла к нему.

— Ратуал, Рамайо, Кео тоже здесь, — сказала я. Ахас осторожно обнял меня. — Валсу в поселении, — продолжала я, — если еще жива. — И заплакала. После смерти Мио я знала, что такое слезы. Ахас тоже плакал.

Мы говорили с ним, и тогда, и потом. Он объяснил, что по закону мы в самом деле обрели свободу, но в поместьях закон ровно ничего не значит. Правительство не вмешивается в отношения между владельцами и теми, кто считается их «имуществом». Если мы заявим о своих правах, в Зескре нас скорее всего убьют, ибо считают нас украденным «имуществом» и не хотят подвергаться осуждению. Нам остается лишь бежать или дожидаться, пока нас похитят, после чего добираться до города, до столицы. Только там мы сможем обрести безопасность.

Действовать мы должны лишь в полной уверенности, что никто из рабов Зескры не предаст нас из ревности или из желания выслужиться. Сези-Туал была единственной, кому я могла довериться полностью.

С ее помощью Ахас и организовал наше бегство. Я не раз уговаривала ее присоединиться к нам, но она решила, что, не имея документов, будет вынуждена постоянно прятаться, а это куда хуже жизни в Зескре.

— Ты можешь попасть на Йеове, — сказала я. Сези-Туал засмеялась:

— О Йеове я знаю лишь, что оттуда никто не возвращается. Так стоит ли бежать из одной преисподней в другую?

Отказалась бежать с нами и Ратуал; она стала фавориткой одного из молодых лордов и решила оставаться ею. Рамайо, самая старшая из нас, и Кео, которой только что минуло пятнадцать, захотели присоединиться к нам. Сези-Туал зашла в поселение и выяснила, что Валсу еще жива и продолжает работать на полях. Организовать ее бегство оказалось куда труднее, чем наше. Скрыться из поселения было невозможно. Валсу могла уйти только днем, прямо с поля, на глазах у надсмотрщиков. Даже переговорить с ней оказалось нелегко, ибо бабушки были очень подозрительны. Но Сези-Туал справилась с этой задачей, и Валсу сказала, что готова на что угодно, «лишь бы снова увидеть свою бумагу».

Флайер леди Боэбы ждал нас на краю огромного поля геде, с которого только что убрали урожай. Стояли последние дни лета. Рано утром Рамайо, Кео и я, каждая сама по себе, вышли из Дома. Никто не обратил на нас внимания, поскольку считалось, что идти нам некуда. Зескру окружали огромные угодья других поместий, в которых у беглого раба на сотни миль вокруг не имелось ни одного друга. Одна за одной, разными путями, минуя поля и лесные посадки, мы крадучись добрались до флайера, в котором ждал Ахас. У меня так колотилось сердце, что я с трудом дышала. Мы стали ждать Валсу.

— Вот она! — сказала Кео, стоявшая на крыле флайера, и показала на широкое скошенное поле.

На дальнем конце его из-за деревьев показалась Валсу. Она бежала тяжело, но уверенно, словно ей нечего было бояться. Внезапно она остановилась и повернулась. В первую секунду мы не поняли, что произошло. Затем увидели двух мужчин, которые, выскочив из лесной тени, преследовали ее.

Она не стала убегать, понимая, что таким образом приведет их к нам. А, развернувшись, двинулась в сторону

преследователей и бросилась на них, как дикая кошка. Раздался выстрел. Падая, Валсу сбила с ног одного из мужчин и придавила его своим телом. Другой изрешетил ее пулями.

— По местам, — сказал Ахас. — Взлетаем. — Мы вскарабкались во флайер, и машина прыгнула в воздух, как нам показалось, так же стремительно, как Валсу кинулась на преследователей, и мы знали, что она тоже взлетела в небо — навстречу своей смерти, которая принесла ей свободу.

ГОРОД

Я сложила свою вольную и все время, пока мы находились в воздухе, и пока приземлялись, и пока машина везла нас по улицам города, не выпускала документ из рук. Увидев, как я прижимаю бумагу к груди, Ахас сказал, что теперь мне не о чем беспокоиться. Все данные о нашем освобождении внесены в файлы правительства и здесь, в городе, никто не посмеет усомниться в правильности этих данных.

— Мы свободные люди, — сказал он. — Мы гареоты, то есть владельцы, у которых нет имущества. Такие же, как лорд Эрод.

Эти слова ни о чем мне не говорили. Мне предстояло усвоить много понятий. А бумагу я буду держать при себе, пока не найду места, куда можно ее спрятать.

Мы прошли по улицам, и Ахас привел нас к одному из больших домов, которые бок о бок стояли вдоль тротуара. Он назвал его «компаундом», но мы решили, что это, должно быть, хозяйское здание. Нас приветливо встретила женщина средних лет. Она была белокожей, но говорила и вела себя как владелица, так что я не поняла, кто она такая. Она назвалась Ресс и объяснила, что является арендницей и домоправительницей этого строения.

Арендники были «имуществом», которое владельцы сдавали напрокат компаниям. Если их нанимала большая компания, то предоставляла им жилье в своих «компаундах». В городе проживало очень много арендников, которые работали в небольших компаниях или сами вели бизнес; они обитали в доходных домах, которые назывались «общими компаундами». Жильцы их были обязаны со-

блюдать комендантский час, и на ночь двери запирались, но других ограничений не имелось; в доме существовало самоуправление, которое получало поддержку от коммуны. Часть жильцов принадлежала к арендникам, но многие, подобно нам, были гареотами, недавними рабами. В сорока квартирах тут ютилось около ста человек. За порядком следили несколько женщин, которых я называла бабушками, но сами себя они считали домоправительницами.

В поместьях, расположенных в глубине страны, где жили по законам далекого прошлого и существование которых оберегалось милями пространства и столетними обычаями, любое «имущество» целиком и полностью зависело от милости хозяина. И из этих заброшенных мест мы попали в огромное двухмиллионное скопление народа, где никто не был защищен от случайности или стечения обстоятельств и где нам следовало как можно скорее усвоить науку выживания, тем более что наше существование теперь зависело только от нас самих.

Никогда раньше я не видела улиц. Не прочитала ни слова. Мне многому предстояло научиться.

Присутствие Ресс сразу же внесло ясность. Она была типичной городской женщиной — быстро соображала и быстро говорила; нетерпеливая, напористая и впечатлительная. Я долго не понимала Ресс и не испытывала к ней симпатии. В ее присутствии я чувствовала себя глупой неповоротливой деревенщиной. И часто злилась на нее.

Точнее, я постоянно находилась в этом состоянии. Живя в Зескре, я не знала, что такое гнев. Не могла его себе позволить. Он бы сгрыз меня. Нынешняя жизнь давала много оснований для него, но я поняла, что от этих страстей немного толку. И молча таила их при себе.

Кео и Рамайо жили вместе в большой комнате, а я занимала комнатку поменьше рядом с ними. Раньше у меня никогда не было своей комнаты. На первых порах в ней я чувствовала себя неуютно и боялась одна, но вскоре мне стало это нравиться. И первое, что я сделала по своей воле, как свободная женщина, — это закрыла за собой дверь.

Вечерами я могла, сидя за закрытой дверью, учиться. День начинался с того, что с утра нас готовили к какой-нибудь работе, а к полудню мы занимали места в классах, где учились чтению и письму, арифметике и истории. Ра-

бочие навыки я осваивала в маленькой мастерской, где из бумаги и тонких деревянных пластин делали шкатулки для хранения косметики, печенья, украшений и тому подобных мелочей. Я училась всем тонкостям ремесла — и делать коробки, и украшать их, стараясь изо всех сил, потому что в городе было много хороших художников.

Мастерская принадлежала члену Общины. Рабочие постарше были арендниками. Когда моя учеба подойдет к концу, я тоже буду получать деньги.

Пока же меня, как Кео с Рамайо и остальных обитателей поместья Шомеке, которые жили в разных местах, поддерживал лорд Эрод. Он никогда не появлялся в нашем доме. Я думаю, он не хотел встречаться ни с кем из тех, кого столь неудачно освободил. Ахас и Геу рассказывали, что он продал большую часть земель в Шомеке, часть денег отдал Общине, а часть решил употребить на то, чтобы проложить себе путь в политику, ибо теперь существовала Радикальная партия, которая ратовала за освобождение.

Несколько раз меня навещал Геу. Он стал настоящим городским жителем, щеголеватым и уверенным. Я чувствовала, что, глядя на меня, он думает, как я была «расхожей женщиной» в Зескре, и мне не хотелось видеться с ним.

Теперь я искренне восхищалась Ахасом, на которого в былые времена не обращала внимания, но теперь видела, насколько он смел, решителен и добр. Это он искал нас, нашел и спас. Давали деньги хозяева, но все заботы легли на плечи Ахаса. Он часто заходил повидаться с нами. Он оставался единственной связующей нитью с моим детством.

Он приходил как друг, как товарищ, ничем не напоминая о моем прошлом рабыни. Я злилась на каждого мужчину, который смотрел на меня как на женщину. Я злилась на женщин, которые видели во мне чувственную сексуальность. Леди Тазеу было нужно лишь мое тело. И в Зескре было нужно только оно. Даже лорд Эрод, который так и не прикоснулся ко мне, видел лишь мое тело. Плоть, которая, ласкаешь ты ее или нет, всегда к твоим услугам. Можешь брать ее, а можешь и воздержаться — как захочется. Я ненавидела в себе все, что имело отношение к сексу — свои гениталии и груди, округлости бедер и живота. Еще в бытность свою ребенком я носила свободные

легкие одежды, скрывающие чувственность женского тела. Когда мне начали платить и я смогла покупать или сама шить себе одежду, я предпочитала, чтобы она была из грубых, тяжелых тканей. Больше всего мне нравились в себе руки, которые умело справлялись с работой, и голова, пусть пока и не очень толковая, но я продолжала учиться, не считаясь со временем.

Мне нравилась история. Я выросла, не имея о ней представления. И Шомеке, и Зескра жили сами по себе, довольствуясь раз и навсегда заведенным образом жизни. О тех временах, когда существовал иной порядок вещей, никто не знал ровно ничего. Никто не догадывался, что есть места, где жизнь течет по-другому. Мы были в рабских оковах лишь настоящего времени.

Да, конечно, Эрод говорил о переменах, но сотворить их предстояло владельцам. Нас ждали перемены, мы будем свободными, однако нас продолжали воспринимать как чью-то собственность. А из истории я поняла, что свободу не ждут, ее творят сами.

Первой книгой, которую я одолела самостоятельно, была история Йеове, написанная просто и ясно. Она рассказывала о днях колонии, о четырех корпорациях, об ужасах первого столетия, когда корабли доставляли на Йеове рабов и забирали драгоценную руду. Рабы были столь дешевы, что, когда, отработав несколько лет в шахтах, они умирали, корабли безостановочно подвозили новые партии. «О, о, Йеове, никто не возвращается назад». Затем корпорации начали отправлять женщин-рабынь, чтобы те работали и размножались, и по прошествии лет «имущество» выплеснулось за пределы поселений и создало города — такие большие, как тот, в котором я сейчас обитала. Но распоряжались в них не владельцы или надсмотрщики. Города находились под началом тех, кто считался «имуществом», так же, как наш Дом.

На Йеове все «имущество» принадлежало корпорациям. Рабы получали свободу во временное пользование, выплачивая корпорациям часть своего жалованья, так же, как в некоторых местах на Вое Део издольщики платят своим хозяевам. На Йеове таких называли вольноотпущенниками. Не свободными людьми, а лишь пользующимися свободой. И тогда, как повествовала история, которую я читала, они стали задумываться: почему же мы не

свободные люди? И они совершили революцию, Освобождение. Началась она в Надами, откуда распространилась дальше. Тридцать лет они дрались за свою свободу. И всего три года назад одержали победу в этой войне: изгнали из своего мира корпорации, хозяев и надсмотрщиков. Они танцевали и пели на улицах — свобода, свобода! Книга, которую я читала (пусть медленно, но все же я читала ее!), была напечатана там — на Йеове, в Свободном Мире. Ее доставили на Уэрел. И для меня она стала святой книгой.

Я спросила у Ахаса, как сейчас обстоят дела на Йеове, и он рассказал, что там создано свое правительство и написана великая Конституция, согласно которой все люди равны перед законом.

По телесети, в сводках новостей говорилось, что на Йеове все передрались между собой, что там вообще нет никакого правительства, люди голодают, а в городах, не считаясь ни с законом, ни с порядком, свирепствуют шайки дикарей из глубинных районов страны и молодежные банды. Говорилось, что в этом обреченном умирающем мире правят бал коррупция и невежество.

Ахас рассказал, что правительство на Вое Део, которое вело войну против Йеове и проиграло ее, теперь боится, что Освобождение придет и на Уэрел.

— Не верь никаким новостям, — дал он мне совет. — Особенно тем, которые якобы поступают с мест. Даже не слушай и не смотри их. В них столько же вранья, сколько и во всем остальном, но если ты смотришь и чувствуешь, то сможешь поверить. Они это знают. А если они владеют нашими мозгами, то могут обойтись без оружия. У владельцев нет ни камер, ни репортеров на Йеове, «новости» свои они просто выдумывают и используют актеров. Допуск на Йеове имеют только кое-какие чужаки из Экумены; да и то жители Йеове обсуждают, не стоит ли выслать их, чтобы мир, который они завоевали, принадлежал только им.

— Но как же в таком случае быть с нами? — спросила я, потому что уже стала мечтать, как отправлюсь туда, в Свободный Мир, когда Хейм соберет чартерный рейс и увезет людей.

— Некоторые из жителей Йеове считают, что «имущество» может высадиться. Другие говорят, что не прокормят такое количество ртов, и вообще боятся перенаселения. Обсуждают они эту проблему вполне демократически. Скоро она будет решена в ходе первых выборов на Йеове.

Ахас тоже мечтал отправиться на Йеове. Мы обсуждали наши планы с пылом влюбленных, говорящих о любви.

Но пока корабли на Йеове не ходили. Хейм не мог действовать открыто, а Общине было запрещено выступать от его имени. Экумена предложила доставлять на своих кораблях всех, кто пожелает отправиться в путь, но правительство Вое Део отказало ей в праве пользоваться своими космопортами. Пускай доставляют только своих. Никто из жителей Уэрела не мог покинуть свою родину.

Ведь всего сорок лет назад Уэрел разрешил чужакам совершать посадку на своей территории и установил с ними дипломатические отношения. Я продолжала изучать историю и постепенно стала разбираться в сущности тех, кто господствовал на Уэреле. Та чернокожая раса, которая сначала завоевала народы Великого континента, а потом и весь мир, которая стала называть себя хозяевами, существовала в убеждении, что таков единственный и неизменный порядок вещей. Они считали, что являют собой образец человечества, что их поступки не подлежат сомнению и что им открыты все истины. Все остальные народы Уэрела, даже сопротивляясь новоявленным хозяевам, подражали им, старались стать такими же, как они, и вести такой же образ жизни. Но когда с неба спустились другие люди, которые и выглядели по-другому, и вели себя необычно, и обладали иными знаниями, и не позволили ни завоевать себя, ни обратить в рабство, раса хозяев отказалась иметь с ними дело. Им потребовалось четыреста лет, дабы признать, что те, другие, во всем равны им.

Я стояла в толпе на митинге Радикальной партии, где выступал Эрод; он был, как всегда, прекрасен. Я обратила внимание на женщину, которая тоже внимательно слушала его. У нее была странная коричневато-оранжевая кожа, как кожура пини, и даже в уголках глаз виднелись белки. Я было подумала, что она больна и ее грызет гнойный червь, как лорда Шомеке, у которого изменился цвет кожи и от глаз остались одни белки. Передернувшись, я отодвинулась от нее. Глянув на меня, она улыбнулась и снова стала слушать оратора. Волосы ее клубились густым облаком, как у Сези-Туал. На ней было изящное платье, хотя и странного покроя. До меня далеко не сразу дошло, кто она

такая и что эта женщина явилась сюда из невообразимо далекого мира. И самое удивительное заключалось в том, что, несмотря на странную кожу, глаза и волосы, она все-таки была таким же человеком, как и я, в чем я не сомневалась. Потому что чувствовала это. На мгновение меня охватило глубокое беспокойство. Затем оно перестало меня тревожить, уступив место неодолимому любопытству, почти томлению сблизиться с ней. Я хотела познакомиться с ней, узнать то, что было ей известно.

Душа расы хозяев боролась во мне с душой свободного человека. И от этого мне не избавиться всю жизнь.

Научившись читать, писать и пользоваться калькулятором, Кео и Рамайо перестали ходить в школу, но я продолжала учиться. Когда в школе, которую содержал Хейм, не осталось курсов, которые я могла бы посещать, учителя помогли мне сориентироваться в телесети. Хотя правительство контролировало такие курсы, на них преподавали прекрасные учителя, которые вели группы со всего света, рассказывая о литературе, истории, науках и искусстве. Я всегда старалась как можно больше узнать об истории.

Ресс, которая была членом Хейма, первым делом отвела меня в библиотеку Вое Део. Поскольку она была открыта только для хозяев, то там не существовало цензуры правительства. Но библиотекари под тем или иным предлогом старались не иметь дела со светлокожими, пусть даже те и считались свободными. Я же обладала темной кожей, и город научил меня держаться с гордой независимостью, которая избавляла от многих неприятностей и оскорблений.

Ресс подсказала, что я должна войти в библиотеку с таким видом, словно она принадлежит мне. Так я и поступила и без всяких вопросов получила все права и привилегии читателя. Я начала читать взахлеб все, что мне хотелось, в этом огромном книжном собрании, каждую книгу, которая попадала мне в руки. Чтение стало моей радостью. В нем состояли суть и смысл моей свободы.

Кроме приятной работы в картонажной мастерской, которая хорошо оплачивалась и позволяла проводить время в симпатичном обществе, кроме учебы и чтения, в моей жизни больше ничего не существовало. Да я и сама не хотела ничего иного. Я была одинока, но не считала, что

одиночество слишком тягостно, коль скоро у меня имелось то, чего я хотела.

Ресс, которую я недолюбливала, считалась моей подругой. Я ходила с ней на собрания Хейма и посещала развлечения, в которых без ее подсказок ничего бы не поняла.

— Старайся, деревенщина, — могла сказать она мне. — Будешь обучать молодую поросль на плантациях.

Она таскала меня в театр макилов и в танцзал, где исполняли хорошую музыку. Ей постоянно хотелось танцевать. Я позволяла ей учить себя, но танцы не доставляли мне особого удовольствия. Как-то вечером, когда мы танцевали «медленную поступь», она стала прижиматься ко мне, и, посмотрев ей в лицо, я увидела на нем откровенное и недвусмысленное чувственное желание. Я отпрянула от нее.

— Не хочу танцевать, — сказала я.

Мы пошли домой. Дойдя до дверей моей комнаты, Ресс попыталась меня поцеловать. Меня замутило от ярости.

— Не хочу!

— Прости, Ракам, — сказала она. Такого тихого и покорного голоса я у нее никогда не слышала. — Я понимаю, что ты должна сейчас чувствовать. Но тебе придется пройти через это, у тебя должна быть своя жизнь. Да, я не мужчина, но я очень хочу тебя.

Я оборвала ее:

— Меня использовала женщина еще до того, как ко мне прикоснулся мужчина. Тебя интересует, хочу ли я этого? Никто и никогда больше не будет пользоваться мною!

Ярость и ненависть хлестали из меня ядовитым фонтаном, как гной из раны. Если бы Ресс снова попыталась прикоснуться ко мне, я могла ее изуродовать. Я захлопнула дверь у нее перед носом. Потом, вся дрожа, добралась до стола, села и стала читать книгу, что лежала, открытая, передо мной.

На следующий день мы обе испытывали смущение и держались друг с другом жестко и напряженно. Но кроме той грубоватости, которой наделил ее город, Ресс было свойственно и терпение. Она больше не пыталась проявлять любовных чувств и наконец завоевала мое доверие, и я стала рассказывать ей то, о чем никому не говорила. Она внимательно слушала, а потом выложила то, о чем думала.

— Деревенщина, — сказала она, — все ты делаешь не-

правильно. И нечему тут удивляться. Ты и не могла вести себя по-другому. Ты считаешь, что секс — это то, что делают с тобой. Все не так. Делать должна ты. С кем-то другим. И не для него. Ты вообще еще не знаешь, что такое секс. Ты знакома только с насилием.

— Давным-давно лорд Эрод все это говорил мне, — ответила я с горечью. — Мне безразлично, как это называется. Я сыта по горло. На всю оставшуюся жизнь. И могу только радоваться, что у меня никого нет.

Ресс скорчила гримасу:

— В двадцать два года? Может, на какое-то время тебе и хватит. Если тебя это устроит, будь счастлива. Но подумай над моими словами. Ты лишаешься немалой части бытия.

— Когда мне понадобится секс, я и сама смогу доставить себе удовольствие, — сказала я, не заботясь, что мои слова могут обидеть ее. — Любовь не имеет с ним ничего общего.

— Вот тут ты ошибаешься, — возразила Ресс, но я не слушала ее. Я получила знания от учителей и из книг, которые сама выбирала, и не нуждалась в советах, о которых не просила. Я отказывалась слушать, когда мне указывали, что делать и как думать. Если я свободна, то до мозга костей. Я напоминала ребенка, который начинает ходить.

Ахас тоже давал мне советы. Он сказал, что дальше продолжать образование глупо.

— Сколько бы ты ни читала, тебе уже не извлечь из книг ничего полезного, — сказал он. — Это самообман. А нам нужны руководители и члены организации, обладающие практическими навыками.

— Нам нужны учителя!

— Да, — согласился он, — но уже год назад ты знала достаточно, чтобы учить других. Что толку в древней истории, в рассказах о других мирах? Нам предстоит делать революцию!

Я не могла расстаться с книгами, но стала испытывать чувство вины. Я стала преподавать в школе Хейма, обучая неграмотное «имущество» чтению и письму — точно так же, как три года назад учили меня. То была нелегкая работа. Взрослому человеку трудно научиться читать, когда этим приходится заниматься по вечерам, после тяжелой работы. Куда проще, когда телесеть вбивает тебе в голову все, что необходимо.

Про себя я продолжала спорить с Ахасом и как-то спросила у него:

— Есть ли библиотека на Йеове?

— Не знаю.

— Тебе известно, что ее нет. Корпорации не оставили по себе никаких библиотек. Они им были не нужны. Их руководители были невежественными людьми, которых не интересовало ничего, кроме дохода. Знание само по себе несет добро. И я продолжаю учиться, чтобы принести знания на Йеове. Будь я в силах, то притащила бы им всю здешнюю библиотеку!

Он уставился на меня.

— Что думают владельцы, что они делают — вот о чем рассказывают все их книги. И на Йеове они не нужны.

— Еще как нужны, — ответила я, не сомневаясь, что он ошибается, хотя опять не могла объяснить почему.

Вскоре меня пригласили преподавать историю, так как один из учителей покинул школу. Эти уроки проходили как нельзя лучше. Я старательно готовилась к ним. Меня попросили проводить занятия с наиболее успевающими учениками, и с этим заданием я тоже справилась. Слушателям были интересны идеи, которые я извлекала из хода истории, и те сравнения, что приходили мне на ум при сравнении нашего мира с другими. Я изучала, как разные народы воспитывают своих детей, кто несет за них ответственность и как надо понимать ее, ибо мне казалось, что именно так люди обретают свободу или ввергают себя в рабство.

Один из разговоров на эту тему состоялся с человеком из посольства Экумены. Я испугалась, увидев в аудитории чужое лицо. Еще больше я перепугалась, когда узнала его. Он вел начальный курс истории Экумены, которую я изучала по телесети. Я слушала его, затаив дыхание, хотя никогда не участвовала в дискуссиях. Знания, которые я обрела, оказали на меня большое воздействие. Мне почудилось, что он сочтет меня самонадеянной, если я начну говорить о вещах, доподлинно известных ему, и с трудом, запинаясь, провела урок, стараясь не глядеть на его лицо с глазами почти без белков.

После занятий он подошел ко мне, вежливо представился, похвалил мою лекцию и спросил, читала ли я такие-то книги. Он говорил со мной так доверительно и от-

крыто, что я не могла не проникнуться доверием к нему. Скоро он полностью завоевал его. Я нуждалась в его советах и руководстве, ибо даже умные люди написали и произнесли массу глупостей об отношениях между мужчиной и женщиной, от чего зависела жизнь детей и ценность полученного ими образования. Он знал, какие книги стоит читать, и после знакомства с ними я уже могла идти дальше сама.

Его имя было Эсдардон Айя. Он занимал какой-то высокий пост в посольстве, я не знала точно, какой именно. Родился он на Хайне, в Старом Мире, колыбели человечества, откуда вышли все наши предки.

Порой я думала: как странно, что я знаю о таких вещах, о столь древних и далеких материях, я, которая до шести лет не подозревала о существовании мира за стенами поселения, а до восемнадцати понятия не имела, как называется страна, в которой мне довелось жить! Когда я только осваивалась в городе, кто-то упомянул Вое Део, а я спросила: «Где это?» Все так и уставились на меня. Женщина, старая арендница с грубым голосом, сказала: «Да здесь, пыльная моя. Здесь и есть Вое Део. Моя и твоя страна!»

Я рассказала об этом Эсдардону Айе. Он не засмеялся.

— Страна, люди... — сказал он. — Какие странные и трудные для восприятия идеи.

— Я родом из рабства, — сказала я, и он кивнул.

Теперь я редко виделась с Ахасом. Мне не хватало его дружбы, но отношения наши уже не были столь теплыми.

— Ты стала такой самодовольной, все время на людях, публикуешься, выступаешь перед аудиторией, — заметил он как-то раз. — Ты занята только собой, а не нашим делом.

— Но я говорю с людьми в Хейме, — возразила я. — Пишу о том, что нам надо знать. Все, что я делаю, служит делу свободы.

— Общину не устраивают твои памфлеты, — серьезно сказал он с таким видом, словно сообщал тайну, которую мне необходимо было знать. — Меня попросили передать тебе, чтобы впредь до публикации ты представляла свои сочинения на рассмотрение комитета. Прессой руководят слишком горячие головы, и из-за них у наших кандидатов от Хейма масса хлопот и неприятностей.

— У наших кандидатов! — взорвалась я. — Никто из хозяев не будет моим кандидатом! Или ты снова получаешь указания от молодого хозяина?

Мои слова ошеломили его.

— Если ты ставишь себя во главу угла и отказываешься сотрудничать, то навлекаешь опасность на нас всех.

— Я не ставлю себя во главу угла — это свойственно политикам и капиталистам. Во главу угла я ставлю свободу. Так почему ты не можешь сотрудничать со мной? Наши пути расходятся, Ахас!

Разозлившись, он ушел, оставив меня в таком же состоянии.

Думаю, Ахаса расстроило, что я перестаю зависеть от него. А может, он ревновал к моей независимости, поскольку оставался при лорде Эроде.

Ему была свойственна преданность. Ссора нам обоим причинила боль. И мне бы хотелось знать, какая судьба постигла его в те нелегкие времена, которые обрушились на нас.

В его обвинениях была и доля правды. Я обнаружила, что способна говорить и писать такие вещи, которые глубоко трогали сердца и мысли людей. Никто не дал мне понять, что опасность, которую несет в себе такой дар, соизмерима с его силой. Ахас сказал, что я ставлю себя во главу угла, но я-то знала, что он не прав. Я целиком и полностью отдавала себя служению лишь истине и свободе. Никто не объяснил мне, что цель не может оправдывать средства, а конечную цель знал только великий Камье. Бабушка могла поведать мне о ней. Могли бы напомнить строки «Аркамье», но я нечасто заглядывала в них, а в городе не было стариков, которые вечерами «пели» бы эти слова. Впрочем, я бы все равно не расслышала их из-за отчетливого звучания моего прекрасного голоса, который излагал прекрасные истины.

Я была уверена, что никому не приношу вреда, если не считать, что вся наша деятельность привлекала внимание правителей Вое Део, давая им понять, что Хейм растет, а Радикальная партия становится все сильнее — и рано или поздно они должны были выступить против нас.

Мало-помалу среди нас начались распри. В «общих компаундах», кроме мужской и женской половин, появились и несколько квартир для пар. Это было кардинальным нововведением. Любого рода браки в среде «имуще-

ства» считались незаконными. Парами позволялось жить только с разрешения владельца. Закон предписывал «имуществу» хранить верность и проявлять преданность только по отношению к своему владельцу. Дети принадлежали не матери, а хозяину. Но поскольку гареоты жили рядом с «имуществом», которое кому-то принадлежало, на их семейные апартаменты не обращали внимания или просто терпели. А тут внезапно закон решительно изменили, пары подверглись аресту, были оштрафованы, если они являлись налогоплательщиками, разделены и отправлены в дома, находящиеся под управлением корпораций. Ресс и другие наши домоправительницы были оштрафованы и предупреждены, что, если подобные «аморальные проявления» снова будут иметь место, их привлекут к ответственности и отправят в рабочие лагеря. Двое малышей одной из пар не были внесены в правительственные списки и, когда забрали их родителей, оказались брошенными на произвол судьбы. Кео и Рамайо взяли детей к себе и стали их опекунами на женской половине, ибо так всегда полагалось поступать с сиротами в поселениях.

На встречах Хейма и Общины шли жаркие дебаты о том, что произошло. Некоторые утверждали, что Радикальная партия должна решительно поддержать право «имущества» жить семьями и воспитывать детей. Это не несет в себе прямой угрозы хозяевам и соответствует естественным инстинктам многих рабов, особенно женщин, которые, хотя не имеют права голоса, все же являются ценными союзниками. Другие же считали, что все проявления личной жизни должны уступить место преданности делу свободы и отойти на второй план, когда предстоит великое дело освобождения. На встрече об этом говорил лорд Эрод. Я поднялась, чтобы ответить ему. Не может быть свободы без права на свободу сексуальную, сказала я, и пока женщинам не позволят, а мужчины не изъявят желания нести ответственность за своих детей — не может быть и речи о свободе для женщины, относится ли она к владельцам или входит в состав «имущества».

— Мужчины должны нести ответственность за окружающий мир, за тот огромный мир, в который предстоит войти детям; женщины отвечают за существование в стенах дома, за моральное и физическое здоровье и воспитание детей. Это разделение установлено Богом и природой, — ответил Эрод.

— Означает ли в таком случае раскрепощение женщины, что она вольна удалиться в безу и закрыться у себя на женской половине?

— Конечно, нет, — начал он, но я прервала его, боясь, что Эрод пустит в ход свой язык златоуста:

— Что же тогда означает свобода для женщины? Значит, она отличается от свободы мужчины? Или от права свободного человека ощущать себя таковым?

Ведущий собрание, разгневавшись, дал понять, чтобы мне заткнули рот, но часть женщин поддержала меня.

— Когда же Радикальная партия выступит в нашу защиту? — закричали они, а одна пожилая женщина вопросила: — Где же ваши женщины, именно ваши, хозяева, которые хотят покончить с рабством? Почему их нет здесь? Вы не выпускаете их из безы?

Председатель заколотил по столу, и наконец ему удалось восстановить порядок. Мне было и радостно и грустно. Я видела, что Эрод и другие его сподвижники по Хейму теперь смотрели на меня как на явную возмутительницу спокойствия. И в самом деле — мои слова провели водораздел между нами. Но разве и раньше мы не были разделены?

Мы, группа женщин, направились домой, громко обсуждая наши проблемы. Теперь это были мои улицы, с их движением, с их огнями и бедами, с кишевшей на них жизнью. Я стала женщиной города, свободной женщиной. Город принадлежал мне. У меня было будущее.

Споры продолжались. Меня то и дело просили выступать в самых разных местах. Когда я покидала одну такую встречу, ко мне подошел Эсдардон Айя, человек с Хайна, и, делая вид, что обсуждает мою речь, походя бросил:

— Ракам, тебе угрожает опасность ареста.

Я не поняла его. Он отвел меня в сторону и продолжил:

— В посольстве ходят слухи... Правительство Вое Део собирается изменить статус вольноотпущенного «имущества». Вас больше не будут считать гареотами. Каждому придется иметь хозяина, который станет содержать вас.

То была плохая новость, но, обдумав ее, я сказала:

— Думаю, что смогу найти такого. Может быть, лорда Боэбу.

— Спонсору-хозяину придется получить одобрение правительства... Что приведет к ослаблению Общины, ибо между «имуществом» и владельцами начнутся раздоры. С их стороны, это довольно умный шаг, — сказал Эсдардон Айя.

— Что будет с теми из нас, кто не сможет найти себе такого спонсора?

— Вас будут считать беглецами.

А это означало либо смерть, либо рабочий лагерь, либо продажу с аукциона.

— О Камье всемогущий, — простонала я, ухватив Эсдардона Айю за руку, потому что у меня потемнело в глазах.

Мы двинулись дальше по улице. Когда в голове у меня прояснилось, я увидела высокие здания города, залитые светом, и улицы, которые, как мне еще недавно казалось, были моими.

— У меня есть друзья, — сказал человек с Хайна, что шел рядом со мной, — которые собираются отправиться в королевство Бамбур.

Помолчав, я спросила:

— А что мне там делать?

— Оттуда отправляются корабли на Йеове.

— На Йеове, — повторила я.

— Так я слышал. — Тон у Эсдардона был такой, словно мы обсуждали маршрут городского такси. — Я предполагаю, что через несколько лет рейсы на Йеове начнутся и из Вое Део. С ними будут отправлять неисправимых бунтовщиков, возмутителей спокойствия, членов Хейма. Но это предполагает признание Йеове как независимого государства, на что пока еще не могут пойти. Тем не менее Вое Део закрывает глаза на некоторые полузаконные торговые сделки, которые позволяют себе зависимые от него страны... Пару лет назад король Бамбура купил один из старых кораблей корпораций, «Колониальный торговец». Король предполагал, что ему понравится летать на луны Уэрела. Но, как выяснилось, эти луны наводят на него тоску. И он сдал корабль в аренду консорциуму ученых из университета Бамбура и группе столичных бизнесменов. Некоторые промышленники в Бамбуре поддерживают небольшую торговлю с Йеове, и в то же время исследователи из университета организуют туда научные экспедиции. Конечно, каждый полет обходится очень недешево, так что они до

отказа набивают корабль учеными, куда бы те ни отправлялись.

Я слушала и как бы не слышала его, но тем не менее мне все было ясно.

— Вот таким образом, — сказал он, — они нашли выход из положения.

Как всегда, Эсдардон говорил тихо и спокойно, с легким юмором, но без тени превосходства.

— А знает ли Община об этом корабле? — спросила я.

— Я уверен, что кое-кто из ее членов, конечно, знает. И люди из Хейма. Но это знание довольно опасно. Если Вое Део убедится, что вассальное государство экспортирует ценное «имущество»... Откровенно говоря, мы предполагаем, что они кое о чем догадываются. Но такого рода решение принять нелегко. Оно опасно, и после него уже нет пути назад. Именно из-за этой опасности я и медлил с нашим разговором. Я настолько оттянул его, что тебе необходимо принимать решение как можно быстрее, Ракам. В сущности, уже сегодня вечером.

Сквозь слепящую пелену городских огней я уставилась в небо, которое скрывалось за ними.

— Улетаю, — сказала я. В памяти у меня всплыл облик Валсу.

— Хорошо, — сказал Эсдардон.

На следующем углу он резко сменил направление, и мы двинулись в другую сторону от моего дома, по направлению к посольству Экумены.

Я никогда не пыталась понять, почему Айя это для меня сделал. Он был закрытый человек, обладавший тайной властью, но всегда говорил только правду и, думаю, следовал путями сердца, когда мог себе это позволить.

Когда мы оказались на территории посольства, в большом парке, пространство которого было подсвечено утопленными в земле зимними фонариками, я остановилась.

— Мои книги, — сказала я.

Эсдардон вопросительно посмотрел на меня.

— Я хочу взять на Йеове свои книги, — повторила я. Голос мой дрожал от сдерживаемых слез, словно все, что я оставляла, не стоило моих книг. — Думаю, на Йеове нужны книги, — объяснила я.

Помолчав, Айя ответил:

— Я постараюсь выслать их со следующим рейсом. А те-

перь я должен посадить тебя на корабль. — И, понизив голос, добавил: — Конечно же, Экумена не может открыто помогать беглым рабам...

Повернувшись, я взяла его за руку и на мгновение приложила ее ко лбу — единственный раз в жизни, когда мне захотелось это сделать.

Эсдардон удивился.

— Пошли, пошли, — сказал он и торопливо повлек меня за собой.

Посольство охраняли наемные стражники с Уэрела, главным образом веоты, представители древней воинской касты. Один из них, серьезный, вежливый и предельно молчаливый человек, проводил меня к флайеру из Бамбура, островного королевства к востоку от Великого континента. У него были с собой все необходимые для меня документы. Он доставил меня из аэропорта к королевскому космопорту, который король возвел для своего корабля. Там меня без промедления подняли на борт судна, которое, готовое к взлету, уже стояло на огромной стартовой площадке.

Я представляла себе, что, когда король отправлялся полюбоваться лунами, в его распоряжении были удобные апартаменты в носовой части. Но корпус корабля, который принадлежал Сельскохозяйственной корпорации, состоял из огромных трюмов, в которые в свое время грузилась продукция колонии. В четырех грузовых емкостях, куда когда-то засыпали зерно с Йеове, сейчас хранились сельскохозяйственные машины, что производились на Бамбуре. Пятый трюм был пассажирским.

Сидений в грузовых трюмах не было. На полу валялись матрацы, и мы расположились на них, подобно грузу раскрепившись между стойками и опорами трюма. Вместе со мной летело еще примерно пятьдесят «ученых». Я последняя поднялась на борт, и мне помогли застегнуть ремни безопасности.

Члены команды, нервничая, носились сломя голову и говорили только на языке Бамбура. Я не могла понять почти ни одного слова из указаний, которые они нам давали. Мне понадобилось срочно облегчить мочевой пузырь, но они кричали: «Нет времени, нет времени!» Так что мне пришлось изо всех сил сдерживаться, пока задраивали огромные двери трюма, которые заставили меня вспомнить

ворота поселения в Шомеке. Спутники вокруг переговаривались на своем языке. Плакал ребенок. Я понимала их язык. Затем где-то внизу, под нами, раздался ужасный грохот. Я почувствовала, как мое тело распластывается на полу, будто меня придавила огромная мягкая нога, пока лопатки не впечатались в матрац, а язык запал во рту, словно стремился задушить меня: и тут, мучительно содрогнувшись, мочевой пузырь изверг свое горячее содержимое.

Затем мы оказались в невесомости, плавая в паутине наших пут. Верх и низ поменялись местами, и невозможно было определить, где пол, а где потолок. Я слышала, как вокруг меня опять все стали переговариваться, называя друг друга по именам и говоря то, что и следовало произносить в такой ситуации: «Ты в порядке? — Да, со мной все хорошо». Ребенок беспрестанно кричал, издавая истошные вопли. Женщина рядом со мной села и стала растирать руки и грудь в тех местах, где тело перехватывали пристежные ремни. Я решила было последовать ее примеру, но тут из динамиков раздался громкий хриплый голос, повторивший приказ на языке Бамбура, а потом на наречии Вое Део:

— Не отстегивать ремни! Не сходить с мест! Корабль подвергся нападению! Он в исключительно опасном положении!

И я осталась лежать, окруженная туманным облачком моей распыленной мочи, слушая незнакомые разговоры и ничего не понимая. Положение мое было предельно унизительным, но страха я не испытывала. Я была свободна от всех забот. Как перед смертью. И глупо было бы в минуту гибели беспокоиться о чем-то.

Корабль следовал по какому-то странному курсу, то и дело содрогаясь, словно пытался сделать вираж. Кое-кого стало тошнить. Воздух наполнился капельками рвоты и ее едким запахом. Я высвободила руки, и шарфом, который был на мне, прикрыла лицо; концы его я подоткнула под голову.

Теперь я не видела огромное пространство грузового трюма, который находился под или надо мной, и не могла понять, взлетаю я или падаю. От шарфа шел знакомый запах, который успокаивал меня. Я часто накидывала его, когда отправлялась на выступления; бледно-розового цве-

та, он был сделан из отличной кисеи с вплетенными серебряными нитями. Покупая его на рынке города на мои первые заработанные деньги, я вспомнила о красном шарфе матери, который подарила ей леди Тазеу. И решила, что этот ей понравился бы, хотя не был таким ярким. Теперь я лежала, смотрела сквозь розоватую дымку ткани на пятна светильников в трюме и вспоминала о своей матери Йове. Скорее всего ее убили в то утро в поселении. А может быть, отправили в другое поместье как «расхожую женщину»; Ахасу так и не удалось найти ее следов. Я вспоминала, как она держала голову, слегка склонив ее набок, почтительно, но с изящным достоинством. Глаза у нее были большие и блестящие, «взор, в котором стоят семь лун», как гласят слова песни. «Больше мне никогда не увидеть этих лун», — подумала я.

Я впала в какое-то странное состояние и, чтобы успокоиться и отвлечься, уединившись в шатре из розовой кисеи, согреваемым моим дыханием, стала мурлыкать слова песни. Я напевала песни свободы, что исполнялись в Хейме, после чего перешла к песням любви, которым научила меня леди Тазеу. Наконец я запела «О, о, Йеове», сначала тихо, а потом погромче. И вдруг услышала, как чей-то голос, возникший в красноватом тумане, присоединился ко мне — мужской голос, а потом и женский. Люди с Вое Део знали слова этой песни. Мы запели ее хором. В него вплелись голоса жителей Бамбура, которые тоже знали ее и вставляли отдельные слова на своем языке, подхватив наше исполнение. Но постепенно пение сошло на нет. Только ребенок тихонько всхлипывал. Воздух был густым и спертым.

Лишь много часов спустя, когда вентиляторы наконец погнали в трюм свежий воздух и пассажирам разрешили отстегнуть ремни, мы узнали, что корабль космического флота сил обороны Вое Део перехватил наш грузовик, едва тот вышел за пределы атмосферы, и приказал неподвижно зависнуть. Капитан предпочел проигнорировать приказ. Военный корабль открыл огонь и хотя не поразил грузовик прямым попаданием, взрыв повредил контрольную аппаратуру. Тем не менее мы продолжили путь, и военный корабль никак не давал знать о себе. Теперь мы находились примерно в одиннадцати днях пути от Йеове. Но вражеский корабль, или группа их, мог подстерегать нас на подходе к планете. Причиной, по которой грузовому кораблю было приказано остановиться, оказалось «подозрение в контрабандной торговле».

Военный флот космических лайнеров был построен несколько столетий назад, чтобы защитить Уэрел от предполагаемого нападения империи чужаков, как тогда называли Экумену. Эта воображаемая угроза вызывала такой страх, что Уэрел бросил все силы и энергию на создание космического флота; результатом стараний стала колонизация Йеове. По прошествии четырехсот лет, в течение которых никто не угрожал нападением, Вое Део разрешил наконец Экумене открыть посольство. Флот использовался для переброски войск и оружия во время войны за Освобождение, а теперь его корабли исполняли роль гончих псов и ловчих кошек хозяев, выслеживая беглых рабов.

В грузовом трюме я нашла еще двух выходцев с Вое Део, и, чтобы поболтать, мы сдвинули наши «лежаки». Обоих отправил в Бамбур Хейм, который и оплатил их путешествие. Мне и в голову не пришло, что за него надо платить. Я знала, кто заплатил за меня.

— По своей воле ни за что не полетела бы на космическом корабле, — сказала женщина.

Она была странной личностью, настоящая ученая, без обмана. Высококвалифицированный химик, работавший по найму на компанию, она убедила Хейм послать ее на Йеове, поскольку не сомневалась, что тот нуждается в ее знаниях и навыках, которые, конечно же, будут востребованы. Жалованье она получала куда более высокое, чем многие гареоты, но не сомневалась, что на Йеове оно станет еще выше. «Я собираюсь разбогатеть», — говорила она.

Мужчина, точнее, мальчик, подручный мельника в одном из городов на севере, просто сбежал, и ему удалось встретить людей, которые спасли его от смерти или рабочего лагеря. В свои шестнадцать лет он был невежествен, громогласен, разболтан и добродушен. Он стал всеобщим любимцем, и с ним нянчились, как с ребенком. Многие нуждались и во мне, потому что я знала историю Йеове и с помощью человека, который владел обоими языками, могла рассказать недавним жителям Бамбура о том мире, куда они направлялись, — о столетиях рабства под игом корпораций, о Надами, о войне, что завершилась Освобождением. Одни из них были арендниками из городов,

другие — рабами из поместий, которых Хейм купил на аукционе за фальшивые деньги и, спешно выправив им ложные документы, отправил в это путешествие; они почти ничего не знали о том, куда лежит их путь. Тем не менее, несмотря на все ухищрения, наш полет привлек внимание Вое Део.

Йоки, мальчишка с мельницы, бесконечно рассуждал, как жители Йеове с радостью примут нас. Он рисовал картины, которые были то ли шуткой, то ли его мечтой, и говорил об оркестрах, музыка которых встретит нас у трапа, о речах во время шикарного обеда, что будет организован специально для нас. По мере того как шло время, он все подробнее рассказывал об этом обеде. Ибо наше существование определялось длинными голодными днями, когда мы безвольно плавали в огромном пространстве грузового трюма, отмечая время лишь сумерками светильников, что наступали каждые двенадцать часов, и двумя порциями пищи в течение «дня» вместе с водой, которые приходилось выдавливать из тюбиков в рот. Я старалась не задумываться о том, что нас ждет. Кончилось одно существование и начиналось другое; я находилась между ними. Если военные корабли перехватят нас, мы скорее всего погибнем. Но если доберемся до Йеове, там начнется новая жизнь. А пока нам оставалось лишь плавать в воздухе.

ЙЕОВЕ

Корабль благополучно сел в космопорту Йеове. Прежде всего разгрузили контейнеры с техникой, затем остальной груз. Мы вышли, еле волоча ноги и стараясь держаться поближе друг к другу; у нас не было сил противостоять силе тяжести нового мира, которая тянула нас к центру планеты, к тому же яркое светило, висевшее прямо над головой, слепило нам глаза.

— Сюда! Сюда! — крикнул какой-то мужчина. Я была рада услышать родной язык, но бамбурианцы продолжали растерянно оглядываться.

Сюда — стоять здесь — построиться — ждать. Первым, что мы услышали, оказавшись в Свободном Мире, были приказы. Нам пришлось пройти обеззараживание в газовой камере, что оказалось болезненной и утомительной

процедурой. Потом наступил черед медицинского осмотра. Все, что мы взяли с собой, тоже подверглось дезинфекции и учету. У меня это не отняло много времени. На мне была только одежда, выстиранная две недели назад, и я только обрадовалась санобработке. Наконец нам приказали выстроиться в шеренгу по одному в большом пустом грузовом трюме. Давняя надпись над дверями по-прежнему гласила: «СКЙ — Сельскохозяйственная корпорация Йеове». Один за другим мы двинулись к выходу.

Мужчина, который занимался мной, был невысок, светлокож, средних лет, в очках и напоминал типичного городского клерка, но я с уважением посмотрела на него. Он был первым обитателем Йеове, с которым мне довелось заговорить. Он задал мне анкетные вопросы и записал их.

— Умеете ли вы читать?

— Да.

— Профессия?

— Преподавание... — Я запнулась. — Могу учить чтению и истории.

Служащий так и не поднял на меня глаз.

Я могла только радоваться, что у меня хватало терпения. В конце концов, на Йеове нас никто не приглашал. И назад нас не отослали только потому, что на родине нас ждала публичная казнь. Для Бамбура мы были выгодным грузом, но Йеове доставляли массу хлопот. Правда, многие из нас обладали профессиями, которые могли тут пригодиться, и я прониклась радостной надеждой, когда о них стали спрашивать.

Когда формальности были закончены, нас разделили на две группы: мужчины и женщины. Йоки быстро обнял меня и направился на мужскую половину, смеясь и размахивая руками. Я осталась с женщинами. Мы смотрели, как мужчин повели на посадку в челнок, который улетал в Старую столицу. И тут мое терпение подошло к концу, а светлые надежды омрачились.

— Господь наш Камье, — взмолилась я, — только не здесь, только не снова! — От страха я впала в гнев и, когда появился мужчина и снова стал отдавать нам приказы: пошли, двинулись, вот сюда — вскинулась: — Кто вы такой? Куда мы направляемся? Мы свободные женщины!

Это был крупный парень с круглым светлокожим

лицом и белесыми глазами. Он раздраженно посмотрел на меня сверху вниз и вдруг улыбнулся.

— Да, сестренка, вы свободны, — сказал он. — Но мы должны всем подыскать работу, не так ли? Вы, леди, отправляетесь на юг. Там нужны люди на рисовых плантациях. Вы будете немного работать, немного зарабатывать и, главным образом, осматриваться. Идет? Если вам там не понравится, возвращайтесь. Симпатичных маленьких леди мы тут всегда можем использовать.

Я никогда не слышала акцента, с которым на Йеове говорят в сельской местности, — мягкого и слегка певучего, с длинными отчетливыми гласными. И никогда не слышала, чтобы женщин «имущества» называли леди. Никто никогда не говорил мне «сестренка». И конечно же, в слово «использовать» он вкладывал совсем другой смысл, нежели я. Он хотел нам только добра. Растерявшись, я промолчала. Но Туалтак, женщина-химик, сказала:

— Послушайте, я не умею работать в поле, я опытный ученый...

— О, все вы тут ученые. — Парень широко улыбнулся. — Двинулись, леди!

Он возглавил процессию, и мы последовали за ним. Туалтак продолжала что-то говорить, но вожак только улыбался и не обращал на нее внимания.

Нас доставили в вагон, стоящий на боковых путях. Огромное яркое солнце клонилось к закату. Небо лучилось разводами оранжевого и розового цветов. На землю легли длинные тени. В горячем пыльном воздухе плыли пьянящие запахи. Пока мы стояли, ожидая своей очереди занять место в вагоне, я нагнулась и подобрала с земли маленький красноватый камешек. Круглый, с тонкими беловатыми полосками. Часть Йеове. Я держала в руках кусочек Йеове. Этот маленький камешек принадлежал мне.

Наш вагон выкатили на основной путь и прицепили к поезду. Когда он двинулся, нам раздали обед: суп из огромных котлов, что на колесиках катили по проходу, миски вкусного крупнозернистого болотного риса и плоды пини — роскошь на Уэреле, здесь они считались обычной едой. Мы ели и ели. Я смотрела, как на длинных пологих холмах умирали последние отсветы дня. На небе высыпали звезды. Лун не было. И никогда больше не будет. На востоке восходил Уэрел: огромная сине-зеленая звезда,

похожая на Йеове, каким его видят с Уэрела. Больше мне никогда не доведется увидеть, как после заката восходит Йеове. Уэрел следовал по пути солнца.

Я жива и нахожусь тут, пришло мне в голову. Я тоже проследовала по пути солнца. Ко мне пришли мир и покой, и покачивание поезда убаюкало меня.

На второй день пути поезд остановился в городе у большой реки Йот. Мы вышли. Нашу группу из двадцати трех женщин снова разделили, и десятерых (меня в том числе) на повозке, запряженной волами, доставили в деревушку Хагайот. В свое время она была поселением СКИ, обитатели которого выращивали болотный рис для прокорма рабов колонии. Теперь тут находилось кооперативное поселение, выращивавшее болотный рис для «свободного народа». Нас записали в члены кооператива, который должен был обеспечивать нас всем необходимым до тех пор, пока мы не начнем зарабатывать и не сможем расплатиться.

Это был довольно продуманный способ обращения с иммигрантами без денег, без языка и без профессии. Но я не могла понять, почему никто не принял во внимание те навыки, которыми мы обладали. Почему мужчин с плантаций Бамбура, которые знали сельскую работу, послали в город, а не сюда? Почему тут только женщины?

И почему в деревне, где живут свободные люди, существуют мужская половина и женская, разделенные рвом?

Я не могла понять, почему, как скоро выяснилось, все решения принимают мужчины и они же отдают приказы. Но мне стало ясно, что они опасались нас, женщин с Уэрела, которые не привыкли получать приказы от равных. Я поняла, что мне предстоит лишь выслушивать указания и не оспаривать их, даже если это придет мне в голову. Мужчины Хагайота поглядывали на нас с нескрываемым подозрением, держа наготове бичи, какие полагалось иметь каждому надсмотрщику.

— Может, вы собираетесь объяснять здешним мужчинам, что им делать? — в первое же утро сказал нам на поле староста. — Так вот, тут это не пройдет. Мы свободные люди и работаем бок о бок. Кто-то из вас может возомнить себя женщиной-боссом. Здесь нет женщин-боссов.

На женской половине жили бабушки, но они не пользовались такой властью, как наши. Первое столетие тут не существовало рабынь, но мужчины установили свою власть

и свой образ жизни. И когда женщины, некогда бывшие рабынями, попадали в это королевство, где властвовали мужчины-рабы, то по сравнению с последними они не имели никакого влияния. У них не было голоса. Даже на Йеове они могли обрести право на свое мнение, лишь попав в город.

Я училась молчать.

Для меня и Туалтак это оказалось не так сложно, как для наших восьми спутниц с Бамбура. Мы были первыми иммигрантками, которых вообще видели жители деревни. Они знали только свой язык и считали женщин с Бамбура ведьмами, потому что те говорили «не как люди». А услышав, как пришелицы разговаривают на своем языке, избивали их бичами.

Должна признаться, что в первый год пребывания в Свободном Мире на душе у меня было столь же паршиво, как в Зескре. Я с отвращением проводила день на рисовых плантациях, с утра до ночи стоя по щиколотку в воде. Ноги распухали, покрывались отеками, в кожу вгрызались червячки, которых каждый вечер приходилось выковыривать. Но все же мы занимались необходимой работой, которая была не так уж трудна для здоровой женщины. И не она приводила меня в уныние.

Хагайот не был племенным поселением и не придерживался столь консервативных взглядов, как старые деревни, с которыми позже мне довелось познакомиться. Тут не было ритуального обычая насиловать девушек, и на своей половине женщины чувствовали себя в безопасности. Они «перепрыгивали канаву» только к тому мужчине, которого выбирали сами. Но если женщина отправлялась куда-то одна или просто отделялась от товарок по работе на рисовых полях, ее могли «попросить об этом», и каждый мужчина считал, что вправе принудить ее к соитию.

У меня появились хорошие подруги среди деревенских женщин и тех, что прибыли с Бамбура. Они были не более невежественны, чем я сама несколько лет назад, а некоторые — куда умнее меня тогдашней. Обрести друзей среди мужчин, которые считали себя нашими хозяевами, никакой возможности не было. И я понятия не имела, как изменить течение здешней жизни. У меня было тяжело на сердце, и ночами, лежа среди спящих женщин и детей, я думала: стоило ли ради этого погибать Валсу?

Когда пошел второй год моего пребывания здесь, я решила сделать все, что могу, лишь бы прекратить это унизительное существование. Одну из женщин Бамбура, тихую и туповатую, выпороли и избили за то, что она говорила на своем языке, после чего та утопилась на рисовой плантации: легла в теплую мелкую канаву — и захлебнулась. Я боялась, что меня охватит такое же желание и вода положит конец моему отчаянию. И, чтобы этого не случилось, решила припомнить старые знания и научить женщин и детей читать.

Первым делом я вывела на рисовом полотне несколько простых слов и стала играть с детишками. Моими занятиями заинтересовались несколько девочек постарше и женщин. Некоторые из них знали, что люди в больших поселениях и городах грамотны, и воспринимали умение читать как тайну, волшебство, которое наделяет горожан огромной силой. Я не стала их разубеждать.

Первым делом я записала по памяти несколько строф из «Аркамье», чтобы женщины могли заучить их и не ждать, пока кто-нибудь из мужчин, которых тут называли «священниками», начнет «петь слово». Затем попросила свою подругу Сеуги рассказать, как в детстве она встретилась на болотах с дикой кошкой, записала историю и, озаглавив ее «Болотный лев, сочинение Аро Сеуги», прочитала вслух в компании автора и других женщин. Те пришли в изумление и долго смеялись, а Сеуги плакала и, не находя от волнения слов, трепетно касалась пальцами написанных строк.

Вождь деревни, его помощники, надсмотрщики и почетные сыновья относились к нашим занятиям с подозрением и недоброжелательством, однако запретить не порывались. Вскоре руководство провинции Йотеббер сообщило, что организовывает сельские школы, в которых деревенским детям предстояло проводить по полгода. Мужчины Хагайота восприняли это известие с энтузиазмом, поскольку понимали, что грамотному человеку легче найти свое место под солнцем.

Ко мне явился Избранный сын, большой рыхлый бледнокожий человек, потерявший на войне один глаз. На нем был долгополый плотный сюртук, напоминавший те одеяния, что триста лет назад носили хозяева на Уэреле.

Он сказал, что отныне я должна учить только мальчиков.

Я ответила, что буду учить всех детей, которые изъявят желание, или никого.

— Девочки не хотят учиться, — возразил он.

— Хотят. В мой класс записались четырнадцать девочек. И восемь мальчиков. Ты хочешь сказать, что девочки не должны знать религию, Избранный сын?

Наступила пауза.

— Они должны изучать житие Туал Милосердной, — наконец ответил он.

— Я напишу для них житие Туал, — тут же предложила я.

И он с достоинством удалился.

Я не испытала большого удовлетворения от этой победы. Но по крайней мере преподавание можно было продолжать.

Туалтак постоянно уговаривала меня сбежать и отправиться в город, что стоял ниже по течению реки. Будучи непривычной к простой пище, она очень исхудала и без конца повторяла, что ненавидит свою работу и товарок.

— Тебе хорошо, ты выросла на этих плантациях, — говорила она. — А я никогда не была такой, моя мать арендница, мы жили в прекрасной квартире на улице Хаба, и в нашей лаборатории я считалась самой способной. — Ей никак не удавалось смириться со своей потерей.

Порой я прислушивалась к ее разговорам и пыталась припомнить, как выглядели карты Йеове в оставленных мною книгах. Я вспоминала большую реку Йот, которая брала начало в глубинах материка и через три тысячи километров впадала в Южное море. Но в какой точке ее протяженности находимся мы, как далеко от дельты расположен Йотеббер? Между Хагайотом и городом могут лежать еще сотни таких же деревень.

— Тебя когда-нибудь насиловали? — спросила я как-то Туалтак.

Та оскорбилась:

— Я арендница, а не «расхожая женщина».

— А вот я два года была «расхожей женщиной», — сказала я. — И если бы это случилось вновь, я бы убила насильника или покончила с собой. Думаю, что две одинокие уэрелианки запросто могут стать жертвами насилия. Я не могу бежать с тобой, Туалтак.

— Здесь это невозможно! — вскричала она с таким отчаянием, что горло у меня перехватило и я сама чуть не заплакала.

— Может быть, когда откроются школы... и тут появятся люди из города, тогда... — Все, что я могла предложить ей — да и себе тоже — это надеяться. — Если в нынешнем году будет хороший урожай, мы получим наши деньги и сможем сесть на поезд...

Нам в самом деле оставалось только надеяться. Проблема заключалась в том, что деньги хранились у вождя и его команды, в каменной хижине, которую те называли Банком Хагайота. У каждого из нас имелся счет, и Главный банкир аккуратно вел их реестр. Но ни женщины, ни дети не имели права снимать деньги со своего счета. Взамен мы получали нечто вроде расписок — глиняные черепки с выдавленным росчерком Главного банкира, и с их помощью могли приобретать изделия, изготовлением которых занимались деревенские: одежду, сандалии, инструменты, бусы, рисовое пиво. Нам говорили, что наши деньги находятся в безопасности. Я вспоминала хромого старика из Шомеке, который, подпрыгивая от счастья, кричал: «Господи, деньги в банке! Деньги в банке!»

Еще до нашего появления деревенские женщины возмущались существующей системой. Теперь к ним прибавились еще девять женщин.

Как-то вечером я спросила свою подругу Сеуги, волосы которой были такими же светлыми, как и кожа:

— Ты знаешь, что произошло в том месте, которое называлось Надами?

— Да, — ответила она. — Женщины распахнули двери к свободе. Они поднялись против надсмотрщиков, и вслед за ними восстали и мужчины. Но им было нужно оружие. И тогда одна женщина прокралась ночью к сейфу хозяина и украла ключи, которыми открыла арсенал, где надсмотрщики хранили ружья и патроны. Вооружившись, рабы свергли власть корпораций и объявили поселение Надами свободным.

— Эту историю рассказывают и на Уэреле, — сказала я. — Даже там женщины вспоминают Надами, где их сестры начали дело Освобождения. Говорят о ней и мужчины. А тут мужчины рассказывают о Надами? Известна ли им эта история?

Сеуги и другие женщины закивали.

— Если одна женщина освободила мужчин Надами, — сказал я, — то, может быть, все женщины Хагайота сумеют добраться до своих денег?

Сеуги засмеялась и подозвала группу бабушек:

— Послушайте, что рассказывает Ракам! Вы только послушайте ее!

После долгих разговоров, которые длились днями и неделями, была организована делегация из тридцати женщин. Мы пересекли мостик над рвом, за которым находилась мужская территория, и почтительно попросили встречи с вождем. Нашей основной целью было воззвать к совести мужчин, заставить их устыдиться. Речь держали Сеуги и другие женщины деревни, потому что они знали, как далеко можно зайти, стыдя мужчин, и в то же время не разгневать их. Слушая их, я видела, что гордость говорит с гордостью и обе стороны полны чувства собственного достоинства. В первый раз после прибытия на Йеове я почувствовала, что стала своей среди этих женщин, что их гордость и достоинство стали моими.

Дела в деревне вершились медленно. Но к следующему урожаю женщины Хагайота получили наличными из банка заработанную ими долю.

— Теперь дело за правом голоса, — сказала я Сеуги, потому что в деревне не знали тайного голосования. Даже когда народ принимал Конституцию, вождь лично опрашивал мужчин и заполнял за них бюллетени. Мнением женщин даже не интересовались. Хотя они не скрывали, что хотят принять участие в голосовании.

Но я больше не могла заниматься переустройством жизни Хагайота. Туалтак была серьезно больна и буквально сходила с ума, мечтая вырваться из этих болот и оказаться в городе. Да и я думала о том же. Поэтому, получив свои деньги, мы погрузились на повозку, запряженную волами, и Сеуги вместе с другими женщинами доставили нас на станцию. Увидев приближающийся состав, мы подняли флажок, и поезд остановился.

Через несколько часов длинный состав с болотным рисом, который везли на мельницы Йотеббера, тронулся в путь. Мы расположились в служебном отсеке вместе с командой поезда и несколькими пассажирами, деревенскими мужчинами. Я предусмотрительно повесила на пояс большой нож, но никто из наших спутников не проявил

неуважения к нам. За пределами своих поселений они были робкими и застенчивыми. Я сидела на верхней полке, наблюдая, как за окном проносятся болота, густо заросшие камышом, домики поселений, раскиданных по берегам широкой реки, и мне хотелось, чтобы поезд никогда не останавливал свой бег.

Подо мной, содрогаясь от приступов кашля, лежала Туалтак. Когда мы прибыли в Йотеббер, она вконец расхворалась, и я решила немедленно доставить ее к врачу. Мужчина из поездной команды любезно растолковал нам, как на общественном транспорте добраться до больницы. И пока наш переполненный автобус, дребезжа рессорами, пробирался сквозь жаркий шумный город, я тем не менее испытывала радость. И ничего не могла с этим поделать.

В больнице от нас потребовали предъявить регистрационные документы, полагающиеся всем гражданам.

Но я никогда о них не слышала. Позже выяснилось, что наши документы были переданы вождю Хагайота, который держал их при себе, как и бумаги «своих» женщин. Но тогда я лишь изумленно смотрела на окружающих и повторяла:

— Я ничего не знаю о регистрационных документах.

И вдруг я услышала, как одна из женщин за конторкой сказала напарнице:

— Господи, ну можно ли быть такой грязной?

Я понимала, что, чумазые и усталые, мы производили неприятное впечатление. И знала, что кажусь невежественной дурочкой. Но, услышав слово «грязный», я ощутила, как во мне проснулась гордость и чувство собственного достоинства. Порывшись в сумке, я вытащила документ, даровавший мне свободу, — ветхую перепачканную бумажонку, исписанную почерком Эрода.

— Вот мои документы! — крикнула я, отчего женщина подпрыгнула и повернулась ко мне. — На них кровь моей матери и бабушки. Моя подруга больна. Ей нужна помощь. Отведите нас к врачу!

Из коридора вышла худенькая миниатюрная женщина.

— Идите за мной, — сказала она. Одна из регистраторш открыла было рот, собираясь возразить, но маленькая женщина лишь посмотрела на нее, и возражений не последовало.

Мы направились в приемную.

— Я доктор Йерон, — отрекомендовалась маленькая женщина. И тут же добавила: — Но здесь работаю медсестрой. А вообще-то я врач. А вы... вы прибыли из Старого Мира? Из Уэрела? Присядьте-ка вот здесь, дети. Как долго вы находитесь здесь?

Через четверть часа доктор Йерон поставила Туалтак диагноз и определила ее в палату, где больной предстояло отдыхать и проходить обследование. Потом она выслушала мой рассказ и, прощаясь, вручила мне записку к своей подруге, которая могла помочь мне найти жилье и работу.

— Преподавание! — сказала доктор Йерон. — Учитель! О, женщина, ты явилась, как дождь небесный на иссохшую землю!

И действительно, первая же школа, в которую я обратилась, сразу изъявила желание взять меня на работу и предоставила право преподавать все, что я сочту нужным. Поскольку я имела дело с капиталистами, то зашла в другую школу, узнать, не будут ли там платить мне больше. Но в конце концов вернулась в первую. Мне понравились ее люди.

До войны за Освобождение города на Йеове давали пристанище «имуществу» корпорации, которое приобретало временное право на свободу; у них были свои больницы и школы с массой образовательных программ. В Старой столице имелся даже университет для «имущества». Корпорации, конечно, наблюдали за процессом обучения, подвергали цензуре содержание лекций и печатных трудов, стараясь, чтобы все служило единой цели — увеличению их доходов. Но в пределах этих узких рамок можно было пользоваться имеющейся информацией, как заблагорассудится.

Горожане Йеове очень высоко ценили образование. В течение долгой тридцатилетней войны система сбора и передачи знаний была практически уничтожена. Выросло целое поколение, умеющее только нападать и отступать, знающее только болезни и несчастья.

— Наши дети растут неграмотными и невежественными, — как-то раз сказал мне директор школы. — Стоит ли удивляться, что люди с плантаций заняли места, оставленные надсмотрщиками корпораций? Кто остановил бы их?

Эти мужчины и женщины, собравшиеся в школьных стенах, с яростной одержимостью верили, что лишь образование может проложить путь к свободе. Они по-прежнему вели войну за Освобождение.

Йотеббер был большим и нищим городом; его широкие улицы были застроены одноэтажными домишками, которые скрывались в тени огромных старых деревьев. Передвигались по нему главным образом пешком; среди неторопливых толп, дребезжа, сновали велосипеды, и, громыхая, прокладывал себе путь немногочисленный общественный транспорт. Под дамбами, вдоль заливных низин, где буйно шли в рост садовые посадки, на целые мили тянулись хижины и бараки. Центр города был застроен преимущественно невысокими домами, которые сменялись мельницами и складами. Деловой центр напоминал кварталы типичного города Вое Део, только более старого, запущенного и не такого мрачного. Вместо больших магазинов для хозяев улицы были заполнены открытыми лотками, где торговали всем необходимым. Здесь, на юге, климат был мягче, и легкая дымка, которую приносило в город дыхание теплого моря, была пронизана солнцем. Ощущение радости не покидало меня. Господь одарил меня способностью забывать беды и неприятности, и в городе Йотеббере я чувствовала себя счастливой.

Туалтак оправилась от болезни и нашла хорошее место химика на предприятии. Виделась я с ней редко, ибо подружились мы в силу необходимости, а не по собственному выбору. При каждой нашей встрече она неизменно вспоминала улицу Хаба и свою лабораторию на Уэреле, а также жаловалась на работу и на коллег.

Доктор Йерон не забыла меня. Я получила записку с просьбой навестить ее, что и сделала. Когда я рассказала ей о своих делах, она попросила меня сходить с ней на собрание просветительского общества. Как я выяснила, оно представляло собой группу демократов, главным образом учителей, которые старались противостоять автократической власти племенных и местных вождей, врученной тем новой Конституцией, боролись против явления, именуемого ими рабским мышлением, тупым женоненавистничеством, с которым я познакомилась в Хагайоте. Мой опыт оказался полезен для них, ибо все они были горожанами, которые сталкивались с рабским мышлением, лишь когда оно начинало командовать ими. Самыми неудержимыми в своем возмущении из членов группы были женщины. Ос-

вобождение почти ничего не дало им, так что терять им было нечего. Мужчины в большинстве своем являлись сторонниками постепенных перемен, женщины же стояли за революцию. Поскольку я была родом с Уэрела и плохо разбиралась в тонкостях политики на Йеове, то предпочитала слушать и помалкивать. Хотя мне было нелегко сдерживаться. По природе своей я была оратором и порой чувствовала: мне есть что сказать. Но я держала язык за зубами и слушала выступавших. Их в самом деле стоило послушать.

Невежество яростно защищало себя, а неграмотности, как я хорошо знала, могла быть свойственна изощренная хитрость. Хотя комиссар, президент провинции Йотеббер, избранный в результате подтасовки избирательных бюллетеней, и не понимал наших манипуляций со школьными программами, он без больших усилий мог контролировать школы, просто посылая туда инспекторов, которые вмешивались в ход занятий и просматривали наши учебники. Но, как и во времена корпораций, самым главным он считал контроль над телесетью. Сводки новостей, информационные программы, марионетки в «репортажах с места событий» — все подчинялось ему. И что могла противопоставить этой вакханалии горстка учителей? Дети родителей, не имевших никакого образования, с помощью телесети слышали, видели и чувствовали лишь то, что комиссар хотел им внушить: свобода — это необходимость повиноваться начальству; насилие в чести и главное — мужественность. Поскольку эти истины каждодневно подтверждались жизнью и опытом просмотра сообщений по телесети, что толку было в словах?

— Грамотность не имеет никакого значения, — сокрушенно признала одна из членов нашей группы. — Начальники через наши головы обратились к информационной технологии эпохи «постнеграмотности».

Я задумалась над ее словами и, даже ненавидя эти понятия, со страхом признала, что, вероятно, она права.

К моему удивлению, на следующей встрече группы появился чужак — вице-посол Экумены. Его присутствие в городе было предметом несказанной гордости нашего комиссара, ибо чужака прислали из Старой столицы, чтобы поддержать главу провинции Йотеббер в его противостоянии Всемирной партии, чьи позиции были особенно сильны здесь и которая продолжала требовать изгнания с Йеове всех иноземцев. До меня доносились смутные слухи об этой личности, но я меньше всего ожидала встретить его на собрании школьных учителей-вольнодумцев.

Он был невысок, с красновато-коричневой кожей и глазами почти без белков, но, если не обращать на это внимания, его можно было бы счесть и симпатичным. Он сидел напротив меня, неестественно прямо, будто по привычке, и слушал, не произнося ни слова, словно и это было для него привычным делом. К концу встречи он повернулся ко мне и в упор уставился на меня своими странными глазами.

— Радоссе Ракам? — спросил он.

Остолбенев, я кивнула.

— Меня зовут Йехедархед Хавжива, — сказал он. — Я привез вам кое-какие книги от Старой Музыки.

Я уставилась на него.

— Книги?

— От Старой Музыки. От Эсдардона Айи. С Уэрела.

— Мои книги? — повторила я.

На лице его промелькнула улыбка.

— Где они? — вскричала я.

— У меня дома. Если хотите, сегодня вечером можете их получить. У меня машина. — В его словах чувствовалась какая-то легкая ирония, как будто он не собирался иметь машину, но радовался ее наличию.

Подошла доктор Йерон.

— Значит, вы нашли ее, — обратилась она к вице-послу.

Он взглянул на нее с таким просиявшим лицом, что я невольно подумала, уж не любовники ли они. Хотя она была значительно старше, в этом предположении не было ничего удивительного. Доктор Йерон обладала магнетическим обаянием. Странно, что я вообще обратила на это внимание, ибо меня не привлекали сексуальные особенности других людей. Они меня не интересовали.

Во время разговора он взял ее за руку, и мне бросилось в глаза, каким нежным был этот жест, пусть и неторопливым, но искренним. Это любовь, подумала я. Тем не менее я видела, что они не вместе, поскольку в их общении и взглядах не было того интимного взаимопонимания, которым любящие часто дарят друг друга.

Мы с Хавживой уехали на правительственном электро-

мобиле в сопровождении двух телохранителей — молчаливых женщин-полицейских, которые сидели на переднем сиденье. Мы разговаривали об Эсдардоне Айе, чье имя, как объяснил Хавжива, означало «Старая Музыка». Я рассказала, как Эсдардон Айя спас мне жизнь, переправив сюда. Мистер Йехедархед слушал с таким вниманием, что с ним было легко разговаривать.

— Я попросту заболела, расставшись со своими книгами, мне не хватало их, словно они были моей семьей. Но, может быть, с моей стороны было глупо так думать.

— Почему глупо? — спросил Хавжива. У него был иностранный акцент, но в то же время в его речи уже слышалась йеовианская напевность, а голос был прекрасным, низким и ласковым.

Я попыталась объяснить все разом:

— Понимаете, они так много значили для меня, потому что я была абсолютной невеждой, и именно книги дали мне свободу, открыли передо мной мир — точнее, миры... Но здесь я вижу, что телесеть, голограф-театры и все прочее значат для людей куда больше, ибо определяют их сегодняшнее существование. Может быть, привязанность к книгам означает привязанность к прошлому. А йеовиане должны двигаться в будущее. И словами мы никогда не сможем изменить мышление людей.

Хавжива выслушал меня с тем же напряженным вниманием, с каким слушал ораторов на собрании, после чего неторопливо ответил:

— Но в словах заключена суть любой мысли. Книги же сохраняют слова в неизменности... Я и сам очень долго не умел читать.

— Неужели?

— Я знал, как это делается, но не читал. Я жил в деревне. В здешних городах должны быть книги, — уверенно, словно немало размышлял на эту тему, заявил он. — В противном случае каждое поколение все будет начинать с нуля. Вам предстоит спасти слова.

Вскоре мы подъехали к дому, стоявшему на вершине холма в старой части города. Войдя в холл, я увидела четыре объемистых ящика с книгами.

— Да у меня столько не было! — воскликнула я.

— Старая Музыка сказал, что все они принадлежат

вам, — ответил мистер Йехедархед и, улыбнувшись, посмотрел на меня.

Взгляд чужаков более выразителен, чем наш. Но, чтобы заметить движение зрачков, приходится стоять к человеку вплотную — впрочем, это заключение не относится к обладателям голубых глаз.

— Мне просто некуда деть такую гору книг, — растерянно сказала я, осознавая, что этот странный человек, Старая Музыка, снова помог мне обрести свободу.

— А в вашей школе? В школьной библиотеке?

Отличная идея, но я тут же представила, что их будут лапать инспектора. А вдруг им захочется конфисковать их? Когда я вслух выразила это опасение, вице-посол предложил:

— А что, если преподнесу их как дар посольства? Думаю, в этом случае инспектора поумерят свой пыл.

— О да! — выпалила я. — Но почему вы так добры? И вы, и он... вы тоже родом с Хайна?

— Да, — сказал Хавжива, не ответив на первый мой вопрос. — Был. И надеюсь стать йеовианином.

Потом он предложил мне присесть и выпить бокал вина. Он был дружелюбен и легок в общении, хотя сдержан и немногословен. Я поняла, что ему приходилось страдать. На лице у него виднелись шрамы, и под волосами белел след зажившей раны. Он спросил, о чем мои книги, и я ответила:

— Об истории.

Хавжива улыбнулся и молча протянул мне свой бокал. Подражая ему, я подняла свой, и мы выпили.

На следующий день библиотеку доставили в нашу школу. Когда мы вскрыли ящики и стали расставлять книги по полкам, то поняли, какие огромные нам достались сокровища.

— Даже в университете нет ничего подобного, — заметил один из учителей, который год учился там.

Тут были труды по истории и антропологии Уэрела и других миров Экумены, работы по философии и политике жителей Уэрела и иных планет, сборники прозы и поэзии, энциклопедии, научные монографии, атласы и словари. В углу одного из ящиков лежали мои собственные книги, даже истрепанный томик «Истории Йеове» с надписью: «Напечатано в Университете Йеове в 1 г. Свободы». Боль-

шинство своих книг я оставила в школьной библиотеке, но эту и еще несколько, к которым испытывала любовь и нежность, взяла домой.

Не так давно я была одарена этими чувствами и по другому поводу. Школьники преподнесли мне в подарок крохотного пятнистого котенка. Мальчик с такой трогательной гордостью вручил его, что я просто не могла отказаться. Когда я попыталась передарить котенка кому-нибудь из учителей, те встретили мое поползновение дружным смехом. «Эта доля выпала тебе, Ракам!» — сказали они. Волей-неволей мне пришлось взять это крохотное существо домой; котенок был такой хрупкий и маленький, что я с трудом заставляла себя прикасаться к его тельцу. В Зескре женщины держали домашних животных, главным образом котов и лисопсов, ухоженных маленьких созданий, которые питались лучше, чем люди. Да и сама я в свое время носила имя такого лисопса.

Когда я с опаской стала вынимать котенка из корзинки, тот ухитрился до кости прокусить мне большой палец. При всей своей хрупкости и невесомости зубки пускать в ход он умел. Я начала испытывать к нему уважение.

Вечером я уложила его спать в корзинке, но он вскарабкался на постель и пристроился у меня прямо на голове. Пришлось засунуть его под одеяло, где он спокойно и проспал всю ночь. Утром я проснулась оттого, что мое животное скакало по кровати, гоняясь за пылинками, которые плясали в солнечных лучах. Открыв глаза, я не могла удержаться от смеха. Давно я так не смеялась.

Котенок был сплошь черным, и пятнышки раскраски, черные на черном, виднелись только тогда, когда свет падал под определенным углом. Я назвала его Хозяином. И поняла, насколько приятно вечерами возвращаться домой, где меня ждет мой маленький Хозяин.

В последние полгода мы занимались организацией большой женской манифестации. Состоялось много встреч и собраний, на некоторых из них я порой замечала вице-посла и вскоре уже сама начинала искать его взглядом. Мне нравилось смотреть, как он слушает наши споры. Часть выступавших доказывала, что демонстранты не должны ограничиваться темой нарушения прав женщин, а требовать равенства для всех и во всем. Другие заявляли, что движение ни в коей мере не должно зависеть от под-

держки иностранцев, а носить чисто йеовианский характер. Мистер Йехедархед внимательно слушал и тех и других. Наконец я вышла из себя.

— Вот я иностранка! И что, только поэтому от меня нет никакой пользы? — возмутилась я. — Вы рассуждаете как хозяева. Можно подумать, что вы лучше всех прочих!

— Я поверю во всеобщее равенство лишь тогда, когда увижу эти слова в Конституции Йеове, — добавила доктор Йерон.

Что же касается Конституции, то ее приняли в результате всеобщего голосования в то время, когда я жила в Хагайоте; из граждан право голоса имели только мужчины. Наконец было решено, что демонстранты потребуют введения в Конституцию поправок о предоставлении женщинам гражданских прав, о тайном голосовании, о гарантии прав на свободу слова, печати, собраний и о бесплатном образовании для всех детей.

В тот жаркий день семьдесят тысяч женщин перекрыли все дороги. Я шла вместе с ними и вместе с ними пела, прислушиваясь к могучему звучанию нашего женского хора.

Когда мы готовили женщин к этой демонстрации, я стала выступать публично, поскольку обладала ораторским даром, и он нам пригодился. Порой шайки хулиганов или невежественных мужчин пытались прерывать мои выступления угрожающими криками: «Надсмотрщица, хозяйка, шлюха, убирайся к себе домой!» Однажды, когда они истошно орали «Убирайся, убирайся!», я наклонилась к микрофону и сказала:

— Я не могу этого сделать. Потому что на плантациях, где я была рабыней, мы пели такие слова... — И я запела: — О, о, Йеове, никто не придет назад.

Услышав меня, буяны застыли на месте. Похоже, они почувствовали всю печаль этих слов, их неизбывную тоску.

Демонстрация прошла, но спокойствие так никогда уже не восстановилось, хотя бывали времена, когда наша энергия почти сходила на нет и движение, как говорила доктор Йерон, застывало на месте. Во время одного из таких периодов я пришла к ней и осведомилась, не могли ли бы мы организовать издательство и печатать книги. Эта идея пришла мне в голову в Хагайоте, в тот миг, когда я

увидела, как Сеуги погладила пальцами бумагу, где я записала ее рассказ, и заплакала.

— Сказанное умирает быстро, — сказала я, — так же, как слова и образы в телесети, и каждый может истолковывать их по своему разумению. Но книги остаются. Они вечны. Они плоть истории, говорит мистер Йехедархед.

— А инспектора? — напомнила мне доктор Йерон. — Пока мы не добьемся поправки о свободе слова, правительство никому не позволит печатать то, что не согласуется с его взглядами.

Но мне не хотелось расставаться с моей идеей. Я понимала, что в провинции Йотеббер нам не удастся издавать политические труды, но доказывала, что у нас есть возможность печатать прозу и стихи для живущих тут женщин. Некоторые считали, что моя затея — бесполезная трата времени. И мы без конца обсуждали ее со всех сторон.

Мистер Йехедархед, вернувшийся из поездки в Старую столицу, где находилось посольство, слушал наши дискуссии, но не говорил ни слова, что весьма разочаровало меня. Мне-то казалось, что он должен поддержать мои замыслы.

Как-то раз я шла из школы домой: квартира моя находилась в большом старом здании недалеко от дамбы. Мне нравилось здесь жить, потому что в окна мои стучались ветви деревьев, а в просветах между стволами виднелась река, ширина которой достигала в этом месте четырех миль; она неторопливо протекала меж песчаных отмелей, тростниковых зарослей и островков, заросших ивами, которые выступали из воды в сухое время года, а в сезон обильных дождей вода поднималась, размывая дамбы.

Подойдя к дому, я увидела мистера Йехедархеда, за спиной которого, как обычно, маячили две невозмутимые женщины-полицейские. Он поздоровался со мной и осведомился, не могли ли бы мы поговорить. Я смутилась и, растерянно помявшись, пригласила его к себе.

Охранницы остались ждать в холле. Моя квартира, представляющая собой всего лишь одну большую комнату, находилась на третьем этаже. Я села на кровать, а вице-посол устроился в кресле. Хозяин, мурлыча, ходил кругами и терся о его ноги.

Я давно заметила, что Хавжива находил своеобразное

удовольствие в том, что ни обликом, ни поведением не соответствовал расхожим представлениям об окружении комиссара: те, увешанные значками, эмблемами и кокардами, разъезжали повсюду не иначе как в сопровождении кавалькады машин. А мистер Йехедархед со своими охранницами передвигался по городу либо на своих двоих, либо на скромном казенном автомобиле. Из-за этого люди испытывали к нему симпатию. Все знали, как теперь знала и я, что в первый день своего пребывания здесь, когда он прогуливался в одиночестве, на него напала банда молодчиков из Всемирной партии и избила до полусмерти. Горожанам нравилась его смелость и непринужденность, с которой он общался со всеми и всюду. Они считали его своим. Мы в движении Освобождения воспринимали его как «нашего посла», но он все-таки оставался чужаком. Комиссар, который, может, и ненавидел его популярность, все-таки извлекал из нее какую-то пользу.

— Вы хотите организовать издательство, — сказал мистер Йехедархед, поглаживая Хозяина, который пытался вцепиться коготками ему в руку.

— Доктор Йерон считает, что, пока мы не добьемся поправок в Конституции, от него не будет толку.

— На Йеове существует одно учреждение, издания которого не контролируются правительством напрямую, — сказал мистер Йехедархед, поглаживая брюшко Хозяина.

— Осторожнее, он кусается, — предупредила я. — А где оно находится?

— В университете. Да, вы правы, — сказал мистер Йехедархед, глядя на окровавленный большой палец. Я извинилась за поведение Хозяина. Гость спросил, уверена ли я, что он мальчик. Я ответила, что мне так сказали, но как-то не приходило в голову удостовериться. — У меня сложилось впечатление, что ваш Хозяин — типичная дама, — сказал мистер Йехедархед таким тоном, что я не могла удержаться от смеха.

Высасывая кровь из ранки, он засмеялся вместе со мной, после чего продолжил:

— Университет никогда не представлял собой значимой величины. То был замысел корпорации — пусть «имущество» считает, что получает образование. В последние годы войны он был закрыт. После Освобождения снова открылся и с тех пор так себе потихоньку и существует, не

привлекая к себе особого внимания. Преподавательский состав в массе своей — пожилые люди. Они вернулись в аудитории после войны. Национальное правительство выделяет субсидии, потому что это хорошо звучит — «Университет Йеове», но на деле не обращает на него никакого внимания, ибо он не имеет престижа. Да и потому, что большинство членов правительства просто невежественны. — В его словах не было презрения; он всего лишь констатировал факт. — И при университете есть издательство.

— Знаю, — сказала я и, вытащив свою старую книгу, показала ее гостю.

Несколько минут он листал ее, и на лице его появилось странное выражение нежности. Я не могла оторвать от него глаз. Мною владело чувство, сходное с тем, что возникает, когда смотришь на женщину с ребенком.

— Обилие пропаганды, надежд и ошибок, — наконец сказал он, и в голосе его слышалась та же нежность. — Что ж, я считаю, что замысел вполне реальный. А вы? Нужен всего лишь редактор. И несколько авторов.

— А инспектора? — напомнила я, повторив слова доктора Йерон.

— Экумене проще всего распространять свое влияние посредством академических свобод, — сказал он, — потому что мы приглашаем людей в Экуменические школы на Хайне и Ве. И очень хотели бы пригласить выпускников университета Йеове. Но если их образование страдает серьезными недостатками из-за отсутствия соответствующих книг и, соответственно, информации...

— Мистер Йехедархед, — неожиданно вырвалось у меня, — вы *намерены противостоять* политике правительства?

Он не засмеялся. И, прежде чем ответить, погрузился в долгое молчание.

— Не знаю, — наконец сказал он. — Пока посол поддерживает меня. Нам обоим могут вынести выговор. Или уволить. И я бы хотел... — Он не сводил с меня своих странных глаз. Наконец он посмотрел на книгу, которую продолжал держать в руках. — Я бы хотел стать гражданином Йеове. Но я могу быть полезен Йеове и движению Освобождения, лишь сохраняя свое положение в Экумене. И пока меня не остановят, буду так или иначе использовать его.

Когда он ушел, я стала обдумывать сделанное мне предложение. Мне предстояло устроиться в университет преподавателем истории и на добровольных началах взять на себя заботы об издательстве. Для женщины с моим прошлым, с моим небольшим кругом знаний это предложение показалось столь нелепым и несообразным, что поначалу я подумала: должно быть, я неправильно поняла слова мистера Йехедархеда. Когда он убедил меня, что это не так, я решила, что он, должно быть, совершенно не представляет, кем я была и чем мне приходилось заниматься. Когда я коротко ввела его в курс дела, он явно смутился от того, что вынудил меня затронуть такие темы, да, наверно, и ему самому было не по себе, хотя большую часть времени мы смеялись и я отнюдь не испытывала смущения, разве что чуть-чуть, будто мной овладевало легкое сумасшествие.

И все же я решила обдумать его слова. Он требовал от меня слишком многого, и я поймала себя на том, что это осознание дается мне нелегко. Меня пугали необходимость того огромного шага, который предстояло сделать, то будущее, которого я не могла себе представить. Но главным образом я думала о нем, о Йехедархеде Хавживе. Я вспомнила, как он сидел в моем старом кресле и, нагнувшись, поглаживал Хозяина. Как высасывал кровь из пальца. Смеялся. Смотрел на меня глазами почти без белков. Я видела перед собой красновато-коричневое лицо и руки цвета обожженной глины. В голове у меня продолжал звучать тихий голос.

Я взяла на руки котенка, который уже заметно подрос, и стала изучать его промежность. Но не обнаружила никаких отличительных признаков мужского пола. Маленькое тельце, словно покрытое черным лоснящимся шелком, извивалось у меня в руках. Я вспомнила, как мистер Йехедархед сказал, что Хозяин — типичная дама, и мне снова захотелось смеяться, а затем на глазах выступили слезы. Я погладила кошечку и опустила ее на пол, где та устроилась рядом со мной и принялась вылизывать шкурку.

— Бедная ты моя девочка, — сказала я, сама не понимая, кого же я имею в виду. Котенка, леди Тазеу или самое себя.

Хавжива велел сразу обдумать его предложение и не терять времени. Но, когда через пару дней он пришел к мое-

му дому и ждал моего возвращения у дверей, все мысли разом вылетели у меня из головы.

— Не хотите ли прогуляться по дамбе? — спросил он.

Я огляделась.

— Они здесь, — сказал он, имея в виду своих невозмутимых телохранительниц. — Где бы я ни был, они держатся в трех-пяти метрах от меня. Прогулка со мной скучна, но безопасна. Гарантией тому — моя ценность.

Пройдя лабиринтом улиц, мы вышли к дамбе и поднялись на нее. Стояли легкие вечерние сумерки, все вокруг было залито теплым золотисто-розовым светом, от реки тянуло запахами воды, тины и тростниковых зарослей. Две вооруженные женщины держались метрах в четырех за нашими спинами.

— Если вы решили идти в университет, — после долгого молчания сказал мистер Йехедархед, — я останусь тут надолго.

— Я еще не... — я запнулась.

— Если вы в нем останетесь, я постоянно буду тут, — сказал он. — То есть если вас это устроит.

Я ничего не ответила. Не поворачивая головы, он искоса посмотрел на меня.

— Мне нравится, что я вижу, куда вы смотрите, — неожиданно для самой себя сказала я.

— А мне нравится, что я не вижу, куда смотрите вы, — сказал он, в упор глядя на меня.

Мы двинулись дальше. С тростникового островка снялся герон и, хлопая широкими крыльями, плавно полетел над водой. Мы шли вниз по течению, которое устремлялось на юг. Небо за западе было залито сиянием: солнце опускалось за дымную пелену города.

— Ракам, я хотел бы знать, откуда вы появились, как жили на Уэреле, — очень тихо сказал мистер Йехедархед.

Я набрала в грудь воздуха.

— Ничего не осталось, — ответила я. — Все в прошлом.

— Мы и есть наше прошлое. Хотя речь не об этом. Я хотел бы узнать вас. Прошу прощения. Мне бы очень хотелось узнать вас.

Я помолчала и наконец сказала:

— Мне бы тоже хотелось рассказать вам обо всем. Но прошлое мое грязно и уродливо. А здесь сейчас так красиво. И я бы не хотела терять эту красоту.

— Что бы вы ни рассказали, я смогу понять это правильно, — промолвил он, и его тихий голос проник до самого моего сердца.

Я начала с поселения Шомеке и торопливо пересказала всю свою историю. Время от времени он задавал вопросы. Но большей частью молча слушал. Порой он брал меня за руку, но я почти не замечала его прикосновений. Но когда я невольно вздрогнула, он тут же отпустил меня, решив, что таково мое желание. У него были прохладные руки, и даже после того, как его пальцы соскользнули с моего предплечья, я еще долго чувствовала их.

— Мистер Йехедархед, — послышался голос у нас за спиной. Его подала одна из телохранительниц. Солнце почти закатилось, и небо пламенело кроваво-золотистыми отсветами. — Не повернуть ли назад?

— Да, — сказал мистер Йехедархед. — Благодарю.

Когда мы двинулись в обратный путь, я взяла его за руку. И почувствовала, как у него перехватило дыхание.

После Шомеке я не испытывала влечения ни к мужчинам, ни к женщинам — и это чистая правда. Я любила людей и с любовью прикасалась к ним, но с желанием — никогда. Мои ворота были наглухо закрыты.

Теперь они распахнулись. Мною овладела такая слабость, что от одного прикосновения его руки у меня подкашивались ноги.

— Как хорошо, — сказала я, — что наша прогулка так безопасна.

Я с трудом понимала, что несу. Мне минуло тридцать лет, а я вела себя как девчонка. Но я никогда не была ею.

Он ничего не ответил. Мы в молчании шли вдоль реки к городу, залитому торжественным светом заходящего солнца.

— Поедем ко мне домой, Ракам? — сказал он.

Я не ответила.

— Там их не будет, — очень тихо, склонившись к моему уху так, что я почувствовала его дыхание, шепнул мистер Йехедархед.

— Не смешите меня! — сказала я и заплакала. И не успокаивалась все время, пока мы шли по дамбе. Я всхлипывала, замолкала и снова начинала всхлипывать. Я выплакивала свой позор и все свои горести. Я плакала потому, что они жили во мне и никогда не исчезнут. Я плакала по-

тому, что ворота распахнулись и я могла наконец войти в тот мир, что простирался за их пределами, но я боялась.

Мы сели в машину и доехали до моей школы. Мистер Йехедархед вышел, молча поднял меня на руки и понес. Две женщины на переднем сиденье даже не обернулись.

Мы вошли в его дом, который мне как-то довелось видеть, старый особняк одного из хозяев времен корпорации. Хавжива поблагодарил охрану и закрыл за собой двери.

— Надо бы пообедать, — сказал он. — Но повара нет на месте. Я собирался пригласить вас в ресторан. И забыл.

Он отвел меня на кухню, где мы нашли холодный рис, салат и вино. Потом уселись по разные стороны кухонного стола и стали есть. Когда с едой было покончено, он пристально посмотрел на меня и опустил глаза. Мы молчали. Наконец, после бесконечно длинной паузы, он сказал:

— О, Ракам!.. Позволишь ли ты мне любить тебя?

— Я хочу испытать любовь к тебе, — ответила я. — Я никогда не знала ее. Я ни с кем не занималась любовью.

Улыбнувшись, он встал и взял меня за руку. Бок о бок мы поднялись наверх, миновав порог, за которым, наверное, когда-то начиналась мужская половина дома.

— Я живу в безе, — сказал он. — В гареме. Мне нравится вид, который открывается из женской половины.

Мы вошли в его комнату. Он остановился, глянул на меня и отвел глаза. Я была так испугана, так растеряна, что мне казалось — у меня не хватит сил подойти к нему, коснуться его. Я заставила себя приблизиться. Подняв руку, я коснулась его лица, провела пальцем по шрамам у глаза и в углу рта и обняла его.

Ночью, когда мы дремали в объятиях друг друга, я спросила:

— Ты спал с доктором Йерон?

Я услышала, как в его груди, которая прижималась к моей, родился тихий смешок.

— Нет, — ответил Хавжива. — На Йеове нет никого, кроме тебя. И для тебя на Йеове нет никого, кроме меня. Мы были девственниками на Йеове... Ракам, *араха*...

Он уткнулся головой в мое плечо и, пробормотав что-то на незнакомом языке, уснул. Он спал крепко и тихо.

Позже, в том же году, я отправилась на север, в университет, где стала читать курс истории. По стандартам того времени я вполне отвечала своему предназначению. С тех пор я и работаю там преподавателем и редактором печатных изданий.

Хавжива не нарушил своего обещания и постоянно, или почти постоянно, находится рядом.

Поправки к Конституции были приняты тайным голосованием в 18-м йеовианском году Свободы. О событиях, что способствовали этому, и о том, что случилось позже, вы можете прочитать в новом трехтомнике «История Йеове», вышедшем в издательстве «Университет-пресс». Я поведала историю, о которой меня просили рассказать. Ей, как и многим другим, положил конец союз двух людей. Что такое любовь мужчины и женщины, их тяга друг к другу в сравнении с историей двух миров, великими революциями нашего времени, надеждами и нескончаемыми страданиями наших собратьев? Мелочь. Но ведь и ключ, открывающий двери, тоже невелик. Потеряв его, вы никогда не переступите порог, дверь так и останется закрытой. Только в себе самих мы теряем или находим свободу, только сами принимаем рабство или кладем ему конец. Поэтому я написала эту книгу для своего друга, с которым я живу и умру свободной.

Заметки об Уэреле и Йеове

Из справочника «Известные миры», изданного в Дарранде, Хайн, 93-й год Хайнского цикла, 5467-й локальный год.

2102-й экуменический год отмечается как «настоящее время» (НВ), в то время как исторические даты приводятся в годах «до настоящего времени» (ДНВ).

Система Уэрел — Йеове состоит из 16 планет, вращающихся вокруг желто-белой звезды (RK-5544-34). Жизнь существует на третьей, четвертой и пятой планетах. На пятой, именуемой на воедеанском Ракули, обитают только беспозвоночные формы живых существ, толерантные к холодному и сухому климату; планета не подлежит колонизации и использованию. Третья и четвертая планеты, Йеове и Уэрел, отвечают принятым на Хайне стандартным требованиям к атмосфере, силе тяжести, климату etc. Уэрел был колонизирован Хайном в последние годы Экспансии около миллиона лет назад. Выяснилось, что на планете не имеется местной фауны, поэтому все формы животной жизни, обитающие на Уэреле, представляют собой видоизменения хайнских представителей животного мира. На Йеове не было фауны до колонизации его Уэрелом в 365 г. ДНВ.

УЭРЕЛ

ЕСТЕСТВЕННАЯ ИСТОРИЯ

Четвертая от своего светила планета, Уэрел, имеет семь небольших спутников. Климат характеризуется низкими температурами, особенно холодно в районе полюсов. Флора в массе своей скудная и бедная, все образцы фауны — хайнского происхождения, приспособившиеся к питанию местной растительностью; затем, окончательно адаптировавшись, они претерпели и генетические изменения. Человек в процессе адаптации приобрел синюшную окраску кожи (от черной до светлой с синеватым оттенком) и своеобразный цвет глаз (исчезновение белков) — и то и другое связано с влиянием элементов солнечного спектра.

ВОЕ ДЕО

НОВАЯ ИСТОРИЯ

В 4000—3500 гг. ДНВ агрессивная, стремительно прогрессирующая популяция чернокожего населения, обитавшая к югу от экватора на единственном большом континенте (в данном регионе в настоящее время расположена Вое Део), вторглась на территории к северу от экватора, населенные светлокожим населением, и подчинила их себе. Завоеватели создали рабовладельческое общество, основанное на цвете кожи.

Вое Део представляет собой самую многочисленную и преуспевающую нацию на планете; все остальные территории обоих полушарий являются протекторатами, вассальными государствами Вое Део или экономически зависят от него. Экономика Вое Део носит капиталистический характер и в течение минимум 3000 лет держалась на использовании рабского труда. Правители Вое Део предписывали описывать Уэрел как единое общество. Но поскольку оно претерпевает бурные изменения, это требование может быть отнесено к прошлому.

СОЦИАЛЬНЫЕ КЛАССЫ В РАБОВЛАДЕЛЬЧЕСКОМ ОБЩЕСТВЕ

Классы: хозяин (владелец, или гареот) и раб («имущество»). Классовая принадлежность всех без исключения лиц определяется по материнской линии.

Цвет кожи: от сине-черного к сизому или серовато-коричневому вплоть до почти полного обесцвечивания, то есть белого (полный альбинизм, не сказывается на цвете волос и глаз, которые остаются темными). Идеальным — и абстрактным — считается вариант, когда класс определялся бы по цвету кожи: хозяева черные, «имущество» белое. На

деле же многие хозяева черные, но большинство просто темнокожие; часть «имущества» черная, большинство — бежевых оттенков и лишь некоторые — белые.

Хозяевами называются мужчины, женщины и дети.

В целом термин «хозяин» применяется по отношению либо к классу как таковому, либо к личности (семье), во владении каковой имеется двое или более рабов.

Хозяин одного раба или не имеющий рабов называется беспоместным хозяином, или *гареотом*.

Веоты — члены наследственной воинской касты хозяев, в среде которой существуют ранги *рега, задьйо, ога*. Мужчины этой касты, все без исключений, служат в армии; почти все семьи веотов обладают собственностью, большинство из них хозяева, но часть — гареоты.

Женщины-хозяева образуют подкласс высшей касты. С точки зрения закона такая женщина — собственность мужчины (отца, дяди, брата, мужа, сына или опекуна). Большинство наблюдателей считают, что различия по признаку пола в уэрелианском обществе не менее важны и существенны, чем деление на хозяев и рабов, но менее заметны, ибо женщины хозяев в социальном смысле стоят гораздо выше, чем «имущество» того или иного пола. Поскольку женщины считаются собственностью, сами они не могут обладать таковой, включая человеческое «имущество». Тем не менее у них есть право распоряжаться собственностью.

«Имуществом» именуются мужчины, женщины и дети. Уничижительные клички: рабы, «пыльные», белые.

Лулы — рабочее сословие рабов, принадлежащее отдельному лицу или семье. Все рабы на Уэреле относятся к лулам, кроме макилов и военного «имущества».

Макилы — продаются Корпорацией развлечений, во владении которой и находятся.

Военное «имущество» — продается армией, во владении которой и находится.

«Укороченные», или евнухи, — мужчины-рабы, подвергшиеся кастрации (в той или иной мере добровольно, в зависимости от возраста и пр.), что дает им определенный статус и привилегии. В хрониках Уэрела описано немалое количество «укороченных», которые при разных правительствах обладали огромной властью; многие становились влиятельными чиновниками. Надсмотрщиками на женской половине поселений могли быть только евнухи.

Отпущенники — до последнего столетия встречались

исключительно редко; их количество ограничивалось несколькими известными историческими легендами о рабах, чья исключительная преданность и неоспоримые достоинства побуждали хозяев дать им свободу. Во время начавшейся на Йеове войны за Освобождение случаи освобождения рабов на Уэреле стали встречаться гораздо чаще; ее практиковала группа хозяев, именуемая Общиной, которая проповедовала отказ от института рабства. С точки зрения закона, но не в глазах общества, отпущенники считались гареотами.

Во времена Освобождения на Вое Део численность «имущества» и хозяев соотносилась как 7:1. (Примерно половина таких хозяев входила в число гареотов, которым принадлежал в лучшем случае один раб.) В более бедных странах эта пропорция была заметно ниже или вообще изменила свой порядок: так, в Экваториальных странах соотношение количества «имущества» и хозяев было 1:5.

Считалось, что в целом на Уэреле на одного хозяина приходилось по три единицы «имущества».

ДОМ И ПОСЕЛЕНИЕ

Исторически так сложилось, что в сельской местности, в поместьях, на фермах и плантациях «имущество» жило в поселении, обнесенном стеной или изгородью, с единственными воротами. Рвом, тянувшимся параллельно стене с воротами, поселение делилось на две части. *«У ворот»* была мужская половина, а *«внутри»* — женская. Мальчики жили «внутри» до тех пор, пока не достигали рабочего возраста (8—10 лет), после чего переходили в мужское общежитие. Женщины обитали в хижинах, которые обычно делили между собой матери с дочерьми, сестры или подруги: от двух до четырех женщин с детьми. Мужчины и мальчики жили в строении «у ворот», которое именовалось общежитием, или «длинным домом». Огороды разбивали и ухаживали за ними старики и дети, которым не надо было ходить на работы; пожилые же, как правило, готовили еду для работающих. Управляли поселением бабушки.

«Укороченные» (евнухи) жили в отдельных домах у внешней стены, над которой стояла наблюдательная вышка; они исполняли обязанности надсмотрщиков поселения, посредников между бабушками и рабочими надсмотрщи-

ками (те были членами семей хозяев или нанятыми гареотами; надзиравшими за рабочим «имуществом»). Рабочие надсмотрщики жили в домах вне пределов поселения.

Хозяйские семьи и их вассалы из того же класса занимали Дом. Понятие Дома включало в себя любое количество отдельно стоящих строений, кварталы рабочих надсмотрщиков и стойла для скота, но главным образом обозначало большой семейный дом. Традиционно Дом состоял из двух половин: мужской (азаде) и женской (беза), между которыми существовала четкая граница. Уровень ограничений для женщин зависел от преуспеяния, власти и социальных претензий данной семьи. Женщины-гареоты могли пользоваться относительной свободой передвижений и занятий, но женщины из обеспеченных или известных семей содержались в пределах Дома, прогуливаясь лишь в обнесенных стеной садиках, и никогда не выходили без многочисленного мужского эскорта.

На женской половине обитали женщины из состава «имущества», исполнявшие обязанности домашней прислуги и удовлетворявшие потребности хозяев-мужчин. Некоторые Дома держали мужскую прислугу, обычно мальчиков или стариков; кое-где слугами были «укороченные».

В поселениях вокруг заводов, фабрик, шахт etc порядок управления носил более модифицированный характер. Там, где практиковалось разделение труда, чисто мужские поселения контролировались наемными гареотами: в чисто женских за порядком, как и в сельских поселениях, следили бабушки. Продолжительность жизни мужского поголовья в такого рода поселениях составляла примерно 28 лет. В те времена, когда «имущества» не хватало и в ранние годы колонизации шла оживленная работорговля с Йеове, часть хозяев на кооперативных началах организовала «поселения для размножения». Содержавшиеся в них женщины исполняли легкие работы и регулярно тяжелели; некоторые из этих «маток» ежегодно выкармливали по ребенку в течение двадцати и более лет.

Арендники. На Уэреле все «имущество» имело индивидуальных владельцев. (Корпорации на Йеове изменили эту практику: все рабы принадлежали им и не имели отдельных владельцев.)

В городах Уэрела «имущество» по традиции обитало в домах своих владельцев, удовлетворяя их потребности. В течение последнего тысячелетия среди хозяев широко

распространилась практика отдавать внаем часть размножившегося «имущества» как квалифицированную или неквалифицированную рабочую силу. Владельцы или акционеры компаний, каждый по отдельности, могли приобрести такое «имущество» и владеть им; компания же сдавала «имущество» в аренду, следила за его использованием и получала определенный доход. Если в распоряжении хозяина имелось хотя бы два опытных работника, он мог жить на получаемую за них арендную плату. Арендники, как мужчины, так и женщины, составляли в городах самую большую группу в среде «имущества». Они жили в «общих компаундах» — многоквартирных домах, под надзором нанятых надсмотрщиков-гареотов. Те следили за соблюдением комендантского часа и проверяли, кто входит в дом и кто покидает его.

(Необходимо отметить разницу между уэрелианскими арендниками, которых хозяева сдавали внаем, и гораздо более свободными отпущенниками на Йеове, рабами, которые платили хозяевам налог за право свободно выбирать себе занятие, что называлось «аренда свободы». Одной из первых забот Хейма, подпольной организации, выступающей за освобождение рабов на Вое Део, было стремление ввести такую же «аренду свободы» и на Уэреле.)

В большинстве «общих компаундов» и в городских хозяйствах существовало разделение по признаку пола на азаде и безу, однако часть хозяев и отдельные компании разрешали своему «имуществу» и арендникам жить парами — но только не в браке. Хозяева в любое время, не утруждая себя объяснениями, могли разлучить их. Дети любой такой пары из среды «имущества» поступали в собственность матери хозяина.

В обычных поселениях гетеросексуальные отношения контролировались хозяевами, надсмотрщиками и бабушками. Те, кто «перепрыгивал ров», делали это на свой страх и риск. Недосягаемым идеалом для хозяев было полное разделение мужского и женского «имущества», селективный отбор надсмотрщиками пар для размножения, использование тщательно отобранного мужского «имущества» для оплодотворения с оптимальными интервалами женского «имущества», которое будет производить желаемое число детей. Женщины же, в большинстве своем, будут содержаться на фермах, чтобы избежать чрезмерного размножения и нежелательной беременности. У доброжела-

тельных хозяев бабушки и «укороченные» часто могли оберегать девушек и женщин от изнасилования и даже разрешали общаться влюбленным парам. Но условия рабского существования создавали препоны как для хозяев, так и для бабушек: ни закон, ни обычаи Уэрела не допускали никаких форм брака среди рабов.

РЕЛИГИИ

Государственной религией Вое Део было поклонение Туал, божественному материнскому воплощению Кван Джина, олицетворявшей мир и всепрощение. *Философски* Туал рассматривалась как самое важное воплощение Амы Созидателя, или Духа-Творца. *Исторически* она представляла собой слияние многих местных богов и божков и на местах нередко обретала множество обликов. С *государственной точки зрения* поддержка единой национальной религии соответствовала стремлению Вое Део укрепить свою гегемонию в других странах, хотя этой религии не были свойственны миссионерство или агрессивность. Священники-туалиты могли занимать высокие посты в правительстве и на самом деле занимали их. *Классовое отношение:* поклонение образу и службы в честь Туал вводились хозяевами во всех поселениях рабов на Уэреде и на Йеове. Туализм был религией хозяев. «Имуществу» насильственно предписывалось поклонение ей, и, хотя в ритуалах проявлялись аспекты мифов о Туал и связанных с ней обрядов, большинство представителей «имущества» считали себя камьеитами. Согласившись считать Камье Невольником и младшим воплощением Амы, священники культа Туал позволяли поклонение Камье и терпели его жрецов (официально те не относились к числу священнослужителей) в среде рабов и солдат (большинство веотов были камьеитами).

«Аркамье», или *Житие Камье-Меченосца* (Камье также называли Пастухом, верховным божеством звериного мира и Невольником, ибо он долго был в услужении у Владыки Ночных Сумерек): воинский эпос, примерно 3000 лет существующий в среде «имущества» и распространенный по всему миру как источник и учебник их собственной религии. В нем превозносятся такие доблести рабов-воинов, как преданность, отвага, терпение и самоотречение, а также духовная независимость, стоическое равнодушие к этому

миру и страстный возвышенный мистицизм: реальность может быть побеждена только той реальностью, которую ты воображаешь себе. «Имущество» и веоты, поклоняясь Туал, считают ее инкарнацией Камье, а его самого — инкарнацией Амы Созидателя. Понятия «этапов жизни» и «ухода в молчание» входят в число мистических идей и обрядов, разделяемых и камьеитами, и туалитами.

ОТНОШЕНИЯ С ЭКУМЕНОЙ

Первый посол (1724 г. НВ) был встречен с предельной подозрительностью. После того как делегации, окруженной плотным кольцом охраны, было разрешено ступить на землю с корабля «Хагам», предложение об объединении встретило отказ. Правительство Вое Део и его союзники запретили чужакам вторгаться в пределы их солнечной системы. Но впоследствии Уэрел, возглавляемый Вое Део, чувствуя присутствие соперников, стал стремительно развивать космическую технологию, поощрять промышленный и технический прогресс. В течение долгих лет правительство Вое Део, военные структуры и индустрия руководствовались параноидальным ожиданием возвращения вооруженных армад чужаков, которые якобы завоюют их. Именно этот уровень развития позволил в течение тринадцати лет колонизировать Йеове.

В течение последующих трехсот лет Экумена время от времени пыталась установить контакты с Уэрелом. По настоянию Университета Бамбура был начат обмен информацией, в который включился ряд университетов и исследовательских институтов. По истечении трехсот лет Экумене наконец было позволено прислать несколько наблюдателей. Во время войны за Освобождение на Йеове Экумена получила предложение прислать послов на Вое Део и Бамбур, а позже такое же предложение поступило от Гатаи, от Сорока государств и других народов. В течение определенного времени несоблюдение Конвенции об оружии не позволяло Уэрелу вступить в Экумену, несмотря на давление Вое Део на другие государства с требованием сокращения вооружений. После отмены Конвенции об оружии Уэрел присоединился к Экумене — миновало 359 лет после первого контакта, и 14 лет назад война за Освобождение на Йеове закончилась.

Поскольку колония на Йеове была собственностью корпораций и не имела своего правительства, хозяева на Уэрале считали, что она не может претендовать на членство в Экумене. Последняя же продолжала задавать вопросы о праве четырех корпораций владеть планетой и ее населением. Когда шли последние годы войны за Освобождение, Партия Свободы пригласила на Йеове наблюдателей Экумены, и появление постоянного посла совпало с окончанием войны. Экумена помогла Йеове успешно завершить переговоры о прекращении экономического контроля над планетой со стороны корпораций и правительства Вое Део. Всемирная Партия едва не добилась успеха в своих требованиях выставить с планеты и чужаков, и обитателей Уэрела, но, когда их движение потерпело крах, Экумена вплоть до дня выборов поддерживала временное правительство. Йеове присоединилась к Экумене в 11 г. Свободы, за три года до Уэрела.

ЙЕОВЕ

ЕСТЕСТВЕННАЯ ИСТОРИЯ

Третья планета от своего солнца, Йеове обладает умеренно теплым климатом, с незначительными сезонными изменениями.

Микроорганизмы присутствуют на планете с незапамятных времен и представляют собой как нормальные формы, так и изменившиеся в силу тех или иных причин. Некоторые морские микроорганизмы Йеове считаются животными; остальную же часть биоты, естественной живой среды на планете, составляют растения.

На поверхности почвы присутствует большое количество сложных образцов растительного мира, существующих на принципах фотосинтеза, или же сапрофитов. Большинство ведут неподвижный образ жизни; часть растений, живущих сообществами или по отдельности, снабжены «щупальцами» и способны медленно передвигаться с места на место. Основную крупную живую форму представляют деревья. Южному континенту свойствен ярко выраженный климат тропических джунглей, и от береговой линии океанского побережья вплоть до Полярного круга тянутся дождевые леса, которые в районе Антарктики сменяются тайгой. Южная и северная части Великого континента

густо заросли лесами, а центральную часть его, представляющую собой высокое плоскогорье, занимают степи и саванны с обширными участками болот, торфяников и плавней на прибрежных равнинах. При отсутствии представителей живого мира, которые могли бы взять на себя роль опылителей, растения выработали у себя многочисленные механизмы, позволяющие использовать дожди и ветры для перекрестного опыления и перемещения: «взрывающиеся» семена, крылатые семена, сплетения семян, которые, подхваченные ветром, улетают на сотни миль, водонепроницаемые споры, семена, «ввинчивающиеся» в землю, «плавающие» семена, растения, «флюгера» которых улавливают движение ветра, снабженные ресничками etc.

В морях, теплых и относительно мелких, и на обширных прибрежных заболоченных участках существует огромное количество неподвижных и плавающих растений — планктон, бурые и красные водоросли, кораллы и губки, формирующие стабильные конструкции (главным образом из кремния) и уникальные растения, такие, как «парусники» и «зеркальники». Прибрежные участки, где рос тростник, идущий на циновки, выкашивались корпорациями столь интенсивно, что в течение тридцати лет они были полностью оголены.

Бездумное внедрение растений и животных с Уэрела привело к тому, что три пятых образцов местной флоры и фауны были уничтожены или полностью подавлены пришельцами, чему способствовало промышленное загрязнение окружающей среды и война. Хозяева доставили на планету оленей, гончих собак, ловчих котов и гигантских лошадей для своих охотничьих утех. Олени уничтожили и свели на нет большую часть местных растительных угодий. Немало привезенных животных пало в долгой борьбе за существование. Выжившие образцы уэрелианского животного мира (кроме человека) включают в себя:

— птиц (домашние птицы, служащие для игр и в качестве источника питания; певчие птицы, выпущенные на свободу — часть образцов приспособилась и выжила);

— лисопсов и пятнистых кошек;

— коров (домашние животные, но в отдаленных районах часть из них одичала);

— ловчих котов (одичали, встречаются редко, преимущественно в болотистой местности).

Разведение в реках некоторых образцов рыб катастро-

фически сказалось на состоянии местной водной растительности, и выживших рыб пришлось травить ядом. Все попытки развить океаническое рыбоводство кончились неудачей.

Во время войны за Освобождение были забиты все лошади, которые являлись символом хозяйского добра; ныне их поголовья не существует.

КОЛОНИЗАЦИЯ: ЗАСЕЛЕНИЕ

Первые корабли с Уэрела достигли Йеове в 365 г. ДНВ. Первопоселенцы серьезно занялись изучением, картографированием и развитием планеты. Горнодобывающая корпорация Йеове (ГКЙ), основные инвесторы которой были гражданами Вое Део, получила эксклюзивное право на разработки. Когда через двадцать пять лет в строй вошли более крупные и надежные корабли, горное дело стало приносить доходы, и ГКЙ стало регулярно доставлять рабов на Йеове, а на Уэрел — руду и минералы.

Следующей крупной компанией стала Корпорация лесоразработок Второй планеты, которая сводила на Йеове строевой лес и поставляла его на Уэрел, где промышленное развитие планеты и рост народонаселения уничтожили леса почти под корень.

К концу первого столетия крупной промышленной отраслью стала эксплуатация океанских ресурсов. Снабженческая корпорация Йеове (СКЙ), получая немалый доход, уничтожала тростниковые заросли. Покончив с его запасами, СКЙ обратилась к сбору и обработке других морепродуктов, особенно пузырчатых водорослей, богатых маслами.

В течение первого столетия колонизации Сельскохозяйственная корпорация Йеове начала систематически культивировать чужие зерновые культуры и туземные фрукты, такие, как тростник ойе и плоды пини. Теплый ровный климат Йеове, отсутствие вредных насекомых и травоядных животных (чистоту экологической среды гарантировали строгие карантинные правила) привели к бурному расцвету сельского хозяйства.

И отдельные предприятия четырех корпораций, и регионы, в которых функционировали их шахты, лесные разработки, марикультура и сельскохозяйственные угодья — все вместе получило название «плантации».

Четыре мощные корпорации установили абсолютный контроль над выходом своей продукции, хотя вокруг нее десятилетиями велись сражения (и юридические, и физические) из-за сомнительных прав на разработки планеты. Ни одной из соперничающих компаний не удалось нарушить монополию корпораций. Те получали полную и действенную поддержку — военную, политическую и научную — от правительства Вое Део, в казну которой поступали внушительные доходы от корпораций. И основные вклады в капитал корпораций тоже делали правительство и капиталисты Вое Део. Мощное государственное образование во времена освоения, Вое Део после трех столетий колонизации стало, вне всяких сомнений, самым богатым государством на Уэреле, которое доминировало над другими странами или контролировало их. Тем не менее его контроль над деятельностью корпораций на Йеове был чисто номинальным. В переговорах с властью корпорации вели себя как суверенное государство.

НАСЕЛЕНИЕ И ИНСТИТУТ РАБСТВА

В течение первого столетия в колонию Йеове корпорации доставляли только рабов-мужчин. Их монополия на эксплуатацию рабовладельческих кораблей на пару с инопланетным картелем была полной и всеобъемлющей. В те времена основное поголовье рабов поступало из самых бедных стран Уэрела; позже, когда разведение рабов для рынка Йеове стало приносить доход, большинство рабов поставляли Бамбур, Сорок государств и Вое Део.

За этот период численности класса хозяев достигла примерно 40 000 человек (80% — мужчины), а поголовье рабов достигло 800 000 человек (все мужчины).

Существовало несколько экспериментальных «эмигрантских городов», поселений гареотов (представителей класса хозяев, не имевших рабов), работавших главным образом на промышленных предприятиях и в службе сервиса. На первых порах к таким поселениям относились терпимо, но затем стараниями корпораций, которые потребовали от правительств Уэрела ограничить эмиграцию личного состава, им пришел конец. Обитавших в них гареотов вернули на Уэрел, а исполнение их обязанностей взяли на себя рабы. Таким образом «средний класс» на Йеове, состояв-

ший из горожан и торгового сословия, был сильно разбавлен полунезависимыми рабами, а не гареотами и арендниками, как на Уэреле.

Цены на крепостных продолжали расти, поскольку срок «функционирования» раба в шахтах и на плантациях быстро подходил к концу (в первом столетии продолжительность «трудовой жизни» рабов-шахтеров была равна пяти годам). Отдельные хозяева все чаще стали контрабандой доставлять рабынь для сексуального обслуживания и работ по дому. Уступая настойчивому требованию времени, корпорации изменили правила и разрешили импорт рабынь (в 238 г. ДНВ).

Первых рабынь рассматривали только как маток-производительниц. Им позволялось жить только в пределах поселений на плантациях. Когда стало ясно, что их можно с выгодой использовать на самых разных работах, хозяева большинства плантаций пошли на смягчение ограничений. Тем не менее рабыням пришлось приспосабливаться к столетней социальной системе, созданной мужчинами-рабами, в которой женщины оказались на самой нижней ступени — рабыни рабов.

На Уэреле имело персональных владельцев все «имущество», кроме макилов (Корпорация развлечений приобретала их у хозяев) и солдат (у хозяев их покупало государство). На Йеове все рабы были собственностью корпорации, которая приобретала их у владельцев на Уэреле. Никто из рабов на Йеове не имел личного хозяина и не мог получить свободу. Даже те, кто исполнял обязанности домашней обслуги, например горничные жен плантаторов, официально принадлежали корпорации, которая владела плантацией.

Хотя предоставление рабам свободы было запрещено, но, поскольку популяция рабов росла очень быстро и на многих плантациях превысила установленный уровень, статус вольноотпущенника стал довольно обычным явлением. Вольноотпущенники находили себе оплачиваемую работу по найму или независимо и регулярно вносили «плату за свободу», отдавая одной или более корпорациям около 50% своего ежемесячного или ежегодного жалованья, которая считалась налогом за право самостоятельно работать. Многие вольноотпущенники работали ископщиками, продавцами, подсобными рабочими на фабриках или в службе сервис. В течение третьего столетия профессиональный класс вольноотпущенников был широко распространен в городах.

К концу третьего столетия, когда рост народонаселения несколько замедлился, на Йеове обитало примерно 450 миллионов человек; пропорция хозяев и рабов стала уже меньше чем 1:100. Примерно половину рабского сословия составляли вольноотпущенники. (Через двадцать лет после Освобождения на Йеове жили те же 450 миллионов; на этот раз все были свободными людьми.)

Социальная структура чисто мужского характера брала свое начало с плантаций; по ее образцу и было устроено это рабовладельческое общество. Уже на ранних стадиях его становления рабочие коллективы преобразовались в социальные группы (их так и именовали — группы), а те, в свою очередь, — в племенные сообщества со своей иерархией власти: члены племени, над ними — глава, или вождь, из числа рабов, далее — надсмотрщик, подчиняющийся хозяину, а тот — корпорации. Взаимные обязательства, конкуренция и соперничество, гомосексуальные привилегии, наследование прав — все было введено в определенные рамки и тщательно разработано. Единственным спасением для раба было принадлежать к какому-то племени и строго соблюдать его правила и обычаи. Раб, которого продавали с плантации, часто попадал в рабство к таким же, как он, рабам и оставался в таком состоянии долгие годы, пока не получал право считаться членом этого племени.

Когда стали появляться женщины-рабыни, большинство из них становились собственностью племени, так же, как и «имуществом» корпорации. Корпорации поощряли такой порядок вещей. Их устраивало, что племя контролировало жизнь рабынь, так же, как корпорации сами контролировали жизнь племени.

Оппозиционеры и бунтовщики, лишенные возможности объединяться, неизменно терпели быстрые и жестокие поражения, сталкиваясь с многократным количественным и качественным превосходством в вооружении. Главы и вожди племен сотрудничали с надсмотрщиками, которые, действуя в интересах хозяев и корпораций, поддерживали соперничество между племенами и способствовали силовым стычкам между ними, установив в то же время абсолютное эмбарго на «идеологию», под которой понималось образование и любая информация, поступавшая из-за пределов данной плантации. (На большинстве плантаций

еще во втором столетии грамотность считалась преступлением. Раба, застигнутого за чтением, ослепляли, выжигая глаза кислотой или вырывая их из глазниц. Рабу, который слушал радио или пользовался телесетью, прокалывали барабанные перепонки раскаленным стержнем. «Список соответствующих наказаний», которым пользовались корпорации, был длинным, подробным и убедительным.)

Но во втором столетии, когда на многих плантациях явно стал чувствоваться переизбыток рабов, тоненький ручеек мужчин и женщин, который тянулся к «торговым центрам» вольноотпущенников, превратился в бурный поток. Через несколько десятилетий «торговые центры» выросли в городки, а те — в города, где подавляющее большинство населения составляли вольноотпущенники.

Хотя мрачные скептики из числа хозяев указывали, что все эти образования, имевшие в своих названиях слова «имущество», «белые», «пыльные», становятся непреходящей угрозой, корпорации считали, что такие города и городки находятся под их надежным присмотром. В них не разрешалось возводить больших зданий или оборонительных структур любого вида: владение огнестрельным оружием каралось отсечением головы; рабам не разрешалось пилотировать летательные аппараты; корпорации держали под жестким контролем сырьевые материалы и технологические процессы создания любого оружия, которое могло попасть в руки рабов или вольноотпущенников.

В городах все же существовала «идеология», то есть определенные формы образования. В конце второго столетия жизни колонии корпорации, столь же неуклонно цензуруя, процеживая и отбирая информацию, все же дали формальное разрешение, согласно которому дети вольноотпущенников и часть подростков из племен могли до 14 лет ходить в школу. Общинам рабов было разрешено возводить школы и покупать учебники и учебные пособия. В третьем столетии корпорации пошли на организацию информационных и развлекательных телесетей для городов. Работников системы образования начали ценить. Стал очевиден вред ограничений и запретов, которые накладывало племя. Закосневшие в своем консерватизме, многие вожди племен и надсмотрщики не могли или не хотели вводить какие бы то ни было изменения, хотя уже наступили времена, когда по причине сокращения природных ресурсов планеты возникла необходимость в радикальных переменах. Стало ясно, что Йеове будет приносить доход не за счет истощающихся шахт, сведения лесов и монокультур, а за счет тонких технологий, продукции современных заводов с опытным рабочим персоналом, способным осваивать новую технику и самостоятельно принимать решения.

На Уэреле, где существовал рабовладельческий капитализм, все делалось за счет ручного труда. И на простых работах, и на высококвалифицированных трудились рабы, а техника, пусть изящная по замыслу и исполнению, играла лишь вспомогательную роль: «Обученное «имущество» — самая лучшая машина. И к тому же наиболее дешевая».

Даже самая сложная технологическая продукция по традиции создавалась руками высококвалифицированных ремесленников. Ни скорость изготовления, ни количество роли не играли.

В конце третьего столетия существования колонии, когда экспорт сырьевых материалов стал сходить на нет, рабов стали использовать по-другому. Были введены в строй сборочные линии, но их существование не преследовало цель ускорения выпуска продукции или удешевления ее. Рабочие не должны были иметь представления о процессе производства в целом. Корпорация Второй планеты (КВП), устранив из своего названия упоминание о лесообработке, возглавила новое производство. КВП быстро обошло давних гигантов, Горнодобывающую и Сельскохозяйственную корпорации, получая огромные доходы от продажи дешевой продукции самым бедным государствам Уэрела. Ко времени Восстания более половины рабочей силы на Йеове так или иначе принадлежало Корпорации Второй планеты.

На предприятиях и в промышленных городах имел место более высокий уровень социальной напряженности, чем на плантациях, где работали члены племени. Чиновники корпорации приписывали вину некоторым «неконтролируемым» свободным личностям, и многие требовали закрытия школ, разрушения городов и восстановления закрытых поселений для рабов. Городская милиция корпораций (нанятые и доставленные с Уэрела гареоты плюс вспомогательные полицейские силы из невооруженных свободных граждан) превратилась в настоящую армию, члены которой были вооружены до зубов. Большинство вспышек недовольства в городах и попытки протеста происходили на предприятиях с конвейерными линиями. Ра-

бочие, которые привыкли считать себя частью осмысленного трудового процесса, могли терпеть очень тяжелые условия труда, но нетерпимо относились к механической работе, пусть даже условия труда и улучшались.

Тем не менее Освобождение началось не в городах, а в поселениях на плантациях.

ВОССТАНИЕ И ОСВОБОЖДЕНИЕ

Начало Восстанию положила организация женщин на плантациях Великого континента. Они объединились, чтобы противостоять ритуальным изнасилованиям девочек, потребовав изменения племенных законов, в соответствии с которыми рабыни находились в полной сексуальной зависимости от мужчин; женщины подвергались групповым изнасилованиям, их уродовали и убивали, но никто из виновных ни разу не понес наказания.

Первым делом они потребовали образования для женщин и детей обоего пола, а затем — пропорционального представительства на выборах совета племени, в котором, как правило, участвовали только мужчины. К третьему столетию их организации, называвшиеся женскими клубами, действовали на всех континентах. Клубы побуждали женщин и девушек перебираться в города, и столь многие последовали их призывам, что сетования вождей и надсмотрщиков стали доноситься до слуха корпораций. Местные племенные вожди и надсмотрщики получили указание «направляться в города и возвращать своих женщин».

Налеты, чаще всего проводившиеся полицией плантаций при поддержке сил городской милиции корпораций, как правило, отличались крайней жестокостью. Свободные горожане, не привыкшие к тому уровню насилия, что считался нормой на плантациях, яростно сопротивлялись и, защищаясь, сражались вместе с женщинами.

В 61 г. ДНВ в городе Сойесо провинции Эйу рабы, успешно отразив налет полиции с плантации Надами, перешли в наступление на саму плантацию. Полицейские казармы были взяты штурмом и подожжены. Кое-кто из руководства племени присоединился к восставшим, открыв перед ними свои поселения. Другие вместе с хозяевами организовали оборону в Доме на плантации. Женщина-рабыня открыла мятежникам двери арсенала — впервые в

истории колонизации Йеове большая группа рабов получила доступ к настоящему мощному оружию. Последовала резня хозяев, но частично ее удалось сдержать: большинство детей и двадцать мужчин и женщин сумели бежать и на поезде добраться до столицы. Никого из рабов, кто противостоял восставшим, не пощадили.

Из Надами Восстание, которое теперь имело оружие и боеприпасы, перекинулось на три соседние плантации. Племена, объединившись, разбили силы корпорации в короткой яростной битве при Надами. Рабы и вольноотпущенники из близлежащих провинций хлынули в Эйу. Вожди племен, бабушки из поселений и руководители мятежников встретились в Надами и объявили провинцию Эйу свободным государством.

Через десять дней налет бомбардировщиков корпорации и высадка десанта положили конец бунту. Захваченных мятежников подвергли пыткам и казнили. С особенной мстительной жестокостью расправились с Оойесо: оставшихся жителей, главным образом детей и стариков, согнали на городскую площадь и передавили их тяжелыми шахтными рудовозами и бетономешалками. Операцию окрестили «уплотнением почвы».

Победа корпораций оказалась быстрой и легкой, но вслед за ней последовали новые мятежи на других плантациях, убийства семей хозяев, и по всему миру начались стачки рабочего люда из вольноотпущенников.

Волнения не стихали. Немало нападений на арсеналы плантаций и казармы милиции приносили успех; мятежники обзаводились оружием и знали, как пользоваться гранатами и минами. Принцип «бей и беги», в соответствии с которым шла партизанская война в джунглях и на обширных заболоченных пространствах, приносил успех мятежникам. Стало ясно, что корпорации нуждаются в оружии и подкреплении военной силой. Они стали привлекать наемников, которых вербовали в беднейших государствах Уэрела. Но не все из них хранили верность своим нанимателям или умели воевать. Корпорациям вскоре удалось убедить правительство Вое Део, что, послав войска для защиты хозяев на Йеове, оно защитит свои национальные интересы. На первых порах Вое Део без большой охоты исполняло это обязательство, но через 23 года после событий в Налами решило раз и навсегда покончить с мятежом, бросив на Йеове воинский корпус из 45 тысяч вео-

тов (членов наследственной воинской касты) и добровольцев из хозяйского сословия.

Семь лет спустя, когда война подходила к концу, на Йеове нашли свой конец 300 тысяч солдат с Уэрела, многие из них были родом из Вое Део, а многие из касты веотов.

За несколько лет до завершения военных действий корпорации стали вывозить с Йеове своих людей, и к последнему году на планете почти не осталось гражданских лиц из сословия хозяев.

В течение тридцати лет войны за Освобождение часть племен и немало рабов дрались на стороне корпораций, которые, пообещав безопасность и вознаграждение, снабжали их оружием; даже во время Освобождения происходили военные столкновения между соперничающими племенами. После того как корпорации вывели свои военные силы и окончательно покинули планету, в пламени межплеменных войн заполыхал весь Великий континент. Не существовало никакого центрального правительства, пока на многих местных выборах Всемирная партия Абберкама не нанесла решительное поражение Партии Свободы и дала понять, что берется провести первые выборы Всемирного совета. Но во 2-м г. Освобождения она неожиданно рухнула под грузом обвинений в коррупции. Посланники Экумены (приглашенные на Йеове Партией Свободы во время последнего года войны) поддержали Партию Свободы в желании ввести конституцию и организовать выборы. Первые выборы (3-й г. Освобождения) привели к принятию новой Конституции, но ее основополагающие принципы были довольно сомнительны: женщины не имели права голоса, многие внутриплеменные выборы были отданы на откуп исключительно вождям, и немалая часть внутриплеменной иерархии была не только сохранена, но и получила законное основание. И, прежде чем на свободном Йеове сформировалось стабильное общество, планета пережила несколько лет бунтов и мятежей, в течение которых состоялось несколько кровавых межплеменных войн.

Йеове присоединился к Экумене в 11-м г. Освобождения (19 г. ДНВ), и через год прибыл первый посол. Основные поправки к Конституции Йеове, гарантирующие всем лицам старше 18 лет право участия в тайном голосовании и равные права, были приняты в ходе свободных всеобщих выборов в 18-й г. Освобождения.

Глава 1

АНАРРЕС — УРРАС

И была там стена. Не слишком красивая — сложенная из грубого камня, кое-как скрепленного известкой. И невысокая — взрослый запросто мог заглянуть на другую сторону, а уж перелезть через стену способен был даже ребенок. Там, где стена пересекала дорогу, не было никаких ворот; она просто сходила на нет, превращаясь в линию на земле: в символ границы. Впрочем, граница-то как раз была вполне реальной и всеми соблюдалась свято вот уже семь поколений. В жизни людей на этой планете самым важным были именно эта граница и эта стена.

У стены, разумеется, было две стороны. И воспринимать мир — в зависимости от того, с какой стороны находишься, — можно было по-разному, для себя решая, какая их двух сторон внутренняя, а какая внешняя.

Так вот, если смотреть со стороны дороги, ведущей к стене, то получалось, что стена окружает довольно большой кусок пустыни в 60 акров, называемый Космопорт Анаррес, где вдали торчали громадные подъемные краны, виднелась стартовая площадка для космических ракет, располагались три склада, гаражи и унылые бараки для персонала, попросту казармы, где не было ни деревца, ни цветочка, ни детей и где, в общем-то, по-настоящему никто никогда и не жил. Бараки служили чисто карантинным целям — ведь в Космопорт регулярно прилетали ЧУЖИЕ космические корабли с грузом, и тогда стена отделяла от окружающего мира не только сами корабли, но и тех, кто на них прилетал, то есть инопланетян. Таким образом, стена как бы замыкала в кольцо прорвавшуюся сюда Вселенную с ее представителями, оставляя Анаррес вовне и на свободе.

Впрочем, можно было посмотреть на стену иначе, с другой стороны, и тогда получалось, что это Анаррес, весь целиком, окружен стеною, точно огромный концлагерь, и

отрезан ею ото всех прочих миров Вселенной, как бы пребывая в состоянии вечного карантина.

Однако по дороге к стене всегда тянулись люди, останавливаясь у той черты, где по земле проходила граница.

Люди часто приходили сюда из расположенного недалеко города Аббеная в надежде увидеть космический корабль; некоторым же хотелось просто посмотреть на стену. В конце концов, это была единственная четко обозначенная граница на их планете. Нигде более не могли они увидеть знака, гласившего: «Прохода нет!» Особенно тянуло к стене подростков. Они прямо-таки липли к ней, залезали на нее и сидели часами, наблюдая, как огромные краны снимают упаковочные клети с подползающих вереницей тяжелых машин. А если повезет, на взлетном поле мог оказаться даже инопланетный корабль, хотя большие рейсовые грузовики прилетали на Анаррес всего восемь раз в год, и об их прилете не знал заранее никто, кроме членов Синдиката Сотрудников Космопорта, так что, когда мальчишкам на стене удалось на сей раз увидеть-таки корабль с Урраса, они были в восторге, однако продолжали смирно сидеть на своем месте, глядя на приземистую черную башню вдали, среди леса разгрузочных приспособлений и кранов. Наконец из складского помещения вышла какая-то женщина — судя по повязке на рукаве, член Синдиката Охраны — и сказала ребятам:

— Ну все, братцы. На сегодня представление окончено.

Повязка на рукаве — знак власти! — была здесь почти такой же редкостью, как и прибытие космического корабля с другой планеты, и мальчишкам стало еще интереснее, однако тон женщины, хоть и был достаточно мягок, возражений не допускал. Она, безусловно, была здесь НАЧАЛЬНИКОМ и вполне могла позвать на помощь своих ПОДЧИНЕННЫХ. Впрочем, смотреть все равно было практически не на что. Инопланетяне продолжали прятаться в своем корабле, и никакого «представления» не получилось.

Сами охранники тоже явно скучали; их начальнице порой даже, пожалуй, хотелось, чтобы кто-нибудь из местных жителей попытался перелезть через стену, или член инопланетного экипажа спрыгнул бы на землю с трапа своего корабля, или какой-нибудь мальчишка из Аббеная попытался пробраться на космодром, чтобы рассмотреть корабль поближе... Но этого никогда не случалось! А когда

все-таки случилось, охрана оказалась к этому совершенно не готова.

— Это что же, из-за моего корабля у ворот целая толпа собралась? — изумленно спросил у начальницы охраны капитан «Старательного».

Начальница видела, что «у ворот» собрались по крайней мере человек сто. Они просто стояли — так люди стояли когда-то на железнодорожных станциях во времена Великого Голода. Начальница нахмурилась.

— Видите ли... они... э-э-э... протестуют, — сказала она, с трудом подбирая слова чужого языка йотик. — Понимаете? Вы ведь берете ПАССАЖИРА!

— Ну и что? Неужели вы хотите сказать, что они недовольны тем, что мы должны принять на борт какого-то ублюдка? Они что же, остановить его хотят? Или, может, нас?

Слова «ублюдок», которого попросту не существовало в родном языке начальницы охраны, она не поняла и решила, что это просто очередной иностранный термин, обозначающий представителя ее народа, но чем-то это слово ей все-таки не нравилось, точнее, не нравился тон, которым произносил его этот капитан. Впрочем, сам капитан тоже был ей неприятен.

— Вы о себе позаботиться сумеете? — сухо спросила она.

— Еще бы, черт побери! А вы проследите, чтоб загрузка шла быстрее. И пусть поскорее доставят на борт этого ублюдка. То есть пассажира. Нам-то на этих болванов у ворот наплевать, — и капитан одобрительно похлопал ладошкой по висевшей у него на форменном ремне металлической штуковине, похожей на уродливый фаллический символ, и покровительственно посмотрел на невооруженную женщину.

Она холодно на него взглянула: конечно же, она давно знала, что это оружие.

— Погрузка будет закончена через четырнадцать часов, — отчеканила она. — Команде лучше оставаться на борту — так безопаснее. Взлет состоится через четырнадцать часов сорок минут. Если вам понадобится какая-либо помощь, передайте информацию в Наземный Контроль. — И она пошла прочь, пока капитан не успел еще раз досадить ей своим хамским поведением. Сдерживаемый гнев ее прорвался лишь у самой стены. — Эй, очистить дорогу! — грубо крикнула она собравшимся. — Сейчас тяжелые

грузовики пойдут, еще раздавят кого-нибудь. А ну разойдись!

Мужчины и женщины в толпе что-то сердито возражали ей, спорили друг с другом, но уходить и не думали и продолжали торчать у самой дороги, а некоторые даже зашли за стену. Однако проезд все же более или менее освободили. Начальница охраны абсолютно не представляла себе, как следует вести себя с пикетчиками; впрочем, и сами «пикетчики» никаким опытом не обладали. Будучи членами всего лишь человеческого сообщества, но не того, что принято называть «коллективом», люди эти были движимы отнюдь не «массовым сознанием»; здесь было не меньше различных мнений и эмоций, чем самих людей. И они вовсе не предполагали, что кто-то попытается ими командовать; подчиняться командам они вообще не привыкли. Отсутствие этой привычки и спасло жизнь пассажиру космического грузовика.

Кое-кто в толпе был настроен настолько агрессивно, что готов был убить предателя. Иные хотели всего лишь помешать ему покинуть планету или хотя бы выразить ему свое презрение, безусловно, заслуженное. Некоторые же пришли просто посмотреть на «этого дезертира». Однако именно то, что людей собралось так много, и помешало настоящим убийцам приблизиться к своей жертве. Ни у кого из них не было огнестрельного оружия, даже ножи были не у всех. Понятие «насилие» для них носило характер физической расправы, физического превосходства. Они ожидали, что пассажира привезут на машине, возможно, в сопровождении охраны, и поэтому с подозрением посматривали на каждый грузовик, без конца задерживая их у «ворот». Пока они осматривали очередную машину и спорили с ее разъяренным водителем, тот, кого они так ждали, пришел по дороге пешком, в полном одиночестве и беспрепятственно миновал половину пути к кораблю, когда его недруги наконец опомнились. За пассажиром на некотором расстоянии следовали пятеро охранников. Наиболее агрессивные из пикетчиков бросились было вдогонку, но, поняв, что перехватить его не успеют, принялись кидаться камнями, что было совсем уж ни к чему. Беглеца они лишь слегка задели — он успел нырнуть в люк корабля, который тут же был задраен, — но двухфунтовый

осколок кремня угодил одному из охранников прямо в висок. Несчастный упал замертво.

Его тут же потащили назад, не сделав ни малейшей попытки остановить разъяренных пикетчиков, которые продолжали мчаться к кораблю, несмотря на грозные окрики начальницы охраны, белой от пережитого потрясения и гнева. Она кляла их на все корки, выбежав им наперерез, однако они обтекали ее, точно вода камень, и остановились в нерешительности, лишь добежав до корабля. Таинственное молчание огромного межпланетного грузовика, движение кранов, похожих на скелеты гигантских животных, странный вид будто обуглившейся земли и полное отсутствие людей — все это совершенно сбило их с толку. А когда из недр корабля вырвалось облако то ли пара, то ли какого-то газа, пикетчики и вовсе отступили, смущенно и испуганно поглядывая на гигантские сопла, напоминавшие черные туннели. Сперва один, потом второй, а потом и все остальные бросились к воротам. Никто их не останавливал. Через десять минут на поле было чисто. Толпа рассыпалась вдоль дороги, ведущей в Аббенай. Собственно, ничего больше на взлетном поле не произошло.

Зато внутри корабля царила суматоха. Поскольку Наземный Контроль ускорил время взлета, все обычные приготовления пришлось закончить в спешном порядке. Капитан приказал пристегнуть пассажира к креслу и запереть в кают-компании вместе с доктором, чтобы не путался под ногами. Оттуда благодаря экрану наружнего наблюдения они могли, если хотели, наблюдать за последними приготовлениями и взлетом.

Пассажир не отрывал глаз от экрана. Он видел взлетное поле, и стену вокруг космопорта, и далекие туманные горы Не Терас, покрытые зеленоватыми пятнами низкорослых деревьев холум и серебристыми зарослями лунной колючки.

Вдруг знакомый пейзаж метнулся по экрану куда-то вниз. Голову пассажира прижало к креслу, и кресло запрокинулось — точно в кабинете стоматолога, когда лежишь в идиотской беспомощной позе, а тебя еще заставляют открыть пошире рот. Дышать стало трудно, подташнивало, под ложечкой свернулся тугой узел страха. Все тело, казалось, стонало от навалившейся на него непосильной тяжести. «Нет, не сейчас, погодите, я не хочу!..»

Его спасли собственные глаза, по-прежнему устрем-

ленные на экран, а потому сумевшие все увидеть и заставить разум воспринимать происходящее. Безумный страх отступил. На экране появилась странная огромная мертвенно-бледная равнина — сплошной камень. Примерно такой, наверное, виделась Великая Пустыня Даст с вершин обступивших ее гор. Но как он снова там оказался? Ах да, он же летит на воздушном корабле! Точнее, на космическом. Край равнины сверкнул, точно луч света на поверхности моря. Но в пустыне Даст воды никогда не было! Что же он тогда видит? Каменистая равнина превратилась вдруг в огромную, полную солнечного света чашу. Он с изумлением смотрел, как эта «чаша» становится все более плоской, и свет как бы выплескивается из нее через край. Вдруг от «чаши», почти превратившейся в круг, как бы отсекли абсолютно ровный с геометрической точки зрения сегмент. За ним была чернота. И тут же вся картина полностью переменилась: это была уже не «чаша», полная света, а нечто выпуклое, как бы отвергавшее свет, отражавшее его и постепенно превращавшееся в сферу из белого камня, стремительно падавшую куда-то вниз, в черноту. То была его родная планета, Анаррес.

— Я не понимаю, — громко сказал он.

Кто-то ему ответил. Сперва он никак не мог уразуметь, что рядом с ним кто-то есть, мало того, кто-то отвечает на его вопросы, разговаривает с ним — ему казалось, что это просто невозможно, ведь его мир, его планета улетела куда-то во тьму, оставив его в полном одиночестве...

Он всегда этого боялся, боялся больше, чем смерти. Умереть — значит утратить собственное «я», стать таким же, как все остальные, присоединиться к ним. Он же свое «я» сохранил, хотя и утратил все остальное...

Наконец, собравшись с силами, он посмотрел на того, кто был с ним рядом. Разумеется, этот человек был совершенно ему незнаком. Отныне кругом вообще будут одни незнакомцы. И говорил незнакомец на чужом языке — на языке йотик. Однако отдельные слова все же постепенно обретали смысл, и все мелочи вокруг — тоже, только все в целом смысла не имело. Ага, понятно: этот человек что-то говорит о ремнях безопасности, которыми он пристегнут к креслу. Шевек неумело принялся их отстегивать. Кресло тут же само выпрямилось, и он чуть не вылетел из него. Голова кружилась, он с трудом сохранял равновесие. Не-

знакомец почему-то все время спрашивал, не был ли кто-то ранен. О ком это он? «Уверен ли он, что не ранен?» Понятно: вежливая форма языка йотик требует третьего лица. Это он о нем, о Шевеке заботится. Интересно, а чем он мог быть ранен? И при чем здесь камни и скалы? Что за ерунда! Разве можно ранить кого-то — скалой? Шевек оглянулся на экран, на те белые скалистые стены, что уже уплыли в темноту. Но на экране ничего не было видно...

— Со мной все в порядке, — сказал он первое, что пришло в голову.

Однако такой ответ незнакомца отнюдь не удовлетворил.

— Пожалуйста, пойдемте со мной. Я врач.

— Но мне не нужен врач! Я прекрасно себя чувствую.

— Пожалуйста, пойдемте со мной, доктор Шевек!

— Это вы доктор, — сказал Шевек, подумав. — Врач. А я никакой не доктор. Я просто Шевек.

Врач, светловолосый и лысоватый коротышка, даже сморщился от волнения.

— Вам следовало бы все это время находиться в своей каюте, доктор Шевек!.. Опасность инфекции!.. Вы пока не должны вступать в контакт ни с кем, кроме меня... Я две недели занимался дезинфекцией... Неужели все это напрасно? Черт бы побрал этого капитана! Пожалуйста, доктор Шевек, пойдемте со мной, иначе мне придется отвечать...

Шевек видел, что коротышка и впрямь не на шутку расстроен, однако не испытывал ни угрызений совести, ни сочувствия. Впрочем, даже в теперешнем его состоянии, с этим непреходящим ощущением одиночества в душе, для него по-прежнему важен был только один закон, один-единственный общечеловеческий закон, какой он когда-либо признавал: категорический императив.

— Хорошо, — сказал он и встал.

Голова все еще кружилась; почему-то побаливало правое плечо. Он понимал, что корабль давно уже летит, но ощущения движения не было — только странная тишина вокруг, прямо за стенами, абсолютная, пугающая тишина. Этой космической тишиной были полны коридоры с металлическими стенами, по которым врач вел его.

Каюта была небольшая, с какими-то странными бороздчатыми и голыми стенами. Она вызывала в памяти те неприятные воспоминания, о которых ему хотелось на-

всегда забыть. Шевек остановился было на пороге, однако доктор просил, настаивал, и он в конце концов все же вошел.

И сел на койку, больше похожую на полку стеллажа. В голове по-прежнему стоял легкий звон, хотелось спать. Он безо всякого интереса наблюдал за действиями врача. Хотя чувствовал, что должен был бы проявлять любопытство: ведь это первый житель планеты Уррас, первый уррасти, которого он видит в жизни! Нет, он слишком устал. Ему страшно хотелось лечь и уснуть.

В прошлую ночь он даже не прилег — просматривал свои записи. Три дня назад он проводил Таквер и детей в Город Благоденствия и после этого не имел ни одной свободной минуты: то мчался на пункт радиосвязи с Уррасом, то снова и снова обсуждал грядущие планы и возможности с Бедапом и остальными, то сваливалось что-нибудь еще, и все неотложное, и в течение этих трех суматошных дней его не покидало ощущение, что не он пытается доделать все недоделанное, а все эти бесконечные дела управляют им, всей его жизнью, всем его существом, что он давно уже не принадлежит себе. Его собственная воля бездействовала, честно говоря, и не испытывая потребности действовать. Однако это ведь благодаря его воле сейчас ведется столь бурная деятельность, и он по собственному желанию оказался здесь, на этом корабле! Как давно все началось! Годы прошли с тех пор. Пять лет назад, когда в ночной тиши горного Чакара он сказал Таквер: «Я поеду в Аббенай и разрушу все эти проклятые стены!» И даже еще раньше, гораздо раньше — в пустыне Даст, в годы голода и отчаяния, когда он пообещал себе, что отныне будет действовать только по собственному свободному выбору. Следуя этому обещанию, он и попал сюда — куда-то вне времени и пространства, в эту маленькую тюрьму...

Врач внимательно осмотрел его раненое плечо (здоровенный синяк удивил Шевека: он был так напряжен и так спешил, что даже не понял происходившего у ворот Космопорта и не заметил, как в него попал камень), отошел и снова вернулся, держа в руке шприц.

— Я не хочу, — твердо сказал Шевек. Разговорный йотик пока давался ему с трудом, говорил он медленно и по сеансам радиосвязи знал, что произношение его тоже оставляет желать лучшего. Однако грамматику знал не-

плохо, предложения строил правильно, и ему труднее было воспринимать чужую речь на слух, чем выражать собственные мысли.

— Но это же вакцина против кори! — с профессиональной невозмутимостью возразил врач.

— Нет, — сказал Шевек.

Врач задумчиво пожевал губу и спросил:

— А вы знаете, что такое корь?

— Нет.

— Это болезнь. Инфекционная. У взрослых часто протекает очень тяжело. У вас на Анарресе ее нет; когда планету заселяли, были предприняты специальные профилактические меры. А вот на Уррасе она весьма распространена. Для вас она вполне может оказаться смертельной. И не только корь, но и многие другие вирусные инфекции. У вас ведь нет иммунитета. Кстати, вы правша?

Шевек машинально кивнул. С изяществом фокусника врач воткнул иглу в его правое плечо. Шевек покорился и молча перенес эту инъекцию и еще много других. У него теперь не было права ни на подозрения, ни на протесты. Он сам навязал себя этим людям, сам отказался от данного ему от рождения права решать все самому. Теперь у него этого права нет — оно отделилось от него вместе с его планетой, с его миром, с миром Обещания, с миром голого камня.

Врач снова что-то сказал, но он больше его не слушал.

Долгие часы — или дни? — он провел в бездействии, в иссушающей безжалостной пустоте без прошлого, без будущего. Стены окружали его плотным кольцом. За стенами царила тишина. Плечи и ягодицы болели от бесконечных уколов; у него сильно поднялась температура, бреда настоящего, правда, не было, но ему казалось, что он находится как бы в промежуточном состоянии между сознанием и бредом, как бы в лимбе, на ничьей территории. Время остановилось. Собственно, его вообще не было. Теперь Шевек сам стал временем. Стал бегущей рекой, выпущенной из лука стрелой, брошенным камнем... Но не двигался — брошенный камень, зависший посреди полета. Не было ни дней, ни ночей. Врач то выключал свет, то включал его. У постели Шевека на стене висели часы. Стрелка двигалась от одной цифры к другой — всего на циферблате

их было двадцать, — но смысла в этом он никакого не видел.

Проснувшись после долгого, глубокого сна, он прямо перед собой увидел часы и сонно принялся их изучать. Стрелка застыла чуть дальше «3», если считать с цифры «12», как в часах, рассчитанных на 24-часовые сутки; значит, скорее всего сейчас середина дня, далеко за полдень. Впрочем, о каком «полудне» может идти речь на космическом корабле, повисшем в пустоте между двумя мирами? Что ж, в конце концов и здесь нужно соблюдать какое-то время. Столь разумные выводы весьма вдохновили Шевека. Он сел, голова больше не кружилась. Тогда он встал и попробовал сделать несколько шагов. В общем, не шатало, хотя у него было странное ощущение, что подошвы ног не касаются пола. Видимо, в корабле сила тяжести была несколько меньше обычной. Не слишком приятное ощущение — больше всего Шевеку хотелось в данный момент устойчивости, основательности, солидности, достоверности. И в поисках этого он принялся обследовать каюту.

Голые стены, как оказалось, таили в себе множество сюрпризов, которые только и ждали, чтобы их обнаружили: стоило коснуться панели, как появлялся умывальник, или унитаз, или зеркало. Стол, стул, шкафчик, полки... К умывальнику было присоединено несколько совершенно загадочных электроприборов, а вода продолжала течь из крана, пока сам его не закроешь, — никакого ограничительного клапана не было. Шевек решил, что это великий и добрый знак — то ли безграничной веры в человека, то ли уверенности в том, что запасы воды достаточно велики. Решив, что последнее более верно, он вымылся весь и, не обнаружив полотенца, высушил себя с помощью одного из загадочных устройств — оттуда исходила приятно теплая струя воздуха. Не обнаружив собственной одежды, он снова надел то, что было на нем, когда он проснулся: свободные штаны и бесформенную робу — то и другое ярко-желтого цвета в мелкий синий горошек. Он взглянул на себя в зеркало. Мда, зрелище довольно удручающее. Неужели они на Уррасе так одеваются? Он тщетно поискал расческу, ограничился тем, что как следует пригладил волосы руками, и решил, что вполне привел себя в порядок и можно выйти из каюты.

Увы. Дверь была заперта.

Сперва Шевек изумился, потом пришел в ярость — то была слепая ярость, страстное желание совершить насилие. Ничего подобного он никогда в жизни не испытывал. Он терзал неподвижную ручку двери, колотил кулаками по гладкому металлу, потом повернулся и что было силы ударил по кнопке вызова, которой врач предложил ему воспользоваться в случае необходимости. Но ничего так и не произошло. На панели интеркома было еще множество разноцветных кнопок с различными номерами, и Шевек злобно шлепнул ладонью сразу по нескольким. Динамик на стене ожил и сердито пробурчал:

— Кто это, черт возьми, там безобразничает в двадцать второй?..

— Немедленно отоприте дверь! — гневно заорал Шевек.

Дверь отъехала в сторону, и в каюту заглянул врач. При виде его знакомой лысины и желтоватого встревоженного лица Шевек несколько остыл и отступил в темный угол, откуда с возмущением заявил:

— Мою дверь заперли!

— Извините, доктор Шевек... всего лишь мера предосторожности... можно подцепить любую инфекцию... Приходится никого к вам не пускать...

— Не пускать никого ко мне или запирать меня ото всех — это абсолютно одно и то же, — сказал Шевек, глядя на доктора с высоты своего немалого роста светлыми ошалелыми глазами.

— Безопасность...

— Безопасность? А в аквариум вы меня посадить не хотите?

— Не желаете ли пройти в офицерскую кают-компанию? — поспешно спросил доктор примирительным тоном. — Кстати, вы не голодны? А может, хотите одеться? А потом мы прошли бы в кают-компанию и...

Шевек внимательно посмотрел на доктора: узкие синие брюки, заправленные в высокие, удивительно мягкие и гладкие сапожки; сиреневая легкая куртка или блуза спереди на застежке в виде серебряных крючков; у ворота и на запястьях из-под нее выглядывал тонкий трикотажный свитер ослепительной белизны.

— Значит, я не одет? — наконец изумленно спросил Шевек.

— О, конечно! Пижамы, в общем, вполне достаточно... У нас тут, знаете ли, свободно, никаких особых правил этикета... Тем более на грузовом корабле!

— Пижамы?

— Ну да, того, что на вас. В этом спят.

— Спят в одежде?

— В пижаме.

Шевек был потрясен. Он помолчал и спросил:

— А где та одежда, что была на мне?

— Ах, та? Я отдал ее почистить... простерилизовать... Надеюсь, вы не возражаете, доктор Шевек?... — Он пошарил по стене — открылась панель, которой Шевек обнаружить пока не успел, и оттуда вылетело нечто, завернутое в бледно-зеленую бумагу. Врач вынул из свертка старый костюм Шевека, который выглядел теперь чрезвычайно чистым, хотя, похоже, несколько уменьшился в размерах; затем он скомкал бумагу, нажал на другую панель, сунул бумажный комок в открывшееся взору мусорное ведро и неуверенно улыбнулся:

— Прошу вас, доктор Шевек.

— А что стало с бумагой?

— С какой бумагой?

— С зеленой?

— Ах, это! Я ее выбросил.

— Выбросили?

— Ну да, в мусорное ведро. Ее потом сожгут.

— Вы сжигаете бумагу?

— Я, конечно, не совсем уверен... возможно, мусор просто выбрасывают в космос... Я ведь не врач-космонавт, доктор Шевек, летаю не так часто. Мне была оказана честь сопровождать вас, поскольку у меня богатый опыт общения с инопланетянами. Например, с посланниками Земли и Хайна. Кроме того, именно я отвечаю за процесс профилактической вакцинации и адаптации всех инопланетян, прибывающих в А-Йо; впрочем, вы, разумеется, не совсем обычный инопланетянин... не в полном смысле этого слова... — Он смущенно посмотрел на своего собеседника. Шевеку далеко не все было понятно, но его покорила эта тревожно-робкая доброжелательность.

— Да-да, конечно, — сказал он. — Возможно даже, что у нас с вами на Уррасе была одна и та же прапрапрабабка — лет этак двести назад. — Он уже надевал свою привычную одежду и, натягивая через голову сорочку, заметил, как врач сует желтую в синий горошек пижаму в контейнер для мусора. Шевек на мгновение замер, так до конца и не просунув голову в ворот, потом быстро натянул рубашку и заглянул в «мусорное ведро»: там было пусто.

— Эту одежду тоже сожгут?

— Ах, да это же дешевенькая пижама, так сказать, для одноразового пользования... надел и выбросил... сделать новую дешевле, чем стирать ее или чистить...

— Дешевле... — задумчиво повторил Шевек. Он пробовал это слово на вкус — так палеонтолог смотрит порой на какую-нибудь крошечную окаменелость, в которой для него воплощен целый археологический период.

— Боюсь, ваш багаж пропал... во время... вашего поспешного... последнего броска по взлетному полю... Надеюсь, там не было ничего особенно важного?

— Я ничего с собой не взял, — ответил Шевек. Костюм его стал практически белоснежным и действительно несколько подсел, но все же сидел вполне сносно. Приятным было и знакомое прикосновение грубоватой ткани из волокна холум. Он снова чувствовал себя самим собой, прежним. Несколько успокоенный этим, он сел на кровать лицом к врачу и сказал:

— Видите ли, мне понятно, что у вас все иначе, чем на нашей планете. На Уррасе нужно все себе покупать. Поскольку я направляюсь к вам, не имея денег, а, стало быть, не имея и возможности что-либо купить, значит, я должен был что-то принести с собой. Но много ли я мог захватить с Анарреса? И что именно? Одежду? Ну хорошо, я мог бы взять еще два костюма. Но как быть, например, с едой? Разве я мог бы привезти с собой на другую планету достаточно пищи? И на какой срок? Итак, у меня ничего нет, купить я тоже ничего не могу. Если на Уррасе захотят сохранить мне жизнь, то должны все это мне просто дать. Но ведь тогда получится, что я заставляю вас вести себя подобно жителям Анарреса! То есть делиться, давать даром, а не продавать. Так, во всяком случае, мне представляется. Хотя, разумеется, вам совсем необязательно сохранять мне жизнь... Ведь вы уже поняли, что я самый обыкновенный НИЩИЙ!

— О нет! Как вы можете так говорить! Вы наш долгожданный и уважаемый гость! И, пожалуйста, не судите о

нашей планете по команде этого корабля — на грузовиках обычно летают весьма невежественные и ограниченные люди. Вы даже представить себе не можете, какой вам будет на Уррасе оказан прием! В конце концов вы всемирно — нет, всегалактически! — известный ученый! И к тому же наш первый гость с Анарреса. Уверяю вас, все будет совершенно иначе, и вы сами в этом убедитесь, как только мы прибудем в Пейер Филд.

— Не сомневаюсь. Вот в этом я совершенно не сомневаюсь, — тихо ответил Шевек.

Перелет с Анарреса на Уррас обычно занимал четверо с половиной суток, однако на этот раз «Старательному» еще пять суток пришлось провести на орбите: пассажиру необходимо было как следует адаптироваться к новым условиям. Шевек и Кимое, сопровождавший его врач, провели это время в бесконечных прививках и беседах, тогда как капитан «Старательного» проклинал все на свете. Встречаясь с Шевеком, он говорил с ним как-то странно, смущенно-пренебрежительно. И Кимое, готовый объяснить все на свете, тут же выдал свое толкование подобного поведения:

— Видите ли, наш капитан привык воспринимать иностранцев и инопланетян как существа низшего порядка. Он не считает их «настоящими» людьми.

— Да-да, я помню, что Одо назвала это «созданием псевдовидов», но полагал, что на Уррасе уже не популярны подобные взгляды — ведь у вас так много различных языков и национальностей, и, наверное, немало гостей из иных солнечных систем...

— Да нет, последних как раз очень мало — полет из одной галактики в другую слишком дорог и долог. Надеюсь, правда, так будет не всегда, — прибавил Кимое, с льстивой улыбкой взглянув на Шевека, однако Шевек намека не понял. Он думал о своем.

— А помощник капитана, похоже, меня просто боится, — сказал он.

— О, в данном случае это примитивный религиозный фанатизм. Он из тех, кто неуклонно верит в богоявление. Каждую ночь исступленно молится перед заутреней. Совершенно косное мышление!

— Значит, он воспринимает меня... как?

— Как опасного атеиста.

— Атеиста!! Но почему?

— Как? Потому что вы последователь учения Одо, потому что вы с Анарреса — где, как известно, веры не существует.

— Не существует веры? Неужели вы действительно считаете, что у нас нет веры? Что же мы там, каменные?

— Я имею в виду государственную религию, доктор Шевек — с Церковью, с Символом Веры... — легко поправился Кимое. У него была типичная для врача доброжелательная уверенность в собственной правоте, однако Шевек постоянно умудрялся эту уверенность поколебать. Стоило ему задать два-три довольно-таки неуклюжих вопроса, и Кимое оказывался в тупике, не находя ответа. У каждого из собеседников имелись к тому же вполне определенные установки, совершенно неведомые другому. Например, Шевеку казалась весьма странной концепция превосходства одной расы над другой. Он знал, что подобная концепция занимает важное место в мировоззрении урраст; в их языке слово «выше» часто употреблялось как синоним слова «лучше». Он не раз сталкивался с этим даже в трудах по физике и математике; например, в тех случаях, когда анаррести сказал бы: «Ближе к центру». Но какое отношение имело понятие «быть выше кого-то» к понятию «быть чужеземцем»? Подобных загадок возникали сотни!

— Понятно, — сказал он, отчасти удовлетворившись ответом Кимое. — Вы не допускаете, что вера, религия может существовать вне церквей. Как не допускаете и существования иных моральных установок, не вписывающихся в рамки ваших законов. А знаете, я ведь так и не сумел до конца это понять, сколько ни искал ответ в книгах ваших авторов.

— Ну, в наше время всякий просвещенный человек, конечно же, допускает...

— А словари только путаницу вносят, — продолжал, словно не слыша его, Шевек. — В языке правик слово «религия» вообще употребляется редко. Нет, вы бы сказали: «В исключительных случаях». В общем, нечасто. Разумеется, это одна из Категорий Познания, возможно, Четвертая. Мало кто из людей способен воспользоваться всеми двенадцатью категориями теоретического естествознания.

Однако эти типы познания созданы на основе естественных возможностей человеческого разума, так что ни в коем случае нельзя всерьез считать, будто обитатели Анаррeса даже потенциально не способны к религиозным верованиям. По-моему, у нас вполне успешно занимались, например, физикой, хотя мы были практически оторваны от тех фундаментальных знаний, которые остальное человечество получило в результате своего проникновения в космос?

— О, я вовсе не то хотел...

— В ином случае нас действительно стоило бы считать «псевдовидом»!

— О, разумеется! Всякий образованный человек сразу бы догадался... Пилоты на этом корабле — просто невежественные люди...

— Но неужели только религиозным фанатикам разрешено выходить в космос?

Это был очередной вопрос, поставивший Кимое в тупик. Подобные разговоры становились порой невыносимо утомительными для маленького доктора и не приносили удовлетворения Шевеку. И все же для обоих они были чрезвычайно интересны! Для Шевека это была единственная возможность предварительного знакомства с тем новым миром, что ждал впереди. Пространство корабля и разум Кимое в данном случае составляли весь его микрокосм. На борту «Старательного» не было книг, офицеры Шевека избегали, а остальным членам команды вообще было строго запрещено показываться ему на глаза. Что же касается умственных задатков доктора Кимое, то, несмотря на безусловную образованность и доброжелательность, в мыслях у него царила чудовищная неразбериха, нагромождение нелепых интеллектуальных артефактов, в которых разобраться было не менее сложно, чем в бесчисленных бытовых приспособлениях, которыми корабль был битком набит и которые Шевек со временем стал находить даже забавными. Здесь всего было так много, и все такое красивое, современное и остроумно сделанное, что он не мог им не восхищаться. Однако «обстановку» в душе и мыслях доктора Кимое Шевек отнюдь не находил столь же удобной для жизни. Мысли Кимое, казалось, просто не способны были выстраиваться по прямой; что-то он вынужден был обойти кругом, другого вообще избегать, а в

итоге упирался лбом в очередную непробиваемую стену. Подобные «стены» окружали все его мысли и представления, хотя сам он, похоже, даже не подозревал об их существовании. Зато у собеседника возникало ощущение, что он постоянно за ними прячется. Лишь однажды Шевеку удалось действительно «пробить брешь» в такой «стене».

Он всего лишь, помнится, спросил, почему на корабле нет женщин, и Кимое ответил, что водить грузовой корабль не женское дело. Чтение многочисленных исторических трудов и неплохое знание работ Одо дали Шевеку возможность представить себе тот контекст, в котором можно было понять незыблемую логику данного ответа, и он больше ничего спрашивать не стал. Однако Кимое тут же сам задал ему вопрос:

— А правда, доктор Шевек, что женщины в вашем обществе пользуются абсолютно теми же правами, что и мужчины?

— Зачем же заставлять простаивать зря отличные «рабочие механизмы»! — пошутил Шевек. Помолчал и засмеялся — настолько нелепой показалась ему мысль, явно заставившая Кимое задать этот вопрос.

Кимое поколебался, в очередной раз выбирая обходной путь среди различных препон и запретов, потом вдруг вспыхнул и забормотал смущенно:

— О нет... я имел в виду не половые отношения... Очевидно, вы... они... Я имел в виду социальный статус ваших женщин.

— «Статус» — это примерно то же самое, что «класс»?

Кимое безуспешно попытался объяснить Шевеку, что такое «статус», потом вернулся к исходной теме:

— Неужели у вас действительно не существует подразделения работы на «мужскую» и «женскую», доктор Шевек?

— Пожалуй, нет. По-моему, это чисто механическое разделение труда. Вы со мной не согласны? Человек выбирает себе занятие, работу по своим интересам, по призванию, в соответствии, наконец, со своими физическими возможностями и выносливостью — какое ко всему этому отношение имеют половые различия?

— Мужчины физически сильнее, — уверенным тоном заявил Кимое.

— Да, часто. И крупнее женщин. Но ведь существуют машины! И даже если б их не было, даже если б мы долж-

ны были копать землю лопатой и переносить тяжести на собственной спине, мужчины, возможно, работали бы быстрее, зато женщины — дольше, поскольку они выносливее... Ох, частенько мне хотелось обладать той же выносливостью и тем же упорством, какими обладают женщины!

Кимое уставился на него, явно потрясенный до глубины души. Он даже о вежливости забыл.

— Но утрата... женственности... изящества... деликатности... Утрата мужского самоуважения... Вы же не станете притворяться, что в вашей области есть равные вам среди женщин? В физике, в математике? В интеллектуальной сфере в целом? Не станете же вы утверждать, что готовы низвести себя до их уровня?

Шевек сел в мягкое удобное кресло и окинул взглядом ставшую уже привычной офицерскую кают-компанию. На экране все так же светился на фоне черного неба сегмент яркого, зелено-голубого шара — Уррас. Он вдруг почувствовал себя совершенно чужим здесь, среди ярких красок изысканной обтекаемой мебели, мягкого скрытого освещения, изящных игровых столов, телевизионных экранов, пушистых ковров на полу...

— Мне вообще-то не свойственно притворяться, Кимое, — сухо заметил он.

— О, простите!.. Разумеется, я и сам знавал весьма неглупых женщин, которые способны были мыслить не хуже мужчин... — Кимое почти кричал и явно понимал, что вот-вот сорвется. А ведь он ломится в открытую дверь, подумал Шевек, потому и нервничает...

Он быстро сменил тему разговора, однако мысли продолжали крутиться вокруг затронутого вопроса. Должно быть, в общественной жизни Урраса проблема превосходства и неполноценности занимает центральное место. Если для того, чтобы уважать себя, даже Кимое, врачу, необходимо считать половину человеческого рода существами низшего порядка, то как же чувствуют себя на Уррасе женщины? Как им удается достичь самоуважения? Или они, в свою очередь, тоже презирают мужчин? Считают их существами низшего порядка? И как все это отражается на взаимоотношениях двух полов? Из трудов Одо Шевек узнал, что двести лет назад основными институтами, регулирующими сексуальные отношения на Уррасе, были «брак» — некий союз партнеров, узаконенный и установленный правовыми и экономическими нормами, — и «проституция», по сути дела, очень широкий термин, обозначавший совокупление за деньги, то есть на основе «купли-продажи», все тех же экономических отношений. Одо вынесла суровый приговор обоим этим институтам, однако сама была замужем. Впрочем, за двести лет эти институты вполне могли претерпеть существенные изменения. Если он собирается жить на Уррасе и среди уррасти, то лучше все это выяснить сразу.

Неужели даже секс, бывший для него источником утешения, радости и веселья в течение стольких лет, буквально через несколько дней может стать запретной территорией, где следует пробираться осторожно, с оглядкой, сознавая свое невежество? Да, именно так. Первое предостережение он уже получил — не только благодаря мимолетной вспышке раздражения у Кимое; скорее этот эпизод внезапно прояснил его собственные прежние неясные догадки. Впервые оказавшись на борту космического корабля, в течение долгих часов горячечного отчаяния он неотвязно ловил себя на одной и той же надоедливой мысли: до чего же мягка и удобна его постель! А ведь с виду самая обычная жесткая койка. Матрас подавался под его тяжестью с ласкающей тело упругостью. Он буквально льнул к телу, причем так настойчиво, что Шевек не в состоянии был отвлечься от этого, даже проваливаясь в сон. И удовольствие, и раздражение, которые этот матрас вызывал у него, носили явно эротический характер. Теми же свойствами обладал и сушильный аппарат, из которого исходил нежно ласкающий тело поток теплого воздуха. «Сушилка» тоже чуть-чуть разражала Шевека. А дизайн кресел и прочей мебели в кают-компании? Все эти изящные округлости и изгибы, мягкость подушек, гладкость поверхностей, ласковое прикосновение обивки — разве в этом мало было скрытой эротики? Шевек достаточно хорошо знал себя и был уверен: несколько дней без Таквер даже в условиях сильного стресса не способны довести его до того, чтобы ему в изгибе каждой столешницы мерещилась женская фигура. По крайней мере если рядом действительно не будет женщин.

Неужели все кабинетные ученые на Уррасе дали обет безбрачия?

Он сдался, так ничего для себя и не решив; ничего, он непременно вскоре выяснит все это.

Буквально перед самой посадкой, когда Шевек пристегнул ремни безопасности, к нему забежал Кимое — проверить, как чувствует себя его подопечный после заключительной прививки — от чумы, — которая вызвала у Шевека некоторое недомогание.

Кимое протянул ему очередную пилюлю и сказал:

— Это поможет вам легче перенести посадку.

Шевек стоически проглотил лекарство. Кимое быстро сложил свои инструменты и вдруг заговорил торопливо и сбивчиво:

— Доктор Шевек, я не уверен, что мне позволят сопровождать вас на Уррасе, хотя это, в общем, возможно... однако, если у нас не будет более возможности поговорить, я бы хотел сказать вам сейчас... что я... что путешествие с вами было для меня великой честью! Не потому... но потому, что я начал уважать... ценить... просто по-человечески ценить... вашу доброту, истинную доброту...

Шевек не нашел ничего лучшего — голова после прививки дико болела, — как пожать руку Кимое и от всей души предложить:

— Так давай снова встретимся, брат мой!

Кимое вздрогнул, нервически стиснул ему руку — по обычаю уррасти — и поспешил прочь. Уже после его ухода Шевек понял, что говорил на языке правик, которого Кимое не знает, и назвал его «аммар», то есть «брат».

Динамик на стене изрыгал бесчисленные приказы. Пристегнутый ремнями к креслу, Шевек слушал их, чувствуя, как усиливается дурнота: корабль пошел на посадку. Под конец он почти ничего не соображал и надеялся только, что его не вырвет; он так и не понял, сели они уже или нет, когда в каюту снова поспешно вошел Кимое и потащил ничего не соображавшего Шевека в кают-компанию. То место, где до сих пор на экранах светилась в кольце опаловых облаков планета Уррас, было пусто. Зато кают-компания была битком набита народом. Интересно, вяло подумал Шевек, откуда они все появились? Он был приятно поражен тем, что вполне способен не только стоять прямо, но даже ходить, бормотать слова приветствия и пожимать чьи-то руки. Пока что он решил сосредоточиться исключительно на этом, пропуская мимо ушей практически

все, что говорилось вокруг. Голоса, улыбки, руки, незнакомые слова, чьи-то имена... Без конца повторялось его имя: доктор Шевек, доктор Шевек... Потом толпа незнакомцев повлекла его куда-то по крытой аппарели; голоса вокруг звучали очень громко, усиленные гулким эхом. Потом гул голосов стал тише, и лица Шевека коснулся ветерок — воздух чужой планеты.

Он поднял голову, сделал еще шаг, споткнулся и чуть не упал: он стоял на твердой земле. И в это мгновение — между началом шага и его завершением — он успел подумать о смерти. Но шаг был завершен: Шевек прибыл на другую планету.

Вокруг расстилался бескрайний серый вечер. Голубые огни, тая в туманной дымке, горели где-то на дальнем краю огромного поля. Воздух, касавшийся его лица и рук, проникавший в ноздри, в горло, в легкие, был холодным и влажным, но не неприятным; и хотя в нем чувствовалось множество различных, неведомых Шевеку запахов, он не казался ему чужим — воздух планеты, бывшей колыбелью его народа, воздух его древней родины.

Кто-то поддержал Шевека под локоть. Мигнули яркие огни — фоторепортеры спешили отснять сцену прибытия дорогого гостя для новостных передач: еще бы, первый человек с луны! Он хорошо смотрелся в кадре — высокий и хрупкий, окруженный знаменитостями, профессорами. Тонкое лицо, густая растрепанная шевелюра, заносчиво задранный подбородок. Фотографам легко было запечатлеть каждую черточку его лица — он, возвышаясь над остальными, тянул шею так, словно пытался увидеть что-то поверх ослепительных вспышек, в небесах, затянутых дымкой тумана, сквозь который почти не видны были звезды и его родная «луна», с которой он прилетел. Журналисты пытались прорваться сквозь кольцо полицейских: «Не будет ли краткого заявления для прессы, доктор Шевек? Хотя бы несколько слов... В столь важный исторический момент...» Но полицейские стояли стеной. Те, кто был с ним рядом, повлекли его куда-то и быстренько усадили в поджидавший их лимузин. Фотографии в газетах получились просто отменные: высокий, длинноволосый инопланетянин, на лице странное выражение — смесь узнавания и печали...

Дома столицы вздымались в тумане, точно ступени гигантской лестницы с мерцающими неяркими огоньками. Над головой светящимися ревущими лентами проносились поезда. Улицы были точно глубокие коридоры с массивными стенами из камня и стекла; в «коридорах» суетились машины, трамваи... Камень, сталь, стекло, электрические огни. И ни одного лица!

— Это Нио Эссейя, доктор Шевек. Мы решили, что для начала не стоит выставлять вас на обозрение толпе любопытных. Мы поедем прямо в Университет.

В темноте рядом с ним на мягких подушках автомобильных сидений оказалось пять человек. Все что-то объясняли ему, рассказывая о тех достопримечательностях, мимо которых они проезжали, однако из-за тумана Шевек так и не разобрался, которое из громадных, точно плывущих в сумеречном свете зданий Верховный Суд, а которое Национальный Музей, и где Совет Директоров, а где Сенат. Они проехали по мосту над какой-то широкой рекой, точнее, эстуарием. Миллионы огней Нио Эсейи, точно светлячки, дрожали на темной воде. Потом дорога стала темнее, туман сгустился, водитель сбавил скорость. Фары высвечивали перед ними плотную стену тумана, которая будто отступала под натиском автомобиля. Шевек сидел, чуть наклонившись вперед и глядя перед собой. Взор его не был, впрочем, сосредоточен на чем-то конкретном, как и мысли, хотя выглядел он довольно мрачным и очень напряженным; остальные переговаривались вполголоса, уважая его молчание.

Что являла собой та плотная темная полоса, что непрерывно тянулась, скрытая туманом, вдоль дороги? Может быть, деревья? Неужели с тех пор, как они выехали из города, они едут среди деревьев? В голову пришло чужое слово «лес». Вряд ли они могли прямо из столицы попасть в пустыню. Деревья стеной обступали дорогу с обеих сторон — на следующем спуске с холма и на следующем подъеме; вокруг них в тумане шумел и покачивался лес, сплошь покрывавший всю планету; и в этом лесу, где-то в самой его глубине, замерла в ожидании иная жизнь, множество жизней, множество живых существ, живая темная листва, шелестящая на ночном ветерке... Шевек сидел, погруженный в собственные мысли без остатка, когда машина вдруг вынырнула из окутывавшего речную долину тумана, и на

него из темноты, из придорожных кустов впервые на мгновение глянуло чье-то лицо.

Лицо не было похоже на человеческое. Очень длинное, с его руку до плеча, и белое, как у призрака. Из отверстий, видимо, служивших существу носом, вылетали облачка пара, и еще там — это впечатлило его больше всего, хотя ошибиться он не мог! — был глаз! Огромный, темный, печальный. А может, циничный... Увиденный мгновенно в свете фар.

— Кто это? — спросил потрясенный Шевек.

— Осел, по-моему, а что?

— Животное?

— Ну да, животное. Господи! У вас ведь там крупных животных вообще нет, верно? Я и забыл!

— Осел — это вроде лошади, — пояснил кто-то еще. И третий человек авторитетно заключил:

— Между прочим, это и была лошадь. Таких крупных ослов не бывает!

Им хотелось поговорить с ним, но Шевек их уже не слушал. Он думал о Таквер. Интересно, что бы она прочла в мимолетном и глубоком взгляде темного глаза неведомого существа? Она была уверена, что все живое связано между собой, и наслаждалась идеей своего родства с рыбами в лабораторных аквариумах, точно пыталась обрести опыт существования вне своей человеческой сущности. Таквер сразу поняла бы, что и как ответить этому глазу, глянувшему из темноты под деревьями...

— Впереди Йе Юн. Там вас ожидает целая толпа встречающих, доктор Шевек, в том числе Президент и несколько Директоров, а также, разумеется, Канцлер и прочие руководящие лица государства. Но если вы устали, то со всеми церемониями мы постараемся покончить как можно быстрее.

С церемониями покончили через несколько часов. Потом Шевек так и не смог как следует припомнить, что же они собой представляли. Его буквально вынесло из маленькой темной коробки — их автомобиля — в значительно большую, просто огромную и ярко освещенную коробку, полную людей. Их там были сотни — в помещении с золотистым потолком и хрустальными светильниками. Его представили всем по очереди. Все уррасти были ниже его ростом и почему-то лысые. Даже женщины, которых было

совсем не много. Он не сразу догадался, что они, видимо, следуя здешнему обычаю или моде, начисто сбривают со своих тел и голов всякую растительность — мягкие, пушистые волосы, свойственные его расе. Отсутствие волос они заменяли великолепной одеждой, самых разнообразных цветов и покроя. Женщины были в длинных платьях до полу; груди практически обнажены, а талия, шея и голова украшены драгоценностями и кружевами. Мужчины были в брюках и пиджаках или мундирах красного, синего, фиолетового, золотого, зеленого цветов; из разрезов на рукавах выглядывали пышные кружева. Некоторые мужчины были одеты в долгополые камзолы алого, темно-зеленого или черного цвета, из-под которых виднелись белые чулки на серебряных подвязках. Еще одно слово из языка йотик всплыло в памяти Шевека — он им практически никогда не пользовался, хотя ему очень нравилось, как оно звучит: «великолепие». Эти люди действительно были ВЕЛИКОЛЕПНЫ. Произносили великолепные речи. Президент, человек со странными холодными глазами, предложил великолепный тост: «За начало новой эры братских отношений между нашими планетами-близнецами и за предвестника этой эры, нашего дорогого и высокочтимого гостя, доктора Шевека с планеты Анаррес!» Президент Университета разговаривал с Шевеком очаровательно; Председатель Совета Директоров разговаривал с ним серьезно. Затем Шевек был представлен послам, космонавтам, физикам, политикам — десяткам людей, каждый из которых являлся обладателем длинного титула и множества регалий, причем почетные титулы следовали как до их собственного имени, так и после него; все они что-то говорили Шевеку, и он что-то им отвечал, однако же потом совершенно не помнил, что говорил хотя бы один из них, и хуже всего помнил, что именно говорил он сам. Глубокой ночью он обнаружил, что идет в сопровождении небольшой группы людей под теплым дождиком через какой-то парк или сквер. Под ногами приятно пружинила живая трава: ощущение было знакомым — он вспомнил, как ходил по траве в Треугольном парке в Аббенае. Это ожившее воспоминание и быстрое прохладное прикосновение ночного ветерка пробудили его. Душа выползла наконец из той норы, где пряталась все последнее время.

Сопровождавшие Шевека люди привели его в какое-то помещение, в «его», как они объяснили, комнату.

Комната была очень большая — метров десять в длину, и не разделена никакими перегородками или ширмами. Те трое мужчин, что по-прежнему оставались при нем, были, видимо, его соседями. Комната была очень красивая; одна стена у нее почти сплошь состояла из окон, каждое из которых было отделено от соседнего изящной колонной, разветвлявшейся наверху, точно дерево, образуя над самим окном легкую арку. На полу лежал темно-красный ковер, а в дальнем конце комнаты в открытом очаге горел огонь. Шевек пересек комнату и остановился у огня. Он никогда еще не видел камина, не видел, чтобы деревья сжигали ради тепла, однако удивляться у него уже не было сил. Он протянул руки к благодатному теплу и присел у камина на скамью из полированного мрамора.

Самый молодой из сопровождавших Шевека людей тоже сел у огня напротив него. Остальные двое все еще о чем-то увлеченно беседовали — речь шла о физике, но Шевек даже не пытался вникнуть в суть их рассуждений. Молодой человек напротив тихо спросил:

— Интересно, что вы сейчас чувствуете, доктор Шевек?

Шевек вытянул ноги и наклонился вперед, чтобы тепло очага коснулось и его лица.

— Тяжесть, — сказал он.

— Тяжесть?

— Ну, возможно, силу тяжести. Собственный вес. А может, просто устал.

Он взглянул на своего собеседника, но в отблесках пламени лицо молодого человека видно было неясно, лишь сверкала золотая цепь у него на шее, да рубиново светилась нарядная блуза.

— Простите, я не знаю, как вас зовут...

— Сайо Пае.

— Да, конечно! Пае! Я прекрасно знаю ваши работы о Парадоксе. — Слова почему-то давались ему с трудом, и говорил он, точно во сне.

— Здесь есть один бар... — сообщил Пае. — Преподаватели и аспиранты имеют право покупать спиртное в любое время. Не хотите ли чего-нибудь выпить, доктор Шевек?

— С удовольствием! Воды.

Молодой человек исчез и вскоре появился вновь со ста-

каном воды в руке. Остальные двое также присоединились к ним у камина. Шевек жадно выпил воду и продолжал сидеть, тупо уставившись на пустой стакан в руке — хрупкую, изящной формы вещицу, в золотом ободке которой дрожали отблески пламени. Он каждой клеточкой своего существа ощущал, как относятся к нему эти трое — покровительственно, уважительно, СОБСТВЕННИЧЕСКИ.

Он поднял голову и по очереди посмотрел на каждого. Все выжидающе смотрели на него.

— Ну что ж, вот вы меня и заполучили, — сказал он и улыбнулся. — Заполучили своего анархиста? Ну, и что же вы намерены со мной делать?

Глава 2

АНАРРЕС

В квадратном окне, прорубленном высоко в белой стене, виднелось только ясное синее небо. И в самом центре этого синего квадрата — солнце.

В комнате было одиннадцать малышей, в основном по двое — по трое рассаженных в мягкие просторные «манежи», где они сейчас дремали, навозившись всласть. «На свободе» оставались лишь двое самых старших — один, пухленький, спокойный, активно обследовал вешалку, второй, светловолосый, задумчивый, большеголовый, сидел в квадрате солнечного света и внимательно следил за солнечным лучом. В прихожей почтенная седовласая матрона с единственным зрячим глазом беседовала с высоким печальным мужчиной лет тридцати, который рассказывал ей, что мать их ребенка получила назначение в Аббенай и хочет, чтобы мальчик остался здесь.

— Так, может, пусть он здесь и ночует? А, Палат? — спросила женщина.

— Да, наверное, так будет лучше. Сам-то я в общую спальню переезжаю.

— Ничего, не волнуйся. Тут ему все знакомо, он ничего и не заметит. Мне кажется, в Центре по Распределению Труда и тебе вскоре подыщут назначение в Аббенай. Вы ведь с Рулаг партнеры и оба хорошие инженеры...

— Да, но она... Понимаете, в ней лично заинтересован

Центральный Институт Инженерных Исследований. А я, видимо, для них не гожусь... Рулаг предстоит большая работа...

Матрона с понимающим видом кивнула и вздохнула.

— Даже если это и так... — начала было она энергично и тут же смолкла.

Взгляд мужчины остановился на большеголовом малыше, который отца пока не заметил: слишком занят был созерцанием солнечного луча. Толстячок тем временем успел подобраться к нему; двигался он довольно неуклюже — он описался, и ему мешал мокрый и тяжелый подгузник. Вообще-то он подполз к товарищу просто от скуки, желая поиграть, но, оказавшись в квадрате солнечного света и почувствовав тепло, он тяжело плюхнулся на пол рядом с худеньким большеголовым малышом и вытеснил того в тень.

Созерцательное восхищение, владевшее до сей поры светловолосым мальчиком, тут же сменилось гневом. С яростным воплем «Уходи!» он решительно оттолкнул толстячка.

Воспитательница тут же вмешалась, сделав большеголовому замечание:

— Нельзя толкаться, Шев.

Светловолосый мальчик встал. Лицо его пылало от солнца и возмущения. Ползунки сползли с плеч и чуть не падали на пол.

— Мое! — заявил он пронзительным, звенящим голоском. — Мое солнышко!

— Не твое, — спокойно и уверенно возразила воспитательница. — Ничего твоего тут нет. Тут все общее, для всех. И солнышко для всех. Солнышком со всеми нужно делиться. А если не будешь делиться, то и сам не сможешь пользоваться. — И она, подхватив светловолосого малыша, мягко, но решительно усадила его на пол довольно далеко от солнечного пятна.

Толстячок равнодушно наблюдал за происходящим. Зато большеголового такая несправедливость потрясла до глубины души.

— Мое солнышко! — возмутился он и разразился гневными слезами.

Отец взял его на руки и сказал:

— Ну ладно, Шев, успокойся, хватит. Ты же знаешь, что нельзя все забирать себе. Да что с тобой такое? — Голос у

него был тихий и чуть дрожал, словно он и сам с трудом сдерживал слезы, а уж его худенький, высокий, светловолосый сынишка ревел вовсю.

— Некоторым все в жизни непросто дается, — сочувственно вздохнула старая женщина, глядя на них.

— Можно я его прямо сейчас домой возьму? Понимаете, наша мама сегодня вечером уезжает...

— Конечно, бери. Надеюсь все же, что вскоре и ты получишь назначение в Аббенай, вот вы снова и будете все вместе. — Воспитательница подхватила толстячка с пола и привычным движением пристроила себе на бедро. Лицо ее было печальным, однако единственный глаз весело подмигнул большеголовому малышу: — До свидания, Шев, дорогой мой! Завтра утром придешь, и мы с тобой в грузовик и шофера поиграем, хорошо?

Но мальчик еще не простил ей обиды и на нее даже не посмотрел. Он рыдал, прижимаясь к отцу, обхватив его за шею и пряча лицо от солнышка, так несправедливо у него отнятого.

В тот день для репетиции оркестру понадобилась вся сцена, танцевальная группа скакала в зале учебного центра, и той небольшой группе, что занималась развитием речи, то есть училась говорить и слушать других, пришлось перебраться в мастерскую, где дети расселись кружком прямо на полу. Первым выступать вызвался восьмилетний малыш, долговязый, с длинными руками и ногами. Он стоял, вытянувшись в струнку, — так прямо обычно держатся только физически крепкие и здоровые дети. Его неопределившееся еще личико сперва чуть побледнело от волнения, потом вспыхнуло румянцем. Он выжидал, когда остальные успокоятся и будут готовы его слушать.

— Ну, Шевек, начинай, — сказал преподаватель.

— У меня есть одна идея...

— Громче, — велел ему преподаватель, коренастый молодой человек лет двадцати с небольшим.

Мальчик растерянно улыбнулся.

— Видите ли, я вот что подумал... Скажем, вы кидаетесь камнями. В дерево, например. Кинули камень, и он должен долететь и удариться о дерево. Правильно? Но в том-то и дело, что долететь он не может! Потому что... Можно

мне взять грифельную доску? Смотрите: вот вы, а вот дерево, — он быстро чертил на доске, — ну, то есть как будто дерево, а вот камень — видите? — на середине пути от вас к дереву? — Дети захихикали, поскольку Шевек довольно похоже изобразил смешное дерево-холум, и он тоже улыбнулся. — Чтобы попасть в дерево, камень должен был сперва пролететь это расстояние, верно? А потом еще лететь и оказаться на середине следующего отрезка пути, то есть вот здесь. Получается, что не важно, как далеко камень уже пролетел — всегда найдется такая точка, где значение имеет только время, проведенное им в полете, и точка эта всегда находится посредине отрезка, заключенного между последней точкой на пути камня к дереву и конечной, то есть самим деревом...

— Ты считаешь, что нам это интересно? — прервал его преподаватель, обращаясь не к Шевеку, а к остальным детям.

— А почему все-таки камень никак не может долететь до дерева? — спросила девочка лет десяти.

— Потому что ему всегда остается пролететь еще как бы вторую половину оставшегося пути, — сказал Шевек. — Она ему всегда еще как бы ПРЕДСТОИТ... поняла?

— А может, ты попросту не слишком хорошо прицелился? — с натянутой улыбкой спросил преподаватель.

— Это не важно, как прицелиться! Камень просто НЕ МОЖЕТ долететь до цели, вот и все.

— Кто тебе это сказал?

— Никто. Я вроде бы сам это УВИДЕЛ. По-моему, на самом деле, камень...

— Довольно.

Остальные дети, до того споривщие и болтавшие, почему-то вдруг притихли. Светловолосый мальчик умолк, вид у него был испуганный и обиженный.

— Речь — это процесс взаимный, искусство общения, искусство сотрудничества. А ты хочешь говорить один, то есть проявляешь обыкновенный эгоизм.

Из зала, где репетировал оркестр, доносилась негромкая веселая музыка.

— Кроме того, хотя сам ты этого пока не понимаешь, ты вовсе не вдруг и не случайно до всего этого «додумался». Я, например, читал нечто очень похожее в одной книжке...

Шевек так и впился в него взглядом:

— В какой? А она здесь есть?

Преподаватель не выдержал и вскочил. Он был в два раза выше и в три раза тяжелее своего оппонента; по лицу его было явственно видно, что он этого мальчишку терпеть не может, однако угрозы в его поведении не чувствовалось — всего лишь желание поддержать свой авторитет, слегка поколебленный разраженной реакцией на странные речи малыша.

— Нет! Здесь ее нет! И перестань думать только о себе! — Он сдержался и сказал уже спокойнее, «менторским» тоном: — Вот вам, дети, пример того, чем мы СОВЕРШЕННО НЕ ДОЛЖНЫ заниматься на уроках по развитию речи. Речь — это прежде всего взаимный обмен, а Шевек пока не готов понять это, как и большинство из его сверстников из младшей группы, потому присутствие его на наших уроках крайне нежелательно, ибо нарушает нормальный учебный процесс. Ты ведь и сам это чувствуешь, Шевек, верно? Я бы предложил тебе поискать другое занятие, более соответствующее твоему теперешнему уровню развития.

Больше никто не сказал ни слова. Тишина, нарушаемая лишь звуками музыки из зала, тяжело повисла в мастерской. Шевек отдал преподавателю грифельную доску, выбрался из круга учеников и вышел в коридор. Закрыв за собой дверь, он остановился и услышал, как дети принялись под руководством преподавателя излагать по очереди только что выдуманную дурацкую историю с продолжением. Шевек прислушался к оглушительным ударам своего сердца; в ушах у него звенело — но это были вовсе не звуки цимбал: так всегда звенит в ушах, когда очень стараешься не заплакать; он это уже несколько раз за собой замечал. Ему этот звон был неприятен; и думать о том камне и дереве тоже не хотелось, так что он постарался переключиться на мысли о своем излюбленном Квадрате. Он был сделан из одних чисел, а числа всегда такие спокойные и надежные. Когда Шевек находился в затруднительном положении, он всегда мог уйти в мир цифр и чисел — уж они-то недостатков не имели. Впервые он представил себе этот Квадрат уже довольно давно; ему казалось, что Квадрат занимает то же место в пространстве, что музыка — во времени. Квадрат был красивый, из девяти первых интегралов с цифрой «5» в центре. И сколько ни прибавляешь

ряды цифр, все равно в итоге выходит то же самое. Все неравенства каким-то образом обретали решение. Любо-дорого глядеть! Ах, если бы попасть в такую группу, где всем интересно говорить о числах! Но в учебном центре всего двум-трем ученикам старших классов фокусы с числами были действительно интересны, однако у старшеклассников было много других занятий... И все-таки что это за книга, о которой упомянул преподаватель? А вдруг она вся посвящена числам? Может быть, в ней найдется объяснение, как этому дурацкому камню долететь до дерева? Глупо он все-таки поступил, рассказав эту шуточную задачку про камень и дерево! Никто даже не понял, что это шутка! Преподаватель прав: он думал только о себе. Голова у него разболелась. И он снова стал думать о числах, о тихом мире цифр.

Если бы нашлась книга, целиком состоящая из чисел, это была бы самая правдивая книга на свете! И самая справедливая. Потому что мысли, выраженные с помощью слов, никогда полностью не соответствуют действительности, получаются какими-то перекрученными, налетают друг на друга, толкаются, вместо того чтобы соответствовать друг другу и идти стройными рядами. Хотя там, в глубине, под этими словами, как и в центре того Квадрата, все ровно и правильно, как и должно быть. Если вместо слов использовать цифры, ничего не было бы при этом потеряно. Если способен сквозь цифры понимать законы чисел, легко поймешь и системы уравнений и весь дальнейший путь... Поймешь основы мира. А они очень надежны. Как цифры.

Шевек давно научился ждать. Стал прямо-таки первоклассным специалистом по ожиданию. Сперва он постиг это искусство, ожидая свою мать Рулаг — она уехала так давно, что он этого уже и не помнил. Еще более отточенным искусство ожидания стало, когда он ждал своей очереди, своей доли, своей возможности РАЗДЕЛИТЬ ее — с кем-то. В возрасте восьми лет он спрашивал: «Как? Почему? А что, если?..» Но очень редко спрашивал: «Когда?»

Он ждал, когда за ним придет отец, чтобы забрать его «домой». Ждать приходилось долго: шесть декад. Палат согласился на временную работу в ремонтной бригаде по об-

служиванию водоочистной установки в горном массиве Драм, после чего намерен был провести десять дней на пляжах в Маленнине — плавать, загорать и заниматься сексом с женщиной по имени Пипар. Все это он серьезно объяснил своему сынишке. Шевек ему верил, и Палат заслуживал этого доверия. Прошли долгие шестьдесят дней ожидания, и он появился в спальне детского интерната «Широкие Долины» — высокий, худой, с печальными глазами. Еще более печальными, чем всегда. Занятия сексом не принесли ему радости. Для этого ему нужна была Рулаг, но ее с ним не было. Увидев сына, Палат улыбнулся и сморщился, будто от боли: Шевек был очень похож на мать.

Им нравилось бывать вместе.

— Палат, а ты видел когда-нибудь такие книжки, в которых были бы только цифры?

— Что ты имеешь в виду? Книги по математике?

— Наверное.

— Вот такие?

Палат вытащил из кармана куртки маленькую книгу. Она, как и большая часть книг на Анарресе, была в зеленом переплете с Кругом Жизни посредине и набрана очень мелким шрифтом, с крайне узкими полями: бумага в их мире исключительно ценилась; за нее приходилось расплачиваться множеством срубленных деревьев-холум и огромным количеством человеческого труда. Так любил повторять библиотекарь из учебного центра, если случайно испортишь страницу и просишь у него новую тетрадку. Палат раскрыл книжку и протянул ее Шевеку. На развороте были лишь столбцы цифр. В точности, как ему и мечталось! Вот оно, соглашение о вечной справедливости! «Таблицы корней и логарифмов» — так гласил заголовок над Кругом Жизни.

Мальчик некоторое время внимательно изучал первую страницу.

— А для чего они? — спросил он; эти столбцы цифр явно были здесь не просто для красоты. Его отец-инженер, сидя с ним рядом на жестком диване в холодной, плохо освещенной гостиной интерната, с готовностью принялся объяснять, что такое логарифмы. Два старика на другом конце комнаты кудахтали от смеха над игрой «Попробуй догони!». Вошли двое подростков-старшеклассников, спросили, свободна ли сегодня отдельная комната, и

направилась прямо туда. Дождь замолотил было по металлической крыше одноэтажного здания, но быстро перестал. Дождь здесь никогда не шел долго. Палат вытащил свою логарифмическую линейку и показал Шевеку, как ею пользоваться; а Шевек зато изобразил ему свой Квадрат и рассказал о принципе его организации. Было уже очень поздно, когда оба заметили это. Потом они бежали в наполненной чудесными запахами дождя темноте по скользкой земле к корпусу младшеклассников и получили для порядка небольшой выговор от дежурной. Палат и Шевек быстро обнялись, поцеловались, вздрагивая от сдерживаемого смеха, и мальчик бросился к окну в своей огромной спальне, откуда ему хорошо было видно, как отец шагает по темноватой и единственной улице Широких Долин — прямо по блестящим в свете редких фонарей лужам.

Мальчик нырнул в постель прямо с грязными ногами и сразу заснул. Ему снилось, что он идет по дороге через пустыню и далеко впереди видит какую-то линию, пересекающую дорогу. Вблизи оказывается, что это стена, раскинувшаяся от горизонта до горизонта, высокая и прочная. Здесь дорога кончалась.

Он должен был идти дальше, но стена преграждала ему путь. В душе рос болезненный сердитый страх. Он должен идти дальше, иначе он никогда не сможет вернуться домой! Но стена стояла незыблемо.

Он колотил по ней кулаками, что-то гневно орал, но вместо слов изо рта вылетало какое-то странное карканье. Испуганный этим, он присел у стены на корточки и тут услышал чей-то голос: «Смотри...» Это был голос отца, и вроде бы мать его, Рулаг, тоже была где-то рядом, только ее он не видел (ведь он совсем не помнил ее лица). Оказалось, что Рулаг и Палат стоят на четвереньках в темноте под самой стеной и выглядят почему-то гораздо крупнее и неповоротливее остальных людей; и вроде бы они вообще не люди... Оба указывали ему пальцем куда-то вниз, на землю — там, в отвратительной грязи, где даже не росло ничего, лежал камень. Он был такой же темный, как стена, но то ли на нем, то ли внутри него светилась какая-то цифра; «5», подумал Шевек сперва, потом решил, что «1», потом понял, что это такое — СОВЕРШЕННОЕ МНОЖЕСТВО. «Это краеугольный камень», — подтвердил чей-то знакомый и дорогой голос, и Шевека охватила пронзи-

тельная радость. В густой тени, как оказалось вдруг, никакой стены уже не было, и он понял, что вернулся назад, домой!..

Потом он так и не смог вспомнить всех подробностей этого сна, но то пронзительное ощущение радости не забылось. Никогда он не испытывал ничего подобного — так уверенно этот сон утверждал Постоянство: все равно что посмотреть на источник света, который горит ровно и никогда не гаснет. Шевек считал, что это вообще никакой не сон, хотя, безусловно, спал и вроде бы видел все во сне. Вот только, несмотря на ощущение бесконечной надежности, которое давал сон, он туда снова вернуться не мог — не помогло бы ни страстное желание, ни самые решительные поступки. Он мог только вспоминать об этом видении. Когда же ему снова снилась та стена, а это с ним случалось довольно часто, то эти сны были удивительно мрачные и никакого исхода, никакого РЕШЕНИЯ не содержали.

Они узнали слово «тюрьма» из «Жизни Одо», которую все в их «исторической» группе тогда читали. В книге было много неясного, а в Широких Долинах не нашлось ни одного приличного историка, способного разъяснить детям непонятные места. Впрочем, когда они добрались до описания жизни Одо в крепости Дрио, понятие «тюрьма» стало более или менее ясным. А когда обслуживавший сразу несколько учебных центров большого района преподаватель истории заехал наконец в их городок, он отвечал на их вопросы с такой неохотой, с какой благовоспитанные взрослые вынуждены бывают разъяснять детям значение того или иного неприличного слова. Да, сказал он, тюрьма — это такое место, куда Государство помещает людей, которые не подчинились его Законам. А почему эти люди не могут уйти оттуда? Из тюрьмы уйти нельзя, там все двери ЗАПЕРТЫ. Заперты? Да, как запирают дверцы грузовика на ходу, чтобы ты оттуда не выпал, глупый! Но что же они там ДЕЛАЮТ, в этой тюрьме, находясь все время в одной и той же комнате? Ничего. Там нечего делать. Вы же видели на картинках, как жила Одо в тюремной камере в Дрио? Да, они видели: смиренно поникшая седая голова, стиснутые руки, застывшая в неподвижности человеческая фигурка среди мрачных теней, мечущихся по стенам... Иногда заключенных, правда, ПРИГОВАРИВАЮТ к принудительным работам. Приговаривают? Ну, это означает, что судья — тот человек, которого Закон облекает особой властью, — приказывает им выполнять ту или иную тяжелую физическую работу. Приказывает? А если они не захотят? Тогда их заставят силой или даже побьют, если будут упорствовать... Дети напряженно застыли: потрясение было слишком велико! И как внимательно они слушали, одиннадцати-двенадцатилетние дети, ни один из которых никогда в жизни не получил даже шлепка и никогда не видел, чтобы били других, если не считать обычных детских потасовок и «выяснения отношений».

Но самый главный вопрос, который не давал покоя всем, задал Тирин:

— Вы хотите сказать, что целая куча людей способна была избить одного человека?

— Именно так.

— Почему же другие их не останавливали?

— У тюремной стражи всегда есть оружие. А у заключенных его нет, — сказал учитель истории. Он был чрезвычайно смущен: его вынуждали говорить о совершенно отвратительных вещах!

Их тогдашняя компания составилась по сходному упрямству характеров. В нее входили Тирин, Шевек и еще трое мальчишек. Девочек они не принимали, хотя и сами не смогли бы объяснить, почему. Тирин отыскал идеально подходящую «тюрьму» — под левым крылом учебного центра. В этой норе можно было только сидеть или лежать. С трех сторон ее «стены» были образованы пересечением бетонных фундаментов, а сверху были перекрытия пола. Единственную открытую сторону запросто можно было закрыть тяжелой плитой из «пенного камня». Но ведь дверь в тюрьме полагалось ЗАПИРАТЬ. Следуя экспериментальным путем, они обнаружили, что если подпереть плиту снаружи клиньями, то изнутри ее ни за что не откроешь.

— А как же свет?

— Никакого света! — возмутился Тирин. О таких вещах он всегда говорил уверенно и авторитетно: его богатое воображение позволяло ему проникнуть в самую их суть,

дело было даже не в имевшихся под рукой фактах. — В той крепости, в Дрио, узников держали в темноте годами.

— Ну а дышать чем? — спросил Шевек. — Эта плита слишком плотно закрывает проход. В ней нужно хотя бы дырку проделать.

— Чтобы проделать дырку в такой плите, знаешь сколько часов понадобится? И вообще кто это станет сидеть в тюрьме так долго, чтоб ему воздуха не хватило?

В ответ последовал целый хор возражений — желающими «посидеть в тюрьме» оказались почти все.

Тирин с сомнением посмотрел на приятелей.

— Психи вы, и больше ничего! Неужели кому-то из вас на самом деле хотелось бы попасть в такую ловушку? И для чего? — Вообще-то именно он придумал построить «тюрьму», однако самого строительства было с него более чем достаточно; он совершенно не понимал, почему нельзя просто вообразить себя узником и почему все непременно стремятся сами залезть в эту нору и попробовать открыть изнутри запертую, неоткрывающуюся дверь.

— Я хочу понять, на что это похоже, — сказал двенадцатилетний Кадагв, широкоплечий, серьезный мальчик, признанный авторитет среди остальных.

— Да ты подумай башкой-то! — разъярился Тирин, но Кадагва дружно поддержали почти все. Шевек притащил из мастерской сверло, и они просверлили двухсантиметровое отверстие в «двери» примерно на высоте носа. Это отняло у них целый час, как и предсказывал Тирин.

— Как долго ты хочешь там оставаться, Кад?

— Послушай, — сказал Кадагв, — если я УЗНИК, то сам я этого решить никак не могу. Я же не свободен. Это вы должны решать, когда меня выпустить.

— Верно. — Шевеку подобная логика показалась убедительной.

— Только ты не слишком долго сиди, Кад, мне тоже хочется! — сказал самый младший из их компании, Гибеш. «Заключенный» ответом его не удостоил. Он вошел, точнее, заполз в свою темницу, «дверь» приподняли, с грохотом опустили и подперли клиньями снаружи. Четверо «тюремщиков» делали все с огромным энтузиазмом. Потом они сгрудились у вентиляционного отверстия, пытаясь увидеть «узника», однако внутри была непроницаемая тьма.

— Эй, не высасывайте у него из камеры весь воздух!

— Лучше вдуньте туда немного!

— Нет, лучше ты ему в эту дырочку пукни!

— Ну и сколько он у нас там будет сидеть?

— Час.

— Нет, три минуты!

— Пять лет!

— Ладно, хватит. До отбоя у нас четыре часа. Этого вполне достаточно.

— А я тоже хочу посидеть в тюрьме!

— Хорошо, мы его выпустим, а тебя туда на всю ночь посадим.

— Нет уж! Я лучше завтра!

Через четыре часа они вытащили клинья и выпустили Кадагва на свободу. Он вышел оттуда столь же невозмутимым, каким вошел туда, и сказал только, что очень хочет есть и что вообще-то ничего особенного: большую часть времени он просто проспал.

— Неужели снова туда полез бы? — поддразнил его Тирин.

— Запросто.

— Нет, второй я...

— Заткнись, Гиб. Ну так что, Кад? Сядешь снова в тюрьму, если мы тебе не скажем, когда в следующий раз выпустим?

— Запросто.

— И есть просить не будешь?

— Вообще-то заключенных кормят, — вмешался Шевек. Это тоже было одно из непонятных мест в «истории с тюрьмой».

Кадагв пожал плечами. Его высокомерие и мужественное спокойствие были просто невыносимы!

— Эй, — обратился Шевек к двум младшим мальчикам, — слетайте-ка на кухню да попросите там, что осталось, и воды в бутылку налейте. — Потом он повернулся к Кадагву. — Мы тебе целый мешок еды с собой дадим, так что можешь торчать в этой норе, пока не надоест.

— Пока ВАМ не надоест, — поправил его Кадагв.

— Ладно, договорились. А ну на место! — Самоуверенность Кадагва вызвала в Тирине желание подыграть ему; Тирин вообще обладал задатками актера-сатирика. — Ты ведь заключенный? Так что не сметь возражать! Ясно? А ну повернись! Руки на голову!

— Это еще зачем?

— Хочешь вылететь из игры?

Кадагв мрачно глянул на него.

— Ты не имеешь права спрашивать тюремщиков. А если будешь упрямиться, так мы тебя и побить можем. Ты должен просто принимать все как должное, в тюрьме тебе никто не поможет. И даже если мы тебе яйца отобьем, ты нам ответить не сможешь. Потому что ты НЕСВОБОДЕН. Ну что, все еще хочешь в тюрьму?

— Конечно. Давай, ударь меня.

Тирин, Шевек и «заключенный» стояли лицом к лицу в странных застывших позах; стало уже темно, лишь слабо светил фонарь неподалеку; тяжелые бетонные стены высокого фундамента окружали их с трех сторон.

Тирин лукаво усмехнулся:

— Ты мне не советуй, что делать, везунчик. Заткнись лучше и полезай в свою нору! — И, когда Кадагв послушно повернулся и полез в нору, Тирин изо всех сил толкнул его обеими руками в спину. Кадагв упал на четвереньки и глухо вскрикнул — то ли от удивления, то ли от боли — и сел, прижимая к груди руку и засунув в рот палец, который, похоже, вывихнул. Шевек и Тирин молчали. Они, изобразив на лицах полное равнодушие, играли роль «тюремщиков». Вот только обоим уже казалось, что скорее это роль «играет» ими. Младшие мальчики притащили хлеба из плодов дерева-холум, дыню и бутылку воды; по дороге они, видимо, все время болтали, однако, приблизившись к «тюрьме», тут же смолкли: окутывавшая это место странная тишина подействовала и на них. Пищу и воду просунули внутрь, дверь «заперли» с помощью клиньев. Кадагв остался один в кромешной темноте. Остальные собрались у фонаря. Гибеш прошептал:

— А писать ему где же?

— Туда же, в постельку, — язвительно ответил Тирин.

— А если ему по-большому захочется? — не унимался Гибеш, потом вдруг ойкнул и пронзительно расхохотался.

— И что ты в этом такого смешного нашел?

— Я представил, как он... ведь там совсем темно, он ничего не видит... — Гибеш так и не смог ничего объяснить — вся компания вдруг залилась диким хохотом с подвываниями. Они смеялись, пока хватало воздуха, отлично зная, что «узник» слышит их ржание.

Давно миновал час отбоя, даже взрослые по большей части уже легли спать, хотя на территории интерната кое-где еще горели огни. Улица была пуста. Мальчишки со смехом и громкими криками прошлись по ней, будто опьянев от осознания своей общей тайны и радуясь, что мешают спать всем остальным, что нарочно делают гадости. Они перебудили половину детей в своем корпусе, устроив в спальнях игру в салки прямо среди кроватей. Никто из взрослых не вмешивался; вскоре безумие улеглось само собой.

Тирин и Шевек еще долго сидели вместе и о чем-то шептались. Оба решили, что Кадагв сам напросился, вот пусть теперь и посидит в тюрьме полных двое суток.

Когда в полдень они встретились у мастерской по вторичной переработке древесины и мастер спросил, где Кадагв, Шевек быстро глянул на Тирина и ничего не ответил. Он чувствовал себя чрезвычайно умным и хитрым. Но Тирин холодно ответил мастеру, что Кадагв, должно быть, временно перешел в другую группу. Шевек был потрясен этой спокойной ложью. От тайной власти над кем-то ему было не по себе: ноги чесались, уши горели. Когда мастер спустя некоторое время заговорил с ним, он даже вздрогнул; его терзала какая-то неведомая тревога, страх, а может, еще что-то — он никогда не испытывал ничего подобного прежде; отчасти это было похоже на смущение, но только гораздо хуже: что-то очень плохое было внутри, в глубине души... Он все время думал о Кадагве, шпаклюя и зашлифовывая песком дырки от гвоздей, оставшиеся в досках из древесины холум, и изгнать несчастного «узника» из собственных мыслей оказалось ему не под силу. Это было просто ужасно!

Гибеш, стоявший на часах после обеда, сообщил Тирину и Шевеку с виноватым видом:

— По-моему, Кад там что-то говорил... И голос у него был такой странный!..

Воцарилось молчание. Потом Шевек сказал:

— Сейчас мы его выпустим.

— Да брось ты, Шев, не будь сентиментальной девчонкой! Нечего тут альтруизм разводить! — возмутился Тирин. — Пусть отсидит свое! Посмотрим, как он потом воображать будет!

— Никакого альтруизма я не развожу! Я, черт побери,

снова себя уважать хочу, — огрызнулся Шевек и бегом бросился к учебному центру. Тирин слишком хорошо его знал, а потому времени на споры тратить не стал и побежал следом. Младшие, одиннадцатилетние, тоже поспешили. Ребята стремительно нырнули под фундамент, Шевек вышиб один клин, Тирин — другой, «дверь» с глухим стуком упала наружу...

Кадагв лежал на земле, свернувшись клубком. Потом сел, встал на четвереньки и выполз наружу. Он как-то странно жался к земле и все время щурился. Впрочем, выглядел он вроде бы как обычно. Вот только запах, который вырвался из «тюрьмы» с ним вместе, был поистине ужасен. Отчего-то у Кадагва начался понос, за ночь совершенно его измучивший, и в «темнице» творилось нечто невообразимое. На рубашке Кадагва виднелись отвратительные желтоватые фекальные потеки. Увидев их при свете фонаря, он попытался было прикрыть позорные следы руками, но никто ничего ему не сказал.

Когда они, выбравшись из-под дома, направлялись кружным путем к своей спальне, Кадагв спросил:

— Сколько времени я там пробыл?

— Около тридцати часов, включая первые четыре.

— Довольно много, — сказал Кадагв не слишком убежденно.

Доставив Кадагва в ванную, Шевек едва успел добежать до уборной, где его буквально вывернуло наизнанку. Спазмы не прекращались минут пятнадцать. Он весь дрожал, ноги были как ватные. Наконец рвота прекратилась. Умывшись, Шевек пошел в общую комнату и немного посидел там, проглядывая книжки по физике, спать он лег довольно рано. Больше никто из пятерых мальчишек и близко не подходил к «тюрьме». И никто ни разу не заговорил о случившемся; только Гибеш как-то расхвастался перед старшеклассниками, но те даже не поняли, о чем он говорит, и Гибеш, спохватившись, сам сменил тему.

Высоко в небе над Северным Региональным Институтом Благородных и Естественных Наук стояла луна. Четверо юношей лет пятнадцати-шестнадцати сидели на вершине холма среди раскидистых лап стелющегося дерева-

холум и смотрели то вниз, на Институт, то вверх, на сияющую луну.

— Смешно, — сказал Тирин, — а раньше я никогда не думал...

Тут же последовали насмешливые комментарии остальных по поводу очевидности этого утверждения.

— Я никогда не думал, — продолжал как ни в чем не бывало Тирин, — что и там, на Уррасе, в такой вот вечер могут сидеть на вершине холма какие-то люди, смотреть на наш Анаррес и говорить при этом: «Ах, какая сегодня луна!» Наша планета для них — луна, а для нас луна — их родная планета.

— Ну и где здесь Истина? — уронил невозмутимый Бедап и зевнул.

— Что на вершине холма всегда кто-то сидит! — ответил Тирин.

Они продолжали смотреть на бирюзовую луну, сиявшую в небесах, уже не совсем круглую — полнолуние миновало сутки назад. Арктическая ледяная шапка на Уррасе слепила глаза.

— Сейчас там, на севере, солнечно, — сказал Шевек. — А вон то коричневое пятно — это А-Йо.

— Где они валяются голышом на пляжах, — подхватил Кветур, — подставив солнышку украшенные бриллиантами пупки и лысые головы.

Последовало молчание.

Сюда, на вершину холма, они пришли исключительно ради мужской компании. Присутствие девушек действовало на них пока что подавляюще. Порой им вообще начинало казаться, что вокруг одни девушки. Куда ни посмотришь — девушки; даже во сне они видели девушек! Все они уже успели попробовать себя в искусстве плотской любви, и теперь кое-кто от отчаяния пытался никогда более этого не пробовать. А результат был, как ни крути, один: девушки никуда из их жизни не девались.

Три дня назад на занятиях по истории движения одонийцев им показывали учебный фильм, и зрелище безупречно ограненных драгоценных камней на гладких, загорелых, смазанных маслом женских животах с тех пор преследовало каждого из них неустанно.

Они также видели страшные кадры: тела детей с такой же пушистой «шерсткой» на теле, как и у них самих в дет-

стве; мертвые дети были свалены, точно металлолом, на морском берегу, и какой-то человек поливал их горючим, а потом поджег. «Голод в провинции Бачифойл, где проживает народность тху, — послышался голос за кадром. — На пляжах сжигают тела детей, умерших от голода и болезней. А в это время на курорте Тиус, в семистах километрах отсюда, жители государства А-Йо (и тут как раз появились украшенные драгоценностями пупки), женщины, которых мужчины-собственники содержат исключительно для удовлетворения собственных сексуальных потребностей (здесь диктор использовал слово из языка йотик, для которого в языке правик эквивалента не было), целыми днями валяются на песке и бездельничают, ожидая, что им приготовят и подадут обед те, кто к классу собственников отнюдь не принадлежит». Показали и фрагмент такого обеда: нежные жующие рты, улыбающиеся губы, изящные пальчики тянутся к деликатесам на серебряных блюдах... Потом снова в кадре оказалось слепое, ничего не выражающее лицо мертвого ребенка — рот открыт, пустой, черный, сухой... «И все это рядом. Бок о бок», — тихо проговорил голос за кадром.

Однако мальчишкам все же больше запомнились иные, бесконечно тревожащие их кадры.

— Как давно сняты эти фильмы? — спросил Тирин. — Они что, сделаны еще до Заселения? Или все-таки современные? Никогда ведь не скажут!

— А какая разница? — возразил Кветур. — Они жили так на Уррасе еще до одонийской революции, когда все последователи Одо переселились на Анаррес. Так что скорее всего ничего там особенно не переменилось, — и он указал на огромную сине-зеленую луну.

— Откуда нам знать? Может, их там вообще уже нет.

— Что ты хочешь этим сказать, Тир? — спросил Шевек.

— Во всяком случае, если этим фильмам лет сто пятьдесят, то теперь на Уррасе все, возможно, совсем по-другому. Я не утверждаю, что это на самом деле так, но если бы вдруг такое случилось, то как бы мы об этом узнали? Мы туда не летаем, мы с ними переговоров не ведем, никаких культурных связей между нашими планетами нет... Мы действительно понятия не имеем, что происходит сейчас на Уррасе!

— Об этом прекрасно осведомлены члены Координа-

ционного Совета по Производству и Распределению, из охраны Космопорта. Они разговаривают с теми... ну, с пилотами грузовиков уррасти. Они просто должны быть в курсе — ведь мы поддерживаем с Уррасом торговые отношения; к тому же нам необходимо знать, насколько уррасти в настоящий момент для нас опасны. — Слова Бедапа казались вполне разумными, однако ответ Тирина прозвучал неожиданно резко:

— В таком случае все знают только люди из Координационного Совета, но не мы!

— И мы знаем! — воскликнул Кветур. — Я, например, с пеленок слышу об Уррасе, хотя мне совершенно безразлично, увижу ли я какой-нибудь новый фильм о городах этих вонючих уррасти!

— В том-то и дело, — сказал Тирин с видом человека, следующего неумолимой логике доказательств. — Весь материал об Уррасе, доступный студентам, одинаков. Только и слышишь: отвратительно, аморально, «экскрементально»! Но послушай: если на Уррасе действительно было настолько плохо, когда его покидали Переселенцы, то как же ему удалось столь успешно просуществовать еще сто пятьдесят лет? Если их общество настолько «больно», то давным-давно должно было бы умереть и разложиться! Почему же этого до сих пор не произошло? И чего это мы так их боимся?

— Боимся заразиться, — буркнул Бедап.

— А что, мы настолько слабы? И почему мы боимся хоть немного показать себя миру? В любом случае все в их обществе «больны» быть не могут. И каким бы оно ни было, кое-кто в нем непременно должен был сохранить порядочность. Здесь ведь все люди тоже очень разные, верно? Неужели на Анарресе все такие уж верные последователи Одо? Взять хотя бы этого сопляка Пезуса!

— Но в больном организме даже отдельные здоровые клетки обречены на гибель, — заметил Бедап.

— Господи, да используя принцип Аналогии, можно доказать все что угодно, и ты это прекрасно знаешь. И все-таки откуда нам известно, что их общество так тяжело больно?

Бедап задумчиво погрыз ноготь и спросил:

— То есть, по-твоему, Координационный Совет и Учебный синдикат нам лгут?

— Нет. Я сказал только, что мы питаемся теми сведениями, которыми нас кормят. А какими сведениями нас кормят? — Темнокожее курносое лицо Тирина было ярко освещено лунным светом. — Минуту назад Квет очень четко это сформулировал. Он прекрасно усвоил урок: отвернитесь от Урраса, ненавидьте Уррас, бойтесь Урраса.

— А почему бы и нет? — спросил Кветур. — Ты только вспомни, как они обошлись с нашими предками одонийцами!

— Они отдали нам свою луну, не так ли?

— Да, чтобы держать нас подальше! Чтобы мы не разрушили их государство собственников! Они предоставили нам возможность строить свое общество справедливости далеко-далеко от них, на луне. И я уверен, как только они от нас избавились, то сразу принялись создавать новые типы государственных машин и новые армии — ведь на Уррасе не осталось никого, кто мог бы их остановить. Неужели ты думаешь, что, если мы откроем перед ними ворота нашего Космопорта, они явятся к нам как друзья и братья? Да их миллиард, а нас всего двадцать миллионов! Они просто выметут нас отсюда поганой метлой или превратят нас... как это называется? Ну есть такое слово?.. Да, в рабов! И заставят работать в шахтах!

— Хорошо. Я согласен, что Урраса, возможно, и следует опасаться. Но почему нужно ненавидеть всех его жителей? Ненависть попросту не функциональна; зачем же нас учат ненавидеть? А не потому ли, что, если мы узнаем, каков Уррас в действительности, он может нам даже понравиться? Кое-что хотя бы? Хотя бы некоторым из нас? И не в том ли дело, что КСПР не столько опасается тех немногочисленных уррасти, что прилетают сюда, сколько того, что кое-кто из анаррести захочет полететь туда?

— Полететь на Уррас? — изумленно переспросил Шевек.

Они спорили потому, что им нравилось спорить, нравилось быстро пробегать свободной мыслью по тропам возможностей, нравилось подвергать сомнению то, что казалось несомненным. Они были умны, разум их уже отчасти был дисциплинирован и приобщен к ясности научного мышления, и было им всего по шестнадцать лет. Но азарт дискуссии, радость спора для Шевека вдруг померкли, как — чуть раньше — для Кветура. Он ощутил смутную тревогу.

— Но кто может этого захотеть? — спросил он. — Зачем?

— Чтобы выяснить наконец, каков этот иной «больной» мир. Увидеть собственными глазами, что такое «лошадь»!

— Ну это уже просто детский визг на лужайке! — сказал Кветур. — Говорят, что жизнь есть и в других солнечных системах, — он обвел рукой обмытый лунным светом горизонт, — так что нам с того? Мы имели счастье родиться здесь!

— Но если наше общество лучше, чем все остальные, — сказал Тирин, — то нам следовало бы помочь им стать такими, как мы. Однако как раз это нам и запрещено.

— Уж и запрещено! Совершенно не свойственное нашему миру слово. Кто запрещает-то? Ты слишком обобщаешь. — Шевек наклонился вперед и заговорил с особым жаром: — Порядок не значит «приказ». Мы не улетаем с Анарреса, потому что мы и есть Анаррес. Будучи Тирином, ты не можешь сменить свое тело на другое, даже если тебе и захочется попробовать стать кем-то еще и посмотреть, каково это. Вот только это невозможно. Хотя силой тебя никто от подобных попыток удерживать не станет, правда ведь? Разве нас здесь держат насильно? Да и где он, аппарат насилия? Где законы, правительство, полиция? Нету. Здесь только мы, одонийцы — все вместе и каждый сам по себе. Твоя сущность — быть Тирином, а моя — Шевеком, и наша общая сущность — быть одонийцами, ответственными друг перед другом. В этой ответственности и заключается наша свобода. Избегать этой ответственности — значит эту свободу утратить. Неужели ты действительно хотел бы жить в обществе, где у тебя нет ни перед кем никакой ответственности, а стало быть, и никакой свободы, никакого выбора, только пресловутый фальшивый выбор между соблюдением закона или его нарушением? Причем последнее влечет за собой наказание. Неужели ты действительно хотел бы жить — в тюрьме?

— Господи, конечно же, нет! Я что, уж и сказать ничего не могу, черт побери? Тяжело все-таки с тобой говорить, Шев! Ты сперва молчишь-молчишь, а потом обрушиваешь на человека целый грузовик железобетонных аргументов,

и тебе все равно, что там такое валяется и стонет, окровавленное и жалкое, под этой грудой...

Шевек успокоился и с победоносным видом чуть отодвинулся от Тирина.

И тут Бедап, коренастый, с квадратным лицом и дурацкой привычкой грызть ногти, вдруг заявил:

— А я считаю, что точка зрения Тира имеет право на существование! Хорошо было бы все-таки узнать, правду ли нам рассказывают об Уррасе.

— Ну и кто же, по-твоему, нам лжет? — пристально посмотрел на него Шевек.

Бедап спокойно встретил его взгляд.

— Кто, брат? Да никто! Только мы сами.

А над их головами плыла в сиянии планета-близнец, спокойная, величавая, точно являя собой прекрасный пример невероятности вероятного.

Посадка лесов в литорали на западном побережье Тименского моря являла собой одно из величайших деяний пятнадцатого десятилетия со времен Заселения Анарреса; в озеленении побережья участвовали почти восемнадцать тысяч человек, и длилось оно два года.

Хотя весьма протяженное юго-восточное побережье моря было достаточно пологим и плодородным, давая жизнь многочисленным рыболовецким и земледельческим коммунам, площадь пахотных земель в целом была весьма невелика. В глубине континента и на юго-западном побережье Тименского моря земли были практически необитаемы; там имелось лишь несколько изолированных друг от друга маленьких шахтерских городков. Этот обширный регион назывался Великая Пустыня Даст[1].

В предшествующий геологический период Даст, видимо, покрывали густые леса деревьев-холум — вездесущего и доминирующего на планете растения, имевшего несколько разновидностей. Теперешний климат стал значительно более жарким и засушливым. Тысячелетия засухи уничтожили деревья и превратили почву в мельчайшую серую пыль, при любом ветерке тучей поднимавшуюся в воздух; пыль затем образовывала холмы столь же чистых очертаний и столь же безжизненные, как песчаные барханы в пустынях Земли. Жители Анарреса надеялись хотя бы отчасти возродить плодородность этих беспокойных земель благодаря лесонасаждениям. По мнению Шевека, это соответствовало принципу «каузативной реверсивности», игнорируемому школой классической физики, наиболее популярной и уважаемой на Анарресе; и все же этот принцип был тесно связан с учением Одо, хотя впрямую в ее трудах о нем не упоминалось. Шевеку вообще хотелось написать о взаимосвязи идей Одо с идеями современной физики и особенно — о применении принципа «каузативной реверсивности» к ее точке зрения на причинную обусловленность явлений, целей и средств. Однако в восемнадцать лет у него попросту не хватало знаний, чтобы написать подобную работу; впрочем, он никогда этих знаний и не приобретет, если в ближайшее же время не вернется к занятиям физикой и не выберется из этой чертовой пылищи!

[1] Dust *(англ.)* — пыль.

По ночам над лагерями тех, кто работал над осуществлением проекта озеленения, слышался неумолчный кашель. Днем кашляли меньше: были слишком заняты, чтобы думать о себе. Пыль была злейшим врагом этих людей — тонкая, сухая, забивавшая глотку и легкие. Однако именно на эту пыль они и возлагали все свои надежды, ведь когда-то она лежала тонким слоем плодородной почвы в тени густых деревьев. И если как следует потрудиться, это может случиться снова.

> И ей благодаря зеленый лист сквозь камень прорастает,
> И из скалы ключ чистый начинает бить...

Гимар вечно напевала себе под нос мелодию этой песни, и вот сейчас, жарким вечером, когда они возвращались в лагерь, она пропела несколько слов вслух.

— Кому это «ей»? Кто такая «она»? — спросил Шевек.

Гимар улыбнулась. Ее широкоскулое нежное лицо было покрыто коркой пыли, волосы пропылились насквозь, одежда пропахла потом.

— Я выросла близ Южной гряды, — сказала она. — Там шахтеры живут. Это их песня.

— Какие шахтеры?

— Ты что, не знаешь? С Урраса. Которые уже жили здесь, когда прибыли первые Поселенцы. Некоторые из шахтеров так и остались на Анарресе и присоединились к Поселенцам из солидарности. Они тут золото в шахтах до-

бывали, олово... В таких городках до сих пор сохранились старые праздники и старые шахтерские песни. Мой тадде[1] был шахтером, он часто мне эту песню пел, когда я была маленькой.

— Ну и все-таки, кто же такая «она»?

— Не знаю. Так в песне говорится. Ох, как мне хочется в тот лагерь, где мы в прошлый раз жили! Там по крайней мере поплавать было можно. Я прямо-таки насквозь пропотела — противно!

— Я тоже не лучше.

— И ото всех в лагере потом разит. Кошмар какой-то!

— Это из солидарности...

Но теперешний их лагерь был уже в пятнадцати километрах от берега, и здесь искупаться можно было разве что в пыли.

В лагере был человек по имени Шевет — очень похоже на «Шевек». Когда окликали одного, часто откликался другой. Шевек ощущал некое родство с этим человеком — из-за столь редкого совпадения в звучании имен. Пару раз он видел, что Шевет внимательно на него смотрит. Однако друг с другом они пока не разговаривали.

Первые недели Шевек не ощущал ничего, кроме молчаливого неприятия происходящего в этой пустыне и сокрушительной усталости. Люди, которые избрали своей профессией жизненно важные области науки, например физику, вообще не должны призываться на подобные работы. Разве не аморально — заниматься работой, которая тебе отвратительна? Озеленение побережья, безусловно, необходимо, однако людям здесь по большей части было все равно, что им поручат в следующий раз; они привыкли часто менять вид и место работы; вот таких и следовало набирать в отряды специального назначения. Копаться в пыли и сажать деревья любой дурак может. На самом деле

[1] Буквально это слово значит «папа»; ребенок обычно называет мать «мамме», а отца — «тадде». Впрочем, «тадде» Гимар мог быть как ее отцом, так и дядей, или же вообще не родственником ей, однако же человеком, который заботился о ней не хуже родного отца или деда. Она могла называть «тадде» или «мамме» нескольких людей, однако само это слово имеет более специфический оттенок, чем слово «аммар» (брат/сестра), которое можно употреблять по отношению к любому. *(Прим. автора.)*

почти все выполняли эту работу куда лучше самого Шевека. Он всегда гордился своей силой и выносливостью, всегда сам вызывался сделать «самое трудное», когда приходила пора очередного — раз в декаду — дежурства по общежитию; но здесь тяжелая работа была повседневной: день за днем, по восемь часов подряд приходилось делать одно и то же в пыли, на солнцепеке. И весь день Шевек мечтал только о том, как вечером наконец останется один и сможет подумать. Но стоило ему добраться до палатки после ужина, как он камнем падал на постель и тут же засыпал. И ни разу ни одна умная мысль так его и не посетила!

Он считал своих товарищей по работе грубыми и туповатыми, а они, в свою очередь — даже те, что были младше Шевека, — обращались с ним, как с мальчишкой, чуть насмешливо. Это его обижало и возмущало; утешение и удовольствие он получал только от писем, которые писал своим друзьям Тирину и Роваб с помощью шифра. Шифр они придумали вместе; это был набор глагольных форм, образованных от специальных терминов современной физики. С первого взгляда такое письмо представлялось самым обычным, хотя и довольно нелепым по содержанию, точно беседа каких-то совсем спятивших философов. Особенно изощрялись в создании подобных «шедевров» Шевек и Роваб. Письма Тирина были очень смешными и убедили бы кого угодно, что имеют отношение к самым непосредственным переживаниям и событиям, однако чисто физический смысл их был весьма сомнителен. Зато Шевек частенько отсылал друзьям настоящие загадки — стараясь составлять их, когда копал ямы для деревьев в каменистой земле тупым заступом, а над ним на ветру кружились тучи пыли. Тирин отвечал довольно регулярно. Роваб в последнее время написала всего одно письмо и умолкла. Она была холодной девушкой, и Шевек это прекрасно знал. Однако никто у них в институте не знал, каким несчастным он чувствовал себя здесь, в этой пустыне! Роваб-то и Тирина сюда не послали! Они сейчас как раз спокойно занимаются разработкой собственных идей! А не воплощением этого чертова проекта облесения литорали. Их-то способности никто не тратит впустую! Они работают, занимаются настоящим делом, делают то, что хотят! А он? Он здесь не работает. Это его обрабатывают.

И все-таки странно — какое чувство гордости и огром-

ного удовлетворения приносит подобная работа, когда выполняешь ее вместе со всеми!.. К тому же некоторые из его теперешних товарищей оказались людьми поистине незаурядными. Гимар, например. Сперва ее сильное крупное тело взрослой женщины вызывало у Шевека даже некоторую оторопь, но теперь он и сам стал достаточно сильным, чтобы желать ее.

— Придешь ко мне сегодня ночью, Гимар?

— Ой, нет, что ты! — И она с таким удивлением посмотрела на него, что он даже немного обиделся, хотя постарался не показать этого.

— А я-то думал, мы друзья!

— Ну да, друзья.

— Но тогда почему же...

— У меня есть партнер. Постоянный. Там, дома.

— Могла бы раньше сказать, — Шевек покраснел.

— Да все как-то случая подходящего не было; и потом, с чего это я должна тебе что-то говорить? Извини, Шев. — Она с таким сожалением посмотрела на него, что у него снова пробудилась надежда:

— А что, если...

— Нет, Шев. Так с близкими людьми не поступают. Если любишь, нечего раздавать себя по кускам другим мужчинам.

— Но ведь жизнь с постоянным партнером, по-моему, противоречит законам одонийской этики, — сурово заметил Шевек.

— Вот еще дерьмо, — Гимар говорила спокойно, тихим голосом. — Иметь что-то только для себя неправильно, нужно делиться. Но разве этого мало — делить с другим человеком самого себя? Всю свою жизнь, все свои дни и ночи?

Шевек сидел, уронив руки между коленями и опустив голову — высокий, очень худой, безутешный, весь какой-то незавершенный.

— Я к этому не стремлюсь, — сказал он.

— Вот как?

— Да я по-настоящему еще и не знал ни одной женщины. Ты же видишь, я и тебя не понял. Я чувствую себя оторванным от остальных. И не могу с ними соединиться. И никогда не соединюсь. Было бы просто глупо, с моей

стороны, мечтать о партнерстве. Это все... Это все для нормальных людей...

Застенчиво, но не смущенно, как взрослая и уважающая его взрослость женщина, Гимар сочувственно положила руку ему на плечо. Она его не ободряла и не говорила, что он такой же, как все, а сказала только:

— Я никогда, наверное, не встречу больше такого человека, как ты, Шев. И я тебя никогда не забуду!

И тем не менее отказ есть отказ. Несмотря на всю ее нежность и сочувствие, он ушел от нее уязвленный и очень сердитый.

Стояла жуткая жара, прохладно становилось только перед самым рассветом.

Человек по имени Шевет однажды вечером, после ужина, сам подошел к Шевеку. Он оказался симпатичным плотным мужчиной лет тридцати.

— Ох и надоело мне, что нас с тобой все время путают, — сказал он. — Назвал бы ты себя как-нибудь иначе, парень.

Эта самоуверенная агрессивность ранее, пожалуй, озадачила бы Шевека. Но теперь он ответил нахалу вполне в духе здешних нравов:

— Можешь сам себе имя сменить, если оно тебе не нравится.

— Ах ты, расчетливый сопляк! Небось из тех, что весь век готовы учиться, лишь бы ручки свои не марать! — взвился Шевет. — Я как такого завижу, прямо руки чешутся. Врезать бы тебе как следует, будешь знать!

— Сам ты сопляк! — возмутился Шевек, понимая, что словесной перепалкой тут не обойдется. Шевет дважды сбил его с ног. Зато ему удалось несколько раз весьма удачно заехать противнику в физиономию, поскольку руки у него были длиннее, да и упорства больше, чем ожидал этот нахал. Однако в целом он, конечно, проигрывал. Несколько человек остановились возле них, увидели, что дерутся вполне честно, хотя и неинтересно, потому что один явно сильнее другого, и пошли дальше. Их не оскорбило примитивное желание одного проявить насилие. А что? Мальчишка на помощь не звал, пусть сам и разбирается. Придя в себя, Шевек обнаружил, что лежит навзничь в темной пыли между двумя палатками.

После этой драки у него еще пару дней звенело в пра-

вом ухе, и губа была сильно рассечена, а заживала очень плохо из-за проклятой пыли, которая не давала зажить даже малейшей царапине. Больше они с Шеветом никогда не говорили. Он издали видел этого человека среди других, у костров, где готовилась пища, но злобы не испытывал. Шевет дал ему то, что должен был дать, и он этот дар принял, хотя в течение долгого времени даже не пытался определить его значимость или обдумать его сущность. А когда сумел это сделать, этот дар уже ничем не отличался от прочих даров, полученных им в период взросления. Как-то вечером одна из тех девушек, что недавно присоединились к их бригаде, подошла к нему точно так же, как тогда Шевет, в темноте. Губа у него тогда еще не успела зажить после драки... Он потом не смог вспомнить даже, что именно она ему сказала; все было очень просто — она его чуть поддразнивала, он отвечал ей, а потом они пошли куда-то в ночь, в пустыню, и там она предоставила ему полную власть над своим телом. Это был ее дар. И он его тоже с благодарностью принял. Как и все дети Анарреса, он имел опыт свободного сексуального общения как с мальчиками, так и с девочками, но все это было в детстве, когда он еще не понимал, как и его партнеры, что секс — это не только краткий миг удовольствия. Бешун, по-настоящему талантливая в плотской любви, взяла его с собой в неведомую страну, в самое сердце истинных сексуальных наслаждений, где не было места ни враждебности, ни недопустимости; здесь все было позволено, и два тела стремились лишь к тому, чтобы слиться воедино и уничтожить ту тоску, что снедала их, выйти за пределы своего физического «я», за пределы времени.

И все стало теперь очень легко, просто и прекрасно — в теплой пыли, под светом звезд. И дни теперь казались не изнуряющими, а долгими, жаркими, полными солнечного света, и даже пыль пахла, как тело Бешун.

Теперь Шевек работал в той бригаде, что сажала деревья. Грузовики привозили множество крошечных саженцев с северо-востока, выращенных в Зеленых горах, где выпадало осадков до 10 000 мм в год — там был пояс дождей. И они сажали эти деревца прямо в пыль.

Когда все было закончено, пятьдесят команд, выполнявших работы второго года Проекта, покинули эти места. Грузовики уже несли их прочь, а они все оглядывались —

они видели результаты своего труда: легкую зеленую дымку на бледных пылевых барханах, точно на эту мертвую землю легко, почти незаметно набросили вуаль жизни. И люди радовались, пели, звонко перекликались. У Шевека на глаза навернулись слезы. Он вспомнил: «И ей благодаря зеленый лист сквозь камень прорастает...» Гимар давным-давно уехала к себе на Южную гряду.

— Ты чего это такой мрачный? — спросила Бешун и ласково прижалась к нему, когда грузовик в очередной раз подскочил на ухабе, и погладила его по твердому мускулистому плечу, покрытому беловатым налетом пыли.

— Ох уж эти женщины! — сказал Шевеку Вокеп, когда они сидели на автобазе горно-обогатительного комбината юго-западного края. — Они всегда считают, что завладели тобой. Ни одна женщина по-настоящему не может быть последовательницей Одо.

— Но ведь сама Одо?..

— Это все теория. Ведь у Одо, после того как убили Асьео, никаких мужчин больше не было, верно? Всегда можно найти исключения. И все же по большей части женщины — типичные собственницы, и само их отношение к мужчинам — это желание прибрать к рукам. Им хочется либо владеть самим, либо быть во власти кого-то.

— Ты полагаешь, что именно этим они отличаются от мужчин?

— Я просто уверен! Мужчине ведь что нужно? Свобода! А женщине? Обладание! Она тебя отпустит — но только если сможет обменять на кого-то другого. Все женщины — собственницы.

— Черт знает что ты говоришь! Ведь половина всех людей — женщины! — воскликнул Шевек, думая, а не прав ли Вокеп случайно? Бешун проплакала все глаза, когда он снова получил назначение на северо-запад; она ужасно злилась и все пыталась заставить его сказать, что он без нее жить не сможет, и уверяла его, что она без него не проживет и дня, и требовала, чтобы они стали партнерами... Партнерами! Вряд ли она способна была выдержать общество одного и того же мужчины больше полугода!

Родной язык Шевека, единственный, которым он владел, явно страдал нехваткой соответствующих идиом для

обозначения полового акта, а точнее — физического обладания. В языке правик выражение «обладать женщиной» не имело ни малейшего смысла. Наиболее близким по значению к глаголу «совокупляться», а также имевшим второе, неприличное, значение было специфическое выражение, означавшее примерно «совершать насилие». Наиболее привычным (и приличным) был глагол, употреблявшийся только с подлежащим во множественном числе, который обычно переводился таким нейтральным медико-юридическим термином, как «совокупляться». Множественное число подлежащего означало, что в данном акте всегда участвуют двое. Эти лексические рамки не могли, разумеется, вместить весь тот сексуальный опыт, которым отчасти теперь обладал и он, и Шевек прекрасно сознавал это, хотя и не очень отчетливо представлял себе, что же такое «обладание». Разумеется, он чувствовал, что Бешун принадлежала ему в те звездные ночи в пустыне. А он — ей. И, видимо, она полагала, что имеет на него еще какие-то права. Впрочем, они тогда ошибались оба, и Бешун, несмотря на всю свою сентиментальность, быстро поняла это; она поцеловала его на прощание, улыбнулась наконец и отпустила. Нет, он не принадлежал ей. Он был во власти собственного тела. Это были первые порывы юношеской гиперсексуальности; и только тело в действительности властвовало над ним — как и над нею. Но теперь это прошло. И никогда (так думал он, восемнадцатилетний мальчишка с разрешением на поездку в Аббенай в руке, сидевший на автобазе комбината в полночь, ожидая, когда колонна грузовиков двинется на север), никогда уже более не случится. Хотя многое успело произойти с ним за это время, но в отношении женщин он теперь всегда будет на страже. Больше его никто не застанет врасплох, не одержит над ним верх. Поражение, сдача на милость победителя или, наоборот, восторги победы... Да и сама Бешун, возможно, ничего, кроме удовольствия, не хотела. С какой, собственно, стати? И это она, будучи свободной сама, и его выпустила на свободу...

— Нет, я с тобой не согласен, — ответил он длиннолицему Вокепу, биохимику-аграрнику, тоже направлявшемуся в Аббенай. — По-моему, большей части наших мужчин нужно еще учиться быть анархистами. А вот женщинам как раз этому учиться не нужно.

Вокеп с мрачным видом покачал головой:

— Все дело в детях, — сказал он. — В том, чтобы иметь детей. Именно дети делают их собственницами. И потому они тебя не отпускают. — Он вздохнул. — А золотое правило, брат, таково: сорви цветок удовольствия, прикоснись к нему и ступай себе дальше. Никогда не позволяй кому-то завладеть своей душой.

Шевек улыбнулся и допил свой сок.

— Не позволю, — сказал он.

Было радостно вновь вернуться в Региональный Институт, вновь увидеть низкие холмы, покрытые пятнами стелющихся деревьев-холум, огороды, общежития, жилые комнаты, мастерские, аудитории, лаборатории — здесь он жил с тринадцати лет. И для него всегда возвращение назад было и будет не менее важно, чем путешествие в иные места. Пути куда-то, в новую жизнь, было для него недостаточно, точнее, достаточно лишь наполовину: он непременно должен был вернуться назад. Возможно, в этой его черте уже проявлялась природа той сложнейшей теории, которую он намерен был создать, отражавшей то, что практически находилось за пределами познаваемого. Скорее всего он никогда бы не взялся за осуществление столь долгосрочного и немыслимо трудного дела, если бы не был абсолютно уверен, что ВОЗВРАЩЕНИЕ ВСЕГДА ВОЗМОЖНО, хотя сам он, наверное, вернуться не сможет. Сама природа подобного «путешествия во времени», сходная с природой кругосветного плавания, заключала в себе возможность возврата. Нельзя дважды войти в одну и ту же реку, нельзя снова вернуться в тот же дом. Это он понимал; именно это было основой его мировоззрения. И все же как раз мимолетность мгновения помогла ему вывести основные положения своей теории, в рамках которой то, что способно меняться более всего, на самом деле оказывается более всего постоянным, вечным — и твое родство с рекою, родство реки с тобою обуславливают куда более сложные и куда более обнадеживающие отношения, чем простое отсутствие идентичности. МОЖНО снова вернуться домой, так утверждала его Общая Теория Времени, до тех пор, пока ты понимаешь, что дом есть некое место, где ты никогда еще не был.

А потому Шевек был рад вернуться домой — во всяком случае, это был единственный дом, какой он когда-либо имел или хотел иметь. Однако прежние друзья показались ему какими-то недоразвитыми. Он сильно повзрослел и возмужал за прошедший год. Правда, некоторые из девушек повзрослели не меньше, а может, даже больше, они стали женщинами. Но Шевек старался не переходить с ними границ обычного «трепа»; он пока что больше не хотел столь же сильной страсти — боялся попасть в силки, сплетенные собственными физиологическими порывами. Ему предстояло куда более важное дело. К тому же он заметил, что наиболее способные из девушек, вроде Роваб, тоже ведут себя хотя и непринужденно, но осторожно; в лабораториях и на лекциях, как и в общих комнатах отдыха, они держались как старые приятели, не более. Эти девушки, как и он, прежде всего хотели завершить образование, начать самостоятельную исследовательскую работу или найти такое применение своим знаниям, которое бы их удовлетворило, а уж потом, если возникнет такая потребность, рожать детей. Однако сексуальные забавы зеленых юнцов их тоже больше не удовлетворяли; им хотелось зрелости и в интимных отношениях, хотелось, чтобы отношения эти не были пусты и бесплодны; но пока что искать постоянных партнеров им было рановато.

Эти девушки стали Шевеку хорошими друзьями, доброжелательными и независимыми. А вот юноши его возраста, казалось, застряли где-то в самом конце собственного детства. Эти умненькие мальчики на деле были слишком ленивы и робки и, похоже, не желали занять себя ни работой, ни сексом. Если послушать Тирина, так секс — эту замечательную вещь — изобрел именно он, однако же все его интрижки были с девицами лет пятнадцати-шестнадцати, а от своих сверстниц он испуганно шарахался. Бедап, никогда не отличавшийся особым сексуальным аппетитом, принял вдруг поклонение одного студента с младшего курса, явно имевшего гомосексуальные наклонности. Бедап как бы свысока позволял этому «голубоватому юнцу» выполнять любое его желание, однако, похоже, сам ничего не воспринимал всерьез; он вообще стал чрезвычайно ироничным и замкнутым. Шевек чувствовал, что их былой дружбе пришел конец. Даже Тирин был слишком сосредоточен на себе самом да к тому же, чуть что, дулся.

Нет, восстанавливать с ними прежние отношения не хотелось. Одиночество, пожалуй, было Шевеку даже приятно, он всем сердцем приветствовал его. Ему и в голову не приходило, что сдержанность, которую проявили по отношению к нему Бедап и Тирин, была просто ответной реакцией; уже тогда мягкий, однако поразительно целостный и самодостаточный характер Шевека способен был создать собственное замкнутое поле, воздействие которого могли выдержать только очень волевые или очень преданные люди. Сам он заметил лишь, что у него наконец-то появилось достаточно времени для работы.

Еще на юго-востоке, привыкнув к постоянной физической нагрузке и перестав тратить свои мозги на сочинение дурацких шифрованных посланий, а собственное семя — на эротические сновидения, он наконец начал думать по-настоящему. А теперь у него появилось свободное время, и он мог всласть над тогдашними идеями поработать, решить, есть ли в них рациональное зерно.

Старшим преподавателем физики в Институте была Митис. Практически возглавляя кафедру, она не занималась распределением нагрузки и учебных курсов — все назначения в Институте каждый год автоматически перераспределялись, а на кафедре было еще около двадцати преподавателей — однако же Митис проработала здесь тридцать лет и славилась своим блестящим и цепким умом. Кроме того, вокруг нее как бы всегда было некое чистое с психологической точки зрения пространство — так, чем ближе горная вершина, тем меньше можно встретить там людей. Отсутствие пресловутых «любимчиков» и «подхалимов» очень помогло Шевеку сблизиться с Митис. Некоторым людям от рождения свойственна авторитетность; ведь известно, что даже императоры любят порой переодеться в простое, новое для них платье, но все равно свою «авторитетность» сохраняют.

— Я отослала вашу работу по физике относительных частот в Аббенай, Сабулу, — сообщила Митис Шевеку, как всегда, суховато и кратко, хотя вполне доброжелательно. — Хотите прочитать ответ?

Она подтолкнула к нему через стол мятый клочок бумаги, явно уголок, оторванный от какого-то большего листа. Там мелким корявым почерком было написано:

$$ts/2 \times (R)=0.$$

Шевек, навалившись на стол, так и впился глазами в заветную формулу. Глаза у него были очень светлые, и падавший из окна свет отражался в них так ярко, что они казались прозрачными, как вода. Ему было девятнадцать. Митис — пятьдесят пять. Она наблюдала за ним с нескрываемым сочувствием и восхищением.

— Как раз этого мне и не хватало, — сказал он. Его рука уже нащупала на столе карандаш и начала что-то царапать на листе бумаги. При этом на его бледном лице, обрамленном серебристыми мягкими волосами, постриженными очень коротко, вспыхнул румянец, даже уши покраснели.

Митис осторожно обошла вокруг стола и присела с ним рядом. У нее были отвратительные вены на ногах, и стоять ей было трудно. Это ее движение потревожило Шевека. Он поднял голову и с холодным раздражением посмотрел на нее.

— Я смогу закончить это через день-два, — сказал он.

— Сабул хотел бы посмотреть вашу работу, как только вы ее закончите.

Оба помолчали. Краска возбуждения сбежала со щек Шевека, он снова полностью сознавал присутствие старой Митис, которую очень любил.

— А почему вы послали ту мою работу Сабулу? — спросил он. — Да еще с такими серьезными недоделками! — Он улыбнулся; уже сама мысль о том, что пробел в его рассуждениях наконец-то закрыт, приносила ему необычайную радость.

— Я подумала, что он, возможно, сумеет определить, где вы ошиблись. Сама я не сумела. А еще я хотела, чтобы он понял, какую цель вы перед собой ставите... Знаете, он ведь предлагает, чтобы вы приехали к нему, в Аббенай.

Юноша не ответил.

— Вы хотите туда поехать?

— Пока нет.

— Я так и думала. Но поехать вы должны. Хотя бы из-за книг и из-за тех умных людей, с которыми там познакомитесь. Такие способности, как у вас, нельзя понапрасну разбазаривать в этой пустыне! — Митис внезапно заговорила очень страстно. — Это ваш долг — найти для себя наилучшее применение, Шевек. Не позволяйте обмануть себя нашей фальшивой уравниловкой. Вы будете работать с Сабулом; он очень хорош, он вас до смерти работой замучает. Но вы должны непременно остаться свободным и отыскать ту тропу, которой единственно хотите следовать. Доучитесь этот семестр и поезжайте. Но берегитесь там, в Аббенае! Особенно берегите свою свободу. Власть всегда зарождается в центре. А вы как раз туда и отправляетесь. Сабула я знаю не очень хорошо... однако ничего плохого о нем тоже сказать не могу. Но всегда помните: вам придется стать ЕГО ЧЕЛОВЕКОМ.

Притяжательные формы личных местоимений в языке правик встречались главным образом в случае эмфазы; в идиомах они практически не употреблялись. Малыш, конечно, вполне мог сказать «моя мама», но очень скоро обучался говорить просто «мама», а вместо «мои ручки» — просто «ручки» и так далее. Чтобы сказать на правик: «Это мое, а это твое», нужно было употребить выражение: «Я пользуюсь этим, а ты — тем». Заявление Митис: «Вам придется стать его человеком» поэтому звучало несколько странно. Шевек тупо посмотрел на нее.

— Вам предстоит большая работа, — твердо сказала Митис, глядя на него черными, сверкавшими, точно от гнева, глазами. — Вот и выполняйте ее! — И, ничего более не прибавив, она пошла прочь. Шевек знал, что в лаборатории ее ждут студенты, но все равно был смущен. Пытаясь найти ответ, он уставился на клочок бумаги, по-прежнему лежавший на столе, и решил, что Митис велела ему поскорее вернуться к тем уравнениям и найти ошибку. Лишь значительно позже, годы спустя, понял он, что она действительно имела в виду.

Накануне его отъезда в Аббенай друзья устроили в его честь пирушку. Такие вечеринки устраивались часто и по самым различным, в том числе незначительным поводам, но Шевек был поражен, с каким усердием все старались устроить ему «настоящие проводы». Совершенно не подверженный влиянию сверстников, он и не догадывался, что они его любят.

Похоже, многие немало дней экономили ради этой пирушки. В итоге количество еды оказалось просто невероятным. Заказ на выпечку был таков, что институтскому пекарю пришлось, забыв о своей подружке, остаться на весь вечер; он напек целую гору лакомств: душистых ва-

фель, маленьких тарталеток с перцем, которые особенно хороши с копченой рыбой, сладких жареных пирожков, сочных и сытных. Было множество различных фруктовых напитков — консервированные фрукты привозили с берегов Керанского моря, как и маленьких соленых креветок. Ну а хрустящего сладкого картофеля высились целые горы. От такого изобилия все пришли в веселое расположение духа, хотя некоторых потом тошнило, столько они всего съели, не удержавшись.

Был устроен концерт — скетчи и прочие смешные штуки, как отрепетированные заранее, так и чистый экспромт. Тирин в костюме «бедняка с Урраса» — который раздобыл в утильсырье — приставал ко всем, требуя «подать нищему милостыню». Эти выражения все знали еще по школьным урокам истории.

— Дайте мне денег, — подвывал он, тряся рукой у них перед носом. — Денег! Денег! Ну что же вы мне денег не даете? У вас что, нет ничего? Врете! Ах вы, грязные собственники! Спекулянты проклятые! Нет, вы только посмотрите на это угощение! Как же вы его купили, если у вас денег нет? — Потом он стал предлагать им купить его самого. — «Копите» меня, «копите» меня, задешево продаюсь, — ныл он.

— Не «копите», а «купите», — поправила его Роваб.

— Какая разница — «копите», «купите»! Ты погляди, какое у меня прекрасное тело! Неужели не хочешь? — И Тирин, сам себе что-то напевая под нос, помахал своими тощими бедрами и сладко закатил глаза. В конце концов его подвергли публичной экзекуции с помощью ножа для рыбы, и после этого он появился вновь уже в нормальной одежде. Кое-кто из студентов очень неплохо умел играть на арфе и петь, и вообще было много музыки, танцев, но еще больше разговоров. Они говорили столько, будто завтра им всем предстояло замолчать навсегда.

Ночь текла, и юные парочки порой удалялись ненадолго в отдельные комнаты, чтобы там быстренько предаться любовным утехам и вернуться к пирующим; кое-кто уже ушел спать; в конце концов за столом среди пустых чашек, рыбьих костей и крошек печенья осталось лишь несколько человек — все это им нужно было к утру убрать. Но до утра было еще далеко. И они разговаривали. Они точно лакомились этой бесконечной беседой, перескакивая с предмета на предмет. Бедап, Тирин, Шевек, еще несколько юношей, три девушки. Они говорили о ритме как пространственном выражении времени, о связи древнего учения Гармонии Сфер с современными физическими теориями. Они говорили о рекордных результатах последнего марафонского заплыва и о том, можно ли считать их детство счастливым. И пытались определить, что такое счастье...

— Страдание — это непонимание, непонятость, когда тебя понимают неверно, — сказал Шевек, наклоняясь вперед. Светлые глаза его горели. Он был по-прежнему худ, с крупными руками, с торчащими по-детски ушами, весь еще угловатый, но здоровый и сильный. На пороге своего возмужания он был очень хорош собой. Его светлые, почти серебристые волосы, как и у остальных, мягкие, прямые и длинные, были перехвачены на лбу повязкой. Только одна из них — девушка с высокими скулами и чуть приплюснутым носом — была пострижена очень коротко; темные волосы охватывали ее голову уютной пушистой шапочкой. Она смотрела на Шевека спокойно и серьезно. Губы у нее блестели — она все время лакомилась жареными пирожками, — а на подбородке прилипла крошка.

— Страдание действительно существует, — говорил Шевек, широко разводя руками. — Оно вполне реально. Его можно назвать непониманием, но нельзя притворяться, что его нет или же оно когда-либо исчезнет, перестанет существовать. Страдание — это условие нашего существования. И когда оно приходит, ты сразу его узнаешь. Как узнаешь и истину. Разумеется, правильно, что болезни лечат, что с голодом и несправедливостью борются — так поступают все «социальные организмы». Но ни один из них не может изменить природу бытия. Невозможно предотвратить страдания. Та или иная конкретная боль — да, подобное страдание можно и нужно устранять. Но не Великую Боль. Кое-какие страдания социума — ненужные страдания — общество облегчить способно. Но остальное останется. Корень страдания, его сущность. Все из присутствующих здесь рано или поздно познают горе; и если мы еще проживем пятьдесят лет, то все пятьдесят лет будем испытывать страдания. И в конце концов умрем. Лишь при этом условии мы появились на свет. Я боюсь жизни! Временами я... мне действительно бывает очень страшно!

Всякое счастье кажется мимолетным, незначительным. И все же интересно: а что, если все это сплошь непонимание — вся эта погоня за счастьем, боязнь страдания?.. Что, если, вместо того чтобы бояться страдания, избегать его, человек мог бы... пройти сквозь него и оказаться по ту сторону? Что-то ведь там есть — по ту сторону. Ведь страдает моя сущность, мое «эго», но есть, верно, и такое место, где сущность... перестает существовать? Не знаю, как это выразить... Но я уверен: реальную действительность, истину я познаю через страдания так, как не способен познать через покой и счастье; реальность боли — это еще не страдание. Если сможешь пройти через нее. Если ты сможешь вытерпеть ее до конца.

— Реальность нашей жизни — это любовь и солидарность, — сказала высокая девушка с мягкими бархатными глазами. — Любовь — вот истинное условие существования человека.

Бедап помотал головой:

— Нет. Шев прав. Любовь — это просто один из способов существования, и она может пойти не в ту сторону, может и вовсе пройти мимо. А вот боль никогда не ошибается. Но, таким образом, получается, что у нас просто выбора не остается — придется ее терпеть! И мы будем терпеть, хотим мы этого или нет.

Коротко стриженная девушка яростно замотала головой:

— Нет, не будем! Лишь один из сотни, один из тысячи всю жизнь живет счастливо, счастливо проходит весь путь от рождения до смерти. А остальные только притворяются, что счастливы, или же просто помалкивают. Все мы страдаем, но, может быть, недостаточно. А стало быть, страдаем зря.

— И что же нам делать? — спросил Тирин. — Бить себя по башке молотком каждый день, чтобы убедиться, что мы страдаем достаточно?

— А ведь ты создаешь культ страдания, Шев, — заметил еще кто-то. — Основная цель жизни, согласно учению Одо, носит характер позитивный, а не негативный. Страдания — это нарушение нормальной функции организма, за исключением тех физических страданий, которые предупреждают организм об опасности. А психологические и

социальные страдания носят абсолютно разрушительный характер.

— Что и подвигло Одо с особым вниманием отнестись к страданиям — своим собственным и других людей! — возразил Бедап.

— Но ведь весь принцип взаимопомощи основан именно на том, чтобы предотвращать страдания!

Шевек сидел на столе, болтая в воздухе своими длинными ногами; лицо его было напряжено и спокойно одновременно.

— А вы когда-нибудь видели, как умирает человек? — спросил он. Бóльшая часть видела — в интернате или же во время дежурства в больнице. И все, кроме одного, помогали хоронить умерших.

— Когда я жил в лагере на юго-востоке, я впервые увидел действительно страшную смерть. Что-то случилось с дирижаблем, и он во время полета вспыхнул и упал на землю. Они вытащили этого человека — на нем живого места не было, весь обожжен. Он еще часа два прожил... Спасти его было невозможно; ему совершенно ни к чему было так долго жить и мучиться, и не было никаких оправданий для того, чтобы заставлять его страдать еще два часа. Мы ждали, пока слетают за анестезирующими средствами, и я стоял возле него вместе с двумя девчонками — мы только что вместе грузили его дирижабль. Врача в лагере не было. Ему нечем было помочь! Можно было только оставаться с ним рядом. Он был в шоке, но сознание почти не терял. И его терзала ужасная боль, особенно руки — я не думаю, что он ощущал, что остальное его тело практически обуглилось; боль он чувствовал главным образом в руках. Его нельзя было даже коснуться или погладить, чтобы как-то утешить, — при любом прикосновении кожа и мясо его оставались у вас на пальцах, и он ужасно кричал. Ничего нельзя было для него сделать! Мы оказались совершенно беспомощны! Может быть, он сознавал, что мы рядом с ним, не знаю. Но ему от этого было ничуть не легче. Но самое страшное, что ничего нельзя было сделать! Я тогда понял... увидел, что в такую минуту ни для кого ничего нельзя сделать. Мы не можем спасти друг друга. И себя тоже. От смерти.

— И что же ты тогда ощутил? Полное одиночество и от-

чаяние! Ты отрицаешь возможность братских отношений, Шевек! — крикнула высокая девушка.

— Нет... нет, не отрицаю. Я только пытаюсь сказать, что, как мне представляется, братство реально существует и начинается... там, в разделенной боли, в разделении чужого страдания...

— Но тогда где же оно кончается?

— Не знаю. Пока еще не знаю.

Глава 3

УРРАС

Шевек все свое первое утро на Уррасе безнадежно проспал, а когда проснулся, то нос у него был заложен, в горле першило, и он без конца кашлял. Он решил, что простудился и даже одонийская гигиена не сумела перехитрить обыкновенный насморк, однако врач, который уже ждал, чтобы осмотреть его — это был весьма достойного вида пожилой мужчина, — сказал, что это больше похоже на аллергию, вроде сенной лихорадки, вызванную реакцией на пыль чужой планеты и пыльцу здешних цветущих растений. Он прописал какие-то таблетки и укол, который Шевек терпеливо перенес, а также предложил ему позавтракать, и Шевек с жадностью проглотил все, что было на подносе. Врач попросил его оставаться пока в помещении и ушел, а Шевек тут же начал знакомство с Уррасом, обходя комнату за комнатой.

Кровать была огромная, массивная, а матрас куда мягче, чем на койке в космическом корабле; постельное белье из множества предметов было, видимо, из шелка, одеяла толстые и теплые, и множество подушек, кучевыми облаками вздымавшихся на постели. На полу пружинивший под ногами ковер; также имелся комод из прекрасного полированного дерева со множеством ящиков и шкаф, достаточно большой, чтобы в нем разместить одежду для десяти человек. Потом Шевек перешел в огромную гостиную с камином, которую видел прошлой ночью; дальше была еще комната с ванной, умывальником и весьма изысканной конструкции унитазом; эта комнатка явно предназначалась только для его личного пользования, поскольку

из нее была дверь прямо в его спальню. Все эти элементы роскоши, а это, безусловно, были предметы роскоши, явно содержали не просто некий элемент эротичности и, по мнению Шевека, являли собой прямо-таки апофеоз излишества, «экскрементальности», как сказала бы Одо. В последней комнатке он провел почти час, по очереди включая все приборы и устройства и в результате став чистым до чрезвычайности. Особенно восхищало его то, что водой можно было пользоваться без ограничений. Вода лилась из крана, пока его не выключишь! Ванна была объемом никак не менее шестидесяти литров! А унитаз исторгал при смыве по крайней мере литров пять воды! В общем-то, ничего удивительного в этом не было. Поверхность Урраса на пять шестых была покрыта водой. Даже пустыни на полюсах этой планеты состояли из воды, точнее, изо льда. Никакой необходимости экономить воду, никаких засух... Но что происходит далее с тем, что спускается в канализацию? Шевек задумался и даже опустился возле унитаза на колени, сперва как следует обследовав сливной бачок. Они, должно быть, пропускают канализационные стоки сквозь фильтры на специальных установках... На Анарресе имелись прибрежные коммуны, где использовались подобные системы очистки воды при отвоевывании у моря и пустыни пригодной для обитания территории. Ему очень хотелось расспросить об этом кого-нибудь, однако впоследствии ему ни разу к этой теме подобраться не удалось. Он многие вопросы так и не успел выяснить за время своего довольно-таки долгого пребывания на Уррасе.

Помимо заложенного носа, ничто его не беспокоило, он чувствовал себя вполне здоровым и готовым действовать. В комнатах было настолько тепло, что он отложил пока процедуру одевания и бродил по ним нагишом. Потом подошел к окнам большой комнаты и постоял там, глядя на улицу. Комната находилась очень высоко над землей — он сперва даже удивленно отшатнулся от окна: непривычно было находиться на высоте нескольких этажей от земли. Примерно такой виделась земля с борта дирижабля; появлялось ощущение оторванности от земли, вознесения над нею, невмешательства в ее дела. Окна выходили прямо на рощу, окружавшую небольшое белое здание с изящной квадратного сечения башней, за которой открывалась обширная долина, целиком состоявшая из

возделанных полей — прямоугольных пятен различных оттенков зеленого цвета. Даже почти у горизонта, где зелень начинала отливать синевой, на фоне которой были заметны более темные поперечные или продольные линии — зеленые изгороди или деревья, — это была очень четко расчерченная сеть полей и огородов, похожая на схему нервной системы человека. И наконец, на самом горизонте виднелись холмы, обрамлявшие долину, — одна синяя складка за другой, мягкие темные волны под ровным, бледно-серым небом.

Более прекрасный вид трудно было себе представить! Мягкость и живость красок, смесь созданного рукой человека прямоугольного орнамента и пышных естественных контуров растений, разнообразие и гармония создавали впечатление сложного и единого целого; в природе ему такого еще наблюдать не приходилось, только иногда, очень редко и в малой степени — на некоторых безмятежных, задумчивых и прекрасных человеческих лицах.

В сравнении с этим любой пейзаж Анарреса — даже долина Аббеная и устье реки Не Терас — казался убогим: бесплодная, сухая земля, едва начавшая оживать под рукой человека. В пустынях юго-запада была, пожалуй, своя вольная красота простора, однако в ней чувствовалась враждебность человеку и безвременье. На Анарресе, даже там, где наилучшим образом было развито земледелие, возделанные поля напоминали скорее грубый набросок на грифельной доске желтым мелом в сравнении со здешним воплощенным чудом жизни, богатой как своим прошлым, так и будущим неистощимым.

Да, вот так и должна выглядеть настоящая планета людей, подумал Шевек.

И где-то за пределами этого синего и зеленого великолепия звучало пение: тоненький голосок высоко в небе выводил простую нежную мелодию, то громко, то замолкая. Что это? Чей это голос? Чья музыка в воздухе?

Шевек прислушался, дыхание прерывалось в груди от восторга.

В дверь постучали. Забыв, что так и не оделся, и не отрывая глаз от окна, Шевек сказал:

— Войдите!

Вошел какой-то человек со множеством пакетов. Да так и застыл в дверях. Шевек подошел к нему, назвал себя по

имени, как это было принято у них на Анарресе, и протянул руку для рукопожатия, как это принято было на Уррасе.

Человек — ему было лет пятьдесят, но лицо старое, покрытое морщинами, — что-то пробормотал неразборчиво и протянутую руку не пожал. Может быть, ему мешали бесчисленные свертки и конверты? Впрочем, он и не пытался от них избавиться. Смотрел он исключительно мрачно и, похоже, был чем-то сильно смущен.

Шевек, который полагал, что уже научился здороваться так, как принято на Уррасе, пребывал в замешательстве.

— Ну-ну, входите же! — повторил он и прибавил, поскольку эти урраст обожали всякие титулы и звания: — Входите, пожалуйста, господин... э-э-э?

Человек разразился новым потоком невразумительных восклицаний, бочком продвигаясь к спальне. Шевек уловил несколько знакомых слов, однако общий смысл сказанного так и остался для него загадкой. Он позволил этому типу пробраться в спальню, поскольку тот явно этого хотел. Может быть, он один из его соседей? Но ведь в спальне только одна кровать! Шевек, ничего не понимая, вернулся к окну, а незнакомец, поспешно проскользнув в спальню, чем-то там некоторое время стучал и гремел. В точности (предположил Шевек) как вернувшийся с ночной смены человек, который пользуется твоей постелью днем, — такое расписание иногда имело место во временно перенаселенных общежитиях Анарреса. Потом человек снова вышел из спальни и сказал что-то вроде «ну вот и все». Потом, как-то странно понурив голову, словно боялся, что Шевек, стоявший метрах в пяти от него, может его ударить, вышел. Шевек обалдело стоял у окна, медленно осознавая, что впервые в жизни ему кто-то поклонился.

Он прошел в спальню и обнаружил, что постель аккуратно застлана.

Медленно, задумчиво Шевек оделся. Он уже обувался, когда в дверь снова постучали.

Эти люди вошли совсем иначе: нормально. Словно имели полное право войти сюда или в любое другое место, когда захотят. Тот человек со свертками все время чего-то опасался, двигался бочком, стесненно, но тем не менее его внешность и одежда были Шевеку чем-то ближе, казались почти привычными, тогда как у новых посетителей!.. Тот, осторожный его гость вел себя странно, однако выглядел,

как житель Анарреса. Эти же четверо вели себя, как анаррести, но выглядели — со своими выбритыми физиономиями и черепами, — в своих пышных одеждах — точно представители иной космической расы.

Шевек наконец в одном из них умудрился признать Пае, а в остальных — тех физиков, с которыми провел вчерашний вечер. Он извинился и объяснил, что не успел запомнить их имена; они, улыбаясь, представились снова: доктор Чифойлиск, доктор Ойи и доктор Атро.

— Черт возьми! — воскликнул Шевек. — Неужели вы — Атро! Как же я рад вас видеть! — Он обнял старика за плечи и поцеловал в щеку, прежде чем успел подумать, что его братское приветствие, обычное на Анарресе, здесь, вполне возможно, выглядит неприличным или вообще неприемлемым.

Атро, однако, тоже сердечно обнял Шевека, глядя ему в лицо затянутыми влажной пленкой серыми глазами. Шевек понял, что старик практически слеп.

— Мой дорогой Шевек, — сказал он, — я тоже очень, очень рад! Добро пожаловать в А-Йо, на Уррас, домой!

— Ах, сколько лет мы писали друг другу письма! Сколько лет разбивали в пух и прах теории друг друга!

— Вам это всегда удавалось лучше, — заметил Атро. — Вот, держите-ка, я кое-что вам принес. — Старик пошарил в карманах. Под бархатной университетской мантией у него был еще пиджак, под пиджаком — жилет, под жилетом — рубашка, а подо всем этим, похоже, еще слой одежды, и не один! И во всем, не говоря уж о брюках, имелись карманы! Шевек прямо-таки завороженно смотрел, как Атро роется в них: в каждом кармане что-то лежало, явно полезное. Наконец он извлек — из шестого или седьмого по счету кармана — небольшой куб желтого металла на подставке из полированного дерева. — Вот! — сказал он торжественно, указывая на куб. — Это приз Сео Оен, который, как известно, достался вам. А деньги уже переведены на ваш счет. Конечно, вы на девять лет опоздали, но лучше поздно, чем никогда. — Руки у Атро дрожали, когда он вручал Шевеку приз Сео Оен.

Куб был тяжелый: он оказался из чистого золота. Шевек не знал, куда его деть.

— Вы как хотите, молодые люди, — сказал Атро, — а я сяду. — И все тут же плюхнулись в глубокие мягкие кресла

(их Шевек уже успел как следует рассмотреть, удивленный их обивкой — каким-то не имеющим переплетения нитей материалом коричневого цвета, который на ощупь больше всего походил на кожу). — Сколько вам тогда было лет, Шевек?

Атро был самым старым из ныне живущих физиков Урраса. В нем ощущалось не только достоинство старейшего, но и туповатая самоуверенность человека, который привык ко всеобщему уважению. Ничего нового, подумал Шевек. Этот тип «авторитетного ученого» был ему уже хорошо знаком. И в конце концов было даже приятно, что к нему наконец обращаются просто по имени.

— Когда я завершил «Принципы»? Двадцать девять.

— Двадцать девять? Господи! Это значит, что минимум за последние сто лет вы самый молодой из лауреатов премии Сео Оен! Вас еще на свете не было, когда я получил свою премию — а ведь мне тогда уже стукнуло шестьдесят!.. А сколько вам было, когда вы впервые написали мне?

— Около двадцати.

Атро насмешливо фыркнул:

— А я вас за сорокалетнего принял!

— Ну а каков ваш Сабул? — поинтересовался Ойи. Он был совсем маленького роста, ниже даже, чем обычный, средний уррасти, хотя все они казались Шевеку ужасными коротышками. У Ойи было плоское ласковое лицо и миндалевидные, абсолютно черные глаза. — Был такой период — лет шесть-семь, — когда вы совершенно перестали писать нам, тогда как Сабул продолжал поддерживать с нами связь; однако в радиодебатах он никогда не участвовал. И нам всегда страшно хотелось узнать, каковы отношения между вами...

— Сабул — глава физического факультета в Аббенае, — сказал Шевек. — Я с ним много работал.

— Все ясно! Старший соперник, ревнивый, раздраженный вашими успехами... Мы так и подумали с самого начала. Вряд ли стоило задавать столь бестактный вопрос, Ойи, — довольно резко сказал четвертый их собеседник, Чифойлиск. Это был человек средних лет, смуглый, плотный, с тонкими красивыми руками, не знающими физического труда. Он, единственный из всех, не до конца выбрил себе лицо: на подбородке у него поблескивала бородка того же серо-стального цвета, что и волосы на голове. —

Вы знаете, Шевек, не стоит притворяться, что все ваши братья-одонийцы исполнены горячей братской любви друг к другу, — сказал он. — Человеческая природа везде одинакова.

Ответное молчание Шевека не вызвало у присутствующих замешательства только потому, что он вдруг неудержимо расчихался.

— Ох, простите, у меня даже носового платка нет, — извинился он, вытирая глаза.

— Возьмите мой, — предложил Атро и протянул ему белоснежный платок, извлеченный из одного из своих бесчисленных карманов. Шевек взял платок, и тут в душе его ожило одно незначительное, но болезненное сейчас воспоминание — как его дочь Садик, маленькая темноглазая девочка, говорит: «Я могу поделиться с тобой своим платком». Пытаясь прогнать это очень для него дорогое, но невыносимо мучительное воспоминание, Шевек заставил себя улыбнуться и сказал:

— У меня аллергия на вашу планету. Так доктор говорит.

— Господи, неужели вы все время будете так чихать? — посочувствовал старый Атро.

— А разве ваш человек еще не приходил? — спросил Пае.

— Мой человек?

— Слуга. Предполагалось, что он принесет вам кое-что из необходимых вещей. В том числе носовые платки. Вполне достаточно на первое время — пока вы не сможете все купить сами. Правда, ничего особенного, боюсь, мы вам предложить не смогли — готовое платье для мужчины вашего роста подобрать довольно сложно!

Когда Шевеку удалось вычленить эту мысль из общего потока речи Пае (тот говорил очень быстро, сливая одно слово с другим, и его плавная, мягкая, сладкая речь вполне соответствовала его красивому, тоже немного сладкому лицу и артистичным манерам), он сказал:

— Как это любезно с вашей стороны! Я чувствую... — Он посмотрел на Атро. — Я ведь, как вы понимаете, НИЩИЙ, — это он сказал, обращаясь к старому Атро примерно тем же тоном, что и доктору Кимое на «Старательном», — денег я с собой привезти не мог, мы ими не пользуемся. О подарках речь не шла — у нас нет ничего такого, чего не было бы у вас. Так что я явился сюда, как примерный одониец — то есть «с пустыми руками».

Атро и Пае в один голос заверили его, что он гость, даже и вопроса не может стоять ни о какой плате или подарках, это для них удовольствие — принимать его.

— И кроме того, — вставил Чифойлиск, как всегда довольно кислым тоном, — по счетам все равно платит правительство А-Йо.

Пае метнул в его сторону острый взгляд, однако Чифойлиск и бровью не повел; он смотрел прямо на Шевека с каким-то вызовом, однако Шевек так и не понял, что именно отразилось на его физиономии в этот момент: то ли желание предупредить о чем-то, то ли намек на соучастие — уж не в преступлении ли?

— В этом вся косность вашего мышления, мой дорогой представитель уважаемого государства Тху, — сказал старый Атро Чифойлиску и презрительно хмыкнул. — Но неужели вы, Шевек, хотели сказать, что не привезли с собой ни одной новой работы? И никаких записей? А я-то надеялся получить еще одну книгу, которая совершила бы очередную революцию в физике, и полюбоваться, как наши самоуверенные юнцы будут стоять из-за нее на ушах. Я и сам стоял на ушах, когда прочел впервые ваши «Принципы»... Вы над чем в последнее время работали?

— Ну, я читал работы Пае... доктора Пае... по поводу блокирующей вселенной, а также Парадокса и Относительности...

— Все это прекрасно, разумеется, Сайо — наша восходящая звезда, и меньше всего в этом сомневается он сам, верно, Сайо? Однако какое это имеет отношение к стоимости сыра в мышеловке? Где ваша Общая Теория Времени?

— У меня в голове, — сказал Шевек с широкой ясной улыбкой.

Воцарилось недолгое молчание.

Ойи спросил, видел ли он работы по теории относительности, написанные инопланетным автором, неким Айнзетайном с Земли. Шевек с этими работами знаком не был. А здесь ими очень увлекались все, за исключением Атро, который уже по возрасту давно пережил способность чем-либо увлекаться. Пае сбегал в свою комнату и принес Шевеку копию перевода той работы, которая вызывала наибольший интерес.

— Написано несколько веков назад, и столько новых идей! — восхитился он.

— Возможно, — обронил Атро. — Однако ни одному из этих инопланетян так и не удалось постигнуть суть нашей физической науки. Хайнцы называют ее материализмом, а земляне — мистицизмом, но и те, и другие пасуют перед ней. Не увлекайтесь слишком фантазиями чужеземцев, Шевек: они способны увести вас в сторону. Для нас у них ничего нет. Каждый зверь свою нору стережет, как говаривал мой отец. — Он снова насмешливо хмыкнул и поудобнее устроился в кресле. — Пойдемте-ка лучше прогуляемся по Роще. Ничего удивительного, что у вас нос так заложен — вы ведь его на улицу высунуть боитесь.

— Врач сказал, чтобы я три дня не выходил из дома. Что я могу... как это? Заразиться? Стать заразным?

— Никогда не следует обращать внимание на то, что говорят врачи, дорогой мой.

— Но, возможно, в данном случае как раз стоило бы прислушаться к советам медиков, — осторожно заметил Пае.

— Тем более что врач к вам, Шевек, прислан правительством А-Йо. Я верно говорю? — В голосе Чифойлиска звучала явная угроза.

— И притом это самый лучший врач, какого они смогли найти. В этом я уверен, — без улыбки согласился Атро и вышел из комнаты, более не убеждая Шевека пойти прогуляться. Чифойлиск последовал за ним, а двое более молодых ученых — Пае и Ойи — остались с Шевеком и еще довольно долго беседовали с ним о физике.

С огромным удовлетворением, с невыразимо приятным чувством узнавания, понимания, что все именно так, как и должно быть, Шевек — впервые в жизни! — наслаждался беседой с равными.

Митис, хотя и была прекрасным преподавателем, оказалась все же не способна последовать за ним в те новые области теории, куда он при ее непосредственной поддержке углубился. Граваб была единственным человеком, кто мог оценить его изыскания, кто знал и понимал не меньше, чем он сам, но они с Граваб встретились слишком поздно, в самом конце ее жизненного пути. А потом Шевек работал со многими талантливыми людьми, однако никогда не занимал постоянной должности в Институте, и у него не хватало ни времени, ни сил, ни возможностей, чтобы увести этих людей за собой достаточно далеко, увлечь их своими исследованиями; они вязли в старых проблемах классической физики. Среди коллег у него никогда не было равных. Здесь же, в царстве всеобщего неравенства, он наконец их встретил.

И испытал огромное облегчение, освобождение от интеллектуального одиночества. Физики, математики, астрономы, логики, биологи — всех можно было найти здесь, в Университете; и все охотно приходили к нему, или же он — к ним, и они беседовали о чем угодно, и в этих беседах рождались новые миры. Природа всякой новой идеи такова, что ею необходимо сперва поделиться: описать ее кому-то, обговорить вслух и только потом попытаться воплотить в жизнь. Идеи, как трава, требуют света и, подобно народам, расцветают за счет смешения кровей. Хороший ковер становится только лучше, когда его потопчут ногами многие.

Даже в самый первый день в Университете, во время беседы с Ойи и Пае, Шевек понял, что нашел то, к чему давно стремился, о чем страстно мечтал с детства, когда они с Тирином и Бедапом допоздна засиживались за «умными» разговорами, поддразнивая и подначивая друг друга и тем стимулируя еще более отважный полет мысли. Он живо припомнил некоторые из этих ночей и Тирина, говорящего, что если б они знали, ЧТО в действительности представляет из себя Уррас, то, возможно, кому-то из них и захотелось бы туда отправиться... Ах, как он, Шевек, был тогда потрясен этими словами! И, разумеется, сразу набросился на Тирина, и бедняга Тир тут же отступил; он всегда отступал... и всегда был прав!..

Разговор давно прервался. Пае и Ойи вежливо молчали.

— Простите, — сказал Шевек, — голова страшно тяжелая.

— А как вы ощущаете здешнюю силу тяжести? — спросил Пае с очаровательной улыбкой человека, который, точно ребенок-вундеркинд, всегда рассчитывает на свое обаяние и ум.

— Я ее не замечаю, — ответил Шевек. — Только, пожалуй, вот здесь... Как называется эта часть тела?

— Колени... коленные чашечки.

— Да, в коленях. Что-то вроде усталости. Хотя двигаться не мешает. Но я привыкну. — Он посмотрел на Пае, потом на Ойи. — Вы знаете, меня очень интересует один вопрос... Но я, право, не хотел бы никого обидеть...

— Не беспокойтесь, никого вы не обидите, доктор! — заверил его Пае.

— Я не уверен, что вы вообще знаете, как это делается, — поддержал приятеля Ойи. Он был не такой сладкий «симпатяга», как Пае. Даже говоря о физике, он будто что-то утаивал, скрывал — он вообще был очень сдержанный, замкнутый, хотя за этим — и Шевек отчетливо чувствовал это — была некая надежность, то, чему можно верить. Тогда как за очарованием Пае... нет, решительно невозможно было понять, что там, внутри этой блестящей оболочки... Ладно, неважно, решил Шевек. Буду вести себя так, будто верю им всем. Придется, ничего не поделаешь.

— Где ваши женщины? — прямо спросил он.

Пае рассмеялся. Ойи улыбнулся, и оба поинтересовались:

— В каком смысле?

— Во всех! Вчера я познакомился с несколькими на приеме — их там было не более десяти. И сотни мужчин! И ни одна из тех женщин, по-моему, к ученым не имела ни малейшего отношения. Кто же они были?

— Жены. Между прочим, одна из них была моей женой, — сказал Ойи со своей затаенной улыбкой.

— Но где же другие женщины?

— Ах, доктор, в этом вопросе ничего сложного нет, — быстро ответил Пае. — Вы просто скажите, какие женщины вам больше нравятся, и нет ничего легче: вам доставят именно таких.

— Здесь ходят весьма занятные слухи насчет обычаев анаррести, однако, по-моему, у нас с вами практически нет расхождений во взглядах, — заметил Ойи.

Шевек понятия не имел, что они оба имеют в виду. Он поскреб в затылке:

— Так значит, здесь все ученые — мужчины?

— Ученые? — с недоверием переспросил Ойи.

Пае покашлял и неуверенно заговорил:

— Ну да, ученые. Да, разумеется! Все они мужчины. В школах для девочек есть, правда, некоторое количество преподавателей-женщин. Однако чаще всего без университетского диплома.

— Почему же?

— Ну, видимо, потому что математика им не по зубам, — улыбнулся Пае. — Женщины плохо приспособлены для абстрактного мышления, они ведь совсем иные, чем мы, мужчины, вы и сами это прекрасно понимаете. Женщины способны думать только о том, что связано с детородными органами! Разумеется, всегда можно найти отдельные исключения, попадаются страшно умные женщины, но... абсолютно фригидные.

— А вы, одонийцы, разрешаете женщинам заниматься наукой? — спросил Ойи.

— Ну а... Конечно! Среди них немало талантливых ученых.

— Надеюсь, не так уж много?

— Примерно половина всех наших ученых — женщины.

— Я всегда говорил, — сказал Пае, — что девушки, правильно технически обученные, могли бы в значительной степени снять нагрузку с мужчин в любой лаборатории. Женщины действительно порой куда ловчее и быстрее, особенно на конвейере или в серийных, повторяющихся операциях, к тому же они более послушны и понятливы — им не так быстро все надоедает. Мы могли бы высвобождать значительно больше мужчин для творческой работы, если бы в определенных областях использовали женщин.

— Только не в моей лаборатории! — сказал Ойи. — Пусть лучше остаются на своем месте.

— А вы находите, что любая женщина способна к интеллектуальной творческой деятельности, доктор Шевек? — спросил Пае.

— Естественно. Более того, именно женщины-то меня и «откопали»! Митис — в Северном Поселении — была моим первым настоящим учителем, а Граваб — о ней-то вы слышали, я полагаю?..

— Граваб была женщиной? — вырвалось у потрясенного Пае. Он даже рассмеялся.

Ойи выглядел обиженным и совершенно неубежденным.

— Разумеется, по вашим именам судить трудно, — холодно заметил он. — Возможно, вы сознательно выбираете такие имена, которые не дают никакого представления о половых различиях...

— Одо, между прочим, была женщиной, — мягко возразил Шевек.

— Ну вот! Конечно! — воскликнул Ойи. Он не пожал плечами, хотя слова его звучали так, будто он это сделал.

Пае смотрел уважительно и кивал — в точности, как когда слушал бормотание старого Атро.

Шевек видел, что затронул в этих людях некую неличностную враждебность к противоположному полу, чрезвычайно глубоко коренившуюся в их сознании. Очевидно, и эти представления, и округлые формы мебели на космическом корабле — свидетельство того, что женщина существует здесь только для удовлетворения сексуальных потребностей и деторождения, этакая красивая бессловесная тварь, а порой и фурия — зато в золоченой клетке... Нет, он не имеет права дразнить их. Они не знают иных отношений, кроме обладания. И не понимают, что сами тоже являются объектом обладания.

— Красивая умная женщина, — сказал Пае, — для нас объект вдохновения! Самое ценное на земле.

Шевек почувствовал себя очень неуютно. Он встал и подошел к окну.

— Ваш мир так прекрасен, — сказал он. — Я мечтаю посмотреть его как следует! Но пока я вынужден оставаться в помещении, не принесете ли вы мне каких-нибудь книг?

— Ну разумеется, доктор! Какие именно книги вас интересуют?

— Исторические! Желательно с иллюстрациями. Или романы, рассказы... Любые. Может быть, даже для детей. Видите ли, я слишком мало знаю о вашей планете. У нас были в школе уроки, посвященные Уррасу, но они главным образом касались эпохи Одо. А ведь до этого прошло не меньше восьми с половиной тысячелетий! Да и со времен Заселения Анарреса уже полтора века миновало. И с тех пор в отношении Урраса мы полные невежды! Ничего не знаем и не желаем знать о вас. Как и вы о нас, впрочем. А ведь вы — наша история. А мы, возможно, — ваше будущее. Я хочу учиться, а не отворачиваться от знаний. Именно по этой причине я и прилетел сюда. Мы должны как следует узнать друг друга. Мы ведь не примитивные существа. И наша мораль, наше мировоззрение никак не могут иметь трайбалистский характер. Просто не могут! Незнание друг друга в нашем случае совершенно недопустимо, оно может явиться источником крупных бед. Так что я прилетел сюда учиться, узнать и постараться понять вас.

Шевек говорил очень искренне. Пае с энтузиазмом поддержал его:

— Совершенно справедливо! Мы полностью разделяем и поддерживаем все ваши начинания, доктор Шевек!

Ойи, глядя на Шевека своими непроницаемо-черными миндалевидными глазами, спросил осторожно:

— Значит, вы прибыли главным образом как эмиссар своей страны?

Шевек ответил не сразу. Он отошел к камину и присел на мраморную скамью, которую уже считал «своей». Ему нужна была такая «собственная» территория. Он чувствовал, что сейчас нужно быть очень осторожным. Но еще сильнее он ощущал ту потребность, что перенесла его через черное пространство космоса — потребность в общении, желание разрушить проклятые стены.

— Я прибыл, — неторопливо начал он, — как старший член нашего Синдиката Инициативных Людей; это мы вели переговоры с Уррасом по радио в течение двух последних лет. Однако, как вам, должно быть, известно, я не посол, не обладаю никакими полномочиями и не представляю никакие государственные институты. Надеюсь, вы приглашали меня сюда, понимая все это?

— Безусловно, — подтвердил Ойи. — Мы приглашали вас — знаменитого физика Шевека — с одобрения нашего правительства и Совета Государств Планеты. Здесь вы находитесь как частное лицо, как гость Университета Йе Юн.

— И очень хорошо!

— Однако мы не были уверены, получите ли вы одобрение на эту поездку со стороны... — он заколебался.

— Моего правительства? — с улыбкой подсказал Шевек.

— Мы знаем, что формально на Анарресе никакого правительства не существует. Однако там, очевидно, все-таки есть какая-то администрация? И мы полагаем, что та группа людей, которая вас послала, этот ваш Синдикат, представляет собой некую фракцию, возможно, революционную...

— На Анарресе все революционеры, Ойи... У нас сеть различных учреждений, занимающихся охраной и управлением, называется Координационным Советом по Производству и Распределению; в него входят представители всех синдикатов и федераций, а также частные лица. На

Анарресе нет такой власти, которая могла бы поддержать меня или, напротив, помешать мне. А информационный отдел КСПР может лишь сообщить людям, например, членам нашего Синдиката, то общественное мнение, которое о нас сложилось, — и мы сможем определить, какое место занимаем в сознании народа. Вы это хотели узнать? Что ж, в таком случае признаюсь: я и мои друзья из Синдиката чаще всего получают в нашем обществе негативную оценку. Большая часть населения Анарреса ничего не желает знать об Уррасе; они его боятся и не хотят иметь ничего общего с «собственниками». Простите, если я грубо выражаюсь! Здесь ведь то же самое по отношению к нам — по крайней мере среди значительной части вашего населения — верно? Презрение, страх, трайбализм. Вот я и прилетел сюда, чтобы все это постепенно переменить.

— И действуете исключительно по собственной инициативе, — подчеркнул Ойи.

— Это единственная инициатива, которую я признаю, — улыбнулся Шевек, оставаясь совершенно серьезным.

Следующие два дня он провел в беседах с учеными, приходившими навестить его, читал книги, которые принес ему Пае, а порой просто подолгу простаивал у окна и смотрел, как в широкую долину неторопливо приходит лето. Теперь он знал названия многих пернатых певуний, нежно переговаривавшихся в небесной выси, знал, как они выглядят, благодаря картинкам в книге, но тем не менее, стоило ему услышать их пение или шорох крыльев, как он застывал, очарованный, точно ребенок.

Он ожидал, что будет чувствовать себя на Уррасе совершенно чужим, потерянным, никому не нужным — но ничего подобного не произошло. Разумеется, по-прежнему было множество вещей, которых он не понимал; он с первого взгляда убедился, что здесь для него слишком много непонятного: невероятно сложные общественные структуры Урраса, различные нации, классы, касты, культы, обычаи и бесконечно долгая, полная драматизма и подлинных ужасов история. Да и каждый новый человек, с которым он знакомился, являл собой очередную головоломку, средоточие неожиданностей. Однако урраст вовсе не были грубыми, холодными эгоистами, как он когда-то

предполагал, — они были столь же сложны и разнообразны, как культура их планеты, как их природа. И они, безусловно, были умны и добры. Они относились к нему как к брату, они делали все возможное, чтобы он не чувствовал себя здесь одиноким, потерянным, чужим. Чтобы он чувствовал себя как дома. И это действительно было так! Ему было здесь — легко! Все это — прозрачность воздуха, косые солнечные лучи на склонах холмов, даже несколько излишняя сила тяжести, которую он ощущал всем телом — убеждало его, что здесь действительно его дом, колыбель его народа, что красота этого мира принадлежит ему по праву.

Тишина, бесконечная тишина Анарреса. Он часто думал о ней по ночам. Там никогда не пели птицы. Там не было иных голосов, кроме голосов людей. Молчащая природа. Бесплодная земля.

На третий день старый Атро принес ему целую кипу газет. Пае, который чаще других составлял Шевеку компанию, ничего не сказал Атро, но, когда старик ушел, заявил:

— Все это мусор, доктор Шевек! Почитать, конечно, занятно, но только не верьте ничему, что прочтете в этих газетах.

Шевек взял самую верхнюю. Печать была плохая, бумага желтая, грубая. Впервые на Уррасе он держал в руках грубо сделанную вещь. Очень похоже на бюллетени КСПР или на региональные отчеты, которые на Анарресе выполняли функцию газет. Однако стиль здешних газет весьма сильно отличался от тех бюллетеней — практических, основанных на фактическом материале. Слишком много эмоций, восклицательных знаков и картинок. Он тут же наткнулся на собственную фотографию — сразу после приземления, в тот момент, когда Пае пожимал ему руку. На фотографии Шевек глядел хмуро. «Первый человек с луны!» — гласил огромный заголовок над фотографией. Заинтересованный, Шевек стал читать дальше:

«Это его первый шаг по нашей планете! Он наш первый гость со времен Заселения Анарреса, то есть за последние 170 лет. Доктор Шевек сфотографирован во время своего прибытия на Уррас с рейсовым грузовым кораблем. Это известный ученый, лауреат премии Сео Оен, которой был удостоен за служение делу человечества. Доктор Шевек

согласился занять место профессора в Университете Йе Юн — такой чести никогда еще не удостаивался ни один из инопланетян. На вопрос о том, каковы были его чувства, когда он впервые увидел Уррас вблизи, знаменитый физик ответил: «Для меня великая честь — быть приглашенным на вашу прекрасную планету. Надеюсь, что началась новая эра мирных дружеских отношений между планетами созвездия Кита, и отныне Уррас и Анаррес будут двигаться вперед вместе, как и подобает братьям...»

— Но я же ничего подобного не говорил! — возмутился Шевек, глядя на Пае.

— Разумеется, нет! Мы этих газетчиков даже близко к вам не подпустили! Все это их выдумки. Они вполне способны написать то, чего вы не только никогда не говорили, но и никогда не намерены были говорить. И при этом вы вообще могли все время молчать или даже просто отсутствовать в данном конкретном месте.

Шевек прикусил губу.

— Ну хорошо, — сказал он наконец. — Вообще-то если бы я тогда действительно решил что-то сказать, то примерно нечто подобное и сказал бы... Но что это за «созвездие Кита»?

— Это земляне называют наши планеты «созвездием Кита». Наверное, этим словом — «Кит» — они обозначают наше солнце. Пресса недавно подхватила этот термин и теперь пользуется им вовсю. Знаете, незнакомое слово будит фантазию обывателя.

— Значит, в «созвездие Кита» входят и Уррас с Анарресом?

— Видимо, — нехотя сказал Пае с подчеркнутым безразличием.

Шевек продолжил знакомство с местной прессой. Он прочел, что, оказывается, похож на великана ростом с башню; что он — вы только представьте себе! — не бреет волосы и является обладателем целой гривы (интересно, что означает слово «грива»?) седеющих волос; что его размеры — 37, 43 и 56; что он написал большую работу по физике, которая называется «Принципы Одновременности (в зависимости от уровня газеты иногда встречалось и «ПринцЕпы АдноврИменности»); что он является добровольным посланником одонийского правительства (интересно?) Анарреса; что он вегетарианец и что, как и все жители Анарреса, НИЧЕГО НЕ ПЬЕТ... Последнее утверждение его доконало, и он смеялся так долго, что заболели бока.

— Черт возьми, ничего не скажешь — воображение у них работает! Они, видно, считают, что мы живем за счет испарений, как мхи на скалах?

— Они хотели сказать, что вы не употребляете спиртных напитков, — сказал Пае, тоже смеясь. — Единственное, по-моему, что всем известно об одонийцах. Между прочим, это действительно так?

— Некоторые умудряются получать с помощью перегонки спирт из обработанных ферментами корней деревахолум и пьют эту гадость — утверждают, что в результате возникает непередаваемая игра воображения, куда лучше аутогипноза. Но большинство все же предпочитает последнее — научиться этому несложно, и никаких заболеваний это не сулит. А что, здесь таких «любителей» много?

— Выпивки? Да, весьма. А о заболеваниях я ничего не знаю. Какое именно вы имели в виду?

— Алкоголизм, так, по-моему, оно называется.

— А, понятно... Но скажите, а как у вас, на Анарресе, развлекается рабочий люд? Когда после тяжелой работы хочет расслабиться, уйти от повседневных забот? С кем-нибудь провести ночь, наконец?

Шевек тупо смотрел на него:

— Ну, мы... не знаю. Возможно, от наших забот никуда не уйдешь...

— Странно, — сказал Пае и обезоруживающе улыбнулся.

Шевек снова углубился в газеты. Одна из них была на неизвестном ему языке; другая использовала совершенно незнакомую письменность. Первая издавалась в государстве Тху, пояснил Пае, а вторая — в Бенбили, в западном полушарии. Газета из Тху отличалась прекрасным качеством печати и весьма скромными размерами; Пае сказал, что это «правительственная газета».

— Здесь, в А-Йо, образованная часть населения черпает информацию главным образом благодаря телефаксу, радио, телевидению и серьезным еженедельникам с обзорами новостей. А ежедневные газеты читают в основном представители низших классов — они и написаны полуграмотными людьми для таких же полуграмотных. Да вы уже и сами в этом убедились. У нас в А-Йо полная свобода прессы, что неизбежно приводит к тому, что мы получаем груды всякого газетного мусора. Газета из Тху сделана значи-

тельно более профессионально, однако в ней сообщается только то, что разрешено их Центральным Президиумом. Там цензура работает вовсю. Государство — это все, и все — для государства. Вряд ли подходящее место для одонийца, верно?

— А это что за письменность?

— Вот тут я, честное слово, почти ничего сообщить вам не смогу. Бенбили — страна довольно отсталая. И там без конца происходят какие-то революции.

— Однажды мы получили из Бенбили сообщение — на той волне, которой пользуется наш Синдикат. Это произошло незадолго до моего отъезда... Эта группа людей называла себя одонийцами. А здесь, в А-Йо, есть подобные группы?

— Я о них никогда не слышал, доктор Шевек.

Стена. Шевек сразу узнал ее. Стеной служило обаяние этого молодого человека, его очаровательные манеры, его равнодушие.

— По-моему, вы меня боитесь, Пае! — сказал он вдруг резко.

— Боюсь вас, доктор?

— Потому что я — уже самим своим существованием — делаю необязательным доказательство необходимости государственной машины. Однако бояться меня не стоит. Я вас не съем, Сайо Пае. Вы же знаете, что лично я вполне безобиден... Послушайте, я не «доктор». Мы не употребляем титулы и звания. Меня зовут просто Шевек.

— Я знаю. Простите, доктор Шевек. Видите ли, на нашем языке это звучало бы неуважительно. Так нельзя обращаться к другим. Это неправильно! — Он извинялся, а глаза победоносно блестели: он был уверен, что ему все сойдет с рук.

— Неужели вы не можете воспринимать меня как равного? — спросил Шевек, наблюдая за ним без возмущения, без печали.

В кои-то веки Пае смутился.

— Но, доктор... вы же все-таки всемирно известная личность...

— А впрочем, с какой стати вам менять из-за меня свои традиции и привычки, — продолжал Шевек, как бы не слыша его. — В общем, неважно. Я просто подумал, что вам, быть может, приятно было бы избавиться от излишних церемоний, вот и все.

Три дня вынужденного сидения в помещении переполнили Шевека энергией, и, когда его наконец «выпустили на свободу», он буквально измотал сопровождающих, желая увидеть как можно больше и все сразу. Его водили по Университету, который уже сам по себе был равен вполне приличных размеров городу — шестнадцать тысяч студентов, множество факультетов. С общежитиями, комнатами отдыха, театрами, залами и тому подобным он не слишком отличался от студенческого городка одонийцев на Анарресе, разве что здания здесь были очень стары, помещения отличались невероятной роскошью, ни одного женского лица увидеть было невозможно, да и организован Университет Йе Юн был не по принципу федерации, а по принципу иерархии. И все-таки, думал Шевек, здесь почему-то сохранилось некое ощущение коммуны, научного сообщества. Ему все время приходилось напоминать себе, что он не дома.

Его возили за город, взяв напрокат автомобиль — обычно очень красивый и элегантный. На дорогах машин в целом было немного; взять машину напрокат было дорого, и совсем уж немногие владели частными автомобилями, поскольку при покупке (и за содержание) приходилось платить огромный налог. Подобные предметы роскоши, будучи разрешены совершенно свободно, непременно привели бы к невосстановимому истощению природных ресурсов или же к полному загрязнению окружающей среды, если бы не строжайший контроль в плане их распределения и налогообложения. Сопровождавшие Шевека говорили об этом не без гордости. А-Йо в течение многих веков занимало первое место среди государств планеты в плане экологического контроля и экономного расходования природных ресурсов. Эксцессы Девятого Тысячелетия стали древней историей; единственным их неизбывным последствием осталась нехватка некоторых металлов, которые, к счастью, можно было импортировать с луны.

Путешествуя на машине или на поезде, Шевек видел деревни, фермы, города, укрепленные замки, сохранившиеся со времен феодализма; восхищался разрушенными башнями Ае, древней столицы А-Йо, и на севере — острыми белыми пиками гряды Мейтеи. Красота этой земли и благополучие ее народа не переставали удивлять его. Да, его гиды были правы: урраси умеют хозяйничать в своем

мире. В детстве Шевека учили, что Уррас — это гноящаяся масса пороков, несправедливостей и излишеств, всего ненужного нормальному человеку, «экскрементального». Однако все люди, которых он встречал на этой планете, даже в самых маленьких провинциальных деревушках, были хорошо одеты, здоровы и сыты и вопреки его собственным ожиданиям вполне деятельны и изобретательны. Они не слонялись тупо без дела, ожидая, когда им что-то прикажут. В точности как у них, на Анарресе, люди постоянно сами находили себе занятие, им вечно что-нибудь нужно было сделать. Это озадачило его. Он полагал, что если человека лишить основного побудительного мотива — собственной инициативы, желания созидать — и заменить его внешней мотивацией и принуждением, то человек этот станет работать лениво и равнодушно. Однако ни равнодушных, ни ленивых работников он что-то не замечал ни на одной из этих прелестных ферм. И уж, конечно, не отупевшие от отсутствия собственной инициативы лентяи создавали эти превосходные автомобили и комфортабельные поезда. Соблазны «выгоды» оказались, видимо, куда более эффективным заменителем естественной инициативы, как приходилось признать.

Ему очень хотелось поговорить с этими крепкими, исполненными самоуважения людьми — жителями маленьких городков; спросить их, например, считают ли они себя бедняками. Ибо если это и есть бедняки, то ему придется полностью пересмотреть свое отношение к этому слову. Однако его провожатым, похоже, вечно не хватало времени — им слишком многое хотелось ему показать.

Остальные крупные города А-Йо находились слишком далеко от столицы, чтобы за один день на автомобиле можно было съездить туда и обратно. А вот в столицу Нио Эссейю его возили довольно часто. Она находилась всего в пятидесяти километрах от Университета. Там за короткий период состоялась целая череда приемов в его честь. Это ему не слишком нравилось. Подобные приемы совершенно не укладывались в его представления о приятном времяпрепровождении. На них все были чрезвычайно изысканно вежливы, очень много говорили, и чаще всего попусту, и без конца улыбались. Из-за этих разговоров и улыбок присутствующие казались Шевеку чем-то встревоженными. Однако наряды урраст были поистине великолепны; они, казалось, вкладывали всю веселость и легкомыслие, которых так недоставало их поведению, в одежду и яства, а также — в приготовление разнообразных напитков и коктейлей, которые здесь так любили. Достаточно кокетливым было и роскошное убранство комнат и залов, где проводились подобные приемы.

Его много возили по городу; население Нио Эссейи составляло пять миллионов человек (примерно четверть населения его родной планеты). Он видел площадь Капитолия, гигантские бронзовые двери Директората; ему разрешили присутствовать на дебатах в Сенате и на заседании одной из комиссий Совета Директоров. Его сводили в зоопарк, в Национальный Музей, в Музей науки и промышленности. Привели в школу, где очаровательные детишки в сине-белых формах специально для него спели государственный гимн А-Йо. Он посетил завод электронного оборудования, полностью автоматизированный сталелитейный завод, атомную электростанцию. Все это делалось для того, чтобы он своими глазами увидел, сколь эффективно развивается экономика «этого государства собственников» и как экономно она расходует свои энергетические ресурсы. Ему продемонстрировали также новые участки жилой застройки, где дома строило государство — чтобы он понял, как государство заботится о своих гражданах. Потом на пароходике они совершили прогулку по эстуарию реки Суа, забитому разнообразными судами, прибывшими сюда со всех концов планеты, и даже немного проплыли по открытому морю. Он побывал на заседании Верховного Суда и целый день слушал различные гражданские и уголовные дела — чем был чрезвычайно потрясен и даже напуган. Однако его заставили посмотреть все, что, с точки зрения его провожатых, стоило посмотреть, а также то, что хотелось посмотреть ему самому. Когда он несколько неуверенно спросил, нельзя ли съездить на могилу Одо, его моментально отвезли на старое кладбище в районе Транс-Суа и даже разрешили репортерам из презренных газет сфотографировать его — в тени огромных старых ив у простого, однако отлично ухоженного надгробия с надписью:

Лайя Асьео Одо
698—769
Быть целым — не значит не быть частью.
Настоящее путешествие
всегда включает в себя возвращение.

Затем его отвезли в Родарред — место, где заседает Совет Государств Планеты: он намерен был обратиться к Совету с приветственным словом. Он очень надеялся встретить там кого-нибудь из инопланетян — послов с Земли или с Хайна, — однако распорядок его дня был составлен по чрезвычайно жесткому графику, и подобное мероприятие туда никак не вписывалось. Он очень много работал над своей речью, в которой содержалась просьба об установлении свободы общения между двумя мирами и об их взаимном признании. Его выступление было встречено десятиминутной овацией. Наиболее уважаемые, элитарные еженедельники одобрительно прокомментировали это событие, назвав речь Шевека «бескорыстным душевным порывом великого ученого-инопланетянина», однако ни одной цитаты из выступления Шевека не привели; как и массовая пресса, впрочем. На самом деле, несмотря на устроенную овацию, у Шевека осталось странное ощущение, что никто его выступления вообще не слышал. А может, не слушал.

Ему было предоставлено право и возможность посетить множество мест: лабораторию по исследованию природы света, Национальный Архив, Лабораторию Ядерных Технологий, Национальную Библиотеку в Нио, увидеть ускоритель частиц в Мифеде, заглянуть в Фонд Космических Исследований в Дрио. Хотя все, что он видел на Уррасе, только разжигало его аппетит и ему хотелось смотреть еще и еще, однако же нескольких недель «жизни туриста» утомили его: все это было настолько восхитительно, поразительно и великолепно, что в конце концов набило оскомину. Ему уже хотелось остаться в Университете, спокойно поработать, подумать — хотя бы некоторое время. Однако же в последний день осмотра достопримечательностей он сам попросил, чтобы его подольше поводили по Фонду Космических Исследований. Пае был этой его просьбой очень доволен.

Многое из того, что он видел в последнее время, вызывало у Шевека, пожалуй, даже некоторую оторопь — настолько все это было древним, построенным много веков или даже тысячелетий назад. Но здание Фонда, напротив, было совершенно новым, построенным в изысканном и элегантном современном стиле. Его архитектура показалась Шевеку поистине драматичной. Видимо, это достигалось за счет игры красок, благодаря чему пропорции здания как бы постоянно менялись. Лаборатории были просторны и полны воздуха; вспомогательные предприятия и хранилища запчастей, реактивов и прочих необходимых для работы ингредиентов разместились за прелестной колоннадой, соединенной арками. Ангары поражали своими размерами; они были точно соборы с цветными стенами витражей и фантастическими пейзажами. Люди же, которые там работали, казались очень спокойными и солидными. Они тут же увели Шевека с собой, избавив его от надоевших гидов, и сами показали ему свой Фонд, включая все стадии экспериментального исследования новой межгалактической тяги, над которой в данный момент работали — от компьютерных схем до полуготового корабля, гигантского и совершенно сверхъестественного — в оранжевых, фиолетовых и желтых огнях — внутри огромного геодезического ангара.

— У вас уже столько всего сделано! — сказал восхищенный Шевек одному из тех инженеров, которые вызвались его сопровождать; этого инженера звали Оегео. — И столько еще предстоит сделать! И вы просто отлично справляетесь со всеми задачами! У вас великолепно поставлена координация и кооперация, а каков размах!

— Ну а вам-то, со своей стороны, разве нечего положить на весы? — улыбнулся инженер.

— Ну не космические же корабли? Наш космический флот состоит из тех развалин, на которых прилетели первые поселенцы почти двести лет назад. Для того чтобы построить самый обыкновенный корабль — скажем, баржу, на которой перевозят по морю зерно, — нам приходится все планировать за год, ибо даже такое усилие требует большого напряжения всей экономики Анарреса.

— Да, товары-то у нас есть, это правда, — кивнул Оегео. — Но, знаете, ведь, как ни странно, а вы и есть тот самый человек, который запросто может сказать нам: «А ну-ка, братцы, пустите-ка все это на металлолом!»

— Что вы имеете в виду?

— Я имею в виду создание суперсветовых кораблей, — сказал Оегео. — Квантовые переходы. Нуль-передачу. Старые физики говорят, что это невозможно. Земляне, например. А вот хайнцы, которые в конце концов и ту тягу придумали, которой мы сейчас пользуемся, думают иначе.

Только они пока не знают, как этого добиться на практике. Ведь сейчас-то они методы исследования у нас заимствуют — особенно в области элементарных частиц, то есть физики времени... Совершенно очевидно, доктор Шевек, что если решение этой задачи уже у кого-то в кармане — в известных нам мирах, разумеется, — то таким человеком можете быть только вы.

Шевек посмотрел на него холодно, взгляд его светлых глаз был тверд.

— Я теоретик, Оегео. Не изобретатель.

— Если вы сумеете создать Общую Теорию Времени, объединяющую классическую физику, квантовую теорию и Принцип Одновременности, то корабли мы изобретем. И окажемся на Земле, или на Хайне, или в другой галактике буквально в тот же миг, как покинем Уррас! Эта посудина, — и он посмотрел вниз, где в ангаре покоилась громада недостроенного корабля, — будет тогда казаться столь же допотопной, как телега, запряженная волами.

— Вы строите современнный корабль и одновременно мечтаете о будущем — как это прекрасно! — сухо откликнулся Шевек, сохраняя прежнюю настороженность.

И хотя здешние инженеры еще многое хотели показать ему и обсудить с ним свои планы, он вскоре сказал с той простотой, которая исключала всякую ироническую интерпретацию:

— По-моему, я вас достаточно утомил, так что лучше вам вернуть меня в общество моих гостеприимных хозяев.

Они выполнили его просьбу и тепло распрощались с ним. Шевек сел в машину, потом снова вылез и спросил:

— Я все время забываю... У нас есть время, чтобы посмотреть в Дрио еще одну вещь?

— Но в Дрио больше ничего интересного нет, — сказал Пае, как всегда вежливый и очень старавшийся скрыть свое раздражение во время пятичасовой эскапады Шевека по лабораториям и ангарам Фонда.

— Я бы хотел увидеть крепость.

— Какую крепость, доктор Шевек?

— Старинный замок, оставшийся еще со времен королей. Впоследствии его использовали как тюрьму.

— Все подобные сооружения здесь были разрушены. Фонд полностью перестроил этот город.

Когда они уже сидели в машине и шофер закрывал дверцы, Чифойлиск (возможно, еще один источник дурного настроения Пае) спросил:

— А зачем вам понадобился еще один старый замок? По-моему, вы видели их более чем достаточно.

— В крепости Дрио Одо провела девять лет, — ответил Шевек. Лицо у него было замкнутым и решительным — таким оно стало после разговора с Оегео. — После восстания в 747 году. Там она написала свои «Письма из тюрьмы» и «Аналогию».

— Боюсь, что этой крепости больше не существует, — с сочувствием сказал Пае. — Дрио был практически умирающим городом, и Фонд попросту стер его с лица земли и построил заново.

Шевек понимающе кивнул. Но, когда машина ехала по берегу реки Сейсс к повороту на Йе Юн, в излучине промелькнуло странное здание на утесе — тяжеловесное, полуразрушенное, какое-то неумолимое, с осыпавшимися башнями из черного камня, чудовищно отличавшееся от великолепных легких строений Фонда Космических Исследований, от его белоснежных куполов, ярко раскрашенных стен, аккуратных лужаек и прихотливо проложенных тропинок. И ничто иное не могло оттенить их более сурово, так, что сейчас они казались всего лишь картинками на конфетных обертках.

— Вот, по-моему, как раз и есть та крепость, — заметил Чифойлиск, испытывая, как всегда, удовлетворение от того, что удалось чем-то досадить Пае.

— Она же вся разрушена, — сказал Пае. — И, должно быть, пуста.

— Хотите остановиться и осмотреть ее, Шевек? — спросил Чифойлиск, готовый уже постучать в прозрачную перегородку, отделявшую их от шофера.

— Нет, — коротко ответил Шевек.

Он уже увидел то, что хотел: В ДРИО ПО-ПРЕЖНЕМУ БЫЛА ТЮРЬМА. Ему необязательно было входить в крепость и искать в развалинах ту темницу, где Одо провела девять лет своей жизни. Он знал, что это такое.

Сурово и холодно смотрел он на вздымавшиеся почти над самой дорогой тяжеловесные башни и стены. «Я здесь стою с давних времен, — говорила Крепость, — и еще долго буду стоять здесь».

Вернувшись в свои апартаменты — после обеда в столо-

вой для преподавательского состава и аспирантов, — он уселся, наслаждаясь одиночеством, у незажженного камина. В А-Йо стояло лето, близилось летнее солнцестояние, самый долгий день в году, и сейчас, в девятом часу вечера, было еще совсем светло. Небо за арками окон играло дневными красками — чистое, голубое, теплое. Воздух был легок и приятен, пахло скошенной травой и влажной землей. В часовне по ту сторону лужайки горел свет, и оттуда доносилась негромкая музыка. Это было не пение птиц: кто-то упражнялся в игре на фисгармонии. Шевек прислушался. Музыкант разучивал «Гармонию чисел», хорошо знакомую Шевеку с детства, как, впрочем, и любому жителю Урраса. Одо не пыталась изменить что-либо в основах музыкального строя. В отличие от общественного. Она всегда уважала то, что было жизненно необходимо всем людям. Поселенцы на Анарресе отказались от законов, выдуманных людьми, их предшественниками, однако оставили неприкосновенными законы музыкальной гармонии.

Просторная комната была полна теней и тишины; за окном уже сгущались сумерки. Шевек огляделся: идеальной формы арки высоких окон, отлично натертый старинный паркет, могучий, скрывающийся в полумраке изгиб дымохода огромного камина, обитые деревянными панелями стены прекрасных пропорций... Это был очень удобный для жизни и очень старый дом. Корпус «Старшего факультета», где жили преподаватели и аспиранты, как сообщили Шевеку, был построен в 540 году, то есть четыреста лет назад. За 230 лет до Заселения Анарреса. Многие поколения ученых жили и работали здесь; здесь они вели беседы, думали, спали, умирали — задолго до того как появилась на свет Одо. «Гармония Чисел» плыла над лужайкой, над темной листвой рощи — ее играли здесь много раз в течение многих веков! «И я была здесь в те времена, — говорила Шевеку комната, в которой он сидел, — и я еще долго буду здесь, когда тебя уже не будет ни здесь, ни вообще на свете. И вообще, что ты здесь делаешь?»

У него не было ответа. И не было права на красоту и щедрость этого мира, созданного трудом и поддерживаемого за счет труда, преданности, верности тех, кто его населяет. Рай существует для тех, кто его создает. Он не принадлежит этому миру. Он здесь чужой. Он из пограничной области. Из породы тех людей, что отреклись от собствен-

ного прошлого, от собственной истории. Поселенцы Анарреса повернулись спиной к Старому Миру, забыли свое, общее с ним, прошлое, предпочли для себя одно лишь будущее. Но, как известно, будущее в итоге всегда становится прошлым, и это столь же верно, как и то, что прошлое обернется будущим. Отрицать — не значит приобретать. Одонийцы, покинув Уррас, были неправы в своей отчаянной мужественной попытке отказаться от истории своего народа, отрицать ее, отрезать для себя всякую возможность возврата в прошлое. Исследователь, который не желает возвращаться назад или хотя бы послать назад корабль, чтобы кто-то рассказал историю его путешествия, — это не исследователь, а всего лишь авантюрист, любитель приключений; и его сыновья окажутся рожденными в ссылке!

Шевек уже успел полюбить эту прекрасную планету; но что хорошего было в его тоскливой любви? Он не был частью этого мира. Как не ощущал себя частью и того мира, в котором родился.

Одиночество, уверенность в том, что теперь он остался совсем один, которую он ощутил в свои первые часы на борту «Старательного», снова тяжкой волной затопила его душу; одиночество — вот та абсолютная истина, на которую он старается не обращать внимания, о которой всячески старается забыть, но которая тем не менее существует. Один — вот единственно подлиннное его состояние.

Здесь он одинок, потому что является членом того общества, которое само себя отправило в ссылку — отсюда. А на родной планете одинок потому, что сам себя отправил в ссылку — от своего общества. Переселенцы сделали один шаг в сторону от родного дома. Он сделал два. И был дважды одинок, потому что пошел на метафизический риск — и проиграл.

Он был достаточно глуп, чтобы думать, будто это может помочь сближению двух миров, ни одному из которых сам не принадлежал.

Внимание его вдруг привлекла синева ночного неба за окном. Над темной массой листвы и шпилем часовни, над темной линией гор на горизонте, которые ночью всегда казались менее высокими и более далекими, разливался свет — мощный, но мягкий. «Луна всходит», — подумал он, радуясь обыденности этого явления. В потоке времени

не бывает разрывов. В детстве вместе с Палатом он смотрел, как всходит луна за окнами интерната в Широких Долинах. Луна всходила и над холмами его отрочества, и над иссушенными барханами пустыни Даст, и над крышами Аббеная, где он любовался ею вместе с Таквер...

Но то была ДРУГАЯ луна.

Тени двигались вокруг, постепенно смещаясь, а Шевек сидел, не шевелясь, и смотрел, как его родной Анаррес поднимается над здешними холмами в великолепии своего «лунного» сияния, и на его голубовато-белой поверхности видны пятнышки горных массивов и каменистых пустынь. И свет далекой родины наполнил его пустые руки.

Глава 4

АНАРРЕС

Клонившееся к западу солнце, своими лучами ударив Шевеку прямо в лицо, разбудило его, когда дирижабль, миновав последний перевал в горах Не Терас, повернул к югу. Большую часть дня Шевек проспал. Прощальная вечеринка и та долгая ночь после нее, казалось, остались где-то в далеком прошлом, в другом полушарии. Он зевнул, протер глаза и тряхнул головой, словно пытаясь вытряхнуть из ушей монотонное низкое гудение мотора, и совершенно проснулся, осознав, что путешествие подходит к концу, что дирижабль, наверное, уже подлетает к Аббенаю. Шевек прижался лицом к пыльному окну — так и есть! Внизу, между двумя ржавого цвета горными хребтами он увидел огромное окруженное стеной поле — Космопорт. Он смотрел с любопытством, надеясь заметить какой-нибудь космический корабль. Пусть мир Урраса все презирают, но это все же ИНОЙ мир! А Шевеку очень хотелось увидеть корабль из иного мира, переплывший бездну космоса, созданный руками инопланетян. Однако в порту никакого космического корабля на этот раз не оказалось.

Грузовые корабли с Урраса прилетали восемь раз в год и оставались на Анарресе ровно столько времени, сколько требовалось на разгрузку и погрузку. Они отнюдь не были здесь желанными гостями. Скорее для большей части

анаррести они служили причиной обострения комплекса собственной неполноценности.

С Урраса сюда привозили нефть и нефтяные продукты, некоторые запчасти, например детали электронного оборудования, которые промышленность Анарреса не производила сама. Также довольно часто на Анаррес доставлялся какой-нибудь новый сорт фруктовых деревьев или зерновых культур для опытных посадок. На Уррас корабли улетали, «под завязку» загруженные ртутью, медью, алюминием, ураном, оловом, золотом... Для уррасти это была отличная сделка. Распределение грузов, которые восемь раз в год доставляли с Анарреса, было на Уррасе одной из наиболее престижных функций Совета Государств Планеты, а также главным событием на рынке промышленного сырья. Таким образом, Свободный Мир Анарреса на самом деле являлся колонией соседней планеты, ее сырьевым придатком.

Это, безусловно, раздражало жителей Анарреса. Из года в год во время дебатов в Координационном Совете по Производству и Распределению в Аббенае высказывались громогласные протесты: «До каких пор мы будем вести этот спекулятивный, грабительский обмен с проклятыми собственниками, которые вот-вот развяжут очередную войну?» И более холодные головы всегда находили один и тот же ответ: «Уррасу обошлось бы куда дороже самому добывать здесь необходимое сырье, только поэтому они нас не трогают и не пытаются захватить нашу планету. Но если мы первыми нарушим торговое соглашение, они применят силу». Однако людям, которые совершенно не знакомы были ни с денежной системой, ни с капиталистической экономикой, очень трудно было понять психологию своих соседей, аргументы рыночного хозяйства. Мирное сосуществование с Уррасом в течение семи поколений не выработало в них доверия к «этим собственникам».

А потому Синдикат Охраны Космопорта никогда не испытывал недостатка в волонтерах. Честно говоря, работа охранников была настолько скучна, что на языке правик даже и работой-то не называлась: для ее обозначения чаше всего использовалось довольно презрительное слово «клегиш», которое вполне можно было перевести как «ничегонеделание». В обязанности Охраны входило поддержание в рабочем состоянии двенадцати старых межпланетных

космических кораблей, которые постоянно оставались на орбите как сторожевые, а также осуществляли сканирование с помощью радаров и радиотелескопов наиболее удаленных и безлюдных районов Анарреса. Всю нудную «бумажную» работу в порту также осуществляли охранники. И тем не менее желающих вступить в Охрану всегда было полно. Сколь бы прагматичным ни был тот или иной юный житель Анарреса, все же юность требовала проявления альтруизма, самопожертвования, стремления к Абсолюту. Одиночество, настороженность, опасность, грозившая из космоса, — все это давало роскошную почву для воображения, скрывая монотонность будней под флером романтики. Отзвуки полудетских романтических мечтаний и заставили Шевека прилипнуть носом к иллюминатору, пока пустующий Космопорт не исчез вдали, оставив в душе горькое разочарование — ведь ему так и не удалось увидеть ничего интересного, хотя он знал, что грузовики, вывозящие с Анарреса руду, весьма непривлекательны и неопрятны.

Шевек зевнул, потянулся и снова выглянул в окно, надеясь вскоре увидеть впереди конечную цель своего полета. Дирижабль летел над последней невысокой грядой Не Терас. И вот к югу от горных отрогов взору открылся, блестя на солнце, зеленый простор, похожий на как бы накренившийся почему-то морской залив.

Шевек с изумлением смотрел на это чудо — точно так же шесть тысячелетий назад смотрели на долину Аббеная его далекие предки.

В Третьем тысячелетии на Уррасе астрономы-священники из монастырей Сердону и Дхун не раз наблюдали сезонную смену цветов — бурых на ярко-зеленые — в Верхнем Мире и давали мистические названия тамошним равнинам, горным хребтам и блестевшим на солнце морям. Та часть планеты, которая с наступлением нового лунного года становилась зеленой ранее всех остальных, была названа ими Анс Хос, «сад разума»: Рай Анарреса.

В последующие тысячелетия, рассмотрев Анаррес в телескопы, ученые доказали, что древние астрономы были совершенно правы. Анс Хос был действительно самым благоприятным для жизни местом на этой планете; и первый же посланный на луну космический корабль совершил посадку именно там, в зеленой долине между горами и морем.

Однако даже Рай Анарреса оказался засушливым и холодным; к тому же здесь постоянно дули ветры. На остальной части планеты было еще хуже. Основными представителями фауны и флоры были рыбы и не дающие цветов странноватые растения. В воздухе ощущался недостаток кислорода — он был разреженный, как на горных вершинах Урраса. Солнце в этом «раю» обжигало, ветер леденил, пыль удушала.

В течение двух столетий после первой посадки космического корабля на Анарресе географы и геологи вели здесь всесторонние интенсивные исследования, составили множество карт, однако колонизация планеты в планах не стояла. К чему перебираться в эти ужасные пустыни, когда в плодородных долинах Урраса места более чем достаточно?

Однако шахты на Анарресе были построены. Хищническая эксплуатация собственных недр в Девятом и начале Десятого тысячелетия совершенно опустошила рудные пояса Урраса; да и космическая транспортировка все более совершенствовалась — становилось дешевле добывать сырье на луне, чем выплавлять необходимые металлы из руды с крайне низким их содержанием или добывать нужные химические элементы из морской воды. В IX-738 году по летосчислению Урраса было основано первое крупное поселение у подножия горного хребта Не Терас, в долине Анс Хос. Там неподалеку добывалась ртуть. Этот город на луне назвали Анаррес. На самом деле это был не настоящий город: там не было ни одной женщины. Мужчины подписывали контракт на два-три года и летели туда работать шахтерами или техниками, а потом возвращались домой, в настоящий мир.

Луна и ее шахты находились в юрисдикции Совета Государств Планеты; однако никто не знал, что на обратной стороне луны, в ее восточном полушарии, государство Тху давно уже тайно создало собственный небольшой космодром и поселение золотоискателей с женами и детьми. Они действительно ЖИЛИ на луне, и никто на Уррасе не знал об этом, кроме правительства Тху. И только после революционных событий в Тху и падения тогдашнего правительства в 771 г. на Совете Государств Планеты возникло предложение передать луну Международному Обществу Одонийцев — откупиться от них этой мало приспособленной для жизни планетой, прежде чем они окончательно

расшатают государственные устои Урраса. Городок Анаррес был эвакуирован; в государстве Тху также началась суматоха; за золотоискателями и членами их семей спешно были посланы две последние ракеты. Но не все из них захотели вернуться. Некоторым эти страшные пустыни, оказывается, чем-то полюбились.

Более двух десятков лет двенадцать кораблей, безвозмездно предоставленных одонийцам Советом Государств, сновали между двумя планетами, пока окончательно не перевезли на Анаррес тот миллион человек, что выбрали для себя новую жизнь на новой планете. Затем порт на Анарресе закрыли для иммиграции, и теперь он по Торговому Соглашению принимал лишь грузовые корабли строго определенное число раз в год. К этому времени в бывшем городе Анаррес проживали уже сто тысяч человек, и он был переименован в Аббенай, что означало — на новом языке нового общества — «разум».

Децентрализация являлась у Одо важнейшим элементом плана социального строительства, однако она даже до начала воплощения этого плана в жизнь не дожила. Она не имела намерения уничтожить города как оплот цивилизации, хотя предложила, чтобы естественные пределы размера коммуны основывались на факторе вполне объективном: наличии необходимого запаса пищи и энергетических ресурсов в районе непосредственного проживания данной общности людей. Она предполагала, что все эти небольшие коммуны будут связаны сетью коммуникационно-транспортных средств, чтобы обмен идеями и товарами мог осуществляться в зависимости от потребностей, а управление этим процессом было быстрым и несложным, и ни одна из коммун не чувствовала бы себя изолированной от остальных. Однако никакой иерархии, никакого «принципа пирамиды» Одо не допускала ни в чем. Не должно было быть ни некоего «контролирующего центра», ни столицы, ни способной к самозарождению и самовозрождению бюрократической машины, ни сколько-нибудь большой группы отдельных личностей, проявивших стремление стать «главными», — командирами, капитанами, руководителями предприятий, главами государств.

Ее идеи и планы, однако, зародились на щедрой земле Урраса. В пустынях Анарреса малочисленные коммуны одонийцев вынуждены были рассеяться по огромному

пространству в поисках источников поддержания жизни; лишь немногие были в состоянии сами обеспечить себя всем необходимым, сколько бы поселенцы ни старались «обстричь» свои представления о том, что именно необходимо человеку для нормального существования. В этом они весьма преуспели, однако определенный минимум потребностей все же оставался. Возвращаться назад по дороге цивилизации не хотелось и совершенно не хотелось, чтобы их новое замечательное общество приходило в упадок, чтобы оно вернулось к доурбанистской, дотехнологической эре родо-племенных отношений. Они понимали, что их анархизм — это также продукт развитой цивилизации, сотканной из множества самых различных культур, стабильной экономики и высокого уровня промышленной технологии, способной обеспечить соответствующий уровень производства и быстро решить любые транспортные проблемы. Однако же, сколь бы огромны ни были расстояния между отдельными городками на Анарресе, поселенцы продолжали придерживаться идей комплексного развития своего общества. Сперва они построили дороги, а потом уже дома. Драгоценное для Урраса сырье, добывавшееся в шахтах Анарреса, а также продукция каждого из населенных районов осваиваемой планеты находились в процессе постоянного сложного взаимообмена с целью достижения некоего «уравновешенного разнообразия» — одного из наиболее важных условий природной и социальной экологии Анарреса.

Однако, согласно утверждениям самих анаррести, нельзя, обладая нервной системой, не иметь при этом ни одного нервного узла; также весьма желательно иметь «мозг», то есть некий управленческий центр. Компьютеры, осуществлявшие распределение вещей и рабочих мест, а также центральные представительства большей части синдикатов и федераций находились в Аббенае практически с самого начала Заселения Планеты. И практически с самого начала поселенцы сознавали, что над ними нависла угроза неизбежной централизации — вечная угроза любого общества, вызванная к жизни стремлением к власти и насилию.

Анархия, мое дитя!
Ты обещаний бесконечность и осторожности...
Я слушаю и слушаю, как ночь
качает колыбель твою,
Анархия. О, наша дочь!

Пио Атеан, который взял себе на языке правик имя Тобер, написал эти стихи на четырнадцатом году от начала Заселения. Первые попытки одонийцев создать на новом языке поэзию — платье для своего юного мира — были довольно неуклюжи, бескорыстны и трогательны...

Аббенай, мозг и сердце Анарреса, раскинулся перед Шевеком посреди огромной зеленой равнины.

Этот великолепный, глубокий зеленый цвет, цвет полей и лугов, невозможно было не узнать: он не был свойствен Анарресу. Только здесь да еще на побережье теплого Керанского моря вызревали злаки, семена которых были привезены из Старого Мира. Во всех остальных местах основными культурами были разновидности дерева-холум и бледная жесткая трава мене.

Когда Шевеку исполнилось девять, его, как и всех детей, обязали в течение нескольких месяцев после занятий помогать садовнику ухаживать за декоративными растениями, посаженными на территории интерната и всего городка Широкие Долины. Это были нежные экзотические травы и кустарники, привезенные с Урраса, которые нуждались в подкормке, точно младенцы, и боялись прямых солнечных лучей. Тогда Шевек, помогая старому садовнику в этом мирном, хотя и довольно изнурительном труде, полюбил и самого старика, и привередливые растения, и упрямую землю, и саму эту работу. Увидев зелень Аббенайской долины, он вспомнил старого садовника, противный запах удобрений из рыбьего жира и цвет едва проклюнувшейся листвы на хрупких веточках — этот чистый, животворный зеленый цвет.

Вдали, среди живописных полей виднелось продолговатое белое пятно, постепенно распадавшееся на кубические формы, точно расколотый комок каменной соли. Это были далекие здания Аббеная.

Череда ослепительных вспышек на восточной окраине города заставила Шевека прищуриться, и тогда он на мгновение увидел темные огромные параболы зеркал, обеспечивавших солнечной энергией предприятия Аббеная.

Дирижабль сел на площадку товарной станции в южной части города, и Шевек отправился в дальнейший путь пешком.

Улицы этого самого большого на Анарресе города были широкими, чистыми и совершенно лишенными тени. Аббенай находился менее чем в тридцати градусах от экватора, и здания в нем были исключительно одноэтажные; над ними торчали лишь прочные пустотелые вышки ветряков. В казавшемся твердым темно-синем, почти фиолетовом небе сияло белое солнце. Воздух был чист, прозрачен и сух — ни дымка, ни влажной пелены тумана. Все вещи казались удивительно живыми, все углы и края — очень острыми и твердыми, во всем была четкость и ясность, определенность. Все здания стояли как бы отдельно, как бы сами по себе, прочные и независимые.

Аббенай, в общем, был точно таким же, как и любой другой город одонийцев, только все в нем как бы повторялось несколько раз: мастерские, фабрики, общежития, интернаты, учебные центры, залы для различных собраний, распределительные центры, склады, столовые... Наиболее крупные здания часто группировались вокруг открытых площадей, обрамляя их и делая город похожим на соты. Предприятия тяжелой и пищевой промышленности сосредоточены были в пригородах, и каждая группа предприятий обычно группировалась тоже по принципу «сотовых ячеек», окружая площадь или часть улицы. Первыми Шевеку навстречу попались текстильные предприятия — здесь занимались переработкой волокна дерева-холум и изготовлением из него тканей, пошивом одежды и белья. Здесь же находились и красильные предприятия, а также — текстильные распределительные центры. Посреди каждой из площадей-ячеек торчал небольшой «лесок» из шестов, украшенных сверху донизу разноцветными флажками, демонстрируя всем возможности местных красильщиков. Дома по большей части были похожи один на другой — простые, прочные каменные строения. Шевеку некоторые здания показались очень большими, однако же практически все они тоже были одноэтажными: здесь часто случались землетрясения. По тем же причинам окна были маленькие, а вместо стекол — прочный силиконовый пластик, который не давал трещин. Впрочем, окон было много — в помещениях искусственным светом здесь с рассвета до заката пользоваться было не принято. Не включали также и отопление, если температура на улице была выше 15 градусов. Дело даже не в том, что Аббенаю не хватало электроэнергии — ее в избытке давали ветряки и «земляные» генераторы, работа которых была основана

на разнице температур воздуха и почвы и которыми обычно пользовались для обогрева жилья; просто принцип «органичной экономии» был слишком важен для нормального функционирования одонийского общества, оказывая воздействие на всю систему его этических и эстетических ценностей. «Все избыточное, излишнее в организме превращается в экскременты, — писала в своей «Аналогии» Одо. — А экскременты, задерживающиеся в организме, отравляют его».

Аббенай был начисто лишен подобной «отравы»: пустой, чистый, светлый город, все цвета очень яркие, воздух прозрачен. Кругом тишина. Аббенай был действительно похож на рассыпанную по равнине горсть крупной соли.

Здесь никто ничего не прятал.

Площади, строгие улицы, низкие дома, не обнесенные стенами дворы мастерских — всюду кипела жизнь, и Шевек постоянно ощущал это. Люди вокруг него куда-то шли, что-то делали, о чем-то беседовали. Мелькали их лица, звучали голоса, кто-то сплетничал, кто-то пел, вокруг были живые люди, люди, занятые трудом. Мастерские и фабрики воротами своими выходили на площади или в открытые дворы. И ворота эти были распахнуты настежь. Шевек, проходя мимо фабрики стеклянных изделий, видел, как стеклодув выдувает из расплавленной массы стекла огромный пузырь; для него это было столь же обычным делом, как для повара — приготовить суп. Рядом был другой двор, где тоже кипела работа — здесь из «пенного камня» отливали нужные для строительства формы; работой руководила огромная женщина в халате, белом от пыли. Она то и дело что-то громко кричала красивым грудным голосом своим подручным. Потом Шевек миновал небольшую проволочную фабрику, потом — районную прачечную, мастерскую по изготовлению и починке музыкальных инструментов, небольшой районный распределительный центр, театр, мастерскую по изготовлению черепицы... Всюду кипела работа — это буквально завораживало его. Тут же поблизости крутились дети; кое-кто из них помогал взрослым, малыши лепили из грязи пирожки и куличики, ребятишки постарше играли в свои игры, а одна девочка, забравшись на крышу учебного центра, сидела там, уткнувшись носом в книгу. Проволочная фабрика украсила свой фасад раскрашенными вьющимися растениями из проволоки — выглядело очень мило. Из дверей прачечной вырывались облака пара и обрывки разговоров. Ни одна дверь не была заперта, да и закрыты были немногие. Невозможно было ошибиться, попасть не туда, хотя нигде не было никаких объявлений. Все было на виду — вся работа, вся жизнь города. То и дело по Складской улице проплывал грузовик с готовой продукцией, предупреждая о своем появлении звоном колокола, или проезжал полный людей автобус, и на каждой остановке его ждали еще люди, и старухи ругались, если автобус отъезжал раньше, чем они успевали сойти на своей остановке, и малыш на самодельном трехколесном велосипеде с «бешеной» скоростью гнался за автобусом, и электрические искры сыпались голубым дождем на перекрестках из трамвайных проводов — словно спокойная мощная жизненная сила улиц то и дело достигала некоей критической точки и должна была сбросить напряжение, делая это с грохотом, треском, с водопадом голубых искр и запахом озона. Это, правда, были всего-навсего аббенайские трамваи, однако в такие минуты невозможно было не ощутить радостного восторга.

Складская улица заканчивалась просторной площадью, куда выходило еще пять других улиц и где был треугольной формы небольшой парк с настоящими деревьями и травой. По большей части парки на Анарресе представляли собой вытоптанные площадки, обсаженные цепочкой жидких кустарников и деревьев-холум. Но этот Треугольный парк был совсем другим. Шевек перешел площадь по пешеходной дорожке и углубился под сень деревьев. Это было восхитительно; он не раз видел Треугольный парк на картинках, и ему давно хотелось увидеть вблизи деревья, привезенные с Урраса, внимательно рассмотреть каждый зеленый листок в их густых кронах. Солнце садилось, небо было широким и чистым; в зените закатные краски сгущались до красно-фиолетового — это тьма космического пространства просвечивала сквозь неплотную атмосферу планеты. Тревожное настороженное чувство охватило Шевека. Разве не слишком их много, этих густых листьев? Дерево-холум вполне успешно существует со своими редкими колючими иглами, безо всяких там излишеств и роскошеств, вроде густой листвы. Неужели эта пышная богатая растительность тоже «экскрементальна»? Такие деревья не могут существовать без богатых почв, без постоянного по-

лива, без хорошего ухода. Ему были, пожалуй, даже неприятны в этих деревьях изобилие зеленой листвы и полнейшее отсутствие экономии. Он бесцельно брел среди них, инопланетная трава под ногами была мягкой и упругой — казалось, ступаешь по живой плоти. От этой мысли он шарахнулся обратно на тропинку. Темные ветви деревьев раскинулись у него над головой, шевеля над ним множеством своих маленьких зеленых ручек-веточек. Восторг и ужас одновременно охватили Шевека: он понимал, что его БЛАГОСЛОВЛЯЮТ, хотя и не просил о благословении.

Чуть впереди он заметил у темнеющей тропы на каменной скамье человека, читавшего книгу, подошел к нему и остановился.

Человек сидел, опустив голову, в золотисто-зеленых сумерках. Это была женщина лет пятидесяти-шестидесяти, несколько странно одетая, волосы стянуты на затылке узлом. Левая рука, на которую она опиралась подбородком, практически скрывала сурово сжатые губы, правая рука придерживала страницы рукописи, лежавшей у нее на коленях. Рукопись была толстой и, видно, тяжелой; тяжелой была и холодная рука на ней. Свет быстро меркнул, однако она так и не подняла глаз от страницы. Она продолжала читать гранки своей работы: «Социальный организм».

Некоторое время Шевек, будто зачарованный, смотрел на статую Одо; потом присел на скамью с нею рядом.

У него не было никаких представлений о социальной или какой бы то ни было еще иерархии, да и на скамье вполне хватало места. Он сел с нею рядом в порыве дружеского расположения и восхищения.

Он смотрел на сильный печальный профиль Одо, на ее руки, руки старой женщины. Потом посмотрел вверх, сквозь темнеющую листву. Впервые в жизни он осознал: Одо, чье лицо было ему знакомо с детства, чьи идеи занимали центральное и неизменное место в его душе и в душах каждого из тех, кого он знал, эта Одо НИКОГДА НЕ СТУПАЛА НА ЗЕМЛЮ АНАРРЕСА, она жила, умерла и была похоронена на Уррасе, в тени покрытых зеленой листвой деревьев, в невообразимо огромном городе Нио Эссейя, среди людей, говорящих на неведомом ему, Шевеку, языке — в другом мире! Одо, инопланетянка, здесь была в ссылке.

Юноша сидел в сумерках рядом со статуей великой мыслительницы, и оба были одинаково тихи.

Наконец, осознав, что стало почти темно, Шевек встал и пошел прочь — снова по улицам города, без конца спрашивая, как пройти к Центральному Институту Естественных Наук.

Это оказалось недалеко; он добрался туда вскоре после того, как на улицах включили освещение. У ворот в маленькой будке сидела дежурная и читала. Ему пришлось довольно долго стучать в открытую дверь, пока она не оторвалась наконец от книги.

— Шевек, — представился он, поскольку, начиная разговор с незнакомым человеком, полагалось сперва назвать свое имя, как бы вручая ему необходимый инструмент для дальнейшего общения. Собственно, более никаких «инструментов» и вручить было нельзя. Никаких документов у одонийцев не существовало, никаких рангов и научных степеней, никаких соответственных форм вежливого обращения.

— Кокван, — откликнулась дежурная. — Разве вы не вчера должны были приехать?

— Изменили расписание грузовых дирижаблей. Мне найдется местечко?

— Номер 46 пустует. Это через двор и налево. Там для вас записка от Сабула. Он просил позвонить ему утром в административный отдел физического факультета.

— Спасибо! — сказал Шевек и быстро пошел через просторный асфальтированный двор, помахивая своим багажом — зимней курткой и запасными ботинками. Во всех комнатах, окна которых выходили во двор, горел свет. В вечерней тишине слышался негромкий гул — повсюду были люди. Что-то живое чудилось Шевеку в ясном пронзительно-холодном воздухе ночного города — не то надвигающаяся беда, не то какое-то обещание.

Время обеда еще не кончилось, и он быстренько забежал в институтскую столовую узнать, не осталось ли там чего-нибудь перекусить. Имя его, как оказалось, уже было внесено в списки постоянных посетителей. Еда была просто отменной! Имелся даже десерт — салат из консервированных фруктов. Шевек очень любил сладкое, а обедал он к тому же одним из последних, так что, не испытывая угрызений совести, взял себе вторую тарелку фруктового са-

лата — его там оставалось еще немало. Он ел один за маленьким столиком. За столами побольше сидели группами молодые люди и о чем-то беседовали над пустыми уже тарелками; он услышал обрывки какой-то дискуссии о поведении аргона при сверхнизких температурах, а также — о поведении преподавателя химии во время коллоквиума и еще — о предполагаемой «кривизне времени». Один-два человека обернулись в его сторону, но не заговорили с ним, как это обычно бывает в маленьких коммунах, когда появляется незнакомый человек; смотрели они, правда, довольно дружелюбно, хотя, может быть, чуточку свысока.

Шевек отыскал комнату номер 46 в длинном коридоре, куда выходило множество других закрытых дверей. Все это явно были ОТДЕЛЬНЫЕ комнаты, и он удивился, почему регистраторша послала его именно сюда. С двух лет он спал в общих спальнях, где было от четырех до десяти кроватей. Шевек постучался. Тишина. Он открыл дверь. Комната была на одного человека. Внутрь проникал неяркий свет из коридора. Шевек включил лампу. Два кресла, письменный стол, на нем видавшая виды логарифмическая линейка, несколько книг, кушетка, заменявшая кровать, и на ней ручной вязки оранжевое одеяло. Здесь явно жил кто-то другой! Дежурная просто ошиблась. Шевек вышел и закрыл за собой дверь. Потом снова открыл ее и вошел, чтобы выключить в комнате свет. Только тут он заметил на письменном столе под лампой записку, нацарапанную на клочке бумаги: «Шевек! Позвоните утром в административный отдел физического факультета. Тел. 2-4-1-154. Сабул».

Он кинул куртку на кресло, ботинки — на пол и принялся читать названия на корешках книг — это оказались обычные реферативные сборники по физике и математике, в зеленых обложках, с Кругом Жизни посредине. Шевек повесил куртку в шкаф, убрал с дороги ботинки и аккуратно задернул занавеску. Потом прошел к двери: до нее было четыре шага. Постоял там нерешительно минутку, а затем — впервые в жизни! — закрыл дверь своей собственной комнаты.

Сабул оказался маленьким, коренастым, неряшливым человеком лет сорока. Растительность у него на лице была темнее и грубее, чем обычно у анаррести, и даже образовывала некое подобие бородки. На нем был толстый зимний свитер, и он, судя по всему, не снимал его с прошлой зимы: края обшлагов были черны от грязи. Манера говорить у Сабула была резкая, ворчливая — какие-то неровные куски информации, вроде тех, в его записках, оторванных от чего попало клочках бумаги. Голос его напоминал рычание.

— Тебе необходимо выучить йотик! — рявкнул он.

— Йотик? — изумился Шевек.

— Я же сказал! Язык йотик.

— Но зачем?

— Чтобы читать работы физиков с Урраса! Атро, То, Баиска — всех. Ни одна из этих работ на правик не переведена и, похоже, переведена не будет. На Анарресе человек шесть от силы способны как-то понять эти работы. На любом языке.

— Но как же я выучу йотик?

— С помощью учебника и словаря, естественно!

— А где мне их взять? — не сдавался Шевек.

— Здесь! — рявкнул Сабул. Он порылся на полках, заваленных маленькими книжками в зеленых обложках. Движения у него были резкие, словно он на кого-то сердился. Наконец он нашел то, что искал — два толстых тома без обложек на самой нижней полке стеллажа — и с грохотом швырнул на стол. — Скажешь, когда почувствуешь, что можешь уже читать Атро. А пока что мне с тобой делать нечего.

— Какими типами уравнений обычно пользуются уррасти?

— Да, ерунда. Сам во всем разберешься.

— Здесь кто-нибудь занимается хронотопологией?

— Да, Турет. Можешь у него консультироваться. Но на лекции к нему не ходи: пустая трата времени.

— Я собирался ходить на лекции к Граваб.

— Зачем?

— Ее работы по частоте и цикличности...

Сабул не дал ему договорить; он сперва сел, потом снова вскочил. Он был все-таки невыносимо суетлив и одновременно будто скован. И вот-вот готов вспыхнуть — не человек, растопка для очага.

— Не трать время зря! Ты далеко обогнал старуху в тео-

рии Непрерывности, а прочие ее «плодотворные» идеи — сущий мусор.

— Меня интересуют принцип Одновременности...

— Какой там еще «одновременности»! Что за спекулятивной чушью кормила тебя Митис? — Глаза физика метали молнии, под жесткими короткими волосами на лбу вздулись вены.

— Я сам организовал семинар по этой теме...

— А, ну-ну! Давай, расти! Тебе пора расти. Тем более теперь ты здесь, в Аббенае, в Центральном Институте. Только учти: мы здесь занимаемся физикой, а не религией. Отбрось в сторону свой мистицизм и поскорее вырастай. Как быстро ты сможешь выучить йотик?

— Мне понадобилось несколько лет, чтобы как следует выучить правик, — заметил Шевек. Однако его мягкая ирония осталась Сабулом совершенно незамеченной.

— Я выучил йотик за десять декад. Причем достаточно прилично, чтобы прочесть «Введение» То. Ах да! Черт возьми, тебе же нужен какой-нибудь текст для работы! Вот, этот вполне сойдет. На. Погоди-ка. — Он порылся в переполненном ящике стола и извлек оттуда книгу весьма, надо сказать, занятного вида: в синем переплете и без Круга Жизни на обложке. Название ее было напечатано золотыми буквами: «Poilea Afio-ite», что ровным счетом ничего Шевеку не сказало. Да и сами очертания некоторых букв показались ему незнакомыми. Шевек долго смотрел на эти слова, потом взял книжку у Сабула, но не открыл ее, а с благоговением держал в руках: это было то самое, что он давно хотел увидеть, некий инопланетный «артефакт», послание из другого мира.

Он вспомнил, как в детстве Палат показывал ему книгу, состоявшую «из одних цифр».

— Придешь, когда будешь в состоянии прочесть это, — буркнул Сабул.

Шевек повернулся, чтобы уйти, но рычание позади него стало громче:

— Держи эти книжки при себе! Их не всякий сможет переварить.

Шевек спёрва так и застыл, потом вернулся к столу и сказал, немного подумав, в обычной своей спокойной и чуть отстраненной манере:

— Я что-то вас не понимаю.

— Не позволяй больше никому читать их! Понял?

Шевек не ответил.

Сабул снова нервно вскочил и подошел к Шевеку вплотную.

— Послушай. Теперь ты член Центрального Института Естественных Наук, член Физического синдиката, работаешь со мной, Сабулом. Ясно? А подобные привилегии требуют дополнительной ответственности. Я прав?

— То есть я должен чему-то научиться, но не могу ни с кем делиться теми знаниями, которые получу, — сформулировал Шевек после короткой заминки. Тон был утвердительный — он словно цитировал логическую установку.

— Ну а если бы ты нашел на улице пакет с капсулами, начиненными взрывчаткой, ты бы «поделился» ими с каждым мальчишкой? Эти книги — вроде взрывчатки. Ну теперь понял?

— Да, отчасти.

— Это хорошо. — Сабул отвернулся, что-то все еще ворча, впрочем, видимо, скорее по привычке. Шевек пошел прочь, осторожно неся «взрычатку» под мышкой и испытывая одновременно отвращение и всепоглощающее любопытство.

И тут же сел за работу: принялся изучать язык йотик в полном одиночестве в своей комнате номер 46, отчасти соблюдая требования Сабула, отчасти потому, что привык работать в одиночку и для него это было естественно.

Поскольку Шевек был еще очень молод, он полагал, что в каком-то смысле не похож на всех остальных, кого знает. Для ребенка осознание собственного отличия от остальных всегда болезненно, поскольку, еще не успев ничего совершить, ребенок не может этого отличия оправдать. Надежное и любовное отношение взрослых и их присутствие рядом — а ведь взрослые тоже, по-своему конечно, являются отличными от остальных — служит для ребенка единственным утешением в такой ситуации; у Шевека такого человека рядом не было. Отец его, Палат, был человеком очень хорошим, надежным и очень его любил. Что бы ни натворил Шевек, Палат всегда находил для него оправдание, всегда был на его стороне, был ему верен. Однако сам Палат был таким же, как все; он не обладал этим проклятым «отличием от других»; для него жизнь в коммуне была легка и проста. Он любил Шевека, однако не мог по-

казать ему, какова она, истинная свобода, не мог объяснить, что лишь признание за каждым права на одиночество дает возможность ощутить эту свободу.

А потому Шевек пользовался преимуществами одиночества, отдыхая от привычной сплоченной жизни маленькой коммуны и даже — от общения с теми немногочисленными друзьями, что у него там были. Здесь, в Аббенае, у него друзей не было, а поскольку ему не приходилось существовать в условиях общей спальни, он друзей и не заводил, слишком хорошо сознавая — даже в возрасте двадцати лет — собственную неординарность и одаренность, которые все усиливались; он был как бы обречен на одиночество, да и сам не слишком стремился к общению, и сокурсники, чувствуя его самобытность и обособленность, нечасто пытались сблизиться с ним.

Вскоре его «личная» территория стала ему даже дорога. Он наслаждался полной независимостью от соседей по общежитию и выходил из комнаты только в столовую — позавтракать и пообедать — и иногда днем, чтобы быстрым шагом прогуляться по городу и немного размять мышцы, привыкшие к значительно бóльшим физическим нагрузкам; затем он снова возвращался в комнату номер 46, к грамматике языка йотик. Примерно один раз в декаду он, как и все, обязан был дежурить по уборке помещения, однако те, с кем он вместе работал, оказывались практически все ему не знакомы, так что эти дни не вносили особого психологического разлада в его стойкое одиночество и в успешное изучение языка йотик.

Сама по себе грамматика этого языка, сложная, нелогичная и изысканная, доставляла ему, пожалуй, даже удовольствие. Он быстро делал успехи, особенно после того как составил для себя некий глоссарий для чтения физико-математических текстов. Он знал, что ему нужно, и хорошо разбирался в терминологии, связанной с этой областью науки, а если встречался с затруднениями, то собственная интуиция или сами математические уравнения помогали ему отыскать верный путь, который, однако, не всегда приводил его в «знакомую местность». Серьезнейший труд То — «Введение в физику времени» — отнюдь не был учебником для начинающих. К тому времени, когда Шевек после долгих усилий добрался наконец до середины книги, он читал уже не столько на языке йотик, сколько на языке физики; и он понимал теперь, почему Сабул для начала заставил его читать работы физиков Урраса. Многие из этих ученых далеко опередили все достижения научной мысли Анарреса. Самые блестящие догадки, высказанные в работах Сабула о Принципе Неопределенности, на самом деле являлись неосознанным, видимо, переложением чужих идей ученых йоти.

Шевек с головой погружался и в другие книги, которые скупо и не спеша выдавал ему Сабул — основные работы современных физиков Урраса. Он совсем замкнулся, стал практически отшельником, не появляясь даже на собраниях Студенческого синдиката; не ходил он и на собрния других синдикатов и федераций, за исключением довольно вялых семинаров, которые проводила Федерация Физиков. Собрания подобных объединений, служившие средством общения друг с другом, были как бы внешней поведенческой рамкой в любом маленьком поселении для любого индивида. Но здесь, в большом городе, все это казалось значительно менее важным. Один человек здесь вообще практически не был заметен; всегда находились другие, готовые проявить активность, что-то организовать, и справлялись с этим достаточно хорошо. Итак, помимо обязательных дежурств по уборке общежития и лабораторий, остальное время было в его полном распоряжении. Шевек часто пропускал даже занятия физкультурой, обед или завтрак, хотя никогда — тот единственный курс лекций по частоте и цикличности, который читала Граваб.

Граваб была уже стара и частенько отвлекалась, улетала мыслью куда-то в сторону. На ее лекции ходили всего несколько человек, да и то с пропусками, как бы по очереди. Она вскоре выделила среди остальных худого юношу с большими ушами, который был единственным ее постоянным слушателем. И стала читать свои лекции, обращаясь исключительно к нему. Светлые, доброжелательные, умные глаза встречали ее взгляд, успокаивали, пробуждали мысль; она вспыхивала, вдохновляясь, и начинала читать — блестяще, вновь обретая утраченную было живость ума. Она парила слишком высоко над обыденностью мышления, и остальные студенты порой даже поднимали головы и смотрели вверх, смущенные, озадаченные, даже немного испуганные таким полетом мысли — те, разумеется, у кого хватало ума удивляться этому. Граваб видела из

своего высока куда более широкие горизонты, и те, кого она брала с собой, лишь жмурились от страха, но тот светлоглазый юноша спокойно наблюдал за нею, и в лице его она читала ту же радость творчества, что переполняла и ее душу. То, что она упорно предлагала другим, чем хотела с ними поделиться в течение всей своей жизни, то, что никогда и никто так у нее и не принял, принял он, и не только принял, но и понял и разделил. Он был ее братом, несмотря на возрастную пропасть в пятьдесят лет. И ее спасением.

Когда они порой встречались в административном отделе факультета или в столовой, то и тут умудрялись говорить только о физике. Если же Граваб уставала и у нее попросту не хватало энергии на подобные беседы, тогда им практически нечего было сказать друг другу, ибо эта старая женщина была столь же застенчива, как и ее юный ученик.

— Вы мало едите, — говорила она ему в таких случаях. А он только молча улыбался, и уши у него краснели. И оба не знали, что говорить дальше.

Через полгода после приезда Шевек передал Сабулу небольшую работу, озаглавленную: «Критика гипотезы Атро о Непрерывности». Сабул вернул ему ее через десять дней и проворчал:

— Переведи это на йотик.

— Но я ее на йотик и писал! — удивился Шевек. — Я ведь пользовался терминологией Атро. Хорошо, я перепишу более аккуратно. Но для чего?

— Как для чего? Да для того, чтобы этот проклятый собственник ее прочитал! Через декаду, 5-го числа улетает корабль.

— Корабль? На Уррас?

— Ну да! Рейсовый грузовик. Чего удивительного?

Таким образом Шевек узнал, что планеты-близнецы обмениваются не только нефтью и ртутью и не только книгами, вроде тех, которые он в настоящее время читает, но и.— и это было потрясающе! — письмами. Письмами! Писать письма «проклятым собственникам»! Подданным государства, основанного на неравенстве! Индивидуалистам! Эксплуататорам! Поддерживающим мощь государственного аппарата и, в свою очередь, эксплуатируемым этим аппаратом! Неужели «собственники» с Урраса действительно способны обмениваться идеями со свободным народом Анарреса? И при этом не проявляют ни малейшей агрессивности, но делают это по собственной воле, свободно, на равных? Это что же, интеллектуальная солидарность? Или они просто пытаются доказать свое превосходство и в этой области? Самоутвердиться, прибрать к рукам чужие идеи? Сама мысль о возможности такого обмена письмами будила в душе Шевека тревогу, и все же интересно было бы выяснить?..

На него уже успело обрушиться столько подобных «открытий», что он вынужден был признаться в собственной — поразительной, непростительной! — наивности: умному и образованному юноше, каким был Шевек, не так-то легко было это сделать.

Первым и по-прежнему самым приятным было то, что занятия столь необходимым ему языком йотик следовало скрывать; это была настолько новая для него ситуация и настолько отвратительная с моральной точки зрения, что он еще не совсем смирился с нею. Совершенно очевидно, он никому непосредственно зла не причинял, не разделяя собственные знания с другими. Кроме того, они ведь тоже могли выучить йотик. Да и что плохого, если кто-то узнает о его занятиях языком Урраса? Он был уверен: свобода — скорее в открытости, чем в скрытности; и потом ради истинной свободы всегда стоит рикнуть. Вот только в чем он, этот риск? Однажды ему показалось, что Сабул просто не хочет, чтобы новые представления о законах физики получили распространение на Анарресе, желая сохранить эти знания для себя одного, владеть ими как СОБСТВЕННОСТЬЮ, пользоваться ими как источником власти над своими же коллегами! Однако эта мысль была настолько шокирующей, настолько противоречила привычному мышлению, что Шевек с невероятным трудом подавил ее, удивительно настойчиво пробивавшую путь в его душе, и с презрением отбросил как абсолютно неприемлемую.

Затем еще эта отдельная комната. У него никогда в жизни не было ОТДЕЛЬНОЙ комнаты. То, что это оказалось действительно удобно, моральной зацепкой, колючкой постоянно сидело в мозгу. Когда Шевек был ребенком, то знал: если кого-то кладут спать в отдельную комнату, это означает наказание за то, что провинившийся беспокоит всех остальных настолько, что его соседи по

спальне не желают больше терпеть; то есть данный ребенок, безусловно, считался последним эгоистом. Одиночество было практически равносильно позору. Взрослые просили отдельную комнату, главным образом когда хотели заняться сексом. В каждом общежитии имелось определенное количество таких отдельных комнат, которые парочка могла занять на одну ночь или на декаду — в общем, так долго, как им того хотелось. Партнеры, то есть мужчина и женщина, жившие одной семьей, обычно занимали сдвоенные комнаты; в маленьких городках, где сдвоенных комнат не хватало, такие пары часто пристраивали еще одну комнату к крайней комнате в общежитии, и в итоге возникали длинные низкие, странной конфигурации — точно растянутые — строения, которые как бы расползались во все стороны, точно растения. Их насмешливо называли «семейно-товарными поездами». Считалось, что во всех иных случаях спать в общей спальне — самая обычная и естественная вещь. Можно было выбрать маленькую или большую комнату, а если тебе не нравились соседи, разрешалось перебраться в любую другую. Мастерские, лаборатории, студии, склады, служебные помещения — все это было общим. Можно было, конечно, уединиться, но в основном приходилось быть постоянно на людях, даже в купальнях. Уединение для занятий сексом было не только нормально и позволено всем, но и с большим пониманием воспринималось обществом; во всех остальных случаях уединение считалось просто нефункциональным. Излишним, бессмысленным. Экономика Анарреса не в состоянии была осуществлять строительство, содержание, отопление, освещение индивидуальных домов и квартир. Люди, по природе своей асоциальные, вынуждены были сами удаляться от общества и сами заботились о себе. Никто им в этом не препятствовал. Такой человек мог построить себе дом, где хотел (хотя если этот дом портил красивый вид или занимал участок плодородной земли, человеку под тяжким давлением соседей приходилось перебираться в другое место). Было, в общем, немало таких одиночек и отшельников — особенно на обочинах наиболее старых коммун Анарреса, — которые очень гордились тем, что не принадлежат якобы к виду «социальных существ». Однако, согласно мировоззрению тех, кто принимал привилегии и обязательства общества

солидарности, уединение обладало определенной ценностью только тогда, когда было функционально.

Поэтому первыми реакциями Шевека на предоставление ему отдельной комнаты были возмущение и стыд. С какой стати его сюда засунули? Но вскоре он понял это и переменил свои взгляды. Именно отдельная комната как нельзя лучше подходила для той работы, которой он сейчас был поглощен. Если ему в полночь приходила в голову какая-то мысль, он мог включить свет и записать ее; если мысли являлись на рассвете, он мог продолжать развивать их все утро, и ему не мешали болтовня и шум соседей по комнате, занимающихся утренним туалетом. Если же голова просто не работала и приходилось целыми днями просиживать за письменным столом, тупо глядя в окно, никто у него за спиной не высказывал вслух удивления по поводу того, что он бездельничает. В итоге Шевек пришел к выводу, что уединение для занятий физикой и математикой столь же желательно, как и для занятий сексом. И все-таки — неужели подобное одиночество столь уж необходимо?

Еще одним «испытанием» оказался десерт. В институтской столовой на обед всегда было что-то сладкое, и Шевеку это ужасно нравилось. Если можно было взять добавку, он всегда брал. Однако его «органически-общественное» сознание страдало при этом, точно желудок от переедания. Разве у всех, разве в каждой столовой планеты — особенно в отдаленных районах — такая же еда? Раньше его всегда убеждали, что это именно так, и он сам не раз мог убедиться в этом. Разумеется, местные отличия существовали, где-то чего-то не хватало, где-то наоборот; кроме того, могли возникнуть разные непредвиденные ситуации, как, например, не раз бывало в лагере, где жили сотрудники Проекта Озеленения. В столовой мог быть плохой повар или очень хороший — в общем, могли, конечно, быть всякие случайности, но в рамках единой, не меняющейся системы. Однако ни один повар, даже самый талантливый, не смог бы приготовить десерт без наличия соответствующих продуктов. В большей части столовых Анарреса десерт подавали раз или два в декаду. Здесь же десерт был каждый день. Почему? Неужели преподаватели и студенты Центрального Института Естественных Наук лучше, чем все остальные люди?

Шевек никому этих вопросов не задавал. Обществен-

ное сознание, мнение других — это была мощнейшая моральная сила, определявшая поведение большей части одонийцев, однако на Шевека она действовала, может быть, чуть меньше, чем на других. А потому многие мучившие его проблемы были такого свойства, что оказывались иным людям просто недоступны. И он привык решать их сам, молча, про себя. Так он поступил и сейчас, хотя моральные проблемы, с которыми он столкнулся, оказались для него в некотором роде куда более сложными, чем проблемы физики времени. Он ничего не спросил у других. Он просто перестал брать в столовой десерт.

Однако в общую спальню не переехал. Он положил на весы моральный дискомфорт и практические преимущества своего одиночества и обнаружил, что последние значительно перевешивают. Ему гораздо лучше работалось в отдельной комнате. Эту работу стоило сделать хорошо, она у него вроде бы спорилась. Значит, условия выполнения этой работы можно воспринимать как функциональные. Подобные соображения в его обществе считались весьма важными. Ответственность оправдывала привилегии.

И он увлеченно работал.

Он похудел. Ходил, почти не чувствуя собственного веса. Отсутствие физических нагрузок, постоянное сидение за столом, пренебрежение к сексу — все это казалось ему несущественным. Важна была только свобода — мыслей и действий. Он был свободен; он мог делать, что хотел и когда хотел. И как угодно долго. Так он и поступал. Работал. Работал, словно играл.

Он набрасывал заметки для целой серии гипотез, подводивших к созданию вполне связной теории Одновременности. Однако вскоре эти идеи стали казаться ему детской забавой — он видел перед собой куда более высокую вершину: Общую Теорию Времени. И намерен был этой вершины достигнуть, если, конечно, ему это удастся. Порой Шевек испытывал нечто вроде приступов клаустрофобии: ему казалось, что он заперт в небольшом помещении, находящемся посреди обширного открытого пространства. Ах, если б он только сумел найти выход! Ясно увидеть, какую именно потайную дверцу нужно открыть! Развитие собственной интуиции стало навязчивой идеей. Всю осень и зиму он старался спать все меньше и меньше. Часа два ночью и часа два днем — этого ему вполне хватало; и эти

короткие периоды сна были совсем не похожи на то, как он спал раньше — крепко, без сновидений; теперь он и во сне тоже как бы бодрствовал, только на каком-то ином уровне, ибо непрерывно видел сны, живые, исполненные смысла, являвшиеся как бы частью его работы. В этих снах он видел, как время поворачивает вспять, как река начинает подниматься вверх по руслу впадающего в нее ручья. Он держал два одномоментных мгновения в левой и правой руках и с улыбкой разводил руки, разделяя эти мгновения, точно один большой мыльный пузырь — на два. Он вскакивал с постели и начинал судорожно записывать, не успев еще как следует проснуться, те математические формулы, которые много дней не давались ему, ускользали, таяли во тьме. Он видел, как пространство сжимается вокруг него, словно некая сфера, рушащаяся внутрь и заполняющая собой царящую в ее центре пустоту; сфера смыкалась, смыкалась, ему уже нечем было дышать, и он просыпался с криком: «Помогите!» — и тут же заставлял себя замолчать и пытался — в молчании и одиночестве — спастись от понимания собственной своей вечной пустоты...

В холодный полдень, где-то под конец зимы он, направляясь домой из библиотеки, зашел в административный отдел физического факультета, чтобы посмотреть, нет ли для него писем. Собственно, никаких причин ожидать письма у него не было: он ни разу не написал никому из друзей, оставшихся в Северном Поселении; однако уже дня два у него было отвратительно на душе: он сам уничтожил некоторые из своих наиболее красивых гипотез и тем самым вернул себя в исходную точку — после полугода тяжелейшей работы! Да и чувствовал он себя отчего-то неважно. Общие принципы Теории казались ему теперь настолько неясными, что вряд ли могли быть кому-то полезны. И почему-то ужасно болело горло. И очень хотелось, чтобы в почтовом ящике оказалось письмо от какого-нибудь хорошего человека. Или хотя бы кто-то из здешних его знакомых просто сказал: «Привет, Шев!» Но в административном отделе никого не оказалось, кроме Сабула.

— Вот, Шевек, взгляни-ка.

Он взял в руки книгу, которую протягивал ему Сабул: тоненькая книжонка в зеленом переплете с Кругом Жизни на обложке. Он открыл ее и увидел на титульном листе название: «Критика гипотезы Атро о Непрерывности». Это

была его собственная работа. А в предисловии к ней Атро высказывал ему свою признательность и приводил некоторые серьезные аргументы в защиту своей теории. И все это было переведено на правик и отпечатано в типографии Координационного Совета. Вот только авторов оказалось двое: Сабул и Шевек.

Сабул, вытянув шею, смотрел, как Шевек листает книжку; он буквально пожирал ее глазами, в глазах светилась тайная радость, даже его обычное ворчание стало глуше и напоминало приглушенный смех.

— Добили мы этого Атро! У-у, собственник проклятый! Пусть-ка теперь кто-нибудь попробует вякнуть о «детских погрешностях»! — Сабул десять лет лелеял свою ненависть к журналу «Вопросы физики», издаваемому Университетом Йе Юн, который охарактеризовал его теоретические труды как «серый провинциализм, страдающий детскими погрешностями и определенным догматизмом, которым, как известно, страдает мышление одонийцев». — Вот теперь они увидели, кто из нас провинциал! — Сабул самодовольно ухмыльнулся. Они были знакомы почти год, однако Шевек не мог припомнить, когда еще видел Сабула улыбающимся.

Шевек уселся на противоположном конце комнаты, для чего ему пришлось убрать с дивана целую кипу каких-то бумаг; разумеется, помещение канцелярии принадлежало всем, однако Сабул самовольно захватил эту дальнюю комнату из двух имевшихся и завалил ее своими материалами и книгами, так что здесь, похоже, никогда никто и не пытался пристроиться. Шевек снова посмотрел на книгу, которую держал в руках, потом выглянул в окно. Он чувствовал себя совершенно больным, разбитым, да и выглядел, надо сказать, неважно. Какое-то неприятное напряжение не оставляло его, хотя с Сабулом он никогда прежде не испытывал ни стеснения, ни неловкости, как это часто случалось с ним в присутствии тех людей, с которыми он давно хотел познакомиться.

— Я и не знал, что вы ее перевели, — сказал он.

— Да, перевел, отредактировал особенно неудачные куски, вставил кое-какие связующие звенья, отполировал и издал. Дней двадцать работы. Ты вполне можешь гордиться этой книжкой: твои идеи вполне могут вылиться в самостоятельную книгу.

Ну, допустим, и в этой-то книжке идей самого Сабула не было ни одной. Она состояла исключительно из самостоятельных идей Шевека и опровергаемых им гипотез Атро.

— Да, конечно, — сказал Шевек. — А еще я бы хотел опубликовать свою последнюю работу, о Реверсивности. Ее тоже следовало бы послать Атро. Она была бы ему интересна, а то он как-то застрял на необратимости времени, а причин его реверсивности не видит.

— Опубликовать? Где это?

— Ну, она была бы написана на языке йотик... так что... опубликовать ее можно было бы на Уррасе. Например, послать ее Атро, чтобы он поместил ее в один из журналов...

— Ты не имеешь права публиковать там работы, которые не были до того опубликованы здесь.

— Но ведь с этой-то мы как раз так и поступили! Она почти целиком была впервые опубликована в журнале Университета Йе Юн.

— Я не сумел этому помешать, но почему, по-твоему, я так спешил сдать ее в типографию? Ведь не думаешь же ты, что в КСПР все в восторге от нашей научной переписки с Уррасом? Синдикат Охраны требует, чтобы буквально каждое слово в письмах, посылаемых отсюда на космических грузовиках, было одобрено экспертами Совета. И неужели ты не понимаешь, как провинциальные физики, для которых подобная возможность общения с Уррасом вообще недосягаема, относятся к тому, что мы этой возможностью пользуемся? Неужели ты думаешь, что они нам не завидуют? Да некоторые из них только и ждут, когда мы сделаем хоть один неверный шаг! И если им когда-нибудь удастся поймать нас на чем-либо недозволенном, мы навсегда лишимся возможности подобной переписки. Теперь тебе все ясно?

— Не все. Как, например, Институту удалось получить разрешение на подобную переписку?

— Благодаря тому, что в КСПР десять лет назад был избран наш преподаватель Пегвур. — Шевек знал, что Пегвур — физик весьма средней руки. — И с тех пор я действую исключительно аккуратно, дабы сохранить этот канал, понял?

Шевек кивнул.

— Кроме того, Атро и не подумает читать твою бредовую работенку. Я просмотрел ее и вернул тебе еще не-

сколько декад назад. Не понимаю, когда ты перестанешь зря тратить время на те мистические теории, которым так привержена Граваб? Неужели не ясно, что старуха зря потратила на них свою жизнь? Если будешь продолжать в том же духе, тоже останешься в дураках. Что, разумеется, является твоим неотъемлемым правом. Однако меня ты в дураках не оставишь.

— А что, если я предложу эту работу для публикации здесь?

— Пустая трата времени.

Шевек проглотил и это, спокойно, согласно кивнул головой и встал. Все еще чуть угловатый, он топтался на месте, глубоко о чем-то задумавшись. Зимний свет резко высвечивал его осунувшееся лицо и светлые волосы, которые он теперь заплетал сзади в косичку. Потом он подошел к письменному столу и взял из небольшой стопки новеньких книжечек одну.

— Я бы хотел послать ее Митис, — сказал он.

— Бери, сколько хочешь.... Послушай, Шевек, если, по-твоему, ты лучше знаешь, что именно следует делать, то передай свою работу прямо в отдел публикаций. Ведь моего разрешения тебе не требуется. У нас тут никакой иерархии нет. И я не стану тебе мешать. Я могу только давать советы.

— Но ведь это вы — главный консультант Синдиката Публикаций по разделу физики, — сказал Шевек. — Мне казалось, мы все сэкономим время, если я спрошу вас насчет публикации прямо.

Он говорил спокойно и явно искренне, его невозможно было укротить, хотя бы потому, что он совершенно не стремился к превосходству.

— Сэкономим время? Что ты хочешь этим сказать? — Сабул был раздражен, однако и он все-таки тоже был одонийцем: он поморщился, словно ему противно было собственное лицемерие, и отвернулся от Шевека. Потом вдруг снова обернулся к нему и сказал язвительно и гневно: — Давай! Иди и отдай им эту чертову работу! Я скажу, что недостаточно компетентен, чтобы судить о ней, и предложу им проконсультироваться у Граваб. Она у нас известный специалист по принципам Одновременности! Занимается всякой мистической чепухой! Вселенная, видите ли, вибрирует, как огромная струна арфы! И какая же, интересно,

нота звучит на этой струне? Пассажи из «Гармонии чисел», я полагаю?.. В общем, я не в состоянии или, иными словами, не желаю советовать что-либо КСПР или его отделу публикаций по поводу ваших интеллектуальных «экскрементов»!

— Та работа, которую я написал сейчас для вас, — заметил Шевек, — является частью моего исследования, которое основано на идеях, высказанных Граваб. Если вы хотите получить это исследование целиком, вам придется мириться с определенной частью моих и ее гипотез. Зерно лучше всего прорастает, если землю удобрить навозом — так говорят у нас, в Северном Поселении.

Он еще минутку постоял, но, не дождавшись ответа, попрощался и вышел.

Он понимал, что выиграл это сражение, причем выиграл легко, без нажима. Почти без нажима. Кое в чем он все-таки нажал на Сабула.

Как и предсказывала Митис, ему пришлось «стать человеком Сабула». Сабул уже давно перестал быть самостоятельно работающим, генерирующим собственные идеи ученым; его теперешняя высокая репутация покоилась на наличии у него власти и на экспроприации чужих идей. Вот теперь и Шевек обязан был рождать идеи, а слава доставалась Сабулу, авторитет которого все рос.

Это была совершенно нетерпимая с точки зрения этических норм ситуация, и Шевек должен был бы сразу с презрением отвергнуть предложение Сабула. Но не отверг. Сабул был ему необходим — чтобы иметь возможность опубликовать выстраданное и послать тем, кто способен понять его идеи, физикам с Урраса. Шевеку как воздух необходимы были их критика и сотрудничество.

Так что они заключили сделку — он и Сабул, — настоящую сделку, вполне спекулянтскую. И никакое это было не сражение, а обыкновенная купля-продажа. Ты — мне, а я — тебе. Если ты мне откажешь, я тебе тоже откажу. Договорились? Продано!.. Карьера Шевека, как и существование всего их общества, зависела от продолжения этого основополагающего, хотя и не признанного гласно, взаимовыгодного контракта. Нет, здесь все строилось не на взаимопомощи и солидарности, а на взаимной эксплуатации; на отношениях не органических, но механических. Разве

можно верно построить уравнение с исходно неверными данными?

— Но я хочу довести эту работу до конца! — уговаривал себя Шевек, бредя по дорожке к общежитию. День был серый, ветреный. — Это мой долг, моя радость! В этом смысл всей моей жизни. Человек, с которым я вынужден работать, — мой соперник, желающий превосходства надо мной и над всеми остальными, спекулирующий своим положением, своей властью, но я этого пока что изменить не могу. Если я хочу вообще продолжать работать, мне придется работать с этим человеком.

Он вспомнил о Митис и ее предостережениях, о Региональном Институте, о той вечеринке перед отъездом из Северного Поселения. Как давно и далеко все это было! В каких мирных и надежно-спокойных краях! Он чуть не заплакал от ностальгии. Проходя под портиком главного здания Института, он заметил, что на него искоса глянула шедшая мимо девушка, и ему показалось, что она похожа на ту его знакомую — как же ее звали? — ту самую, с короткой стрижкой, которая еще без конца жевала жареные пирожки на прощальной вечеринке? Он остановился, обернулся, но девушка уже исчезла за углом. Впрочем, он, наверное, ошибся: у этой волосы были длинные. Ушла. Все, все ушло! Шевек вышел из-под прикрывавшего его портика. Ветер пронизывал насквозь. Моросил мелкий дождь. Дождь здесь всегда в лучшем случае моросил, если вообще шел. Ужасно сухая планета! Сухая, бледная, недружелюбная. «Недружелюбная!»— Шевек произнес это вслух на языке йотик. Язык звучал очень странно. Дождь сек лицо, точно мелкие камешки. Это был недружелюбный дождь. Горло жутко болело, а теперь еще и голова просто раскалывалась. Он только сейчас начал догадываться, что скорее всего болен. Добравшись до комнаты номер 46, он прилег на постель, и ему показалось, что она значительно ниже, чем обычно, и по полу страшно дует. Его знобило, прямо-таки трясло, и он никак не мог унять дрожь. Он натянул оранжевое одеяло на голову, свернулся в клубок и попытался уснуть; но дрожать не перестал: ему казалось, что со всех сторон его обстреливают атомными снарядами, причем атака становилась все более ожесточенной по мере того, как повышалась температура.

Он никогда ничем не болел и не знал никаких физиологических страданий, кроме усталости. Не имея ни малейшего понятия, каково это, когда у тебя сильный жар, он решил, что сходит с ума. Страх перед наступающим безумием заставил его все же обратиться за помощью. Утром, хотя Шевек так и не решился постучать к соседям по коридору, поскольку уже начинал бредить, он с огромным трудом дотащился до местной больницы, находившейся в восьми кварталах от общежития. Холодные, залитые солнечным светом улицы медленно покачивались и вращались вокруг него. В больнице его «безумие» назвали относительно легкой формой пневмонии и велели ему идти в палату номер 2 и ложиться в постель. Он запротестовал. Медсестра назвала его эгоистом и объяснила, что тогда врачу придется без конца посещать его на дому, поскольку заболевание достаточно серьезное. Шевек смирился, пошел в палату номер 2 и лег. Все его соседи были стариками. Медсестра принесла ему стакан воды и какую-то таблетку.

— Что это? — спросил Шевек с подозрением. Зубы у него снова стучали от озноба.

— Жаропонижающее.

— А что это такое?

— Лекарство, от которого температура спадает.

— Мне это не требуется.

— Как хочешь, — пожала плечами сестра и вышла.

Среди молодых анаррести было весьма распространено мнение, что быть больным стыдно; надо сказать, это был один из результатов весьма успешной профилактики различных заболеваний на их суровой планете, а также, возможно, некоторой путаницы, возникавшей в юных умах из-за смешения понятий «здоровый/больной» и «сильный/слабый». Они чувствовали, что болезнь — это что-то сродни позорному проступку, пусть и непреднамеренному. Поддаться ей, проявить преступное слабоволие и начать принимать, например, болеутоляющее было, с их точки зрения, чуть ли не аморально. Молодежь насмерть стояла против всяких таблеток и уколов. В среднем возрасте, а тем более в старости большая часть этих героев меняла точку зрения. Боль порой становилась непереносимей стыда. Медсестра раздавала старикам в палате лекарства, они шутили с нею, а Шевек наблюдал за всем этим с тупым непониманием.

Позднее появился врач с готовым для инъекции шприцем.

— Я не хочу, — заявил Шевек.

— Не будь эгоистом, — возразил врач, — нечего тут к себе всеобщее внимание привлекать! А ну-ка повернись на живот. — Шевек подчинился.

Еще чуть позже сиделка принесла ему напиться, но его так била дрожь, что бóльшая часть воды пролилась на одеяло.

— Оставьте меня в покое, — внятно сказал он. — Кто вы такая? — Женщина сказала, но он не разобрал. И сказал, чтобы она уходила, что он чувствует себя прекрасно, а потом принялся объяснять ей, что гипотеза цикличности времени, хотя сама по себе непродуктивная, является основой его будущей теории Одновременности, ее краеугольным камнем. Он говорил то на правик, то на йотик и быстро писал формулы и уравнения в воздухе — ему казалось, что мелом на грифельной доске, — чтобы она и остальные члены семинарской группы как следует его поняли. Особенно его почему-то волновало, что они не совсем правильно поймут высказывание насчет краеугольного камня. Женщина коснулась его лица, убрала волосы назад и завязала тесемкой. Руки у нее были мягкие, прохладные. Он никогда не ощущал более приятного прикосновения. Он потянулся и хотел взять ее за руку. Но женщина уже ушла.

Проснулся он нескоро. Он мог довольно свободно дышать. Он чувствовал себя отлично. Все было в порядке! Вот только двигаться не хотелось. Казалось, что если начнешь двигаться, то нарушишь идеально-стабильное равновесие, воцарившееся в мире. Зимний свет на потолке был невыразимо прекрасен. Шевек бесконечно любовался его игрой. Старики, его соседи по палате, о чем-то беседовали и смеялись — старческими, глухими голосами, — и эти звуки тоже казались ему прекрасными. Та женщина, что уже приходила к нему, присела на краешек его кровати. Он улыбнулся ей.

— Ну, как ты себя чувствуешь?

— Точно заново родился! А вы кто?

Она тоже улыбнулась:

— Твоя мать.

— Значит, я действительно родился заново. И у меня должно быть новое тело, а это вроде бы то же самое.

— Господи, какую чушь ты несешь!

— Ничего подобного! Это здесь чушь, а на Уррасе Возрождение — существеннейшая часть их религиозных представлений.

— У тебя голова не болит? — Она коснулась его лба. — Температуры, кажется, нет. — Голосом своим она касалась в самой глубине души Шевека какой-то болевой точки, глубоко спрятанной ото всех, но сопротивляться он не мог, и боль проникала все глубже, глубже в душу... Он внимательно посмотрел на женщину и сказал с ужасом:

— Значит, ты — Рулаг!

— Я ведь уже сказала. Да, я Рулаг, твоя мать.

Странно, ей удавалось сохранять на лице выражение веселой беззаботности. Голос звучал весело. Но Шевек со своим лицом справиться не мог. И, хотя сил двигаться у него не было, он весь съежился и отполз от нее подальше с нескрываемым страхом, словно она была не его матерью, а его смертью. Если Рулаг и заметила это слабое движение, то виду не подала.

Она была красива — темноволосая, с тонким нежным, будто точеным лицом, на котором совсем не было заметно морщинок, хотя ей, наверно, было уже за сорок. Все вокруг этой женщины, казалось, пребывало в гармонии, подчиняясь ее воле. Голос у нее был грудной, мягкий.

— Я и не знала, что ты в Аббенае, — сказала она. — Я вообще ничего о тебе не знала. Просто случайно зашла в отдел публикаций — просмотреть новинки и отобрать литературу для библиотеки Инженерного факультета — и увидела книгу, где авторами значились Сабул и Шевек. Сабула я, разумеется, знаю. Но кто такой Шевек? Это имя показалось мне странно знакомым, но я по крайней мере минуты две никак не могла догадаться. Ты только представь себе! Мне это казалось невозможным. Ведь тому, маленькому Шевеку, которого я когда-то знала, могло быть не более двадцати — вряд ли Сабул стал бы писать совместные работы по метакосмологии с каким-то мальчишкой. Так что я пошла узнавать, и какой-то мальчик в общежитии сказал, что ты в больнице... Кстати, эта больница поразительно плохо укомплектована. Я не понимаю, почему представители Синдиката не запросят еще персо-

нал из Медицинской Федерации или не сократят количество принятых на лечение больных? Некоторые из здешних сестер и врачей работают по восемь часов в день и больше! Разумеется, среди медиков встречаются люди, которые стремятся прежде всего к самопожертвованию... К сожалению, однако, это не всегда сопряжено с должной эффективностью... Странно было тебя увидеть. Я бы, видимо, так никогда и не познакомилась с тобой, если бы... Вы с Палатом поддерживаете отношения? Как он?

— Он умер.

— Да? — В голосе Рулаг не прозвучало ни притворного ужаса, ни искренней печали — только некая тоскливая привычность к этому слову, некая безжизненная пустота. Шевеку почему-то стало вдруг жаль ее — всего на мгновение.

— Давно он умер?

— Восемь лет назад.

— Ему ведь не больше тридцати пяти тогда было.

— В Широких Долинах случилось землетрясение... Мы там уже около пяти лет жили, он работал инженером-строителем. Во время землетрясения рухнул учебный центр. Палат вместе с другими пытался вытащить из-под развалин детей. И тут произошел второй толчок... Все, кто там был, погибли. Тридцать два человека.

— Ты тоже там был?

— Нет. Я уже уехал в Региональный Институт — учиться. Всего за десять дней до землетрясения.

Она помолчала; лицо ее было нежным и печальным.

— Бедный Палат. Как это похоже на него — умереть вместе с другими... Тридцать два человека!

— Их могло быть значительно больше, если бы Палат туда не полез, — сказал Шевек.

Рулаг посмотрела на него. Невозможно было определить по этому взгляду, какие чувства испытывала она сейчас. Слова, которые она затем сказала, могли случайно вырваться у нее. А может, она, напротив, долго обдумывала их — кто знает?

— Ты очень любил Палата. — Это звучало как спокойное утверждение.

Он не ответил.

— Но ты на него не похож. Зато очень похож на меня — только я темная, а ты светлый. Я думала, ты будешь похож

на Палата. Я всегда так считала... Странно, насколько воображение способно заставить тебя быть в чем-то абсолютно уверенной... Значит, он тогда остался с тобой?

Шевек кивнул.

— Ему повезло. — Она не вздохнула, однако он почувствовал этот ее сдержанный вздох сожаления.

— Мне тоже.

Помолчали. Потом Рулаг слабо улыбнулась и сказала:

— Да, разумеется. Я, наверное, тоже должна была поддерживать с тобой связь... Ты на меня обижен? Ведь я никак не пыталась тебя разыскать.

— Обижен? Я тебя никогда не знал. Я тебя даже не помнил.

— Неправда. Мы с Палатом держали тебя дома, пока жили вместе, даже когда я отняла тебя от груди... Мы оба этого хотели. В первые годы жизни тесный контакт с родителями для ребенка жизненно важен; психологи это давно доказали. Полная социализация личности должна осуществляться только через несколько лет после рождения, а первые годы ребенок должен прожить с матерью и отцом... Я очень хотела, чтобы мы так и жили — все вместе... Я пыталась устроить Палату вызов в Аббенай. Но по его специальности никогда не было вакансий, а без официального вызова он приезжать ни за что не хотел. Упрямства в нем всегда хватало... Сперва он, правда, писал мне, о тебе рассказывал, потом перестал...

— Это сейчас неважно, — сказал Шевек. Его лицо, осунувшееся после болезни, было покрыто испариной, отчего лоб и щеки казались серебристыми и блестящими.

Снова возникла неловкая пауза, и Рулаг прервала ее своим приятным ровным голосом:

— Да нет, пожалуй, все-таки важно. Хорошо, что именно Палат остался с тобой, что именно он заботился о тебе в те годы, когда ты входил в общество других людей. На него всегда можно было положиться, он был хорошим отцом. А я... я плохая мать. Для меня всегда на первом месте была работа. И все же я рада, что теперь ты здесь, Шевек! Возможно, теперь я тоже смогу быть чем-то для тебя полезной. Я знаю, Аббенай сперва производит отталкивающее впечатление. Чувствуешь себя потерянным, одиноким, не хватает того внимания, с которым к тебе относятся в маленьких городках. Ничего, я знаю здесь мно-

гих интересных людей, возможно, тебе захочется с ними познакомиться. И, возможно, они могут быть тебе весьма полезны. Я неплохо знаю Сабула и скорее всего представляю, что именно тебе в нем кажется неприемлемым. Мне известны также институтские нравы. Здесь, в Аббенае, вообще ценят собственное превосходство над другими и любят играть во многие подобные игры. Нужен некоторый опыт, чтобы понять, как можно переиграть противника. В общем, я рада твоему приезду. Ты это знай. Странно, я никогда к этому не стремилась, но мне так приятно... радостно... Между прочим, я прочла твою книгу. Это ведь твоя книга, верно? Иначе с какой стати Сабул взял в соавторы двадцатилетнего студента? Тема, правда, выше моего понимания, я ведь всего лишь инженер. Но кое-что я поняла и признаюсь: я горжусь тобой! Странно, не правда ли? Необъяснимо — ведь я не имею на это права. В моей гордости тобой даже есть нечто собственническое. Впрочем, когда становишься старше, требуются некоторые подтверждения... и они не всегда разумны. Но необходимы: чтобы просто продолжать жить.

Он видел ее одиночество. Ее боль. И отвергал все это. Это ему угрожало. Это угрожало его верности отцу, той чистой и постоянной любви к Палату, в которой коренилась и крепла его собственная жизнь. Какое она имела право, она, бросившая Палата в беде, прийти со своей бедой к его сыну! У него ничего для нее нет! Ничего он дать ей не может!

— Возможно, было бы лучше, — сказал он, — если бы ты продолжала думать обо мне — как просто об одном из многих.

— Ах вот как. — Она сказала это тихо, спокойно. И отвернулась.

Старички на другом конце палаты явно любовались ею, возбужденно подталкивали друг друга.

— Полагаю, — снова заговорила она, — тебе показалось, что я предъявляю на тебя какие-то права? Это не совсем так... Но я думала, что и ты, возможно, захочешь предъявить какие-то права на меня?

Он промолчал.

— Мы с тобой, конечно, не мать и сын, разве что чисто биологически, — снова слабо улыбнулась она. — Ты не помнишь меня, а тот малыш, которого помню я, теперь

стал двадцатилетним юношей. Все в прошлом, все теперь не имеет значения. Однако мы с тобой брат и сестра — здесь, сейчас; и мы можем помочь друг другу. Вот это действительно имеет смысл. Тебе так не кажется?

— Не знаю.

С минуту она посидела молча, потом встала.

— Тебе нужно отдохнуть. Ты был очень болен — я ведь и раньше приходила... А сегодня мне сказали, что ты уже скоро поправишься. Не думаю, что приду сюда еще раз.

Он по-прежнему молчал.

— До свидания, Шевек, — сказала Рулаг и сразу отвернулась, но у него успело возникнуть кошмарное ощущение того, что лицо ее меняется на глазах — ломается, распадается на куски. Наверное, это был просто плод его воображения, но, когда она встала, это была совсем другая женщина. Очень красивая, уверенная в себе. Она вышла из палаты привычной изящной походкой, и Шевек заметил, как она остановилась в коридоре и о чем-то, улыбаясь, заговорила с медсестрой. Когда она ушла, он дал волю страху, пришедшему вместе с ней, разбудившему в нем ощущения нарушенных обещаний, несвязности, непоследовательности Времени. И он сломался. И заплакал, пытаясь спрятать лицо, закрыть его руками, потому что у него не хватало сил даже просто отвернуться. Один из соседей, старый больной человек, подошел к нему и, присев на край кровати, потрепал по плечу.

— Ничего, братец. Ничего, — шептал он.

Шевек слышал его голос, чувствовал его ласку, но утешения это ему не приносило. Даже от слова «братец» в такой плохой час не исходило тепла, слишком высокой была та стена, что его сейчас окружала.

Глава 5

УРРАС

Шевек с облегчением перестал «быть туристом» и начал работать; ему надоело смотреть на этот рай со стороны, тем более в Университете Йе Юн начинался новый семестр.

Он взялся вести два семинара и открытый курс лекций.

От него не требовали преподавательской работы, но он давно уже жаждал ее, и администрация Университета пошла ему навстречу. Что же касается «открытого класса», то это была не его и не их идея. К Шевеку с этой просьбой явилась целая делегация студентов, и он сразу согласился. Именно так обычно делалось в учебных центрах Анарреса: группы составлялись по требованию учащихся, или же по инициативе преподавателей, или же благодаря тому и другому одновременно. Когда Шевек обнаружил, что руководство Университета скорее огорчено этим, ему стало смешно: неужели они ожидали, что студенты совершенно не склонны к анархии? Да это были бы просто не настоящие студенты! Всегда нужно стремиться выплыть на поверхность, даже если совсем опустился на дно.

У него не было намерения пойти навстречу администрации и отменить этот курс — он и сам раньше, будучи студентом, выдерживал подобные битвы, и, поскольку он чувствовал себя абсолютно уверенно, его уверенность сообщалась и другим. Чтобы избежать неприятных публикаций в прессе, ректорат Университета сдался, и Шевек начал читать свой курс, в первый же день собрав немыслимую аудиторию — две тысячи человек! Вскоре посещаемость, правда, значительно упала. Он говорил исключительно о проблемах физики, никогда не отвлекаясь и не затрагивая ни личных, ни политических проблем, а физика, о которой шла речь, была доступна далеко не каждому. Однако несколько сотен студентов продолжали посещать занятия. Некоторые приходили из чистого любопытства — посмотреть на человека с луны; других Шевек привлекал как личность: им достаточно было видеть этого анархиста, сторонника доктрины «свободы воли»; в его речах они улавливали что-то свое, даже если не способны были проследить за ходом его математических выкладок. Но самое удивительное — многие сумели все же уловить не только философский, но и математический смысл его теорий.

Им дали отличное образование, этим юным уррасти. Умы их были отточены, остры, готовы к восприятию. Когда они не работали, то просто отдыхали, и при этом их не отупляли и не отвлекали десятком других обязанностей и обязательств. Они никогда не засыпали в аудитории, потому что устали от дежурства по общежитию, которое несли накануне. Общество Урраса поддерживало будущий цвет

своей науки, и студенты Университета были абсолютно свободны от каких бы то ни было других забот. Ничто не отвлекало их от серьезных занятий.

Однако совершенно по-другому стоял вопрос о том, что они могли и чего не могли делать. Шевеку показалось, что их свобода от обязанностей и забот находится в прямой пропорции с нехваткой у них свободы инициативы.

Он ужаснулся, когда познакомился с их экзаменационной системой; он и представить себе не мог более отпугивающего средства для тех, кто естественным образом желает узнавать новое; особенно кошмарной казалась ему необходимость прямо перед экзаменом поспешно нахватывать недостающие знания и выталкивать эту непрожеванную и непереваренную массу по требованию экзаменатора. Сперва он отказывался устраивать какие бы то ни было контрольные или проверки, а также — ставить оценки, однако это настолько огорчало администрацию Университета, что он, не желая быть невежливым и неблагодарным по отношению к тем, кто его сюда пригласил, сдался и попросил своих студентов написать работу по любой проблеме в области физики, которая их интересует, пообещав поставить за самостоятельность мышления самые высшие оценки, чтобы университетские бюрократы смогли бы занести их в свои реестры. К его удивлению, довольно многие студенты явились к нему с жалобами. Они хотели, чтобы это он ставил перед ними цели и задачи, чтобы он спрашивал их по конкретным вопросам из области пройденного; сами же они не хотели ни ставить перед собой вопросы, ни думать о них — хотели лишь написать готовые ответы по хорошо выученному и проработанному материалу. А некоторые даже совершенно серьезно возражали против того, чтобы Шевек всем ставил одинаковые оценки. Они считали, что так невозможно отличить выдающихся студентов от тупиц. Да и какой прок от упорной работы в течение семестра, если даже элементов соревнования не сохраняется? Тогда можно вообще ничего не делать!

— Что ж, разумеется, — сказал встревоженный Шевек. — В этом вы правы: если не хотите делать работу, то и не следует ее делать.

Они ушли, ничуть не успокоенные его ответом, но по-прежнему вежливые и почтительные. Вообще-то они были

приятные ребята, открытые, вежливые, умеющие себя вести. То, что Шевек прочитал по истории Урраса, в итоге заставило его прийти к выводу, что это настоящие аристократы — хотя это слово и редко использовалось в последнее время. Аристократы духа. Во времена феодализма представители аристократии посылали своих сыновей в Университет, придавая, таким образом, первостепенное значение образованности. Теперь же это приобрело как бы обратный смысл: выпускники Университета уже считались аристократами и обладали определенным превосходством над остальными. Студенты с гордостью говорили Шевеку, что конкурс на получение стипендии с каждым годом становится все более жестким, но в нем могут участвовать все — этим доказывалась исходная демократичность данного учебного заведения. Он ответил:

— Вы вешаете на дверь еще один замок и называете это демократичностью?

Да, Шевеку нравились его вежливые умные студенты, но он не испытывал особого тепла ни к одному из них. Они заранее строили свои карьеры — чисто академические или в промышленности. А то, что они узнавали у него на занятиях, да и знания вообще воспринимались ими всего лишь как средство для достижения конечной цели: успешной карьеры. Им было неважно — даже если они понимали, ЧТО Шевек мог предложить им дополнительно, — получат ли они эти дополнительные знания, если и без них сумеют занять подобающее место в обществе.

Никаких других обязанностей, кроме подготовки к двум семинарам и курсу лекций, у него не было; все остальное время целиком было в его распоряжении. Он не имел столько свободого времени с тех пор, когда ему было двадцать, с первых курсов учебы в Аббенае. А потом его общественная и личная жизнь становилась все более и более сложной и требовательной. Он был не только физиком, но еще и отцом семейства, одонийцем и, наконец, общественным реформатором. И ему некуда было сбежать от забот и ответственности, которые сыпались на него как из рога изобилия. Его никогда ни от чего не освобождали; он был свободен только трудиться, без конца что-то делать. А здесь, на Урасе, все было иначе. Как и все преподаватели и учащиеся, он не обязан был делать ничего, буквально ничего! Кровати за них стелили, комнаты убирали, все бытовые проблемы на факультетах решал кто-то еще, перед ними же был открыт широкий путь — в Науку. И никаких жен, никаких семей. Вообще никаких женщин. Студентам в Университете Йе Юн жениться было запрещено. Женатые преподаватели обычно пять дней в неделю жили по-холостяцки в университетском городке и уезжали домой только на два выходных дня. Ничто не отвлекало их от науки. Полная свобода — можно было заниматься только любимым делом; все материалы под рукой; интеллектуальные споры, разговоры — в любое время! И никакого давления. Просто рай, да и только! Однако Шевек, похоже, никак не мог прийти в себя и по-настоящему взяться за работу.

Чего-то ему не хватало — в нем самом, как он считал, не в окружающей среде. Он, видно, еще не дорос до таких условий. У него не хватало совести — безвозмездно принимать то, что ему так щедро предлагалось. Он чувствовал себя каким-то обезвоженным, точно растение пустыни, хотя кругом раскинулся прекрасный оазис. Жизнь на Анарресе, ее необычайная суровость и требовательность наложили на него свой отпечаток, закрыли его душу; воды жизни разливались вокруг него могучим потоком, а он все не мог напиться.

Он, разумеется, заставлял себя работать, но не чувствовал уверенности в себе. Он, казалось, утратил то научное чутье, которое, согласно собственной самооценке, считал своим главным преимуществом перед остальными физиками — ощущение того, в чем именно заключена действительно важная проблема и где тот ключ, что даст возможность проникнуть в самую ее сердцевину. Он работал в Лаборатории Природы Света, очень много читал и за лето написал три работы: то есть, по обычным меркам, эти полгода были достаточно продуктивными. Однако он понимал, что по-настоящему-то он ничего не сделал.

Чем дольше он жил на Уррасе, тем менее реальным он ему казался. Он словно ускользал от него — этот полный жизненных сил, великолепный, неистощимый мир, который он тогда увидел из окон своей комнаты — в самый первый день пребывания на этой планете. Этот мир выскальзывал из его неловких рук чужака, избегал его, и когда Шевек смотрел на то, что у него получилось, оказывалось, что это нечто совершенно отличное от того, к чему

он стремился, что-то совсем ему не нужное, вроде смятой брошенной бумажки. Просто мусор.

Он получил деньги за написанные им работы. У него уже было на счету в Национальном Банке 10 000 международных валютных единиц — премия Сео Оен, а также грант в 5 000, который ему предоставило правительство А-Йо. Теперь эта сумма еще увеличилась благодаря его профессорской зарплате и гонорару, полученному в издательстве Университета за три последние монографии. Сперва все это казалось ему смешным; потом ему стало не по себе. Не может же он повернуться спиной, как к чему-то нелепому, к тому, что в конце концов представляет здесь первостепенную важность! Он попытался читать простенькие статьи по экономике, но это оказалось невыносимо скучно — все равно, что слушать, как кто-то рассказывает свой ужасно длинный и совершенно дурацкий сон. Он не смог заставить себя понять, как именно функционируют банки и тому подобное, потому что все операции этих капиталистических учреждений были для него столь же бессмысленны, как ритуалы какой-нибудь примитивной религии, как нечто варварское — столь же замысловатое, сколь и ненужное. В человеческих жертвоприношениях вполне могла быть по крайней мере хотя бы ошибочная и страшная, но все-таки красота; в ритуалах этих менял, где алчность, лень и зависть были призваны двигать всеми поступками людей, даже ужасное становилось банальным. Шевек смотрел на это чудовищное крючкотворство с презрением и безо всякого интереса. Он не допускал, не мог допустить, что на самом деле ему от всего этого становится страшно.

Сайо Пае как-то раз повез его по магазинам. Шла уже вторая неделя пребывания Шевека в А-Йо. Хотя он не собирался стричь волосы — в конце концов, он считал их частью самого себя, — но в остальном хотел быть похожим на настоящего жителя Урраса. Ему надоело, что на него пялят глаза как на чужеземную диковинку. Его прежний, слишком простой костюм выглядел здесь чуть ли не вызывающе, а мягкие, хотя и грубо сшитые ботинки, предназначенные для пустыни, казались весьма странными среди изящной городской обуви. Он сам попросил Пае помочь ему сменить гардероб, и они поехали на улицу Семтеневиа, элегантный торговый центр Нио Эссейи, чтобы заказать там обувь и одежду.

Сам по себе опыт подобной поездки оказался настолько ошеломляющим, что Шевек решил никогда больше его не повторять и поскорее выбросить все это из головы, однако и несколько месяцев спустя ему часто снились кошмарные сны об этой поездке. Улица Семтеневиа была мили две в длину, и по ней двигалась плотно спрессованная масса людей и транспорта. Здесь все покупалось или продавалось. Куртки, пальто, различные наряды, вечерние платья, рубашки, брюки, спортивная одежда, майки, блузки, шляпы, обувь, носки, шарфы, шали, курточки, кепки, зонты, пижамы, купальные костюмы, одежда для коктейлей и деловых приемов, для пикников и путешествий, для театра и для занятий скейтбордингом, для торжественных обедов и охоты — все разное, сотни самых различных фасонов, сотни стилей и расцветок, фактуры и толщины ткани. Духи, часы, лампы, статуэтки, косметика, свечи, картины, фотокамеры, настольные и спортивные игры, вазы, диваны, чайники, подушки, куклы, дуршлаги, кастрюли, драгоценные украшения, ковры, зубочистки, календари... Он видел детскую погремушку из платины и хрусталя, электрическую машинку для заточки карандашей, наручные часы с цифрами из бриллиантов; безделушки, сувениры, лакомства, записные книжки и прочую мелочь — все одинаковое и совершенно бессмысленное, украшенное драгоценными металлами и самоцветами так, что совершенно невозможно было определить, что это такое и зачем оно. Квадратные километры, буквально забитые предметами роскоши, совершенно ненужными, излишними, «экскрементальными»... У одной из первых витрин Шевек остановился и с изумлением уставился на потрепанное, покрытое странными пятнами, какое-то косматое пальто, висевшее на самом видном месте среди прочих изысканных нарядов и украшений.

— Это пальто стоит 8400 единиц? — спросил он, не веря собственным глазам; как раз недавно он прочитал в газете, что здешний «прожиточный минимум» для семьи составляет примерно 2000 единиц в год.

— О да! Ведь это натуральный мех! Теперь большая редкость — ведь животных охраняет государство. — Пае явно был в восторге от косматого пальто. — Красивая вещь, правда? Женщины любят меха.

Они миновали еще один квартал, и Шевек понял, что

дальше идти не в силах. Он чувствовал себя до крайности изможденным. Он больше не мог СМОТРЕТЬ. Ему хотелось закрыть глаза.

И самое странное на этой кошмарной улице — что ни одна из невероятного множества выставленных для продажи вещей там НЕ ДЕЛАЛАСЬ. Вещи там только ПРОДАВАЛИ. Но где же тогда мастерские, фабрики, заводы? Где фермеры, ремесленники, шахтеры, ткачи, химики, резчики, красильщики, дизайнеры? Где те руки, что изготовили все это? Спрятаны, чтобы не быть на виду. Где-то подальше. За стенами. А здесь водились только два сорта людей: покупатели и продавцы. И ни те, ни другие не имели никакого отношения к созданию вещей. Только к обладанию ими.

Шевек обнаружил, что если с тебя один раз снимут мерки, то потом можно без конца заказывать все, что тебе захочется или понадобится, просто по телефону, и решил больше никогда не возвращаться на эту кошмарную улицу.

Заказанные костюмы и обувь прибыли через неделю. Шевек переоделся и некоторое время постоял перед огромным зеркалом в спальне. Отлично сидевший серый пиджак, белая сорочка, черные узкие брюки, черные носки, блестящие черные туфли — все это очень шло ему, высокому, худощавому. Он коснулся пальцем блестящего носка туфли. Это было очень похоже на кожу, хотя вряд ли такое возможно. Впрочем, тот же материал, что и на креслах в гостиной... Он не выдержал и спросил кого-то, что это такое, и ему сказали: да, действительно, это кожа — точнее, шкура животных, тщательно выделанная. Шевек поморщился, вспомнив об этом. Он выпрямился и отвернулся от зеркала. Однако все же успел заметить, что в таком виде, нарядно и модно одетый, он еще больше похож на свою мать Рулаг.

В середине осени между семестрами были большие каникулы. Большая часть студентов разъезжалась по домам. Шевек отправился автостопом в горы Мейтейс с группой студентов и научных работников из Лаборатории Природы Света, потом, вернувшись, сделал заявку на несколько часов работы за большим компьютером, который в течение семестра вечно был занят. Но, даже уставая до отвра-

щения от работы, которая не давала никаких результатов, он работал не слишком усердно. Спал больше обычного, много гулял, читал и пытался убедить себя, что просто он всегда раньше чересчур торопился из-за постоянной нехватки времени, но нельзя, невозможно познать, хотя бы охватить взглядом, целый новый мир всего лишь за несколько месяцев. Лужайки и рощи университетского парка были прекрасны — с кудрявыми деревьями, сияющими золотой осенней листвой, которую срывали ветер и дожди. Шевек увлекся поэзией; он читал стихи крупнейших поэтов йоти и теперь хорошо понимал, почему они так часто воспевали цвета и краски осени. Понимание этой поэзии принесло огромное наслаждение. И очень приятно было вернуться вечером в свою комнату, в этот дом, спокойная красота которого не переставала восхищать его. Хотя теперь он уже немного привык и к красоте, и к комфорту своего жилища. Привык он и к лицам своих коллег в профессорской; некоторые из них были ему более приятны, некоторые — менее, но все теперь уже были ему хорошо знакомы. Привык и к обильной и чрезвычайно разнообразной пище, количество которой сперва приводило его просто в смущение. Человек, который прислуживал ему за столом, быстро разобрался в его потребностях и вкусах и обслуживал его так, как, наверное, он сам бы себя не обслужил. Шевек по-прежнему не ел мяса; он, разумеется, попробовал его — из вежливости, а также пытаясь доказать себе, что должен подавить всякие там иррациональные предрассудки — однако его желудок с ним не согласился и яростно восстал, устроив Шевеку два совершенно катастрофических приступа. Шевек сдался и прекратил подобные эксперименты с мясным; он остался вегетарианцем, хотя рыбу ел и вообще отличался отменным аппетитом. Он даже прибавил в весе — килограмма три-четыре — и выглядел сейчас очень хорошо, загорелый и отдохнувший за каникулы. Сегодня, вставая из-за стола в огромном старинном зале столовой с невероятно высокими потолками, с балками над головой, с украшенными деревянными панелями и чьими-то портретами стенами, с зажженными на столах свечами, со сверканием серебра и тонкого фарфора, он с кем-то поздоровался с высоты своего огромного роста и двинулся было к выходу с обычным выражени-

ем миролюбивой отрешенности на лице, когда к нему через весь зал бросился Чифойлиск.

— У вас найдется две-три свободные минутки, Шевек?

— Да, конечно. Пойдемте ко мне?

Чифойлиск, похоже, колебался.

— Может быть, лучше в библиотеку? — предложил он. — Вам это все равно по пути, а мне нужно взять кое-что из книг.

Они пересекли двор, направляясь к библиотеке факультета «Естественных Наук» — таково было старомодное название физического факультета, сохранившееся в некоторых институтах даже на Анарресе. Сгущались сумерки, накрапывал дождь. Чифойлиск раскрыл зонт, а Шевек шел с непокрытой головой, не обращая внимания на дождь и воспринимая его, пожалуй, даже с большим удовольствием, чем жители Урраса солнечные погожие деньки.

— Вы же промокнете, — буркнул Чифойлиск. — У вас ведь, кажется, легкие не в порядке? Нужно быть осторожнее.

— Я прекрасно себя чувствую, — сказал Шевек и улыбнулся: быстрая ходьба и дождик освежили его. — Этот «прикрепленный» ко мне вашими властями врач прописал мне какие-то замечательные ингаляции. И знаете, мне чудесно помогло: я больше совсем не кашляю. Я его попросил перечислить названия этих процедур и лекарственных средств, которыми он пользовался, во время сеанса радиосвязи с нашим Синдикатом Инициативных Людей. И он мою просьбу с удовольствием выполнил. Знаете, такое простое средство, а облегчение огромное! И особенно эффективно при большом скоплении пыли в воздухе. Ну почему, почему никто не догадался делать подобные ингаляции раньше? Почему вообще мы работам не вместе, Чифойлиск?

Чифойлиск хмыкнул со злой иронией. В читальном зале было тихо и пусто. Стеллажи со старыми книгами под изящными двойными арками из мрамора, священный полумрак, лампы — простые белые шары — на длинных читальных столах. И ни души, только смотритель поспешил за ними следом, чтобы разжечь огонь в мраморном камине и убедиться, что им ничего больше не нужно. Затем он снова исчез. Чифойлиск постоял у камина, глядя,

как рагорается растопка. Брови его над маленькими глазками были сдвинуты, грубоватое, смуглое, умное лицо казалось мгновенно постаревшим.

— У меня к вам неприятный разговор, Шевек, — хрипловато начал он. — Полагаю, вас это не слишком удивит.

— А в чем, собственно, дело?

— Интересно, понимаете ли вы, зачем вы здесь?

Помолчав, Шевек ответил:

— По-моему, да.

— В таком случае вы сознаете, что вас купили?

— Купили?

— Ну хорошо, скажем, «кооптировали», если вам это нравится больше. Послушайте, каким бы умницей ни был человек, он не может увидеть того, что видеть ему не дано. Как можете вы понять свое положение, свою нынешнюю роль здесь, в этом плутократическом олигархическом государстве, прибыв из маленькой коммуны голодающих идеалистов, буквально свалившись с небес?

— Уверяю вас, Чифойлиск, на Анарресе осталось не так уж много идеалистов. Первые поселенцы действительно были идеалистами, раз смогли покинуть эту цветущую планету ради наших бесплодных пустынь. Но то было семь поколений назад! Уверяю вас, наше общество весьма прагматично. Возможно, даже чересчур. Ибо сосредоточено исключительно на проблеме собственного выживания. Что уж такого «идеалистического» в кооперации, во взаимопомощи? Ведь там — это единственный способ выжить.

— Я не могу спорить с вами о ценностях учения Одо. Что отнюдь не значит, что мне этого никогда не хотелось! И я действительно немного разбираюсь в этом, смею вас уверить. Мы, моя страна, значительно ближе к одонийцам, чем А-Йо. Мы продукт того же великого революционного движения, имевшего место в восьмом веке, что и вы, мы — социалисты.

— Но у вас ведь типичная иерархия! Государство Тху даже более централизованно, чем А-Йо. Тот, у кого в руках власть, контролирует все — правительство, управленческий аппарат, полицию, армию, образование, правовую систему, торговлю, производство... К тому же вы пользуетесь деньгами.

— Денежные отношения у нас в экономике основываются на том, что каждый получает по труду, то есть по сто-

имости своего труда — и получает не от капиталистов, которым вынужден служить, а от государства, членом которого является сам!

— А что, он сам и устанавливает, какова стоимость его труда?

— Послушайте, Шевек, почему бы вам не приехать в Тху и не посмотреть собственными глазами, как функционирует настоящая социалистическая система?

— Я знаю, как функционирует настоящая социалистическая система, — сказал Шевек. — Я могу вам это рассказать, но вот позволит ли мне ваше правительство разъяснить это у вас, в Тху?

Чифойлиск подтолкнул ногой полено, которое до сих пор еще не занялось. Лицо его, когда он смотрел на огонь, было исполненным горечи, от крыльев носа к уголкам рта пролегли глубокие резкие морщины. На вопрос Шевека он не ответил. Потом наконец промолвил:

— Я не собираюсь играть с вами в прятки. Это так или иначе к добру не привело бы. Но я должен спросить у вас: вы бы хотели поехать в Тху?

— Не сейчас, Чифойлиск.

— Но разве здесь вы можете чего-то добиться?..

— Мне нужно закончить работу. К тому же близится заседание Совета Государств Планеты...

— Да этот Совет уже лет тридцать у А-Йо в кармане! Не надейтесь, что они вам помогут. СГП — для вас не спасение!

— Так, значит, мне грозит опасность? — помолчав, спросил Шевек.

— Вы что, даже этого не поняли?

Повисла гнетущая тишина.

— Против кого же вы меня предостерегаете? — спросил чуть погодя Шевек.

— Ну в первую очередь опасен Пае...

— Ах да, Пае... — Шевек оперся руками о каминную полку, украшенную золотистым орнаментом. — Пае — очень хороший физик. И весьма обязательный, услужливый человек. Но я ему не доверяю.

— Да? А почему?

— Видите ли... Он всегда ускользает, никогда не ответит прямо...

— Вот именно! Это вы очень точно подметили. Однако

Пае опасен для вас, Шевек, не из-за своих личных качеств, не из-за своей изворотливости, а потому, что он верный и надежный агент правительства А-Йо. Он докладывает в тайную полицию, то есть в Департамент Национальной Безопасности, о каждом вашем слове. И о моем тоже. Причем регулярно. Господи, я вас очень высоко ценю, Шевек, но неужели вы не понимаете, что ваша привычка оценивать каждого только с точки зрения его личных качеств здесь не годится? Это здесь попросту не работает! Вы должны сперва разобраться, что за силы стоят за тем или иным «представителем науки».

Шевек подобрался, выпрямился и теперь, как и Чифойлиск, смотрел на пляшущие в камине языки пламени.

— Откуда вам все это известно — о Пае? — спросил он.

— Из того же источника, из которого мне известно, что в вашей комнате имеется подслушивающее устройство. Как и в моей, впрочем. Вообще-то я по роду своей деятельности обязан знать о таких вещах.

— Вы что, тоже тайный агент?

Лицо Чифойлиска стало еще суровее; он помолчал, потом вдруг повернулся к Шевеку и заговорил тихо и с ненавистью:

— Да, конечно! Иначе как бы я оказался здесь? Всем известно, что правительство Тху посылает за границу только тех, кому может доверять... А мне они доверять могут! Потому что я не куплен, как все эти богатенькие профессора йоти. Я верю своему правительству, я патриот! — Он выплевывал слова с какой-то яростной решимостью и мукой. — Да посмотрите вы вокруг, Шевек! Вы же словно ребенок среди воров. Они к вам добры, они предоставили вам хорошую комнату, возможность читать лекции студентам, у вас есть деньги, вы совершаете поездки по старинным замкам, по самым лучшим предприятиям, по самым красивым деревням... Все самое лучшее! Все самое красивое! И складывается все так замечательно! Но почему? Почему они действительно привезли вас сюда с луны, хвалят вас, печатают ваши книги, обеспечивают вас абсолютно всем необходимым в лекционных залах, лабораториях и библиотеках? Неужели вы думаете, что они делают это из научного бескорыстия, из братской любви? Это экономика наживы, Шевек!

— Я знаю. Я прибыл сюда, чтобы заключить с ее представителями сделку.

— Сделку? Какую? Зачем?

Лицо Шевека стало таким же холодным и замкнутым, как после посещения крепости в Дрио.

— Вы же знаете, чего я хочу, Чифойлиск. Я хочу, чтобы мой народ вернулся из ссылки! Я прилетел в А-Йо, потому что не уверен, чтобы в Тху этого хотели бы. Вы боитесь анаррести. Вы боитесь, что мы можем принести с собой истинно революционные идеи, идеи той, старой, настоящей революции, которую вы во имя справедливости начали, а потом остановились на полпути. Здесь, в А-Йо, меня боятся меньше, потому что йоти давно забыли о той революции. Они больше в нее не верят, они думают, что, если людям дать достаточно разных вещей, они вполне удовлетворятся даже жизнью в тюрьме. Но ведь это не так, и я никогда не поверю в это! Я хочу, чтобы рухнули тюремные стены. Я стремлюсь к солидарности, солидарности наших народов. Я хочу свободного обмена между Уррасом и Анарресом. Я не щадил сил во имя этой цели на Анарресе, а теперь я пытаюсь сделать что-то на Уррасе. Там я действовал активно. Здесь — в рамках заключенной сделки.

— Сделки? Но какой?

— Ах, вы прекрасно все понимаете, Чифойлиск, — сказал тихо и с нажимом Шевек. — И прекрасно знаете, чего они от меня ждут.

— Да, знаю. Но я не знал, что вы ее уже создали! — Хриплый голос Чифойлиска стал похож на рычание, казалось, в горле у него что-то шипит и клокочет. — Значит, она существует — Общая Теория Времени?

Шевек молча смотрел на него — во взгляде его чуть сквозила ирония.

— Она у вас в компьютере? На бумаге? — не унимался Чифойлиск.

Шевек продолжал молчать еще с минуту, потом ответил прямо:

— Нет. Эта работа пока не завершена.

— Слава богу!

— Почему?

— Потому что, если б она была завершена, они бы ее уже заполучили.

— Что вы хотите этим сказать?

— Только то, что сказал. Послушайте, разве не Одо утверждала, что везде, где существует собственность, существует и кража?

— Немного не так. «Чтобы создать вора, создайте собственника; чтобы создать преступление, создайте закон». Это из «Социального организма».

— Да-да, верно. Значит, там, где существуют секретные документы, существуют и люди, способные подобрать ключи от комнат, где эти документы хранятся.

Шевек поморщился и сказал:

— Вы правы. И это очень неприятно.

— Для вас, возможно. Но я не страдаю вашими комплексами, и меня не мучают дурацкие угрызения совести. Честно говоря, я знал, что у вас нет этой теории в записях. Но если б я хотя бы предполагал, что она у вас есть, я бы сделал все возможное, чтобы получить ее, использовал бы любые средства — убеждение, кражу, насилие. Если бы мне казалось, что мы можем силой похитить вас, не развязав при этом войну с А-Йо, я бы не преминул воспользоваться этим, лишь бы увезти вас вместе с вашей Теорией от этих жирных капиталистов и передать в наш Центральный Президиум. Ибо самая высшая цель для меня — служить своей стране во имя ее упрочения и благополучия.

— Да врете вы все, — миролюбиво сказал Шевек. — Возможно, вы действительно патриот своей родины, но для вас научная истина дороже патриотизма. И возможно, ваше уважение к отдельным индивидам также сильнее так называемой любви к отечеству. Вы же не предадите меня, правда?

— Предал бы, если б смог! — свирепо рявкнул Чифойлиск. Он хотел было что-то еще прибавить, но не стал, а помолчав, сказал сердито и почти с отвращением: — Думайте что хотите, Шевек. Я не могу открыть вам глаза насильно. Но помните: народу Тху вы нужны. Если вы наконец поймете, что происходит с вами здесь, приезжайте в Тху. Вы ошиблись и выбрали не тот народ для братания! И если... А впрочем, это не мое дело! Если же вы так и не приедете в Тху, то по крайней мере не отдавайте свою Теорию этим йоти. Ничего им не давайте, этим менялам! Уезжайте отсюда. Уезжайте домой. Отдайте своему собственному народу то, что можете и хотите кому-то отдать!

— Моему народу это не нужно, — бесцветным тоном сказал Шевек. — Неужели вы думаете, что я не пробовал?

Дней через пять Шевек как-то поинтересовался, куда пропал Чифойлиск, и ему сказали, что он вернулся в Тху.

— Навсегда? А ведь даже словом не обмолвился, что собирается уезжать.

— Подданный государства Тху никогда не знает, когда получит приказ от своего Президиума, — ответил Пае, ибо, разумеется, Пае и сообщил Шевеку об отъезде Чифойлиска. — А когда приказ им получен, подданный государства Тху должен мчаться со всех ног на зов своего правительства и по пути не отвлекаться и не останавливаться. Бедный старина Чиф! Интересно, какую ошибку он умудрился совершить?

Раза два в неделю Шевек ходил навестить старого Атро, жившего в хорошеньком маленьком домике на самой окраине университетского городка. Вместе с ним жили двое слуг, такие же старые, как он сам, которые нежно о нем заботились. В свои восемьдесят лет Атро, по его же собственным словам, был больше похож на памятник — памятник первоклассному физику. Хотя ему в отличие от Граваб удалось все же увидеть при жизни воплощенными на практике почти все свои идеи. Атро и Граваб тем не менее были в чем-то похожи: она была абсолютно бескорыстна, Атро же слишком долго прожил, чтобы питать к кому-то корыстный интерес. По крайней мере его интерес к Шевеку был чисто личным — дружеским и профессиональным. Атро был первым среди тех, кто, исповедуя принципы классической физики, сумел пересмотреть свои взгляды в свете теоретических новшеств Шевека, связанных с проблемами пространства и времени. И он добровольно сражался принятым из рук Шевека оружием во имя его теорий и против всего научного истеблишмента Урраса, и эта битва продолжалась несколько лет, прежде чем последовала публикация полного варианта «Принципов Одновременности», вскоре после чего сторонники этой теории одержали наконец победу. Это была высочайшая вершина в жизни Атро. Он никогда бы не стал сражаться за то, что недостойно называться истиной, однако больше, чем саму истину, он любил восторг сражения за нее.

Атро прекрасно знал свою генеалогию — одиннадцативековую! — всех генералов, князей, крупных землевладельцев. Его семейству и до сих пор принадлежало поместье в семь тысяч акров с четырнадцатью деревнями в провинции Сие, наименее урбанизированной провинции А-Йо. Атро с удовольствием и даже с гордостью вставлял в свою речь различные провинциальные обороты и архаизмы. Излишним «патриотизмом» он явно не страдал, а правительство своей страны называл во всеуслышание «демагогами и ползучими политиканами». Его уважение купить было невозможно. И все же он дарил его, безвозмездно, любому ослу, который, как он говорил, «был из хорошей фамилии». В некотором роде для Шевека он был совершенно непостижим: загадка, аристократ до мозга костей. И все же его искреннее презрение как к деньгам, так и к власти заставляло Шевека чувствовать родственную душу скорее в нем, чем в ком-либо еще из тех, с кем он познакомился на Урраса.

Однажды, когда они сидели вдвоем на застекленной веранде, украшенной разнообразными редкими видами цветов, совершенно не свойственных данному сезону, Атро случайно обронил: «Мы, китаянцы...», и Шевек тут же поймал его на этом.

— «Китаянцы»? Разве это не «птичий язык»? — Понятие «птичий язык» выдумали газетчики и тележурналисты, оно часто звучало в популярных радиопередачах и фильмах, состряпанных для городских обывателей.

— Птичий! — согласился Атро. — Мой дорогой, где и когда вы, черт возьми, успели набраться этих вульгарных словечек? Разумеется, я имел в виду прежде всего Уррас и Анаррес!

— Странно, что вы пользуетесь термином, которым нас назвали инопланетяне, не принадлежащие к «созвездию Кита».

— Определение от противного, — радостно парировал старик. — Сто лет назад нам это слово не было нужно вообще. Вполне годилось слово «человечество». Но шестьдесят с чем-то лет назад все изменилось. Мне было тогда семнадцать. Помнится, стоял чудесный солнечный денек, какие часто бывают в начале лета. Я упражнялся в верховой езде, и вдруг моя старшая сестра крикнула мне, высунувшись из окна: «Иди скорей! Они там с кем-то из дальнего космоса по радио разговаривают!» Моя бедная дорогая мама! Она страшно перепугалась: решила, что теперь

нам конец — прилетят иноземные дьяволы... ну, вы понимаете... Но это оказались всего лишь хайнцы, что-то там квакавшие о мире и братстве... Итак, понятие «человечество» становилось, пожалуй, чересчур широким... Разве можно определить понятие «братство» лучше, чем понятием «не-вражда»? Определение от противного, мой дорогой! Мы с вами, вполне возможно, родственники. Всего несколько столетий назад ваши предки, например, пасли коз в этих горах, а мои — драли по три шкуры со своих серфов в Сие, и тем не менее! Чтобы понять подобное родство, нужно всего лишь встретиться с инопланетянином или хотя бы услышать о нем. С существом из другой Солнечной системы. С так называемым представителем человечества, который не имеет с нами ничего общего, кроме примерно таких же двух ног, двух рук и одной головы с некоторым количеством извилин внутри!

— Но разве хайнцы не доказали, что мы...

— Все имеем инопланетное происхождение? Все являемся потомками хайнских межпланетных колонистов? Полмиллиона лет назад, или миллион, или два миллиона, а может, и три заселивших нашу Галактику? Да, я знаком с этой теорией. Тоже мне — доказали! Клянусь простыми числами, Шевек, вы точно студент-первокурсник! Как вы можете серьезно говорить об исторической доказанности, если имеете дело с отрезком времени в два-три миллиона лет! Эти хайнцы швыряются тысячелетиями, точно мячами; что ж, они неплохие жонглеры, да только все это цирк! Религия моих предков утверждает, и, по-моему, не менее авторитетно, что я являюсь прямым потомком некоего Пинра Ода, которого великий бог сослал из Верхних Садов, потому что тот имел нахальство сосчитать свои пальцы на руках и ногах, затем сложил, получил двадцать и тем самым выпустил Время в свободный полет. Я бы предпочел этот миф мифу об инопланетных предках, если б мне пришлось выбирать!

Шевек рассмеялся; шутки Атро он всегда слушал с удовольствием. Однако на этот раз старик был серьезен. Он похлопал Шевека по плечу, сдвинул брови, пожевал губами, что всегда служило у него признаком душевного волнения, и сказал:

— Я надеюсь, вы, хотя бы отчасти, разделяете мои чувства, дорогой Шевек. Я искренне на это надеюсь. В обще-

стве Анарреса, я уверен, есть немало такого, чем можно восхищаться, однако оно не учит вас отличать один народ от другого, не учит дискриминации, а ведь это самое лучшее из того, чему нас учит цивилизация. Я не хочу, чтобы какие-то проклятые хайнцы захватили вас врасплох благодаря вашим заявлениям насчет братства, общности корней и прочей чуши. Они прямо-таки затопят вас реками словес об «общности человечества» и станут призывать в эту дурацкую «лигу всех миров» или как там еще она называется. И мне бы ужасно не хотелось видеть, как вы проглотите эту наживку. Закон существования нормального общества — это борьба, соревнование, уничтожение слабых, безжалостная борьба за выживание. И я хочу видеть, как выживут лучшие! То человечество, которое я знаю. «Китаянцы» — то есть вы и я, Уррас и Анаррес. Сейчас мы впереди и хайнцев, и землян, и всяких там прочих, и мы должны остаться впереди. Они когда-то подарили нам тягу для межпланетных кораблей, но теперь мы строим куда лучшие корабли, чем они. Когда вы будете готовы обнародовать свою Общую Теорию, я бы от всего сердца желал — и я очень на это надеюсь! — что вы в первую очередь подумаете о долге перед своим народом, перед своими соплеменниками. О том, что такое верность родине и патриотизм, о том, кому вы должны в этом поклясться. — Старики легко плачут — светлые слезы выступили на полуослепших глазах Атро. Шевек положил руку старику на плечо, стараясь его подбодрить, но ничего не сказал.

— Они тоже получат ее, разумеется. В конечном итоге. Может быть, даже случайно. Так и должно быть. Научная истина всегда прорвется наружу, нельзя спрятать солнце под камнем. Но прежде чем они получат ее, я хочу, чтобы они за нее заплатили! Я хочу, чтобы мы первыми заняли место, полагающееся нам по праву. Я хочу, чтобы мой народ уважали! И именно это вы способны выиграть в соревновании с ними. Квантовый переход. Мгновенное перемещение в пространстве — если нам удастся подчинить скачкообразные переходы квантовых систем, то их межпланетный двигатель не будет стоить и горсти бобов. Вы же знаете, я не денег хочу. Я хочу, чтобы превосходство НАШЕЙ науки было признано во всей галактике! Как и превосходство НАШЕГО разума. Если суждено возникнуть некоей межзвездной цивилизации, этой пресловутой «лиге

миров», то, клянусь, я желал бы, чтобы мой народ занял в ней подобающее место! Мы должны войти в эту цивилизацию не как представители низшей касты, но как благородные и уважаемые ее члены, как аристократы, держа в руках великий дар нашей собственной цивилизации — вот как это должно быть... Ладно, я порой слишком горячусь... особенно когда думаю об этом... Между прочим, как продвигается ваша книга?

— Я в последнее время работал над гравитационной гипотезой Скаска. У меня такое ощущение, что он заблуждается, используя только частичные дифференциальные уравнения...

— Но ваша последняя работа тоже была по гравитации. Когда вы намерены приступить к настоящему делу?

— Вы же знаете, что обрести средства для достижения цели — это конец движения; во всяком случае, для нас, одонийцев, — не задумываясь ответил Шевек. — Кроме того, я не могу строить Общую Теорию Времени, опуская проблему гравитации, верно?

— Вы хотите сказать, что даете нам свою Теорию по кусочку, по капельке? — как-то подозрительно глянул на него Атро. — Это мне в голову не приходило... Пожалуй, прочитаю-ка я еще разок вашу последнюю работу. Некоторые места в ней остались для меня не совсем ясны. Глаза, правда, ужасно устают в последнее время. По-моему, с этой штуковиной, которой я пользуюсь для чтения, что-то не в порядке. Она совершенно перестала держать текст в фокусе.

Шевек сочувственно и грустно посмотрел на старика, но ни слова более не сказал ему, на какой стадии находится разработка его Общей Теории.

Приглашения на приемы, торжественные открытия и тому подобное вручались Шевеку ежедневно. На некоторые он ходил, поскольку прибыл на Уррас с определенной миссией и должен был попытаться выполнить ее — внушить идею братства и солидарности двух миров. Он выступал с речами, и люди слушали его и говорили: «Как это верно!»

Порой ему было интересно: почему правительство не остановит его выступления? Чифойлиск, должно быть,

что-то преувеличивал — в собственных, разумеется, целях — насчет здешних контроля и цензуры. Выступления Шевека носили чисто анархический характер, однако уррасти его не останавливали. Да и зачем? Они же все равно его не слушали. Казалось, он все время говорит с одними и теми же людьми: прекрасно одетыми, прекрасно накормленными, холеными, с изысканными манерами, улыбающимися. Неужели все люди на Уррасе такие? «Именно страдание собирает людей вместе», — говорил им Шевек, и они кивали и соглашались: «Ах, как это верно!»

Он начинал их ненавидеть и, поняв это, резко перестал принимать их приглашения.

Но это означало признание собственного поражения, а также — усиление изоляции, в которой он и без того ощущал себя здесь. Он явно делал что-то не то. Не так... Это не они отсекают его от своего общества, уверял он себя, это он сам — как и всегда! — стремится к самоизоляции. Он был чудовищно, удушающе одинок среди множества людей, своих коллег, которых видел каждый день. Но самая большая беда была в том, что дело его, его Теория, стояло на месте. И никакие его идеи никого на Уррасе не затронули, несмотря на усилия стольких месяцев!

В общей гостиной преподавательского корпуса он както вечером заявил:

— А знаете, я так и не понял, как вы живете. Я, конечно, видел частные дома — с внешней стороны. Но изнутри мне знакома лишь ваша не-частная жизнь — в этой гостиной, в столовой, в лабораториях...

На следующий день Ойи смущенно пригласил Шевека к себе домой — на обед и на последующие два дня, выходные.

Дом Ойи находился в Амено, деревушке, расположенной в нескольких милях от Университета Йе Юн; по меркам уррасти, это был довольно скромный домик, типичный для представителя «среднего класса», приметный, может быть, лишь своей старостью — ему было около трех веков. Он был построен из камня, а стены в комнатах отделаны деревянными панелями. Оконные и дверные проемы были украшены столь характерными для стиля йоти двойными арками. Шевеку сразу понравилось, что в доме просторно, не слишком много мебели, комнаты строгие, с отлично отполированными полами. Он всегда чувствовал

себя не в своей тарелке среди экстравагантного убранства залов, где проходили всякие приемы. Урасти, безусловно, обладали вкусом, однако это врожденное чувство часто вступало в противоречие с желанием показать себя и, главное, свое богатство. Естественные — эстетические — корни желания обладать какой-то прекрасной вещью были искажены требованиями чего-то совсем иного — соперничества экономического порядка, что, в свою очередь, сказывалось на качестве вещей: все они приобретали характер показной «роскошности». Было приятно, что в доме Ойи царят изящество и простота, достигаемые, видимо, благодаря сдерживанию этих порывов состязательной страсти.

В прихожей слуга помог ему снять пальто; жена Ойи вышла на минутку поздороваться с Шевеком — она была на кухне, отдавала последние указания повару, — но вскоре она окончательно присоединилась к ним, и Шевек обнаружил, что говорит почти исключительно с нею. Она вела себя очень дружелюбно и чем-то была похожа на него самого, что несколько его удивило.

Но до чего же приятно было снова беседовать с женщиной! Ничего удивительного, что ему казалось, будто он существует в полной изоляции, причем какой-то совершенно искусственной: среди одних мужчин. В таком однополом обществе всегда не хватает легкого напряжения, создаваемого именно различиями полов. К тому же Сева Ойи была весьма привлекательна; глядя на изящную выпуклость ее затылка и чуть впалые виски, Шевек решил, что это не такой уж, в сущности, плохой обычай — брить головы, в том числе и женщинам. Сева была очень сдержанной, даже чуточку стеснительной, и, когда ему удалось немного разговорить ее, он был страшно доволен.

За обеденным столом к ним присоединились двое детей. Сева Ойи извинилась:

— В здешних местах просто невозможно стало найти приличную няню!

Шевек покивал, не понимая, что в данном случае означает «няня». Он наблюдал за мальчиками с огромным облегчением и радостью. С тех пор как он улетел с Анарреса, он практически не видел детей.

Сыновья Ойи были очень чистенькие, вели себя спокойно и скромно, говорили, только когда к ним обраща-

лись; одеты они были в синие бархатные курточки и брючки. Дети смотрели на Шевека с восторгом, как на существо из далекого космоса. Старший, девятилетний, все время сурово поучал семилетнего братишку, шипел, что нельзя «так пялить глаза», и щипал, если младший ему не подчинялся. Тот отвечал ему тоже щипками и попытался даже пнуть его ногой под столом. Похоже, принцип возрастного превосходства был еще недостаточно хорошо им усвоен.

Дома Ойи оказался совсем другим человеком — простым, очень дружелюбным, свободным. Выражение таинственности исчезло с его лица, и он больше не растягивал слова, точно обдумывая каждый звук. Жена и дети относились к нему с уважением и любовью, и он отвечал им тем же. Шевеку приходилось слышать более чем достаточно весьма сомнительных высказываний Ойи в адрес женщин, и он был удивлен, увидев, как вежливо и почтительно, даже деликатно обращается Ойи со своей женой. «Это же настоящее рыцарство», — подумал Шевек, он совсем недавно узнал это слово. Однако вскоре пришел к выводу, что это нечто лучшее, чем просто рыцарство: Ойи был влюблен в собственную жену и полностью доверял ей. Примерно такие отношения обычно складывались и в семьях анаррести между любящими партнерами.

Шевеку казалось только, что семейный круг слишком узок для проявления личной свободы. Впрочем, он чувствовал себя здесь настолько хорошо и естественно, настолько свободно, что желания что бы то ни было критиковать у него не возникало.

Во время одной из пауз среди общего разговора младший мальчик вдруг сказал тоненьким чистым голоском:

— А господин Шевек не умеет как следует вести себя!

— Это почему же? — спросил Шевек, прежде чем жена Ойи успела накинуться на сына с упреками. — Что я такого сделал?

— Вы не сказали «спасибо».

— За что?

— Когда я передал вам блюдо с маринованными овощами.

— Ини! Умолкни наконец!

«Садик! Не будь эгоисткой!» — Интонации были практически те же самые.

— Я думал, ты просто делишься ими со мной. Или это следует считать подарком? В нашей стране говорят «спа-

сибо», только когда тебе что-нибудь дарят. А остальные вещи мы просто делим друг с другом и никогда даже не говорим об этом, понимаешь? Ты хочешь, чтобы я отдал тебе овощи обратно?

— Нет, я их не люблю, — ответил малыш, глядя прямо в лицо Шевеку своими темными, очень ясными глазами.

— Ну, в таком случае тебе тем более легко поделиться ими с кем-то другим, — сказал ему Шевек. Старший мальчик прямо-таки весь извертелся — так ему хотелось ущипнуть Ини, но Ини только засмеялся, поглядев на брата, и показал мелкие белые зубы. Потом, когда в разговоре снова наступила пауза, прошептал, наклонившись к Шевеку:

— Хотите посмотреть мою выдру?

— Хочу.

— Она там, в саду, за домом. Мама велела ее убрать, она боялась, что выдра может вас побеспокоить. Некоторые взрослые животных не любят.

— А мне очень нравится на них смотреть! У нас ведь в стране нет животных.

— Нет? — с изумлением уставился на него старший мальчик. — Папа! Господин Шевек говорит, что у них нет никаких животных!

Ини тоже удивленно посмотрел на Шевека:

— А что же у вас есть?

— Другие люди. Рыбы. Черви. И деревья-холум.

— А что такое деревья-холум?

Этот разговор затянулся еще на полчаса. Впервые Шевека на Уррасе просили описать природу Анарреса. Вопросы задавали дети, однако и взрослые слушали с интересом. Шевек старался не касаться этических моментов: он не собирался «разводить пропаганду» среди своих гостеприимных хозяев. Он просто рассказывал, что представляет из себя ужасная пустыня Даст, как красив город Аббенай, какую одежду носят на Анарресе, что делают люди, когда им нужна новая одежда, чему учат детей в школе. Последнее все-таки содержало некий пропагандистский элемент. Ини и Эви как зачарованные слушали его рассказ о занятиях в учебном центре, где, помимо обычных уроков, есть и уроки труда — фермерское дело, ковроткачество, вышивание и шитье, печатное и слесарное дело, уход за автодорогами, занятия драматургией, театром и музыкой, а также всеми прочими делами, которыми занимаются и

взрослые. Но больше всего их поразило заявление Шевека, что анаррести никогда не наказывают детей, какой бы проступок они ни совершили.

— Хотя иногда, — честно признался Шевек, — все-таки наказывают: велят уйти и побыть некоторое время в одиночестве.

— Но что же тогда, — вырвалось у Ойи, словно этот вопрос не давал ему покоя очень давно, — что, если не страх перед наказанием, заставляет людей поддерживать порядок в обществе? Почему они не грабят и не убивают друг друга?

— А никто ничем не владеет, чтобы можно было у него что-то отнять. Если тебе что-то нужно, просто берешь это в распределительном центре. Что же касается насилия... ну я не знаю, Ойи! Вот вы бы меня просто так убили? А если бы вам так уж это было бы нужно, разве смог бы какой-то закон остановить вас? Принуждение — наименее эффективный способ достигнуть порядка в обществе.

— Ну хорошо, пусть так. Но как вам удается заставить людей выполнять, например, грязную работу?

— Какую грязную работу? — спросила жена Ойи, не поняв вопроса.

— Убирать мусор, копать могилы... — начал Ойи, и Шевек подхватил:

— Добывать ртуть... — И чуть было не сказал: «Перерабатывать фекалии на удобрения», но вовремя вспомнил существующее у йоти табу на подобные «физиологизмы». В самом начале своего пребывания на Уррасе ему часто приходило в голову, что урраст живут буквально среди гор «экскрементов», но никогда даже словом не обмолвятся об этом.

— В общем мы все выполняем такую работу. Но никто не обязан заниматься ею слишком долго, если только ему самому это не нравится. Один раз в десять дней тебя могут попросить принять участие в подобных работах; существуют специальные списки, согласно которым работники все время сменяют друг друга. Самыми неприятными видами работы, а также самыми опасными, вроде добычи ртути, обычно не полагается заниматься более полугода.

— Но в таком случае практически весь состав подобных предприятий — одни новички? Это же невыгодно! Ведь им еще нужно учиться!

— Да. Это действительно не слишком «выгодно» и эффективно, но что поделаешь? Нельзя же заставить человека выполнять работу, которая через несколько лет превратит его в инвалида или просто убьет? С какой стати ему ее выполнять?

— У вас можно отказаться выполнить приказ?

— А это не приказ, Ойи. Человек просто идет в Центр по Распределению Труда и говорит: я хотел бы заняться тем-то и тем-то, что у вас есть? И ему сообщают, где есть подходящая для него работа.

— Но в таком случае, почему люди вообще соглашаются выполнять грязную работу? Почему? Хотя бы и один день из каждых десяти?

— Потому что такую работу делают все вместе... И каждый по отдельности. Есть и другие причины. Вы знаете, жизнь на Анарресе небогата — в отличие от здешней. В маленьких коммунах не слишком-то много развлечений, зато очень много работы, и ее просто необходимо сделать. Так что если ты главным образом занимаешься каким-то механическим или умственным трудом, то даже приятно каждый десятый день уехать куда-нибудь и поработать за городом — скажем, уложить ирригационную трубу или вспахать поле. Поработать со всеми вместе... И потом, в этом есть даже некий элемент соревнования, поединка. Здесь вы считаете, что основной стимул для работы — это деньги или желание преуспеть; но там, где денег нет, истинные побуждающие мотивы более прозрачны, наверное. Людям просто нравится что-то делать. И притом делать хорошо. Они берутся за опасные, трудные дела, потому что гордятся своими умениями, своей способностью выполнить что-то, иным недоступное, когда они могут — мы называем это эгоистическими наклонностями — проявить себя... Или показать? Я верно выбрал слово? Ну как мальчишки кричат порой: «Эй, малявки, посмотрите, какой я сильный!» Понимаете? Человеку вообще нравится делать то, что у него хорошо получается... Но это уже вопрос скорее о целях и средствах. В конце концов работа делается ради того, чтобы быть сделанной. Это самое большое удовольствие в жизни. И каждый лично сознает это. Не менее важно и понимание этого всем обществом, и даже мнение соседей... Никакой материальной награды за труд на Анарресе не существует, и никакого обязывающего работать закона тоже. Важно только то удовлетворение, которое получает от работы сам человек, и уважение его друзей. В таких обстоятельствах мнение близких — это весьма могущественная сила.

— И никто никогда этому не сопротивляется?

— Видимо, бывает, но не слишком часто, — ответил Шевек.

— Так, значит, у вас там все очень много работают? — спросила жена Ойи. — А что бывает с теми, кто просто не хочет принимать участия в общем труде?

— Ну, он переезжает на другое место. Понимаете, остальные от него устают. Они над ним смеются или начинают обращаться с ним грубо, даже бьют иногда. В маленьких коммунах еще и так наказывают: договорятся и вычеркнут имя лодыря из списков в столовой, так что приходится ему самому готовить себе и есть в одиночестве, что весьма унизительно. И этот человек без конца переезжает с места на место, едет все дальше и дальше. Некоторые всю жизнь проводят в переездах. Такого человека называют «нучниб». Я и сам отчасти такой — ведь я уехал сюда, бросив порученную мне работу. Правда, я уехал дальше, чем все остальные. — Шевек сказал это спокойно; если в его голосе и прозвучала горечь, то детям она была незаметна, а взрослым — непонятна. Однако после его слов наступило недолгое молчание.

— Я не знаю, кто выполняет грязную работу здесь, — сказал он. — Я никогда не видел, как ее делают, — и это очень странно. Кто этим занимается? Почему? Им что, больше платят?

— За опасную работу — иногда больше. За обычное обслуживание — нет. Меньше.

— Так почему же они в таком случае выполняют эту работу?

— Потому что маленькая зарплата лучше, чем никакая, — сказал Ойи, и в его-то голосе горечь прозвучала совершенно отчетливо. Жена его тут же постаралась переменить тему, но он продолжал: — Мой дед прислуживал в отеле. Мыл полы и менял белье на кроватях. В течение пятидесяти лет. По десять часов в день. Шесть дней в неделю. Он занимался этим, чтобы прокормить себя и семью... — Ойи вдруг умолк и посмотрел на Шевека своим прежним, недоверчивым взглядом, а потом почти с вызовом глянул

на жену. Та поспешно отвела глаза, нервно улыбнулась и сказала по-детски тоненьким голоском:

— Зато отец Димере очень преуспел в жизни. Под конец он стал владельцем четырех компаний. — Ее улыбка явно скрывала душевную боль, смуглые изящные руки были стиснуты на коленях.

— Вряд ли у вас, на Анарресе, есть преуспевающие люди, — сказал Ойи с неприятной иронией, но тут в столовую вошел повар, чтобы переменить тарелки, и разговор тут же прервался. Мальчик Ини, словно понимая, что взрослые скорее всего будут молчать в присутствии слуги, спросил:

— Мама, можно господин Шевек после обеда посмотрит на мою выдру?

Когда они снова перешли в гостиную, Ини было разрешено принести свою любимицу. Это была почти уже взрослая сухопутная выдра, один из самых распространенных зверьков на Уррасе. Ойи объяснил, что этих выдр стали приручать с незапамятных времен — сперва для того, чтобы они таскали из воды улов, а потом просто держали в качестве «любимцев семьи». У выдры были короткие лапы, выгнутая дугой гибкая спинка, блестящая темно-коричневая шерсть. Это было первое содержавшееся не в клетке животное, которое Шевек видел вблизи. Надо сказать, выдра боялась его гораздо меньше, чем он ее. Особенно впечатляли ее белые острые зубы. Шевек осторожно протянул руку, чтобы погладить зверька, уж больно на этом настаивал Ини. Выдра села на задние лапы и внимательно посмотрела на Шевека. Глаза у нее были темные, золотистые, умные, любопытные, невинные.

— «Аммар», — прошептал Шевек, завороженный этим взглядом, — брат.

Выдра что-то проворчала, опустилась на все четыре лапки и с интересом стала обнюхивать туфли Шевека.

— Вы ей нравитесь, — сказал Ини.

— Она мне тоже, — откликнулся Шевек с легкой грустью. Когда он видел какое-нибудь животное, летящих птиц, прелесть осенней листвы на деревьях, сердце его каждый раз пронзала эта грусть, значительно снижавшая удовольствие от созерцания этих замечательных явлений живой природы. Не то чтобы он сразу же в такие моменты вспоминал Таквер, он вообще не думал о том, что ее нет с ним

рядом. Скорее она как будто бы всегда была рядом, хотя он о ней вовсе не думал. Просто красота неведомых ранее животных и растений Урраса была для него исполнена некоего тайного смысла, словно Таквер через них посылала ему весть о себе — Таквер, которая никогда их не увидит! Таквер, чьи предки в течение семи поколений жизни на Анарресе ни разу не коснулись рукой теплой шерстки животного, ни разу не любовались промельком птичьих крыльев в тени деревьев!

Ночь он провел в комнате под самой крышей, козырьком нависавшей над окном. Было прохладно, и он был этому даже рад — в университетском общежитии топили чересчур жарко. Комната была убрана очень просто: кровать, книжные полки, комод, кресло, крашеный деревянный стол. Как дома, подумал он, стараясь не обращать внимания на высоту кровати и мягкость матраса, на замечательные шерстяные одеяла и шелковые простыни, на сделанные из слоновой кости ножички для разрезания бумаги и прочие РОСКОШНЫЕ безделушки на комоде, на кожаные переплеты книг и на то, что эта комната и все в ней, как и сам дом, и земля, на которой этот дом стоит, являются ЧАСТНОЙ СОБСТВЕННОСТЬЮ, собственностью Димере Ойи, хотя не он строил этот дом и не он натирал в нем полы... Шевек решил не думать об этом. В конце концов бесконечная дискриминация была утомительна. Это была хорошая, приятная комната, и она совсем не так уж сильно отличалась от любой отдельной комнаты в общежитиях Анарреса.

Ему снилась Таквер. Ему снилось, что она лежит с ним рядом, в этой постели, и обнимает его, и прижимается к нему всем телом... Но почему они здесь оказались? Что это за комната? Они вместе бродили по луне, было холодно, и они куда-то шли по ровному лунному полю, покрытому голубовато-белым снегом; хотя слой снега был тонок, но под ним при каждом шаге проглядывала еще более белая сияющая земля. Это было мертвое, совершенно мертвое место. «На самом деле там совсем не так», — говорил он Таквер, зная, что она напугана. Они шли к какой-то цели, к какой-то далекой линии на горизонте, к краю чего-то, казавшегося тонким и блестящим, точно сделанным из пластика, к какому-то далекому, с трудом различимому препятствию на том краю заснеженной равнины. Шевек с

трудом подавлял страх, ему не хотелось приближаться к этой черте, но он говорил Таквер: «Мы скоро дойдем, ничего!» Но она не отвечала ему.

Глава 6

АНАРРЕС

После десятидневного пребывания в больнице Шевека выписали, и сосед из комнаты номер 45, математик Дезар, пришел навестить его. Он был высокий, очень худой, косоглазый, и во время разговора невозможно было сказать, смотрит он на тебя или нет. У них с Шевеком были неплохие отношения, хотя за весь год они вряд ли хоть раз обменялись друг с другом сколько-нибудь полной фразой.

Дезар вошел и молча уставился то ли на Шевека, то ли куда-то вбок.

— Что-нибудь надо? — спросил он наконец.

— Нет, я отлично обхожусь, спасибо.

— Может, обед?

— А себе? — Шевек тоже заговорил «телеграфным стилем».

— Ладно.

Дезар притащил из столовой обед на двоих, и они вместе поели в комнате у Шевека. Еще два дня Дезар приносил им обоим завтрак и обед, пока Шевек не почувствовал, что в состоянии снова ходить в столовую. Трудно было понять, почему Дезар вдруг решил о нем заботиться. Вел он себя не слишком любезно, да и понятие «всеобщее братство» видимо, значило для него крайне мало. Одну причину своей нелюдимости он явно скрывал ото всех как позорную: то ли из-за чрезвычайной лени, то ли из-за тайной страсти к накопительству он устроил в своей комнате чудовищную свалку вещей, которые не имел ни права, ни причины держать там, — это были тарелки из столовой, книги из библиотеки, набор инструментов для резьбы по дереву, микроскоп, восемь разных одеял, жуткое количество одежды, причем по большей части явно не его размера или такой, которую он, видимо, носил в возрасте восьми или десяти лет. Похоже, Дезар имел патологическую склонность посещать распределительные центры и набирать там вещи охапками вне зависимости от того, годились они ему или нет.

— Зачем ты хранишь весь этот хлам? — спросил Шевек, когда Дезар впервые впустил его к себе в комнату. Дезар уставился ему в переносицу и пробормотал:

— Просто так.

Тема, которую выбрал Дезар, была настолько эзотерической, что никто у них в Институте или в Федерации математиков не мог как следует проверить, насколько успешно у него продвигаются дела. Именно поэтому, видимо, он ее и выбрал. И был уверен, что Шевек выбрал свою по тем же причинам.

— Черт возьми, — говорил он, — работа? Да здесь и так хорошо. Классическая физика, квантовая теория, принцип Одновременности — да какая, в сущности, тебе разница?

Иногда Шевеку Дезар бывал просто отвратителен, но, как ни странно, он даже несколько привязался к нему и сознательно поддерживал с ним отношения, поскольку это соответствовало его намерению переменить собственную жизнь «одиночки».

Благодаря болезни он понял, что если будет и дальше сторониться людей, то все равно рано или поздно сломается. К тому же с точки зрения одонийской морали его прежняя жизнь заслуживала осуждения, и Шевек безжалостно судил себя. До сих пор он все свое время тратил на себя одного, противореча тем самым основному этическому закону братства одонийцев — категорическому императиву. Шевек в двадцать один год отнюдь не был самовлюбленным эгоистом, и его моральные убеждения были искренни и стойки; однако порой он чувствовал, что некоторые основные понятия учения Одо ему пора пересматривать с позиций взрослого человека — Шевек был слишком умен и развит, чтобы не понимать, что тот «одонизм», который вдалбливают детям в учебных центрах взрослые, обладающие весьма посредственным интеллектом и существенной ограниченностью кругозора, подается в «обстриженной», «укороченной» форме, загнанной в жесткие рамки, и более похож на элементарное поклонение идолу. Да, до сих пор он жил неправильно, решил Шевек. Он должен отыскать верный путь. И постепенно полностью переменить свою жизнь.

Он запретил себе по ночам заниматься физикой — пять ночей из десяти он спал. Он добровольно вызвался работать в институтской комиссии по управлению хозяйством и бытом. Стал ходить на собрания Федерации физиков, на заседания Студенческого Синдиката и на тренировки группы биоментального развития. В столовой он заставлял себя садиться вместе с другими за большой стол, а не пристраиваться за маленький отдельный столик, раскрыв перед собой книгу.

Удивительно, но оказалось, что люди вроде бы его ждали! Они сразу приняли его в свою среду, стали приглашать к себе — просто поговорить и на шумные студенческие вечеринки. Они брали его с собой на прогулки и пикники, и через три декады он узнал об Аббенае больше, чем за весь минувший год. Он стал ходить вместе со всеми на спортплощадки, в мастерские, в купальни, на фестивали, в музеи, в театры, на концерты...

Ах эта музыка! Она стала для него откровением, радостным потрясением.

Раньше он никогда не ходил на музыкальные вечера, отчасти потому, что по-детски думал, что музыку можно только исполнять самому, но не просто слушать. Раньше он никогда не задумывался, насколько она способна воздействовать на человека. В детстве он всегда участвовал в хоре или играл на каком-нибудь инструменте в школьном ансамбле; ему это очень нравилось, однако таланта особого у него не было. И это, собственно, было все, что он знал о музыке.

В учебных центрах учили всему, что может пригодиться в практической жизни; к искусству тоже относились с этих позиций: учили петь, преподавали основы метрики, ритмики, танца, учили пользоваться кистью и резцом, ножом и гончарным кругом и так далее. Все это было весьма прагматично: дети учились видеть, говорить, слушать, двигаться, держать в руках инструменты. Никаких различий между искусствами и ремеслами как бы не было; искусство просто не считалось чем-то занимающим в жизни особое место, а воспринималось как один из основных технических способов общения, вроде речи. Так архитектура одонийцев довольно рано и вполне независимо приобрела определенный и весьма устойчивый стиль — очень простой, обладающий чистыми свободными пропорциями. Живопись и скульптура широко применялись, но исключительно как декоративные элементы архитектуры и градостроительства. Что же касается словесности и поэзии, то они имели явную тенденцию к недолговечности и связаны были чаще всего с песней и танцем — в некоем синкретическом искусстве. И только театр развивался совершенно самостоятельно, только он один назывался «искусством» — считаясь достаточно сложным по своей структуре и функциям. Существовало множество стационарных и разъездных трупп актеров и танцоров; составлялись репертуарные компании, очень часто в них входили и драматурги. Существовал также театр мимики и жеста. Появлению артистов всегда радовались, как радовались дождям — особенно в изолированных друг от друга, разбросанных по каменистой пустыне городках. Выступления артистов были самым радостным событием года. Выросшая из чувства оторванности от своих древних корней и одновременно из необычайной сплоченности жителей Анарреса, воплотившая в себе то и другое, драма здесь достигла необычайного развития и силы воздействия.

Шевек, однако, не был слишком восприимчив к драме. Его очаровывало порой искусство монологов, но сама идея актерства, «притворства» была ему чужда. И только на втором году своего пребывания в Аббенае он наконец нашел «свое» искусство — сотканное из Времени. Кто-то взял его с собой на концерт в Синдикат музыки. На следующий вечер он снова пошел туда. И ходил на каждый концерт — вместе со своими новыми знакомыми или без них, как получалось. Музыка оказалась куда более сильной потребностью, чем общение с приятелями, и приносила более глубокое удовлетворение.

Попытки Шевека вырваться из своего затворничества потерпели крах, и он это понимал. У него так и не появилось ни одного близкого друга. Он нравился девушкам, они охотно шли на близость с ним, но это не приносило ему должной радости. Это было обыкновенное удовлетворение потребности — так пищей утоляют голод. И после подобных сексуальных игр ему всегда бывало стыдно: ведь он включал другого человека в этот процесс чисто механически, точно неодушевленный предмет. Лучше уж заниматься мастурбацией, решил он. Он считал одиночество своей судьбой; ему казалось, что он пойман в ловушку

собственной наследственности. Это ведь его мать, Рулаг, сказала тогда: «На первом месте у меня всегда была работа». Сказала спокойно, уверенно, подтверждая непреложность данного факта и свою неспособность что-либо изменить, вырваться из холодной ячейки одиночества. Точно так же было и с ним. Сердце его рвалось к людям, к тем, веселым и юным, кто называли его братом, но между ними словно стояла стена. Он родился, чтобы быть одиноким, — проклятый, холодный интеллектуал! Эгоист!

Да, на первом месте у него была работа, вот только удовлетворения она не приносила. Как и секс. Она должна была быть радостью, удовольствием, но увы! Шевек упорно продолжал грызть те же «крепкие орешки» квантовой теории, но ни на шаг не приближался к решению, например, «темпорального парадокса», не говоря уж о создании собственной теории Одновременности, которая, как ему казалось в прошлом году, была у него практически в руках. Теперь он просто диву давался своей тогдашней самоуверенности. Неужели год назад он действительно считал себя, двадцатилетнего мальчишку, способным создать теорию, которая потрясет основы релятивистской космологии? Должно быть, еще до того как свалиться в жару с воспалением легких, он заболел куда более серьезно: от излишней самуверенности у него помутился рассудок! Шевек записался на два семинара по философии математики, убеждая себя, что эти занятия ему необходимы, и отказываясь признать, что мог бы сам вести любой из этих курсов не хуже тех преподавателей, у которых пытался чему-то научиться. Сабула он старался избегать.

В стремлении переделать свою жизнь к лучшему он предпринял попытку поближе сойтись с Граваб. Она охотно шла навстречу его желаниям, но у нее уже не хватало сил; особенно тяжело ей приходилось зимой, когда она без конца болела. И все же, слабая, глухая и старая, она начала весной успешно читать курс лекций, но, к сожалению, хватило ее ненадолго. От усталости она становилась очень рассеянной и порой с трудом узнавала Шевека, но когда узнавала, то непременно тащила его к себе домой, и они целый вечер оживленно беседовали. В теории он видел уже значительно дальше Граваб, и постепенно ему стали надоедать эти чересчур долгие беседы об одном и том же. Либо нужно было продолжать часами толочь воду в ступе — ведь теоретические посылки Граваб он не только хорошо знал, но и отчасти уже опроверг, — либо следовало, причинив старухе страдание, попытаться объяснить ей, в чем она всю жизнь заблуждалась. И то, и другое было за пределами его возможностей — ему ведь было всего двадцать! И он в конце концов стал избегать и Граваб, всегда испытывая при этом жестокие угрызения совести.

Больше в Институте не было никого, с кем он мог бы поговорить о своей теме. Квантовой теорией поля никто по-настоящему не занимался, а уж физикой времени и подавно. Шевеку хотелось научить кого-то, собрать группу единомышленников, но пока что преподавать ему не разрешали и аудиторию для подобных занятий не предоставляли. Студенческий Синдикат отверг все его подобные требования — никому не хотелось ссориться с Сабулом.

За этот год он привык писать письма; он писал очень подробные письма Атро и другим физикам и математикам Урраса. Но лишь очень малая часть этих писем действительно была послана. Некоторые он, едва закончив, сразу же рвал на кусочки. Однажды он случайно обнаружил, что математик Лоай Ан, которому он написал целый трактат на шести страницах по вопросам реверсивности времени, умер двадцать лет назад — когда-то, читая «Геометрию времени» Ана, Шевек не стал тратить время на биографическую справку. Некоторые письма, которые он пытался отправить сам с грузовиками, прилетавшими с Урраса, не пропускали служащие Космопорта, который находился под непосредственным контролем со стороны Координационного Совета. Многие из служащих Космопорта обязаны были знать йотик. Эти «особые» знания и весьма ответственное положение явно сказывались на них, и менталитет их приобретал все более явную бюрократическую направленность; слово «нет» они произносили почти машинально, а письма, адресованные математикам и написанные с помощью математических символов и уравнений, воспринимали как шифровки, и совершенно невозможно было убедить их, что это вовсе не так. Письма физикам проходили легче, особенно если Сабул, постоянный консультант Совета, давал «добро». Но он никогда не пропускал те письма, которые связаны были с проблемами, выходившими за пределы его собственных познаний. «Это вне моей компетенции!» — ворчал он, отпихивая такое письмо

в сторону. Шевек все равно не оставлял попыток передавать письма служителям Космопорта, и они неизменно возвращались к нему с пометкой: «К вывозу не допущено».

В конце концов он изложил эту свою проблему перед Федерацией физиков, заседания которой Сабул посещал крайне редко. Но никто из членов Федерации не считал необходимой свободную переписку с «идеологическим противником». Шевеку даже прочитали нотацию по поводу его увлеченности такими «таинственными» проблемами, что он, по его же собственному признанию, не может найти на собственной планете никого, достаточно компетентного в этих вопросах.

— Но это же совершенно новая область! — возмутился Шевек. И совершенно зря.

— Если это «совершенно новая область», так разделите знания о ней с нами, а не с собственниками-уррасти! — парировали его оппоненты.

— Да я не раз предлагал прочитать курс по этим проблемам или вести семинарские занятия, но мне всегда говорили, что для этого пока еще не пришло время и студенты ко мне ходить не будут. Неужели вы боитесь того, что для вас слишком ново?..

Друзей он себе, разумеется, подобными заявлениями не нажил. А члены Федерации были просто вне себя после его выступления.

Он продолжал писать письма на Уррас, даже когда знал, что не удастся послать ни одного. Сам факт того, что он пишет кому-то, способному его понять, давал стимул думать и двигаться вперед. Иначе он чувствовал, что заходит в тупик.

Два-три раза в год он все же бывал вознагражден: получал письмо от Атро или еще от кого-то из физиков А-Йо или Тху; то были длинные письма, написанные мелким почерком, со множеством аргументов — сплошные теоретические выкладки, начиная со слов привествия до подписи; все это было чудовищно трудным для понимания и связанным с различными проблемами метаматематической, этико-космологической и темпоральной физики. Письма были написаны на языке йотик — единственном языке, на котором Шевек мог говорить с людьми, которых не знал, но которые яростно пытались сражаться с его теориями, при этом уважая его как оппонента, и он с наслаждением

спорил с ними — с врагами его родины, со своими соперниками, с «проклятыми собственниками», с братьями.

Обычно несколько дней после получения такого письма к Шевеку было лучше не подходить: он бывал чрезвычайно раздражителен и настолько возбужден, что работал день и ночь; идеи выплескивались через край, били фонтаном, но постепенно рывки вверх, в полет мысли, становились все слабее, он вновь опускался на землю, на сухую, бесплодную землю Анарреса, и сам иссыхал, поскольку иссякал источник его вдохновения.

Шевек заканчивал третий курс, когда умерла Граваб. Он попросил разрешения выступить на панихиде, устроенной, согласно обычаю, там, где покойная работала: в одной из больших аудиторий физического факультета. Он оказался единственным, кто пожелал выступить на похоронах Граваб. Не пришел ни один студент; они уже успели ее позабыть: Граваб два года практически не преподавала. В последний путь ее провожали некоторые пожилые преподаватели, а также сын Граваб, человек средних лет, агрохимик, работавший где-то на северо-востоке. Шевек поднялся на кафедру — отсюда старая Граваб читала им лекции... Хриплым голосом — теперь зимой он всегда похрипывал из-за хронического бронхита — он говорил собравшимся, что это Граваб создала фундамент науки о Времени, что она была величайшим космологом современности. «У нас в физике была своя Одо, — сказал он, — но при жизни мы не воздали ей должного». После этого выступления к Шевеку подошла какая-то старая женщина и стала благодарить его со слезами на глазах. «Мы всегда с нею вместе занимались уборкой в нашем блоке, когда дежурили, и это время проходило так хорошо, в таких интересных беседах!» — сказала она ему, щурясь на ледяном ветру, когда они вышли на улицу. Агрохимик пробормотал у гроба какие-то стандартные слова и поспешил поскорее вернуться к себе на северо-восток. С ощущением острого, непоправимого несчастья и тщетности собственных усилий Шевек до позднего вечера бесцельно шатался по городу.

Три года уже он здесь торчит, и все без толку! Чего он достиг? Опубликовал книжонку — с помощью Сабула и при его «соавторстве»? Написал пять-шесть неопубликованных статей? Да еще зря выступил перед этими равнодушными людьми на похоронах Граваб.

Ничто из того, что он успел сделать, понято и воспринято не было. А если честно, то никакой необходимости в его творчестве нет; оно вообще не имеет смысла, оно НЕФУНКЦИОНАЛЬНО — хотя в теории науки понятие «функциональность» весьма относительно. Просто он чувствовал, что в свои двадцать лет уже «сгорел» и более уж ничего не достигнет. Он зашел в тупик, уткнулся носом в очередную стену.

Шевек остановился перед залом Музыкального синдиката, чтобы прочитать программу концертов на следующую декаду. Сегодня концерта не было. Он повернулся, чтобы идти прочь, и нос к носу столкнулся с Бедапом.

Бедап, как всегда настороженный и готовый к обороне по причине сильной близорукости, явно его не узнавал. Шевек схватил его за руку.

— Шевек! Черт побери, это ты! — Они обнимались, хлопали друг друга по плечу, чуть отступали, чтобы поглядеть друг другу в глаза, и снова обнимались. Шевек был потрясен искренностью их старой привязанности и дружбы. Странно, перед тем как он уехал, Бедап даже не особенно ему нравился. Они тогда практически разошлись. И даже ни разу не написали друг другу за все три года. Да, когда-то в детстве они дружили, но детство кончилось. И все же старая привязанность оказалась жива! Точно огонек вспыхнул над угольями их былой дружбы, стоило их поворошить.

Они ходили по городу и говорили, говорили, размахивая руками и перебивая друг друга, совершенно не замечая, куда идут. Широкие улицы Аббеная этой зимней ночью были тихи. На каждом перекрестке окутанный дымкой свет фонаря разливал серебристое сияние, в котором плясали сухие снежинки, похожие на чешуйки крохотных рыбешек. Снежинки отбрасывали тени-точки. Но слабый снег вскоре прекратился, и подул резкий ледяной ветер, стало невыносимо холодно. Разговаривать становилось трудно: омертвелые губы не слушались, зубы стучали. На остановке они дождались десятичасового трамвая — последнего, что шел в институтское общежитие. Бедап жил далеко, на восточной окраине города — слишком долго добираться по такому холоду.

Он осматривал комнату номер 46 с иронической усмешкой.

— Шев, ты живешь, словно прогнивший капиталист с Урраса!

— Да ладно тебе! Это совсем не так плохо — иметь отдельную комнату. Попробуй-ка отыщи здесь что-нибудь лишнее, «экскрементальное»? — Действительно, в комнате стало не намного больше вещей с тех пор, как Шевек впервые переступил ее порог. Но Бедап тут же нашелся:

— Вон то одеяло!

— Оно тут уже было, когда я въехал. Я не знаю, кто его связал. Но оно очень мне пригодилось. Неужели, по-твоему, одеяло в такую холодину — тоже лишняя вещь?

— Пожалуй, нет. Но цвет у него, безусловно, «экскрементальный»! — не сдавался Бедап. — Поскольку я занимаюсь анализом свето-цветовых функций, то должен заявить, что никакой потребности в оранжевом цвете вообще не существует. Оранжевый не выполняет в социальном организме никаких жизненно важных функций — даже на уровне клетки. Не важен он и в этическом отношении. Так зачем держать при себе то, что тебе не нужно? Перекрась, брат, его лучше в темно-зеленый. А это еще что такое?

— Мои записи.

— Они что, зашифрованы? — спросил Бедап; лицо у него посуровело еще больше, взгляд стал ледяным. Шевек помнил, что для Бедапа всегда было характерно минимальное стремление к уединению и обладанию чем-то личным. У него, например, никогда не было и не могло быть любимого карандаша, который он всегда носил бы с собой, или любимой старой рубашки, с которой невозможно расстаться, даже если она настолько сносилась, что место ей только в утильсырье. Когда же ему что-нибудь дарили, он принимал подарок, щадя чувства дарителя, но всегда потом каким-то образом умудрялся его потерять. Он прекрасно знал об этом своем свойстве и утверждал, что оно лишь доказывает его меньшую, чем у других, примитивность, что он практически являет собой ранний образчик Человека Будущего, настоящего и прирожденного одонийца. Однако стремление к уединению было и у него, хотя пряталось где-то в самой глубине его души. Чужую потребность в одиночестве он, впрочем, уважал и никогда не совал нос в чужие дела. Вот и сейчас он тоже сказал:

— Помнишь те дурацкие зашифрованные письма? Ты

тогда еще участвовал в Проекте по озеленению побережья?

— Помню. Но это не шифр. Это язык йотик.

— Ты выучил йотик? А почему ты на нем пишешь свои работы?

— Потому что никто на этой планете не в состоянии меня понять! А может, просто никто не желает разбираться. Единственный человек, который меня понимал, умер три дня назад.

— Сабул умер?

— Нет, Граваб. Сабул жив, хотя...

— Что — «хотя»?

— Видишь ли, Сабул — это наполовину зависть в чистом виде, а остальное — просто некомпетентность.

— А я считал его книгу по казуальности первоклассной работой. Ты и сам так говорил.

— Я и думал так — пока не прочитал источники. Все идеи в его книге принадлежат другим ученым — с Урраса. К тому же идеи эти далеко не новы. А у самого Сабула не возникло ни одной свежей мысли по меньшей мере за последние двадцать лет.

— А как у тебя самого со свежими мыслями? — спросил Бедап и посмотрел на Шевека исподлобья. Глаза у Бедапа были маленькие, он довольно сильно косил, но лицо в целом было неплохое, мужественное, и сам он выглядел очень надежным: крепкий, коренастый. У него была отвратительная многолетняя привычка грызть ногти, и теперь на больших пальцах остались только тоненькие полосочки, а кожа стала чрезвычайно чувствительной.

— Да никак, — ответил Шевек и плюхнулся на постель. — Куда-то меня не туда занесло.

— Вот как? — усмехнулся Бедап.

— Знаешь, я, наверное, в конце семестра попрошу перевести меня на другой факультет.

— На какой же?

— Мне все равно. На педагогический, на инженерный... Пора, видно, мне с физикой распрощаться.

Бедап сел на стул возле письменного стола, погрыз ноготь и сказал задумчиво:

— Ерунду ты какую-то затеял, по-моему.

— Да нет, просто выяснил предел своих возможностей.

— Вот уж не знал, что у твоих возможностей есть пре-

дел! В физике, разумеется. Недостатков и детской глупости в тебе хватает с избытком. А вот в физике... Я, конечно, ни квантовой физикой, ни Временем совсем не занимаюсь, но ведь необязательно самому уметь плавать, чтобы понять, что такое рыба? И совершенно необязательно испускать сияние, чтобы понять, что такое звезда...

Шевек посмотрел на своего старого друга и вдруг выпалил то, что никогда не решался сказать даже самому себе:

— Я часто думаю о самоубийстве. Даже слишком часто. Особенно в этом году. По-моему, это был бы наилучший выход из создавшегося тупика.

— Но вряд ли подходящий способ оказаться по ту сторону страданий.

Шевек натянуто улыбнулся:

— Ты это помнишь?

— Еще бы! По-моему, это был очень важный разговор. Во всяком случае, для меня. И для Таквер с Тирином тоже.

— Правда? — Шевек встал. В комнате от стены до стены было всего четыре шага, но он не мог стоять спокойно. — Тогда это было и для меня очень важно. — Он остановился у окна. — Но с тех пор я сильно изменился. Здесь, в Аббенае, что-то не так. Не знаю, в чем дело.

— Зато я знаю, — сказал Бедап. — Это стена. Ты просто налетел на стену.

Шевек резко обернулся, глаза его смотрели испуганно.

— Стена?

— Ну да. В данном случае стеной для тебя являются Сабул и те, кто его поддерживает в Координационном Совете. Что касается меня, то я провел в Аббенае четыре декады. Сорок дней. Вполне хватило, чтобы понять: даже если я проведу здесь сорок лет, то не завершу никакого труда и ничего не добьюсь — по крайней мере того, чего хочу добиться, то есть улучшить преподавание естественных наук в учебных центрах. Пока все не переменится. Или же пока я сам не перейду на сторону врага.

— Врага?

— Маленьких людей. Таких, как Сабул. Тех, у кого власть!

— О чем ты говоришь, Дап? У нас ведь нет ни одной властной структуры!

— Нет? А что же делает Сабула таким могущественным?

— Но только не властная структура, не государство, не правительство — мы же не на Уррасе, в конце концов!

— Не на Уррасе. И у нас нет государства, правительства, законов — это все так. Но, насколько я понимаю, ИДЕИ никогда не поддавались контролю со стороны законов и правительства, даже на Уррасе. Если бы идеи можно было контролировать, то как бы Одо сумела разработать и опубликовать свою теорию? Как смог бы одонизм стать всемирным движением? Главы государств пытались придушить его и потерпели неудачу. Невозможно уничтожить идеи, подавляя их. Их можно сокрушить лишь одним: пренебрежением, забвением. Нежеланием думать, нежеланием обмениваться знаниями. А именно это и свойственно нашему «идеальному» обществу! Сабул старается использовать тебя на полную катушку, а когда ему это не удается, ставит тебе палки в колеса — не дает публиковать работы, не разрешает преподавать, мешает даже просто работать для себя, «в стол». Верно? Иными словами — он имеет над тобой ВЛАСТЬ. Откуда же она у него берется? Нет, это не следствие былого авторитета — научного авторитета у него больше нет никакого — и не чувство собственного интеллектуального превосходства; он ведь не дурак и понимает, кто есть кто. Нет, его власть покоится на врожденной человеческой трусости, свойственной среднему обывателю. Мнение толпы! Общественное мнение! Вот та структура власти, частью которой он является, и он прекрасно знает, как ею пользоваться. Непризнанное, непризнаваемое, недопустимое на словах правительство у одонийцев все-таки есть; и оно действительно правит нашим обществом, удушая индивидуальное мышление, подавляя любое яркое проявление личности.

Шевек оперся руками о подоконник, глядя сквозь неясную дымку отражений в оконном стекле куда-то в темноту. Наконец он промолвил:

— Безумные у тебя идеи, Дап.

— Нет, брат, я в своем уме. Хотя многих сводит с ума именно попытка жить как бы вне реальной действительности. А ведь наша реальная действительность ужасна. Она способна убить. И если ей дать время, наверняка убьет. Реальная действительность — это сплошные страдания. Между прочим, это твои слова! И в данном случае именно

ложь, попытки уйти от реальной действительности — вот что сводит тебя с ума, заставляет желать себе смерти...

Шевек резко повернулся к нему.

— И все-таки нельзя всерьез утверждать, что у нас есть правительство!

— В толковом словаре Томара сказано: «Правительство: законное использование своего могущества для поддержания и расширения власти». Замени «законное» на «обычное» или «привычное» и получишь Сабула и Синдикат по Образованию, а также Координационный Совет.

— Совет?

— Ну да, Координационный Совет теперь уже в основе своей — настоящая правящая верхушка бюрократии.

Воцарилась тишина. Потом Шевек как-то неестественно громко рассмеялся и сказал:

— Ну ладно, Дап, хватит! Это, конечно, забавно, но как-то немного болезненно, ты не находишь?

— Шев, а ты никогда не думал, что то, что по аналогии называется «болезненным», «нездоровым» — нездоровая замкнутость, нездоровый пессимизм, нездоровое стремление к одиночеству, болезненная асоциальность — все это, по аналогии же, может быть заменено словом «страдание»? Ведь ты именно это имел в виду, когда говорил о боли, страдании и его функции в организме?

— Нет, — яростно возразил Шевек. — Я говорил тогда о личности, о духовной жизни человека.

— Не только. И о физическом страдании тоже — об умирающем от ожогов человеке... А я говорю именно о духовных страданиях. О том, как люди видят, что бессмысленно пропадает их талант, их труд, их жизнь. О том, как умные подчиняются глупцам. О силе и мужестве задушенных завистью, жаждой власти, боязнью перемен. Перемены — это свобода, перемены — это жизнь. Разве есть что-либо более существенное в учении Одо, чем это? Но у нас ничто больше не меняется! Наше общество больно. И ты это понимаешь. И сам страдаешь от той болезни, которой поражено все общество. Которая ведет людей к самоубийству!

— Хватит, Дап! Давай прекратим этот разговор.

Бедап умолк. И принялся задумчиво грызть ноготь.

Шевек снова сел на постель, уронив голову на руки. Оба молчали. Снег прекратился. Сухой темный ветер

бился в окно. В комнате было холодно; ни один из них так и не снял теплой куртки.

— Послушай, брат, — наконец заговорил Шевек, — это не наше общество подавляет частную инициативу. Это нищета природы Анарреса. Наша планета не создана для того, чтобы взрастить настоящую цивилизацию. Если мы не будем поддерживать друг друга, если мы не откажемся от своих личных желаний во имя всеобщего блага, то ничто в этом бесплодном мире не спасет нас. Так что солидарность — наш единственный источник жизни.

— Ну разумеется, солидарность! А как же! Даже на Уррасе, где пища буквально падает с деревьев, Одо утверждала, что только в солидарности наше спасение, что это наша единственная надежда. Вот только мы предали эту надежду! Позволили сотрудничеству превратиться в послушание. На Уррасе государство меньшинства. У нас же — большинства! Но тем не менее это настоящее государство. И общественное сознание — уже не живой организм, а машина власти, которой управляют бюрократы!

— Но ведь любой, ты или я, может подать заявление и быть выдвинутым в Координационный Совет буквально в течение нескольких декад! Неужели от этого мы сразу превратимся в бюрократов? В «боссов»?

— Дело не в том, из кого состоит Координационный Совет, Шев. Большая часть его членов — такие же люди, как мы. Все они даже слишком похожи на нас: хотят творить добро, наивны... Да и вообще, дело вовсе не в КСПР. Дело в том, что творится на нашей планете. В учебных центрах, в институтах, в шахтах, на фабриках, на рыбозаводах, на консервных предприятиях, на агрофермах и на исследовательских станциях — везде, где есть специалисты, осуществляющие контроль, чья функция требует стабильности. Вот эта-то стабильность функций и создает основу для авторитарных устремлений. В первые годы поселенцы на Анарресе хорошо помнили об этом — об условиях, в которых это возникает. Тогда люди очень осторожно подходили к вопросу о распределении готовой продукции и управлении людьми. Они так хорошо отделяли одну функцию от другой, что мы совершенно забыли: желание доминировать столь же характерно для человеческой природы (оно, пожалуй, даже является в ней определяющим), как и стремление к взаимопомощи, которое еще следует

развивать, культивировать в каждом индивиде, в каждом новом поколении. Но мы-то об этом забыли! Мы больше не даем образование во имя обретения свободы. Стремление к знаниям, важнейшая функция социального организма, превратилось в «систему образования» — застывшую, морализаторскую, авторитарную. Детишек учат, точно попугаев, повторять слова Одо, словно это ЗАКОНЫ, статьи конституции — но ведь это ничем не отличается от клятвопреступления!

Шевек колебался. Он на собственном опыте постиг слишком многое из того, о чем сейчас говорил Бедап. И в детстве, и здесь, в Институте. И у него не хватало духу возражать своему другу.

Бедап тотчас же безжалостно «закрепил» достигнутый успех:

— Проще всего не думать самому. Отыскать симпатичную спокойную иерархию и устроиться там, на какой-нибудь подходящей ступеньке. Только ничего не меняйте! Не вызывайте неодобрения членов вашего синдиката! Да, брат, позволить управлять собой легче всего.

— И все же это не государство, Дап! Эксперты, старые умелые специалисты способны управлять любой командой или синдикатом, потому что они лучше всех знают данное конкретное дело. А любое дело в конце концов нужно доводить до конца! Что же касается КСПР — да, ты прав, он вполне мог бы превратиться в иерархическую структуру, если бы сама его организация не мешала этому. Посмотри, как он устроен! Добровольцы, которых по списку выбирает большинство; потом целый год стажировки; потом еще четыре года пребывания в списке имеющих право голоса — и все! И никто там больше четырех лет не задерживается! При подобной системе трудно, пожалуй, набраться «властного» опыта.

— Некоторые работают там гораздо дольше.

— Советники? Но не они отвечают за результаты голосования.

— А эти результаты никому и не нужны. За сценой всем заправляют совсем другие люди...

— Да ладно тебе! Это же просто паранойя какая-то! «За сценой»... За какой сценой? Любой может присутствовать на любом собрании КСПР, и если он член заинтересованного в конкретном вопросе синдиката, то может выступать

во время дебатов и голосовать! Неужели ты хочешь доказать, что у нас здесь есть всякие политиканы, интриганы? — Шевек ужасно разозлился; его чуть оттопыренные уши побагровели; он почти кричал. Было уже поздно, на том конце квадратного двора свет не горел ни в одном окне. Дезар из комнаты номер 45 постучал в стенку: ему хотелось спать.

— Я говорю только то, что и тебе прекрасно известно, — ответил Бедап, значительно понижая голос. — То, что на самом деле в КСПР правят люди, подобные Сабулу, и это происходит из года в год.

— Если ты в этом так уверен, — прошипел Шевек обвиняющим тоном, — то почему до сих пор не рассказал всем? Почему не выступил на собрании в своем синдикате, если у тебя на руках факты? Ну а если твои идеи не выдерживают критики, то шептаться о них по ночам я не желаю!

Глаза Бедапа стали похожи на стальные бусинки.

— Господи, до чего же ты уверен в себе! — сказал он. — Впрочем, ты всегда был таким. Да ты только посмотри вокруг! Выгляни, черт бы тебя побрал, за пределы своего чистого разума! Я пришел к тебе и шепчусь с тобой только потому, что уверен: я могу доверять тебе! Черт возьми, с кем еще я могу поговорить? Чтобы не получилось, как с Тирином.

— С Тирином? — Шевек был настолько потрясен, что, забывшись, снова заговорил громко.

Бедап указал ему на стену, призывая говорить тише.

— А что случилось с Тирином? Где он?

— В сумасшедшем доме, на острове Сегвина.

— В сумасшедшем доме?

Бедап забрался с ногами в кресло и обхватил колени руками. Теперь он говорил медленно, почти спокойно, даже как бы нехотя.

— Тирин написал пьесу и поставил ее — через год после твоего отъезда. Пьеса была смешная, сумасшедшая такая — ну ты знаешь, как он может. — Бедап провел рукой по своим жестким, песочного цвета волосам и развязал тесемку, стягивавшую их на затылке. — Только кретинам такая пьеса могла показаться антиодонийской. Но, к сожалению, кретинов у нас немало. Ну и возник скандал. Тирину вынесли общественное порицание. Я ни разу до

того не видел, чтобы кого-то порицали публично. Для этого все, кому не лень, являются на собрание твоего синдиката и поносят тебя. Должно быть, когда-то именно так в нашем обществе снимали с поста какого-нибудь зарвавшегося мастера, решившего, что он теперь большой начальник. Теперь же у нас используют общественное порицание для того, чтобы сообщить человеку, что ему пора перестать мыслить самостоятельно. Это было просто отвратительно! Тирин такого, конечно, вынести не смог. По-моему, у него после этого даже крыша немного поехала. Ему казалось, что все против него. И тогда он начал говорить слишком много, и горькие то были речи. Но отнюдь не бессмысленные. Очень разумные, всегда критические и всегда очень горькие. И он готов был говорить с любым. В общем все кончилось, как этого и следовало ожидать. Он получил диплом преподавателя математики и, естественно, попросил о соответствующем назначении. Назначение он получил — в дорожно-ремонтную бригаду на самом юге. Он стал протестовать, говорил, что это ошибка, однако компьютеры в ЦРТ все время выдавали ему один и тот же результат. И он поехал туда...

— Тир всегда избегал физической работы — с тех пор как я его знаю, с десяти лет, — прервал его Шевек. — Ему всегда удавалось выпросить себе какую-нибудь работу полегче, под крышей или за письменным столом. В Центре были, наверное, правы...

Бедап его будто не слышал:

— Я точно не знаю, что у них там случилось. Он несколько раз писал мне... но каждый раз его переводили на новое место. И всегда это была самая примитивная физическая работа где-нибудь в маленькой и очень далекой коммуне. Он несколько раз писал, что непременно откажется от следующего подобного назначения и вернется в Северное Поселение... что очень хочет повидаться со мной... Но так и не приехал. И писать перестал. В конце концов я сам разыскал его — через компьютерные списки в ЦРТ. Мне выдали копию его учетной карточки; последние сведения в ней были таковы: «Отправлен на принудительное лечение. Остров Сегвина». Принудительное лечение! Разве Тирин кого-нибудь убил? Изнасиловал? За что же его отправлять в сумасшедший дом?

— В сумасшедший дом здоровых никогда силой не от-

правляют. Наверное, он просто сам попросил назначение туда на работу...

— Перестань вешать мне на уши эту лапшу! — внезапно зло сказал Бедап. — Он никогда никого не просил о таком назначении! Его просто довели до ручки, а потом сослали туда. Ты что, Шевек? Я же о Тирине говорю, о Тирине! Ты его помнишь?

— Я, между прочим, познакомился с ним раньше тебя! Ты что, думаешь, сумасшедший дом — это тюрьма? Вовсе нет. Это убежище для больных людей. Если там и есть убийцы и хронические бездельники, то только потому, что они сами туда попросились; там на них не оказывают давления, они свободны от бесконечных упреков. Но кого это ты так упорно называешь «они»? «Они довели его до ручки» и так далее? Ты что, хочешь сказать, что тебе больше не по вкусу наша социальная система? Что она исполнена зла? Что на самом деле «они» — это преследователи Тирина? Твои враги? Но ведь «они» — это же мы сами... наш единый социальный организм.

— Если ты можешь сбросить со счетов Тирина, если у тебя хватит совести считать его хроническим бездельником, то мне не о чем больше с тобой говорить, — сказал Бедап, скорчившийся в кресле. И в голосе его прозвучала такая неподдельная горечь и печаль, что «праведный» гнев Шевека тут же улетучился.

Некоторое время оба молчали.

— Я, пожалуй, лучше домой пойду, — сказал Бедап, неловко расправляя конечности и вставая.

— Отсюда же целый час пешком! Оставайся и не глупи!

— Ну, я думал... Поскольку...

— Не будь дураком, Дап.

— Ладно, останусь. Где у вас тут сортир?

— Налево, третья дверь.

Вернувшись, он сразу заявил, что ляжет на полу, но поскольку ни ковра, ни циновки на полу не было, а теплое одеяло было только одно, то эта идея, как спокойно заметил Шевек, представлялась абсолютно идиотичной. Оба они были мрачны и сердиты друг на друга, точно наставили друг другу синяков и разошлись, а гнев выпустить во время драки так и не успели. Шевек развернул скатанную постель, они легли и выключили свет. Серебристая ночь вошла в комнату — довольно светлая городская ночь,

какая бывает, когда выпадет снег, от которого неярко отражаются ночные огни. Было очень холодно. И так приятно чувствовать тепло друг друга.

— Беру назад свои слова насчет твоего одеяла.

— Послушай, Дап, я вовсе не хотел...

— Ох, давай поговорим об этом утром.

— Верно.

Они придвинулись ближе. Шевек перевернулся на живот и через две минуты заснул. Бедап сперва очень старался не спать, но не устоял и все глубже и глубже соскальзывал в сонное тепло, в беззащитность, в доверчивость... Ночью кто-то из них громко вскрикнул во сне. Второй тут же сонно протянул руку и ласково погладил кричавшего, что-то успокоительно приговаривая. И это тепло дружеского прикосновения пересилило всякий страх.

Следующим вечером они встретились снова; разговор зашел о том, не поселиться ли им вместе, как когда-то. Это заслуживало серьезного обсуждения: Шевек был абсолютно и безоговорочно гетеросексуалом, а Бедап — гомосексуалистом. Это могло серьезно осложнить совместную жизнь. Однако Шевек, явно желавший восстановить былую дружбу, понимал, какое большое значение для Бедапа имеет сексуальная сторона их отношений, и решил проявить терпимость, взяв инициативу в свои руки. Он с удивительной нежностью и тактом старался вновь «приручить» Бедапа. Они заняли отдельную комнату в одном из общежитий деловой части города и прожили там вдвоем дней десять, после чего вполне спокойно расстались — Бедап вернулся к себе, а Шевек — в комнату номер 46. К счастью, ни с той, ни с другой стороны не возникло достаточно сильного сексуального влечения, чтобы как-то продлить эту связь, однако былое доверие друг к другу было восстановлено полностью.

И все же Шевек порой задавал себе вопрос, что именно ему так нравится в Бедапе и почему он так ему доверяет. Он находил его теперешние взгляды отвратительными, а его упорные рассуждения на эту тему — утомительными. Они яростно спорили почти при каждой встрече, доходя чуть ли не до оскорблений. Расставаясь с Бедапом, Шевек часто обвинял себя в том, что просто-напросто старается сохранить верность старой дружбе, которую давно уже

перерос, и сердито клялся себе, что больше никогда с Бедапом не увидится.

И все же, как ни странно, взрослый Бедап нравился ему гораздо больше, чем в детстве. Нелепый и настойчивый, догматик и разрушитель — да, все это в Бедапе было, однако была в нем и та свобода мышления, которой самому Шевеку не хватало и которой он даже отчасти опасался. Бедап переменил всю его жизнь, и Шевек наконец-то начал двигаться вперед, в частности, благодаря их бесконечным спорам, в которых они, причиняя друг другу страдания, обретали истину, способность отрицать ранее незыблемое и отторгать его. Все это было Шевеку необходимо. Он не знал, ЧТО именно ищет, но знал теперь, ГДЕ это нужно искать.

Впрочем, этот период исканий не прибавил в его жизни счастья и удачи. Он по-прежнему ничуть не продвинулся в своей работе. Мало того, бросив заниматься теорией, он вернулся к старым экспериментальным исследованиям в лаборатории радиационной физики, выбрав себе в напарники ловкого молчаливого парня с инженерного факультета, занимавшегося субатомными скоростями. Это была хорошо разработанная область знаний, и запоздалое обращение Шевека к конкретной теме было воспринято в Институте как знак того, что он наконец перестал «оригинальничать». Ему разрешили читать самостоятельный курс — математическую физику, — но у него не возникло ощущения победы. Как раз наоборот: ему ПОЗВОЛИЛИ, РАЗРЕШИЛИ читать то, что он мог бы читать два года назад! Теперь его вообще мало чем можно было утешить. То, что стены его, столь прочного прежде, пуританского сознания чрезвычайно расширились, было связано с чем угодно, только не с покоем и удовлетворенностью. Он все сильнее чувствовал в своей душе холод и одиночество. У него было ощущение, что он заблудился, но отступать некуда и никакого убежища рядом нет, так что остается идти вперед, за эти стены, где царит еще больший холод, одиночество, чувство потерянности...

Зато Бедап приобрел в Аббенае множество друзей и поклонников, случайных и не слишком сильно к нему привязанных. Некоторым из его друзей очень нравился мрачноватый стеснительный юноша по имени Шевек. Сам Шевек не чувствовал себя своим в их компании, и эти ре-

бята не стали ему ближе, чем более подходящие для него по интересам знакомые из Института, однако приятелей Бедапа отличала значительная независимость суждений, и общение с ними давало больше пищи для ума. Они сохраняли эту независимость любой ценой, даже становясь порой эксцентричными. Некоторые из них были интеллектуальными бездельниками, «нучниби», и годами нигде не работали постоянно. Шевек их сурово осуждал; однако многие из них тем не менее нравились ему.

Один из них был композитор по имени Салас. Он, как и Шевек, стремился как можно больше узнать об окружающем мире. Салас весьма плохо разбирался в математике, однако Шевек мог объяснить почти любую физическую проблему с помощью аналогий или экспериментальных моделей, и Салас слушал его с огромным вниманием, оказавшись весьма способным учеником. Шевек с не меньшей готовностью слушал все, что Салас мог ему поведать о теории музыки, все, что Салас давал ему прослушать в записи или же сыграть сам на своем портативном инструменте. Но кое-что из рассказов Саласа о его жизни вызывало в душе Шевека странную тревогу. Салас в последнее время принял назначение в команду, занимавшуюся строительством канала на равнинах Темае, к востоку от Аббеная. Он приезжал в город на три свободных дня каждую декаду и жил то у одной девицы, то у другой. Сперва Шевек решил, что Салас согласился на такое назначение, потому что для разнообразия захотел поработать на свежем воздухе; но потом оказалось, что Саласу никогда и не предлагали ничего, хоть как-то связанного с музыкой. Только самую примитивную, не требующую никакой специальной подготовки работу.

— А в каком списке ты числишься в ЦРТ? — спросил озадаченный этой ситуацией Шевек.

— В общем.

— Но ты же высококвалифицированный специалист! Ты же лет шесть или восемь по крайней мере учился в консерватории! Почему же тебе не предлагают, например, преподавать музыку?

— Предлагали. Я отказался. Я еще лет десять не смогу никого учить музыке. Вспомни: я композитор, а не исполнитель. И уж подавно не преподаватель.

— Но ведь и для композиторов должны существовать рабочие места!

— Где?

— В Музыкальном синдикате, наверное.

— Но Музыкальному синдикату мои сочинения не нравятся. И пока что практически никому другому тоже. Я же не могу сам по себе образовать отдельный синдикат, верно?

Салас был худой маленький, с довольно большой уже лысиной; остаток волос он стриг очень коротко, так что они шелковистой бежевой опушкой окружали его лысину на затылке и над ушами. У него была очень хорошая, добрая улыбка, от которой все его живое лицо покрывалось морщинками.

— Понимаешь, я пишу не так, как меня учили в консерватории. Я пишу нефункциональную, с их точки зрения, музыку. — Он еще ласковее улыбнулся. — А им нужны хоралы. Я хоралы терпеть не могу! Им нравятся полифонические пьесы, вроде тех, что писал Сессур. А я его музыку тоже не перевариваю... Я пишу камерную музыку. Знаешь... Одну вещь, по-моему, можно было бы назвать «Принцип Одновременности»!.. Пять инструментов играют каждый независимую циклическую тему; и никакой мелодической каузальности! Весь последующий процесс полностью состоит из отдельных партий каждого инструмента. В целом получается очень здорово и даже гармонично. Но они эту музыку не слышат. Не хотят услышать. Не могут!

Шевек немножко подумал.

— Если ты назовешь ее «Счастье солидарности», — сказал он, — они ее непременно услышат! Тебе не кажется?

— Черт возьми! — сказал Бедап, прислушивавшийся к их разговору. — Впервые слышу циничное высказывание из твоих уст, Шев! Итак, в нашем полку прибыло!

Салас рассмеялся.

— Они разрешат ее прослушивание, но все равно завернут, когда речь пойдет о записи или концертном исполнении в регионах. Она написана «недостаточно органично».

— Ничего удивительного, что я никогда не слышал по-настоящему профессиональной музыки, пока жил в Северном Поселении, — возмутился Шевек. — Но каким образом они оправдывают свое вмешательство? Это же вкусовщина! Настоящая цензура! Ты пишешь Музыку, а Музыка сама по себе — искусство сотрудничества. Ей это присуще

органически, по определению. Она явление общественное. Возможно, это самая благородная форма социального поведения, на которую мы, люди, способны! И, конечно же, занятие музыкой — одно из самых благородных, какое только может выбрать человек. И, разумеется, как и любое искусство, музыка требует, чтобы ею поделились с другими. Человек искусства всегда делится своим мастерством с другими, в этом суть его деятельности. И черт бы побрал этот твой синдикат — разве можно оправдать то, что тебе, музыканту, композитору, не дают возможности работать по специальности?

— Они не хотят делить мою музыку со мной, — весело заявил Салас. — Она их пугает.

Бедап был настроен более мрачно:

— Оправдаться можно тем, что музыка не приносит пользы. Вот рыть каналы — это важно, это полезно всем, как вы понимаете, а музыка что? Просто украшательство какое-то, декоративное искусство. Итак, круг натуральным образом замкнулся; мы вернулись в ту точку, откуда начинается вульгарный собственнический утилитаризм. Сложность и разнообразие жизни, энергия и воля, свобода изобретательства и инициативы — все, что занимало центральное место в теории Одо, в идеалах первых одонийцев, все мы отбросили прочь и прямой дорожкой вернулись к варварству: если это что-то новое, незнакомое, лучше беги от него подальше; если не можешь это съесть, лучше выброси!

Шевек вспомнил о своей судьбе и работе, ему нечего было возразить Бедапу, и все же он не мог полностью разделить его критическую позицию. Благодаря Бедапу он уже многое осознал, многое его возмущало в окружающей действительности, однако в глубине души он все же считал, что свободное мышление дано ему воспитанием и он не имеет права восстать против воспитавшего его общества одонийцев, его родного общества, которое, если разобраться как следует, революционно само по себе, ибо постоянно развивается, находится в вечном процессе перемен и отрицания старых ценностей. Чтобы подтвердить ценность этого общества и его силу, думал Шевек, нужно просто действовать, не боясь наказания, без надежды на успех и награду: действовать из самых искренних побуждений.

Бедап с приятелями решили на каникулы махнуть дней на десять автостопом в горы Не Терас и убедили Шевека поехать с ними. Шевеку очень хотелось в горы, однако его мало радовала перспектива в течение десяти дней выслушивать сентенции Бедапа. Все эти разговоры ужасно напоминали собрание, посвященное критике какой-либо конкретной проблемы, а этот вид общественной деятельности Шевеку всегда нравился меньше всего; он терпеть не мог, когда каждый вставал и публично «обличал» какие-то недостатки — в работе всей коммуны или просто в характерах своих соседей. Чем ближе были каникулы, тем больше он колебался. Однако в последний момент все же сунул в карман записную книжку, чтобы в любой момент иметь возможность отойти в сторонку и сделать вид, что работает, и поехал со всеми вместе.

Они встретились на рассвете за автобазой у Восточных Холмов — трое молодых мужчин и три девушки. Девушек Шевек не знал совсем, но Бедап почему-то представил его только двум из них. Когда они уже ехали по направлению к горам, он наклонился к третьей, сидевшей с ним рядом, и представился:

— Шевек.

— Я знаю, — откликнулась она.

До него дошло, что они, должно быть, встречались где-то раньше и ему бы тоже следовало знать ее имя. Уши у него покраснели.

— Ты, часом, не спятил? — тут же вмешался Бедап. — Таквер же училась вместе с нами в Северном Поселении, в Региональном Институте, и уже два года живет в Аббенае. Вы что, с тех пор друг друга не видели?

— Я его видела. Раза два. — И девушка рассмеялась. У нее был замечательный, звонкий и искренний смех человека, который любит вкусно поесть, выспаться, хорошо поработать. Смеялась она во весь рот, точно ребенок. Она была высокая и довольно тоненькая, но с округлыми плечами и широкими бедрами. Не очень хорошенькая, но приятная; лицо смуглое, умное, веселое. Глаза очень темные — не прозрачно-карие, но глубокие, как бездна, темные, почти черные, но горячие, точно угли. Встретившись с этим взглядом, Шевек понял, какую непростительную ошибку совершил, забыв ее имя, и в тот же миг, не успев еще осознать это, почувствовал, что уже прощен, что ему

наконец повезло, что фортуна наконец повернулась к нему лицом.

Они стали подниматься в горы.

Холодным вечером, на четвертый день путешествия Шевек и Таквер сидели на голом крутом склоне над горной рекой. В сорока метрах под ними грохотал по камням стремительный поток, блестели влажные скалы. На Анарресе редко можно было увидеть бегущую воду, там вообще было очень мало рек. Только в горах текли немногочисленные ручьи и быстрые речки. Звук что-то кричавшей, гремевшей и певшей воды был нов для них.

Они карабкались над такими оврагами весь день и в итоге забрались довольно высоко; ноги страшно устали и теперь побаливали. Остальная часть их группы осталась отдыхать в Дорожном приюте — небольшом каменном здании, построенном самими туристами для туристов же и содержавшемся в образцовом порядке. Федерация Туристов в Не Терас была наиболее активной, и в ней наибольшее число добровольческих групп следили за окружающей средой и оберегали наиболее красивые виды, которых на Анарресе было совсем немного. Егерь, он же пожарник, который обычно жил в Дорожном приюте все лето, помог Бедапу и остальным состряпать неплохой обед из того, что имелось в укомплектованных весьма прилично кладовых. А после обеда Таквер и Шевек ушли прогуляться — просто так, сами не зная, куда пойдут.

Вокруг них по склону кружевными кругами расползлись заросли нежной лунной колючки. Ее жесткие хрупкие веточки серебрились в сумерках. В просвете между вершинами гор, на востоке, бледно светилось небо, возвещая восход луны. В молчании высоких голых утесов особенно шумливым казался бегущий внизу поток. Ни ветерка, ни облачка. Воздух над горными вершинами застыл и был цвета аметиста.

Некоторое время они посидели там молча.

— Я никогда еще так не привязывался к женщине. Меня тянет к тебе с самого первого дня нашего путешествия. — Шевек говорил холодным тоном, почти с презрением.

— Но у меня вовсе не было намерения испортить тебе каникулы, — возразила она серьезно и вдруг, как всегда

громко, по-детски, расхохоталась. Слишком громко для горных сумерек.

— Ты их ничуть не испортила!

— Уже хорошо. А то я испугалась, что отвлекаю тебя от решения Великой Задачи.

— Отвлекаешь! Да то, что со мной творится, вообще на какое-то землетрясение похоже!

— Ничего себе! Вот спасибо.

— Дело вовсе не в тебе, — хрипло, но стараясь сохранить в тоне презрительность, сказал он. — Дело во мне.

— Это тебе только так кажется, — возразила она.

Снова надолго воцарилось молчание.

— Если ты хочешь заняться со мной сексом, — сказала она, — то почему бы не спросить прямо?

— Потому что я не уверен, что хочу именно этого.

— Я тоже. — Она больше не улыбалась. — Послушай, — голос ее теперь звучал тихо и нежно, в нем было нечто схожее с ее горячими ласковыми глазами, — я кое-что должна сказать тебе... — Но что она должна была сказать ему, так и осталось невысказанным. И тогда он посмотрел на нее с такой мольбой, что она заторопилась и, скомкав мысль, быстро проговорила: — Ну в общем я просто хотела сказать, что просто секс ни с тобой, ни с кем-либо другим мне не нужен.

— Ты дала зарок?

— Нет! — с жаром возразила она, но объяснять ничего не стала.

— Ну а я, можно считать, дал, — сказал он и швырнул камешек в пенные воды. — А может, просто стал импотентом. Уже полгода никакого секса. Да и то в последний раз это было с Дапом — все равно, что не было. А так, в целом, наверное, около года уже. Знаешь, с каждым разом мне все эти забавы приносили все меньше удовлетворения, и я просто перестал предпринимать какие бы то ни было попытки встречаться с девушками. Такая ерунда не стоила беспокойства. Вообще почти ничего не стоила. И все же я... я помню... я знаю, как это ДОЛЖНО быть.

— Ну да, в том-то и дело, — сказала Таквер серьезно. — Я когда-то тоже страшно веселилась, занимаясь этим, пока мне не стукнуло лет восемнадцать или девятнадцать. Сперва это было интересно, приятно возбуждало, но потом... Не знаю. В общем, как ты сказал, перестало приносить удовлетворение. А простеньких удовольствий я уже не хотела.

— Ты бы хотела иметь детей?

— Да, со временем.

Он кинул вниз еще один камешек, который исчез в темноте оврага, оставив лишь шумный след — бесконечную гармонию падения, состоящую из дисгармоничных звуков.

— А я хочу наконец завершить свою работу, — сказал он.

— И что, обет безбрачия этому способствует?

— Есть какая-то связь... Но я не уверен... Здесь явно не причинно-следственные отношения. К тому времени, как примитивный секс стал мне надоедать, стала надоедать и работа. Причем ощущение ее бессмысленности все усиливалось. Три года — и никаких результатов. Полное бесплодие. По всем параметрам. Передо мной точно бесплодная пустыня раскинулась в безжалостном сиянье солнца... безжизненная, бесполезная... Ни воды, ни жизни, ни любви — пустое пространство, выстланное камнем... И камни, точно скелеты несчастных путников, пытавшихся это пространство пересечь...

Таквер не засмеялась, слушая его чуть выспренную речь; она как-то нервно хихикнула, точно скрывая боль. Он вскинул голову и попытался получше рассмотреть ее лицо. За темноволосой головой Таквер небо было настолько ясным и холодным, что казалось твердью.

— Неужели это так плохо — просто получать удовольствие, Таквер? И почему ты от этого отказываешься?

— *Ничего плохого в этом нет. И я от него не отказываюсь.* Просто оно мне не нужно. Если я соглашусь получать его все время, то никогда не получу того, что мне действительно нужно.

— А что тебе действительно нужно?

Она не поднимала глаз, царапая ногтем поверхность выступавшего из-под земли валуна. И молчала. Потом наклонилась, хотела сорвать стебелек лунной колючки, но не сорвала, а только коснулась его и погладила пальцем пушистый стебель и хрупкий листок. По тому, какими странно напряженными были ее движения, Шевек понял, что она старается сдержать бушующие в ее душе чувства, чтобы говорить спокойно. Когда ей удалось совладать с собой, она заговорила — тихим и чуть охрипшим голосом.

— Мне нужна прочная связь, — сказала она. — Настоящая. Когда люди принадлежат друг другу телом и душой и на всю жизнь. Не больше и не меньше.

Она подняла голову и посмотрела на него — ему показалось, с презрением, а может, даже с ненавистью.

Таинственная, неведомая радость отчего-то вдруг стала подниматься в его душе — так звук и запах бегущей внизу воды пробивался к ним сейчас сквозь непроницаемую тьму. У него было ощущение безграничной и полной ясности, чистоты — словно его наконец выпустили на свободу. За головой Таквер разливалось сияние: всходила луна. Дальние вершины гор парили в ее свете — чистые, серебристые...

— Да, это именно то, что нужно, — сказал он спокойно и покорно, точно не ей, а самому себе, задумчиво, точно размышляя вслух. Сказал то, что всплыло из глубины его души: — Но я никогда не встречал таких отношений.

В голосе Таквер все еще слышался отголосок неприязни:

— Ты никогда и не мог.

— Почему же?

— Наверное, потому, что никогда не верил в возможность этого.

— Что ты хочешь этим сказать? Какую возможность ты имеешь в виду?

— Встретить человека.

Он задумался. Они сидели примерно на расстоянии метра друг от друга, поджав колени к подбородку и обхватив их руками, потому что становилось ужасно холодно. Воздух вливался в горло, точно вода со льдом. Они видели дыхание друг друга, облачками вырывавшееся изо рта и чуть подсвеченное луной.

— В ту ночь, когда я поверила в такую возможность, — сказала Таквер, — ты как раз собирался уезжать из Регионального Института. Помнишь вечеринку? После которой мы, несколько человек, просидели за разговорами всю ночь? Но это было так давно, четыре года назад. И ты даже не знал, как меня зовут... — Враждебность исчезла из ее голоса — она, похоже, уже хотела как-то оправдать забывчивость и рассеянность Шевека.

— Так, значит, ты уже тогда увидела во мне то, что я увидел в тебе лишь за четыре последних дня?

— Не знаю. Не уверена. Но это... это не было просто

плотским влечением. Я ведь тебя куда раньше заметила, если честно. Но в тот вечер все было иначе — я тебя УВИДЕЛА. Хотя не знаю, что именно теперь видишь ты. Потому что сама я тогда по-настоящему не поняла, ЧТО увидела. Мы же почти не были знакомы. Только, когда ты заговорил, мне показалось, что я вижу тебя очень ясно, как бы насквозь, до самых глубин. Но это вполне могло быть ошибкой, ты мог оказаться совсем другим, чем мне показалось. И это отнюдь не было бы твоей виной! Просто тогда, увидев что-то в тебе, я поняла: именно это мне нужно! И это не просто увлечение...

— И ты жила в Аббенае два года и даже не...

— Что «даже не»? Ведь все это было только с моей стороны! Можно сказать, выдумано мною. Ты даже имени моего не знал. В конце концов, прочную связь невозможно создать в одиночку!

— И ты боялась, что если придешь ко мне сама, то я могу и не захотеть подобной связи?

— Не боялась. Просто знала, что ты человек, который... которого невозможно заставить... Ну, в общем, да, правда, я боялась. Боялась тебя. Не того, что могу совершить ошибку... Я знала, что это не ошибка. Но ты был... самим собой. Ты ведь не похож на остальных, на большую их часть, ты же сам знаешь. Я боялась тебя, потому что знала: ты такой же, как я! — Под конец она почти кричала, но уже через несколько секунд успокоилась и сказала нежно, ласково: — Знаешь, Шевек, на самом деле ты все это не принимай близко к сердцу. Это не так уж и важно.

Он впервые услышал, как она произносит его имя, и обернулся. Заикаясь, чуть ли не задыхаясь, спросил:

— Не так важно? Сперва ты разъяснила мне... разъяснила, что именно важно, что действительно было мне необходимо всю жизнь... а теперь говоришь, что это не так уж важно?!

Теперь их лица почти соприкасались, однако они не коснулись друг друга.

— Так, значит, тебе тоже нужно именно это?

— Да. Прочная связь. Это единственный шанс.

— Сейчас — и на всю жизнь?

— Сейчас — и на всю жизнь.

«Жизнь!» — сказал ручеек, бежавший внизу по камням в холодной тьме.

Вернувшись из путешествия, Шевек и Таквер переехали в отдельную сдвоенную комнату. В ближайших к Институту общежитиях не было ни одной свободной, но Таквер отыскала то, что нужно, в старом общежитии на северной окраине города. Чтобы получить этот сдвоенный номер, им пришлось пойти к управляющей кварталом, — Аббенай был поделен на две сотни административных единиц, которые назывались кварталами, — и ею оказалась полировальщица линз, которая работала дома и всех своих детей, их у нее было трое, держала при себе. Списки комнат она клала на шкаф, чтобы до них не добрались дети. Достав их оттуда, она проверила: большая отдельная комната была свободна; Шевек и Таквер тут же зарегистрировались у нее и стали переезжать.

Переезд много усилий не потребовал. Шевек за один раз перетащил в новое жилище ящик с бумагами, зимние ботинки и оранжевое одеяло. Таквер пришлось сходить за вещами три раза. Потом они сходили еще в местный распределительный центр, чтобы получить по новому комплекту одежды и постельного белья — этот акт, как смутно предполагала Таквер, был, с ее точки зрения, совершенно необходим для начала совместной жизни. Потом они вместе с Шевеком еще раз сходили в ее прежнее общежитие, чтобы принести некоторое количество довольно забавных вещей: сложных концентрической формы предметов, сделанных из проволоки, которые, будучи подвешенными к потолку, двигались и меняли свои очертания, но очень медленно, как бы исподволь. Таквер сама сделала эти штуки в мастерской и назвала их «Занятие Незаселенных Пространств». Одно из двух кресел в комнате оказалось безнадежно сломанным, так что они отнесли его в мастерскую, где подобрали для себя другое, целое. После чего с вопросом меблировки было покончено. В новой комнате были высокие потолки и много воздуха, а также — места для «Незаселенных Пространств». Общежитие стояло на невысоком холме, каких было много на окраинах Аббеная, а в их комнате было угловое окно, куда всю вторую половину дня светило солнце и откуда открывался замечательный вид на город — видны были его улицы, площади, крыши домов, зелень парков и долины за ним.

Интимные отношения после столь долгого воздержания оказались для обоих не только радостью, но и серьезным испытанием. В первые несколько декад оба чувствовали себя совершенно выбитыми из колеи. Шевек то и дело испытывал какие-то дикие всплески возбуждения и беспокойства, Таквер тоже порой срывалась. Оба были сверхчувствительны и неопытны. Но напряжение постепенно начало спадать, когда они чуть лучше изучили друг друга. Их сексуальный голод изливался в страстное наслаждение, их желание быть вместе каждый день обновлялось и каждый день бывало удовлетворено.

Шевеку теперь стало ясно, и он ни секунды не сомневался в справедливости того, что все те годы в этом городе, которые он считал «пропащими», были частью, преддверием его теперешнего великого счастья. Таквер, правда, не видела столь сложных причинных связей в сложившихся между ними отношениях, но она ведь не занималась физикой времени! Она представляла себе Время наивно — как расстилающуюся перед ней дорогу. Идешь, идешь вперед и куда-нибудь приходишь. Если повезет, приходишь туда, куда стоило прийти.

Но когда Шевек попытался переложить эту ее метафору в термины своей науки, объясняя, что если прошлое и будущее остаются частью настоящего (благодаря памяти и намерениям), не существует и никакой «дороги» — идти попросту некуда, то она закивала и прервала его на середине лекции.

— Вот именно! — сказала она. — Именно некуда. И я никуда и не шла — целых четыре года. В жизни ведь не всегда выпадает удача. Жизнь только отчасти счастливая.

Ей было двадцать три, на полгода меньше, чем Шевеку. Она выросла в Круглой Долине, земледельческой коммуне на северо-востоке. Это были дикие места, и до того, как Таквер поступила в Институт Северного Поселения, ей пришлось выполнять куда более тяжелую работу, чем большинству ее сверстников. В Круглой Долине всегда не хватало рабочих рук, хотя работы было полно, однако вклад этой небольшой коммуны в общую экономику планеты был невелик, и работа в этих местах никаким спросом не пользовалась. Им приходилось самим заботиться о себе, не надеясь на ЦРТ. Таквер с восьми лет каждый день по три часа выбирала солому и камешки из зерен деревахолум на фабрике после занятий в школе. Мало что из той тяжелой и нужной работы, которой она занималась в дет-

стве, как-то обогатило ее личность: просто нужно было помочь коммуне выжить. Во время сборки урожая и во время сева все обитатели Круглой Долины от десяти до шестидесяти целыми днями работали в поле. В пятнадцать лет Таквер уже отвечала за составление графиков работы на четырех сотнях различных полей, а также помогала диетологу в городской столовой планировать меню и расход продуктов. Во всем этом для жителей Круглой Долины не было ничего необычного, и Таквер особенно не задумывалась о необходимости трудиться с раннего детства, однако подобные условия, разумеется, наложили свой отпечаток на ее характер и взгляды. Шевек, например, был очень рад, что не раз участвовал в различных срочных работах и не гнушался физического труда, ибо Таквер откровенно презирала тех, кто избегал «грязной работы».

— Ты бы послушал, как ноет этот Тинан, — говорила она, например, — потому что его, видите ли, на четыре декады — какой ужас! — отправляют убирать урожай земляного холума, а он у нас нежный, как рыбья икринка! Он что, земли в жизни не нюхал? — В таких случаях Таквер абсолютно не была склонна к альтруизму, да и темперамент у нее был ого-го.

В Региональном Институте она изучала биологию и получила несколько наград за студенческие работы, так что решила продолжить свое образование в Аббенае. Проучившись год в Центральном Институте, она попросила перевести ее в другой синдикат, который создавал новую лабораторию по изучению технологии разведения и улучшения питательных свойств рыбы и съедобных морских организмов, водившихся в трех океанах Анарреса. Когда Таквер спрашивали, чем она занимается, она отвечала: «Рыбьей генетикой». Ей нравилась эта работа, в ней сочетались две вещи, которые она особенно ценила: конкретность и реалистичность цели и точность исследований; занимаясь экспериментами, не направленными на улучшение жизни людей, она не получала бы удовлетворения. Правда, бóльшая часть тех идей, что приходили Таквер в голову, имела крайне малое отношение к «рыбьей генетике».

Ее заботливое отношение к природе и живым существам было сродни страсти. Столь пристрастное отношение ко всему живому, весьма приблизительно называемое «любовью к природе», Шевек считал куда более всеобъемлющим, чем любовь к «рыбам и растениям». Есть такие души, думал он, которые навсегда срослись пуповиной с природой, и пуповина эта так и не была отсечена. Такие люди не воспринимают собственную смерть как врага; они смотрят в будущее, видя, как превращаются в перегной, очень полезный злакам... Было всегда странно видеть, как Таквер берет в руки листок или просто камешек и становится как бы его продолжением, или этот предмет становится продолжением Таквер...

Она показала Шевеку огромные аквариумы с морской водой в своей лаборатории, где было больше полусотни различных видов рыб, — большие и маленькие, бесцветные и чрезвычайно яркие, элегантные и уродливые. Он был очарован и ошеломлен.

Три океана Анарреса буквально кишели живыми существами, тогда как суша планеты была практически их лишена. Эти океаны или моря не имели сообщения друг с другом уже несколько миллионов лет, и формы жизни в них развивались по совершенно различным путям. Разнообразие морских тварей было просто потрясающим. Шевеку даже в голову никогда не приходило, что жизнь может иметь столько самых разнообразных проявлений и что в конце концов именно это разнообразие, вероятно, и есть основное свойство жизни.

На суше имелись, правда, растения — обычно растущие довольно далеко друг от друга и невысокие, — которые развивались довольно успешно, однако животные, когда-то попробовавшие дышать воздухом Анарреса, быстро бросили эту пагубную затею, поскольку климат планеты век от века становился все более засушливым, и на Анарресе наступила «эра пыли». Выжили некоторые виды бактерий — многие из них были литофагами, а также несколько сотен разновидностей червей и ракообразных.

Человеку приходилось осторожно приспосабливаться, с риском для жизни искать себе местечко в крайне узкой нише этой хрупкой экологической системы. Если ловить рыбу (но без излишней алчности) и добросовестно возделывать те небольшие участки земли, которые могли давать урожай, используя в качестве удобрений как можно больше различных органических отходов, то приспособиться было можно. Однако более никаких животных человек допустить в свою нишу не мог. Для травоядных здесь не бы-

ло травы. А для хищников — не было травоядных. Здесь не было цветущих растений и не было насекомых, которые могли бы цветущие растения опылять (все импортные фруктовые деревья опылялись искусственно). И удобрялись вручную. С Урраса сюда никогда не завозили никаких животных, это было строго запрещено: животные могли создать смертельную угрозу хрупкому равновесию здешней природы. Сюда прибыли только сами переселенцы, и они были настолько хорошо «очищены» как внутренне, так и внешне, что даже на себе и в себе привезли минимум фауны и флоры. На Анаррес не удалось попасть даже блохе.

— Мне нравится заниматься биологией моря, — говорила Таквер, стоя перед аквариумом. — Только в здешних морях существует настоящая, сложная жизнь, целая паутина хитросплетений. Эта рыбка ест вон ту, а та ест всякую мелочь, которая, в свою очередь, питается ресничными инфузориями, а те поглощают всякие бактерии и так далее. На суше у нас существует только три вида животных, все беспозвоночные — если не считать человека. Ужасно любопытная ситуация с биологической точки зрения! Мы, жители Анарреса, неестественным образом изолированы от природы своей планеты. В Старом Мире имеется восемнадцать видов наземных животных; там есть классы, например, класс насекомых, который включает в себя прямо-таки бесчисленное множество подвидов, а некоторые из этих подвидов насчитывают миллиарды особей. Подумай только: куда ни глянь, всюду живые существа, с которыми ты разделяешь землю и воздух! Там, наверное, действительно легче ощутить себя частью чего-то большего... — Она проследила взглядом за изящными движениями маленькой голубой рыбки в полутьме аквариума. Шевек, слушая ее рассуждения, тоже невольно стал следить за рыбкой. Когда она ушла по делам, он еще довольно долго бродил среди огромных стеклянных резервуаров, а потом часто приходил к Таквер в лабораторию и, склоняя свою высоколобую голову физика-теоретика, любовался и восхищался крошечными странными существами, для которых настоящее вечно, которые не пытаются объяснить свои мысли и побуждения и даже не испытывают ни малейшей потребности оправдывать как-либо форму своего существования — тем более перед человеком.

На Анарресе обычно работали от пяти до семи часов в день, имея от двух до четырех выходных дней в декаду. Детали — то есть регулярность посещения, продолжительность рабочего дня, график выходных и так далее — обсуждались каждым со своей командой, синдикатом или федерацией отдельно, в зависимости от оптимального уровня кооперации и эффективности. Таквер вела самостоятельные исследования по собственному проекту, и в данном случае сам проект и, главное, живые рыбы предъявляли к ней свои особые требования; случалось, она каждый день проводила в лаборатории от двух до десяти часов и подолгу никаких выходных не имела. Шевек теперь преподавал даже в двух местах — вел «продвинутый» курс математики в учебном центре и читал курс лекций в Институте. Все эти занятия приходились на утренние часы, и к полудню он уже возвращался домой. Таквер обычно еще не было. Во всем здании царила тишина. Солнечный свет только во второй половине дня добирался до их углового окна, из которого открывался такой замечательный вид на город и долины за ним, и пока что в комнате было темновато и холодно. Изящные концентрические «мобили», висевшие под потолком на различных уровнях, двигались с какой-то внутренней сосредоточенностью и определенностью, молча, загадочно — в точности так работают внутренние органы человека или его мозг. Шевек обычно садился за стол у окна и начинал работать — читал, делал записи, что-то подсчитывал... Постепенно солнце добиралось до их окна, заглядывало в комнату, проплывало по бумагам на столе, по его рукам и наконец наполняло все вокруг него своим сиянием и теплом. И он еще глубже погружался в работу. Фальстарты и напрасно потраченное время прошлых лет (как ему казалось) на самом деле оказались отличной предварительной подготовкой, основой, фундаментом, заложенным, правда, почти вслепую, но все же не таким уж плохим. И на этой основе методично и осторожно, однако с должным умением и уверенностью, которые давали ему опыт и знания, он строил прекрасную прочную структуру: теорию Одновременности.

Таквер, как и любому другому человеку, которому приходится жить вместе с «творческой личностью», приходилось порой нелегко. Она, безусловно, была Шевеку необходима, однако ее присутствие рядом часто становилось

«отвлекающим моментом», поэтому она старалась не приходить домой слишком рано. Шевек тут же бросал работу, стоило ей войти, и она чувствовала, что это неправильно. Позднее, когда они оба значительно повзрослели и привыкли друг к другу, он мог и не заметить ее возвращения, но в двадцать четыре года для него это было абсолютно невозможно. А потому она распределяла свои дела в лаборатории так, чтобы приходить домой только к вечеру. Это было не очень удобно, ведь, с другой стороны, Шевек нуждался в постоянной заботе не меньше, чем мальки ее драгоценных рыб. В те дни, когда у него не было занятий, она, придя домой, часто убеждалась, что он просидел за столом часов восемь подряд и, разумеется, ничего не ел, а когда вставал, то его шатало от усталости и руки у него дрожали. Он даже с трудом соображал, что говорит ей. «Творческие личности», пришла к выводу Таквер, способны настолько жестоко эксплуатировать подручные средства, то есть свой собственный организм, что доводят себя до полного истощения, выжимая буквально последние соки, так что потом такую «творческую личность» остается только выкинуть на свалку. Сообщив все это Шевеку, Таквер взялась за дело. Для нее вопроса о «замене» одной «творческой личности» на другую не существовало, так что протест ее против жестокого обращения Шевека с самим собой был активным. Она бы, пожалуй, с удовольствием закричала на него, подобно мужу Одо, Асьео, который однажды возмутился: «Господи, женщина, да неужели ты не можешь служить Истине каждый день, но понемножку?!» Вот только Таквер сама была женщиной, с богом знакомства не водила, а потому действовала иначе.

Они сперва немного разговаривали, потом шли прогуляться или в купальню, потом обедали в институтской столовой. После обеда обычно бывали собрания или концерты. Иногда они ходили в гости к своим друзьям — Бедапу, Саласу и прочим членам их кружка, или к Дезару и другим сотрудникам Института, или к коллегам и друзьям Таквер. Однако и собрания, и общение с друзьями имели для них второстепенное значение. У них не было потребности ни в общественной деятельности, ни в шумных компаниях. Им хватало друг друга, и они не могли и не очень пытались скрыть это. Похоже, остальных это не обижало. Как раз наоборот. Бедап, Салас, Дезар и многие другие приходили

к ним, как изнывающий от жажды человек — к источнику воды. Сами они не очень тянулись к другим, но для этих других были как бы неким центром, притягивавшим людей к себе. Они ничего особенного для этого не делали; они были не более благожелательны, чем иные люди, и не такие уж интересные собеседники; и все же друзья их любили, не скрывали своей зависимости от них и вечно старались принести им что-нибудь в подарок — незначительные вещицы, которые на Анарресе часто дарили друг другу те, кто ничего не имел, но владел всем: шарф ручной вязки, кусочек гранита с вкраплениями алых гранатов, вазу, сделанную собственными руками, стихотворение о любви, набор резных деревянных пуговиц, спиралевидную раковину с берегов Соррубского океана. Отдавая свой подарок Таквер, они говорили: «Вот, может, Шеву понравится — будет чем бумаги прижимать». Или совали что-то Шевеку, убеждая его взглянуть и удостовериться: «Посмотри-ка, похоже, Таквер эти цвета к лицу?» Им словно хотелось с помощью подарков хотя бы отчасти разделить то, что возникло между Шевеком и Таквер, и поблагодарить их за это возникшее между ними чудо.

Стояло долгое лето, теплое и ясное лето 160-го года. Благодаря обильным весенним дождям зазеленели равнины близ Аббеная, пыль больше не висела в воздухе, и он казался необычайно прозрачным; днем солнце приятно грело, а по ночам небо было потрясающе звездным. Когда всходила луна, можно было отчетливо увидеть на ней границы континентов, порой скрывавшиеся под плотной массой облаков, которых всегда было немало над Уррасом.

— Почему она так прекрасна? — спрашивала Таквер, лежа рядом с Шевеком под оранжевым одеялом в темной комнате. Над ними в неясной мгле покачивались «Незаселенные Пространства», за окном сияла полная луна. — Ведь мы же знаем, что это обыкновенная планета, такая же, как наша, только климат на ней лучше, а люди хуже... потому что все они собственники, ведут войны, устанавливают разные законы, и одни едят досыта, а другие голодают. Но только ведь и они там стареют, и у них бывают неудачи, им тоже ревматизм скрючивает пальцы и заставляет хрустеть колени... Ведь мы все это знаем, так почему же их планета выглядит такой счастливой — словно жизнь там прямо-таки райская? Я, например, не могу смотреть

на это волшебное сияние и представлять себе, что там, в вышине, живет какой-то отвратительный коротышка с засаленными рукавами и атрофировавшимся умом, вроде Сабула, нет, я просто не могу...

Их обнаженные руки и плечи были залиты лунным светом. Лицо Таквер в ореоле темных волос и окружавших постель теней тоже как бы светилось. Шевек коснулся ее посеребренного луной плеча своей серебряной рукой, восхищаясь неожиданным теплом этого прикосновения.

— Если ты способна видеть вещь как нечто целое, — сказал он, — она всегда кажется прекрасной. Планета, человек, любое проявление жизни... Но если приглядеться, рассмотреть детали, то любая планета может показаться просто грудой камней и грязи. И будничная жизнь тоже покажется малопривлекательной — тяжкий труд, усталость, растерянность, непонимание цели... Нужно расстояние, промежуток времени, простор — чтобы увидеть, как прекрасна та или иная планета, твоя собственная каменистая земля... Чтобы увидеть ее как луну! А чтобы увидеть, как прекрасна жизнь, нужно оказаться в самой выгодной для этого точке: на пороге смерти.

— Прекрасно! Нет уж, пусть Уррас остается себе в небесах и будет нашей луной — мне он не нужен! И я вовсе не хочу взбираться на собственное надгробие и оттуда оглядываться на прожитую жизнь, говоря: «О, как она была прекрасна!» Я хочу видеть, как она хороша, прямо сейчас, здесь, посреди отведенного мне пути! Мне совершенно ни к чему вечность.

— Это не имеет никакого отношения к вечности, — сказал Шевек, улыбаясь и нагибаясь к ней — худой, лохматый, сотканный из серебра и теней. — Чтобы увидеть жизнь как целое, тебе нужно лишь осознать, что она конечна, а ты смертна. Я умру, ты умрешь... иначе мы не могли бы любить друг друга. Солнце в небе когда-нибудь догорит дотла, иначе почему же оно старается так сиять?

— Ах, вечно эти твои разговоры! Твоя проклятая философия!

— Разговоры? Это не просто разговоры, Так. Я же ничего не доказываю. Это не просто аргументы. Это реальные факты. Все это совсем близко, можно коснуться рукой. Смотри, я касаюсь Целостности. Держу ее в руках. Скажи, где здесь лунный свет, а где Таквер? Чего же мне

бояться смерти, если я держу в руках вечность, если я держу в руках свет?..

— Не будь собственником, — буркнула Таквер.

— Милая, не плачь.

— А я и не плачу. Это ты плачешь. Это же твои слезы.

— Я просто замерз. Этот лунный свет ужасно холодный.

— Ляг.

Он весь дрожал, когда она обняла его.

— Мне страшно, Таквер, — прошептал он.

— Тихо, милый мой, родной мой, тихо...

И в ту ночь, как и во многие другие, они уснули, крепко обняв друг друга.

Глава 7

УРРАС

Шевек нашел письмо в кармане своей новой, подбитой овечьей шерстью куртки, которую заказал на зиму на той кошмарной улице. Он понятия не имел, как письмо попало к нему в карман. Оно, безусловно, не было послано по почте — почту приносили три раза в день, и она состояла в основном из рукописей и перепечаток научных работ, которые присылали ему физики со всех концов Урраса, а также из приглашений на приемы и бесхитростных посланий школьников. Записка представляла собой листок тонкой бумаги, свернутый несколько раз, конверта не было; разумеется, не было также ни марки, ни почтового штемпеля.

Шевек развернул листок, смутно подозревая, что там будет написано, и прочел: «Если вы действительно анархист, то почему считаете возможным сотрудничать с государством, предавшим народ Анарреса и надежды всех одонийцев? А может, вы прибыли сюда, чтобы возродить в нас эту надежду? Страдая от многих несправедливостей, подвергаясь репрессиям, мы взираем на вашу планету, нашу сестру, и она представляется нам маяком свободы во мраке ночи. Присоединяйтесь же к нам, вашим братьям!» Подписи не было, адреса тоже.

Шевек был потрясен до глубины души; письмо озада-

чило его; его не покидали мысли о здешних одонийцах; он думал о них не с удивлением, а с какой-то панической растерянностью. Он знал, что они здесь есть, — но где их искать? Он до сих пор не встречал ни одного; он вообще ни разу не сумел встретиться ни с кем из «простых» людей, ни с кем из «бедняков»... Он сам позволил, чтобы вокруг него возвели эти золоченые стены; он, собственно, даже этого не заметил. Он принял предложенные ему выгодные условия и это убежище в Университете, как самый настоящий собственник! Его действительно «кооптировали» — в точности, как говорил Чифойлиск.

Но он не знал, как теперь разрушить эти стены. А если бы знал, то куда б пошел? Паника охватила его. К кому обратиться за помощью? Со всех сторон улыбки богачей!

— Я бы хотел поговорить с вами, Эфор.

— Хорошо, господин Шевек. Извините, господин Шевек, я только поставлю это вот сюда и подам вам завтрак.

Он ловко поставил тяжелый поднос, быстро снял крышки с блюд, налил в чашку горячий шоколад — пышная пена поднялась до самого края, однако ни капли не пролилось на скатерть. Опытный слуга, Эфор явно наслаждался этим утренним ритуалом — подношением завтрака — и собственным умением и ловкостью; ему явно не хотелось, чтобы какими-то непредвиденными действиями привычный ритуал нарушали. Обычно Эфор говорил очень грамотно и чисто, но стоило Шевеку выразить желание с ним побеседовать, и слуга тут же перешел на скачущий и невнятный столичный диалект. Шевек уже немного научился понимать его; проглоченные гласные, искаженные слова — во всем этом нетрудно было уловить вполне определенную закономерность, но при этом быстрая речь апокопа, то есть отпадение в словах последнего звука или даже нескольких звуков, все еще ставила его в тупик. Из-за нее он порой не понимал и половины сказанного. Точно закодированное послание или шифр, думал он, вроде того «шифра ньоти», который они выдумали в детстве, не желая, чтобы их понимали остальные.

Слуга почтительно ждал. Он знал, он хорошо запомнил все, чего Шевек терпеть не мог, еще в первую неделю — особенно, чтобы ему подавали стул и стояли рядом, ожидая, пока он поест. Напряженная прямая фигура Эфора уже

сама по себе свидетельствовала о том, что никакой надежды на неформальную беседу и быть не может.

— Может быть, вы присядете, Эфор?

— Как вам будет угодно, господин Шевек, — вежливо ответил слуга, подвинул к себе на полдюйма стул, однако так и не сел.

— Я вот о чем хотел поговорить с вами. Вы знаете, что я не люблю отдавать распоряжения...

— Я стараюсь все делать так, как вам нравится, господин Шевек. И не беспокоить вас по поводу дополнительных указаний.

— Да, это правда... но я совсем не это имел в виду. Вы знаете, в моей стране никто никому никаких приказов не отдает.

— И я так слышал, господин Шевек.

— Ну так вот: я хотел узнать вас получше как человека, равного мне, как моего брата. Вы, Эфор, единственный здесь, кто, насколько я знаю, не богат. То есть вы не из хозяев. Я очень хотел бы поговорить с вами по душам, узнать о вашей жизни...

Он в отчаянии умолк: на морщинистом лице Эфора отчетливо отразилось презрение. Да, он совершил все ошибки, какие только возможно! Эфор воспринимает его теперь как жалостливого любопытного дурака.

Шевек уронил руки на стол — с полнейшей безнадежностью! — и сказал:

— О черт побери! Простите, Эфор! Я просто не сумел выразить свое желание словами. Пожалуйста, не обращайте внимания.

— Как скажете, господин Шевек. — И Эфор удалился.

Ну вот и все. «Класс несобственников» остался столь же далеким и неведомым, как прежде, когда он пытался что-то обнаружить о нем в учебнике истории в Северном Поселении.

Близились каникулы между зимним и весенним семестрами. Шевек давно пообещал Ойи провести недельку в его семье.

За это время Ойи несколько раз приглашал его к себе в гости — всегда несколько неуклюже, словно выполняя некий долг гостеприимства или, возможно, приказ правительства. Однако дома он совершенно преображался, хотя все же вел себя с Шевеком чуть настороженно. Вся его

семья проявляла к гостю искреннее дружелюбие, и уже на второй раз оба сына Ойи решили, что Шевек — старый и надежный друг. Их доверчивость и уверенность в том, что и Шевек платит им той же монетой, явно озадачивала Ойи. Ему было даже как-то не по себе; он не мог по-настоящему одобрять подобные отношения, однако не мог не признать, что Шевек действительно относится к мальчикам, как старинный друг семьи или как старший брат. Они его обожали, а младший, Ини, прямо-таки страстно в него влюбился. Шевек был с ними добр, серьезен, честен и рассказывал им множество интересных историй о луне. Но было и еще нечто, куда более существенное, что действовало на Ини совершенно неотразимо, хотя мальчик не в силах был описать, что именно его так восхищает в Шевеке. Даже значительно позже, став старше и сознавая, сколь сильное, хотя и непонятное воздействие оказало на всю его жизнь детское увлечение Шевеком, Ини не находил слов, чтобы описать свои чувства; у него прорывались только отдельные слова, в которых как бы слышалось эхо тех переживаний: «странник», «ссылка», «одиночество».

Всю неделю шел снег; это был единственный за всю зиму по-настоящему сильный снегопад. Шевек никогда не видел, чтобы снег ложился на землю слоем больше двух сантиметров. Необычность, щедрость, мощь этой снеговой бури приводили его в восторг. Он упивался обилием снега. Все было таким восхитительно белым и холодным, таким молчаливым и равнодушным, что невозможно было назвать это изобилие «экскрементальным». Даже самый отъявленный одониец не решился бы это сделать. Воспринимать эту красоту иначе, как чудо, было бы проявлением душевной бедности. Как только небо чуть посветлело, Шевек вместе с мальчишками поспешил на улицу. Сыновья Ойи оценили снегопад столь же восторженно, как и он. Втроем они носились по просторному саду за домом, играли в снежки, строили в снегу туннели, замки и крепости.

Сева Ойи вместе со своей золовкой стояла у окна, наблюдая, как носятся ее дети и этот взрослый человек вместе с молодой выдрой по снежным сугробам. Выдра нашла себе замечательное развлечение — скатывалась на брюхе с одной из стен снежной крепости, как с горки, и это занятие ей явно не надоедало. Щеки мальчишек пылали. А мужчина, стянув шнурком на затылке длинные, уже отмеченные ранней сединой волосы, с покрасневшими от холода ушами, энергично руководил строительством очередного туннеля:

— Нет, не здесь! Вон там ройте!

— Где же лопата?

— Ой, у меня лед в кармане!

Голоса детей звенели, не умолкая.

— Ну как тебе наш инопланетянин? — улыбнулась Сева.

— Величайший из ныне живущих физиков! — хмыкнула ее золовка Веа. — Какой смешной!

Когда Шевек вернулся в дом, отдуваясь и стряхивая снег, излучая запах морозца и ту веселую энергию, которая исходит от людей, только что возившихся в снегу, Ойи представил ему свою сестру. Шевек протянул молодой женщине свою большую, твердую, холодную руку и дружелюбно посмотрел на нее сверху вниз.

— Так вы сестра Димере? — сказал он. — Да, конечно, вы с ним похожи. — И это замечание, которое в устах любого другого человека Веа сочла бы совершенно пресным, банальным, показалось ей необычайно приятным. «Он настоящий мужчина, — думала она потом весь день, — это в нем сразу чувствуется. А почему, интересно знать?»

Веа Доем Ойи — таково было ее полное имя. Ее муж Доем возглавлял крупный промышленный комбинат, ему приходилось много ездить, и он по полгода жил за границей в качестве делового представителя своего правительства. Пока все это разъясняли Шевеку, он молча рассматривал Веа. Они действительно были очень похожи с Димере, однако то, что портило его, делая излишне слабым, женственным — маленький рост, хрупкость, бледность, томный взгляд миндалевидных черных глаз, ее превращало в настоящую красавицу. Грудь и плечи Веа были округлыми, нежными и очень белыми. Во время обеда Шевек сидел рядом с нею за столом и просто глаз не мог отвести от обнаженных грудей, приподнятых жестким корсажем. Сам по себе обычай ходить полуголыми при такой холодной, морозной погоде казался ему весьма экстравагантным, но эти маленькие груди дышали такой же невинностью и чистотой, как снег за окном. Изгиб ее гордой шеи изящно и плавно переходил в выпуклость затылка; наголо обритая головка была чрезвычайно изящна.

Да, это чертовски привлекательная женщина, решил Шевек. Что-то в ней есть от этих здешних кроватей: так же мягко льнет. Хотя, пожалуй, держится чересчур жеманно. Интересно, зачем она так сюсюкает?

Он старательно искал в ней недостатки, цеплялся буквально за каждую мелочь — слишком тонкий голос, привычно жеманную манеру хорошенькой миниатюрной женщины, — цеплялся как за соломинку, сам не замечая, что тонет. После обеда Веа должна была возвращаться в Нио Эссейю; она просто заехала повидаться с семьей брата. Шевеку стало страшно, что он никогда больше ее не увидит.

Но у Ойи разыгрался насморк, Сева не могла оставить детей.

— Шевек, вы не могли бы проводить Веа до станции?

— Господи, Димере! Пожалуйста, не заставляй своего бедного гостя сопровождать меня! Ведь не думаешь же ты, что на меня по дороге нападут волки? Или дикари-мингради совершат на город налет и утащат меня в свои гаремы? Или я замерзну в пути, и меня найдут завтра утром у дверей смотрителя станции, и в уголке мертвого глаза у меня будет поблескивать прощальная слезинка, а негнущиеся пальчики будут по-прежнему сжимать букетик увядших цветов? А что, это было бы даже забавно! — И Веа звонко рассмеялась; ее смех был похож на теплую, темную, ласковую волну, что с силой набегает на песок и все уносит в море, оставляя лишь влажный след. Она не хихикала — нет, она смеялась весело, искренне, как бы стирая жеманную скороговорку своих слов.

Шевек надел куртку и встал в дверях, ожидая ее.

Сперва они шли молча. Снег хрустел и поскрипывал под ногами.

— Вы действительно слишком вежливы для...

— Для кого?

— Для анархиста, — сказала она своим звонким детским голоском, в котором, впрочем, чувствовались чисто женские, теплые, вкрадчивые интонации. (Что-то общее было в ее тоне с тем, как разговаривали с ним Пае и Ойи в Университете и других официальных местах.) — Я даже разочарована. Я-то думала, вы будете неотесанным грубияном, даже опасным немного.

— Я такой и есть.

Она искоса на него взглянула. Голова ее была укутана

алой шалью; на этом ярком фоне глаза ее, и без того оттененные белизной снега, казались необычайно темными и блестящими.

— Что же вы тогда, словно ручной, покорно провожаете меня до станции? А, доктор Шевек?

— Шевек, — мягко поправил он. — Не «доктор», а просто: Шевек.

— Это что же, ваше полное имя — и никакого другого нет?

Он кивнул и улыбнулся. Он чувствовал себя отлично — был полон жизни, радовался ясному морозному воздуху, теплой отлично сшитой куртке на нем, хорошенькой женщине рядом... Никаких забот, никаких тревог, никаких тяжких мыслей — ничто не мучило его сегодня!

— А это правда, что анаррести имена дает компьютер?

— Правда.

— Как это ужасно — получить имя от какой-то машины!

— Почему ужасно?

— Но это же так механически, так неличностно...

— Это неверно. Что может быть более личным, более характерным для тебя, чем имя, которого нет больше ни у кого на планете?

— Ни у кого? Вы единственный на Анарресе Шевек?

— Пока я жив, да. Но до меня были и другие.

— Родственники, вы хотите сказать?

— Мы не особенно хорошо знаем своих родственников; видите ли, все мы считаемся родственниками. Я не знаю, кто были эти другие Шевеки; помню только одну женщину — она была из Первых Поселенцев. Это она изобрела *подшипник, которым до сих пор пользуются у нас в тяжелом машиностроении*, он так и называется: «шевек». — Шевек снова улыбнулся. — Очень неплохой способ увековечить себя.

Веа покачала головой:

— Господи! А как же вы отличаете женщин от мужчин?

— Ну у нас есть некоторые испытанные способы...

Секунда — и она снова от души расхохоталась. До слез. Потом вытерла глаза — от холода ресницы слипались — и сказала:

— Да, вы все-таки действительно неотесанный нахал!.. А что же, они вот так и решили взять себе эти искусственные имена и придумали новый язык, чтобы отказаться от всего старого?

— Поселенцы Анарреса? Да. По-моему, они были неисправимыми романтиками.

— А вы разве нет?

— Нет. Мы очень прагматичны.

— Но ведь можно быть и романтичным прагматиком, — сказала она.

Он не ожидал от нее столь глубоких мыслей.

— Да, пожалуй, — кивнул он.

— Что, например, может быть более романтичным, чем ваш прилет сюда, — в полном одиночестве, без гроша в кармане да еще с намерением выступать от имени своего народа?

— Увы, я слишком скоро оказался полностью развращен вашей роскошью!

— Роскошью? В университетском общежитии? Господи! Дорогой мой! Они что же, ни разу не сводили вас ни в один приличный дом?

— Меня водили во многие дома, но все они так похожи! Я бы очень хотел наконец получше узнать Нио Эссейю. Я видел только внешнюю ее сторону — так сказать, нарядную обертку. — Он использовал это выражение, потому что с самого начала был восхищен привычкой обитателей Урраса буквально все заворачивать в чистую красивую бумагу или пластик, класть в нарядную коробку или оборачивать фольгой. Белье из прачечной, книги, овощи, одежда, лекарства — все попадало к нему в руки красиво и надежно упакованным. Даже пачки писчей бумаги были в пестрых пакетах. Словно предметы ни в коем случае не должны были касаться друг друга. У него и самого уже возникло ощущение, что и сам он тоже давно и весьма аккуратно упакован в красивую обертку.

— Я понимаю. Они заставили вас пойти в Исторический музей... совершить поездку к памятнику Добунну... выслушать какую-нибудь речь в Сенате! — Он засмеялся, потому что она в точности описала маршрут одной из его поездок, совершенных прошлым летом. — Да, я понимаю! Они всегда однаково глупо ведут себя с иностранцами. Но я позабочусь о том, чтобы вы увидели настоящий Нио!

— Я бы очень хотел!..

— У меня много замечательных знакомых. Я их коллекционирую. А в своем Университете вы — как в ловушке; и все эти скучные профессора и политики... Кошмар! — Она продолжала болтать, и ему было приятно слушать ее: ощущение было похоже на невольное и бесцельное прикосновение солнечных лучей или падающих снежинок....

Они подошли к маленькой железнодорожной станции Амоено. У Веа был обратный билет, и поезд должен был подойти с минуты на минуту.

— Не ждите — замерзнете.

Он не ответил, просто стоял рядом, громадный в своей подбитой мехом куртке, и смотрел на нее ласково и любовно.

Она опустила глаза, стряхнула снежинку с вышитого обшлага своего пальто.

— У вас есть жена, Шевек?

— Нет.

— И никакой семьи?

— Ах... да, конечно! У меня есть парт... любимая женщина; у нас с ней двое детей. Извините, я думал о другом. Понятие «жена», видите ли... я всегда считал, что оно свойственно только Уррасу.

— А что такое «партнер»? — Она озорно посмотрела прямо на него.

— Наверное, то же самое, что у вас «жена» или «муж».

— Но почему же ваша жена не прилетела с вами вместе?

— Она не захотела, да и младшей дочке всего год... Нет, теперь уже два. А еще... — Он колебался.

— Что же еще?

— Видите ли, там у нее есть любимая работа, а здесь ее не было бы. Если бы я знал тогда, сколь многое здесь ей пришлось бы по душе, я бы уговорил, упросил ее поехать. Но я не знал. Да и потом, это вопрос безопасности, вы же понимаете.

— Безопасности — здесь?

Он снова поколебался, но все же сказал:

— Не только. И там — когда придется возвращаться.

— И что же с вами тогда может случиться? — спросила Веа, глаза ее округлились от любопытства. Поезд уже показался из-за холма, подъезжая к станции.

— О, может быть, и ничего. Но некоторые люди там считают меня предателем, потому что я всегда пытался наладить дружеские отношения с Уррасом. Вот эти люди могут выкинуть весьма неприятные штуки... И мне бы не хотелось подвергать опасности ни ее, ни детей. У нас уже

были некоторые неприятности перед моим отъездом. Вполне достаточно.

— Вы хотите сказать, что вам грозит реальная опасность?

Он наклонился к ней, потому что голос ее заглушал грохот подходившего поезда.

— Не знаю, — улыбаясь, сказал он. — А знаете, наши поезда выглядят примерно так же. Если хорошо придумано, то ничего менять и не нужно. — Он проводил ее к вагону первого класса. Поскольку она остановилась у двери, не открывая ее, он распахнул перед ней дверь и сунул голову в купе — из любопытства. — Хотя изнутри они совсем не похожи на наши! Это только ваше купе? Здесь больше никого не будет?

— Ну конечно. Ненавижу ездить вторым классом! Все мужчины там жуют эту жвачку, меру, и все время плюются. А на Анарресе тоже меру жуют? Нет, конечно же, ее там нет. Ах, как много еще я хотела бы спросить о вас и вашей стране!

— Я бы с огромным удовольствием рассказал об этом, только никто не спрашивает.

— Так давайте встретимся снова и обо всем поговорим, хорошо? Когда вы в следующий раз приедете в Нио, вы мне позвоните, договорились?

— Договорились, — добродушно пообещал он.

— Вот и хорошо! Я знаю, вы обещаний не нарушаете. Я ничего о вас не знаю, кроме этого. А это я просто ЧУВСТВУЮ. До свидания, Шевек. — Она на мгновение положила свою ручку в перчатке на его руку, которой он придерживал дверь. Затем два раза прозвонил колокол, Шевек захлопнул дверь, и поезд тронулся. За окном промелькнуло белое лицо Веа и ее алый шарф.

Он шел назад в весьма приподнятом настроении, а потом до темноты играл с Ини в снежки.

«Революция в Бенбили! Диктатор бежал! Передовые отряды мятежников удерживают столицу! Внеочередное заседание Совета Государств Планеты! Возможность вторжения войск А-Йо».

Первая полоса газетенки пестрела подобными заголовками, набранными самым крупным шрифтом. Об орфо-

графии и грамматике запальчивых статеек никто не думал. «Ко вчерашн. вечеру восставшие захватили весь западн. район Мескти и упорно теснят правительствен. войска...» Шевеку казалось, что он слышит речь Эфора. Так обычно говорили в Нио — глотая концы слов, не согласуя прошедшее и будущее время, а заменяя их одним, абсолютно неопределенным и непрерывным настоящим временем.

Шевек прочитал газеты и полез за информацией о Бенбили в Энциклопедию, изданную СГП. Формально это государство представляло собой парламентскую демократию, а на самом деле — военную диктатуру, в стране правили генералы. Бенбили занимало обширную территорию в Западном полушарии, покрытую горами и засушливыми саваннами; население было весьма малочисленным, уровень жизни низким. «Мне все же следовало отправиться в Бенбили», — подумал Шевек и сразу представил себе бледные равнины, постоянно дующие ветры... Новости о Бенбили странным образом тревожили его душу. Он жадно ловил по радио каждую сводку новостей, хотя раньше радио практически не включал, обнаружив, что оно используется главным образом для рекламы. Сообщения по радио, как и сводки, передаваемые по государственному телефаксу в общественных местах, были краткими и сухими; странный контраст составляли они с тем, что буквально на каждой полосе кричали о революции в Бенбили популярные у простого народа газетенки.

Генерал Хавеверт, бывший президент, благополучно бежал на своем знаменитом военном самолете, но некоторые другие, хотя и менее важные, генералы был пойманы и кастрированы — это наказание жители Бенбили традиционно предпочитали смертной казни. Отступающая под натиском повстанцев армия сжигала поля и селения, не щадя своих соотечественников. Всюду возникали партизанские отряды. В Мескти, столице государства, революционеры открыли тюрьмы, амнистировав всех заключенных. Когда Шевек прочитал об этом, у него екнуло сердце. Еще есть надежда, все еще есть... Он следил за новостями об этой далекой восставшей стране со все возрастающим вниманием. На четвертый день по телефаксу передали, что на заседании СГП официальный представитель А-Йо заявил, что правительство его страны, желая поддержать за-

конного президента Бенбили генерала Хавеверта, посылает ему вооруженное подкрепление.

Революционеры Бенбили по большей части даже не были толком вооружены. А войска йоти явятся туда с пушками, с броневиками, с самолетами, с бомбами! Когда Шевек прочитал о военных приготовлениях А-Йо в одной из газет, его чуть не стошнило.

Да, ему было тошно, он был взбешен, и поговорить ему было не с кем. Не с Пае же! Атро был ярым милитаристом. Ойи, правда, обладал кое-какими представлениями об этике, однако его личная уязвимость и постоянное беспокойство по поводу своей драгоценной собственности требовали от него жесткого соблюдения установленных законов. Он способен был испытывать личную симпатию к Шевеку только в том случае, если ему удавалось забыть о том, что Шевек — анархист и представитель иного государства. Вспомнив же об этом, он начинал витиевато разъяснять Шевеку, что общество одонийцев, хотя и называет себя анархическим, на самом деле исповедует примитивный популизм, совершенно напрасно считая, что порядок у них поддерживается без законов и правительства; это им просто кажется, потому что, во-первых, их слишком мало, а, во-вторых, рядом с ними нет ни одного государства с иным строем. А вот если бы им, их территории и собственности угрожал агрессивный соперник, они непременно вынуждены были бы посмотреть реальной действительности в глаза, иначе их бы просто вышвырнули из родного гнезда. Вот и мятежники Бенбили скоро очнутся и посмотрят в лицо реальной действительности, обнаружив, что в свободе мало хорошего, если нет пушек, чтобы ее отстоять. В принципе, говорил Ойи, не имеет определяющего значения, кто именно правит в Бенбили или думает, что правит: реально мыслящих политиков больше заботит борьба А-Йо и Тху.

— Реально мыслящих политиков... — задумчиво повторил Шевек и глянул на Ойи. — Занятная фраза — для физика.

— Вовсе нет. И политик, и физик имеют дело с природой вещей, с реальными силами, с основными законами бытия.

— Вы что же, помещаете ваши дурацкие «законы», защищающие благополучие собственников, ваши «вооруженные силы», то есть пушки и бомбы, в один ряд с законом энтропии и законом гравитации? Я был более высокого мнения о ваших умственных способностях, дорогой Димере!

Ойи весь съежился, когда в него ударила эта шаровая молния нескрываемого презрения, и умолк. Шевек тоже ничего более не прибавил. Однако Ойи этой отповеди не забыл. Слова Шевека всплывали в его памяти не раз, вызывая жгучий стыд. Если бы Шевек был просто смешным идеалистом и пытался заткнуть ему рот своими простодушными утопическими доводами, сумев одержать над ним кратковременную победу в каком-нибудь одном-единственном споре, этот позор он бы пережил относительно легко, но Шевек был гениальным физиком и замечательным человеком, которого Ойи не мог не любить, не мог не преклоняться перед ним до такой степени, что высшей наградой было бы его уважение, и если этот Шевек испытывал к нему презрение, то позор становился поистине нестерпимым, и Ойи знал, что всю оставшуюся жизнь он вынужден будет скрывать его от всех, прятать в самом дальнем уголке своей души.

Революции в Бенбили обострила некоторые проблемы и для самого Шевека — в частности, проблему его изолированности, его вынужденного молчания.

Ему было трудно не доверять тем людям, которые его окружали. Он вырос в обществе, целиком и полностью основанном на солидарности и взаимопомощи. И вот он оказался полностью оторванным от этого общества и свойственной ему культуры отношений, но старая, впитанная с молоком матери привычка доверять людям осталась. Ему по-прежнему казалось, что люди всегда помогут.

Однако предостережения Чифойлиска, которые он пытался выбросить из головы, снова и снова приходили на ум. Нравится это ему или нет, а здесь он должен научиться недоверию. Он должен научиться молчать, должен научиться хранить свою собственность при себе, должен поддерживать ту власть над ними, которую обрел, заключив с ними сделку.

Он стал совсем мало говорить, а записывать — еще меньше, хотя его рабочий стол был вечно завален всякими ненужными бумагами. Немногочисленные рабочие записи всегда находились при нем, то есть буквально НА НЕМ — в

одном из бесчисленных внутренних карманов. Он никогда не выключал свой компьютер, предварительно не проверив, что стер все наработанное за день.

Он понимал, что находится на пороге великого открытия — той самой Общей Теории Времени, которая так необходима была йоти для осуществления дальних космических полетов и поддержания государственного престижа. Но понимал он также и то, что пока что теория эта еще не родилась и, возможно, никогда не родится. Но абсолютно ни с кем не говорил о возможности ее появления или непоявления на свет.

До отлета с Анарреса он считал, что Общая Теория Времени практически у него в кармане. Он уже составил все необходимые уравнения, вывел формулы, и Сабул знал, что он их вывел, и предлагал ему примирение и признание — в обмен на возможность напечатать это открытие и самому хоть что-что урвать от славы первооткрывателя. Сабулу он отказал, но не считал это таким уж великим поступком со своей стороны. В конце концов, моральной победой над Сабулом и подобными ему могло быть только одно: издание Теории в своем Синдикате Инициативных Людей. Однако этого он сделать не сумел. Он пока еще не был в достаточной степени уверен, что работа готова к публикации. Кое-что в этих формулах представлялось ему не совсем верным, кое-что хотелось доделать, улучшить, подправить... Поскольку над Общей Теорией он работал минимум десять лет, то не видел ничего страшного в том, чтобы потратить еще немного времени и окончательно отшлифовать ее.

Но маленькие недостатки чем дальше, тем казались серьезнее. Видимо, у них была какая-то общая причина, серьезная, существенная... Трещина, проходившая прямо через фундамент... В ночь накануне отлета с Анарреса он сжег все черновики с выкладками Общей Теории и прилетел на Уррас с пустыми руками. И, если пользоваться лексиконом уррасти, вот уже полгода блефовал, водил всех за нос.

А может, он обманывал самого себя?

Что ж, вполне возможно. Общая Теория Времени — достаточно иллюзорная цель. Возможно также — хотя Принцип Неопределенности и Принцип Одновременности вполне могут быть объединены в общую теорию, — что вовсе

не ему суждено выполнить эту задачу. Он уже десять лет бьется над этой проблемой, но так и не решил ее. Математики и физики, эти гиганты мысли, обычно совершают свои великие открытия молодыми. А ему уже стукнуло сорок. Вполне вероятно, что он просто перегорел, что он кончен как теоретик.

Он прекрасно помнил подобные периоды депрессии в своей жизни, когда его терзали мрачные мысли и предчувствия неудач, хотя в те времена его творческая активность еще была на высоте. Нет, он просто хочет подбодрить себя, уговорить, что такое уже бывало и это пройдет! Он даже обозлился на себя. Что за наивность, черт побери! Интерпретировать законы времени как каузальные довольно глупо для опытного хронософиста. Неужели у него в сорок лет уже начался старческий маразм? Нет, лучше заняться не столь глобальной, но тоже весьма существенной и вполне практической задачей — отработать концепцию дискретности. Возможно, это хоть кому-то другому пригодится в дальнейшем.

Но, даже занимаясь этой вполне конкретной проблемой, даже просто обсуждая ее с другими физиками, он чувствовал, что главное он от них скрывает. И они это прекрасно понимают.

Он устал таиться, устал молчать, ничего не обсуждать с другими: ни революцию в Бенбили, ни по-настоящему волнующие его проблемы физики — ничего!

Шевек шел в Университет читать лекцию. На ветвях, покрытых совсем еще молодой листвой, распевали птицы. Он не слышал их пения всю зиму и наслаждался им от души. «Тю-фьюить, — нежно выпевали они, — это моя собственность-сть-сть — фьюить! Это моя тю-тю-тю — территория!»

Он минутку постоял под деревьями, прислушиваясь.

Потом решительно свернул с тропинки, пересек территорию городка в противоположном направлении и двинулся к железнодорожной станции, где сел на утренний поезд в Нио Эссейю. Должна же на этой проклятой планете существовать хотя бы одна открытая дверь!

В поезде он думал о том, что хорошо бы поскорее выбраться из А-Йо, может быть, даже уехать в Бенбили... Однако до конца эту мысль так и не додумал. Туда ведь нужно лететь на самолете или плыть на пароходе... Да его

тут же выследят и остановят! Единственное место, где можно хотя бы на время уйти из поля зрения гостеприимных и столь сильно пекущихся о нем хозяев, — это в столице, прямо у них под носом.

Это, разумеется, не было спасением. Даже если бы он действительно сумел выбраться из А-Йо, все равно остался бы заперт — на планете Уррас. И сегодняшний его поступок тоже нельзя назвать побегом, что бы там ни говорили в правительственных кругах с их мистическим отношением к государственным законам. Но Шевек вдруг пришел в веселое расположение духа, чего с ним не было уже давно — он подумал о том, как засуетятся его благожелательные и чересчур заботливые хозяева, когда, пусть ненадолго, решат, что он действительно бежал.

Стоял по-настоящему теплый весенний день. Поля зеленели, повсюду блестели лужи. На пастбищах вместе со взрослыми животными паслись малыши. Особенно очаровательны были ягнята, подпрыгивающие, точно маленькие белые шарики, и весело помахивающие хвостиками. В загонах в полном одиночестве пребывали хозяева стад — бараны, жеребцы, быки с могучими шеями — налитые соками, точно грозовые тучи, и чрезвычайно обремененные заботой о грядущих поколениях. Чайки хлопали крыльями над зарослями по берегам прудов и озер — белые над голубым — и над головой белые облака оживляли прозрачную теплую синеву небес. Ветви садовых деревьев были покрыты красными бутонами, среди которых уже распустились отдельные цветы, розовые и белые. Глядя из окна поезда, Шевек чувствовал, как успокаивается его беспокойный мятежный дух, готовый сложить оружие, смириться перед красотой этого дивного дня. Эта красота казалась Шевеку несправедливой. Что такого особенного сделали уррасти, чтобы заслужить ее? Почему она дарована им — так щедро, так милостиво, — а его собственный народ получил так мало, так ужасно мало этой красоты? Был обделен с самого начала!

Ну вот, я уже и думаю как настоящий уррасти, сказал он себе, как проклятый собственник. Разве можно заслужить красоту природы? Или саму жизнь? Какая чушь! Он попытался вообще ни о чем не думать и просто позволить себе смотреть на солнечный свет за окном, на теплое небо, на маленьких овечек, пасущихся на весенних полях...

Нио Эссейя — город с четырехмиллионным населением — вздымал свои изящные сверкающие башни по ту сторону зеленых болотистых лугов, примыкавших к эстуарию, и сейчас башни эти казались сотканными из тумана и солнечного света. Когда поезд легко взлетел на виадук, город стал виден лучше, дома стали как бы выше, их очертания четче, стены определеннее и массивнее, а потом город вдруг замкнулся над мчавшимся поездом, и тот нырнул в гулкую темноту туннеля подземки. Вскоре он остановился, все двери его двадцати вагонов открылись, и пассажиры наконец вышли на свободу — на широкие великолепные перроны Центрального Вокзала, украшенного куполом цвета слоновой кости и лазури. Насколько Шевек знал, это был самый большой купол, когда-либо созданный руками человека.

Шевек брел по просторным мраморным залам под этим невероятным, воздушно-легким куполом, пока не добрался до длинного ряда дверей, через которые без конца входили и выходили люди, и каждый из них был чем-то озабочен, каждый был сам по себе. Все они почему-то казались ему встревоженными. Он и раньше часто замечал на лицах уррасти эту тревогу и все недоумевал, отчего она. Неужели они, при всем своем богатстве, постоянно вынуждены беспокоиться о том, как бы раздобыть еще денег, как бы не умереть в бедности? Или же это вовсе не тревога, а чувство вины — перед теми, у кого денег значительно меньше? Ведь такие здесь существовали всегда. Так или иначе, а эта озабоченность, тревога или еще какое-то иное чувство придавали их лицам некое сходство, и Шевек чувствовал себя среди этих людей особенно одиноким. Сбежав от своих доброжелательных гидов и верных стражей, он не подумал о том, каково будет ему одному оказаться среди массы людей, где ни один не доверяет другому, где основным моральным допущением является не желание помочь, а взаимная агрессивность. Он чувствовал, что даже немного напуган этим.

Бродя по городу, он слабо представлял себе, как можно отличить тех, кто не принадлежит к классу собственников, если таковые там действительно существуют; ему хотелось поговорить с так называемыми представителями рабочего класса, но все, с кем он пытался вступить в разговор, куда-то торопились, спешили по своим делам и не желали тра-

тить драгоценное время на бессмысленные беседы. Их торопливость заразила и его. Ему показалось, что и он должен куда-то поскорее пойти, выбраться на солнечный свет, что и сделал, поднявшись из метро на забитую народом великолепную улицу Мойе. Но куда идти? В Национальную Библиотеку? В зоопарк? Нет, любоваться достопримечательностями ему совсем не хотелось!

Он нерешительно остановился возле лотка, на котором продавались газеты и всякие безделушки. Заголовки газет гласили: «Тху посылает войска на помощь мятежникам Бенбили!», однако он как-то на эти слова не отреагировал. Он смотрел не столько на газеты, сколько на цветные фотографии, выставленные здесь же. Ему вдруг пришло в голову, что у него совсем ничего нет на память об Уррасе, ни одного снимка. Когда отправляешься в путешествие, нужно привезти домой хоть какие-то сувениры. Фотографии были хороши: сценки из жизни А-Йо; горы, куда они ездили на прогулку; высотные здания Нио; часовня в Йе Юн (это практически был вид из окна его комнаты); деревенская девушка в красивом национальном костюме; башни Родарреда и та самая, что впервые привлекла его внимание; ягненок на усыпанном цветами лугу, явно пребывающий в прекрасном настроении и взбрыкивающий от восторга. Маленькой Пилюн очень понравился бы этот ягненок. Шевек отобрал по одной из всех имевшихся фотографий и подал кассиру.

— Так, и еще пять — это будет пятьдесят, а с ягненком — шестьдесят. И эту карту? Да, вы совершенно правы, прекрасный денек сегодня! Наконец-то весна наступила. А помельче у вас нет? — Шевек протянул кассиру банкноту в двадцать единиц. Он вытряхнул из карманов сдачу, полученную при покупке железнодорожного билета, и после непродолжительного ознакомления с купюрами и монетами набрал искомую сумму. — Совершенно верно, спасибо большое, желаю вам приятно провести день!

Неужели за деньги можно купить вежливость, как фотографии и карту города? Интересно, насколько вежливым был бы этот продавец, если бы жил на Анарресе, пришел в распределительный центр и мог бы взять что хочет, нигде ничего не записывая?

Совершенно бессмысленно даже думать об этом! Живешь в Стране Собственников, вот и думай, как собственник! Одевайся, как собственник, ешь, как собственник, поступай, как собственник, будь собственником!

В деловой части Нио никаких парков не было, здесь земля была слишком дорога, чтобы использовать ее для развлечений. Он уходил все дальше по одинаковым широким, великолепным улицам. Дойдя до торговой улицы Семтеневиа, он торопливо пересек ее, не желая, чтобы в столь солнечный денек повторялся тот кошмар, и вскоре оказался в деловом центре города: банки, различные конторы, правительственные учреждения... Неужели вся Нио Эссейя такова? Гигантские сверкающие коробки из камня и стекла, роскошно украшенные, но пустые внутри.

Проходя мимо огромной витрины с надписью «Художественная галерея», он вошел в дверь, надеясь среди предметов искусства обрести спасение от той душевной клаустрофобии, что терзала его на улицах, надеясь вновь ощутить красоту этой планеты в одном из ее музеев. Но оказалось, что все картины снабжены бирками с указанными на них ценами! Он долго смотрел на искусно написанную обнаженную натуру. Цена этой картины была 4000 м.в.е.

— Это работа Феи Фейте, — сообщил Шевеку темноволосый человек, неслышно появляясь у него из-за плеча. — На прошлой неделе у нас было пять его картин — они уже давно самые ценные на рынке. Отличный способ вложить деньги. Очень вам советую!

— Четыре тысячи — сумма, которой хватит двум семьям, чтобы прожить в этом городе целый год, — задумчиво сказал Шевек.

Темноволосый человек внимательно на него посмотрел и сказал, растягивая слова:

— Да, конечно... Но, видите ли... это же произведение искусства...

— Искусства? Человек создает произведения искусства, потому что не может иначе. А почему была написана эта картина? Для чего?

— Так вы, должно быть, художник? — сказал хозяин галереи чуть презрительно.

— Нет, просто я способен отличить дерьмо от настоящей вещи! — Торговец картинами так и шарахнулся от него. Оказавшись на безопасном расстоянии, он проворчал, что немедленно вызовет полицию. Шевек показал ему

язык и быстро вышел из магазина. Пройдя с полквартала, он остановился. Нет, так нельзя!

А как можно? И куда же все-таки пойти?

К кому-нибудь... К кому-нибудь другому... К другому человеку. К человеку! К тому, кто поможет, просто окажет помощь, а не продаст ее за деньги. Но к кому? Куда?

Он подумал о детях Ойи, маленьких мальчиках, которые искренне его полюбили, и некоторое время больше ни о ком думать не мог. Потом в его памяти возник другой образ, далекий, расплывчатый — сестра Ойи. Как же ее звали? Она просила его непременно позвонить. И дважды присылала ему приглашения на обед, написанные аккуратным детским почерком на плотной надушенной бумаге. Он-то на эти приглашения и внимания не обратил. Но теперь о них вспомнил.

Он вспомнил и ту записку, что неведомым образом оказалась у него в кармане: «Присоединяйтесь к нам, вашим братьям». Но где они здесь, его «братья»?

Он зашел в ближайший магазин. Это была кондитерская, вся в блеске золота и розовых бутоньерок; длинные ряды прозрачных прилавков с красивыми коробками, жестянками, корзинками с печеньем и конфетами; нечто розовое, шоколадное, кремовое, золотистое... Он спросил женщину у кассы, не поможет ли она ему отыскать нужный номер телефона. После той вспышки неудержимого гнева в художественном салоне он присмирел и чувствовал себя настолько невежественным и чужим в этой стране, что своим смирением тут же завоевал сочувствие женщины; она не только помогла ему отыскать нужное имя и фамилию в невероятных объемов телефонной книге, но даже позволила позвонить по служебному телефону.

— Я слушаю, кто это? — послышалось в трубке.

— Это Шевек, — сказал он и умолк. Телефон в его восприятии был средством передачи срочной и необходимой информации — сообщений о смерти, о рождении ребенка, о землетрясении... Он понятия не имел, что говорить дальше.

— Кто? Шевек? Это правда вы? Как это мило, что вы наконец позвонили! Я, кажется, даже окончательно проснулась. Нет, это действительно вы?

— Вы спали?

— Крепко спала. И до сих пор валяюсь в постели. Здесь так уютно, тепло... Но, боже мой, где вы находитесь?

— По-моему, на улице Кае Секае.

— Господи, что вам там понадобилось? Давайте лучше встретимся. А кстати, который час? Господи, уже полдень! Знаете что, приходите к лодочной станции на пруду — это в парке Старого Дворца. Я вас там встречу. Сможете найти это место? Послушайте, сегодня у меня поистине райский вечер, такая замечательная вечеринка! Вы непременно должны остаться... — Она еще некоторое время продолжала трещать о чем-то своем, а он соглашался с каждым ее словом. Когда он повесил трубку, знакомая продавщица улыбнулась ему:

— По-моему, вам бы неплохо было купить ей коробку конфет.

— Правда? Вы так полагаете? — остановился он.

— Никогда не повредит, уверяю вас.

В голосе ее звучало какое-то бесстыдное веселье. Сам воздух в кондитерской был теплым и сладким, словно здесь собрались все самые соблазнительные ароматы весны. Шевек, растерянно озираясь, стоял среди множества хорошеньких коробок со сластями, роскошных, высоких, тяжелых коробок, похожих на мечтательных коров на лугу или, точнее, на тех баранов и быков в загонах, озабоченных тем, что пробудило в них весеннее тепло.

— Я вам подберу именно то, что нужно, — сказала продавщица и стала наполнять небольшую металлическую коробку, изящно украшенную эмалью, миниатюрными шоколадными листиками и розочками, сплетенными из сахарных нитей. Потом завернула коробку в прелестную, ситцевой расцветки бумагу и положила в картонный ларчик, оклеенный серебряной бумагой, и все это завернула в плотную розовую бумагу и перевязала зеленой бархатной лентой. В каждом ее ловком движении читалось шутливо-сочувственное отношение к Шевеку, она подмигивала ему, точно соучастница, вручая сверток, и он, пробормотав слова благодарности, хотел было поскорее уйти, но она мягко остановила его:

— Десять шестьдесят с вас.

Она могла бы, наверное, даже вообще не взять с него денег, пожалев его, как женщины умеют жалеть сильных мужчин, но он тут же послушно вернулся и смущенно отсчитал деньги.

Он довольно быстро отыскал дорогу в подземку и нуж-

ное направление, добрался до парка при Старом Дворце, нашел пруд с лодочной станцией, где прелестно одетые детишки пускали игрушечные кораблики — потрясающие маленькие суденышки с шелковыми парусами, так и сиявшие на солнце. На том берегу широкого, сверкающего пруда он заметил Веа и поспешил к ней навстречу, ощущая вокруг себя весну — солнце, теплый ветер, темные ветви старых деревьев, покрытые молодой светло-зеленой листвой...

Они перекусили в парке, устроившись на веранде ресторана под высокой, куполом, стеклянной крышей. Деревья, оказавшиеся также под крышей, успели на солнце полностью развернуть лист. Это были ивы, склонявшиеся над прудом, где лениво плавали какие-то толстые белые птицы, следившие за посетителями ресторана и с жадностью ожидавшие подачки. Веа ничего не стала заказывать сама, дав Шевеку понять, что полностью полагается на него, однако опытный официант так ловко подсказал ему, какой заказ сделать, что Шевек в итоге решил, что все это выбрал он сам. К счастью, в карманах у него было полно денег. Еда была великолепна. Он никогда еще не пробовал столь изысканных блюд. Всю жизнь он привык есть два раза в день, так что и на Уррасе обычно избегал ланча, но сегодня он ел с удовольствием и аппетитом, тогда как Веа деликатно пробовала кусочек того, крошку другого. Наконец он просто заставил себя остановиться, и она рассмеялась, видя его столь удрученным.

— Я слишком много съел!

— Ничего, немножко прогуляемся, и все будет в порядке.

Погуляли они действительно совсем немного: медленно прошлись по травке, а минут через десять Веа изящным движением опустилась на пригорок под огромным кустом с золотистыми цветами. Шевек сел рядом. Да она же «спекулирует собственным телом»! Это выражение Таквер он вспомнил сразу, едва взглянув на кокетливо выставленную изящную ножку Веа в маленькой белой туфельке на очень высоком каблуке. Таквер считала, что так ведут себя женщины, которые используют свою сексапильность как оружие в отношениях с мужчинами. Похоже, Веа была «спекулянткой» высшей пробы. Туфли, одежда, косметика, ук-

рашения, жесты — все в ней провоцировало, соблазняло. Она являла собой столь изысканно и тщательно оформленную женскую плоть, что, казалось, разум ей просто ни к чему. О да, в ней действительно была воплощена вся та мечта о сексуальности и эротичности, которую мужчины йоти старательно подавляли в себе самих и изливали лишь в снах и мечтаниях, в романах и поэзии, в бесчисленных изображениях обнаженного женского тела, в страстной музыке, в архитектуре с ее плавными изгибами и бесконечными куполами, в чрезмерной любви к сладостям, в оформлении купален, в этих непристойно мягких постелях... Веа была изысканным кушаньем и совершенно готовым для того, чтобы им полакомиться.

Ее головка, полностью выбритая, была припудрена тальком, содержавшим, видимо, крошечные блестки слюды, которые чуть поблескивали, подчеркивая изящную форму черепа. На плечи она накинула легкую, прозрачную шаль или накидку, под которой ее округлые плечи и нежная кожа рук выглядели еще более соблазнительными, чем когда были полностью обнажены. Груди у нее на этот раз были прикрыты: на улице здешние женщины не появлялись с обнаженной грудью, приберегая свою наготу для своих хозяев: мужей, любовников, «друзей». На запястьях позвякивали золотые браслеты, а в ямке под горлом сверкал, выделяясь на нежной коже, один-единственный крупный синий камень.

— Как он там удерживается? — вырвалось у Шевека.

— Кто? — Поскольку Веа не могла видеть камень сама, то, притворившись, что не понимает, буквально заставила его коснуться рукой ее груди. Шевек улыбнулся.

— Он что, приклеен?

— Ах, вот вы о чем! Нет, у меня там малюсенький магнит, а на камне с обратной стороны крошечная металлическая пластинка. А может, наоборот... но это неважно. Так или иначе, мы с ним прилипаем друг к другу.

— У вас магнит под кожей? — ужаснулся Шевек.

Веа улыбнулась, сняла сапфир, и он убедился, что на коже действительно виден крошечный серебристый шрамик — точнее, намек на него.

— Видимо, в целом я у вас вызываю потрясающую неприязнь! — засмеялась Веа. — Ничего, это даже освежает! Я чувствую себя совершенно свободной, ведь ни одно мое

слово или поступок уже не смогут повлиять на то, как низко я пала в ваших глазах, доктор Шевек. Я практически достигла дна!

— Ничего подобного! — запротестовал он, понимая, что она с ним играет, что это простое кокетство, но очень плохо разбираясь в правилах подобной игры.

— Нет, нет, я сразу способна заметить особое отношение к себе. Особенно когда это отвращение — вот как у вас. — И она скорчила потешную гримаску. Оба рассмеялись. — Я что же, действительно так сильно отличаюсь от женщин анаррести?

— О да!

— Они, наверное, все силачки? Высокие, с отлично развитой мускулатурой? И ходят в ботинках, а ноги у них крупные, ступни плоские... А одеваются они что, только в «удобную» одежду? А сколько раз в месяц они бреют голову? Один?

— Они ее совсем не бреют.

— Никогда? И тело тоже? Нигде? Господи! Давайте лучше поговорим о чем-нибудь другом.

— О вас, например. — Он низко наклонился к ней, и аромат ее духов и тела окутал его сладострастной пеленой. — Мне очень хочется знать, удовлетворяет ли женщину уррасти вечное положение существа низшего порядка?

— По отношению к кому?

— К мужчинам.

— Ах, вот как вы считаете!.. А что заставляет вас так думать?

— Мне кажется, что все интересное в вашем обществе делается мужчинами. Промышленность, искусство, управление государством, принятие жизненно важных решений — все это в руках мужчин. И потом... всю жизнь вы, женщины, носите имя своего хозяина — сперва отца, а потом мужа. Мужчины учатся в школе, затем в институте, но я не видел ни одной женщины-студентки. Преподаватели, судьи, полицейские, члены правительства — все это исключительно мужчины, не правда ли? Почему же вы не пытаетесь делать то, что нравится вам?

— Но ведь мы делаем именно то, что нам нравится! Женщинам совсем необязательно пачкать себе руки, или носить медные шлемы, или орать друг на друга на заседаниях Совета Директоров.

— Но тогда чем же, чем вы занимаетесь?

— Как? Управляем мужчинами, разумеется! И знаете, об этом можно говорить в их обществе совершенно спокойно, потому что они никогда вам не поверят. Они скажут: ну-ну, глупышки они, эти женщины! Выдумщицы! Погладят по головке свою жену или любовницу и двинутся дальше, позвякивая медалями, абсолютно довольные собой.

— А вы довольны собой?

— Да, безусловно.

— Я этому не верю!

— Потому что это не соответствует вашим принципам? У мужчин всегда имеются свои принципы и теории, и все вокруг, разумеется, должно им соответствовать.

— Нет, дело вовсе не в этом! Просто мне показалось, что вы... постоянно беспокойны, словно чем-то не удовлетворены, а потому — опасны!

— Ну уж и опасна! — Веа радостно засмеялась. — Какой странный, удивительный комплимент! Почему же я опасна, Шевек?

— Но это же просто! Вы ведь отлично понимаете, сколь ценную вещь представляете собой в глазах мужчин. Но все-таки вещь, которой можно владеть, которую можно покупать и продавать... И вы только и думаете: как бы провести этих нахалов, стремящихся владеть мною, как бы им отомстить...

Веа решительно прикрыла ему рот своей маленькой ладошкой.

— Довольно, — сказала она. — Я знаю, что вы вовсе не хотели быть вульгарным, и потому лишь вас прощаю. Однако достаточно.

Он нахмурился — ему было неприятно лицемерие Веа, кроме того, он боялся, что действительно мог больно задеть ее. Он все еще ощущал легкое прикосновение ее душистой ладони к своим губам...

— Простите! — искренне сказал он.

— Нет-нет, ничего страшного. Я не обиделась. Разве вы могли что-нибудь понять в нашей жизни, свалившись с луны? И в конце концов вы всего лишь мужчина... — Она рассмеялась. — Ладно, я вам вот что посоветую: возьмите любую из ваших «сестер» у себя на луне, дайте ей возможность снять свои ужасные башмаки, принять ванну, умас-

тить свое тело благовониями, удалить на нем всю лишнюю растительность, а потом надеть пару хорошеньких туфелек, украсить пупок красивым камнем и всласть подушиться, и вы сами увидите, как ей это понравится! И вам тоже! Я уверена! Но только ведь вы так не сделаете, вы, бедняжки, все играете в свои теории, в братьев и сестер, не позволяя себе никаких развлечений!

— О, как вы правы! — подыграл ей Шевек. — Никогда и никаких развлечений! Никогда! Целыми днями мы роемся в шахтах, добывая свинец и золото, а ближе к ночи, пообедав наконец тремя корешками, сваренными в двух ложках отвратительной опресненной воды, немузыкально повторяем хором высказывания великой Одо, пока не придет время ложиться спать. И спим мы, разумеется, по отдельности, не снимая тех самых ужасных грубых башмаков, которые носим все без исключения.

Он не настолько бегло говорил на йотик, чтобы суметь выразить этот «полет мысли»; это была одна из его внезапных «поэтических» язвительных фантазий, которые только Таквер и Садик слышали достаточно часто; но, хотя его йотик и был далек от совершенства, эта пылкая речь все же поразила Веа. Ее громкий смех разлетелся по всему парку.

— Господи, да ведь вы отлично умеете шутить! А есть что-нибудь на свете, чего вы не умеете?

— Я не умею торговать, — честно ответил он.

Она, все еще улыбаясь, внимательно посмотрела на него. В ее позе было что-то профессиональное, актерское. Люди обычно не глядят так долго и так пристально друг другу в глаза. Если только это не мать и дитя или же врач и его пациент. А еще так смотрят друг на друга любовники.

Шевек сел.

— Я бы еще прогулялся, — решительно заявил он.

Она протянула ему руку, чтобы он помог ей подняться с земли. Жест был ленивый, приглашающий... Но сказала она нечто совсем иное, с какой-то неуверенной теплотой:

— Вы действительно ведете себя как брат... Ну возьмите же мою руку. Не бойтесь, я вас потом отпущу!

Они побродили по тропинкам обширного парка. Зашли во дворец, превращенный в музей. Как сказала Веа, всегда приятно посмотреть на то, как жили короли. Она с удовольствием любовалась выставленными драгоценностя-

ми и портретами напыщенных правителей. Стены дворца были увешаны гобеленами; резные каминные полки уставлены серебряными, золотыми, хрустальными вазами и статуэтками из редких пород дерева; на полу лежали роскошные ковры. За бархатными лентами по углам стояли охранники. Их черно-алые формы прекрасно сочетались с великолепием залов; они сверкали золочеными галунами и покачивали пышными султанами перьев на шлемах. Однако лица у них были совсем не к месту: скучные, усталые. Охранникам явно надоело торчать целый день у всех на виду, ничего не делая. Шевек и Веа подошли к стеклянной витрине, внутри которой лежал плащ, который королева Теаэа велела сделать из кожи мятежников — из смуглой человеческой кожи, которую с людей содрали заживо. Эта ужасная женщина с вызовом надевала свой плащ, выходя к измученной эпидемией чумы толпе, и молила бога, чтобы он остановил распространение страшной заразы. Было это четырнадцать веков назад.

— По-моему, очень похоже на шевро, — сказала Веа, рассматривая выцветший от времени плащ. Потом вскинула глаза на Шевека: — Вам нехорошо?

— Мне, кажется, лучше выйти на воздух...

В парке смертельная бледность постепенно сошла с его щек, но на дворец он все еще оглядывался с ненавистью.

— Почему ваш народ так бережно хранит то, чего должен был бы стыдиться? — спросил он.

— Но это же наша история! Разумеется, теперь ничего подобного просто быть не может!

Она повела его в театр на дневной спектакль — там шла какая-то комедия о молодоженах и их матерях, полная шуток по поводу секса, где, однако, сам секс ни разу ни одним словом обозначен не был. Шевеку было скучно, и он старался смеяться в тех местах, когда смеялась Веа, чтобы не вызывать подозрений. После спектакля они отправились в один из центральных ресторанов, место исключительно для состоятельных клиентов. Обед стоил им сто валютных единиц. Шевек ел очень мало, поскольку хорошо закусил днем, однако поддался на уговоры Веа и выпил два или три бокала вина, которое вопреки его ожиданиям оказалось очень вкусным, создавало приятную легкость в общении и, похоже, нисколько не отражалось на умственных способностях. У него не хватило наличных

денег, чтобы расплатиться за обед, но Веа не предложила заплатить свою долю, а просто посоветовала ему выписать чек, что он и сделал. Потом они взяли такси и поехали к Веа домой, с шофером она также предоставила ему право расплачиваться самому. Неужели, недоумевал он, Веа и есть самая настоящая дорогая проститутка? То самое загадочное существо, о котором намекали учебники? Проститутки, которых довольно подробно описывала Одо, были бедными женщинами, а Веа, безусловно, таковой не была. Рассказывая ему о подготовке своей вечеринки, она подробно сообщила, что именно поручила сделать СВОЕМУ повару, СВОЕЙ горничной и СВОЕМУ «личному» поставщику провизии. Более того, мужчины в Университете говорили о проститутках презрительно, с отвращением, как о грязных и беспардонных тварях, тогда как Веа, несмотря на явную склонность обольщать мужчин, проявила такую чрезвычайную чувствительность к прямым разговорам об интимных отношениях и даже к некоторым «физиологизмам» в речи Шевека, касавшимся секса, что он стал следить за своей речью особенно тщательно, как делал бы это дома, на Анарресе, в присутствии девочки лет десяти. И все же он никак не мог понять, что же такое Веа.

Комнаты в квартире Веа были просторными, роскошно обставленными; из окон открывался прекрасный вид на сияющий огнями Нио; мебель была исключительно белого цвета, даже ковер на полу был белоснежный. Но Шевек уже отчасти стал невосприимчив к роскоши; кроме того, ему почему-то ужасно хотелось спать. Гости должны были прибыть не раньше, чем через час, и, когда Веа ушла переодеваться, он уснул, устроившись в огромном белом кресле в гостиной. Его разбудила служанка, загремев чем-то на столе, и почти сразу же в гостиную вошла Веа в красивом вечернем платье, какие обычно надевали на приемы женщины йоти — широкая плиссированная юбка до полу, начинавшаяся от бедер, и под самой грудью жесткий корсаж, поддерживавший ее. Талия и грудь Веа были обнажены. В пупке поблескивал небольшой драгоценный камешек — в точности как в том фильме, который они с Тирином и Бедапом смотрели четверть века назад в Региональном Институте Северного Поселения... Полупроснувшись, но почему-то встревоженный до голубины души, Шевек во все глаза смотрел на нее.

Она тоже посмотрела ему прямо в глаза и слегка улыбнулась.

Потом села возле него на низенький пушистый пуфик и снова посмотрела на него — кокетливо, снизу вверх. Потом неторопливо расправила свою белую юбку на коленях и сказала:

— Ну а теперь расскажите мне, как все-таки у вас это делается на Анарресе... Ну, между мужчиной и женщиной.

Это было просто невероятно! Ее горничная и присланный поставщиком провизии человек находились там же, в гостиной; она знала, что у него есть Таквер; и он знал, что она это знает; и до сих пор между ними не было произнесено ни одного слова о половых отношениях — она этого не допускала. Хотя, разумеется, и это ее платье, и жесты, и интонации — все это выглядело как чистой воды «приглашение к сексу».

— Между мужчиной и женщиной у нас это делается так, как они сами того захотят, — сказал он довольно грубо. — Оба вместе. И каждый по отдельности.

— Значит, это правда, что у вас отсутствует всякое понятие о приличиях, о морали? — спросила она, с одной стороны, явно потрясенная его словами, но одновременно почему-то ими обрадованная.

— Я не знаю, что вы имеете в виду. Причинить человеку страдания там означает то же самое, что и здесь.

— Вы хотите сказать, что придерживаетесь все тех же старых правил? Видите ли, я лично считаю, что мораль — это предрассудок, вроде религии. Давно пора выбросить ее на помойку.

— Однако в моем обществе, — сказал он, несколько озадаченный подобным заявлением, — как раз и осуществляется попытка достигнуть высокой морали, высокой нравственной чистоты. Можно выбросить на помойку морализирование — да, согласен, ему там самое место, как и всем устаревшим правилам, законам, системе наказаний. Но человек, безусловно, должен уметь отличать хорошее от плохого и выбирать между добром и злом.

— Значит, вы выбрасываете все «можно» и «нельзя»? Но знаете, я думаю, что вы, одонийцы, многое теряете, выбрасывая заодно священников и судей, законы о разводе и все такое прочее, хотя все, что за ними стоит, всю эту нравственную муть как раз сохраняете. Вы просто затал-

киваете законы нравственности вглубь, в собственное сознание. И становитесь снова рабами тех же законов! Нет, по-настоящему свободными вы не являетесь!

— Откуда вы этого набрались, Веа?

— Я прочитала одну умную статью насчет учения Одо, — сказала она. — И потом, мы же с вами целый день провели вместе! Я вас почти не знаю, но кое-что о вас я поняла. Я знаю, например, что в душе у вас что-то вроде... да-да, там у вас королева Теаэа, которая командует вами, старая тиранка, как когда-то командовала своими рабами! Она говорит: делайте это! И вы делаете. Она говорит: не сметь! И вы подчиняетесь.

— Так вот откуда она, оказывается, — сказал он, улыбаясь. — Значит, это я ее выдумал?

— Да нет. Пусть уж остается в своем дворце. Тогда вы сможете восставать против нее. Ведь вы бы обязательно стали делать это, правда? Ваш пра-пра-прадед так и поступил, наверное, по крайней мере сбежал отсюда на луну. Но королеву нашу он взял с собой, и она все еще сидит в вас, командует вами!

— Возможно. Но на Анарресе она хорошо поняла: если она велит мне причинить страдания другому, я причиню их самому себе.

— Старые ханжеские заверения! Жизнь — это борьба, и побеждает в ней сильнейший. А цивилизация всего лишь призвана прикрывать ненависть красивыми фразами да скрывать творящееся кругом кровопролитие!

— Ваша цивилизация. Мы же не скрываем ничего. Наша цивилизация проста и прозрачна — там королева Теаэа всегда в своем плаще из человеческой кожи. Мы следуем закону эволюции, и только ему.

— Согласно закону эволюции, как раз и выживает сильнейший!

— Верно. Но среди всех общественных существ сильнейшими являются те, кто наиболее социален. Или, с точки зрения человека, наиболее этичен. Видите ли, у нас, на Анарресе, нет ни жертв, ни врагов. Мы воспринимаем себя как целое; у нас есть только мы сами. Ведь, причиняя страдания другим, сам особой силы не обретешь. Наоборот, проявишь собственную слабость.

— Мне совершенно безразлично, кто, где и кому причиняет страдания. Мне совершенно безразличны все ос-

тальные, да и всем остальным до меня тоже дела нет, они только притворяются, что это не так. А я притворяться не хочу! Я хочу быть свободной!

— Но, Веа... — мягко начал он, до глубины души тронутый этим страстным порывом, но тут у дверей прозвонил колокольчик, Веа встала, поправила юбку, изобразила на лице радостную улыбку и направилась встречать своих гостей.

Гости собирались примерно час. Всего пришло человек тридцать-сорок. Сперва Шевек чувствовал себя чрезвычайно неловко, но что еще хуже — он скучал. Это оказалась очередная шумная вечеринка, где все стояли с бокалами в руках, без конца улыбались и разговаривали ни о чем. Но вскоре стало веселее. Всюду вспыхивали споры, люди, объединившись группками, усаживались в сторонке и начинали что-то оживленно обсуждать. Слуги разносили подносы с закусками — крохотными бутербродиками, тартинками, кусочками мяса и рыбы. Услужливые официанты постоянно наполняли стаканы. У Шевека тоже в руках был стакан с каким-то напитком. Он уже несколько месяцев наблюдал, как много уррасти поглощают порой алкоголя, однако от этого, похоже, никто не заболевал. Напиток, который ему подали, имел лекарственный привкус, но кто-то объяснил, что это в основном газированная вода и сок. Пить ему очень хотелось, и он залпом осушил стакан.

Двое гостей все время норовили завести с ним беседу о физике. Один был достаточно вежлив и застенчив, так что уклониться от разговора с ним не составляло труда — Шевеку всегда очень трудно было говорить о физике с дилетантами. Однако второй оказался поистине несносен и чрезвычайно упорен; в итоге Шевек оставил попытки избежать беседы с ним, и, разумеется, оказалось, что этот тип знает буквально все на свете. Возможно, потому, что был очень богат.

— Насколько я понимаю, — заявил он Шевеку, — ваша теория Одновременности отрицает наиболее очевидное свойство времени — его текучесть?

— Видите ли, — любезно откликнулся Шевек, — в физике следует быть очень осторожным с тем, что называют «свойством». Это ведь не бизнес. — В мягкости его тона было нечто такое, что Веа, болтавшая с кем-то рядом, тут же повернулась к ним и стала прислушиваться к разгово-

ру. — В рамках теории Одновременности текучесть или последовательность, строго говоря, вообще не рассматривается как объективное физическое свойство, но как явление исключительно субъективное.

— Ах, оставьте свои умные речи и не пугайте беднягу Диэрри, — вмешалась Веа, — и расскажите нам, бедным, простыми словами, что это значит. — Шевек улыбнулся: она удивительно тонко почувствовала его раздражение.

— Ну, например, — начал он уже спокойнее. — Вот нам кажется, что время «проходит», течет мимо нас. А что, если это мы движемся вперед — от прошлого к будущему? Как если бы читали книгу от первой страницы до последней? Книга лежит перед нами целиком — заключенная между двумя обложками. Но если вам хочется понять роман, вы должны прочитать его с первой страницы, двигаясь в строго определенном порядке, верно? Точно так же можно воспринять и Вселенную: как очень большую книгу, а нас — как очень маленьких ее читателей.

— Но в том-то и дело, — возразил Диэрри, — что мы, чисто эмпирически, воспринимаем Вселенную как некую последовательность времен и событий, как поток. Таково ее ОСНОВНОЕ СВОЙСТВО. Но какова же в этом случае польза от теории, которая доказывает, что на некоем «более высоком» уровне, а может, и в иной плоскости Вселенная может восприниматься как нечто застывшее, вечное — во времени и в пространстве? Возможно, для теоретиков решить такую задачку и забавно, но практической применимости у подобной теории нет! Она не имеет отношения к реальной жизни. Если только в ней нет ключа к созданию машины времени, разумеется! — прибавил он с каким-то отвратительным веселым подмигиванием.

— Но мы даже эмпирически далеко не всегда воспринимаем Вселенную как некую последовательность, — удивился Шевек. — Неужели вам никогда не снятся сны, господин Диэрри? — Он был очень горд собой: наконец-то он вовремя вспомнил и назвал кого-то «господин»!

— Какое это имеет значение? Разве мои сны имеют отношение ко Вселенной?

— Видите ли, очень похоже, что мы способны воспринимать время только разумом. У младенца вообще никакого понятия о времени нет; в принципе, он может полностью дистанцировать себя от Прошлого и понять, как

оно соотносится с Настоящим и Будущим. Он не знает, что время проходит. Он не понимает, что такое смерть. Человек, не имеющий разума, пребывает в том же состоянии, как и человек, разум которого как бы выключен, работает одно подсознание. То есть во время сна. Во время сна времени как бы не существует, всякая последовательность событий и явлений смещена, а то и полностью изменена. Меняются местами причина и следствие. В мифе, в легенде времени также не существует. Какое прошлое имеет в виду сказка, начинаясь словами: «Давным-давно жили-были...»? Таким образом, мистики, связывая разум и бессознательное, воспринимают это как единый процесс и тем самым обретают способность понять вечную необходимость возврата к истокам.

— Да, верно! — с воодушевлением подхватил до той поры молчавший застенчивый собеседник. — Теборес, например... еще в восьмом тысячелетии писал: «Лишенная разума душа существует совместно со Вселенной...»

— Послушайте, мы же не дети неразумные, в конце концов! — резко оборвал его Диэрри. — Мы не только разумны, но и рациональны. А ваша теория, господин Шевек, случайно — не разновидность мистического регрессивизма?

Повисло молчание. Шевек не отвечал: тянул время. Он угостился тарталеткой, которую, впрочем, есть ему совсем не хотелось, однако возражать этому Диэрри хотелось еще меньше. Он сегодня уже один раз вышел из себя и оказался в дураках.

— Возможно, ее можно рассматривать как некую попытку нарушить существующее равновесие научных понятий, — неторопливо начал он. — Видите ли, классическая теория, согласно которой все физические величины могут изменяться лишь непрерывно и последовательно, прекрасно объясняет наше ощущение линейности времени и очевидности эволюции, как и процессы созидания и смерти. Но далее эта теория не идет. Она не может объяснить, почему все же некоторые вещи и явления остаются неизменными. Она трактует время всегда как вектор, но никогда — как круг.

— Круг? — удивился второй, вежливый собеседник Шевека, однако в глазах его светилось такое горячее желание что-то понять, что Шевек не устоял. Забыв о Диэрри, он с энтузиазмом, размахивая руками, погрузился в рассужде-

ния, словно желал прямо здесь, сейчас, наяву показать эти векторы, эти циклы, эту вибрацию времени, о которых он постоянно думал и писал.

— Время в такой же степени циклично, как и линейно, — говорил он. — Это сродни периодичности обращения планеты вокруг своего солнца, понимаете? Один цикл, то есть одно обращение, мы принимаем за год, верно? Два цикла равны двум годам и так далее. Эти обращения планеты вокруг солнца можно считать бесконечно — если бы, скажем, нашелся такой «наблюдатель». Такова и наша система отсчета времени, наше летосчисление. Но где внутри этой циклической системы отсчета начало времени? Где его конец? Бесконечное повторение одного и того же цикла — процесс вневременной, не имеющий ко времени отношения. Чтобы воспринимать его как временной, его необходимо соотнести с каким-либо другим процессом — не важно, циклическим или нет. И знаете, что весьма любопытно? Атомы, как вам известно, совершают движение по орбите. Внутри атомов электроны также совершают циклическое движение вокруг ядра, внутри которого еще более мелкие частицы делают то же самое. Именно эти крошечные составляющие, находящиеся в постоянном циклическом движении относительно друг друга, и сообщают атому и всей материи достаточное постоянство, которое и делает эволюцию возможной. Крошечные «безвременности», соединенные вместе, создают время! Примерно то же самое происходит и в космосе — только в несоизмеримо большем масштабе; и получается, что вся Вселенная — это некий циклический процесс, относительно регулярная вибрация пространства, его сжатие и приход в «возбужденное состояние», что примерно соотносимо с дискретным изменением количества энергии атома при квантовом переходе. Никаких «до» и «после». Только ВНУТРИ каждого из этих великих циклов, только в течение определенного периода жизни человечества можно говорить о существовании линейного времени, эволюций, перемен. Таким образом, получается, что у времени как бы два аспекта: вектор — летящая стрела, бегущая река — без которого в нашей жизни нет перемен, нет прогресса, нет направления и не может быть созидания, и круг или цикл, без которого возникает хаос, бессмысленная череда

и смена мгновений, мир без летосчисления, без смены времен года, без обещаний...

— Но это же две абсолютно противоположные вещи! — возмутился Диэрри, поглядывая на Шевека с явным превосходством. — Из того, что утверждаете вы, следует, что лишь один из этих ваших аспектов реален, второй же — просто иллюзия.

— Так говорили когда-то многие физики, — спокойно кивнул Шевек.

— Но какова ваша личная точка зрения? — спросил тот, который действительно хотел что-то понять.

— Ну я считаю, что существование двух аспектов предоставляет довольно простой способ выйти из затруднительного положения. Никто не сможет отмахнуться от собственного бытия и не станет отрицать происходящие с ним перемены как иллюзии, верно? Стать кем-то, не существуя вообще, — бессмыслица. А существовать в неизменном, застывшем состоянии — ужасная скука... Если разум способен воспринять оба эти аспекта времени и их взаимосвязанность и взаимозависимость, то условия этого восприятия должна обеспечить некая единственно верная хронософия.

— Ну и какова же будет польза от того, что мы это поймем? — снова влез Диэрри. — Ведь понимание этого не имеет никакого практического применения. Обыкновенное жонглирование словами и понятиями! Вам так не кажется?

— Вы ставите вопрос, как типичный собственник, господин Диэрри, — сказал Шевек.

И ни одна живая душа здесь не догадалась, что он назвал своего оппонента самым оскорбительным, самым презрительным словом из своего лексикона анаррести. Наоборот! Диэрри даже согласно покивал, с довольным видом принимая подобный «комплимент».

И только Веа уловила некое напряжение в голосе Шевека и снова вмешалась:

— Господа, я практически ни слова не понимаю из того, о чем вы говорите, но, по-моему, даже если я что-то и поняла — например, насчет той «книги» и сиюминутности существования всего на свете, — то скажите: почему же тогда мы не можем предсказывать будущее? Если оно уже существует? Или это все же возможно?

— Нет-нет, — обернулся к ней застенчивый собеседник

Шевека, на некоторое время переставая быть таким уж застенчивым, — вы неправы, дорогая! Время — это ведь не кушетка и не дом, оно не существует столь материально, как эти предметы. Его нельзя, например, обойти кругом, войти в него или из него выйти... — Веа с веселым видом закивала, словно ей сразу стало легче, как только она стала играть роль «ученицы». А застенчивый собеседник после ответа ей, видимо, исполнился верой в себя и теперь уже повернулся к Диэрри:

— Мне кажется, применение теории Одновременности и физики времени вообще ценно прежде всего для этики. Вы со мной согласны, доктор Шевек?

— Для этики? Вполне возможно. Не знаю, не уверен. Видите ли, я занимаюсь главным образом математикой, вряд ли возможно составить уравнения этики, скажем, поведения...

— Почему же нет? — снова возник самодовольный Диэрри, но Шевек не обратил на него внимания и продолжал:

— Хотя ваше замечание справедливо: истинная хронософия действительно немалое внимание уделяет этике. Поскольку наше ощущение времени имеет самое непосредственное отношение к способности отделять причину от следствия, средства от цели. Опять же — ребенок или животное не способны увидеть связь того, что они делают в настоящий момент, с тем, что станет следствием их действий. Они не могут понять принцип действия шкива и создать его. И не могут дать обещание. Мы можем. Понимая различие между «сейчас» и «не-сейчас», мы можем связать эти мгновения. Но тут уже на сцене появляются мораль и ответственность. Утверждение, что хорошей цели можно достичь дурными средствами, равносильно утверждению о том, что если потянуть за веревку на этом шкиве, то тяжесть будет поднята с помощью соседнего. Нарушить обещание — значит отрицать реальность прошлого, а стало быть, отрицать и надежду на реальное будущее. Если время и причина функционально взаимосвязаны, если мы вообще — существа времени, то нам лучше узнать время поближе, признать его могущество, постараться понять его свойства и — извлечь из этого максимум пользы для себя, действуя разумно и ответственно.

— Но позвольте! — Диэрри был несказанно доволен

собственным острым умом и умением следить за ходом беседы. — Вы же только что утверждали, что в вашей системе Одновременности НЕ СУЩЕСТВУЕТ ни прошлого, ни будущего — только некое вечное настоящее. Так как же можно быть ответственным за ту книгу, которая уже написана? Вы можете только прочитать ее и ничего больше! У вас нет ни выбора, ни свободы действия.

— Вы правы, такова основная дилемма детерминизма. И это является имплицитным для системы Одновременности. Однако классическая теория также имеет свои, в том числе и деструктивные дилеммы. Примерно как в той дурацкой истории о камне и дереве, в которое вы бросаетесь камнями. Если вы сторонник Одновременности, то камень уже попал в дерево, а если вы «классицист», то есть сторонник последовательности действий, то он никогда не сможет в него попасть... Что вы предпочтете? Возможно, вы предпочитаете бросать камни, не задумываясь, не делая выбора. Я же предпочитаю трудные пути, так что не могу отказаться ни от одной из этих теорий.

— Но как... как их соединить? — вырвалось у застенчивого.

От отчаяния Шевек чуть не рассмеялся ему в лицо.

— Не знаю! Я над этим всю жизнь бьюсь. Ведь в конце концов камень-то в дерево все-таки попадает. И ни классическая физика, ни теория квантового перехода, ни теория Одновременности этого не объясняют. Нам нужна не чистота теории, а ее комплексность, сложность. Нам нужно признать взаимосвязанность причины и следствия, средства и цели. Наша космологическая модель должна быть столь же бесконечной и неистощимой, как и сам космос. И в эту комплексную модель должен быть включен не только момент непрерывности, но и момент созидания, не только геометрия, но и этика. Мы стремимся не столько получить конкретный ответ, сколько хотим узнать: как правильно задать вопрос...

— Все это прекрасно, однако промышленности нужны именно конкретные ответы, — сказал Диэрри.

Шевек медленно повернулся, посмотрел на него сверху вниз и ничего не сказал.

Повисло тяжелое молчание, которое, как всегда, поспешила нарушить Веа, изящно и непоследовательно изменив тему разговора и вернувшись к светской болтовне о

возможностях предсказания будущего. Все тут же оживленно принялись рассказывать случаи из собственной жизни, истории о встречах с ясновидцами и предсказателями судьбы.

Шевек в этом разговоре участия не принимал. Он решил вообще больше не отвечать ни на один серьезный вопрос. И еще его почему-то мучила ужасная жажда. Он с удовольствием позволил официанту наполнить его бокал и залпом выпил приятный пузырящийся напиток. Потом, пытаясь успокоиться и снять напряжение, принялся разглядывать гостей. Все кругом вели себя чрезвычайно эмоционально, что было довольно странно для йоти — кричали, громко смеялись, перебивали друг друга. Одна парочка предавалась практически у всех на виду совершенно бесстыдным ласкам. Шевек с отвращением отвернулся. Неужели они настолько эгоистичны? Ласкать друг друга и совокупляться на глазах у тех, кто лишен пары, считалось на Анарресе столь же непристойным и вульгарным, как есть на глазах у голодных и не делиться с ними. Он прислушался к разговору своих прежних собеседников. Теперь с предсказаний судьбы они переключились на политику — спорили о войне, о том, что предпримут дальше Тху и А-Йо, что решит Совет Государств Планеты и так далее.

— Почему вы всегда говорите об этом конфликте так абстрактно? — спросил он внезапно, сам себе удивляясь: ведь он решил ни в какие разговоры больше не вступать. — Ведь это не просто названия государств — это живые люди, которые убивают друг друга. Почему на эту войну отправляют солдат? Почему вообще человек идет убивать незнакомых ему людей?

— Но ведь солдаты и существуют для того, чтобы убивать, — заметила маленькая блондинка, присоединившаяся к прежней компании. В пупке ее переливался радужными красками опал. Несколько мужчин тут же принялись объяснять Шевеку принцип национального суверенитета. Веа вмешалась:

— Господа, дайте же ему сказать! А как бы вы, доктор Шевек, разрешили эту дурацкую проблему?

— Эту «дурацкую» проблему решить очень просто, и решение ее буквально у вас под носом.

— Вот как? И в чем же оно заключается?

— В том, как мы строим свои отношения на Анарресе.

— Но то, что вы делаете у себя на луне, отнюдь не панацея от наших здешних проблем.

— Человеческие проблемы везде одинаковы. Человеку нужно выжить. Как виду, как группе существ, как индивиду.

— Но национальная самооборона... — выкрикнул кто-то.

С ним яростно спорили, он не сдавался. Он прекрасно знал, что именно хочет сказать, и понимал, что такие аргументы должны убедить любого. Но почему-то ему никак не удавалось выразить эти аргументы с помощью слов. Вокруг стоял дикий шум, все практически кричали. Маленькая блондинка приглашающе похлопала ладонью по широкому подлокотнику кресла, в котором сидела, и Шевек охотно присел с нею рядом. Ее бритая шелковистая на ощупь головка тут же просунулась ему под руку.

— Ну что, человек с луны, как дела? — спросила она.

Веа, время от времени отходившая к другим гостям, сейчас снова вернулась. Он видел, что лицо ее разрумянилось, а огромные темные глаза влажно блестят. Потом вдруг ему показалось, что на противоположном конце огромной гостиной мелькнул Пае, но потом все лица снова слились в некое беспорядочное мелькание. Все вокруг как бы не имело ни начала, ни конца, происходило как бы урывками, со странными паузами-пустотами внутри, ему точно позволили наблюдать за воплощением в жизнь гениальной гипотезы старой Граваб о цикличности космоса.

— Необходимо поддерживать принцип законного правления обществом, иначе все мы скатимся в болото элементарной анархии! — гремел какой-то насупленный толстяк.

— А вы попробуйте — скатитесь! Ничего страшного. Мы уже полтораста лет существуем в этом «болоте» и прекрасно себя чувствуем, — спокойно заметил ему Шевек.

Блондинка кокетливо высунула изящную ножку в серебряной открытой туфельке на высоком каблуке из-под платья, расшитого по подолу множеством жемчужинок.

— Нет, вы нам расскажите, как вы в действительности чувствуете себя на вашем Анарресе? — попросила Веа. — Неужели там действительно так чудесно?

Она примостилась на подушке у самых его колен, ее нежные обнаженные груди смотрели прямо ему в лицо своими невидящими глазами сосков, алые губы соблазнительно улыбались.

Что-то темное шевельнулось в душе Шевека, все вокруг

будто на мгновение померкло. Он снова ощутил страшную жажду, во рту пересохло. Он сделал несколько больших глотков из бокала, только что услужливо наполненного официантом.

— Не знаю, что вам о нем рассказать, — проговорил он с трудом, язык еле ворочался во рту. — Нет, конечно же, там не «чудесно». Это довольно безобразная планета. Совсем не такая, как ваша. Анаррес — это сплошная пыль и мертвые бесплодные холмы. Все, что там растет, очень сухое, бледное. И люди не слишком красивы. У них такие же большие руки и ноги, как у меня или вон того официанта. Но зато там никто не страдает ожирением. Мыться из-за обилия пыли и тяжелой работы приходится каждый день и всем вместе — у нас мало воды. Никто здесь не моется вместе с другими... Города у нас небольшие и довольно скучные. Разумеется, никаких дворцов. Жизнь в общем тяжела и довольно монотонна. И не всегда можно получить то, что хочешь, или даже самое необходимое, потому что всего вечно не хватает. У вас, на Уррасе, всего более чем достаточно. Достаточно воздуха, достаточно осадков, много травы, огромные океаны, сколько угодно еды, прекрасная музыка и здания, множество фабрик и самых различных машин, всем можно иметь сколько угодно книг и одежды. У вас даже история чрезвычайно богата... У вас есть все. Мы же бедны. Мы не имеем и никогда не будем иметь того, что есть здесь. А здесь все прекрасно. Кроме человеческих лиц. Зато на Анарресе очень мало красивого, но человеческие лица поистине прекрасны! Лица женщин и мужчин, лица детей. У нас нет практически ничего — только мы сами. Здесь все затмевает блеск драгоценностей и пестрота нарядов, там вы видите в первую очередь глаза! Прекрасные глаза людей, и в них — великолепие человеческого духа. Потому что у нас люди свободны, а здесь... Ведь вы, обладая собственностью, сами же находитесь в ее власти. Вы сами заключили себя в тюрьму. Каждый запрется в своей темнице вместе с грудой того, чем он владеет. Вы живете в этой тюрьме, умираете в ней... И в ваших глазах я вижу только одно: стены, стены кругом!

Все молча смотрели на него.

Его голос гулко разносился в полной тишине. Он почувствовал вдруг, как горят его уши... Потом почувствовал

внутри себя какую-то пустоту, уже знакомое темное чувство вновь шевельнулось в его душе...

— Мне что-то душно, — сказал он и встал. Веа тут же взяла его под руку и, чуть усмехаясь, повлекла куда-то. Он послушно позволил ей себя увести. Уши больше не горели, он чувствовал, что, должно быть, очень бледен теперь. Дурнота не проходила, и он очень надеялся, что Веа приведет его в ванную комнату или хотя бы к окну, где можно вдохнуть свежего воздуха. Однако они оказались в какой-то просторной и темноватой комнате, видимо, спальне. У одной стены громоздилось пышное белое ложе, стену напротив почти всю занимало зеркало. Приятно пахло свежим бельем, духами, еще чем-то интимным...

— Вы несносны, вы слишком много пьете, — сказала Веа. Она стояла совсем близко и смотрела ему прямо в глаза. Потом снова чуть усмехнулась, глаза ее блеснули в полутьме. — Ну да, несносны! Вы невозможны, вы потрясающе им ответили! Ах, какие у них были лица! Пожалуй, я вас за это поцелую. — Она привстала на цыпочки и потянулась к нему губами; перед глазами Шевека была ее белоснежная шея, обнаженная грудь... Он крепко обнял ее и страстно поцеловал в губы, с силой запрокинув ей голову, потом стал целовать горло, грудь... Веа сперва обмякла, тело ее словно вдруг лишилось костей, она повисла у него в руках, потом вздрогнула, засмеялась и стала потихоньку отталкивать его.

— Ох, нет!.. Нет, не надо, возьмите себя в руки... Ну хватит, довольно, нам же нужно вернуться к гостям. Нет, Шевек, успокойтесь же! Это совсем никуда не годится!

На ее лепет он даже не отвечал. Он упорно тащил ее к белоснежной постели в глубине комнаты, и она шла, хотя и продолжала что-то говорить. Одной рукой прижимая к себе Веа, другой он пытался справиться с той невероятно сложной одеждой, что была на нем, и наконец ему как-то удалось расстегнуть штаны. Теперь задачей номер два оказалось платье Веа; казалось, ее юбка едва держится на бедрах, однако расстегнуть тугой пояс он не сумел.

— Ну все, хватит! — сердито сказала она. — Послушайте, Шевек, так не делают. Не сейчас, отпустите меня. Я ведь даже противозачаточную пилюлю не приняла. У меня могут быть неприятности. Тем более мой муж возвращается только через две недели! Да отпустите же меня, нако-

нец! — Но уже он не мог отпустить ее. Он льнул к этой нежной надушенной плоти, чуть влажной от волнения. — Послушайте, Шевек, вы испортите мне платье, будет неудобно перед гостями... Ради бога, Шевек! Погодите... Ну хорошо, подождите немного, мы все устроим, назначим подходящее место и встретимся... Здесь нельзя, я должна заботиться о своей репутации, а горничной я не доверяю... Если вы подождете немного... Не сейчас, Шевек! Не сейчас! Не сейчас! — Она изо всех сил оттолкнула его, испуганная этой неукротимой настойчивостью, он чуть отстранился, несколько смутившись, но остановиться уже не мог, а ее сопротивление и непритворный испуг лишь распалили его. Он резко прижал ее к себе, и семя его выплеснулось прямо на белый шелк ее платья.

— Отпустите же меня! Отпустите! — Она повторяла это пронзительным, свистящим шепотом, пока он действительно ее не выпустил. Голова у него шла кругом. Он тщетно пытался привести в порядок свои штаны.

— Я... Простите, Веа! Мне очень жаль... Я думал, вы хотите...

— Боже мой! — Веа с отвращением смотрела на свою юбку. — Какая гадость! Вот уж, право... Теперь мне придется переодеться!

Шевек застыл, хватая ртом воздух, руки висели как плети. Потом он вдруг резко повернулся и бросился вон из полутемной спальни. Снова оказавшись в ярко освещенной гостиной, где веселье было в разгаре, он стал пробираться к выходу, споткнулся о чью-то ногу и понял, что путь ему безнадежно преграждают бесконечные тела, дорогие одежды, блеск драгоценностей, обнаженные женские груди, сияние огней, громоздкая мебель... Он налетел на стол, посреди которого стояло огромное серебряное блюдо с изысканными лакомствами, разложенными концентрическими кругами. Увидев все эти яства, Шевек задохнулся, попытался глотнуть воздуха, согнулся пополам, и его вырвало прямо на блюдо.

— Я отвезу его домой, — сказал Пае.

— Пожалуйста, отвезите его куда угодно! — Веа была раздражена. — А что, вам пришлось его искать, Сайо?

— Совсем немного. К счастью, Димере догадался позвонить вам.

— Он будет счастлив увидеть вас, когда очнется.

— Ничего. Пока что с ним хлопот не будет. В холле он совсем отключился. Можно мне позвонить от вас?

— Разумеется. И передайте мой горячий привет вашему шефу! — засмеялась Веа.

Ойи приехал за Шевеком к сестре вместе с Пае. Сейчас они сидели рядом на среднем сиденье огромного правительственного лимузина, который Пае всегда мог вызвать в случае надобности — на нем они прошлым летом везли из космопорта Шевека. В данный же момент Шевек лежал бесформенной грудой на заднем сиденье.

— Он весь день пробыл в обществе твоей сестры? — спросил Пае.

— Во всяком случае, с полудня.

— Слава богу!

— Ну что ты так боишься, что он забредет в трущобы? Они там, на Анарресе, совершенно убеждены, что у нас чуть ли не рабство, полно людей, получающих нищенскую зарплату, и так далее. Да пусть он видит все, что хочет!

— Мне наплевать, что он увидит. Нельзя допустить, чтобы увидели его. Ты в последнее время в эти паршивые газетенки заглядывал? А листовки в Старом Городе видел? Насчет «гонца», «предвестника» и тому подобного? Они все цитируют тот известный миф «О гонце, что приходит, опережая свое тысячелетие» — об изгое, что «несет в пустых руках грядущее время». Этим проклятым сбродом в очередной раз овладели апокалиптические настроения. Ищут себе предводителя. Катализатор активности. Ширятся слухи о всеобщей забастовке. Нет, они никогда и ничему не научатся! Мало их учили, видно. Всех этих чертовых мятежников надо послать драться с Тху — только так от них будет какая-то польза.

Оба умолкли, и больше до конца поездки ни один не сказал ни слова.

Ночной сторож помог им перенести Шевека из машины в его комнаты. Когда его швырнули на кровать, он тут же снова захрапел.

Ойи чуть задержался, чтобы снять с Шевека туфли и укрыть его одеялом. Дыхание пьяного было настолько зловонным, что Ойи отшатнулся. В душе его боролись любовь к этому человеку, отвращение и страх. Нахмурившись, он проворчал: «Вот еще кретин чертов!», выключил свет и

вышел в соседнюю комнату. Пае стоял у письменного стола, просматривая записи Шевека.

— Оставь! — бросил Ойи, на лице его появилось еще более брезгливое выражение. — Пошли. Уже два часа ночи! Я еле на ногах держусь.

— Слушай, Димере, — удивленно глянул на него Ойи, — здесь же абсолютно ничего нет! Чем же этот ублюдок занимался все это время? Неужели он просто мошенник? Да этот «простодушный крестьянин» из чертовой «Утопии» всех нас вокруг пальца обвел! Где его великая Теория? И когда мы сможем решить проблему нуль-транспортировки и утереть нос этим хайнцам? Девять, нет, десять месяцев мы этого ублюдка холим и лелеем, а проку от него никакого! — И все-таки один из листков Пае сунул в карман, прежде чем последовать за Ойи к двери.

Глава 8

АНАРРЕС

Они собрались на стадионе Северного парка, все шестеро; над городом в лучах заходящего солнца золотились клубы пыли, и плыла жара. У всех в желудках была приятная тяжесть сытной и вкусной еды — это был праздник середины лета, День Восстания (в честь первого крупного мятежа в Нио Эссейе в 740 году), и повсюду на улицах, прямо на открытом огне, готовили угощение. Надо сказать, угостились они не раз. Повара и работники столовых в этот день пользовались особым почетом — ведь именно они и начали два века назад ту забастовку, которая в итоге привела к восстанию. Таких традиций и праздников на Анарресе было много, некоторые установили еще первые поселенцы, а другие, вроде Праздника сбора урожая или дня летнего Солнцестояния, возникли спонтанно, в соответствии с ритмом жизни, установившимся на планете, среди тех, кто, работая вместе, вместе и веселился.

Шестеро друзей, разумеется, устроили дискуссию, довольно бессвязную, впрочем, и только Таквер была чрезвычайно бодра и рассуждала разумно; она съела неимоверное количество жареных пирожков и маринованных овощей, несколько часов подряд танцевала, однако это пошло ей только на пользу.

— Вот скажите, почему Квигот получил назначение на рыбозаводы Керанского моря? Ведь там ему придется все начинать сызнова! А Туриб между тем осталась здесь. — С тех пор как ее собственный исследовательский проект слили с проектом, находившимся под опекой непосредственно Координационного Совета, Таквер стала ревностной поклонницей многих идей Бедапа. — А все потому, что Квигот — хороший биолог, умница, который просто не согласен с дурацкими теориями Симаса, а Туриб — ничтожество, пустышка, зато умеет отлично потереть Симасу спинку в купальне! Я вам гарантирую, что именно Туриб станет руководить всей программой, когда Симас уйдет на пенсию! Пари готова держать!

— А что это такое? — спросил кто-то лениво — приятели Таквер были не слишком готовы сейчас к дискуссии по социальным проблемам.

Только Бедап, который в последнее время несколько растолстел, усердно бегал трусцой по дорожке стадиона, а остальные и не думали заниматься спортом: сидели на пыльной скамье под деревьями и болтали.

— Это слово йотик, — пояснил Шевек. — Уррасти любят играть в эту игру. Тот, кто угадывает верно возможный результат чего-либо, получает собственность проигравшего. — Шевек давно уже перестал соблюдать запрет Сабула, и все его друзья знали, что он изучал йотик.

— А как же это слово попало в наш язык? — спросил кто-то.

— Это все первые переселенцы. Они вынуждены были учить правик уже взрослыми, а думали по-прежнему на старом языке. Ведь и выражение «черт побери!» в словаре правик отсутствует. Это тоже слово йоти. Фаригв, изобретая наш язык, никаких ругательств не придумал, а может, его компьютеры просто не поняли, в чем необходимость подобных выражений.

— А вот что такое, например, «ад»? — спросила Таквер. — Я всегда считала, что это фабрика по переработке фекалий в том городке, где я выросла. Честное слово! По-моему, выражение «пошел к черту», то есть в «ад», означает, что тебя посылают в самое плохое место, какое только может быть на свете.

Дезар, который уже получил постоянное назначение на работу в Институте, однако по-прежнему вертелся возле Шевека, хотя Таквер сторонился и разговаривал с ней редко, сказал, как всегда, чрезвычайно кратко:

— То есть на Уррас.

— Ничего подобного. На Уррасе тебя посылают к черту, когда проклянут.

— Ад — это назначение на все лето в юго-западные пустыни, — сказал Террус, эколог, старый друг Таквер. — А в йотик это связано с религиозными представлениями уррасти. Шев, неужели тебе так уж необходимо читать их труды по религии?

— Некоторые из старых физиков Урраса строили свои теории исключительно по религиозной модели, — откликнулся Шевек. — Такие концепции и сейчас еще в ходу. А вообще-то «ад» означает «обитель абсолютного Зла».

— Ну точно! Фабрика по переработке дерьма в Круглой Долине! — сказала Таквер. — Я так и думала.

Подбежал запыхавшийся Бедап, совершенно белый от пыли. Ручейки пота проложили в пыли дорожки. Бедап тяжело плюхнулся рядом с Шевеком и шумно выдохнул воздух.

— Скажи что-нибудь на йотик, — попросил Ришат, один из студентов Шевека. — Как он, интересно, звучит?

— Ты же знаешь. «Иди к черту!», «черт побери!»...

— Ну хватит ругаться в присутствии дамы! — притворно возмутилась Таквер. — Скажи целое приличное предложение.

Шевек добродушно улыбнулся и произнес нечто довольно длинное.

— Я не совсем, правда, уверен в произношении, — прибавил он. — Только догадываюсь, как должно быть.

— А что это ты сказал?

— «Если то, что время «проходит», является свойством человеческого сознания, то прошлое и будущее — это функции нашего разума». Это цитата. Из работы Керемхо, предтечи классической теории.

— Как странно, что мы порой не можем понять точно таких же, как мы, людей, потому что они говорят на другом языке.

— Эти люди даже на своей планете друг друга понять не

могут. И вообще у них там сотни различных языков в этих их бесконечных государствах...

— Ох, воды бы мне сейчас! Напиться бы вдоволь! — все еще тяжело дыша простонал Бедап.

— Нет воды. И похоже, долго еще не будет, — серьезно ответил ему Террус. — Дождей не было уже восемнадцать декад, точнее, 183 дня! Самая длительная засуха в долине Аббеная за последние сорок лет.

— Если так будет продолжаться, чего доброго, придется очищать и пить собственную мочу, как это делали в 20-м году. Эй, Шев, не угодно ли стаканчик «писки»?

— Ты не шути, — сказал Террус. — Мы ведь буквально на ниточке сейчас висим. Будет ли еще дождь? Листовые культуры в Южном Поселении уже погибли. Там тридцать декад дождей не выпадало.

Все дружно посмотрели в затянутое золотистой дымкой небо. Зубчатые листья на деревьях, под которыми они сидели, привезенных из Старого Мира, поникли и свернулись в трубочки.

— Не будет второй Засухи! — сказал Дезар. — Предотвратят! Используют современные опресняющие растения.

— Ими можно только смягчить последствия засухи, — мягко возразил Террус. — Но не предотвратить ее.

Зима в тот год наступила рано, холодная и бесснежная. Широкие улицы Аббеная были покрыты замерзшей пылью; низкие дома будто припали к земле. Вода для мытья отмерялась чрезвычайно строго: гораздо существеннее было удовлетворить жажду и голод. Двадцать миллионов жителей Анарреса одевало и кормило дерево-холум, точнее, его многочисленные разновидности, у которых использовалось все: листья, древесина, семена, клубневидные корни. В мастерских и на складах имелся некоторый запас тканей из волокна холум, однако достаточных запасов пищи на Анарресе не было никогда. Сейчас каждую каплю воды старались отдать земле, чтобы поддержать жизнь растений. Небо над столицей было безоблачным, однако его скрывала мрачная пелена — ветер поднимал в воздух тучи пыли, принося ее из более засушливых районов юга и запада. Лишь иногда, когда ветер дул с севера, с гор Не Те-

рас, желтая мгла рассеивалась и проглядывало холодное ярко-синее небо, в зените имевшее фиолетовый оттенок.

Таквер была беременна. Чаще всего она чувствовала себя неплохо, была добродушной, хотя и немного сонной.

— Я рыба, — говорила она. — Я рыба в воде. И я внутри того младенца, который во мне.

Но иногда она слишком уставала на работе. К тому же ей постоянно хотелось есть, поскольку порции в столовых были несколько урезаны в связи с засухой. Правда, беременные женщины, дети и старики ежедневно получали небольшую добавку к рациону — второй завтрак в 11 часов утра, — но Таквер часто пропускала его из-за жесткого графика работы в лаборатории. Она могла пропустить завтрак, но покормить рыб в аквариумах должна была обязательно. Друзья часто приносили ей что-то, специально сэкономленное за обедом — банку супа, несколько ломтиков консервированных фруктов, — и она все это съедала с благодарностью, не переставая, однако, мечтать о сладком, но сладкого на Анарресе, тем более сейчас, особенно не хватало. Переутомившись на работе, Таквер становилась беспокойной, легко огорчалась по пустякам или же вдруг вспыхивала ни с того ни с сего как спичка.

Поздней осенью Шевек закончил «Принципы Одновременности» и передал рукопись Сабулу, одобрение которого было необходимо для того, чтобы книгу издали. Десять, двадцать, тридцать дней Сабул о рукописи молчал, а на вопросы Шевека отвечал, что у него не хватает времени и он никак не соберется ее прочесть. Шевек ждал. Прошло ползимы. Каждый день продолжали дуть сухие холодные ветры, земля промерзла насквозь. Казалось, вся жизнь вокруг замерла, застыла, безнадежно ожидая дождя, тепла, возрождения...

В комнате было темно. На улицах только-только зажглись огни, слабо мерцая под тяжелым темно-серым куполом небес. Войдя в дом, Таквер зажгла свет и присела прямо в пальто у электрокамина.

— Ух, как я замерзла! Ужас! Ноги просто окоченели, точно я босиком по льду шла. Я прямо чуть не заплакала — так больно было, еле добралась. Проклятые спекулянтские ботинки! Неужели у нас не могут делать нормальную обувь? А ты чего в темноте сидишь?

— Не знаю.

— Ты обедал? Я немного перекусила в Льготной по дороге домой. Пришлось задержаться — у кукури вот-вот должны были вылупиться мальки, а их обязательно нужно сразу отделять от взрослых особей, пока те малышей не сожрали. Нет, ты скажи мне, ты хоть что-нибудь ел?

— Нет.

— Перестань. Ну, пожалуйста, не будь сегодня таким! Иначе я просто разревусь, а меня уже и так от собственных слез тошнит. Чертовы гормоны! Жаль, что мы не размножаемся, как рыбы, а как было бы хорошо: отложил икру и плыви куда хочешь! А то еще можно вернуться и собственными детенышами пообедать... Ну хватит, Шев, не сиди с мертвым лицом. Не могу я, когда у тебя такие глаза! — Таквер уже чуть не плакала. Она по-прежнему сидела, скорчившись, у камина и тщетно пыталась расшнуровать ботинки негнущимися, замерзшими пальцами.

Шевек молчал.

— Слушай, в чем дело? Ну что ты все молчишь?

— Сегодня меня пригласил наконец Сабул, — сказал Шевек равнодушным тоном. — Он отказывается рекомендовать «Принципы» — ни к печати, ни на экспорт.

Таквер оставила свою бесполезную борьбу со шнурками и минутку посидела спокойно. Потом оглянулась на Шевека через плечо и осторожно спросила:

— Что именно он сказал?

— Его замечания на столе.

Она встала, прошаркала в одном ботинке к столу и стала читать себе под нос лежавший поверх остальных бумаг листок, засунув руки поглубже в карманы:

— Так... «Классическая теория всегда являлась столбовой дорогой для развития хронософии... ее принципы признаны всем одонийским обществом со времен Заселения... Самолюбование и эгоизм... проявившиеся в отказе от этих принципов, могут привести лишь к бессмысленному накручиванию одной бесплодной гипотезы на другую... или же к повторению некоторых религиозно-спекулятивных теорий, созданных продажными псевдоучеными государств Урраса...» Сам ты продажная тварь! — не выдержала Таквер. — Ах ты дрянь! Узколобый завистливый краснобай, спекулирующий идеями Одо! Неужели он пошлет этот отзыв в Издательский синдикат?

— Уже послал.

Таквер снова опустилась на пол и принялась яростно бороться со вторым ботинком, время от времени поглядывая на Шевека. Однако к нему она так и не подошла, не попыталась его хотя бы коснуться, она вообще некоторое время молчала, а когда заговорила, в голосе ее уже не было ни слез, ни возмущения. Он звучал как обычно — ласково, глуховато, как бы с затаенным мурлыканьем.

— Что ты будешь делать, Шев?

— Ничего тут не поделаешь.

— Нет, мы эту книгу непременно напечатаем! Создадим свой синдикат, научимся набирать и так далее, и все сделаем сами.

— Бумага выдается по минимуму. Только на то, что имеет «жизненно важное значение» — решение Координационного Совета, пока не будет ясно, что плантации деревьев-холум спасены.

— А нельзя ли как-то замаскировать твою работу? Немножко завуалировать истинный смысл выводов, украсить «фестончиками» из классической физики... Чтобы ее все-таки пропустили, а?

— Невозможно. Нельзя черное выдать за белое.

Она не стала спрашивать насчет обходных путей, возможностей опубликовать работу через голову Сабула. Для анаррести это было бы вопиющим нарушением законов этики. Да и не было никаких обходных путей. Не можешь работать вместе со всеми — работай один.

— А что, если... — Она нерешительно умолкла. Встала, подошла к камину и прислонила к нему снятые наконец совершенно ледяные ботинки. Потом сняла пальто, аккуратно повесила его, накинула на плечи тяжелую, ручной работы шаль и, охнув тихонько, присела на краешек кровати. Посидев немного, она подняла глаза на Шевека. Тот продолжал сидеть в прежней позе — к ней боком, профиль его четко вырисовывался на фоне окна. — А что, если, — снова заговорила Таквер, — предложить ему подписать эту работу в качестве твоего соавтора? Как ту, самую первую?

— Сабул не поставит свою подпись под «повторением религиозно-спекулятивных теорий».

— Ты уверен? А по-моему, именно этого он и добивается. Он же понимает, ЧТО ты создал! Ты и сам всегда говорил, что он тщеславен. Он знает, что «Принципы» подрывают основы классической теории и способны все его собственные работы отправить в мусорный ящик. Но если бы он мог разделить с тобой славу первооткрывателя... Для него ведь существует только собственное «я»! Если бы он всюду мог говорить, что это его книга...

— Я уж скорей разделю с ним тебя, — с горечью возразил Шевек.

— А ты попробуй посмотреть на это иначе, Шев. Ведь главное — это сама твоя работа, твои идеи. Вот послушай: мы с тобой хотим родить ребенка, мы уже любим его, мы намерены сами воспитывать малыша, но если вдруг окажется, что по какой-то причине его нельзя будет оставить с нами, если он непременно умрет дома и сможет выжить только в больнице, если для его спасения потребуется его отдать и никогда больше его не видеть, даже имени его не знать... Если бы перед нами стоял такой выбор, что бы ты предпочел? Оставить его у себя и дать ему умереть или расстаться с ним — и позволить ему жить?

— Не знаю, — сказал он и уронил голову на руки. Потом встрепенулся и яростно потер виски. — Да, разумеется... Да. Но это... но я...

— Родной мой, — Таквер стиснула на коленях руки, но до него так и не дотронулась, — не имеет значения, чье имя будет на обложке. Люди поймут. Главное — сама книга.

— Но «Принципы» — это все равно, что я сам. — Он закрыл глаза и застыл, точно мертвый. И тут она все же подошла к нему и коснулась его — так легко и нежно, точно под руками у нее была открытая рана.

В начале 164-го года первое — сокращенное и коренным образом измененное — издание «Принципов Одновременности» увидело свет в Аббенае; авторами значились Сабул и Шевек. Координационный Совет по-прежнему разрешал печатать только самую необходимую информацию, однако Сабулу, имевшему влияние в издательских кругах, удалось убедить Совет в чрезвычайной пропагандистской ценности данной книги, особенно за границей. Уррас, сказал он, процветает, тогда как на Анарресе царят засуха и голод. Доставленные оттуда периодические издания полны ужасающих пророчеств относительно скорого и неизбежного краха одонийской экономики. Разве есть лучший способ противостоять этим утверждениям, чем публикация работы чисто теоретической, доказывающей, что есть еще порох в пороховнице? «Этот величественный

монумент чистой науки, — писал Сабул в своей новой рецензии, — парит над проблемами материальной вражды и выгоды, доказывая несомненную жизнеспособность одонийского общества и его абсолютную победу над иерархическим обществом собственников».

Итак, работа была опубликована в соавторстве с Сабулом, и пятнадцать ее экземпляров (из трехсот) отправились на грузовом корабле «Старательный» на планету Уррас, в государство А-Йо. Шевек изданную книжку даже не открыл. Однако в подготовленный к отсылке на Уррас пакет вложил копию полного варианта собственной рукописи и на первой странице приписал просьбу — передать рукопись доктору Атро с физического факультета Университета Йе Юн с наилучшими пожеланиями от автора. Он знал, что Сабул, который давал окончательное «добро» всему пакету, не мог не заметить этого дополнения; он мог беспрепятственно конфисковать рукопись, мог ее пропустить, понимая, что «кастрированная» им книга никогда не произведет на физиков Урраса должного эффекта. Он ничего не сказал Шевеку о судьбе рукописи, а тот ни о чем его не спросил.

В ту весну Шевек вообще был исключительно неразговорчив. Он добровольно согласился принимать участие в строительстве нового водоочистительного предприятия на южной окраине Аббеная и либо целыми днями пропадал там, либо занимался со студентами. Кроме того, он снова занялся исследованием субатомных структур, часто работая вечерами на институтском ускорителе или в лабораториях. В присутствии Таквер и друзей он был тих, спокоен и холоден.

Таквер вот-вот должна была родить — живот у нее стал огромным, ходила она вразвалку, точно неся перед собой огромную тяжелую корзину с бельем. Но работы в лаборатории не оставила, пока не подыскала подходящую замену и не обучила всему, что считала необходимым. В первое же утро, когда она, сдав наконец дела, отправилась домой, чтобы немного отдохнуть, у нее начались схватки. Почти на две недели позже срока. Несколько часов она пролежала одна — Шевек вернулся лишь к вечеру.

— Можешь сходить за акушеркой, — спокойно сообщила ему Таквер. — Скажи, что схватки следуют примерно минут через пять, но пока довольно ровно. Бегом не беги — ничего страшного, успеешь.

Но он побежал, и, когда акушерки на месте не оказалось, его охватила настоящая паника. Терапевта тоже почему-то не было, и ни один из них даже записки не оставил на двери кабинета, как обычно, чтобы можно было их как-то отыскать. Сердце бешено забилось у Шевека в груди: он вдруг с ужасающей ясностью увидел все события последнего времени и свою роль в них. Отсутствие медицинской помощи было наказанием — ему, ибо он совсем отдалился от Таквер за эту зиму, после решения напечатать книгу в соавторстве с Сабулом. Он бросил Таквер в таком положении, а она... становилась все более тихой, какой-то пассивной... Очень терпеливой. Теперь он понимал почему: это она готовилась к смерти! Она сама отошла в сторону, чтобы не мешать ему, а он даже попытки не сделал последовать за нею! Его заботило только собственное горе, собственное разочарование, но никогда — ее страхи, ее мужественная борьба за будущего ребенка. Он сам бросил ее — он хотел, чтобы все оставили его в покое! — и вот теперь она уходит, уже ушла... слишком далеко, чтобы он мог догнать ее... и уйдет еще дальше, одна, навсегда...

В районную больницу он примчался настолько запыхавшимся и обессиленным, что там сперва решили, что у него плохо с сердцем. Он объяснил, в чем дело, и они тут же послали за акушеркой, а ему велели идти домой, поскольку роженицу нехорошо оставлять одну. Он бежал, и с каждым шагом в нем рос ужас, уверенность в том, что он потеряет Таквер.

Однако, влетев в дом, он не смог даже упасть перед ней на колени и попросить прощения: у Таквер не было ни сил, ни времени на эмоциональные сцены — она уже успела все снять с постели, постелила чистую простыню и вовсю трудилась, рожая их дочь. Она не кричала, не выла, не плакала, словно ей и не было больно: она работала. Как только наступала очередная схватка, а они теперь шли очень часто, она старалась не напрягаться и дышать правильно, а когда боль отпускала, издавала громкое удовлетворенное «уфф!», точно только что неимоверным усилием подняла что-то очень тяжелое. Шевек никогда не видел, чтобы какая-нибудь работа требовала от человека столь интенсивного напряжения души и тела.

И естественно, ему очень хотелось помочь Таквер. Он крепко держал ее за руки и тянул на себя, когда Таквер подавала ему соответствующий знак, они довольно быстро приспособились делать это, когда начались потуги, и за этим занятием их застала прибежавшая акушерка. Таквер так и родила — присев на корточки, прижавшись лицом к бедру Шевека и крепко держась руками за его сомкнутые замком руки.

— Ну вот и все! — негромко сказала акушерка под тяжкое, точно работа парового молота, дыхание Таквер, держа на руках покрытое слизью, крошечное, но все же самое настоящее человеческое существо. За ребенком на пол вылилась целая лужа крови и выпало что-то еще — ужасное, аморфное, неживое, и ужас, который Шевек успел уже позабыть, охватил его с удвоенной силой. Ему казалось, он видит перед собой смерть. Таквер отпустила его руки и сползла, совершенно обессиленная, к его ногам. Он склонился над нею, окаменев от ужаса и горя.

— Ага, это хорошо! — сказала почему-то акушерка. — Не стой. Помоги-ка перенести ее на постель, а я все это уберу.

— Я хочу вымыться, — послышался слабый голос Таквер.

— Вот-вот, помоги ей привести себя в порядок, — посоветовала Шевеку акушерка. — Вон стерильные полотенца... вон те.

— Уа-уа-уа, — сказал вдруг рядом кто-то еще.

Шевеку показалось, что в комнате стало очень людно.

— Ну обмыл ее? Ладно, хватит, — остановила его акушерка. — Возьми-ка малышку — пусть мать приложит ее к груди. И девочке полезно, и кровотечение остановить поможет. А я пока быстренько отнесу плаценту в больницу, суну в холодильник и сразу вернусь, минут через десять, не больше.

— А где же... Где...

— Да в колыбели, — бросила акушерка, уже выходя за дверь, и Шевек с изумлением обнаружил рядом очень маленькую кроватку, вспомнив, что на самом деле ее приготовили уже давно, больше месяца назад. Девочка была там. Каким-то немыслимым образом во всей этой суете акушерка успела не только обмыть ребенка, но и одеть в чистую распашонку и запеленать, и теперь малышка уже совсем не была похожа на покрытую слизью рыбину. Смеркалось, причем удивительно быстро — как все, что происходило сегодня. Уже во всех окнах горел свет. Шевек взял на руки дочь, личико у нее было невероятно маленьким, с нежными, почти прозрачными сомкнутыми веками...

— Давай-ка мне малыша, — сказала Таквер. — Ой, ну пожалуйста, Шев, давай скорее!

Он пронес ребенка через всю комнату и очень осторожно опустил в объятия Таквер.

— Ах! — вырвалось у нее. Это был тихий вздох облегчения после честно одержанной победы.

— Кто у нас? — сонно спросила Таквер через некоторое время.

Шевек сидел рядом, на краешке кровати, и смотрел на ребенка, смущенный крошечными ручками и ножками и совершенно обалдевший.

— Девочка.

Вскоре вернулась акушерка и занялась наведением порядка в комнате.

— Вы оба просто молодцы! — похвалила она их. — Отлично со всем справились! — Они молча восприняли эту похвалу. Шевек потупился. — Я завтра утречком забегу, — пообещала акушерка и ушла. Девочка и Таквер уснули. Шевек положил голову на подушку рядом с Таквер и ощутил знакомый, чуть мускусный запах ее кожи. Но сейчас к этому запаху примешивалось что-то еще, какое-то нежное благоухание... Таквер спала на боку, прижав девочку к груди. Очень нежно Шевек обнял ее и, окутанный этим ароматом жизни, тоже заснул.

Одониец имел к моногамии не большую склонность, чем, скажем, к совместному производству, балету или изготовлению строительных материалов. Партнерство в семейных отношениях носило совершенно свободный характер, как во всех прочих сферах жизни. Такие отношения могли порой длиться годами, порою же партнеры расставались очень быстро. Социального института брака не существовало. И расставание партнеров никем не порицалось — это было исключительно их личным делом.

Все это полностью согласовывалось с теорией Одо. Прочность обещания, даже если даешь его на неопределенных условиях, была тем основным понятием, которое

коренилось глубоко в сознании одонийцев. С первого взгляда могло показаться, что непременное условие «свободы любых перемен» как бы полностью обесценивает саму идею надежности обещания или клятвы; однако именно эта свобода и придавала любому данному обещанию особый смысл. Обещание становилось подобным избранному направлению, ибо являлось как бы самоограничением выбора. Как указывала Одо, если направление не избрано, если человек или общество никуда не движется, то никаких перемен и не произойдет. Свобода выбора и перемен, предоставленная человеку, останется неиспользованной, как если бы этот человек был заключен в тюрьму, но только построенную им самим, в лабиринт, из которого выхода нет. Таким образом, с точки зрения Одо, обещание, клятва, сама идея верности превращались в основную движущую силу, в основной этический вектор сложного понятия свободы.

Многие, впрочем, считали, что идея верности совершенно неоправданно применяется к интимным отношениям между мужчиной и женщиной. Они говорили, что в данном случае Одо «подвела» ее принадлежность к женскому полу. Порой она в своих работах доходила практически до полного отказа от истинной свободы любви; в таких случаях ее критиковали за «чересчур женский» подход к этой проблеме, за то, что она пишет «не для мужчин». Надо сказать, что довольно многие женщины также критиковали Одо за подобную точку зрения; по всей видимости, она оказалась не понятой не только мужчинами, но неким определенным типом людей, составляющим весьма значительную часть человечества, — теми, для кого эксперимент и разнообразие составляют суть и основу сексуальных отношений.

Хотя сама Одо, возможно, недостаточно хорошо понимала таких людей, она одновременно считала и тех, кто намеревался сохранять верность друг другу, некоей «собственнической аберрацией» нормы; таким образом, ее теория все же гораздо лучше подходила для временных любовников, а не для тех, кто вступал в длительные партнерские отношения. Никакого закона о семье, никаких ограничений, никаких наказаний, никакой ответственности, никакого неодобрения по отношению к любым формам сексуальных отношений. Исключение составляли

лишь насильники; за изнасилование ребенка или женщины соседи вполне могли наказать преступника чрезвычайно жестоко, если он не успевал сам предать себя в руки куда более мягкие — укрыться в центре принудительного лечения. Однако насилие в одонийском обществе встречалось исключительно редко — ведь здесь удовлетворение сексуальных потребностей воспринималось как норма с момента достижения человеком половой зрелости, а единственным социально-этическим ограничением было довольно мягкое требование соблюдения интимности (подобная «скромность» была, по сути дела, вынужденной, навязанной особенностями жизни в тесной коммуне).

У тех, кто все же решался создать некое подобие семьи — гомосексуальной или гетеросексуальной, — возникали свои проблемы, совершенно неведомые сторонникам «свободной любви». Партнеры, особенно живущие вместе длительное время, неизбежно сталкивались не только с ревностью, пробуждением собственнических инстинктов и прочими «недугами», для которых моногамный союз обеспечивает столь благоприятную почву, но и с давлением извне. Такая пара, например, всегда должна была помнить, что их в любой момент могут разлучить в связи, скажем, с необходимостью перераспределения рабочей силы.

Сотрудники ЦРТ в общем старались не разлучать подобные пары или же воссоединяли их, как только это вновь становилось возможным; однако возможным это оказывалось не всегда, особенно если мужчин поголовно призывали на какие-то срочные работы. Да никто и не ожидал, что Центр станет переделывать свои списки и вносить коррективы в программы компьютеров во имя воссоединения какой-то пары. Во имя продолжения жизни на планете каждый анаррести готов был в любой момент отправиться туда, где он более всего нужен, и делать ту работу, в которой на данный момент была наибольшая потребность. Человек вырастал, воспринимая произвольное распределение назначений на работу как основополагающий фактор жизни, как неотложную, постоянную социальную необходимость; тогда как семья, супружество считались исключительно личным делом, тем выбором, который можно было совершить только в пределах иного, более важного множества выборов.

Но когда направление выбрано по собственной доброй

воле и от души, может показаться, что все вокруг способствует твоему продвижению вперед. Зачастую возможность и реальность разлуки служили лишь укреплению взаимной верности партнеров. В стремлении сохранить верность друг другу было что-то от вызова Судьбе и, возможно, обществу — где не существовало ни правовых, ни моральных наказаний за неверность, где на разлуку приходилось соглашаться добровольно, где вас могли разлучить в любое время и на долгие годы... Впрочем, люди всегда любили бросать вызов Судьбе и искали свободу в ее противоположности.

В 164-м году многие из тех, кто никогда не пытался бросать вызов Судьбе, попробовали, что это значит; и многим понравилось испытывать себя на прочность, понравилось ощущение опасности. Засуха, начавшаяся летом 163-го года, не закончилась к зиме, и к лету следующего, 164-го года возникли серьезные экономические трудности и угроза голода.

Рационы были строго ограничены; график работ составлен по принудительному образцу. Борьба за то, чтобы вырастить хоть какой-то урожай и суметь правильно распределить запасы, приобрела конвульсивный, отчаянный характер. И все же люди не впадали в отчаяние. Одо писала: «Ребенок, свободный от бремени собственничества, от бремени экономического соперничества, вырастет с желанием всегда делать то, что необходимо всем, и будет способен радоваться, делая это. Работа бессмысленна, если она омрачает душу. Радость матери, кормящей своего малыша, или учителя, или удачливого охотника, или хорошего повара, или умелого работника — любого, кто делает нужную другим работу и делает ее хорошо, — удивительно сильна и прочна, она является, возможно, одним из самых глубоких источников человеческой признательности и социальности». В этом смысле Аббенай летом 164-го года был подхвачен как бы неким незримым потоком счастья. Работа делалась всеми с легкой, открытой душой, как бы тяжела она ни была, и всегда ощущалась готовность любого забыть о своих личных заботах и проблемах во имя общего дела. Вновь ожили старые лозунги времен Заселения. Было упоительно сознавать, что связи между отдельными членами общества лишь упрочились, несмотря на все тяжкие испытания.

В начале лета Координационный Совет расклеил объ-

явления о том, что люди могут сократить свой рабочий день примерно на час, поскольку содержание белка в их рационе не является достаточным для восстановления затраченной за полный рабочий день энергии. Могучая трудовая активность пошла на спад, стих шум городских улиц. Люди, закончив работу, лениво слонялись по площадям и скверам, играли в шары или просто сидели в дверях своих фабрик и мастерских, вступая в разговоры с прохожими. В городе стало заметно меньше людей — десятки тысяч уехали добровольцами на срочные сельскохозяйственные работы. Однако взаимное доверие, солидарность людей одерживали верх над депрессией и тревогой. «Мы друг друга насквозь видим», — честно признавались они, действительно исхудавшие до крайности, но не утратившие присутствия духа и жизненной энергии. Когда в северных пригородах пересохли колодцы, временные водопроводы из других районов были проложены туда буквально за тридцать часов — добровольцами, после трудового дня, людьми как высокой квалификации, так и необученными, взрослыми и подростками.

В конце лета Шевек был послан на сельскохозяйственные работы в Южное Поселение, на ферму Красные Ручьи. Синоптики надеялись на дожди, которые должны были выпасть в экваториальных районах во время муссона, и нужно было попытаться вырастить урожай до возвращения засухи.

Он давно уже ждал подобного назначения, поскольку строительство водоочистного предприятия было завершено, и он сам внес свое имя в общий список. А пока он вел занятия со студентами, много читал, участвовал в любых срочных работах, какие объявлялись в их квартале или в городе, и возвращался домой, к Таквер и маленькой дочери. Таквер через пять декад после родов снова вышла на работу в лабораторию, но бывала там теперь только по утрам. Как кормящая мать она получала некоторые белковые и углеводные добавки и очень старалась их не пропустить. Друзья не могли теперь делиться с нею едой — лишней еды просто не было. Таквер очень похудела, но вид у нее все равно был цветущий, и девочка тоже была небольшая, но крепенькая.

Шевеку возня с дочкой доставляла огромное удовольствие. Оставаясь с ней наедине по утрам (они отдавали ее в

ясли только в те дни, когда у него были лекции или приходилось выходить на срочную работу), он испытывал щемящее чувство собственной необходимости, которое, собственно, и является счастливым бременем и наградой родительства. Живая, чутко на все реагирующая девочка оказалась великолепной слушательницей, и Шевек вовсю развертывал перед ней свои словесные фантазии, которые Таквер добродушно называла «проблесками безумия». Он, например, брал малышку на колени и читал ей совершенно немыслимые лекции по космологии, объясняя, что время — это на самом деле пространство, только как бы вывернутое наизнанку, а фотон — иная ипостась кванта, объясняющая, почему расстояние можно считать одним из случайно проявляющихся свойств света. Шевек давал дочери экстравагантные, бесконечно менявшиеся прозвища, читал ей смешные и забавные «мнемонические» стишки собственного сочинения: «Время — оковы, Время — тиран, сверхмеханический, сверхорганический...», и — ух! — подбрасывал ее в воздух, а она попискивала от удовольствия и размахивала своими толстенькими ручонками. В итоге счастливы были оба. Когда же Шевек получил назначение на юг, то сердце его сжала щемящая тоска. Он все-таки очень надеялся, что его пошлют не так далеко от Аббеная. Однако вместе с весьма неприятной необходимостью расставаться с Таквер и дочкой на целых шестьдесят дней откуда-то возникла твердая уверенность в том, что он непременно вернется назад. И пока эта уверенность у него была, он ни на что не жаловался.

Вечером, накануне его отъезда, к ним зашел Бедап; они вместе пообедали в институтской столовой, а потом долго сидели и разговаривали у них дома, не зажигая света и открыв окна. Стояла жуткая духота. Бедап, который обычно ел в маленькой столовой, где поваров можно было попросить порой приготовить что-то по специальному заказу, сэкономил весь свой спецпаек соков и принес с собой небольшую бутылочку, которую с гордостью и вытащил из кармана, точно напоминание о давно минувших вечеринках. Они пустили ее по кругу и с наслаждением вкушали напиток, причмокивая от удовольствия.

— А вы помните, — сказала Таквер, — сколько было еды на той вечеринке, когда Шев уезжал из Северного Поселения? Я съела целых девять жареных пирожков.

— Ты тогда еще так коротко стриглась, — сказал Шевек, сам удивленный этим воспоминанием; ему никогда не приходило в голову сравнивать ту стриженую девушку с теперешней Таквер. — Это ведь была ты, правда?

— А кто же?

— Черт возьми, но ты же тогда была совсем девчонкой!

— Между прочим, ты и сам был не старше! Все-таки десять лет прошло. А я потому тогда так коротко стриглась, что мне ужасно хотелось чем-то выделиться, быть не похожей на остальных, более интересной. Очень мне это помогло! — Она звонко расхохоталась было, но тут же умолкла, боясь разбудить девочку, спавшую за ширмой. Однако малышка спала крепко. — А интересно, почему так бывает?

— По-моему, лет в двадцать это бывает у всех, — сказал Бедап. — Просто наступает время, когда нужно решить, то ли всю оставшуюся жизнь быть таким, как остальные, то ли принести себя в жертву собственной индивидуальности.

— Или по крайней мере смириться с нею, — сказал Шевек.

— У Шева сейчас вообще смиренное настроение, — пояснила Таквер. — Это у него старость, должно быть, наступает. Ему ведь уже тридцать стукнуло!

— Ну ты-то и в девяносто смиренной не будешь, — похлопал ее по спине Бедап. — Кстати, ты уже смирилась с именем, которое дали вашей дочке?

Пяти- и шестибуквенные имена, которые предлагал центральный регистрационный компьютер, являлись абсолютно уникальными и заменяли в обществе анаррести удостоверение личности. Никаких других данных жителю Анарреса не требовалось: в его имени были закодированы все сведения о нем. Таким образом, имя становилось чрезвычайно важной составляющей его человеческой сущности, хотя никто из анаррести не мог сам выбрать себе или своему ребенку имя, как не мог, например, выбрать себе при рождении иной нос или рост. Таквер совершенно не нравилось имя, которое дали их дочери: Садик.

— Нет, не смирилась, — ответила она Бедапу. — «Садик» по-прежнему звучит так, словно у меня полон рот мелких камешков. И оно ей совершенно не подходит!

— А мне это имя нравится, — сказал Шевек. — Мне в

нем видится высокая стройная девушка с длинными черными волосами...

— Хотя пока это всего лишь маленькая толстушка, и волос у нее что-то совсем не видно, — подхватил Бедап.

— Дайте ей время, братцы! Она вырастет и будет прекрасна! Послушайте. Я сейчас произнесу речь.

— Речь! Речь!

— Ш-ш-ш...

— Чего там «ш-ш-ш», этот ребенок способен проспать даже землетрясение!

— Тихо. Вы сами виноваты в том, что я окончательно расчувствовался. — Шевек поднял свою чашечку с фруктовым соком. — Я хочу сказать... Я вот что хочу сказать: я рад, что Садик родилась именно сейчас. В тяжелый год, в трудные времена, когда так важно ощущение локтя. Я рад, что она родилась здесь, на этой планете. Что она одна из нас, что она наша дочь и наша сестра. Вот я, например, очень рад, что она сестра Бедапа, сестра Сабула... даже Сабула! И я пью вот за что: я очень надеюсь, что всю жизнь Садик будет любить своих братьев и сестер так же сильно и с той же радостной отдачей, как я люблю их сегодня. И еще я очень надеюсь, что все-таки пойдет дождь...

Координационный Совет, основной пользователь радиотелефонной и почтовой связи, координировал все ее средства, как и средства дальнего сообщения и судоходства. На Анарресе не существовало никакого «бизнеса» в том смысле, в каком он связан с рекламой, инвестициями, спекуляцией и так далее, и почтовые отправления в основном состояли из переписки между промышленными и профессиональными объединениями, обмена информацией и бюллетеней, издаваемых КСПР, а также из относительно небольшого количества личных писем. Живя в таком обществе, где каждый мог в любой момент переместиться куда захочет, анаррести обычно заводили друзей там, где находятся в данный момент, не очень заботясь о том, что было раньше. Телефонами в пределах одной коммуны вообще пользовались крайне редко и только по важному делу; коммуны чаще всего были просто недостаточно велики для телефонных разговоров. Даже в Аббенае сохранилась привычка селиться поближе «к своим» — в определенных кварталах, которые были полуавтономными и внутри которых можно было добраться до тех, кто тебе нужен, просто пешком. По телефону звонили главным образом издалека, и эти переговоры осуществлялись с помощью Координационного Совета. Частные разговоры следовало заказывать заранее по почте, если только это не краткое сообщение в несколько слов, для передачи которого можно было просто воспользоваться услугами телефонисток. Письма посылали незапечатанными — разумеется, не по закону, а по взаимному соглашению. Личная переписка из далеких мест была весьма дорогостоящей, в том числе и в плане чисто человеческих услуг; существовало даже почти негативное отношение к «необязательным», то есть неделовым письмам или телефонным звонкам. Это было следствием привычки к «обобществлению» всего; к тому же излишества всегда попахивали эгоизмом, стремлением к «отделению от общества». Возможно, именно поэтому письма и принято было отсылать незапечатанными: ты как бы не был вправе просить людей пересылать твое письмо, если они сами прочесть его не могут. Письма отправлялись обычно с почтовым дирижаблем КС — это если повезет — или на грузовом поезде, что было гораздо медленнее. Зачастую письмо, прибыв в нужный город, валялось на почте до бесконечности, поскольку почтальона там вообще не было, пока кто-нибудь не сообщал адресату, что ему пришло письмо, и тогда человек сам шел на почту и забирал его.

Однако же каждый все-таки сам решал для себя, писать ему письма или нет. Шевек и Таквер писали друг другу регулярно, примерно раз в декаду.

«Поездка в целом прошла неплохо, — писал Шевек. — На грузовике добирались всего три дня. Здесь собралось множество людей, говорят, тысячи три. Последствия засухи в этих краях просто ужасны, хотя еда в столовых точно такая же, как в Аббенае, да еще на завтрак и на обед дают дополнительно вареные побеги гара — у них есть некоторый запас, ведь гар произрастает именно там. Но климат в этой проклятой пустыне Даст все-таки мучителен для человека. Воздух ужасно сухой, и все время дует ветер. Порой бывают, правда, короткие дождики, но уже через час земля снова начинает трескаться и в воздухе повисает пыль.

Здесь выпало меньше половины ежегодной нормы осадков. У всех, кто участвует в осуществлении Проекта, губы в кровавых трещинах, из носу тоже все время идет кровь и глаза страшно раздражены. Кругом кашель. Среди постоянных жителей Красных Ручьев очень многие страдают аллергическим кашлем, вызванным пылью. Особенно плохо приходится маленьким детям; у многих страшный конъюнктивит, часто встречаются рожистые воспаления на теле. Интересно, заметил бы я это полгода назад? Когда у тебя появляется собственный ребенок, зрение обостряется. Работа самая обыкновенная; отношения между людьми хорошие, но суховеи действуют на нервы. Прошлой ночью я вспоминал нашу поездку в Не Терас, и шелест ветра за окном напоминал звук того журчавшего в темноте ручья... Я не жалею о нашей разлуке: она позволила мне понять, что я стал отдавать меньше, чем могу; я стал считать тебя своей собственностью (а себя — твоей), а отдавать как бы самому себе бессмысленно. В действительности же наши отношения не имеют никакого отношения к собственности. Мы просто пытаемся приспособиться к целостности Времени. Напиши, как поживает Садик, что она делает. Я немного преподаю — три раза в неделю для желающих; тут есть одна девочка — прирожденный математик, и я непременно буду рекомендовать ее в Институт. Твой брат Шевек».

А вот письмо Таквер:

«Меня очень бесп. одна странная вещь. Расп. лекций было составлено три дня назад, и я пошла посмотреть, какие дни у тебя будут заняты. Но оказалось, что тебя в расписании вообще нет! За тобой не числится ни одной лекции, ни одной аудитории! Я решила, что это случайность, просто пропустил диспетчер, и пошла в препод. синдикат, а там мне говорят: да-да, мы хотели... курс геометрии... Тогда я двинулась в адм. отдел Ин-та, к той старухе, знаешь, с таким огромным носом, но она ничего мне сказать не могла: нет-нет, мне ничего не известно, ступайте к диспетчеру! Чушь какая! — сказала я и пошла к Сабулу. Но его на месте не оказалось, я и потом не смогла его застать ни разу. В Ин-т мы ходили вместе с Садик; она носит прелестную белую шапочку, которую связал для нее Террус и которая ей очень идет. У меня нет ни малейшего желания где-то искать этого Сабула — не знаю уж, в какой

норе он прячется. А может, он тоже отправился куда-нибудь добровольцем? Ха-ха-ха! Тебе, наверное, стоило бы позвонить в Ин-т и выяснить, что там происходит? Вообще-то я сходила и в ЦРТ, проверила списки, но никакого нового назначения для тебя не обнаружила. Странно, что та старуха с носом из адм. отдела не только якобы ничего не знает, но и не хочет ничем помочь... Похоже, вообще никому до этого нет дела. Бедап прав: мы позволили бюрократам расползтись по всему Анарресу. Пожалуйста, возвращайся скорей (вместе с этой гениальной юной математичкой, если это так уж необходимо)! Разлука, конечно, дает определенные знания, но мне гораздо больше нужно знать совсем другое: что ты рядом. Я каждый день получаю дополнительно пол-литра фруктового сока и еще всякие кальциевые добавки — молоко у меня стало пропадать, и С. остается голодной, а потому часто плачет. Спасибо добрым старым докторам, что они еще меня подкармливают! Все. Всегда тв. Т.»

Шевек так никогда и не получил этого письма. Он уехал из Южного Поселения до того, как письмо попало на почту в Красных Ручьях.

От Красных Ручьев до Аббеная было примерно две с половиной тысячи миль. При необходимости люди добирались обычно автостопом — все транспортные средства использовались и как пассажирские, а в грузовики сажали столько людей, сколько помещалось. Но поскольку на этот раз уезжали одновременно четыреста пятьдесят человек и все на северо-запад, то для них организовали специальный железнодорожный состав; вагоны, разумеется, были не совсем пассажирские, но в настоящий момент хоть немного приспособленные для перевозки пассажиров. Самым противным был тот, в котором раньше возили копченую рыбу.

Целый год засухи породил значительные трудности с транспортом, несмотря на отчаянные усилия Федерации транспортных работников удовлетворить все запросы. Эта федерация была самой крупной на Анарресе и подразделялась на региональные синдикаты, которые координировали свою деятельность, посылая представителей на регулярно проводившиеся съезды, куда приглашались также

члены Координационного Совета. Транспортная сеть в обычные времена, то есть при ограниченной нагрузке, вполне справлялась со своими функциями; она была достаточно гибкой, легко приспосабливалась к различным обстоятельствам, и члены транспортных синдикатов всегда испытывали по этому поводу профессиональную гордость. Всегда было довольно много желающих вступить в Федерацию транспортников. На Анарресе любили называть свои поезда и дирижабли звучными именами: «Неукротимый», «Стойкий», «Пожирающий ветер», а на грузовиках писали, например: «Мы всегда добираемся до места!», «Пассажиров не бывает слишком много!» и тому подобную веселую чушь. Но сейчас, когда голод угрожал целым огромным регионам, если туда вовремя не подвезти продукты из других мест, когда то и дело требовалось перебрасывать на значительные расстояния множество добровольцев, транспорт Анарреса справляться с предъявляемыми к нему требованиями перестал. Не хватало грузовиков, не хватало шоферов. Все, что имелось у Федерации транспортников летающего или способного ездить по рельсам и дорогам, срочно было пущено в ход; ученики-подростки, пенсионеры, неквалифицированные добровольцы и те, кого ЦРТ направлял на срочные работы, изо всех сил старались помочь разобраться с этим сложным хозяйством, с бесчисленными грузовиками, поездами, кораблями, портами и складами.

Тот поезд, на котором ехал Шевек, продвигался вдоль побережья крайне медленно — с долгими остановками и короткими пробегами, — поскольку все поезда, доставлявшие продукты питания, имели преимущества в графике движения. Потом их поезд вообще застрял на двадцать часов: от переутомления или просто по незнанию новоиспеченный диспетчер совершил ошибку, и на линии произошла авария.

В том маленьком городке, где поезд простоял почти сутки, не имелось никаких запасов ни в столовых, ни на складах, тем более для такого количества пассажиров. Это была даже не сельскохозяйственная коммуна, а заводской поселок, где изготавливались строительные плиты из бетона и «пенного камня». Поселок построили здесь из-за удачного сочетания богатых залежей известняка и вполне судоходной реки. Помимо завода, здесь было огромное

автохозяйство, однако жители целиком зависели от поставок провизии из других районов. Если бы четыреста пятьдесят пассажиров застрявшего поезда хотя бы позавтракали, сто шестьдесят местных жителей остались бы голодными на весь день. В идеале, разумеется, жители Анарреса всегда должны были делиться друг с другом — все поесть понемножку или, точнее, остаться практически голодными. Если бы на поезде было пятьдесят или хотя бы сто человек, коммуна, возможно, так и поступила бы, выделив пассажирам хотя бы немного хлеба. Но четыреста пятьдесят?.. И еще неизвестно, когда придет следующий поезд с продуктами?.. И сколько зерна он доставит?.. Они не дали пассажирам поезда ничего.

Путешественники, ничего не получившие в тот, самый первый день проголодали в итоге шестьдесят часов. Поезд продолжал стоять, пока не расчистили пути, а потом им пришлось проехать еще миль сто пятьдесят до той станции, где в столовой имелся некоторый запас провизии для пассажиров.

Шевек впервые испытал настоящий голод. Иногда он сознательно голодал целыми днями — когда особенно увлеченно работал и не желал прерывать работу для похода в столовую. Однако он ЗНАЛ, что всегда может поесть два раза в день; это было столь же незыблемым правилом, как восход и заход солнца. Он никогда даже не задумывался, как это бывает, когда есть не дают совсем. Никто в обществе одонийцев никогда не оставался голодным.

Час за часом голод становился все сильнее, а поезд по-прежнему стоял между щербатым пыльным перроном запасного пути и наглухо закрытыми воротами фабрики. Шевек мрачно размышлял о реальности голода на планете и о том, что их замечательное общество все же, видимо, неадекватно в том смысле, что вполне может утратить свою хваленую солидарность, если столкнется с такой серьезной трудностью, как всеобщий голод. Было легко делиться тем, чего достаточно, пусть даже не совсем достаточно, но все же хватает, чтобы как-то продержаться. А когда хватать перестанет? Тогда вступит в действие сила, уверенность в том, что ты, возможно, прав, раз ты сильнее других, и воцарится непременная составляющая власти — насилие, и расцветет самый верный союзник власти — умение отводить глаза при виде чужого горя...

Презрение пассажиров к жителям городка становилось все сильнее, однако даже их нескрываемое возмущение казалось менее угрожающим, чем поведение самих горожан: было страшно видеть, как они прячутся за «своими» закрытыми окнами и запертыми дверьми со «своей» жалкой собственностью и стараются не обращать внимания на поезд, даже не смотрят в его сторону. Не один Шевек был настроен столь мрачно, бесконечные разговоры о разложении общества то вспыхивали, то снова затихали; люди то стояли у вагонов, то снова забирались внутрь, спорили и соглашались друг с другом — и все на одну и ту же тему, к которой были обращены и его мысли. Кое-кто вполне серьезно, хотя и с горечью, предлагал совершить налет на местную автобазу, и возможность такого налета горячо обсуждалась, и, вполне возможно, налет был бы совершен, если бы в конце концов не дали сигнал и поезд снова не тронулся в путь.

Но когда наконец поезд подполз к той станции, где их накормили — по полбуханки хлеба из семян холума и по миске супа, — мрачное настроение сменилось приподнятым. Когда ты добираешься до дна тарелки, сознавая, что суп был несколько жидковат, но все же вкус самой первой его ложки был поистине изумителен, то кажется, что именно ради этого мгновения и стоило поголодать. С этим были согласны все. В поезд пассажиры возвращались, смеясь и шутя, дружными компаниями. Теперь они видели друг друга насквозь.

На следующей узловой станции те, кто ехал в Аббенай, пересели на товарняк и последние пятьсот миль проехали на нем. Они прибыли в город поздней ночью; стояла ранняя осень, дул холодный ветер, улицы были пусты. Ветер мчался по этим улицам, как бешеный горный поток, только странно иссушающий. За неярким светом уличных фонарей угадывался свет звезд в пыльной пелене, висевшей над городом. Мощный суховей и любовь несли Шевека по темным пустынным улицам, точно осенний листок, три мили до северного квартала он буквально пробежал бегом. Одним прыжком он преодолел три ступеньки крыльца, влетел в коридор, бросился к знакомой двери, открыл... В комнате было темно. За окнами светились яркие звезды.

— Таквер! — окликнул он и услышал в ответ тишину.

Еще до того, как он повернулся и включил свет, эта темнота и тишина сказали ему, что такое настоящая разлука.

Все в комнате было по-прежнему. Собственно, меняться было особенно и нечему. Не было только Садик и Таквер. «Незаселенные миры» по-прежнему мягко вращались под потолком, чуть поблескивая на сквозняке, — дверь так и осталась распахнутой.

На столе лежало письмо. Два письма. Письмо от Таквер было коротким: она получила срочное назначение на северо-восток, в Лабораторию Экспериментальных Разработок по выведению съедобных водорослей. На неопределенный срок. Она писала: «Я не могу, честно говоря, сейчас отказаться и не поехать. Я ходила в ЦРТ, прочитала их план работ по улучшению экологии, который они отослали в КСПР. Это правда, я им очень нужна, ведь я работала именно над этим циклом: водоросли— ресничные черви — креветки — кукури. Я попросила в Центре, чтобы тебе подыскали назначение в Ролни, но они, разумеется, и пальцем не пошевелят, пока ты сам их не попросишь. Впрочем, если это будет невозможно из-за работы в Институте, ты и не попросишь. В конце концов, если все слишком затянется, я скажу, чтобы в Ролни подыскивали другого генетика. И вернусь! Садик растет очень хорошо и уже говорит «вет» вместо «свет». Не грусти, разлука не будет долгой. Все. Тв. на всю жизнь. Таквер.

Пожалуйста, приезжай, если сможешь!»

Вторая записка состояла всего из нескольких слов, нацарапанных на крошечном клочке бумаги:

«Шевек, зайди в адм. отд. физ. ф-та, когда вернешься. Сабул».

Шевек послонялся по комнате. Тот сильный ветер, что с невероятной силой гнал его по улицам города к дому, все еще бушевал в его душе. Он просто в очередной раз налетел на стену и пока не мог идти дальше. Но все же нужно было как-то двигаться. Он заглянул в шкаф. Там было почти пусто — только его зимняя куртка и рубашка, которую Таквер, любившая тонкую работу, когда-то вышила специально для него. Ее собственные немногочисленные вещи исчезли. Ширма была сложена, в углу виднелась пустая детская кроватка. Постель была скатана и аккуратно

прикрыта оранжевым вязаным одеялом. Шевек снова подошел к столу, еще раз перечитал письмо Таквер. Глаза его наполнились злыми слезами. Ярость, гнев, разочарование, дурные предчувствия терзали его.

И некого было винить — вот что было хуже всего! Таквер была нужна как специалист, чтобы победить надвигающийся голод. Ее и его голод, голод маленькой Садик. Общество не было их врагом. Они сами принадлежали этому обществу, были его частью, оно было за них.

Но он сам добровольно отказался от своей книги, от своей любви, от своего ребенка. Предал их. От чего еще можно просить человека отказаться?

— Черт бы все это побрал! — громко выругался он на йотик. На языке правик даже выругаться как следует было невозможно. Трудно ругаться, когда секс не воспринимается как нечто постыдное, грязное, когда богохульства не существует вовсе. — Все, все к черту! — Он сердито скомкал жалкую записку Сабула, точно это она была во всем виновата, и несколько раз сильно ударил сжатыми кулаками по краю столешницы — ему нужно было почувствовать боль. Но он ее не почувствовал. Нет, сделать ничего нельзя, и некуда деться. В конце концов пришлось развернуть постель и лечь — в одиночестве, и он даже заснул, усталый и безутешный, и снились ему плохие сны.

С утра первой в дверь к нему постучалась Бунаб. Он открыл ей, но в комнату не впускал — стоял на пороге. Бунаб была их соседкой; на вид ей было лет пятьдесят, она работала на заводе воздухоплавательных аппаратов. Таквер всегда страшно забавлялась, беседуя с нею, но Шевек эту тетку терпеть не мог. Во-первых, ее основной мечтой и целью было заполучить их комнату. Она утверждала, что подала на нее заявку задолго до того, как Шевек и Таквер туда переехали, однако комендант нарочно, из нелюбви к ней, комнату эту ей занять помешал. Особенно она завидовала угловому окну — в ее собственной комнате такого не было, хотя она тоже проживала — совершенно одна — в комнате для двоих, что, если иметь в виду постоянную нехватку жилья, было безусловным проявлением эгоизма. Но Шевек никогда не стал бы тратить время не только на эту проблему, но и вообще на Бунаб, если бы она без конца не

приставала к нему сама. Она вечно что-то объясняла, втолковывала... У нее, например, якобы был партнер, «на всю жизнь», «в точности как вы» — далее следовала жеманная улыбка. Вот только где он, этот партнер? Почему-то о нем всегда говорилось в прошедшем времени. Между тем комната на двоих вполне оправдывала свое предназначение: через нее проследовала целая череда мужчин — каждую ночь разные, — словно Бунаб была развеселой девицей лет семнадцати. Таквер с восторгом наблюдала за сменой ее кавалеров, а Бунаб приходила к ней и рассказывала ей «все об этих мужчинах» и жаловалась, жаловалась без конца. В число ее многочисленных несчастий входило и то, что она лишена углового окна. Бунаб была не только чрезвычайно завистлива, но по-настоящему хитра и коварна, она умела найти дурное в чем угодно и сразу «начать с этим бороться». Своих коллег она обвиняла во всех смертных грехах: в некомпетентности, в непотизме и даже в нежелании трудиться, чуть ли не в саботаже. Собрания синдиката, с ее точки зрения, являли собой настоящий бардак, причем объектом всеобщей ненависти почему-то всегда была именно она, Бунаб. Все одонийское общество существовало исключительно для того, чтобы подвергать ее разнообразным преследованиям. Таквер в ответ на эти рассказы только смеялась, причем совершенно не скрываясь. «Ох, Бунаб, какая ты смешная!» — задыхаясь от смеха, говорила она, и та, немолодая, уже седеющая женщина с тонкими поджатыми губами и вечно потупленными, но очень зоркими глазками, тоже начинала слабо улыбаться, ничуть на Таквер не обиженная, и продолжала сыпать свои чудовищные обвинения против всего света. Шевек понимал, что Таквер права, что над Бунаб можно только смеяться, но преодолеть своего отвращения не мог.

— Это ужасно! — заявила Бунаб, не обращая на него ни малейшего внимания и решительно протискиваясь в комнату, где сразу же ринулась прямо к столу и впилась глазами в письмо Таквер. Она даже схватила его в руки, но Шевек спокойно и решительно его у нее отнял. К такому спокойному отпору Бунаб готова не была. — Просто ужасно! И хоть бы за несколько дней предупредили — так нет! Поехали, говорят, прямо сейчас! А у нас-то вечно твердят: мы свободные люди! Да это просто злая шутка! Взяли и разбили счастливую семью, разделили любящих людей!

Они ведь именно поэтому так и поступили, неужели ты не понял? Они все там против истинного партнерства, по всему видно. Нарочно партнерам такие назначения дают, чтобы их разделить. Так и с нами было — со мной и с Лабексом. В точности так. И мы потом никогда уже не жили вместе. Да разве ж можно с ЦРТ бороться? Ведь там все списки специально так составлены, чтобы против людей! А вот и кроватка Садик — пустая теперь... Бедная малышка! Она в последние четыре декады плакала день и ночь. Я просто уснуть не могла. Конечно, все из-за того, что продовольствия не хватает, и у Таквер молоко пропадать стало. Так они еще и послали кормящую мать на край света, за тысячу миль от дома! Вряд ли тебе удастся туда назначение получить... Куда она хоть уехала-то?

— На северо-восток. Знаешь, Бунаб, я вообще-то завтракать собирался, со вчерашнего дня не ел.

— Но разве это справедливо — то, как они поступили в твое отсутствие?

— А как они поступили в мое отсутствие?

— Нарочно отослали ее, разрушили ваш союз, вот как! — Теперь Бунаб читала уже записку Сабула, заботливо ее расправив и разгладив. — Уж они-то знают, когда пора вмешаться! Ну я полагаю, теперь ты из этой комнаты съедешь, верно? Да и вряд ли тебе позволят одному занимать такую большую комнату. Таквер, правда, говорила, что скоро вернется, но я-то видела, что она просто бодрится. Свобода! Мы ведь вроде бы все тут свободные люди, а это с нами просто шутят. Ничего себе шутки! Швыряют куда хотят...

— Черт возьми, Бунаб! Если б Таквер не захотела ехать, она бы отказалась! Ты же знаешь, что планете угрожает страшный голод!

— Да ладно тебе, думай что хочешь. Мне-то давно казалось, что Таквер собирается куда-нибудь переехать... Такое часто случается, стоит появиться ребенку. Я ведь говорила: надо было девочку в ясли отдать. К тому же малышка без конца плакала. Дети всегда разъединяют партнеров, руки им связывают. Естественно, что Таквер это надоело, вот она и стала другое место подыскивать, а как только что-то ей подвернулось, сразу и уехала.

— Все, хватит! Я иду завтракать. — Шевек выбежал из дома, дрожа от бешенства. Бунаб расковыряла самые болезненные старые раны в его душе. Ужаснее всего в этой женщине было то, что она вечно высказывала вслух его собственные затаенные страхи и опасения. Как и только что. А теперь она осталась у них в комнате и, возможно, решает, когда бы ей туда перебраться...

Было уже позднее утро, и он чуть не опоздал: столовую уже собирались закрывать до обеда. Изголодавшись за время путешествия, он взял двойную порцию каши и хлеба. Парнишка за раздаточным столом посмотрел на него и нахмурился. В эти дни никто не брал двойную порцию. Шевек посмотрел на него тоже хмуро, но ничего объяснять не стал. Он восемьдесят часов прожил на двух тарелках жидкого супа и килограмме хлеба и теперь имел полное право хоть немного возместить то, что ему недодали. Но оправдываться, черт возьми, он ни перед кем не станет! Жизнь несет в себе самооправдание, человек имеет право удовлетворить свои насущные потребности. Шевек был истинным одонийцем, и пусть ложное чувство вины испытывают всякие спекулянты и собственники.

Он сел за отдельный столик, однако тут же откуда ни возьмись появился Дезар. Он, улыбаясь, глядел — то ли на Шевека, то ли куда-то еще — своими косыми глазами.

— Давно не видно тебя, — заметил Дезар.

— Срочные сельскохозяйственные работы. Шесть декад. А тут как дела?

— Тухло.

— Будет еще тухлее, — пообещал Шевек, без особой, впрочем, убежденности, потому что наконец ел, насыщался, и каша казалась ему удивительно вкусной. Отчаяние, тревога, угроза голода! Разумом он это понимал, но сиюминутное рассудочное желание набраться сил твердило, ничуть не раскаиваясь: «Ешь, ешь, пока есть еда! Ешь, набирайся сил! Еда вкусна и необходима тебе!»

— Видел Сабула?

— Нет. Я только сегодня ночью приехал. — Он поднял глаза на Дезара и сообщил, стараясь говорить как можно спокойнее: — Таквер получила новое назначение — она будет участвовать в очередном Проекте по борьбе с голодом. Уехала четыре дня назад.

Дезар кивнул, его-то равнодушие было совершенно искренним.

— Слыхал... А ты слышал о реорганизации Института?

— Нет. А в чем дело?

Дезар положил на стол руки с тонкими длинными пальцами и уставился на них. Он всегда разговаривал как бы нехотя, короткими рваными фразами. К тому же он заикался; вот только что было причиной его заикания — физический недуг или моральный, — Шевек так и не решил. Точно так же, как не мог он решить, почему Дезар ему порой нравится, а порой вызывает самое настоящее отвращение, чуть ли не ненависть. Сейчас как раз был один из таких моментов: что-то неприятное, скользкое было в изогнутых губах Дезара, в его потупленных глазах, чем-то он очень напоминал вечно глядевшую в пол Бунаб.

— Разгоняют. Называется «функциональным сокращением штата сотрудников». Шипега выгнали. — Математик Шипег был всем хорошо известен своей глупостью; ему, однако, всегда удавалось «по требованию студентов» (с которыми он беззастенчиво заигрывал) получать каждый семестр курс лекций. — Отослали куда-то. В какой-то региональный институт.

— Он принес бы куда меньше вреда, окучивая деревья на плантации, — заметил Шевек. Теперь (когда он был сыт) ему казалось, что засуха может в итоге даже принести некоторую пользу, оздоровив их общество. Вновь становились ясны и очевидны первоочередные задачи, а также слабые места, недоработки, недостатки, которые необходимо было устранить. Ничего, голод всегда помогает организму восстановить деятельность «уставших» органов, снимает излишек жира, мешающий двигаться вперед...

— Замолвил за тебя словечко. На общеинститутском собрании. — Дезар смотрел вроде бы на него, но не мог встретиться с ним взглядом. И стоило Дезару это сказать — хотя до Шевека даже еще не дошел истинный смысл его слов, — он понял, что Дезар лжет. Шевек знал это совершенно точно. Никакого «словечка за него» он не замолвил, он выступал против него.

Теперь ему стала ясна причина той неприязни, которую он порой испытывал к Дезару: он явственно увидел в его характере некий элемент чистого злодейства, порожденного завистью. То, что Дезар, вроде бы любя его, пытался обрести над ним власть, также стало Шевеку теперь абсолютно понятно. Это казалось ему особенно отвратительным. Окольные пути достижения власти, лабиринты смешанного чувства любви-ненависти ничего для самого Шевека не значили; уверенный в себе, нетерпимый ни к собственным, ни к чужим слабостям, он шел всегда напрямик, сквозь стены. Он ничего не ответил Дезару на это сообщение, но постарался поскорее доесть завтрак и выйти из столовой, на яркий свет холодного осеннего солнца. Затем направился в административный отдел физического факультета и прошел прямо в дальнюю комнату, которую все называли «кабинетом Сабула», — ту самую, где они с Сабулом когда-то встретились впервые и Сабул вручил ему грамматику и словарь языка йотик.

Сабул осторожно глянул на него через письменный стол и снова опустил глаза — он был буквально поглощен работой, этот рассеянный, гениальный, совершенно не замечающий окружающей его действительности ученый! Затем он как бы позволил своему «перегруженному» мозгу воспринять присутствие Шевека и вдруг стал — в разумных пределах, конечно! — вполне оживленным. Сабул похудел, постарел и сутулился больше, чем прежде, вызывая даже некоторое сочувствие.

— Тяжелые времена, верно? — сказал он. — Ох, тяжелые!

— Будет еще тяжелее, — почти весело откликнулся Шевек. — Ну как в Институте дела?

— Плохо, плохо, — Сабул покачал седеющей головой. — А чистой науке, интеллектуалам особенно сложно.

— А что, когда-нибудь было легко?

Сабул как-то неестественно засмеялся и промолчал.

— Что-нибудь интересное для нас с Урраса привозили? Я ведь все лето на юге проработал. — Шевек, как всегда, расчистил себе местечко на скамье, заваленной бумагами, и сел, положив ногу на ногу. Он умудрился загореть почти дочерна, а борода, наоборот, выгорела и стала почти серебристой. Выглядел он хорошо — худой, крепкий, жилистый и в сравнении с Сабулом непростительно молодой. И оба прекрасно это почувствовали.

— Нет, ничего интересного не было.

— И никаких рецензий на «Принципы»?

— Нет. — Тон Сабула стал ворчливым, что было куда более естественно для него.

— Писем тоже не было?

— Нет.

— Странно.

— А что здесь странного? Может, ты ожидал, что тебя пригласят читать лекции в Университете Йе Юн? Или присудят премию Сео Оен?

— Я ожидал исключительно рецензий и откликов. Времени для их написания было достаточно. — Он говорил совершенно спокойно, но Сабул, не дослушав его, поспешил заметить:

— Вряд ли. Рановато еще для рецензий.

Помолчали.

— Ты должен понять, Шевек: твоя убежденность в собственной правоте — еще не оправдание. Ты очень много трудился над этой книгой, я знаю. Я тоже немало потрудился, издавая ее, пытаясь разъяснить, что это не просто безответственная атака на классическую физику, но теория, имеющая свои положительные аспекты. Но если бóльшая часть ученых не видит в твоей работе ничего ценного, то тебе, видимо, придется пересмотреть свои взгляды и убеждения и постараться найти, где же был совершен просчет. Если твоя теория ничего не значит для других, то какой от нее прок? Какова ее функция в обществе?

— Я физик, я не занимаюсь анализом общественных функций, — беззлобно заметил Шевек.

— Каждый одониец должен уметь анализировать функциональность той или иной вещи, теории или явления. Тебе ведь уже тридцать, верно? К этому возрасту человек обязан знать не только свои обязанности по отношению к конкретной семейной ячейке, но и по отношению ко всему обществу, свою оптимальную роль в социальном организме. Хотя ты, ученый-теоретик, возможно, не обязан столь же сильно задумываться над этим, как большая часть людей...

— Нет, должен. С тех пор как мне исполнилось десять, я твердо знаю, какую именно работу я должен делать, какую функцию в обществе выполнять.

— Это в тебе играет детство, Шевек. Мало ли что тебе хотелось бы делать! Это далеко не всегда является тем, что нужно обществу.

— Мне тридцать лет, как вы справедливо заметили. Довольно-таки много, чтобы детство продолжало «играть во мне».

— Ты рос в неестественно защищенных, тепличных условиях. Сперва с тобой носились в Региональном Институте, потом...

— В пустыне Даст, на работах по озеленению побережья; потом на различных сельскохозяйственных работах, в добровольческих строительных отрядах Аббеная и только что — на юге, где я несколько месяцев задыхался в пыли. Что ж, это нормально. Кстати, мне физическая работа всегда даже нравилась. Но я, между прочим, еще и неплохой физик. Однако к чему, собственно, все эти речи?

Поскольку Сабул не отвечал, глядя на него из-под своих тяжелых, каких-то маслянистых бровей, Шевек прибавил, помолчав:

— Вы могли бы все сказать мне прямо, все равно воздействие на мое «общественное сознание» в данном случае совершенно бесполезно.

— Ты считаешь работу, которую выполнял здесь, функциональной?

— Да. «Чем более в организме организованности, тем более централизованным он становится: централизованность в данном случае подразумевает область высокой функциональности». Это из толкового словаря Томара. Поскольку физика времени стремится организовать и объединить в единую систему все, доступное восприятию человеческого разума, то она по определению представляет собой в высшей степени централизующую функциональную деятельность.

— Но не дает хлеба голодным.

— Я только что шестьдесят дней вполне конкретно, физически, в поте лица работал, чтобы они этот хлеб получили. Когда меня снова призовут на подобную работу, я буду ее выполнять беспрекословно. А между тем стану заниматься своим основным ремеслом. Если в области физики еще остались, как я надеюсь, какие-то нерешенные задачи, то я имею полное право попытаться решить их.

— И все-таки придется тебе посмотреть правде в глаза: в данный момент нет ни малейшей необходимости решать какие бы то ни было нерешенные задачи в области физики. Во всяком случае такие, какие пытаешься решить ты. Мы должны сопрягать свои высокие устремления с практическими нуждами общества. — Сабул поерзал на стуле. Он выглядел сердитым и смущенным. — Мы вынуждены были освободить от работы пять человек, они уже получи-

ли другое назначение. Извини, но я вынужден сообщить, что один из них — ты. Вот так обстоят дела.

— Я так и предполагал, — с невозмутимым видом кивнул Шевек, хотя на самом деле он до последнего момента не желал признаваться себе, что Сабул попросту постарался вышвырнуть его из Института пинком под зад. Впрочем, новость эта показалась ему удивительно знакомой. И уж ни в коем случае он не доставил бы Сабулу удовольствия понять, насколько она потрясла его.

— Против тебя сработал целый комплекс причин, — продолжал Сабул. — В частности, недоступная пониманию большинства, совершенно иррелевантная природа тех исследований, которые ты вел в течение последних лет. К тому же многие в Институте, возможно, несправедливо, полагают, что твоя манера преподавания и поведение в целом в определенной степени отражают пренебрежительное отношение к коллегам и студентам, некий комплекс превосходства над остальными, отсутствие альтруизма. Об этом говорили многие из тех, кто выступал на собрании. Я, разумеется, выступил в твою защиту. Но что я мог поделать один?

— С каких это пор альтруизм входит в число одонийских добродетелей? — спросил Шевек. — Да ладно, не обращайте внимания. Я все понял. — Он решительно встал (он больше просто не мог сидеть на месте), но полностью держал себя в руках, казался абсолютно спокойным и говорил самым естественным тоном. — И видимо, вы вообще не дали мне рекомендации для занятий преподавательской деятельностью?

— А какая была бы от этой рекомендации польза? — Сабул почти пропел эти слова, он был счастлив снять с себя всякую вину за совершенную подлость. — Все равно нигде преподавателей на работу не берут. Только сокращают. Бывшие преподаватели и студенты трудятся бок о бок, пытаясь предотвратить голод, надвигающийся на нашу планету. Конечно, этот кризис не вечен. Надеюсь, что где-нибудь через год мы будем с гордостью вспоминать те жертвы, которые принесли, и ту адскую работу, которую совершили плечом к плечу, делясь последним куском... Но в настоящий момент...

Шевек стоял в расслабленной позе, внешне спокойный, и равнодушно смотрел в окно на пустое безоблачное

небо. Он с огромным трудом подавлял желание послать наконец Сабула ко всем чертям. Однако иные, более сильные чувства заставили его сдержаться и обрели словесную оболочку.

— На самом деле, — сказал Шевек, — я полагаю, что вы, возможно, совершенно правы. — Он вежливо попрощался и вышел.

За дверью показное спокойствие оставило его. Он бросился к остановке трамвая и поехал в центр. Что-то гнало его туда, словно он хотел поскорее пройти этот путь до конца и потом наконец отдохнуть. Сейчас он спешил в Центр по Распределению Труда — просить, чтобы ему дали назначение в ту коммуну, куда уехала Таквер.

Центр со своими огромными компьютерами и множеством сотрудников занимал целый квартал — несколько довольно изящных одноэтажных зданий, расположившихся вокруг небольшой площади. Но изнутри помещение Центрального Архива Шевеку показалось чем-то похожим на склад с очень высоким потолком; здесь было полно народу, царила суета, стены были покрыты объявлениями о назначениях на работу и различными сведениями организационного порядка. Оказавшись в одной из очередей, Шевек прислушивался к разговору стоявших перед ним мальчика лет шестнадцати и весьма уже пожилого мужчины. Мальчик готов был ехать добровольцем на любую работу, лишь бы бороться с надвигающимся голодом. Его переполняли самые благородные чувства и намерения, в нем ощущалась самая искренняя вера во всеобщее братство людей. Детская жажда приключений, надежда на счастье звали его в новую, самостоятельную жизнь, прочь от надоевшего детства. Он очень много говорил, совсем еще как ребенок, да и голос у него еще порой срывался: он еще не привык к пробивающемуся баску. Свобода! Свобода! — это звучало в каждой сказанной им фразе. А голос старого человека, ворчливый и хрипловатый, пробивался сквозь это юношеское ликование, чуть поддразнивая, но не пугая, посмеиваясь, но не предостерегая от опасностей. Свобода, способность куда-то отправиться и что-то сделать на пользу всем — это старик вполне одобрял и поддерживал в своем юном собеседнике, даже когда необидно посмеивался над его излишней уверенностью в себе. Шевек с удовольстви-

ем слушал их. Они нарушили наконец ту череду гротескных образов, что с самого утра сегодня преследовали его.

Когда Шевек объяснил сотруднице ЦРТ, куда хотел бы направиться, на лице ее появилось тревожное выражение. Она сходила за атласом, открыла его и положила между ними на стол.

— Вот, посмотрите сами, — сказала она. Шевеку она показалась безобразной: какая-то карлица с широкими, как у кролика, передними зубами. Кожа у нее на руках, лежавших на цветной странице атласа, была дряблой и морщинистой. — Вот Ролни, видите? Так называется полуостров в северной части Тименского моря, но на самом деле это просто огромная песчаная яма. На этом полуострове ничего нет, кроме лабораторий океанологов, которые расположены на дальнем конце полуострова. Нашли? Все восточное побережье представляет собой засоленные болота; они тянутся почти до Гармонии — на тысячу километров. А вся территория к западу занята так называемыми Прибрежными Пустошами. Они практически безлюдны. Ближайший к Ролни город расположен вот в этих горах. Но оттуда не поступало ни одного запроса на срочные работы. Им вполне хватает своих людей. Нет, вы, разумеется, все равно можете туда отправиться, — спохватилась она.

— От Ролни это, пожалуй, слишком далеко, — сказал Шевек, задумчиво глядя на карту; это был тот самый городок, где выросла Таквер: Круглая Долина. — Неужели в этих лабораториях не нужен, например, уборщик? Статистик? Кто-нибудь по уходу за рыбами?

— Я проверю.

Созданная людьми и компьютерами система ЦРТ работала потрясающе эффективно. Служащей не понадобилось и пяти минут, чтобы выудить всю требуемую информацию из этого моря постоянно обновляемых данных по поводу каждого рабочего места, каждой наличной или требуемой рабочей единицы.

— Вот, только что было занято одно такое место... А, это как раз и есть ваш партнер, верно? Да, сейчас у них штат полностью укомплектован: они взяли на работу еще четырех техников и целую опытную команду сейнера.

Шевек оперся локтями о стол и уронил голову на руки,

потирая виски, что у него всегда было свидетельством полной растерянности.

— Так, — сказал он, — просто не знаю, что мне теперь делать!

— Послушай, брат, а ее надолго туда отправили? — неожиданно ласково спросила служащая.

— На неопределенный срок.

— Но это ведь работа по борьбе с голодом, верно? Значит, не навечно! Засуха ведь кончится, я уверена, и этой зимой обязательно пойдет дождь!

Он поднял голову и посмотрел на нее, свою сестру, — прямо в ее встревоженные, честные, исполненные искреннего сочувствия глаза. И даже заставил себя чуточку улыбнуться, потому что не мог оставить без внимания ее попытку пробудить в нем надежду. Она тут же воспрянула духом:

— И тогда вы снова будете вместе, а между тем...

— Да. Между тем, — сказал он и умолк.

Она терпеливо ждала его решения.

Это решение он имел право принять сам, и варианты были бесконечны. Он мог остаться в Аббенае и самовольно организовать занятия по физике — если найдет желающих. Он мог отправиться на полуостров Ролни и жить вместе с Таквер, даже не имея работы в ее лаборатории. Он мог жить где угодно и совсем ничего не делать, но тем не менее два раза в день ходить в ближайшую столовую, чтобы его там накормили. Он мог делать все что угодно, кроме...

«Клеггиш» — слово, которым в языке правик обозначалось некое смешанное понятие «работа-игра», имело, разумеется, сильную этическую окрашенность. Одо предвидела опасность застывшего морализма, произрастающего из слишком частого употребления слова «работа» в своей системе аналогий: клетки организма должны работать вместе и согласованно, ибо при этом достигается его максимальная активность; работа, совершаемая каждым отдельным органом, должна сочетаться... и так далее. Способность к сотрудничеству и функциональность — вот основные требования «Аналогии», предъявляемые к работе каждого элемента общества. Доказательство правильности любого эксперимента — опытов с двадцатью пробирками в лаборатории или с двадцатью миллионами человек на «луне» —

заключалось в одном простом вопросе: «Ну что, получилось, работает?» Одо предвидела эту моральную ловушку. «Святой никогда не бывает занят», — когда-то тоскливо пророчествовала она.

Однако «существо общественное» никогда не может сделать свой выбор в одиночку.

— Значит, так, — сказал Шевек. — Я только что вернулся из Южного Поселения, со срочных сельскохозяйственных работ. Есть ли еще подобные назначения?

Служащая посмотрела на него, как старшая сестра на неразумного братишку, — недоверчиво, но уже прощая его невольную глупость.

— Да там по всем стенам объявления расклеены! Больше семисот срочных вызовов! — сказала она. — Вам какой больше подойдет?

— Там где-нибудь математики нужны?

— В основном это, правда, сельскохозяйственные работы... У вас есть опыт работы простым инженером?

— Не слишком богатый.

— Ну тогда вам, может быть, подойдет координация работ — составление графиков и тому подобное? Здесь, безусловно, нужно уметь обращаться с цифрами. Как вы насчет этого места?

— Согласен.

— Это, к сожалению, там, на юго-западе, в пустыне... Вы эти места знаете?

— Да, мне уже приходилось бывать там. Ну а кроме того, как вы говорите, ведь когда-нибудь все-таки непременно пойдет дождь...

Она кивнула, улыбнулась и напечатала в его учетной карточке: Из Аббеная, северо-запад, Цент. Ин-т Естеств. Наук — в Элбоу, юго-запад, координатор, фосфатн. предпр.; срочное назначение 5-1-3-165; срок неопределенный.

Глава 9

УРРАС

Шевека разбудил звон колоколов в часовне. Каждый их удар болезненно отдавался в затылке. Он чувствовал себя совершенно больным — голова кружилась, знобило, он с трудом сполз с кровати и дотащился до ванной, где он долго «отмокал» в почти холодной воде. После этого головная боль значительно уменьшилась, но остальное тело по-прежнему вело себя странно: в нем точно появилась какая-то червоточина. Когда в голове у него несколько прояснилось, он довольно живо вспомнил некоторые события вчерашнего дня и особенно приема в доме Веа. Это было так отвратительно, что Шевек тут же постарался выкинуть все из головы, что оказалось не так-то просто: он вообще ни о чем другом думать не мог. Он даже сел за письменный стол, пытаясь сосредоточиться, но так и просидел с полчаса неподвижно, уставившись в одну точку и чувствуя себя жалким и ничтожным.

Ему и раньше не раз приходилось попадать впросак, чувствовать себя дураком. Кроме того, в молодости он довольно сильно страдал от того, что другие находили его странным, непохожим на остальных. Став старше, он не раз ощущал гнев или презрение ближних по отношению к себе, сам же, впрочем, их и спровоцировав. Но он никогда не чувствовал себя таким униженным, как сейчас, и никогда не испытывал такого стыда.

Он не знал — у него просто не было подобного опыта, — что теперешнее унизительное состояние и подавленность являются всего лишь следствием химической реакции в организме, вызванной слишком большим количеством алкоголя, что похмелье проходит, как и головная боль. Впрочем, знай он это, особой разницы, наверное, не почувствовал бы. Стыд, ощущение того, что ты сам себе отвратителен, — было для него откровением. Теперь с новой, ужасающей ясностью он понимал, что самым отвратительным был не только «бесславный» финал его пребывания в гостях у Веа, куда хуже было предательство — и не только бедняжки Веа, не только его собственного тела, оказавшегося не в состоянии усвоить алкоголь, его здесь предали все, и все, что он здесь съел, узнал, воспринял, сделал своей привычкой, внесло свою долю яда в его душу и организм.

Он оперся локтями о стол и сжал пальцами виски — классическая поза человека, страдающего от головной боли. Теперь он мог смотреть на свою жизнь только сквозь призму пережитого стыда.

На Анарресе он, бросив вызов своему обществу, выбрал для себя ту работу, которую, как он считал, призван был сделать. На этот риск он пошел во имя того же общества.

Здесь, на Уррасе, подобный «акт мятежа» был для ученого вполне позволительной роскошью, самооправданием. Быть ученым в А-Йо означало служить не обществу, не человечеству, не Истине, а Государству.

Тогда, в самый первый вечер пребывания на этой планете, в этой самой комнате, он спросил своих спутников, отчасти бросая им вызов, а отчасти сам желая понять: «Что вы намерены со мной делать?» Но только теперь он понял, что они с ним сделали. Чифойлиск правильно назвал ему эту простую для здешнего общества вещь: они его купили, он стал их собственностью. А ведь он рассчитывал сам заключить с ними сделку — ах, наивный анархист! Но отдельный человек здесь не может заключить сделку с могущественным Государством. Государство не признает иной разменной монеты, кроме власти, и само чеканит такие монеты.

Теперь он видел — в мельчайших деталях, в жесткой последовательности, — какую ужасную ошибку совершил, прилетев на Уррас; это была его первая по-настоящему крупная ошибка, которая, вполне возможно, будет стоить ему жизни. Доказательства этого предстали перед ним во всей своей безжалостной очевидности; он старательно подавлял и даже отрицал их в течение стольких месяцев, и вот, всего получаса хватило, чтобы понять тщетность этих стараний. Вспомнив смехотворную и омерзительную сцену в спальне Веа, он ощутил, как лицо его заливает горячий румянец стыда, а в ушах снова начинается звон. Но даже сейчас, среди тяжкого похмелья, никакой особой вины за собой он не чувствовал. С прошлым было покончено. Он познал стыд, принял свой позор, и теперь пора было подумать, как быть и что делать дальше. Он сам запер себя в эту тюрьму, так сможет ли он отныне действовать как свободный человек?

Ясно было одно: для них он физикой заниматься не будет!

Но если он перестанет работать, отпустят ли они его домой? Да, это был вопрос!

Шевек тяжко вздохнул и поднял голову: перед его невидящим взором расстилались залитые солнцем зеленые лужайки. Впервые он по-настоящему задумался о возможности возвращения на Анаррес. Уже сама по себе эта мысль порождала в нем могучую жажду деятельности, желание

смести на своем пути все преграды, лишь бы снова говорить на родном языке, видеться с друзьями, вернуться к Таквер, Пилюн, Садик, коснуться пыльной земли родной планеты...

Они ни за что не отпустят его! Он не оплатил даже свой проезд сюда. Да он и сам не может позволить себе просто сдаться и позорно сбежать.

Шевек еще долгое время сидел за столом в глубоком раздумье, освещенный ярким утренним солнцем, раза два или три он с силой ударил сжатыми кулаками об острый край столешницы, но лицо его при этом осталось совершенно спокойным и неподвижным.

— Но куда я иду? — произнес он вслух.

В дверь постучали, и вошел Эфор с подносом: завтрак и утренние газеты.

— Я приходил в шесть, как обычно, но вы еще спали, — заметил он, ставя поднос на стол с восхитительной ловкостью.

— Я вчера вечером мертвецки напился, — сказал Шевек.

— Да, пока пьешь, это прекрасно... — заметил Эфор. — Это все, господин Шевек? Больше ничего не нужно? Хорошо, тогда я зайду попозже. — И он удалился, по пути вежливо поклонившись Пае, который как раз входил в комнату.

— О, вы завтракаете! Я вовсе не хотел мешать вам, прошу прощения! Я возвращался из часовни после службы и просто решил заглянуть...

— Садитесь, пожалуйста. Выпейте чашечку горячего шоколада. — Самому Шевеку кусок в горло не лез. Пае вежливо изобразил, что готов позавтракать вместе с ним, и положил на тарелку блинчик с медом. Глядя на него, Шевек, которому все еще было очень не по себе, вдруг почувствовал страшный голод и с энтузиазмом набросился на завтрак. Пае, похоже, на сей раз испытывал странную неловкость, не зная, как начать разговор.

— Вы по-прежнему читаете этот мусор? — спросил он наконец добродушно, указав на свернутые в трубку газеты на столе.

— Да, Эфор мне их приносит.

— Вот как?

— Я просил его. — Шевек мельком, искоса глянул на

Пае. — Они помогают мне лучше понять вашу страну. Меня весьма интересуют ваши... э-э-э, как это? Низшие классы? Социальные низы? Дело в том, что предки большей части жителей Анарреса были выходцами как раз из этих низов.

— Да, я понимаю. — Пае согласно покивал и положил в рот маленький кусочек блинчика. — Пожалуй, я действительно все-таки выпью чего-нибудь горячего. — Он позвонил в колокольчик, стоявший на подносе. В дверях тут же возник Эфор. — Еще чашку, — бросил ему Пае, не оборачиваясь. — Ну что ж, доктор Шевек, мы намеревались снова начать вывозить вас «в свет», поскольку погода, кажется, установилась прекрасная, и показать вам нашу страну как можно шире. Мы хотели даже совершить с вами поездку за границу. Но, боюсь, эта проклятая война положила конец всем нашим прекрасным планам.

Шевек, скосив глаза, прочитал заголовок в лежавшей сверху газете: «Столкновение войск А-Йо и Тху близ бенбилийской столицы».

— По телефаксу поступили и более свежие новости, чем эта, — сказал Пае, заметив его взгляд. — Войска А-Йо освободили столицу Бенбили. Власть законного президента будет восстановлена.

— Так, значит, войне конец?

— Пока еще нет: Тху по-прежнему удерживают две крупные провинции на востоке страны.

— Понятно. Итак, ваша армия и армия Тху будут продолжать сражаться на территории Бенбили. Но ведь не здесь?

— Нет-нет, что вы! Было бы совершеннейшим безумием со стороны Тху вторгнуться на территорию нашего государства! Или нам — в пределы их страны. Мы давно переросли тот уровень варварства, при котором войны развязываются в самом сердце высокоразвитой цивилизации! Равновесие сил лучше всего поддерживать политическими акциями, в том числе и военными, — но на чужой территории, в какой-нибудь отсталой стране. Впрочем, официально А-Йо и Тху действительно пребывают в состоянии войны. А потому, боюсь, все утомительные старинные ограничения будут введены в действие.

— Ограничения? Какие же?

— Ну, например, будет заново пересмотрен список всех

проектов и текущих исследований на естественных факультетах. Разумеется, особых изменений не произойдет, просто правительство лишний раз все проверит и на всем «поставит свою печать». Возможно, возникнут некоторые задержки с публикациями — если в верхах сочтут, например, какую-либо работу опасной, потому что не в состоянии будут понять ее... Ну и будет, видимо, несколько ограничено передвижение для лиц, не являющихся гражданами нашего государства. Пока мы будем находиться в состоянии войны, вам, например, будет практически запрещено выходить за пределы университетского городка, а для любой поездки потребуется особое разрешение Канцлера, насколько я знаю. Но не пугайтесь. Уж я-то смогу вас вывезти в город в любой момент, когда вам захочется, и безо всякой бюрократической канители.

— Значит, у вас хранятся все ключи! — улыбнулся Шевек.

— О, я в этом деле большой мастак! Я ужасно люблю обходить всяческие правила и законы и обожаю обманывать представителей власти. Возможно, я анархист по природе, вам не кажется? Ну куда там подевался этот старый болван? Я ведь всего лишь велел ему принести чашку!

— Он, должно быть, пошел за ней вниз, на кухню.

— И что с того? Для этого ведь не требуется полдня. Ну ладно, не стану я его ждать. Я и так отнял у вас слишком много времени, не хочу отнимать и остаток этого чудесного утра. Между прочим, вы видели последний «Бюллетень Фонда Космических Исследований»? Они напечатали статью Рюмера, он, кажется, почти изобрел этот ансибль.

— Что это такое?

— Это он так называет прибор моментальной связи с любой точкой космического пространства. Утверждает, что если «темпоралисты» — имея в виду, разумеется, вас — сумеют вывести нужные формулы, то уж такой гениальный конструктор, как он, в состоянии будет построить эту чертову штуковину, опробовать ее и, таким образом, подтвердить верность вашей теории буквально в течение нескольких недель или месяцев!

— Инженеры и конструкторы уже сами по себе являются доказательством каузативной реверсивности... Видите, этот Рюмер уже готов построить свой прибор, хотя я еще отнюдь не обеспечил теоретические предпосылки для его

создания. — Шевек снова улыбнулся, но уже не так благодушно.

Пае распрощался и ушел. Стоило двери захлопнуться за ним, как Шевек вскочил и заорал, не в силах больше сдерживаться:

— Ах ты грязный лжец, спекулянт проклятый! — Он побелел от гнева и с трудом сдержался, чтобы не броситься за Пае и не швырнуть ему вдогонку чем-нибудь тяжелым.

Снова появился Эфор, торжественно неся на подносе чашку и блюдце. И тут же застыл на пороге, с понимающим видом склонив голову.

— Все в порядке, Эфор. Он... Господину Пае больше не нужна чистая чашка. И вообще можете все это убрать.

— Хорошо, господин Шевек.

— Послушайте, Эфор, мне бы не хотелось никого видеть. Хотя бы некоторое время. Можете вы никого не пускать ко мне? Никаких посетителей?

— Нет ничего проще, господин Шевек. Вы кого-то конкретно не хотите видеть?

— Да, в первую очередь... м-м-м, никого не хочу! Всем говорите, что я работаю.

— Он будет рад услышать это, господин Шевек. — На мгновение в улыбающемся морщинистом лице Эфора промелькнуло злорадство. Затем он прибавил — уважительно и в то же время чуть фамильярно: — Не беспокойтесь! Никто из тех, кого вы не хотите видеть, мимо меня не пройдет! — И тут же вежливо раскланялся: — Больше указаний не будет? Благодарю вас, господин Шевек, желаю приятно провести утро.

После сытного завтрака сил прибавилось, а выброшенный в кровь в припадке гнева адреналин развеял остатки того омерзительного паралича, которым Шевек был охвачен с утра. Он метался по комнате, раздраженный, охваченный какой-то неясной тревогой. Нужно что-то делать, действовать! Он уже почти целый год валяет дурака!

Итак, зачем он вообще явился сюда?

Заниматься физикой. Доказать всем, что любой талантливый человек в любом обществе имеет право делать именно ту работу, для которой он предназначен, а также — право на поддержку во время этой работы и на раздел конечного ее результата со всеми, кто в нем заинтересован. Во всяком случае, таковы должны были быть права человека в обществе одонийцев.

Его благожелательные и заботливые хозяева на Уррасе позволили ему заниматься любимым делом и содержали во время работы как полагается. Основная проблема возникала с разделом конечного ее результата. Однако конечного результата, в сущности, еще не было. Работу свою он не выполнил. И не мог ни с кем разделить то, чего не имел сам.

Шевек снова сел за письменный стол и вытащил два листочка бумаги, мелко и тесно исписанные с обеих сторон. Листочки он прятал в самом дальнем и наименее пригодном для использования кармане тесных модных штанов. Он тщательно разгладил бумажки и уставился на них. Ему вдруг показалось, что он становится похожим на Сабула — уже и пишет так же мелко, сокращая слова, на каких-то клочках и обрывках бумаги. Теперь он понимал, почему Сабул так делает: Сабул был типичным собственником и к тому же человеком очень скрытным. И хотя на Анарресе это считалось разновидностью психопатии, на Уррасе воспринималось бы как самый разумный тип поведения.

Шевек, застыв, изучал записанные на извлеченных из кармана листочках важнейшие формулы будущей Общей Теории Времени; он заносил их сюда по мере того, как они складывались у него в голове.

В течение трех последующих дней он практически не вставал из-за письменного стола, на котором лежали два крошечных листочка бумаги.

Лишь изредка он начинал было ходить по комнате, но тут же бросался что-то записывать или что-то вычислял с помощью компьютера; иногда он просил Эфора принести ему что-нибудь поесть или просто ложился и засыпал ненадолго, а потом снова возвращался к письменному столу и снова сидел неподвижно, глядя на формулы.

Вечером третьего дня для разнообразия он перешел на мраморную скамью у камина — именно там он сидел в первый вечер своего пребывания на Уррасе, в этой изящной комфортабельной тюрьме. Он часто сидел на этой скамье и в тех случаях, когда к нему приходили гости. В данный момент гостей у него не было, но он думал о Сайо Пае.

Как и все люди, стремящиеся к власти, Пае был удиви-

тельно близорук и в определенном смысле ограничен. Ему всегда не хватало глубины и живости воображения. Он был существом скорее рассудочным, чем разумным, ибо собственным разумом он пользовался всего лишь как довольно примитивным инструментом. Интеллектуальный потенциал его, впрочем, был достаточно высок. Пае был очень неглупым человеком и неплохим физиком. Или, точнее, он был очень неглуп в отношении физики. Сам он, правда, никаких оригинальных открытий не сделал, но его врожденная склонность к оппортунизму, его способность точно определять, что именно для него выгоднее, время от времени приводили к тому, что он вместе с другими выполнял исследования в наиболее многообещающих областях и получал неплохие результаты. У него был особый нюх на то, где именно сейчас следует приложить особые усилия. В точности, как и у самого Шевека, и Шевек уважал в нем это чутье, ибо подобное чутье в науке является одним из наиболее важных свойств настоящего исследователя. Ведь именно Пае дал тогда Шевеку книжку — перевод с языка землян: материалы симпозиума по проблемам релятивистских теорий и, в частности, теории Относительности. И это было именно то, что более всего занимало самого Шевека в последнее время. Неужели он прилетел на Уррас только для того, чтобы встретиться с Сайо Пае, своим коллегой и врагом, понимая, что лишь от него может получить то, чего не может получить от своих братьев, от своих друзей на Анарресе? Получить доступ к знаниям, которыми обладают другие государства, другие миры, другие галактики — к НОВОМУ...

Мысли о самом Пае стали постепенно расплываться, таять, и теперь Шевек переключился на ту книгу, которую Пае дал ему. Он не мог бы точно сформулировать, что именно в ней так привлекает его, так стимулирует рождение новых идей. В конце концов, описанные в ней открытия по большей части уже давно устарели. Предлагаемые методы исследования были весьма громоздки, а отношение к науке самих инопланетян порой просто шокировало. Земляне были типичными интеллектуальными империалистами, собственниками, завистливыми и ревнивыми строителями стен. Даже этот Айнзетайн — или как его там по-земному? Эйнштейн? Гениальный создатель теории относительности чувствовал это и счел себя обязанным

написать предупреждение народам своего мира о том, что его теория — это чистая наука, чистая физика, которая не должна применяться во изменение метафизических, философских или этических понятий и представлений. Что, разумеется, было справедливо, но только с первого взгляда, ибо он пользовался ЧИСЛАМИ, математикой, мостиком между рациональным и метафизическим, между материей и подсознанием. «Рациональным» назвали число древние создатели естественных наук. В данном случае применение математики означало прокладывание пути ко всем остальным категориям знаний. И этот Айнзетайн прекрасно понимал (и признавался в этом), что его физика на самом деле занимается описанием реальной действительности.

Мысли землян казались Шевеку одновременно чужеродными и удивительно знакомыми: каждая из них составляла для него загадку и каждая была близка; например, этот Айнзетайн тоже стремился создать некую единую теорию поля. Объяснив природу тяготения как геометрическую функцию пространства-времени, он попытался расширить это обобщение и включить в него действие электромагнитных сил, что ему, правда, не удалось. В течение всей жизни гениального ученого и еще долгое время после его смерти физики Земли не желали вспоминать эту его неудачную попытку, увлекаясь чарующей непоследовательностью квантовой теории поля с ее требующими высочайшей технологии запросами, и в конце концов сосредоточились на рассудочной, технологической форме познания, что и завело их в тупик, приведя к почти полной, катастрофической потере воображения. И все же исходная, интуитивно найденная ими отправная точка была верна: в этом направлении прогресса можно было достигнуть всего, лишь признав Принцип Неопределенности, который старик Айнзетайн признавать отказывался. С другой стороны, его отказ также был справедлив — если заглянуть далеко вперед. Ему всего лишь не хватило аргументов — у него не было под рукой таких доказательств, как переменные Себы, теория бесконечной скорости, метод комплексной мотивации. Его единая теория поля была в итоге завершена другими — правда, в созвездии Кита — и при таких условиях, которые он, ее первый автор, вполне возможно, не пожелал бы принять; ибо для

его великих теорий основополагающей являлась скорость света как лимитирующий фактор. Обе его теории Относительности — частная и общая — были не только эстетически прекрасны, но и в высшей степени ценны, причем не только в его эпоху, но и спустя много столетий, и все же обе они зависели от гипотезы, справедливость которой доказать не представлялось возможным, а ложность которой, с другой стороны, могла быть (и была в итоге!) доказана при вполне определенных обстоятельствах.

Но разве не являлась теория, в которой ВСЕ составляющие доказуемы, простой тавтологией? Единственный шанс вырваться из круга и двинуться дальше лежал в области недоказуемого или даже недопустимого.

Но при этом действительно ли столь важна недоказуемость гипотезы сосуществования Принципа Неопределенности и Принципа Одновременности — той проблемы, над которой Шевек тщетно ломал голову не только три последних дня, но и по крайней мере последние десять лет?

Он всегда стремился доказать возможность подобного сосуществования, достигнуть уверенности в своей правоте — словно это было единственное, чем он имел право обладать. Он всегда требовал каких-то гарантий, которых, впрочем, не получал, а если б получил, они скорее всего превратились бы для него в тюремные стены. Всего лишь допустив обоснованность подобного сосуществования теорий, он получил бы возможность свободно использовать прелестные геометрические символы теории Относительности; а затем можно было бы пойти и дальше. Следующий шаг был совершенно ясен. Сосуществование двух принципов можно было бы осуществлять с помощью трансформаций Себы; при таком подходе последовательность изменений физических величин и их сиюминутное состояние не составляли бы ни малейшей антитезы. Фундаментальное единство классической и квантовой физики и теории Одновременности становилось абсолютно очевидным, как и концепция интервала, призванная соединить статический и динамический аспекты существования Вселенной. Как он мог смотреть на столь очевидное в течение десяти лет и не видеть его? Ну а дальше все будет легко. Собственно, он уже пошел дальше. Он уже в пути. Он теперь видел все далеко вперед — всего лишь по-новому

взглянув на тот метод, который был ему известен давно, поняв ошибку, совершенную в далеком прошлом... Эта стена рухнула! Видение проблемы стало ясным и полным. Ее будущее решение было очень простым, сама простота. И в этой-то простоте заключалась вся сложность его Теории, все данные им обещания. Да, это было настоящее откровение! Озарение. Ясный путь вперед, домой, к свету.

Душа Шевека радовалась, точно ребенок, выбежавший из темной комнаты на солнечную лужайку. И не было, не было, не было конца открывшемуся вокруг простору...

Однако, испытывая столь радостное, всепоглощающее облегчение, он буквально дрожал от страха, глаза его были полны слез, точно он нечаянно взглянул прямо на солнце. В конце концов, человеческая плоть вполне материальна и непрозрачна. И очень странно вдруг осознать, что твоя жизнь прожита не зря, что главное твое дело завершено, что твоя давняя мечта осуществилась, воплотилась в реальность.

И все же он продолжал смотреть в будущее, мысленно двигаться вперед, по-прежнему испытывая при этом ту же детскую радость, пока вдруг не ощутил, что не может сделать более ни шагу. И тогда он вернулся и оглянулся вокруг, и сквозь слезы увидел, что в комнате темно, а за высокими окнами сияют звезды.

Миг великого откровения пролетел; он еще помнил, как это было. Но не сделал попытки остановить мгновение. Он понимал, что сам является его частью, а не наоборот. Что он целиком в его власти...

Посидев еще немного, Шевек встал, пошатываясь, прошелся по комнате и зажег свет. Потом снова немного побродил по комнате, касаясь то корешка книги, то абажура настольной лампы и радуясь, что вернулся к этим знакомым предметам, вернулся в свой собственный мир, ибо в ТОТ краткий миг различия между Анарресом и Урасом были для него не более значимы, чем различия между двумя песчинками на морском берегу. ТАМ не существовало непреодолимых пропастей, нерушимых стен, тюрем и ссылки. ТАМ он увидел основы Вселенной, и основы эти были прочны!

Он прошел в спальню, двигаясь несколько неуверенно, и одетым, как был, упал на постель. Потом долго лежал, закинув руки за голову и заранее планируя, предвкушая то

одну часть предстоящей работы, то другую, охваченный торжественным и благодарным чувством, которое постепенно переходило в успокоение, в мирные мечты, в сон...

Он проспал десять часов подряд. И проснулся, четко представляя себе те уравнения, которые способны будут выразить его концепцию интервала. Он сразу бросился к письменному столу и погрузился в работу. Днем у него была лекция в Университете, он прочитал ее, потом пообедал в столовой, поговорил с коллегами о погоде, о войне и еще о чем-то, интересном для них... Если они и заметили в Шевеке некую перемену, то он об этом не узнал, потому что, если честно, практически не замечал их. Вернувшись к себе, он тут же снова принялся за дело.

На Уррасе в сутках было двадцать часов. В течение восьми дней Шевек проводил за письменным столом от двенадцати до шестнадцати часов ежедневно, а иногда еще думал, бродя по комнате и устремив свои светлые глаза за окно, где сияло яркое весеннее солнце, или мерцали звезды, или плыла в небесах покрытая бурыми пятнами, ущербная сейчас луна — Анаррес.

Утром, как всегда принеся завтрак в спальню, Эфор обнаружил, что хозяин распростерт полуодетый на кровати, глаза его закрыты, и он, видимо, во сне говорит что-то на неведомом языке. Эфор поставил поднос и разбудил Шевека. Тот мгновенно вскочил и тут же, еще шатаясь, бросился в другую комнату к письменному столу, который был абсолютно пуст — ни листка бумаги. Тогда Шевек включил компьютер и уставился на экран: все наработанное было стерто. Он застыл, точно его сильно ударили по голове, но он еще не осознал обрушившегося на него удара. Эфор поспешил уложить его в постель и заявил:

— Да у вас ведь жар, господин Шевек! Вызвать врача?

— Ни в коем случае!

— Вы уверены, господин Ше?..

— Абсолютно! И никого сюда не впускайте. Скажите, что я болен.

— Ну уж тогда-то они наверняка приведут врача. Я лучше скажу, что вы все еще работаете. Им это будет приятно.

— И заприте, пожалуйста, дверь, когда будете выходить из дома, — попросил его Шевек. Его тело, его «непрозрачная плоть», не выдержало такой нагрузки; он на ногах не держался от усталости; его терзала тревога, непонятная

раздражительность. Он опасался Пае, Ойи, полиции — всего, о чем он слышал и читал, понимая лишь наполовину. То, что он знал о тайной полиции, вдруг живо и страшно всплыло в его памяти; так бывает, когда человек, осознав, что действительно болен, начинает вспоминать каждое слово, которое когда-либо слышал или читал о раке. Он в каком-то лихорадочном отчаянии посмотрел на Эфора.

— Можете мне доверять, господин Шевек, — поспешно сказал Эфор, как всегда негромко и сухо. Он принес Шевеку стакан воды и куда-то ушел, Шевек слышал, как за ним закрылась дверь и щелкнул замок.

Эфор ухаживал за Шевеком в течение двух последующих дней с таким тактом, на который вряд ли способен даже самый вышколенный слуга.

— Вам бы следовало быть врачом, Эфор, — сказал Шевек, когда от общей полной измотанности всего организма осталась только физическая и довольно приятная усталость.

— Вот и моя старуха так говорит. Она, когда занеможет, так никого, кроме меня, к себе не подпускает. Говорит: «Только ты за больными ходить умеешь». Наверно, и впрямь умею.

— А вы когда-нибудь работали в больнице?

— Нет, господин Шевек. Не хотелось мне с этими больницами вязаться, ох не хотелось! Самым черным днем в моей жизни будет тот, когда я умру на больничной койке. В проклятой крысиной дыре.

— Это вы о больницах такого мнения? А что в них плохого?

— Ничего, господин Шевек, особенно в тех, куда отвезут вас, если вы по-настоящему захвораете, — мягко успокоил его Эфор.

— А какие же больницы имеете в виду вы?

— Да наши. Грязные, вонючие, как у бродяги задница. — Эфор говорил спокойно, без ненависти. Для него это явно был самый обычный факт. — Здания старые, ветхие. У меня ребенок в одной такой умер. Там в полу такие дырищи были!.. Прямо насквозь светились. Я им там говорю: «Это что ж такое? Вон, крысы изо всех дыр лезут да прямо к больным на кровати!» А они мне: «Здание старое, шестьсот лет уже, как здесь больница, а ремонта не делают». А называется-то: «Благотворительное заведение для

бедных во славу Божественной Гармонии», во как! А на самом деле — дыра вонючая и больше ничего.

— И ваш ребенок умер в такой больнице?

— Да, господин Шевек. Моя дочь Лайя.

— А от чего она умерла?

— Из-за какого-то клапана в сердце. Так нам сказали. Она очень плохо росла. Ей всего два годика исполнилось, когда она умерла.

— У вас еще есть дети?

— Все умерли. Трое было. Моей старухе нелегко пришлось. Зато теперь она говорит: «Ну что ж, зато теперь сердце из-за них надрывать не приходится, и то хорошо!» Чем еще могу вам служить, господин Шевек? Не будет ли каких приказаний? — Этот внезапный переход к «светской» речи неприятно поразил Шевека, и он нетерпеливо сказал:

— Да, будут! Продолжайте рассказывать.

То ли потому, что эти слова у него вырвались явно непроизвольно, то ли потому, что он был болен и его следовало развлекать, но Эфор на сей раз не стал запираться.

— Вообще-то я подумывал, не поступить ли мне в военно-медицинское училище, — сказал он, — да только они раньше успели: в армию меня забрали. И говорят: «Санитаром, мол, будешь». Ну я и стал санитаром. Неплохая подготовка для врача — санитаром поработать. Ан нет, не успел я свой срок в армии отслужить, как меня прямо на службу господам и определили.

— Значит, вы могли получить в армии медицинское образование? — спросил Шевек. Эфор кивнул. Разговор продолжался, хотя Шевек не всегда хорошо понимал объяснения Эфора — как из-за языковых трудностей, так и по сути. Он не имел ни малейшего опыта подобных социальных отношений. Эфор рассказывал ему о таких вещах, о которых он совершенно не знал. Он никогда не видел, например, крыс, или армейских казарм, или сумасшедшего дома, где действительно «одни психи», или ночлежки для нищих, или ломбарда, или публичной казни, или настоящего вора, или жалкой квартирки в огромном доме, или свирепого сборщика налогов, или потерявшего надежду безработного, или мертвого ребенка в придорожной канаве... Эфор говорил обо всех этих кошмарах как о чем-то обыденном, и Шевеку приходилось вовсю напрягать воображение и по капельке собирать все свои знания об Урраса, чтобы хоть как-то понять его. Однако отчасти эти ужасы, как ни странно, были ему знакомы больше, чем многие прочие вещи здесь, — хотя бы понаслышке. И он действительно понимал Эфора, который рассказывал ему о том Уррасе, с которым юных анаррести знакомили еще в школе. Да, это был тот самый мир, из которого некогда бежали их предки, предпочтя голодную жизнь в пустынях чужой планеты и бессрочную ссылку. Это был тот мир, который сформировал мировоззрение Одо и стремился ее уничтожить, восемь раз заключая в тюрьму за то лишь, что она осмеливалась высказывать свои мысли вслух. В этом мире все покоилось на человеческом страдании, здесь произросли все те идеи, которые легли в основу общества одонийцев.

А до сих пор он настоящего Урраса и не видел. Очарование старинного университетского здания, уют той прекрасной комнаты, где сейчас они с Эфором находились, были столь же реальны, как и та неимоверная нищета, в которой родился, вырос и жил Эфор. И для Эфора действительно мыслящий человек должен был не отрицать одну реальность за счет другой, но включать обе в единое целое и воспринимать их только так. А это было для Шевека совсем непросто!

— Вы, господин Шевек, по-моему, уже устали! — сказал Эфор. — Отдохните-ка немного.

— Нет-нет, я совсем не устал!

Эфор некоторое время помолчал, внимательно на него глядя. Когда он исполнял свои обязанности слуги, его морщинистое, чисто выбритое лицо практически ничего не выражало, было как бы застывшим. Однако всего лишь за один час Шевек видел, как быстро могут сменять друг друга на этом лице то горечь, то юмор, то цинизм, то душевная боль. В данный момент на лице Эфора было написано явное, хотя и сдержанное сочувствие.

— Что, здесь совсем иначе небось, чем там, откуда вы сами-то? — спросил вдруг Эфор.

— Совершенно!

— И там что же, никто без работы не остается? Никогда?

В голосе его явно звучала некоторая ирония.

— Никогда.

— И никто не голодает?

— Во всяком случае, никто не остается голодным, если рядом с ним у кого-то есть, что есть.

— Ага... Так, значит...

— Но мы тоже голодали. У нас был страшный голод. Настоящее стихийное бедствие — восемь лет назад. Я тогда сам видел одну женщину, которая убила своего ребенка, потому что у нее пропало молоко, а больше никакой еды не было... и не было ничего, что можно было бы дать ему... Там, на Анарресе, вовсе... не молочные реки и кисельные берега, Эфор.

— Ну в этом я не сомневаюсь, господин Шевек, — сказал Эфор, снова вдруг возвращаясь к вежливой правильной речи, а потом вдруг прибавил со странной гримасой, оскалясь: — А все ж таки их там ни одного нет!

— Кого — «их»?

— Да вы сами знаете, господин Шевек. Вы сами как-то это слово сказали. Собственников. Хозяев.

На следующий день вечером зашел Атро. Пае, должно быть, караулил где-то неподалеку, потому что, стоило Эфору впустить старого профессора к Шевеку, как объявился и Пае — с очаровательной сочувственной улыбкой и вопросом, с чего это Шевек стал таким недоступным.

— Вы слишком много работаете, доктор Шевек, — сказал он. — Нельзя же доводить себя до нервного истощения! — Пае даже не присел и очень скоро ушел, демонстрируя высшую степень воспитанности.

Атро же немедленно принялся рассуждать о войне в Бенбили, которая, как он выразился, приобретала черты «широкомасштабной операции».

— А народ А-Йо эту войну одобряет? — спросил Шевек, прерывая «доклад» Атро по вопросам стратегии. Он давно уже дивился отсутствию в желтых газетенках какого бы то ни было осуждения по поводу вторжения иностранных армий на территорию Бенбили. Весь прежний журналистский пыл куда-то пропал; теперь они повторяли практически слово в слово то, что содержалось в правительственных сводках новостей.

— Одобряет? Неужели вы думаете, что йоти лягут на спину и позволят проклятым недоумкам из Тху здесь беспрепятственно ползать? На карту поставлена наша честь мировой державы!

— Но я имел в виду простой народ, а не правительство. Тех... тех людей, которые вынуждены сражаться там...

— Да им-то что за дело? Они привыкли. Да они, собственно, для того и существуют, дорогой мой! Чтобы сражаться за свою страну. И я уверен: нет лучших воинов на этой планете, чем воины йоти! Когда они выступают как один, стройными рядами, под знаменами родины! В мирное время любой из них вполне способен исповедовать сентиментальный пацифизм, но армейская твердость у йоти в крови. Это всегда было величайшим достоянием нашей нации. Благодаря этому мы и превратились в ведущую державу.

— Карабкаясь вверх по грудам мертвых детей? — вырвалось у Шевека, однако то ли душивший его гнев, то ли нежелание обижать старика заставили его произнести эти слова почти шепотом, и Атро их не расслышал.

— Нет, — продолжал он, — душа у нашего народа тверда как сталь, уверяю вас. Особенно, если стране будет угрожать враг. Кучка возмутителей спокойствия в Нио и в некоторых рабочих поселках порой пытаются устраивать всякие демонстрации и акции протеста, но нет более возвышенного зрелища, чем то, как люди смыкают свои ряды перед лицом общей опасности! Я знаю, вам не хочется этому верить. Видите ли, дорогой мой, беда учения этой Одо в том, что она была женщиной. И учение ее слишком женское, оно просто не рассматривает некоторых существенных сторон жизни мужчин. «Кровь и сталь, побед величье...» — это слова одного из наших старых поэтов. Одо не дано было понять, что такое истинное мужество, упоение битвой... любовь к знамени отчизны.

Шевек с минуту помолчал, потом мягко сказал:

— Это отчасти, должно быть, верно. По крайней мере, знамен у нас действительно нет.

После ухода Атро в комнату зашел Эфор, чтобы унести посуду, оставшуюся после обеда. Шевек жестом велел ему задержаться, подошел к нему вплотную и, извинившись, положил на поднос клочок бумаги, на котором было написано: «Есть ли в этой комнате подслушивающее устройство?»

Слуга, склонив голову, медленно прочел записку, потом поднял глаза, посмотрел Шевеку прямо в глаза, смот-

рел он долго и с очень близкого расстояния и вдруг, как бы мимоходом, скосил глаза на дымоход.

«А в спальне?» — снова написал Шевек.

Эфор покачал головой, поставил поднос на стол и проследовал за Шевеком в спальню. Он плотно и абсолютно бесшумно закрыл за ними дверь и сказал с улыбкой:

— Тут я еще в самый первый день обнаружил, когда пыль вытирал. — Из-за улыбки морщины у него на лице превратились в глубокие складки.

— А здесь нету?

Эфор пожал плечами:

— Ни разу не замечал. Можно пустить в ванной воду, если хотите, как делают в разных шпионских книжках.

Они прошли в великолепную, похожую на башню из слоновой кости ванную, посреди которой возвышался, точно трон, отделанный золотом унитаз. Эфор повернул ручку, пустил воду и внимательно осмотрел стены.

— Нет, — сказал он. — Не думаю. Я эти шпионские штучки сразу замечаю. Привык, когда служил у одного человека в Нио. Когда научишься их различать, так ни одной не упустишь.

Шевек вытащил из кармана записку и показал Эфору.

— Вы не знаете, как это ко мне попало?

Это была та самая записка, которую он нашел в кармане новой куртки. «Присоединяйтесь к нам, вашим братьям...»

Эфор медленно прочитал записку, шевеля губами, и сказал:

— Нет, этого я не знаю.

Шевек был разочарован. Ему-то казалось, что Эфор чрезвычайно подходит для роли подобного «почтальона».

— Зато, похоже, знаю, от кого это, — помолчав, заявил Эфор.

— Да? От кого же? Как мне с ними встретиться?

Эфор молчал. Потом посильнее пустил воду в ванну и сказал:

— Опасная это затея, господин Шевек!

— Я вовсе не хочу во что-то вас вмешивать. Если вы можете просто объяснить мне... куда пойти и кого спросить... Хотя бы одно имя!

Эфор совсем насупился и умолк надолго.

— Я не... — начал было он и умолк. Потом все же быстро сказал почти шепотом: — Послушайте, господин Шевек, всем известно, как вы им нужны, этим! Но вы и нам нужны не меньше! И все ж вы даже не представляете себе, как это опасно. Ну где вы станете, например, прятаться? С вашей-то внешностью? Здесь вы в ловушке, это правда, так ведь кругом ловушки, куда ни пойди! Вы можете, конечно, убежать отсюда, но скрыться-то все равно не сможете. Не знаю, что вам и сказать. Назвать имена я, конечно, могу. Да у любого в Нио можно спросить — вам покажут, куда пойти. Ведь и нам тоже нужно хоть чем-то дышать! Но если вы, например, попадетесь? Подстрелят вас или что еще, так как я должен буду себя чувствовать? Я у вас восемь месяцев работаю, я вас, можно сказать, полюбил. Я вами восхищаюсь. Они же ко мне с самого начала приходили и сейчас приходят, а я им отвечаю: «Нет. Пусть живет спокойно. Он хороший человек, и он совсем не виноват в наших тутошних бедах. Оставьте его, отпустите лучше туда, откуда он прилетел, где люди живут свободно. Пусть хоть кто-нибудь выйдет отсюда на свободу, из этой богом проклятой тюрьмы, в которой мы все живем!»

— Я не могу вернуться на Анаррес, Эфор. Пока что не могу. И я непременно должен встретиться с этими людьми.

Эфор стоял рядом и молчал. И возможно, именно привычка подчиняться хозяину заставила его в итоге все же согласно кивнуть и сказать шепотом:

— Туйо Маедда, вот кто вам нужен. В Старом Городе есть Шуточная улица, на ней — бакалейная лавка.

— Пае сказал, что мне отныне запрещено выходить за пределы университетского городка. Меня могут остановить. Особенно, если увидят, как я сажусь в поезд.

— А такси на что? Я его вызову, а вам только по лестнице останется спуститься. Я тут на стоянке одного знаю... Кае Оймон его зовут. У него голова варит! Но вот я не уверен...

— Хорошо. Тогда прямо сейчас и вызывайте. Пае только что у нас был, он меня видел и думает, что я торчу дома по болезни. Который час, Эфор?

— Половина восьмого.

— Значит, у меня впереди целый вечер, чтобы отыскать кого нужно. Вызывайте такси, Эфор!

— Я вам только сумку с собой приготовлю...

— Сумку? С чем?

— Ну вам понадобится... кое-какая одежда...

— Да я и так одет! Ступайте скорей!

— Но вы же не можете ехать просто так, без ничего! — встревоженно запротестовал Эфор. — Ну вот деньги у вас, к примеру, есть?

— Ах да... Это я должен взять.

Шевек уже не в силах был устоять на месте. Эфор почесал в затылке и с видом мрачным и угрюмым прошел в холл к телефону, чтобы вызвать такси. Когда он вернулся, Шевек уже надел куртку и ждал его у двери холла.

— Вниз ступайте, — проворчал Эфор. — Кае через пять минут к черному ходу подъедет. Скажете ему, чтоб ехал через Рощу — там пропускного пункта нет, а то у главных ворот вас точно остановят.

— А вы-то как же, Эфор? Вам ничего не будет?

Оба говорили шепотом.

— А я и не знаю, что вас дома нет! Утром скажу, что вы еще не вставали. Спите, мол. Это их немного задержит.

Шевек взял старика за плечи, посмотрел в глаза, потом обнял и пожал руку.

— Спасибо, Эфор!

— Желаю удачи! — откликнулся он немного смущенно. Но Шевек уже спускался по лестнице.

День, проведенный в обществе Веа, обошелся Шевеку весьма недешево, он тогда истратил почти все свои наличные деньги. Поездка на такси в Нио стоила еще десять единиц. Он сошел у центральной станции метро и по схеме нашел, как добраться до Старого Города. В этой части столицы он еще никогда не был. Шуточная улица на карте города отмечена не была, и он решил сойти на той остановке, которая так и называлась: «Старый Город». Поднявшись из роскошного мраморного вестибюля на улицу, он от неожиданности замер на месте: это было совсем не похоже на Нио Эссейю!

Моросил мелкий дождь, над улицами висел туман, и все тонуло во тьме, потому что ни один уличный фонарь не горел. Столбы, правда, были на месте, но лампы либо перегорели, либо были разбиты. Из-под закрытых ставнями окон кое-где просачивались проблески желтого света. На дальнем конце улицы он заметил ярко освещенный

вход в какое-то питейное заведение, возле распахнутых дверей болтались несколько человек, разговаривавших чересчур громко. Мокрые, скользкие тротуары были покрыты обрывками раскисшей бумаги и прочим мусором. Витрины магазинов, насколько он сумел отличить их во тьме, были низенькие, сверху донизу закрытые тяжелыми металлическими или деревянными ставнями, одна из них, совершенно обгоревшая, черная и пустая, поблескивала осколками битого стекла. Люди быстро шли мимо — молчаливые, торопливые тени.

Еще на выходе из метро, поднимаясь по лестнице, Шевек обернулся к какой-то старой женщине, которая шла сзади, и спросил, как ему попасть на Шуточную улицу. У входа в подземку светился желтый шар-указатель, в свете которого он ясно увидел лицо женщины: белое, морщинистое, с мертвым от усталости, каким-то враждебным взглядом. В ее ушах покачивались большие стеклянные серьги, стукаясь о щеки. Она с трудом поднималась по лестнице, сгорбленная то ли усталостью, то ли артритом, но оказалась вовсе не такой уж старой — вряд ли ей было больше тридцати.

— Не подскажете ли вы мне, как пройти на Шуточную улицу? — снова спросил ее Шевек, чуть запинаясь от неуверенности. Женщина равнодушно глянула на него, заторопилась и, наконец добравшись до верхней ступеньки лестницы, поспешила прочь, так и не сказав ни слова.

Он побрел куда глаза глядят. Возбуждение, вызванное внезапным решением бежать из университетского городка, улеглось; теперь он отчетливо сознавал, что здесь небезопасно, что за ним кто-то следит, а может, и охотится. Он старательно обошел группу мужчин перед освещенным входом в пивную, инстинктивно чувствуя, что одинокий незнакомец совершенно не подходит к их развеселой компании. Заметив впереди какого-то мужчину, он догнал его и повторил тот же вопрос, который задал женщине. Мужчина сказал лишь:

— Не знаю, — и свернул куда-то вбок.

Ничего не оставалось, как идти вперед. Шевек вышел на перекресток, освещенный гораздо лучше улиц; свет от него странными, тусклыми полосами как бы вдавливался в сплошную, плотную тьму города. На перекрестке также было немало освещенных дорожных знаков, указателей и

объявлений. Туда же выходили двери многих винных лавок и ломбарда, некоторые из магазинов были еще открыты. Здесь было довольно людно, многие ныряли в двери магазинов или выходили оттуда... Потом Шевек увидел лежавшего прямо на земле, в сточной канаве, прямо под дождем человека, куртка его задралась, закрывая лицо. Он был то ли болен, то ли спал, то ли умер... Шевек в ужасе смотрел то на него, то на прохожих, которые словно и не замечали лежавшего в канаве человека.

И тут кто-то остановился рядом с ним, заглядывая ему в лицо. Это оказался небритый коротышка с кривой шеей и красными глазами, ему было за пятьдесят, беззубый рот раскрыт в усмешке, лицо тупое и жалкое. Он, хихикая, показывал трясущимся пальцем на ошалевшего Шевека и без конца бормотал:

— Ты чего это столько волос нарастил, а? Нет, ты ответь, откуда ты, такой волосатый?

— Не могли бы... не могли бы вы сказать, как мне пройти на Шуточную улицу?

— Шуточную, говоришь? А как же! Мы шутить любим, хотя какие уж тут шутки: не до жиру, быть бы живу! Слушай, у тебя монетки не найдется? Страсть хочется горло промочить, а тут еще холодрыга такая. Да точно — найдется! — Он подошел ближе, и Шевек отшатнулся, видя его протянутую руку, но по-прежнему ничего не понимая. — Ну что вы, ей-богу, это же шутка, я у вас всего только денежку попросил, — забормотал мужичонка, не угрожая, но и не жалобно, а скорее машинально, все так же бессмысленно ухмыляясь. Дрожащая рука его по-прежнему тянулась к Шевеку.

И тут до Шевека дошло, что это обыкновенный попрошайка, нищий. Он порылся в карманах, вытащил несколько монет и сунул их коротышке в руку, а потом, похолодев от непонятного ему самому страха, оттолкнул нищего в сторону и бросился бежать, а нищий все что-то бормотал, все пытался схватить его за куртку... Пытаясь избавиться от него, Шевек нырнул в ближайшую освещенную дверь, вывеска над которой гласила: «Принимаем вещи на комиссию по выгодной цене». Внутри, среди груд поношенных пальто и курток, обуви и шалей, поломанных инструментов, ламп, каких-то канистр, ложек, украшений, обломков чего-то и просто самого разнообразного хлама,

однако снабженного ценниками с проставленной ценой, Шевек наконец остановился, пытаясь собраться с мыслями.

— Чего-нибудь желаете?

Он снова задал свой вопрос о Шуточной улице.

Хозяин лавчонки, темноволосый смуглый человек, почти такого роста, как Шевек, но только очень худой и сутулый, внимательно на него посмотрел.

— А зачем вам туда надо?

— Я ищу одного человека, он там живет.

— А сами-то вы откуда?

— Мне очень нужно поскорее попасть на эту Шуточную улицу. Скажите, это далеко?

— Откуда вы, спрашиваю?

— Я с Анарреса, с вашей луны то есть, — сердито ответил Шевек, не думая, что говорит. — Мне совершенно необходимо попасть на эту улицу — прямо сейчас, сегодня!

— Так это вы? Тот самый ученый? Но что вы здесь-то делаете? Да еще ночью?

— Скрываюсь от полиции! Вы что, хотите сообщить им, что я здесь? Или все-таки поможете мне?

— Черт возьми! — вырвалось у старьевщика. — Нет, черт возьми! Послушайте... — Он колебался, он явно хотел уже что-то сказать, что-то совсем другое, но все же передумал и велел Шевеку: — Ладно. Вы идите вперед. Я вас догоню, вот только магазин закрою. Идите, идите. Я вас отведу куда надо. Нет, черт возьми, а?

Он бросился куда-то в глубь магазина, выключил свет и вышел на улицу вслед за Шевеком, затем опустил тяжелую металлическую ставню, запер ее на замок, запер дверь, и они очень быстро пошли куда-то, а он все приговаривал:

— Скорее! Идите, пожалуйста, скорее!

Они миновали не меньше двух десятков кварталов, все глубже уходя в лабиринт извилистых улочек и переулков, в самое сердце Старого Города. Дождь продолжал моросить, в темноте кое-где поблескивали полоски света из-под ставень; пахло помойкой, гнилью, мокрыми камнями и металлом. Наконец они свернули в неосвещенный переулок без названия, зажатый между двумя высокими старыми домами, нижние этажи которых были сплошь заняты магазинами. Провожатый Шевека остановился и ногой постучал в закрытую ставнями витрину одного из них. Над дверью магазинчика красовалась надпись: «В. Маедда. Луч-

шая бакалейная лавка в городе». Прошло немало времени, прежде чем дверь приоткрылась, и старьевщик заговорил с кем-то, стоявшим внутри. Потом он махнул Шевеку рукой, и они быстро вошли в дом. Впустила их какая-то девушка.

— Туйо там, в дальней комнате, пойдемте, — сказала она, быстро глянув Шевеку в лицо, в коридоре было почти темно, но откуда-то из-за помещения магазина падала полоса неяркого света. — Неужели это вы и есть? — Голос у нее был высокий, почти детский, но звучал уверенно. Она как-то странно улыбнулась. — Неужели это действительно вы?

Туйо Маедда оказался темноволосым человеком лет сорока с мрачноватым умным лицом. В нем чувствовалось какое-то внутреннее напряжение. Он быстро захлопнул толстую тетрадь, в которой что-то писал, и вскочил навстречу вошедшим. Со старьевщиком он дружески поздоровался, назвав его по имени, а с Шевека не сводил настороженных глаз.

— Он, совершенно растерянный, ввалился ко мне в магазин и стал спрашивать, как пройти на Шуточную улицу. Знаешь, Туйо, по-моему, он говорит правду... это действительно он... тот самый... ну, с Анарреса...

— Да, это так. Верно я говорю, Шевек? — Маедда держался спокойно. Речь у него была неторопливой, хотя глаза тревожно блестели.

— Да. Мне нужна ваша помощь.

— Кто вас послал ко мне?

— Первый же человек, которого я об этом попросил. Я не знаю, кто вы. Я спросил его, куда я мог бы обратиться за помощью, и он сказал: пойти нужно к вам.

— Кто-нибудь еще знает, что вы здесь?

— Они не знают даже, что меня вообще дома нет. Но завтра, боюсь, узнают.

— Сходи-ка за Ремейви, — сказал Маедда девушке. — Садитесь, господин Шевек. По-моему, вам стоит рассказать нам подробнее, что все-таки произошло.

Шевек сел на деревянный табурет, но куртку расстегивать не стал: он настолько устал, что его знобило.

— Я убежал, — сказал он. — Из Университета, из этой золоченой клетки. И не знаю, куда мне теперь пойти. Возможно, тут кругом только клетки и тюрьмы. Я пришел сюда потому, что слышал, как говорят о «народе», о «низших

слоях общества», о «рабочем классе», и я решил, что это звучит похоже на мой собственный народ. На тот народ, где люди способны помогать друг другу...

— А какая помощь вам требуется?

Шевек постарался взять себя в руки. Он огляделся — это был маленький, уютный кабинет.

— У меня есть кое-что, что им очень хотелось бы получить, — сказал он, внимательно глядя на Маедду. — Одна идея. Одна научная теория. Я прилетел сюда с Анарреса в надежде, что смогу здесь завершить эту работу и опубликовать ее, сделать достоянием всех. Я не понимал, что здесь любая научная идея — собственность государства. Я ни для каких государств и правительств не работаю, а потому не могу брать деньги и вещи, которые мне дают в уплату за мои идеи. Я хочу выбраться отсюда! Но домой пока отправиться не могу. Так что я пришел к вам. Хотя вам, видимо, не нужна моя теория, но, возможно, вам не нужно и ваше правительство.

— Нет, — улыбнулся Маедда. — Оно мне совершенно не нужно. Но я сам нашему правительству тоже не очень-то нужен. Вы выбрали не самое безопасное место, доктор Шевек. Причем как для вас самого, так и для нас... Но успокойтесь. Сегодня еще не кончилось, а завтра мы решим, что делать дальше.

Шевек вытащил записку, найденную в кармане куртки, и подал Маедде.

— Вот почему я пришел. Это от тех, кого вы знаете?

— «Присоединяйтесь к нам, вашим братьям...» Нет, я их не знаю. Но, возможно...

— Вы одонийцы?

— Частично. Синдикалисты, сторонники доктрины свободы воли, социалисты. Мы работаем совместно с Союзом Социалистического Труда Тху, но занимаем антицентралистскую позицию. Вы появились в горячее время, знаете ли.

— Из-за войны?

Маедда кивнул:

— Три дня назад мы заявили о проведении демонстрации. Против внеочередного призыва в армию, против дополнительных военных налогов, против повышения цен на продукты питания. В Нио Эссейе четыреста тысяч безработных, и они сбивают ставки, способствуя дальнейше-

му повышению цен. — Все это время он внимательно следил за выражением лица Шевека, теперь же, словно окончив его обследовать, вдруг отвернулся и тяжело откинулся на спинку стула. — В этом городе может произойти все что угодно. Нам совершенно необходима всеобщая забастовка, которой будет предшествовать проведение массовых демонстраций. Нечто подобное Забастовке Девятого Месяца, которую возглавляла Одо, — прибавил он сухо и натянуто усмехнулся. — Нам бы сейчас такую Одо! Вот только второй луны у них не найдется, чтобы купить нас. Мы добьемся справедливости здесь или нигде... — Он снова посмотрел на Шевека и вдруг сказал значительно более мягко: — А вы хоть понимаете, что означало для нас существование вашего общества в течение всех этих ста пятидесяти лет? Вы знаете, что здесь люди, когда хотят пожелать друг другу счастья и удачи, говорят так: «И пусть в своей второй жизни ты родишься на Анарресе!» Знать, что действительно существует мир без правительства, без полиции, без эксплуатации... что власти не могут сказать, что это просто мираж, идеалистические бредни!.. А вы понимаете, почему они вас так хорошо спрятали ото всех, доктор Шевек? Почему вам ни разу не разрешили присутствовать ни на одном митинге? Почему они непременно устроят на вас облаву, как только обнаружат, что вы исчезли? Отнюдь не потому лишь, что им так нужна ваша великая теория. Но потому, что вы носитель иных и очень опасных идей. Вы, так сказать, идея анархизма во плоти. И носитель подобных идей сбежал от них и бродит на свободе!

— Ну, значит, у вас уже есть «новая Одо», — прозвучал вдруг звонкий голосок девушки, она успела услышать последний монолог Маедды. — В конце концов, Одо ведь тоже была всего-навсего «идеей». И доктор Шевек — тому доказательство.

Маедда некоторое время молчал.

— Доказательство, которое никому нельзя предъявить, — сказал он наконец.

— Почему?

— Если люди узнают, что он здесь, полиция это тоже узнает.

— Ну и что? Пусть только попробуют взять его! — сказала девушка и улыбнулась.

— Демонстрация должна быть абсолютно мирной, лишенной всяких элементов насилия, — сказал Маедда както неожиданно упрямо. — С этим согласились даже члены Союза Социалистического Труда!

— А я с этим никогда не была согласна, Туйо! И я не позволю этим «черным мундирам» бить меня по лицу или вышибать мне мозги! Если меня кто-нибудь ударит, я ударю в ответ.

— Можешь поступать как хочешь, конечно, но только силой справедливости не добьешься!

— А непротивлением не добьешься власти!

— Мы и не стремимся к власти. Мы как раз хотим покончить с нею!.. А вы что скажете? — Маедда резко повернулся к Шевеку. — Если найдены средства для достижения цели — это конец пути... Так, кажется, Одо твердила всю жизнь? Только миром можно добиться мира, только справедливые действия обеспечивают справедливость! Мы не можем допустить раскола по этой причине, различного отношения к средствам накануне столь важной акции!

Шевек посмотрел на него, на девушку, на старьевщика, который стоял возле двери, чутко прислушиваясь к тому, что происходит снаружи. Потом сказал спокойно и тихо:

— Если я могу быть вам чем-то полезен, используйте меня. Например, я мог бы опубликовать свое заявление по этим вопросам в одной из ваших газет. Я прибыл на Уррас не для того, чтобы играть в прятки. Если все люди здесь будут знать о моем присутствии, о том, что я среди вас, то правительство, возможно, побоится арестовывать меня прилюдно. Не уверен, конечно...

— В том-то и дело, — сказал Маедда. — Да, так мы и поступим. — Его темные глаза возбужденно горели. — Где, черт возьми, этот Ремейви? Зиро, позвони-ка его сестре и скажи: пусть разыщет его где угодно и немедленно приведет сюда! — Он повернулся к Шевеку: — Да, доктор Шевек, напишите! Напишите, почему вы прилетели сюда, напишите об Анарресе, напишите, почему вы не хотите продавать себя правительству йоти... Пишите что хотите — мы все опубликуем!.. Зиро! И Мейстхе тоже позвони, будь добра. А вас, доктор Шевек, мы от них спрячем, но, клянусь, каждый человек в А-Йо узнает, что вы здесь, что вы с нами! — Слова лились у него потоком, руки нервно подергивались, он жаждал действий и метался по комнате, не в силах усидеть на месте. — А потом, после демонстрации,

после забастовки, мы посмотрим! Возможно, кое-что тогда переменится. Возможно, вам и прятаться больше не придется...

— Возможно, распахнутся двери всех тюрем! — подхватил Шевек. — Ладно, дайте мне бумаги, я напишу.

Девушка по имени Зиро подошла к нему, улыбнулась чуть робко, чуть театрально поклонилась ему и поцеловала в щеку. Потом быстро повернулась и вышла из комнаты. И он еще долго ощущал прикосновение ее прохладных губ.

Сутки он провел на чердаке какого-то здания там же, на Шуточной улице, и еще две ночи и один день — в подвале, где была свалена всякая старая мебель, среди пустых рам из-под зеркал и сломанных кроватей. Он писал статью за статьей. Ему приносили готовый, уже напечатанный в газете материал буквально через несколько часов после того, как он его заканчивал: сперва его обширное заявление было опубликовано в популярной газете «Новый век», потом, когда после этого типографию газеты закрыли, а ее издателей арестовали, написанное Шевеком стали печатать в виде листовок в какой-то подпольной типографии — там же, где печатали планы проведения демонстрации и всеобщей забастовки и различные призывы к их участникам. Шевек не перечитывал написанного и весьма невнимательно прислушивался к рассказам Маедды и остальных о том, с каким энтузиазмом воспринимались его статьи, о том, что к забастовке намерены присоединиться все более широкие слои населения, и о том, какое впечатление произведет на мировую общественность его присутствие на демонстрации. Оставаясь ненадолго в одиночестве, он порой вытаскивал из кармана рубашки крошечную записную книжку и смотрел на зашифрованные записи и формулы Общей Теории Времени. Он смотрел на них и не мог их прочесть. Он их не понимал. И тогда он снова убирал записную книжку и сидел, уронив голову на руки.

Анаррес не имел своего флага, так что самому Шевеку нечем было размахивать на демонстрации, но среди лозунгов, провозглашавших всеобщую забастовку, голубых и белых знамен синдикалистов и социалистов он заметил

множество самодельных флажков с зеленым Кругом Жизни посредине — старинным символом движения одонийцев, созданным два века назад. Бесчисленные флажки и знамена храбро реяли на солнце.

После чердаков и подвалов приятно было вновь оказаться на свежем воздухе, приятно было идти со всеми вместе, размахивать руками, говорить громко, быть частью огромной толпы людей. Тысячи и тысячи демонстрантов заполнили улицы и переулки Старого Города, мощным потоком текли по главному проспекту; это было поистине впечатляющее зрелище. Когда люди запели, охваченные единым могучим порывом, глаза Шевека наполнились слезами. Его охватило невыразимое, глубокое чувство единства с этой толпой, зажатой тесными улочками, стремящейся на простор, к весеннему солнцу и свежему ветру. Толпа растянулась неопределимо далеко, и песня, подхваченная тысячами голосов, прокатывалась по ней подобно волнам, замедленно и неровно, как бы нагоняя сама себя. Так эхо одного пушечного выстрела встречается со вторым. Получалось, что все куплеты песни пелись одновременно, вперемешку, хотя в каждом ряду люди пели их в нужном порядке, с первого до последнего.

Шевек не знал их песен и только слушал, весь во власти этого пения и всеобщего подъема, пока из самых первых рядов до него не докатилась — волна за волной по морю людских голов — та песня, которую пели и у него на родине. Он поднял голову и запел ее вместе со всеми, на своем родном языке, так, как когда-то выучил еще в школе. Это был гимн одонийцев-мятежников, его пели два века назад на этих самых улицах его предки, предки его народа.

Заря разбудит тех, кто спит;
Заполнит мир ее сиянье!
Исчезнет тьма, и мрак бежит,
И сбудутся все обещанья!

Те, кто шел рядом с Шевеком, умолкли, слушая его, и тогда он запел во весь голос, улыбаясь и дружно шагая со всеми вместе вперед.

Возможно, на площади Капитолия собралось сто тысяч людей, а может, в два раза больше — индивиды в толпе, подобно элементарным частицам, не поддаются точному

подсчету, и невозможно точно определить их местонахождение в данный момент, невозможно предсказать их поведение. И все же эта немыслимо огромная масса людей была как-то организована и делала именно то, что от нее ожидалось организаторами забастовки: люди с песнями прошли по улицам до площади Капитолия, заполнив ее и прилегающие к ней улицы до отказа, и относительно спокойно и терпеливо стояли под ярким полуденным солнцем, слушая выступавших, чьи голоса, искаженные и усиленные громкоговорителями, звонким эхом отдавались от фасадов Сената и Директората и разносились над бесконечной и тихо гудевшей толпой.

Здесь, на этой площади, сейчас больше народа, чем во всем Аббенае, подумал Шевек; мысль была мимолетной, даже не мысль, а попытка придать непосредственному ощущению количественную характеристику. Он стоял с Маеддой и остальными на ступенях здания Директората; за спиной у них был портик с красивыми колоннами и высокими бронзовыми дверями. Шевек смотрел на трепещущее перед ним море темноволосых голов и слушал, как и все эти люди, тех, кто выступал с речами: не слыша и не понимая конкретных слов — в том смысле, в каком разум слышит и постигает собственные мысли или как мысль воспринимает и постигает сама себя. Когда он заговорил сам, то ему казалось, что речь его мало чем отличается от слушания. Им управляло сейчас неосознанное желание сказать что-то конкретное — он вообще не воспринимал себя в данный момент как нечто самостоятельное, отдельное от этой толпы, — но мысли его и чувства, единые для всех присутствующих, сами находили для себя словесную оболочку и изливались наружу. Многократное эхо, отражавшееся от каменных фасадов массивных зданий, впрочем, несколько сбивало его, заставляя говорить медленней. Но выбирать слова ему не приходилось ни разу. Он говорил то, что было у них на душе, говорил на их языке — хотя сказал не больше и не умнее, чем когда-то сам себе, в своем одиночестве, собственному сердцу.

— Нас соединяет страдание. Не любовь. Любовь не подчиняется разуму — напротив! Она даже может возненавидеть разум, если он попытается воздействовать на нее силой. Те узы, которыми мы скреплены, не имеют выбора. Мы братья. Мы братья по всему, что делим друг с другом.

Братья по тем страданиям, которые каждый переживает в одиночку, братья по голоду и нищете, а еще нас объединяет в братство надежда. Мы хорошо знаем, откуда взялось наше братство, мы вынуждены были это узнать. И мы понимаем, что помощи нам ждать неоткуда, кроме как друг от друга; ничья рука не спасет нас, если мы сами не протянем друг другу руки. И пусть наши руки будут пусты! Когда у тебя ничего нет, ты ничем не владеешь. Никем и ничем не обладаешь. Ты свободен! Все, что у тебя есть, это ты сам. И еще то, что ты можешь отдать и отдаешь другим.

Я здесь потому, что во мне вы видите воплощение того обещания, которое одонийцы дали двести лет назад здесь, в этом самом городе. Мы — сбывшееся обещание. У нас, на Анарресе, ничего нет, кроме нашей свободы. И мы ничего не можем дать вам, кроме вашей свободы. У нас нет законов, но есть единственный принцип, соблюдаемый всеми, — взаимопомощь. У нас нет правительства, мы свободное объединение людей. У нас нет государства, мы не являемся нацией, у нас нет ни президента, ни премьер-министра, ни вождя, у нас нет генералов, бизнесменов, банкиров, землевладельцев, у нас, правда, нет зарплаты и благотворительности, но нет и полиции, нет солдат, нет войн! И многого другого у нас тоже нет. Мы стараемся всем поделиться, а не всем завладеть. Наше общество нельзя отнести к процветающим, это правда. Мы не богаты, ни один из нас. Но никто из нас не обладает и властью над другими. Если вы хотите создать у себя именно такое общество, если вас привлекает такое будущее, то вот что я вам скажу: вы обязательно должны прийти к нему с пустыми руками, одинокими и нагими, каким ребенок приходит в этот мир, навстречу своему будущему, не имея ни прошлого, ни собственности и пребывая в полной зависимости от других людей, которые взяли на себя ответственность за его жизнь. Вы не можете взять то, чего не давали сами, и вы должны научиться отдавать. Нельзя купить революцию. Она должна существовать в вашей душе, в вашем сердце, или вы не обретете ее нигде.

Шевек уже кончал говорить, когда голос его заглушил громкий стрекот полицейских вертолетов.

Он отступил от микрофона и посмотрел вверх, щурясь на солнце. И многие в толпе тоже подняли головы, и одновременные движения их рук и голов были похожи на ве-

тер, волнами пробежавший по залитому солнцем хлебному полю.

Грохот винтов могучих машин в каменной коробке площади был непереносим, он напоминал вой какого-то фантастического, сказочного чудовища. И совершенно заглушил сперва автоматные очереди, которые обрушились из вертолетов на безоружных людей. Даже взлетевший над толпой гневный ропот был еле слышен сквозь этот шум, и человеческие слова, казалось, лишались смысла, перекрываемые безмозглым рычанием оружия и техники.

Огонь согнал часть людей на середину площади, а часть из них бросилась к зданию, портик которого мог укрыть на время тех, кто стоял ближе к крыльцу. Через несколько секунд под ним яблоку некуда было упасть. Крик, висевший над толпой, в панике бросившейся назад, к тем восьми улицам, что привели людей сюда, на площадь Капитолия, перерос в дикий вой, похожий на вой бури. Вертолеты висели прямо над головой, и в их реве невозможно было определить, прекратилась ли стрельба; убитые и раненые падали не сразу, настолько плотно они были зажаты толпой.

Обитые бронзой двери Директората поддались довольно легко, их треска даже никто не расслышал. Люди ломились внутрь в поисках убежища, желая спастись от железного дождя, падавшего с небес. Первых втолкнули в высокий мраморный вестибюль напиравшие сзади. Кое-кто сразу постарался спрятаться в укромном уголке; другие продолжали проталкиваться дальше, рассчитывая найти другой выход из здания; третьи нарочно задерживались и ломали, крушили все, что попадалось им под руку. Но вскоре явились солдаты. Они поднялись четким шагом, одетые в черные отлично сшитые мундиры, по ступеням парадного входа, где лежали убитые и умирающие от ран мужчины, женщины и дети, вошли в вестибюль и обнаружили на высокой, серой мраморной стене одно лишь слово, написанное на уровне человеческого роста широкими кровавыми мазками: ДОЛОЙ!

Они выстрелили в мертвого человека, который лежал ближе всего к этой надписи на стене, однако много позднее, когда в здании Директората уже был восстановлен порядок и дерзкое слово тщательно смыли со стены горячей водой с мылом, оно как бы проступило снова, о нем говорили на каждом углу, оно просто не могло исчезнуть, настолько глубокий смысл и значение оно имело.

Шевек вскоре понял, что дальше с таким спутником идти невозможно: раненый слабел на глазах и без конца спотыкался. Идти, собственно, было некуда — разве что прочь от площади Капитолия. И спрятаться тоже было негде. Толпа дважды пыталась взять штурмом бульвар Мезее и противостоять полиции и войскам, но тут появились армейские бронированные машины и погнали людей дальше, к Старому Городу. «Черные мундиры» в общем стреляли не так часто, однако автоматные очереди и грохот вертолетов слышались отовсюду; вертолеты неустанно кружили над улицами, забитыми демонстрантами, и спастись от пуль в этой толпе было практически невозможно.

Спутник Шевека дышал с трудом, захлебываясь, точно рыдал, хватая ртом воздух. Он с огромным трудом держался на ногах. Шевек почти тащил его на себе, и теперь они уже изрядно отстали от основной толпы и своих товарищей. Не стоило даже пытаться догнать их.

— Ладно, посиди немного вот здесь, отдохни, — сказал Шевек раненому и помог ему усесться на верхней ступеньке ведущей вниз лестницы какого-то здания, похожего с виду на склад. На закрытых ставнях наискось, огромными буквами было написано мелом: ЗАБАСТОВКА. Шевек спустился по этой лестнице к двери, ведущей, видимо, в подвал: дверь была заперта. Здесь все двери всегда были заперты. Разумеется, это тоже была частная собственность. Он выломал кусок камня из потрескавшейся ступеньки и, не раздумывая, сбил замок. Никакой вины он при этом не испытывал — наоборот, скорее уверенность человека, который отпирает дверь собственного дома. Он осторожно заглянул внутрь и увидел, что в подвале никого нет, только стоят пустые упаковочные клети. Он помог своему спутнику спуститься, захлопнул дверь и сказал:

— Ну вот, садись. Если хочешь, можешь и прилечь. А я пока поищу, нет ли здесь воды.

Подвал явно принадлежал какому-то химическому предприятию, так что здесь нашлось даже несколько водопроводных кранов и целый арсенал противопожарных средств. Когда Шевек вернулся к своему спутнику, тот был без сознания, и Шевек воспользовался этим, чтобы осмотреть и промыть ему рану на руке несильной струей воды из пожарного шланга. Рана оказалась значительно серьезнее, чем он ожидал. Должно быть, в руку попала не одна

пуля; бедняге оторвало два пальца и искорежило ладонь и запястье. Острые осколки костей торчали из окровавленной плоти, как зубочистки. Этот человек стоял рядом с Шевеком и Маеддой, когда вертолеты открыли огонь; в него попало почти сразу, и он бросился к Шевеку, прижался к нему, словно ища спасения и поддержки. Шевек обхватил его рукой за плечи и не отпускал от себя, пока они пробирались в поисках другого выхода через здание Директората. Кроме того, в такой давке вдвоем устоять на ногах было значительно легче, чем одному.

Он сделал все, что мог, чтобы остановить кровотечение с помощью примитивной шины и жгута, и постарался наложить хотя бы какую-то повязку, чтобы немного прикрыть страшную рану. Потом заставил своего спутника выпить немного воды. Он не знал даже, как его зовут, судя по белой повязке на рукаве, этот человек был из социалистов, по виду ему было, как и Шевеку, лет сорок или, может, чуть больше.

Работая на юго-западе, Шевек видел и куда более серьезно изувеченных людей — там часто случались аварии — и узнал тогда, что человек способен вытерпеть совершенно немыслимые страдания и выжить. Но там, на Анарресе, о раненых заботились. Доставляли хирурга, который мог сделать операцию или полностью ампутировать конечность, привозили и переливали плазму и физраствор, чтобы хоть как-то компенсировать потерю крови, если крови нужной группы рядом не оказывалось, или по крайней мере устраивали человеку удобную постель, в которой можно было согреться и забыться сном...

Шевек сел на пол рядом с раненым, который был в полуобмороке от болевого шока, и стал рассматривать помещение склада — погрузочные клети, длинные темные проходы между ними, светлые проблески дневного света в щелях под опущенными ставнями на окнах, белые потеки селитры на потолке, отпечатки грубых башмаков рабочих и колес вагонеток на пыльном цементном полу. Всего час назад сотни тысяч людей радовались и пели под открытым небом, а сколькие из них теперь убиты?.. И они двое скрываются в каком-то жалком подвале...

— Жалкие вы все-таки люди! — сказал Шевек, обращаясь к своему спутнику на языке правик. — Раз вы не можете держать свои двери незапертыми, то никогда не будете

свободными! — Потом он тихонько и нежно коснулся лба раненого. Лоб был холодный и влажный. Шевек ненадолго ослабил жгут у него на руке, встал, прошелся по грязному полу, подошел к двери и осторожно поднялся по лестнице на улицу. Основная масса бронемашин уже прошла. Одинокие и перепуганные демонстранты из числа отставших спешили мимо, опустив головы и стараясь поскорее миновать вражескую территорию. Шевек тщетно попытался остановить двоих, наконец третий остановился возле него сам.

— Мне нужен врач, — сказал ему Шевек. — У меня там раненый. В подвале. Вы не могли бы прислать врача?

— Лучше вытаскивайте его оттуда поскорее и уходите.

— А вы поможете мне тащить его?

Но человек только покачал головой и поспешил прочь:

— Они идут цепью, прочесывают дома, — крикнул он на бегу, чуть обернувшись. — Уходите! Уходите скорей!

Больше мимо не прошел никто. Вскоре на дальнем конце улицы Шевек увидел цепочку людей в черных мундирах. Он быстро спустился в подвал, захлопнул дверь, подпер ее покрепче и сел рядом с раненым на пыльный пол.

— Вот черт! — вырвалось у него.

Через некоторое время, успокоившись, он вытащил из кармана маленькую записную книжку и принялся изучать заветные формулы.

В полдень он снова осторожно выглянул наружу и увидел армейскую бронемашину, стоявшую у противоположного тротуара. Чуть дальше, у перекрестка поперек улицы были поставлены еще две бронемашины. Ему стало ясно, что за крики он слышал, сидя в подвале: должно быть, это перекликались солдаты. Или им кто-то ОТДАВАЛ ПРИКАЗЫ.

Атро однажды объяснил ему, как отдаются приказы, — это делается как бы сверху вниз: сержанты могут отдать приказ рядовым, лейтенанты — рядовым и сержантам, капитаны... и так далее, а вот генералы могут отдавать приказы всем остальным и сами не слушаться ничьих приказов, кроме приказов Главнокомандующего. Шевек слушал Атро со все возрастающим отвращением. «Вы называете это четкой организацией? — спросил он тогда. — Вы называете это дисциплиной? Но ведь это ни то ни другое! Это жестокий механизм принуждения, работающий, правда, весь-

ма эффективно — не хуже парового двигателя, изобретенного в Седьмом тысячелетии. Разве можно с помощью такой застывшей допотопной структуры решать насущные проблемы?» В ответ на это Атро разразился целой речью, аргументируя достоинства войны как средства для воспитания мужества, истинно мужского характера, а также — для отсева тех, кто «никуда не годится». Однако сама направленность подобной аргументации вынудила его в итоге признать, что партизанские отряды, организованные из представителей «низов» и держащиеся на самодисциплине, способны действовать не менее эффективно, чем регулярные войска. «Хотя партизаны способны одерживать победы только в том случае, если сражаются за что-то свое, личное — ну там, за свой дом или еще что-то в этом роде», — не сдавался старый Атро. Но Шевек с ним спорить не стал. А сейчас как бы продолжил тот старый спор — сидя в полутемном подвале, среди погрузочных клетей с химическими веществами, на которых не было даже бирок с названиями. Он мысленно объяснял Атро, что теперь ему ясно, почему армия организована именно так, а не иначе. Подобная субординация действительно была совершенно необходима. Ни одна иная разумная форма организации не могла бы служить подобным целям. Он просто не понял тогда, что цели-то эти просты: оснащенные автоматическим оружием люди должны с легкостью, вызванной приказанием свыше, убивать безоружных мужчин и женщин в любом количестве. Вот только он по-прежнему не видел в этом ни особого мужества, ни вообще чего-либо, свойственного настоящим мужчинам.

Иногда Шевек разговаривал и со своим спутником. Когда стало темнее, этот человек все чаще лежал с открытыми глазами и раза два даже застонал, да так жалобно, по-детски, что у Шевека дрогнуло сердце. Ведь его спутник с отчаянным мужеством все то время, пока вокруг них безумствовала толпа, старался держаться на ногах и идти вперед, сквозь здание Директората, к Старому Городу, пряча раненую руку под куртку, прижимая ее к боку, чтобы Шевек не заметил, как серьезно он ранен, чтобы не отставать, не задерживать Шевека. Когда он застонал особенно громко, Шевек сжал его здоровую руку и прошептал:

— Тише, тише, брат, услышать могут! — Вряд ли их услышали бы снаружи, просто ему невыносимо было слышать, как этот человек страдает, и не иметь возможности ничем облегчить эти страдания. Раненый слабо кивнул и закусил губу.

Они просидели в подвале трое суток. Время от времени где-то рядом возникали спорадические перестрелки, армией явно по-прежнему были блокированы все входы и выходы на бульвар Мезее, находившийся поблизости. Правда, мятежники уже отступили, на бульваре и вокруг было так много солдат, что Шевеку и его спутнику, видимо, не оставалось ничего другого, как выйти и сдаться на их милость. Один раз, когда раненый в очередной раз пришел в себя, Шевек спросил его:

— А если мы выйдем наружу и добровольно сдадимся, что с нами сделают?

Раненый улыбнулся и кратко ответил:

— Пристрелят.

Вокруг все время слышалась стрельба, то дальше, то ближе, порой перестрелка продолжалась часами, а порой они слышали отдельные мощные взрывы и стрекот вертолетов. Вероятнее всего, раненый был абсолютно прав. Шевеку только не совсем ясно было, почему он улыбнулся.

Он умер от потери крови в ту ночь, когда они лежали, прижавшись друг к другу, чтобы согреться, на груде соломы, собранной Шевеком среди упаковочных клетей. Он уже окоченел, когда Шевек проснулся. Шевек сел и прислушался: в огромном темном подвале, на улицах наверху и во всем городе стояла тишина — тишина смерти.

Глава 10

АНАРРЕС

Под железнодорожными путями на юго-западе часто делали насыпь высотой больше метра, позволявшую чуть меньше зависеть от подвижек пылевых барханов, да и вообще пыльная пелена над нею была не такой густой, и можно было «наслаждаться» открывавшимися из окна видами пустыни.

Юго-запад был единственным из восьми регионов Анарреса, где не было ни одного приличного источника воды. Летом на самом юге, правда, образовывались болота бла-

годаря таянию полярных снегов; но чем ближе к экватору, тем чаще попадались только мелкие, больше похожие на лужи, засоленные озера в обширных и тоже засоленных котловинах. Здесь не было настоящих гор, но примерно через каждые сто километров встречалась цепь холмов, тянувшихся вдоль меридианов. Бесплодные, покрытые трещинами и кое-где украшенные каменистыми насыпями холмы эти были странного красно-фиолетового цвета, а на каменистых поверхностях росли горные мхи Анарреса, способные выжить при самой непереносимой жаре, минимальной влажности и диких, все иссушающих ветрах. В тех местах, где мох смело вытягивал вверх свои серо-зеленые тоненькие иголки, поверхность желтоватого песчаника становилась похожей на клетчатый желто-зеленый плед. Это были самые яркие цвета в здешнем пейзаже; преобладал, правда, буровато-серый, порой почти белесый цвет солончаков, едва прикрытых пылью и песком. Над этими бескрайними равнинами изредка проплывали пышные кучевые облака, казавшиеся очень белыми в красноватом от сухой жары небе. Но ни дождя, ни жизни эти облака не приносили, лишь тени их быстро пробегали по земле, гонимые ветром. Железнодорожные насыпи и блестящие рельсы ровными линиями убегали за горизонт.

— Да, ничего, видно, не поделаешь с этими пустынями, — сказал машинист поезда своему молчаливому спутнику. — Жить здесь нельзя, можно только насквозь проехать.

Его спутник не ответил: он спал. Голова его моталась в такт покачиванию поезда. Руки, покрытые жесткими трудовыми мозолями и почерневшие от укусов мороза, безвольно лежали у него на коленях, расслабившееся во сне лицо, изборожденное ранними морщинами, казалось печальным. Он попросил подвезти его на станцию Медная Гора, и, поскольку больше пассажиров не было, машинист предложил ему ехать в кабине с ним вместе, за компанию. Но пассажир тут же уснул. Машинист время от времени поглядывал на него разочарованно и одновременно сочувственно. В последние годы он перевидал столько изможденных до крайности людей, что почти уже привык к этому, как к явлению вполне нормальному.

Было уже далеко за полдень, когда пассажир наконец проснулся и сперва, видимо, довольно долго не мог сообразить, где находится, глядя недоуменно в окно на проплывавший мимо однообразный пустынный пейзаж. Потом он вдруг спросил:

— А вы всегда совершаете такие перегоны один?

— Да, правда, только в последние три-четыре года.

— И никогда никаких поломок в дороге не было?

— Раза два случались. Но у меня большой НЗ, да и воды сколько хочешь. Вы, между прочим, есть не хотите?

— Пока нет.

— А раз в два дня из Одинокого высылают на трассу ремонтную бригаду, так что не страшно.

— Это следующий поселок?

— Точно. Тысяча семьсот километров от Седепа. Самый длинный перегон на Анарресе. Я тут уже двенадцатый год езжу.

— Не надоело?

— Нет. Мне нравится самому со всем управляться. — Пассажир понимающе кивнул. — Тут у меня все спокойно, налажено. Я люблю, когда все налажено: можно думать о чем хочешь. Пятнадцать дней в пути, а потом пятнадцать дней отпуска — я их дома провожу, со своей женщиной, мы с ней постоянные партнеры, в Новой Надежде живем. Получается, год работаешь, год отдыхаешь, засуха, голод — все одно. Ничего не меняется, здесь-то, на юго-западе, всегда засуха... Нет, мне моя работа нравится! Вы бы водички холодной достали, а? Холодильник у меня там, за рундуком.

Оба с удовольствием напились прямо из бутылки. У воды был слабый щелочной привкус.

— Ах, вот это действительно хорошо! — с благодарностью заметил пассажир. Он убрал бутылку и, вернувшись на свое место в передней части кабины, как следует потянулся, упершись руками в крышу. — Значит, у вас тоже жена есть, — он произнес это слово так просто и естественно, что машинист, тронутый его тоном, гордо ответил:

— Да, уже восемнадцать лет вместе живем.

— Ну, это еще только начало.

— Вот и я так считаю! А ведь многие этого-то как раз понимать и не хотят. Я ведь как себе это представляю? Если ты до двадцати перебеситься успел — когда от секса только удовольствие получаешь и ничего больше, — то вскоре убеждаешься, что в общем-то со всеми получается

примерно одно и то же. Хотя секс — дело приятное, ничего не скажешь! А все ж самое главное не в нем, самое главное в партнере твоем, в другом человеке. И самое интересное лет через пятнадцать только и начинается, это вы верно заметили, как раз только-только и начинаешь понимать, что́ в твоей жизни самое главное. По крайней мере начинаешь соображать, что за женщина тебе досталась. Сами-то женщины вроде бы в мужиках быстрее разбираются, а может, просто блефуют... Да все равно — удовольствие-то именно в этом и заключается: во всех их загадках и блефовании они ведь все время разные, женщины-то. И никогда ты ее по-настоящему не узнаешь, если будешь только по верхам порхать. В молодости я весь Анаррес успел объехать. Всюду побывал. Знавал, должно быть, никак не меньше сотни девчонок. Ох, и надоело же это мне! Взял да и вернулся сюда, и вот теперь езжу по этой пустыне, год за годом, хотя тут один песчаный холм от другого не отличишь, а потом возвращаюсь домой, к одной и той же женщине — и ни разу мне ни здесь, ни с ней скучно не было! От перемены-то мест жизнь веселее не становится. Нет, надо просто так сделать, чтобы время твоим союзником стало, чтобы вы с ним заодно работали, а не против друг друга.

— Именно так, — сказал пассажир.

— А твоя-то где?

— На северо-востоке. Уже четыре года.

— Слишком долго в разлуке плохо жить, — сказал машинист. — Вам бы надо было вместе назначение на работу получить.

— Только не туда, где я был.

— А где это?

— В Элбоу. А потом на Большой Равнине.

— О ней я слышал. — Машинист посмотрел на пассажира с уважением — так смотрят на человека, которому удалось выжить в аду. Он понимал теперь, отчего загорелая кожа пассажира кажется такой сухой, истонченной и словно просвечивает насквозь, до костей. Ему случалось видеть такое и раньше — у тех, кто пережил голод в пустыне Даст. — Не надо было нам так стараться. Закрыли бы эти заводы к черту!

— Но фосфаты были нужны, — возразил пассажир.

— Я слышал, что, когда состав с провизией задержали в

Портале, заводы на Большой Равнине все равно продолжали работать, и люди порой умирали от голода прямо на рабочих местах или отходили куда-нибудь в уголок, чтоб другим не мешать, ложились и умирали... Это правда?

Пассажир молча кивнул, и машинист больше вопросов на эту тему задавать не стал. Оба довольно долго молчали, потом машинист снова заговорил:

— Интересно, а что бы я сделал, если бы мой состав окружила такая толпа голодных?

— А что, этого никогда не случалось?

— Нет. Я ведь не продукты вожу, ну, может, иногда один вагон прицепят для Верхнего Седепа, для рудокопов тамошних. Но вот если б я действительно провизию возил? Вот что бы я тогда делать стал? По людям бы поехал? Так ведь как же это можно-то? Дети, старики... Они-то поступают неправильно, но что ж, убивать их за это? Не знаю!..

Прямые сверкающие рельсы ложились под колеса. Облака на западе густились, создавая над пустыней дрожащие огромные миражи — тени тех озер, что высохли здесь десять миллионов лет назад.

— Один парень из нашего синдиката, я его сто лет знаю, как раз так и поступил. К северу отсюда, на 66-м направлении. Голодные попытались отцепить от его состава вагон с зерном, тогда он дал задний ход и переехал парочку особенно настырных. Сразу пути очистили. Тот машинист говорил, голодные на путях кишели, точно черви в протухшей рыбе. А еще он сказал, что восемьсот человек ждали этого вагона с зерном и куда больше, чем двое, могли умереть, если бы зерна этого они не получили. Так что, похоже, он был прав. Но я, черт возьми, не смогу подобными подсчетами заниматься! Не смогу по живым людям проехать! Не знаю, правильно ли это, что мы считаем людей, складываем, вычитаем — как в задачке арифметической... Ну а вот вы бы что сделали? Вы бы каких предпочли... убить?

— На второй год моего пребывания в Элбоу, где я был учетчиком и статистиком, заводская столовая сократила рационы. Работавшие по шесть часов получали рацион полностью — его едва хватало при работе на таком заводе. Те, кто работал половину времени, получали 3/4 рациона. Если кто-то заболевал или становился слишком слаб, чтобы работать, то получал половину. На половине такого ра-

циона поправиться было невозможно. Тем более вернуться к работе на заводе. Но в общем-то выжить кое-кто мог, хотя и с трудом. Так вот именно мне приходилось переводить людей на половинный рацион — тех, кто уже и без того был еле жив или просто болен... Сам я работал полный день, по восемь, а иногда и по десять часов, так что получал полный рацион: я его вполне отрабатывал. Но отрабатывал тем, что составлял списки людей, которые теперь будут голодать. — Светлые глаза пассажира смотрели вперед, словно он пытался разглядеть что-то в сухой, дрожащей, светящейся пелене над пустыней. — И, как в арифметической задачке, мне приходилось считать людей.

— Вы бросили эту работу?

— Да, бросил. Не выдержал. Уехал на Большую Равнину. Но ведь меня сменил кто-то другой, и все равно эти списки в Элбоу продолжали составлять... Всегда найдется тот, кому нравится составлять списки.

— Ну это уж совсем никуда не годится! — Машинист нахмурился. У него было гладкое, загорелое, коричневое лицо и гладкая, совершенно лысая голова, хотя ему вряд ли было больше сорока. Он производил впечатление сильного, сурового и в то же время совершенно невинного человека. — Это они совершенно неправильно делали! Надо было совсем закрыть эти проклятые заводы. Разве можно требовать от человека, чтоб он делал такое? Разве мы не одонийцы? Я понимаю, всякое бывает, ну не сдержится человек, из себя выйдет... Они ведь тоже не без понятия — те, кто поезда осаждал. Просто их голод довел, дети у них голодали, слишком долго все это длилось... А тут мимо еда едет! Хоть и не для них предназначена. Вот они себя и забыли — на охоту вышли. И мой приятель тоже голову потерял, когда люди стали его состав растаскивать, озверел совсем. Вот и дал задний ход. Он тогда людей по головам не считал. Даже не думал об этом! Может быть, позже... А тогда он просто заболел, когда увидел, что наделал. Но то, что они заставляли делать вас — этот останется в живых, а тот пусть умирает! — это не работа! Человек на такую работу права не имеет. И никого нельзя просить такую работу делать!

— Тяжелые времена были, брат, — мягко возразил пассажир, не сводя глаз со сверкающей равнины впереди, над которой проплывали тени воспоминаний о существовавшей здесь когда-то воде и улетали с ветерком прочь.

Старый грузовой дирижабль тяжело перевалил через горы и опустился на взлетное поле близ горы Фасолины. Там сошли и все трое его пассажиров, и едва они ступили на землю, как земля под их ногами дрогнула.

— Так, землетрясение, — спокойно заметил один из них, местный житель, который вернулся домой. — Вот черт, ты посмотри, какая пылища поднялась! Так когда-нибудь прилетишь домой, а тут ни гор, ни дома и нет.

Он и еще один пассажир решили подождать и ехать в город на грузовиках, а Шевек пошел пешком, узнав, что селение Чакар находится всего в шести километрах отсюда, у самого подножия горы.

Дорога тянулась широкими витками, медленно взбираясь в гору. Слева склоны были отвесные, справа — пологие, густо поросшие невысокими деревьями-холум, аккуратно, точно специально посаженные, расположившимися вдоль подземных источников и выходящих наружу родников. Над перевалом ясно горел закат, в глубоких складках на щеке горы лежали темные тени. Природа здесь казалась абсолютно дикой, и только шоссе, спускавшееся с гор вниз, в полумрак долины, свидетельствовало о пребывании в этих местах человека. Миновав вершину очередного холма, он услышал, как в воздухе что-то проворчало негромко, и местность вокруг него странным образом изменилась, хотя ни толчка, ни дрожания земли под ногами он не почувствовал. Он опустил ногу на землю, завершив начатый шаг, и земля, как ни странно, оказалась на месте. Шевек продолжил спуск с холма. Он не ощущал никакой непосредственной опасности, однако никогда прежде не был так уверен, что стоит буквально на пороге смерти. Смерть была в нем самом, вокруг, у него под ногами, сама земля, казалось, потеряла свою прочность, надежность. Вечно лишь то, что вселяет надежду, — обещание, данное и воспринятое разумом человека. Шевек вдохнул холодный чистый воздух и прислушался. Где-то далеко, во мгле грохотал горный поток.

Сумерки уже совсем сгустились, когда он добрался до Чакара, небо стало темно-фиолетовым и почти слилось с черными вершинами гор. Фонари на пустынных улицах горели ярко, вызывая ощущение одиночества. Фасады домов в этом неестественном свете выглядели, точно эскизы на листе ватмана. За домами чернели просторы дико-

го края. Здесь было много пустующих комнат и даже пустых отдельных домов; это был старый полузаброшенный городок, находившийся на большом расстоянии от других населенных пунктов. Проходившая мимо женщина направила Шевека в Общежитие № 8.

— Вон туда, братец, мимо больницы и прямо.

Улица уходила во тьму, упираясь, как оказалось, прямо в двери невысокого строения. Шевек вошел и оказался в привычной с детства обстановке довольно убогой общей гостиной провинциального общежития: тусклый свет, старый, покрытый пятнами ковер на полу, записка на доске объявлений, в которой что-то говорилось о занятиях группы машинистов, сообщение о собрании синдиката, пришпиленный булавкой билет на спектакль, состоявшийся три декады назад... Над диваном висел любительский портрет Одо в рамочке (разумеется, Одо была изображена как узница в одной из тюрем Урраса), в уголке примостились самодельные клавикорды, у двери висел список жильцов и сообщение о том, когда будет горячая вода в городских купальнях.

Черут, Таквер, комната № 3.

Шевек постучался, тупо глядя на отражение коридорной лампы в темном пластике двери, которая едва держалась в раме. Женский голос сказал:

— Войдите!

И он вошел.

В комнате была более яркая лампа, и находилась она у Таквер за спиной, так что на мгновение Шевек словно ослеп и не смог бы наверняка сказать, что это она, Таквер. Она вскочила, протянула руки — то ли чтобы оттолкнуть его, то ли чтобы притянуть к себе, это был какой-то неуверенный, незаконченный жест. Он взял ее руки в свои, и тогда наконец они упали в объятия друг друга и не могли разомкнуть их долго-долго, словно стараясь удержаться вместе на этой ненадежной земле.

— Входи же, — сказала Таквер, — входи, входи!

Шевек открыл глаза. На другом конце комнаты, которая по-прежнему казалась ему освещенной чересчур ярко, он увидел серьезные внимательные детские глаза.

— Садик, это Шевек!

Девочка подошла к Таквер, обняла ее ногу и вдруг разразилась слезами.

— Что же ты плачешь? Не плачь, маленькая моя! Все хорошо!

— Да? А сама ты почему плачешь? — недоверчиво прошептала Садик.

— От счастья! Всего лишь от счастья! Иди-ка сюда. Но... Шевек, Шевек! Я ведь только вчера получила твое письмо! И весь вечер ходила около телефона, когда отвела Садик в интернат. Ты написал, что позвонишь сегодня. Не приедешь, а позвонишь! Ох, не плачь, Садики! Посмотри, я ведь больше не плачу, правда? Ну-ка посмотри! Ведь не плачу?

— Этот дядя тоже плакал!

— Конечно, я плакал.

Садик посмотрела на Шевека с недоверчивым любопытством. Ей шел пятый год. У нее была кругленькая аккуратная головка и круглое личико, и вся она была кругленькая, мягкая, с пушистыми темными волосенками.

В комнате почти не было мебели, только две кровати. Таквер села на одну из них, держа Садик на коленях, а Шевек — на вторую и блаженно вытянул усталые ноги. Потом вытер глаза тыльной стороной ладони и показал влажную руку Садик.

— Видишь? Мокрая! — сказал он. — И из носа течет. У тебя носовой платок есть?

— Есть. А у тебя?

— Был, но в прачечной потерялся.

— Я могу поделиться с тобой своим, — сказала Садик, немного помолчав.

— Ну так дай Шевеку свой платок. Он же не знает, где его взять, — сказала ей мать.

Садик слезла с ее колен и принесла из шкафа чистый носовой платок, который отдала почему-то Таквер, и та уже передала его Шевеку, улыбаясь знакомой улыбкой.

Садик очень внимательно смотрела, как Шевек вытирает нос.

— А здесь тоже было землетрясение? Вот только что? — спросил он.

— Да тут все время трясет, просто перестаешь замечать, — спокойно откликнулась Таквер, но Садик, которой страшно хотелось поделиться всеми сегодняшними

новостями, подтвердила звонким, но тоже с легким придыханием, как у Таквер, голоском:

— Да, перед обедом было землетрясение. Когда оно бывает, стекла в окошках начинают блямкать, а двери шататься, и тогда надо поскорее выбегать на улицу!

Шевек посмотрел на Таквер, она тоже смотрела на него. Она, казалось, постарела больше, чем на четыре года. Зубы у нее никогда не были особенно хорошими, но сейчас двух шестых наверху не было вообще, и, когда она широко улыбалась, дырки были заметны. И кожа у нее стала не такой нежной и упругой, как в юности, а волосы, гладко зачесанные назад, казались тусклыми.

Шевек ясно видел, что Таквер потеряла былую привлекательность, теперь она выглядела обыкновенной усталой женщиной средних лет. Он замечал все перемены в ней куда острее, чем кто бы то ни было другой. Все, что касалось Таквер, он видел по-своему, с позиций долгих лет их нежной близости и долгих лет тоски и разлуки. Он видел Таквер такой, какой она была на самом деле.

Глаза их встретились.

— Как... как же вы тут жили? — спросил он, вдруг покраснев до ушей и чувствуя, насколько нелепый, праздный вопрос задает. Таквер, ощутив почти материальную волну его желания, тоже покраснела и улыбнулась. Но ответила спокойно своим чуть глуховатым, милым, знакомым голосом:

— Да все так же. Я ведь тебе все тогда по телефону рассказала.

— Но это было так давно! Почти два месяца назад!

— Здесь практически ничего не меняется. Каждый день одно и то же.

— Здесь очень красиво... эти холмы... — В глазах Таквер он видел тенистые горные долины, шумные ручьи... Острота желания достигла в нем вдруг такой силы, что на минуту закружилась голова. Он постарался взять себя в руки и как-то урезонить бунтующую плоть. — Ты не хотела бы здесь остаться?

— Мне все равно, — сказала она тоже странным, каким-то «темным», ночным голосом.

— У тебя из носа все еще течет, — заметила наблюдательная Садик, хотя и без укора.

— Хорошо еще, что только из носа, — откликнулся Шевек.

— Умолкни, Садик. Не будь эгоисткой! — велела ей мать; они с Шевеком рассмеялись, но Садик, ничуть не смутившись, продолжала изучать нового человека.

— Ты прав, Шев, здесь красиво, и мне действительно нравится этот городок. Здесь люди очень хорошие — какие-то целостные, чистые. Но вот работы практически нет. Я ведь всего лишь в лаборатории работаю, в здешней больнице. Нехватка научных сотрудников, а тем более генетиков, уже позади. В принципе я легко могла бы уехать отсюда, не ставя больницу в безвыходное положение. Если честно, я бы хотела вернуться в Аббенай. А ты получил какое-нибудь новое назначение?

— Я его не просил, даже списки не проверил. Я целых десять дней был в дороге.

— А что ты в ней делал, в этой дороге? — спросила Садик с любопытством.

— Ехал к вам, Садик.

— Шевек приехал сюда почти с того конца света, с самого юга, из пустынь — приехал ко мне и к тебе, — сказала девочке Таквер. Та улыбнулась и поудобнее уселась у матери на коленях. Потом успокоенно зевнула.

— Ты что-нибудь ел, Шев? Или, может, ты с ног валишься от усталости? Я должна отвести малышку в интернат, уже поздно. Мы как раз собирались уходить, когда ты постучал...

— Она уже ночует в интернате?

— С начала этого квартала.

— Мне уже было целых четыре года! — заявила Садик.

— Нужно говорить «мне уже четыре года», — поправила ее Таквер, мягко стряхнула дочку с колен и достала из шкафа ее пальтишко. Садик стояла к Шевеку боком и вроде бы на него не смотрела, однако он чувствовал, что девочка ни на секунду не забывает о его присутствии. Во всяком случае, все свои замечания она адресовала явно ему.

— Нет, мне БЫЛО четыре, а теперь уже БОЛЬШЕ, чем четыре.

— Тоже мне «темпоралистка»! Небось временем будешь заниматься, как твой отец?

— Не может же быть четыре и больше, чем четыре, в одно и то же время, правда ведь? — спросила девочка, чув-

ствуя в Шевеке поддержку и одобрение и теперь обращаясь прямо к нему.

— Да нет, в том-то и дело, что запросто может! И еще тебе может быть одновременно четыре года и почти пять. — Сидя на низкой кровати, он мог держать голову так, чтобы видеть прямо перед собой глаза Садик, и ей тоже не нужно было все время поднимать голову и смотреть на него снизу вверх. — Но ты знаешь, я совсем позабыл, что тебе уже скоро пять, представляешь? Ведь когда я в последний раз видел тебя, ты была совсем крошкой.

— Правда? — Теперь в ее голосе слышалось несомненное кокетство.

— Да. Ты была вот такой. — Он чуточку развел руки, показывая, какой тогда была Садик. Она засмеялась.

— А я тогда разговаривать могла?

— Ты говорила «уа-уа» и еще кое-что в том же роде.

— А я тоже будила всех кругом, как малыш Шебен? — спросила она, улыбаясь во весь рот.

— Еще как будила!

— А когда я научилась говорить по-настоящему?

— Примерно в полтора года, — сказала Таквер, — и с тех пор рта не закрываешь. Где твоя шапочка, Садики?

— В школе осталась. Я ее ненавижу, шапку эту! — сообщила она Шевеку.

Они проводили девочку до интерната, бредя по пустынным, насквозь продуваемым ветром улицам. Спальный корпус тоже был весьма тесным и довольно обшарпанным, но в холле там было куда веселее — стены украшали рисунки детей, на подставках стояло несколько очень неплохо сделанных моделей различных машин и паровозов и целый выводок игрушечных домиков и раскрашенных деревянных человечков. Садик поцеловала мать на прощание, потом повернулась к Шевеку и потянулась к нему ручками, он наклонился, и она небрежно, однако уверенно чмокнула его в щеку:

— Спокойной ночи!

Ночная няня повела ее спать; девочка уже зевала вовсю. Они некоторое время еще слышали ее звонкий голосок и мягкие призывы няни не шуметь.

— Она просто прелесть, Таквер! Замечательный ребенок, умный, здоровый!

— Боюсь, я ее испортила, Шев.

— Нет, что ты! Ты замечательно воспитала ее, просто фантастика, что у меня такая дочь... В такие тяжелые времена...

— Здесь было не так уж плохо. Во всяком случае, не так плохо, как на юге, наверное, — мягко заметила Таквер. — Здесь по крайней мере дети были всегда накормлены. Не то чтобы досыта, но в общем вполне достаточно. Здешняя коммуна выращивает кое-что из продуктов питания... И в качестве добавки разрешается собирать семена дикого холума. Их можно толочь, а потом варить кашу. Здесь никто не голодал. Но Садик я все-таки испортила! Я слишком нянчилась с ней, я кормила ее грудью до трех лет, молоко у меня было... И почему, собственно, я должна была от этого отказываться, если ничем пристойным тогда не могла ее накормить? Но все вокруг очень меня за это порицали! Мы жили тогда на исследовательской станции в Ролни. И там все требовали, чтобы я отдала ее на полные сутки в ясли, и говорили, что я отношусь к ребенку, как типичная собственница, что я из-за этого недостаточно активно участвую в общей борьбе с голодом. Наверное, они были правы... Нет, правда, Шев. Но как-то уж слишком правы! Никто из них ничего не понимал в том, каково это — расстаться с любимым человеком и остаться одной. Все они там были большими общественниками, ни одной независимой личности. И знаешь, больше всего за то, что я так долго кормила Садик грудью, меня «пилили» именно женщины! Вот уж настоящие спекулянтки! Собственным телом, разумеется. Я терпела все это только потому, что еда там была хорошая — когда ставишь опыты над съедобными водорослями и выясняешь их питательные свойства и прочие качества, порой невольно получаешь довольно приличную добавку к обычному рациону, даже если эти чертовы водоросли больше всего по вкусу похожи на канцелярский клей. Но потом они сумели заменить меня тем, кто больше подходил им. И я переехала в Новый Старт и прожила там больше трех месяцев. Это было зимой, два года назад. Там долгое время от тебя не было никаких известий, и вообще все было так плохо... А потом я увидела в списке это вот назначение и переехала сюда. Садик все время жила со мной, до этой осени. И я еще не успела привыкнуть, и до сих пор по ней скучаю...

— А разве у тебя нет соседки?

— Есть, Черут. Она очень милая, но она часто дежурит по ночам в больнице. Садик было пора переходить в интернат, привыкать к другим детям. Она немного стеснялась порой, но вообще-то держалась очень хорошо, прямо-таки стоически. Все маленькие дети стоики. Они могут заплакать из-за ерунды, но серьезные вещи воспринимают как надо и не ноют, в отличие от многих взрослых.

Они шли рядом. Яркие осенние звезды высыпали в небе в немыслимом количестве, они мерцали, подмигивали, чуть ли не падали с небосклона — во всяком случае, так казалось, потому что временами их закрывали облачка пыли, проносившиеся над землей и особенно густые после землетрясения. А потом небо снова как бы вздрагивало, стряхивая пыль и роняя бриллиантовые крошки мелких звезд, похожие на солнечную рябь на морских волнах. Под сверкающим куполом звездного неба холмы предгорий выглядели особенно темными и мощными, плоские крыши домов — особенно остроугольными, а свет уличных фонарей заметно тускнел и становился даже приятным.

— Четыре года назад, — сказал Шевек, — да, четыре года назад, когда я вернулся в Аббенай из того жуткого городишки в Южном Поселении — кажется, оно называлось Красные Ручьи, — была почти такая же ночь, дул очень сильный ветер, и звезды светили вовсю, и я бежал через весь город до нашего общежития... И оказалось, что ты уехала. Четыре года!

— Стоило мне уехать, и я поняла, какой была дурой, что согласилась. Голод не голод, а я должна была отказаться от этого назначения!

— Вряд ли это многое изменило, Сабул только и ждал, когда я вернусь, чтобы сообщить, что меня вышвырнули из Института.

— Если бы я осталась, ты бы не уехал в эту пустыню!

— Возможно, и не уехал бы, но нам бы все равно не удалось получить назначения в одно и то же место. Ты так не думаешь? В тех городах на юго-западе... знаешь, там ведь не осталось ни одного ребенка! И сейчас там детей нет. Родители отослали их на север — либо в сельскохозяйственные коммуны, либо в такие места, где имелась возможность регулярно получать продукты. А сами остались — только бы не останавливать работу шахт и заводов... Это просто чудо, что мы вообще выжили, правда?

Но, черт бы их всех побрал, уж теперь-то я некоторое время буду заниматься только СВОЕЙ СОБСТВЕННОЙ РАБОТОЙ!

Таквер положила руку ему на плечо. Он тут же остановился, словно ее прикосновение вызвало в нем короткое замыкание. Она подтолкнула его в плечо и улыбнулась.

— Ты ведь так ничего и не ел, верно?

— Не ел. Ох, Таквер, я так соскучился по тебе, я просто с ума сходил!

Они обнялись — с какой-то даже яростью буквально набросились друг на друга прямо на улице, при свете фонарей, под звездным небом... И столь же внезапно разомкнули объятия: Шевек прислонился к стене и смущенно прòбормотал:

— Пожалуй, мне нужно все-таки хоть что-нибудь съесть.

— Вот-вот, — поддержала его Таквер. — А то еще упадешь тут без чувств, что я тогда буду делать? Пойдем-ка!

До столовой было недалеко, она выделялась своими размерами среди прочих домишек Чакара. Время обеда, разумеется, давно миновало, но сами повара еще сидели за столом, и они, расщедрившись, выдали голодному приезжему полную тарелку рагу и вволю хлеба. Все сидели вместе за одним большим столом, поближе к кухне. Остальные столы были уже вымыты и готовы с утра принять посетителей. Помещение столовой напоминало огромную горную пещеру, своды которой скрывались во тьме, разве что порой на столах что-то поблескивало, когда в глубь зала проникал луч света из кухни. Повара и официанты ели без разговоров и быстро, устав после долгого рабочего дня, и почти не обращали внимания на Шевека и Таквер. Один за другим они кончали есть, вставали из-за стола и относили грязную посуду к мойке на кухню. Лишь одна пожилая женщина сказала:

— Вы, ребята, не торопитесь, нам еще целый час посуду мыть. — Лицо у нее было суровое и казалось почти сердитым, да и говорила она отнюдь не с материнской любовью. Но в голосе ее чувствовалось понимание и милосердие равной. Она все равно ничего не могла больше сделать для них — только сказать: «Не торопитесь» и быстро глянуть со сдержанной любовью, точно строгая старшая сестра.

Впрочем, и они ничем не могли отблагодарить ее. Или друг друга.

Они пошли назад, в «Общежитие № 8», и там наконец осуществили самое свое главное на данный момент желание. Они даже света зажигать не стали — они всегда предпочитали заниматься любовью в темноте. В первый раз все произошло очень быстро и одновременно, стоило Шевеку коснуться ее тела. Во второй они долго ласкали друг друга, боролись, что-то выкрикивали в яростном упоении, пытаясь заставить продлиться упоительные мгновения, точно оттягивая собственную гибель, и в третий раз оба, уже сонные, они долго кружили вокруг финальной точки в каком-то нескончаемом восторженном танце — так планеты слепо и непрерывно кружат в потоках солнечного света вокруг общего центра притяжения.

Таквер проснулась на рассвете. Опершись на локоть, она приподнялась, посмотрела на серый квадрат окна, потом — на Шевека. Он лежал на спине и дышал так тихо, что грудь его едва вздымалась, лицо его, чуть запрокинутое на подушке, казалось каким-то далеким и суровым в утреннем полумраке. «Мы наконец пришли друг к другу! — подумала Таквер. — Мы шли очень долго, издалека, преодолевая огромные трудности. Мы всегда шли друг к другу. Через большие расстояния, через долгие годы, через пропасти по мостам случайных удач. И теперь ничто не может разлучить нас. Ничто — ни годы, ни расстояния, ни несчастья — не может быть сильнее того, что разъединяет и соединяет нас: различия наших полов, наших душ, наших умов; но эту пропасть, эту бездну мы преодолеваем легко, перекидывая через нее мостик всего лишь взглядом, прикосновением, словом. Вот сейчас — как далеко он от меня, в своих снах! Он всегда далек, он всегда уходит очень далеко, но всегда возвращается, возвращается ко мне!..»

Таквер подала заявление об уходе, пообещав отработать до тех пор, пока ей не найдут замену. Она работала по восьмичасовому графику — в третьем квартале 168-го года многие еще работали по удлиненному графику, ибо, хотя засуха кончилась зимой 167-го года, экономика еще не успела прийти в нормальное состояние. Срочные назначения на неопределенный срок, плохая кормежка — все это

по-прежнему было почти правилом, особенно для людей высокой квалификации, но теперь уже количество еды по крайней мере соответствовало затраченному на работе количеству сил, чего не было еще даже год назад.

Шевек же некоторое время вообще практически ничем не занимался. Он не считал себя больным: после четырех лет голода все были настолько измотаны, истощены и настолько привыкли к различным трудностям и невзгодам, что воспринимали плохое состояние здоровья практически как норму. Шевек страдал «пыльным кашлем», порождением южных пустынь — то есть хроническим воспалением бронхов, сходным с силикозом и прочими профессиональными заболеваниями шахтеров. Однако на юге такой кашель был у всех и воспринимался как нечто несущественное. Так что Шевек наслаждался тем ощущением, что, если у него нет желания работать, он и не обязан что-либо предпринимать по этому поводу.

В течение нескольких дней он и соседка Таквер по комнате Черут «делили» вторую постель — спали на ней по очереди, в зависимости от дежурств Черут. Потом Черут, рано расплывшаяся милая женщина лет сорока, переехала в другую комнату, к соседке, с которой у нее удачно совпадало расписание дежурств в больнице, и Шевек с Таквер получили комнату в свое распоряжение на те сорок дней, что еще прожили в Чакаре. Пока Таквер была на работе, Шевек спал или уходил гулять — по полям, по сухим бесплодным склонам холмов за городом. В полдень он подходил к учебному центру и смотрел, как Садик играет с другими малышами на площадке, а то и сам вступал в игру, увлеченно участвуя в каком-нибудь «плане» семилетних плотников, желавших построить дом, или же помогал не по годам серьезным двенадцатилетним подросткам, пережившим голод, у которых не получалась, скажем, тригонометрическая съемка. Потом он забирал Садик, и они вместе шли домой, в общежитие; вскоре приходила и Таквер, а потом они все вместе отправлялись в купальню и в столовую. Через час или два после обеда они с Таквер отводили девочку в интернат и возвращались к себе. Дни были похожими один на другой, мирными, полными осеннего солнечного света и тишины холмов. Шевек воспринимал этот период как вневременной — он точно отдыхал, зачарованный, на берегу реки Времени, нереальной и бес-

конечной. Порой они с Таквер до поздней ночи вели беседы, а иногда, напротив, ныряли в постель буквально с наступлением темноты и спали часов по одиннадцать-двенадцать подряд в глубокой тиши горной ночи.

Он прибыл сюда с багажом: потрепанным дешевым чемоданчиком из оранжевого кожзаменителя с заклепками, на котором крупно черными чернилами было написано его имя; все анаррести носили свои немногочисленные пожитки — деловые бумаги, подарки, запасную обувь — в точно таких же чемоданчиках. У Шевека в чемоданчике была новая рубашка, которую он выбрал, оказавшись проездом в Аббенае, пара книг и кое-какие бумаги, а также одна непонятная вещица в коробке, которая страшно занимала Садик: казалось, что это просто несколько проволочных колец с нанизанными на них стеклянными бусинками, но когда Шевек (на второй вечер после приезда) вытащил это чудо из коробки и подержал на весу, восхищенная Садик не выдержала:

— Это ожерелье! — сказала она с восторгом и убежденностью. Люди в маленьких городках носили довольно много всякой бижутерии. В более снобистском Аббенае больше ощущалось противоречие между принципом невладения и сиюминутным и столь обычным для человека желанием украсить себя; в Аббенае кольцо или заколка считались пределом хорошего вкуса. Но в провинии по поводу глубинного противоречия между эстетикой и стяжательством не особенно задумывались и без стеснения украшали себя. В большей части городков и поселков имелся даже свой ювелир, который всегда пользовался любовью земляков, а также в некоторых мастерских запросто можно было попросить изготовить или сделать самому простенькие украшения из скромных материалов — меди, серебра, бисера, шпинели, гранатов и дешевых желтых алмазов, которые во множестве добывались в шахтах Южного Поселения. Садик в жизни своей не видела настоящих украшений, однако откуда-то знала про ожерелья и решила, что замечательный предмет — это одно из них.

— Нет, — сказал ей отец, — это не ожерелье, посмотрика! — Он торжественно и осторожно приподнял загадочный предмет за нитку, соединявшую кольца, и все это вдруг ожило словно само собой, стало вращаться, и невидимые воздушные сферы, описываемые проволочными петлями,

были как бы заключены одна в другую, а стеклянные бусинки восхитительно сверкали в свете лампы.

— Ой как красиво! — восхищенно воскликнула девочка. — Что это?

— Это обычно вешают под потолком... Там у вас случайно гвоздика нет? Ладно, крючок для пальто пока тоже подойдет, а потом я принесу гвоздик и вобью повыше. А ты знаешь, Садик, кто это сделал?

— Нет... Ты?

— Она. Твоя мама. Это она сделала! — Он повернулся к Таквер: — Это мой самый любимый мобиль, тот, который над письменным столом висел. Остальные я отдал Бедапу. Мне не хотелось оставлять их той мерзкой старухе — как там ее звали? Этой матушке Зависть из комнаты напротив.

— А, Бунаб! Я о ней и забыла, уж несколько лет совсем не вспоминаю! — Таквер расхохоталась. Она смотрела на мобиль так, словно боялась его.

Садик застыла, не сводя с него глаз, а он медленно поворачивался, стремясь обрести некое равновесие.

— Вот было бы здорово, — сказала она наконец осторожно, — если б можно было хотя бы на минутку разделить это со всеми! Я бы взяла его в нашу спальню и повесила над своей кроваткой... Один только разик хотя бы!..

— Я сделаю такой для тебя, малышка, обязательно сделаю! И он будет висеть у тебя над кроваткой каждую ночь.

— Ты правда умеешь их делать, Таквер?

— Ну во всяком случае, раньше умела. Наверное, один-то для тебя уж как-нибудь сделаю. — В глазах Таквер стояли слезы. Шевек обнял ее за плечи. Оба были напряжены до предела. Садик спокойно и рассудительно посмотрела на них, сжавших, стиснувших друг друга в объятиях, и вновь вернулась к созерцанию медленно вращавшихся «Незаселенных Миров».

Оставаясь по вечерам одни, они часто говорили о Садик. Таквер, пожалуй, действительно чересчур много внимания уделяла дочке, даже в ущерб личной жизни, ее чрезвычайно сильное чувство здравого смысла заглушил материнский инстинкт. В целом это не было естественным для женщины анаррести: ни соперничество, ни опека не являлись сильными мотивами их жизни. Таквер рада была наконец поделиться с кем-то своими тревогами и отчасти из-

бавиться от них. В первые ночи большей частью говорила она, а Шевек слушал ее исповеди, как мог бы слушать музыку или говор ручья — не пытаясь ответить. Он давно уже отвык говорить помногу. За эти четыре года он утратил вкус нормальной дружеской беседы, и Таквер освободила его из этого молчания, она всегда умела делать это. Впоследствии именно он говорил больше и всегда в зависимости от того, что именно она ему ответит и как прореагирует на его слова.

— Ты помнишь Тирина? — спросил он однажды. Было холодно, уже наступила зима, и в их комнате, находившейся дальше других от котельной, всегда не хватало тепла. Они собрали обе постели в одну и, укутавшись, как коконы, укладывались рядышком, поближе к электрокамину. Шевек еще надевал старую, теплую, множество раз стиранную рубашку, чтобы не застудить грудь: он любил разговаривать в кровати сидя. Таквер, которая всегда спала голышом, исчезала под одеялами, укутавшись до самого носа.

— А что сталось с нашим оранжевым одеялом? — поинтересовалась она, не отвечая Шевеку.

— Ах ты, собственница! Я его там и оставил.

— Матушке Зависть? Как это печально! Я вовсе не собственница. Я просто несколько сентиментальна, а это было первое одеяло, под которым мы спали вместе.

— Нет, не первое. Мы, должно быть, все-таки пользовались каким-то одеялом — в горах Не Терас, помнишь?

— Нет, если оно у нас и было, то я его совершенно не помню, — засмеялась Таквер. — А кто это — тот, о ком ты только что спросил?

— Тирин.

— Нет, не помню.

— Ну, из Северного Регионального, такой темноволосый, курносый...

— Ой, Тирин! Ну конечно! Я просто думала об Аббенае.

— Я его встретил там, на юго-западе...

— Ты встретился с Тирином? Ну и как он?

Шевек некоторое время молчал, разглаживая пальцем какую-то складочку на одеяле.

— Помнишь, что Бедап нам о нем рассказывал?

— Что он продолжал соглашаться на всякие дурацкие назначения и мотаться по разным районам? А потом оказался на острове Сегвина? И Дап говорил, что вроде бы потерял его след?

— Ты видела ту пьесу, которую он поставил? Ту, из-за которой у него начались неприятности?

— Видела. Во время Летнего Фестиваля, уже после твоего отъезда. Но я ее почти не помню, это так давно было... По-моему, пьеса так себе, довольно глупая. Сам-то Тирин был умница, а пьеса получилась глупая. Там еще речь шла о каком-то уррасти... И этот уррасти вроде бы спрятался в цистерне с гидропоникой, чтобы на грузовом корабле полететь на луну, и в пути дышал через соломинку, а питался корешками растений. Полная чушь! В общем он нелегально пробрался-таки на Анаррес и все бегал повсюду, пытаясь что-то купить, что-то продать, и все время крал и прятал золотые самородки, пока их у него не собралось столько, что он уже и ходить не мог. И тогда он построил какой-то дурацкий дворец и назвал себя Властелином Анарреса. Там еще была ужасно смешная сцена, когда он и одна женщина хотели заняться сексом, и она уже разделась и была совершенно готова, но он сказал, что между ними ничего не может быть, пока он ей не заплатит — все теми же золотыми самородками, которые ей, естественно, были совершенно ни к чему. Она, голая, шлепалась на постель и пыталась соблазнить его, а он вскакивал, как укушенный, хватался за это золото и вопил: «Нет! Я не должен! Это аморально!» Бедный Тирин! Он был такой смешной, веселый и всегда такой живой!

— Он сам играл того уррасти?

— Да. И был просто великолепен.

— Он показывал мне эту пьесу. Несколько раз.

— Где ты его встретил? На Большой Равнине?

— Нет, раньше, еще в Элбоу. Он был уборщиком на заводе.

— Он сам выбрал такую работу?

— Вряд ли. Не думаю, чтобы у Тира вообще была возможность что-то выбирать... Бедап всегда был уверен, что Тирина силой отправили в Сегвину на принудительное лечение... Не знаю. Только, когда я встретил его — уже через несколько лет после Сегвины, — он... В общем это был совершенно конченый человек.

— Ты думаешь, с ним в Сегвине что-нибудь?..

— Я не знаю. Я всегда считал, что такая лечебница

должна действительно быть убежищем для больных людей, спасать их от стрессов, помогать им... Если судить по публикациям синдиката психиатров и невропатологов, они в высшей степени альтруистичны... Сомневаюсь, чтобы Тирина сломали именно там.

— Но тогда что же так на него подействовало? Неужели только то, что он не нашел для себя подходящей работы?

— Его сломал тот спектакль.

— Спектакль? Та шумиха, которую эти старые индюки устроили вокруг его пьесы? Но послушай, чтобы сойти с ума от чьих-то скучных нравоучений, нужно уже обладать нездоровой психикой! Ему просто не нужно было обращать на ворчание этих дураков никакого внимания!

— Ты не понимаешь. Тир уже не был тогда нормальным. По меркам нашего общества, разумеется.

— Что ты хочешь этим сказать?

— Ну, во-первых, Тир — прирожденный артист. Тонкая творческая натура. Очень уязвимая. Не ремесленник какой-то, а создатель, точнее, создатель и разрушитель в одном лице. Такой человек появляется на свет нечасто и призван все перевернуть вверх тормашками, все вывернуть наизнанку. Сатирик, человек, вынужденный петь дифирамбы, скрывая свой гнев.

— Неужели та пьеса была настолько хороша? — наивно изумилась Таквер и даже на пару сантиметров выползла из-под одеяла, встревоженно глядя на сидевшего к ней боком Шевека.

— Нет, вряд ли. Не думаю. Хотя, возможно, спектакль действительно получился забавным, смешным. Ему ведь было всего двадцать, когда он написал эту пьесу. Он сейчас все время ее переделывает... И больше ничего другого не пишет.

— Все время переписывает одну и ту же пьесу?

— Да, к сожалению.

— Бедняга!

— Примерно раз в пятнадцать-двадцать дней он приходил и показывал мне очередной вариант. И я читал, точнее, делал вид, что читаю, и пытался даже что-то умное сказать. Ему это было совершенно необходимо, но сам он говорить о ней не мог: был слишком напуган.

— Чем же? Я что-то не понимаю...

— Боялся меня, всех. Нашего «социального организма». Нашей человеческой расы. Нашего одонийского братства, которое его отвергло. Когда человек чувствует себя абсолютно одиноким и противопоставленным всем остальным, он вполне может испытывать страх, ты согласна?

— Ты хочешь сказать, что он решил, будто все на свете против него только потому, что несколько человек назвали его пьесу аморальной и посоветовали ему не заниматься преподаванием? Но это как-то глупо!

— А кто тогда был на его стороне?

— Дап... и все его друзья.

— Не было у него друзей! Он их всех потерял. Его же постарались отослать от них подальше.

— Но почему же он не отказался от этого назначения?

— Послушай, Таквер. Я когда-то думал точно так же. Мы же с тобой совершили ту же ошибку. Вспомни: совсем недавно ты сказала, что тебе следовало тогда отказаться и не ехать в Ролни. И я стал думать так, стоило мне приехать в Элбоу, я твердил: я свободный человек, я не обязан был сюда ехать!.. Мы всегда думаем и говорим одно, а поступаем иначе. Мы прячем свои желания, свои инициативы, засовываем их поглубже, оставляя наверху лишь крохотный уголок, куда иногда можно заглянуть и сказать: «Я ничего не должен делать по приказу! Я сам выбираю себе дело, я свободен!» Ну а потом мы запираем это заветное убежище на ключ и отправляемся туда, куда нас посылает Координационный Совет или ЦРТ, и послушно трудимся, пока не получим другого назначения...

— Ох, Шев, неправда! Это только с тех пор, как началась засуха. А раньше так не было — люди просто работали там, где были нужны; подыскивали себе дело по душе и присоединялись к какому-нибудь синдикату или сами создавали новый синдикат и регистрировали его в ЦРТ. Ведь централизованно назначения рассылались главным образом тем, кто сам предпочитал оставаться в основном списке. Наверное, скоро теперь все к этому и вернется.

— Не знаю. Наверное. Но даже и до наступления засухи все шло как-то не так. Бедап прав: любые срочные назначения и перемещения людей, вообще всякие целевые перестановки, направляемые «из центра», имеют тенденцию к усилению бюрократической машины, то есть нашего Координационного Совета, в частности. Именно так это всегда происходило, происходит и должно происходить...

Бюрократических проявлений в нашем обществе хватало задолго до начала засухи. А пять лет строжайшего контроля над людьми могут полностью изменить все общество. И не смотри на меня так скептически! Вот скажи, скольких людей ты знаешь, кто отказался принять назначение ЦРТ? До того, как началась засуха?

Таквер задумалась.

— Не считая «нучниби»? — спросила она.

— Нет, «нучниби» как раз очень важны.

— Ну это некоторые из друзей Дапа... Этот милый композитор Салас, например. Хотя он не настоящий «нучниб». А настоящих я довольно часто видела еще в Круглой Долине, девочкой. Они всегда слишком много болтали, но некоторые их разговоры заставляли думать. А еще они рассказывали всякие замечательные истории и предсказывали судьбу, так что все были им рады и старались оставить у себя подольше и накормить повкуснее... Только они никогда не соглашались остаться надолго... Но ведь тогда люди вообще часто переезжали с места на место — просто собирались и уезжали, многие попросту ненавидели, например, работу на фермах, особенно дети, и такие семьи уезжали особенно часто, бросали все, плевали на назначение и уезжали куда-то в поисках лучшей доли. И никто их за это не винил!

— Почему же?

— Ты к чему это клонишь? — проворчала Таквер, снова забираясь поглубже под одеяло.

— А вот к чему. Нам с тобой стыдно было когда-нибудь сказать, что мы отказываемся от назначения, что у нас есть свои планы и жизнь! У нас ведь общественное сознание полностью доминирует над сознанием индивида, а не пребывает с ним в равновесии. Мы не сотрудничаем — мы ПОДЧИНЯЕМСЯ. Мы боимся стать изгоями, боимся, что нас назовут ленивыми, никчемными эгоистами. Мы боимся мнения своего соседа больше, чем уважаем собственную свободу. Не веришь? Так постарайся хотя бы мысленно перешагнуть через общественные запреты и увидишь, каково тебе будет. Возможно, тогда ты поймешь, что случилось с Тирином, кто он такой и почему стал развалиной, почему его погубили. Он ведь у нас считается преступником! Да-да, мы создали преступление, в точности как в обществе собственников! Мы сами выталкиваем человека за

пределы того образа жизни, который одобряем, а потом обвиняем его в том, что он эти пределы покинул. Мы создали законы, Таквер, правила общепринятого поведения, мы сами построили вокруг себя стены, которые даже разглядеть не в состоянии, потому что они часть нашего мышления. Тир всегда был другим. Я знал его с десяти лет. Он никогда не умел строить стены. Он их всегда разрушал, он был прирожденным бунтарем. И прирожденным одонийцем. Настоящим! И он был свободным человеком, а остальные... Ведь это мы, его «братья», довели его до безумия, наказав за первый же свободный поступок.

— Не совсем так, наверное, — глухо сказала Таквер из-под одеяла, явно не желая соглашаться с аргументами Шевека, но не в состоянии их опровергнуть. — По-моему, Тир просто был недостаточно сильной личностью.

— Верно, он был исключительно уязвим, но разве дело в этом?

Оба долго молчали.

— Ничего удивительного, что мысли о нем не дают тебе покоя, — сказала она. — Его пьеса, твоя книга...

— Мне повезло больше. Ученый может притвориться, даже перед самим собой, что его работа — это не он сам, а некая имперсональная Истина. Но артист, художник не может спрятаться за Истиной. Он вообще нигде спрятаться не может.

Таквер некоторое время молча следила за ним, скосив глаза, потом не выдержала, села и натянула одеяло на голые плечи.

— Б-р-р! Как холодно!.. Я ведь была тогда неправа, да? Насчет публикации книги. Ну когда уговорила тебя позволить Сабулу сократить ее и поставить свое имя на обложке... Мне это тогда казалось нормальным. Все равно что ставить работу и ее результат на первое место, а того, кто все это сделал, — на второе; гордость своим трудом — на первое, а тщеславие — на второе; коммуну — на первое, а себя — на второе. Ну и так далее. Но тогда-то дело было вовсе не в гордости и не в тщеславии... Это была настоящая капитуляция. Капитуляция перед Сабулом и его властью.

— Не знаю... Зато работа была все же напечатана.

— Да, цель была верной, вот только средства никуда не годились! Я очень много думала об этом в Ролни, Шев.

Я скажу тебе, в чем дело. Я тогда была беременна. У беременных плохо с этикой. Особенно общественной. Сохраняется только самый примитивный ее тип, некий импульс самопожертвования. Да черт с ними — с книгой, с партнерством, с Истиной, — если что-то угрожает моему драгоценному зародышу!.. Это сродни расовым предубеждениям — берется из подсознания, но может работать против любых общественных проявлений. Это явление чисто биологическое, несоциальное. Мужчинам повезло: они могут благодарить судьбу, что никогда не бывают в когтях подобных инстинктов. Но мужчинам следовало бы лучше знать, что с женщинами такое случается, и иметь это в виду. По-моему, в старых государствах женщин именно поэтому использовали как собственность. Ты спросишь, почему они это позволяли? Да потому, что вечно находились в состоянии беременности или кормления грудью! То есть, даже не желая этого, уже пребывали в чьей-то власти, являлись чьими-то рабынями!

— Хорошо, возможно, ты и права, но наше общество — это настоящая коммуна, и оно по-настоящему воплощает в себе идеи Одо, ее Обещание. А ведь Одо тоже была женщиной! Вот чем ты сейчас занимаешься? Самоуничижением. Пытаешься таким образом облегчить чувство собственной вины. Для чего ты барахтаешься в луже и пачкаешь себя грязью? — Выражение он употребил другое; на Анарресе не было животных, способных валяться в лужах. Это было сложное словосочетание, буквально означавшее «покрывать себя толстым слоем экскрементов». Гибкость и точность языка правик порой предоставляли самые неожиданные возможности для создания весьма ярких метафор.

— Нет, конечно, я была счастлива, когда родилась Садик. Это было просто замечательно! Но насчет твоей книги я действительно заблуждалась и зря уговорила тебя.

— Мы оба были неправы, оба заблуждались. Мы всегда с тобой ошибаемся вместе. Неужели ты всерьез думаешь, что могла уговорить или заставить меня принять такое решение?

— По-моему, именно так и произошло.

— Нет, на самом деле ни ты, ни я тогда так ничего и не решили до конца — мы просто позволили Сабулу сделать выбор за нас. У нас у самих внутри сидит по маленькому

Сабулу — боязнь общественного мнения и остракизма, общественная мораль, боязнь быть самим собой, иным, чем остальные, боязнь быть свободным! Все, больше это никогда не повторится. Я учусь медленно, но все-таки учусь!

— Что ты собираешься делать? — спросила Таквер, в голосе ее звучали волнение и одобрение одновременно.

— Вместе с тобой вернуться в Аббенай и основать синдикат, издательский синдикат. Опубликовать «Принципы» целиком. И все, что нам захочется. Например, работу Бедапа по проблеме Открытого Образования, которую Координационный Совет ни за что не пропустит. И пьесу Тирина. Я в долгу перед ним. Ведь это Тирин научил меня понимать, что такое тюрьмы и кто их строит. Те, кто строит вокруг себя стены, являются своими собственными тюремщиками. И еще я должен выполнить свое прямое предназначение, свою «функцию» в нашем драгоценном «социальном организме»: разрушить все стены.

— Боюсь, тогда будет слишком много сквозняков, — сказала Таквер и прислонилась к Шевеку. Он обнял ее за плечи и сказал:

— Вот этого как раз я и хочу.

Таквер давно заснула, а он все лежал без сна, подложив руки под голову, глядя во тьму и слушая тишину. Он думал о своем долгом путешествии из пустыни Даст, вспоминая барханы и миражи, того машиниста с лысой коричневой головой и честными невинными глазами, который сказал, что человек должен работать вместе со временем, а не против него.

За эти четыре года Шевек успел кое-что понять — во всяком случае, насчет своих собственных устремлений. В отчаянии своем он познал и собственную силу. Никакой общественный или этический императив не мог теперь справиться с силой его воли. Даже голод не смог ее подавить. Чем меньше он ИМЕЛ, тем более абсолютной становилась его потребность БЫТЬ.

Он определял эту свою потребность в терминах одонизма — как «функцию на уровне клетки», так в «Аналогии» Одо определялась оптимальная общественная полезность индивида. Здоровое общество непременно должно позволять индивиду выполнять эту оптимальную функцию сво-

бодно, лишь координируя ее со всеми прочими индивидуальными функциями, отыскав способы наилучшей адаптации с ними. Это была одна из центральных идей «Аналогии». То, что в одонийском обществе Анарреса давно уже ощущалась нехватка идеалов, ничуть не уменьшало в глазах Шевека его ответственность перед обществом, как раз наоборот. При наличии прежнего мифа об отсутствии на Анарресе какого бы то ни было государства становилось ясно видимым подлинное соотношение общественного и личного. Одонийское общество могло бы требовать от своих членов самопожертвования, но не допуская никаких компромиссов, ибо, несмотря на то что общество могло обеспечить безопасность и стабильность, право морального выбора имел лишь индивид, лишь конкретная личность обладала полной властью что-то изменять в своей жизни, являясь, собственно, основной функцией жизни вообще. Одонийское общество было задумано как общество перманентной революции, а все и всякие революции начинаются всегда в умах думающих индивидов.

А потому Шевек был абсолютно уверен теперь, что его стремление созидать, делать то, для чего он лучше всего годился, могло служить, согласно одонийской терминологии, оправданием любых его грядущих шагов. Ощущение чрезвычайной ценности выполняемой им работы он более не считал отсекающим его от товарищей, от общества, как думал когда-то. Напротив, уверенность в том, что его работа для общества важна, накрепко соединяла его с ним.

Он понял также, что человек, обладающий подобным чувством ответственности по поводу конкретного дела, обязан превзойти все испытания. Недопустимо рассматривать себя как простой инструмент для воплощения цели, пусть даже великой, жертвовать во имя этого всеми остальными своими жизненными обязательствами.

Именно это стремление к самопожертвованию и обнаружила в себе Таквер, когда была беременна. Она рассказывала об этом Шевеку с таким ужасом и отвращением к себе самой, потому что тоже была одонийкой, и разделение целей и средств ей тоже казалось лживым, недопустимым. Для нее, как и для него, конечной цели вообще не существовало и существовать не могло. Существовал процесс, и этот процесс был всем. Ты можешь идти в направлении обещанного или же, наоборот, от него, но нельзя

пуститься в путь, а потом где-нибудь произвольно остановиться. Подобная сопричастность непрерывному процессу прибавляла всем одонийцам ответственности и стойкости.

А потому их взаимопонимание с Таквер, их душевное родство ничуть не пострадало за четыре года разлуки. Они оба очень страдали, но ни одному не пришло в голову избежать этих страданий, нарушить обет верности и взаимопонимания.

Ведь в конце концов, думал Шевек, лежа в тепле рядом со спящей Таквер, это огромная радость — сознавать, что они оба уже миновали период страданий, завершив тем самым формирование своей личности. Лишь пройдя через страдания, можно стать счастливым. Удовольствий можно иметь сколько угодно, и все же главная цель достигнута не будет. И ты никогда не узнаешь, что это такое: вернуться домой!

Таквер тихонько вздохнула во сне, словно соглашаясь с ним, и повернулась на другой бок, досматривая какой-то свой тихий сон.

Осуществление задуманного, думал Шевек, вот основная функция времени. Поиски удовольствий носят циклический характер, они без конца повторяются, они вообще находятся как бы вне времени. Любителя разнообразных и острых впечатлений, краткосрочных интрижек и приключений всегда выносит в итоге в одно и то же место. Такой путь конечен. Он неизбежно приводит к концу, к тупику, и должен быть начат снова. Это не путь и возвращение, не виток, но замкнутый цикл, запертая комната, клетка.

А ведь за стенами запертой комнаты расстилаются горизонты времени, там дух волен — при наличии удачи и мужества — создавать хрупкие, подвижные, фантастические пути, целые города верности и любви, в которых единственно и должны существовать люди...

И лишь там, в пределах этого широкого мира, включающего прошлое и будущее, верность и преданность, связывают время воедино, являясь главным источником человеческой силы, главным источником жизни вообще.

Оглядываясь на четыре года разлуки, Шевек не воспринимал их как потраченные впустую, но как часть того здания, которое он и Таквер строили своей собственной, общей теперь, жизнью. Главное — работать вместе со временем, а не против него, думал он. Время нельзя потратить зря, ибо даже боль и страдания не бывают напрасными.

Глава 11

УРРАС

Родарред, старая столица провинции Аван, славился своими башнями и шпилями, торчавшими над вершинами огромных сосен. Улицы здесь были темными и узкими, каменные плиты поросли мхом, густые туманы надолго задерживались под деревьями. Только с семи мостов, перекинутых через реку, можно было как следует разглядеть небо над головой и верхушки острых шпилей. Некоторые из городских башен взлетали вверх на несколько сотен футов, а те, что пониже, рядом с ними казались молодой порослью у корней этих гигантов. Некоторые башни были просто из грубого камня, другие, более изящные, украшены изразцами, мозаикой, витражами, чеканкой по меди, олову или даже золоту. На одной из таких сказочных, исполненных фантастического очарования улиц и заседал Совет Государств Планеты Уррас, основанный триста лет назад. Многие посольства, консульства и представительства стран — членов Совета также старались обосноваться в Родарреде, от которого до Нио Эссейи, где находилось правительство А-Йо, был всего час езды.

Посольство планеты Земля расположилось в старинном Речном Замке, между хайвеем, ведущим в Нио, и рекой; среди могучих деревьев была видна только одна приземистая мрачноватая башня с квадратной крышей и узкими окнами-бойницами, похожими на прищуренные глаза. Четырнадцать веков выдерживали стены этой башни натиск вражеского оружия и непогоды. Темные сосны толпились вокруг, и среди них через крепостной ров был перекинут подъемный мост. В данный момент мост был опущен, ворота в замок открыты. Заросший зеленой травой крепостной ров, река, почерневшие от старости стены, флаг на вершине башни — все было влажным и поблескивало в тумане, пронизанном солнцем; колокола на башнях Родарреда только что отзвонили семь часов утра.

Внутри замка оказалась в высшей степени современная приемная, клерк, вышедший Шевеку навстречу, без стеснения зевал во весь рот.

— Вообще-то мы открываемся в восемь, — глухо и укоризненно пробормотал он.

— Я хотел бы видеть посла.

— Посол завтракает. Вам нужно было заранее записаться на прием. — Клерк вытер слезящиеся после очередного зевка глаза и наконец впервые как следует разглядел посетителя. Он явно был удивлен. Беззвучно пошевелив губами, он спросил: — А вы, собственно, кто? Откуда... и что вам угодно?

— Мне необходимо видеть вашего посла.

— Минуточку подождите, — сказал клерк. Выговор выдавал в нем выходца из Нио. Не сводя с Шевека глаз, он взял телефонную трубку.

Шевек заметил, как в ворота въехала машина, из которой вышли несколько человек в знакомых черных мундирах, металлические пуговицы и галуны блестели на солнце. Вдруг в приемную из глубины здания вошли, беседуя, два сотрудника посольства, одетые и выглядевшие довольно странно. Шевек одним прыжком обогнул стол секретаря и бросился к ним:

— Помогите мне! Скорее!

Они ошеломленно подняли головы. Один отступил назад и нахмурился. Второй, заметив группу людей в полицейских мундирах, схватил Шевека за руку и ледяным тоном велел:

— Ступайте сюда, — и втолкнул его в небольшой кабинет. Закрыв за собой дверь, он спросил: — В чем дело? Вы из Нио Эссейи?

— Мне необходимо переговорить с вашим послом.

— Вы один из забастовщиков?

— Меня зовут Шевек. Я с Анарреса.

Глаза землянина сверкнули, они у него были большие, ясные, умные, а лицо — черное, как уголь.

— Господи! — сказал он. — Вы просите политического убежища?

— Не знаю. Я...

— Пойдемте со мной, доктор Шевек. Я отведу вас в более безопасное место. Там вы сможете отдохнуть.

Замелькали залы, лестницы... чернокожий человек не снимал теплой руки с плеча Шевека.

Потом кто-то попытался снять с него куртку, куда-то уложить, он сопротивлялся, опасаясь, что они найдут его записную книжку, потом кто-то заговорил с ним спокойно и убедительно на неведомом ему языке, кто-то другой

пояснил: «Не волнуйтесь, доктор Шевек, это наш врач. Он просто пытается выяснить, не ранены ли вы. У вас вся куртка в крови».

— Это не моя кровь, — внятно сказал Шевек, — это кровь другого человека.

Наконец ему удалось сесть. Голова ужасно кружилась. Он полусидел на кушетке в просторной, залитой солнцем комнате. Видимо, по дороге сюда он упал в обморок. Рядом стояли двое мужчин и какая-то женщина. Он непонимающе, вопросительно посмотрел на них.

— Вы в Посольстве Земли, доктор Шевек. На территории нашей планеты. Здесь вы в полной безопасности. И можете оставаться здесь сколько угодно.

Кожа у женщины была смуглой, чуть желтоватого оттенка, как красноземы на Анарресе, и очень гладкой, хотя ни лицо, ни тело не были выбриты; просто волосы росли только на голове. Черты лица были необычные, точно у ребенка, — маленький рот, приплюснутый носик, довольно узкие, продолговатые глаза с густыми, длинными ресницами, округлые щеки и подбородок. Она вся была маленькой, пухленькой, округлых форм.

— Не волнуйтесь, здесь вы в безопасности, — повторила она.

Он хотел что-то ей ответить и не смог: не хватило сил. Один из мужчин легонько и ласково толкнул его в грудь и велел:

— Лежите, лежите.

Он послушно лег, но все же прошептал:

— Я хочу видеть посла вашей планеты.

— Я и есть посол. Меня зовут Кенг. Мы очень рады, что вы пришли именно к нам. Повторяю: здесь вы в безопасности. Пожалуйста, доктор Шевек, постарайтесь немного отдохнуть, а потом мы непременно поговорим. Никакой спешки нет. — Голос у женщины-посла звучал негромко, напевно и как бы в разных тональностях, и в то же время он чем-то напоминал голос Таквер.

— Таквер, — с отчаянием сказал Шевек на родном языке, — я не знаю, что мне делать?

Она наклонилась к нему и сказала:

— Спите.

И он заснул.

Двое суток он только спал, ел и снова спал. На третий день, придя в себя и облачившись в свой серый модный костюм, который за это время успели вычистить и отгладить, он поднялся на третий этаж, в личную гостиную посла.

Кенг не стала ни кланяться, ни пожимать ему руку, она просто соединила ладони у себя под грудью пальцами вверх и улыбнулась.

— Я рада, что вы чувствуете себя лучше, доктор Шевек. Нет, мне, видимо, следует называть вас просто Шевек, верно? Пожалуйста, садитесь. Извините, что вынуждена говорить с вами на йотик — он ведь чужой для нас обоих, — но вашего языка я не знаю. Мне говорили, что правик — необычайно интересный язык, изобретенный с удивительно рациональных позиций, сумевший стать общим для целой планеты, для огромного количества людей.

Шевек чувствовал себя очень большим и тяжелым рядом с миниатюрной инопланетянкой. И ужасно волосатым. Он сел в одно из глубоких мягких кресел и заметил, что Кенг, садясь, чуть поморщилась.

— У меня позвоночник не в порядке, — пояснила она. — Мне просто вредно сидеть в кресле, но кресла здесь такие удобные и мягкие! — Шевек вдруг понял, что ей куда больше тридцати — как ему показалось сначала, — может быть, все шестьдесят или даже больше; его обманула безупречно гладкая и чистая кожа Кенг, ее детское личико и хрупкая фигурка. — Дома, — продолжала она, — мы сидим главным образом на полу, на специальных подушках. Но если я заведу эту моду здесь, мне еще выше придется задирать голову, чтобы посмотреть кому-то в лицо: у вас в созвездии Кита все такие высокие!.. Видите ли, у нас возникла небольшая проблема. То есть не у нас конкретно, а у правительства А-Йо. Ваши друзья на Анарресе, те, кто осуществляет радиосвязь с Уррасом, ну вы их знаете, давно и весьма настойчиво требуют переговоров с вами. И теперь правительство йоти не знает, как быть и что им сказать. — Она слегка улыбнулась, и в этой улыбке промелькнуло почти незаметное злорадство.

А вообще в ней чувствовалось удивительное спокойствие. Такое спокойствие исходит от обкатанной водой каменной глыбы, одно лишь созерцание которой доставляет наслаждение. Шевек подумал некоторое время и спросил:

— А правительству А-Йо известно, что я здесь?

— Официально, видимо, нет. Мы, во всяком случае, ничего не сообщали, а они не спрашивали. Но у нас есть несколько служащих и секретарей йоти... Я думаю все же, что они знают.

— Мое присутствие здесь не представляет для вас опасности?

— О нет! Наше посольство находится в юрисдикции Совета Государств Планеты, а не А-Йо. Вы имели полное право прийти сюда, и Совет, безусловно, заставит А-Йо с этим смириться. И, как я уже говорила вам, этот замок является территорией планеты Земля. — Она снова улыбнулась, ее гладкое лицо на мгновение покрылось легкими мелкими морщинками и тут же снова разгладилось. — Что весьма приятно, надо сказать. Ведь мы сейчас находимся в одиннадцати световых годах от моей родины, в государстве А-Йо, на планете Уррас созвездия Кита! Только дипломаты могли до такого додуматься.

— Значит, вы можете просто сказать им, что я здесь?

— Могу, если вы этого хотите. Это значительно все упростило бы.

— А вы не знаете... Не было ли для меня...письма с Анарреса?

— Не знаю. Я не спрашивала. Но если вас что-то беспокоит, мы легко можем связаться с Анарресом по радио. Нам, разумеется, известна длина волны, которой пользуются ваши друзья, однако сами мы никогда ею не пользовались — нам ведь никто этого не предлагал, а мы, разумеется, не настаивали.

— У вас в посольстве есть передатчик?

— Связь легко организовать через наш космический корабль, который все время остается на орбите Урраса. Это хайнский корабль. Хайн и Земля ведь давно сотрудничают, как вы, должно быть, знаете. Их посол знает, что вы у нас, его единственного мы уведомили об этом официально. Так что радиопередатчик к вашим услугам.

Он поблагодарил ее с простотой человека, которому не свойственно оглядываться назад и выискивать истинные мотивы того, что было ему предложено. Кенг недолго смотрела ему прямо в глаза своим проницательным, спокойным взглядом, потом вдруг сказала:

— Я слышала вашу речь.

Он посмотрел на нее, словно не понимая.

— Речь?

— Ну да, во время демонстрации на площади Капитолия. Сегодня как раз неделя... Мы всегда слушаем подпольные радиостанции — рабочих-социалистов, сторонников доктрины свободы... А тогда, конечно, все их передачи были посвящены демонстрации. Я слышала ваше выступление и была тронута до глубины души. А потом раздался какой-то странный шум, крики, вопли... Но никто ничего не объяснял, а шум все усиливался... Потом вдруг все стихло. Это было ужасно, ужасно! Значит, вы были там?.. Как же вам удалось спастись? Как удалось выбраться из города? Старый Город до сих пор оцеплен, в Нио ввели три дополнительных армейских полка. Бастующих и подозреваемых хватали десятками, сотнями... Как все-таки вы добрались до нашего посольства?

Он слабо улыбнулся:

— На такси.

— Через все пропускные пункты? Да еще в окровавленной куртке? Когда все знают вас в лицо?

— Я был под сиденьем. Это такси... реквизировали — я правильно выражаюсь? Конечно, риск был, и на этот риск люди пошли ради меня. — Он, опустив голову, смотрел на свои стиснутые на коленях руки. Говорил он спокойно, но в нем чувствовалось чудовищное внутреннее напряжение, почти надрыв — его выдавали глаза и жесткие морщины, что пролегли вдруг у рта. — Во-первых, мне повезло, что, когда я вылез из того подвала, меня сразу не арестовали. А потом мне удалось пробраться в Старый Город и попасть к своим. А уж они продумали все и все подготовили, чтобы доставить меня сюда. И весь риск взяли на себя. — Он что-то сказал на своем языке, потом перевел: — Это настоящая солидарность!..

— Все это очень странно, — сказала Кенг. — Я ведь почти ничего не знаю о вашем мире, Шевек. Только то, что расказывают уррасти. Вы ведь никому не разрешаете садиться на Анаррес. Я знаю, конечно, что большую часть планеты занимают пустыни, что там часто бывают засухи, знаю, что колония одонийцев поставила там великий эксперимент по созданию некоего подобия анархо-коммунистического общества, которое просуществовало уже сто семьдесят лет... Я читала кое-что из работ Одо — не все, конечно. Мне казалось, что Анаррес в данный момент не

так уж важен по сравнению с тем, что назревает на Уррасе, что он далеко... что одонийское общество — всего лишь интересный эксперимент, не более. Но я очень ошибалась! Возможно, как раз Анаррес и является ключом к пониманию тех событий, что имели место на Уррасе... Эти революционеры в Нио... у их движения, похоже, те же истоки, те же традиции. Они ведь устраивают забастовку не просто ради повышения зарплаты или протестуя против внеочередного призыва в армию. И среди них не только социалисты, но и анархисты, и представители других партий; они вместе борются против Власти, против здешнего чудовищного авторитаризма. Видите ли, нам сперва трудно было понять размах этой мирной демонстрации и паническую реакцию на нее властей. Здешнее правительство вовсе не казалось нам столь уж деспотичным. Богатые, правда, действительно очень богаты, зато бедные вовсе не настолько бедны. Здесь нет фактического рабства, люди, в общем, не голодают... Почему же им мало «хлеба и зрелищ»? Почему они не удовлетворятся речами на митингах? Только теперь я начинаю понимать, почему. Но мне по-прежнему кажется совершенно необъяснимым поведение правительства А-Йо: ведь оно прекрасно знает, что освободительная традиция одонизма до сих пор жива, осведомлено об участившихся беспорядках в промышленных городах, но все-таки зачем-то вас сюда доставили? Это же равноценно тому, чтобы поднести спичку к пороховому погребу!

— А они не рассчитывали, что я возле этого порохового погреба окажусь! Меня предполагали полностью оградить от общения с «народом», поселив среди ученых и позволив общаться только с богатыми или хорошо обеспеченными людьми. Бедняков мне показывать были не намерены, трущоб тоже. Меня должны были завернуть в вату и положить в коробочку, а коробочку обернуть красивой бумагой и прозрачной пленкой — здесь все так пакуют. И в этой коробочке я должен был чувствовать себя вполне счастливым и работать на благо своих гостеприимных хозяев — я ведь не смог выполнять эту работу на Анарресе. А результаты своей работы я должен был отдать уррасти, чтобы потом они могли с ее помощью угрожать вам.

— Угрожать нам? Земле, хотите вы сказать? И Хайну, и другим космическим государствам? Но чем? Как?

— Способностью «уничтожать пространство».

Кенг несколько минут молчала.

— Так вот вы чем занимаетесь! — Она явно была поражена и заинтригована.

— Нет, как раз не этим! Во-первых, я не изобретатель, не инженер, не конструктор. Я теоретик. И им от меня нужна именно теория. Общая Теория Времени. Вы знаете, что такое Общая Теория Поля?

— Ах, Шевек, ваша физика и ваши естественные науки мне совершенно недоступны! Я ведь математику, физику и даже философию знаю весьма слабо, а ваша Теория, похоже, имеет ко всему этому самое непосредственное отношение. И еще к космологии и многому другому... Но я могу догадаться, что вы имеете в виду под Теорией Одновременности — я немного представляю себе, что такое теория относительности, а потому могу догадаться и о том, что ваша физика времени способна сделать возможным создание новых, пока еще неведомых технологий. Так?

Он кивнул и сказал:

— В основном им нужно сейчас освоить мгновенное перемещение материальных тел в пространстве. Нуль-транспортировку. Понимаете? Как бы не пересекая само пространство, не тратя времени... Они, вполне возможно, и сами когда-нибудь додумаются до этого, без моих формул. Но это будет еще нескоро. А с помощью моих формул они могут уже через несколько месяцев создать ансибль. Людям, материальным телам, куда сложнее преодолевать большие расстояния, чем идеям, мыслям, словам...

— Что такое ансибль, Шевек?

— Пока только идея. — Он невесело усмехнулся. — С помощью такого приспособления было бы возможно наладить практически мгновенную связь между двумя любыми точками пространства. Разумеется, это приспособление не будет способно пересылать, например, письма... Видите ли, грубо говоря, Одновременность — это идентичность. Но в нашем восприятии она будет работать как способ, средство связи во времени и пространстве, то есть будет осуществляться ОБМЕН. Если ансибль использовать, например, для переговоров между различными галактиками, то не придется слишком долго ждать ответа на заданный вопрос, как это происходит сейчас при исполь-

зовании электромагнитных волн. Это на самом деле будет очень простая вещь. Нечто вроде телефона.

Кенг рассмеялась.

— О эта простота физиков! Итак, я, значит, смогу взять такой... ансибль, верно?.. И поговорить с сыном, который остался в Дели? Или с внучкой, которой было пять, когда я улетала, и которая успела стать совсем взрослой, пока я еще только летела с Земли на Уррас, хотя наш корабль перемещался со скоростью, близкой к скорости света... И я могла бы узнать, что творится сейчас у меня дома, — и не ждать одиннадцати лет... И можно было бы сразу принимать решения, заключать соглашения, делиться информацией... Я могла бы поговорить с дипломатами Чиффевара, а вы — с физиками Хайна, и великим идеям не нужно было бы ждать столетия, чтобы добраться из одной галактики в другую... А знаете, Шевек, по-моему, эта ваша «очень простая вещь» способна была бы совершить настоящую революцию в Девяти Известных Мирах, изменить жизнь миллиардов людей! — Он молча кивнул. — Это сделало бы вполне реальным создание Лиги Миров, о которой мы мечтаем. Нам очень мешают постоянные задержки, те годы и десятилетия, что проходят между каждым вопросом и ответом. Такой ансибль, как мне кажется, равен изобретению человеческой речи! Мы сможем говорить! Наконец-то мы сможем говорить друг с другом!

— И что бы вы, например, сказали?

Горечь, звучавшая в его вопросе, озадачила Кенг. Она посмотрела на него и ничего не ответила.

Шевек наклонился вперед и с силой потер лоб и виски — как всегда в минуты волнения.

— Послушайте, — сказал он, — я должен все-таки объяснить, почему я пришел к вам, зачем вообще явился на эту планету. Так вот: ради великой идеи. Ради ее воплощения в жизнь. Пришел учить и учиться сам. Мы на Анарресе добровольно отрезали себя от остального мира. Мы, видите ли, не желаем вести диалог с остальным человечеством. Там завершить свою работу я не мог. А если б и смог, она все равно не была им нужна, они не видели в ней практического смысла. И я прилетел сюда. Здесь я нашел все то, что было мне необходимо, — беседы и споры с коллегами, возможность ставить эксперименты в Лаборатории Света и даже книгу о теории относительности, привезенную с другой планеты... В общем я обрел тот самый стимул, который был мне так нужен. Но вот я закончил свою работу. Она, правда, пока еще не написана, но я составил все необходимые формулы и знаю, как обосновать все положения своей теории, так что в целом работу можно считать законченной. Но это отнюдь не единственное, что мне важно. Мое общество — это ведь тоже некая идея, только воплощенная в жизнь. Я продукт этого общества. Я с молоком матери впитал идеи свободы, необходимости перемен, человеческой солидарности. И я совершил изрядную глупость, хотя в конце концов все же понял это. Дело в том, что, преследуя одну цель, в данном случае желая создать некую физическую теорию, я предал нечто гораздо более важное: позволил собственникам ПОКУПАТЬ ИСТИНУ — у меня!

— Но как бороться с этим, Шевек?

— А разве не существует альтернативы купле-продаже? Разве не существует такого понятия, как подарок?

— Да, конечно...

— Тогда вы должны понять одну нехитрую вещь: я хочу отдать свою теорию, поделиться ею... со всеми — с вами, с Хайном, с другими мирами... и со всеми государствами планеты Уррас тоже! Но — со всеми сразу, одновременно! Чтобы кто-то один не смог воспользоваться ею так, как того хочет А-Йо, не смог обрести власть над другими, не смог стать еще богаче или выиграть еще больше войн и кровопролитных сражений. Чтобы никто не использовал Истину для собственной выгоды — только для общего блага.

— В конце концов так всегда и случается, — заметила Кенг.

— В конце концов — да, но я не намерен ждать этого «в конце концов». У меня только одна жизнь, и я не отдам ее просто так, ради чьей-то алчности, выгоды и лжи. И ни одному «хозяину» я служить не стану!

Теперь Кенг уже не казалась столь спокойной, как в начале беседы, она едва сдерживала охватившее ее волнение. Она была восхищена Шевеком, его внутренней силой и свободой, не сдерживаемой никакими самоограничениями, никакими понятиями о самообороне.

— Каково же оно, это общество, что создало вас? — потрясенно проговорила она. — Я слышала, как вы говорили

об Анарресе — там, на площади, — и я плакала, слушая вас, но по-настоящему вам все же не верила. Люди часто говорят с излишним восторгом о своем доме, о родных краях, о той земле, где их сейчас нет... Но вы НЕ ПОХОЖИ на других, Шевек!

— Потому что я действую во имя конкретной идеи, — сказал он. — Из-за которой явился сюда. Во имя Анарреса. Раз мой народ не желает видеть вокруг себя Вселенную, я решил попробовать заставить представителей других миров повнимательнее посмотреть на нас, на Анаррес. Я думал, так будет лучше — не быть разделенными стеной, являть собой единое общество, такое же, как многие другие, еще один мир среди прочих миров, где все умеют не только брать, но и давать. Но тут я ошибся... я страшно заблуждался...

— Почему же? Конечно...

— Потому что на Уррасе нет ничего, что было бы нужно нам, анаррести! Мы с пустыми руками покинули эту планету сто семьдесят лет назад и были правы. Мы не взяли отсюда ничего. Потому что здесь нет ничего, кроме Государств, их оружия, их богатых, их лжи, их бедных и их нищеты. Здесь нельзя, невозможно действовать по справедливости, с открытой душой. Здесь во все в итоге проникают представления о выгоде, страх лишиться собственности, жажда власти. Здесь нельзя просто сказать «доброе утро», не узнав заранее, насколько «выше» тебя тот, с кем ты здороваешься. Здесь невозможно вести себя по-братски — можно только командовать, манипулировать другими людьми или, напротив, подчиняться им или их обманывать. Здесь до души другого не доберешься, однако тебя самого никогда не оставят в покое. Свободы здесь нет и в помине. Уррас — это коробка, красивая, праздничная упаковка с прелестными картинками, на которых изображено голубое небо, луга, леса, большие города... Но откройте коробку — и что же вы увидите внутри? Черные стены темницы, грязь и мертвого человека, у которого отстрелили руку только потому, что он протянул ее другим. Наконец-то я узнал, что такое Ад! Дезар был прав: Ад — это Уррас.

Речь Шевека дышала страстью, однако слова были чрезвычайно просты, и посланница Земли смотрела на него с симпатией и осторожным интересом, словно не была уверена, правильно ли воспринимает эту простоту.

— Мы оба здесь чужеземцы, Шевек, — наконец сказала она. — Причем я — из мира куда более далекого во времени и пространстве. И все же, по-моему, я гораздо менее чужда Уррасу, чем вы... Позвольте мне пояснить эту мысль. Мне самой и всем землянам эта планета представляется одной из самых щедрых, богатых разнообразием живой жизни и самых прекрасных во Вселенной! Именно такой мир мог бы максимально соответствовать понятию «Рай». — Она помолчала, глядя на него спокойно и внимательно, он молчал. — Я понимаю, здесь много всякого зла — несправедливости, алчности, безумия, бессмысленного расточительства природных и человеческих богатств. Но тем не менее мир этот полон добра и красоты, жизненной силы и великих свершений. Он таков, каким и должен быть настоящий мир людей! Он ЖИВОЙ, поразительно живой — несмотря на процветающее в нем порой зло, в нем есть и надежда. Разве я не права? — Шевек молча кивнул. — Ну а теперь скажите мне, вы, человек с планеты, которую я даже вообразить себе не могу, представляющий себе этот Рай как самый настоящий Ад: каким представляете вы себе мой собственный мир, мою Землю? — Он по-прежнему молчал, внимательно глядя на нее спокойными светлыми глазами. — Тогда я вам скажу: моя родная Земля лежит в руинах! И сделали это ее собственные обитатели. Мы множились, не заботясь о перенаселении, мы уничтожали последние запасы продовольствия, мы вели разрушительные войны друг с другом, мы сами разорили свое гнездо — а потом стали вымирать. Мы не сдерживали ни собственных аппетитов, ни жажды насилия. Мы не приспосабливались к своему миру — мы его разрушали, а вместе с ним уничтожали и себя. На моей Земле больше не осталось лесов. Воздух там серый от пыли, и небо стало серым, и там всегда жарко. Она все еще обитаема, моя Земля, но она теперь так отличается от этой планеты, от Урраса! Здесь — живой, ЖИВУЩИЙ мир и, на мой взгляд, достаточно гармоничный. На Земле — сплошные разногласия, и прежде всего человека с природой. Вы, одонийцы, выбрали пустыню; мы, земляне, пустыню создали... Мы стараемся выжить в ней, как и вы. Человек — вообще существо стойкое! Сейчас нас на Земле осталось полмиллиарда. А когда-то было девять миллиардов! Сплошь и рядом там встречаются старые города, где кости и камни с различной скорос-

тью превращаются в прах и пыль; остаются нетленными только куски пластика — они чужды природе и не способны адаптироваться к ней. Мы, земляне, как человеческие и общественные особи потерпели поражение! Но здесь мы — как равные среди равных; здесь — мы тоже представители Человечества. Впрочем, и здесь мы оказались только по милости планеты Хайн. Они первыми прилетели к нам, оказали помощь, построили космические корабли и подарили их нам, чтобы мы в случае катастрофы смогли покинуть свой разрушенный, умирающий мир. Они добры и милосердны; они обращаются с нами, как подобает обращаться сильному со слабым. Они очень странные, эти хайнцы; их мир старше всех прочих известных миров и бесконечно великодушнее. Они истинные альтруисты. Они точно ощущают перед нашей планетой некую вину, а мы и своей-то вины перед нею толком не понимаем, несмотря на все совершенные нами преступления. И они ко всему подходят с открытой душой — по-моему, благодаря своему бесконечному прошлому. Ну что ж, с их помощью мы постарались спасти на Земле то, что еще можно было спасти, и даже создали на развалинах былого мира какую-то новую жизнь — тем единственным способом, который был нам доступен: абсолютной, всеобщей и полной централизацией. Жесточайшим контролем над использованием каждой пяди земли, каждой полоски металла, каждой унции топлива, каждого грамма конечной продукции. Мы ввели строжайший контроль над ростом рождаемости и эутаназию; создали всемирные трудовые резервы — по-моему, у вас тоже есть нечто подобное. Это означало абсолютную регламентацию каждой отдельной жизни во имя общей великой цели: выживания людей на планете. Этого мы сумели добиться. Благодаря хайнцам. Они принесли нам... немного больше надежды. Не очень много. Но нам хватило. Мы ведь тогда изжили свою надежду полностью... И вот теперь мы можем только восхищаться Уррасом, этой полной жизни прекрасной планетой и ее процветающим обществом. Да, восхищаться и, возможно, немножко завидовать этому Раю. Но не очень.

— Но в таком случае наш Анаррес — во всяком случае, тот, о котором вы слышали, для вас, Кенг, просто не может что-либо значить!

— А он ничего и не значит для нас, Шевек. Ничего. Мы

упустили шанс создать свой Анаррес много веков назад, еще до того, как зародилось ваше общество одонийцев.

Шевек встал и подошел к окну — одной из тех узких бойниц, что украшали старинную башню. Под окном в стене была ниша, где мог устроиться лучник, чтобы иметь возможность лучше прицелиться в тех, кто атакует ворота замка; иначе сквозь такую бойницу разглядеть что-либо снаружи было невозможно — в ней виднелось лишь небо, в данный момент затянутое легчайшей дымкой, насквозь просвеченной солнцем. Шевек глядел на это небо, и глаза его полнились светом.

— Вы просто не понимаете, что такое Время, — сказал он вдруг. — Вы говорите, что прошлое миновало, а светлое будущее нереально, что нет никакой надежды на особые перемены... Вы считаете Анаррес тем будущим, которого вам нельзя достигнуть; вы полагаете, что ваше страшное прошлое изменить невозможно. Для вас существует только настоящее, только этот, теперешний Уррас, его богатое, реальное, стабильное настоящее. Единственное «сейчас». И вы думаете, что «сейчас» — это нечто такое, чем можно владеть! Вы немножко завидуете этому теперешнему Уррасу, вам бы хотелось иметь такую же цветущую планету. Однако понимаете, что это абсолютно нереально. Но мир Урраса отнюдь не стабилен! И он не имеет ни одной из перечисленных вами характеристик (да и что во Вселенной стабильно и прочно?). Все течет, все меняется... Ничем нельзя обладать вечно... И менее всего — настоящим, если не принимаешь его ВМЕСТЕ с прошлым и будущим. Важно не только прошлое, но и будущее; не только будущее, но и — обязательно! — прошлое. Потому что они реальны: лишь реальность нашего прошлого и будущего делает реальным настоящее. Вы никогда не поймете Урраса, пока не примете еще одну, связанную с ним реальность: вечную реальность Анарреса. Вы правы: мы ключ к пониманию Урраса. Но, даже сказав это, вы еще по-настоящему не верили, что так оно и есть. Вы не верите в Анаррес. Значит, вы не верите в меня, хотя я стою рядом с вами, в этой самой комнате, в данный момент... В одном мой народ был прав, а я нет — в том, что мы не можем прийти к вам: вы нас не впустите. Вы не верите в возможность перемен. Вы скорее уничтожите нас, чем примете нашу реальность, чем согласитесь, что у нас есть надежда! Мы не

можем прийти к вам. Мы можем только ждать, пока вы сами придете к нам.

Кенг сидела, глубоко задумавшись и, возможно, даже забыв, где находится.

— Я не понимаю... не понимаю, — проговорила она наконец. — Вы — точно кто-то из нашего собственного прошлого, из тех старых идеалистов, тех мечтателей... которые говорили о свободе, о свободе духа... И все же я вас не понимаю! Вы словно пытаетесь объяснить мне что-то из невероятно далекого будущего, однако сам-то вы действительно здесь, рядом со мной!.. — Она совершенно утратила былое спокойствие и самообладание. Немного помолчав, она спросила: — Но тогда почему же вы все-таки пришли ко мне, Шевек?

— О, всего лишь для того, чтобы подарить вам одну идею. Мою теорию времени. Чтобы спасти ее, иначе она превратится в собственность йоти — то есть в деньги или оружие. Если вы согласитесь, то проще всего было бы передать эти формулы по радио всем физикам во всех обитаемых мирах и как можно быстрее. Вы согласны помочь мне?

— Разумеется!

— Это всего несколько страниц текста. Доказательства и кое-какие примечания заняли бы несколько больше места и времени, но их можно передать и потом; к тому же многие смогут додуматься до этого и сами.

— Но что же тогда будете делать вы? Хотите вернуться в Нио? Сейчас в столице, правда, довольно спокойно, мятеж вроде бы подавлен, по крайней мере на некоторое время, но, боюсь, правительство йоти считает вас одним из подстрекателей. Конечно, есть еще Тху...

— Нет. Я больше не хочу оставаться на Уррасе. Я, к сожалению, не альтруист! Если вы поможете мне покинуть эту планету, я бы с удовольствием улетел домой. Возможно, это совпадает и с желанием правительства А-Йо — они бы, наверное, хотели отправить меня подальше отсюда, сделать так, чтобы я исчез, а потом отрицать даже само мое существование. Разумеется, с их точки зрения, возможно, полезнее было бы меня убить или бросить в тюрьму на всю оставшуюся жизнь. Но я пока что не хочу умирать, тем более здесь, в Аду. Куда у вас, землян, отправляется душа, если умираешь в Аду? — Он рассмеялся, к нему

снова вернулось прежнее обаяние. — В общем, если бы вы могли отправить меня домой, то йоти, по-моему, вздохнули бы с облегчением. Мертвые анархисты, как известно, часто становятся «Невинными Жертвами» и продолжают жить веками. А вот исчезнувшие — вполне могут оказаться и забытыми.

— А я-то считала, что понятие «реализм» мне хорошо известно, — сказала Кенг и заставила себя улыбнуться.

— Как же вы могли это знать, если не знаете, что такое надежда!

— Не судите нас слишком строго, Шевек.

— Я и не думаю вас судить! Я всего лишь прошу о помощи — за которую мне нечем отплатить.

— Нечем? А ваша Теория?

— Положите ее на одну чашу весов, а на другую — свободу для одной лишь человеческой души, — сказал Шевек, — и сами увидите, какая чаша окажется тяжелее. Но можете ли вы сказать это заранее? Я, например, не могу.

Глава 12

АНАРРЕС

— У нашего Синдиката Инициативных Людей есть предложение, — сказал Бедап. — Как вам известно, мы уже более двухсот дней поддерживаем постоянную радиосвязь с Уррасом...

— Вопреки рекомендации Совета и мнению большинства одонийцев!

— Согласен. — Бедап смерил прервавшего его человека взглядом, но ни малейшего неудовольствия не выказал. На собраниях Координационного Совета не соблюдалось ни протокольных правил, ни регламента. И выступавшего прерывали нередко чаще, чем выступали сами.

Бедап хорошо знал всех своих давнишних оппонентов. В импортно-экспортном отделе Совета он уже три года только тем и занимался, что неустанно сражался с ними. Тот, кто только что прервал его, был новичком; совсем еще молодой парень, видимо, лишь недавно выбранный в КСПР голосованием по списку. Бедап довольно долго и вполне доброжелательно смотрел на него, потом продолжил:

— Давайте не будем снова начинать старый спор, хорошо? Я предлагаю открыть новую дискуссию. Дело в том, что мы получили весьма интересное послание с Урраса от группы, именующей себя «Обществом одонийцев». Они пользовались той же частотой, которой мы пользуемся для связи с А-Йо, однако вне графика связи, и сигнал был весьма слабый. Похоже, это представители государства Бенбили, а вовсе не А-Йо. Видимо, данное общество было создано уже после Заселения Анарреса и существует подпольно, вопреки всем запретам и законам. Они адресовали свое послание «братьям на Анарресе». Текст полностью опубликован в бюллетене нашего Синдиката, это довольно любопытный документ. Они, в частности, спрашивают, нельзя ли им прислать сюда своих представителей.

— Прислать сюда? Они хотят, чтобы мы позволили уррасти явиться к нам? Этим шпионам?..

— Нет, они хотят прилететь сюда в качестве новых поселенцев.

— То есть хотят устроить новое Заселение Анарреса? Так?

— Они утверждают, что на них охотится полиция, и надеются...

— Ну да, надеются захватить нашу планету! Открыть сюда доступ собственникам, чтобы любой спекулянт, который называет себя одонийцем, мог сюда явиться и устанавливать свои законы?

Далее началась полная неразбериха, спор весьма быстро достиг точки кипения, говорили как бы все сразу, но никто ничего вразумительного так и не сказал, большая часть отделывалась саркастическими репликами и довольно бессмысленными эмоциональными высказываниями чисто субъективного характера. Страсти, правда, понемногу утихли, однако окончательного решения вынесено так и не было. Собрание было похоже на семейную свару или, точнее, на яростный спор человека с самим собой, когда он не знает, как ему поступить.

— Ну а если мы разрешим этим так называемым одонийцам явиться сюда, то как они предполагают это сделать?

Это был главный оппонент Бедапа — женщина, которую он терпеть не мог и даже побоивался. Холодная, умная, умело владевшая искусством аргументации. Звали ее Рулаг. Весь год, пока он работал в Совете, она не давала ему жить спокойно. Бедап глянул в поисках поддержки на Шевека, тот впервые пришел на заседание Совета. Кто-то говорил, что Рулаг — талантливый инженер с удивительно ясным и холодным умом, такой она показалась и Бедапу — абсолютный прагматик во всем, четкое мышление плюс механистическая ненависть ко всему иррациональному. Она опротестовывала любой шаг Синдиката Инициативных Людей, включая даже само его право на существование. Бедап уважал ее, как уважают сильного, достойного противника. Порой, когда она говорила о могуществе Урраса и опасности заключения сделки с ним с позиции слабого по отношению к более сильному, он даже, пожалуй, ей верил.

Временами Бедапу даже казалось, что они совершили ошибку. Неужели, спрашивал он себя, тогда, зимой 168-го года они с Шевеком, встретившись и обсудив все возможности создания собственного синдиката, благодаря чему смогли опубликовать наконец свои работы и послать их на Уррас (особенно это было важно отчаявшемуся Шевеку), породили некую, совершенно неконтролируемую череду событий? Когда им наконец удалось наладить радиосвязь с соседней планетой, уррасти стали проявлять гораздо больший энтузиазм и желание общаться и обмениваться информацией, чем можно было ожидать; а когда Синдикат опубликовал первые обзоры обмена информацией с Урра-сом, его оппоненты проявили свое негодование по поводу установившейся связи настолько бурно, что Шевек с Бедапом и их друзья просто не знали, как реагировать. Получалось, что на обеих планетах их Синдикату уделяли чрезмерно много внимания. Когда твой враг с восторгом бросается обнимать тебя, а твои собственные земляки тебя отвергают, трудно не задать себе вопрос: а вдруг ты и в самом деле предатель?

— Мне кажется, они могли бы прилететь сюда на одном из грузовых кораблей, — ответил он Рулаг. — Как все настоящие одонийцы, они ничего не имеют против путешествий в некомфортных условиях. Впрочем, неизвестно еще, отпустит ли их правительство страны или Совет Государств Планеты. С какой стати сторонникам авторитарной власти оказывать услугу анархистам? Меня интересует абсолютно теоретический вопрос. Что, если бы мы для нача-

ла пригласили совсем маленькую группу, человек шесть-восемь? Разве это так уж опасно?

— Похвальная осмотрительность, — сказала Рулаг. — Мы бы, разумеется, лучше узнали, что в действительности творится на Уррасе, однако, на мой взгляд, опасность заключается в самой попытке выяснения этого. — Она встала, давая понять, что намерена говорить достаточно долго.

Бедап нахмурился и глянул на Шевека, сидевшего с ним рядом.

— Ты только ее послушай! — прошептал он. Шевек ничего не ответил, он на подобных собраниях обычно вел себя очень сдержанно, даже смущенно, если только что-то не задевало его уж очень всерьез. В таких случаях он оказывался на удивление прекрасным оратором. А сейчас он сидел, опустив голову, и разглядывал собственные руки. Но Бедап заметил, что хотя Рулаг и обращается вроде бы к нему, Бедапу, глаз не сводит с Шевека.

— Ваш Синдикат Инициативных Людей, — сказала она, подчеркнув местоимение «ваш», — уже построил передатчик, установил радиосвязь с Уррасом и получает от них информацию, вы также порой публикуете результаты этих переговоров. И все это — вопреки протестам большинства и рекомендациям Совета. Никаких особых упреков пока что мы вам предъявить не можем — нам, одонийцам, чужда мысль о том, что кто-то может сознательно приносить вред нашему обществу и настаивать на собственных заблуждениях, вопреки советам и протестам своих товарищей и братьев. Во всяком случае, подобное случается достаточно редко. В общем-то вы, пожалуй, первые, кто стал вести себя именно так, как всегда предсказывали наши противники: с полной безответственностью по отношению к благосостоянию общества одонийцев. Я не предлагаю вновь вернуться к обсуждению того, что вы уже успели совершить, выдавая научную информацию нашему врагу — нашему могущественному врагу! — и признаваясь тем самым в нашей относительной слабости. Но сейчас вы предлагаете куда более опасную и вредную вещь. Какая разница, скажете вы, между переговорами с уррасти по радио и приглашением сюда, в Аббенай, нескольких человек с этой планеты? А какова разница между закрытой дверью и открытой? Ну хорошо, давайте откроем все наши двери и позволим уррасти прилетать сюда! Шесть или восемь псевдоодонийцев прилетят на ближайшем грузовом

кораблe, а шестьдесят или восемьдесят собственников йоти — на следующем. И уж они-то сумеют осмотреть нас буквально с ног до головы, чтобы решить, как получше нас разделить — ну да, превратить нас в свою собственность и разделить между государствами Урраса. Ну а еще через некоторое время сюда явится уже целый космический флот — шесть или восемь сотен вооруженных военных кораблей: пушки, солдаты, оккупационные войска... И наступит конец Анарреса. Обещание не сбудется. Наша надежда покоилась — в течение ста семидесяти лет — на Условиях Заселения Планеты, согласно которым ни один уррасти не должен являться сюда, за исключением самих Поселенцев. Никогда! Никакого смешения культур и цивилизаций. Никаких контактов. Отказаться от нашего основного принципа сейчас — значит сказать тиранам, которых мы однажды победили: «Наш эксперимент не удался, прилетайте! Мы готовы вновь стать вашими рабами!»

— Ничего подобного! — воскликнул с возмущением Бедап. — Напротив, мы могли бы тогда сказать им: «Наш эксперимент удался, мы достаточно сильны теперь и готовы встретиться с вами лицом к лицу, как с равными!»

Рулаг не замедлила возразить, ее аргументы падали, точно удары молота. Затягивать спор было ни к чему. Голосовать было не принято. Почти все присутствующие уверенно высказались за соблюдение Условий Заселения. Как только это стало ему совершенно ясно, Бедап сказал:

— Хорошо, поскольку таково общее решение собрания, никто сюда не прилетит — ни на «Куйео Форт», ни на «Старательном». Синдикат обязан следовать мнению большинства, мы всего лишь просили вашего совета. Но существует и еще один момент, касающийся той же самой проблемы. Шевек, ты выступать будешь?

— Дело вот в чем, — начал Шевек. — У нас возникла идея послать на Уррас кого-то из анаррести.

Послышались восклицания и вопросы. Шевек, не повышая голоса и не отвечая, упорно продолжал:

— Это не принесет ни вреда, ни угрозы никому из живущих на Анарресе. И это, как мне представляется, все-таки вопрос личного права каждого; собственно, это что-то вроде проверки права любого анаррести принимать подобное решение. Условия Заселения не запрещают полетов отдельных членов нашего общества на Уррас. Иначе Ко-

ординационный Совет взял бы на себя ответственность за ущемление прав любого одонийца начать некую самостоятельную акцию, не приносящую вреда остальным.

Рулаг вышла вперед. Она слегка улыбалась.

— Любой анаррести может покинуть нашу планету, — сказала она, глядя то на Шевека, то на Бедапа. — Пусть летит, когда ему это заблагорассудится. Но вернуться назад он не сможет.

— Где это сказано? — тут же взвился Бедап.

— В Условиях Заселения Планеты. Даже если он прилетит обратно, ему не будет разрешено выходить за пределы Космопорта.

— Но ведь в Условиях, конечно же, имелись в виду жители Урраса, а не Анарреса, — примирительно сказал старый советник Фердаз.

— Человек, прилетающий сюда с Урраса, уже является уррасти, — отрезала Рулаг.

— Но ведь это уже похоже на какой-то закон! Законничество! Софизмы! Только этого нам не хватало, — заметила обычно спокойная полная женщина по имени Трепил.

— Ах, софизмы! — снова вскочил тот молодой человек, что самым первым прервал Бедапа, у него был акцент, свойственный жителям Северного Поселения и звонкий сильный голос. — Если вам не нравятся наши софизмы, если вам вообще не нравится Анаррес, уходите! Мы вас отпустим. Я сам таких на руках отнесу до Космопорта и даже подтолкну, чтобы они поскорее миновали ворота! Но если только они попробуют пробраться, проползти обратно, то уж мы их достойно встретим! Мы, настоящие одонийцы! Уж радостной улыбки они на наших лицах точно не увидят и не услышат: «Добро пожаловать домой, дорогие братья!» Нет, мы вобьем им зубы в глотки, а яйца — в животы! Ну что, я достаточно ясно выразился?

— Достаточно, куда уж яснее, — сказал Бедап. — Ясность — это функция мысли. А тебе бы, милый, следовало немножко подучиться, почитать теорию одонизма, прежде чем выступать здесь.

— А ты вообще не смей произносить имя Одо! — завопил юнец. — Все вы предатели, и ты сам, и весь ваш Синдикат! На Анарресе давно уже наблюдают за вами. Вы думаете, мы не знаем, что уррасти просили Шевека приехать к ним — продавать науку Анарреса спекулянтам? Вы думаете, мы не знаем, что все вы, нытики чертовы, только и мечтаете улететь туда и жить припеваючи, позволяя вашим хозяевам одобрительно хлопать вас по плечу? Можете отправляться! Скатертью дорога! Но только попробуйте вернуться сюда! Вот когда восторжествует справедливость!

Он выкрикивал это прямо в лицо Бедапу. Бедап только глянул на него и сказал спокойно:

— Ты не справедливость имеешь в виду. Ты жаждешь нас наказать. Неужели ты думаешь, что справедливость и наказание — одно и то же?

— Он имеет в виду насилие, — вмешалась Рулаг. — И если действительно будет применено насилие, то причиной этого будете вы. Вы и ваш Синдикат. И вы тогда получите его по заслугам.

Худенький, маленький человечек средних лет, сидевший рядом с Трепил, встал и заговорил, сперва очень тихо, хриплым от «пыльного кашля» голосом. Он был из числа приглашенных — делегат от шахтерского синдиката с юго-запада — никто и не ожидал, что он выступит по такому вопросу.

— ...что человек заслуживает, — донеслись до Бедапа его слова, — ибо все мы и каждый из нас заслуживаем всего, даже любой роскоши, даже королевских гробниц. Однако, по-моему, если честно, наше общество особой похвалы все же недостойно. Разве мы не давились куском «своего» хлеба, когда рядом с нами голодали другие? Ведь это было! Ну так накажите нас за это. Или наградите — за то, что мы сами голодали, когда рядом с нами ели другие. Никто здесь не заслуживает ни наказания, ни вознаграждения. Наши души должны быть свободны от самой идеи «заслуживания» награды, «зарабатывания» признания, только тогда мы обретем способность правильно думать и выносить решения. — Все это были, разумеется, идеи Одо, высказанные ею в «Письмах из тюрьмы», однако, произнесенные слабым болезненным голосом этого шахтера, они производили странный, необычайно сильный эффект, словно рождались прямо сейчас, слово за словом, словно исходили из кровоточащей души маленького человечка из провинции, просачиваясь наружу медленно, с трудом, точно родничок на дне глубокого колодца в песках пустыни.

Рулаг слушала с высоко поднятой головой, со спокойным, хотя и несколько напряженным лицом — словно по-

давляя сильную боль. Напротив нее, через стол, сидел Шевек, опустив голову на руки. После выступления шахтера повисло молчание, и первым нарушил его Шевек.

— Видите ли, — сказал он, — мы хотели всего лишь напомнить самим себе, что прибыли на Анаррес не во имя собственной безопасности, но во имя Свободы. Если мы готовы всего лишь работать вместе, не обращая внимания на то, что вокруг, то мы ничем не лучше какой-нибудь машины. Мы просто ее винтики. Если человек не может работать вместе со своими братьями, его долг — работать в одиночку. Да, его долг, но и его право. Мы же всегда отрицали это право. Мы всегда твердили: ты должен работать со всеми вместе, ты должен принять правило большинства. Но любое нерушимое правило — это уже тирания. Долг индивида заключается в том, чтобы не бояться нарушать правила, быть инициатором собственных действий и поступков и быть ответственным за них перед обществом. Только в этом случае наше общество будет способно изменяться к лучшему, а не просто выживать в заданных условиях. Мы не являемся подданными государства, основанного на непреложном законе; мы члены общества, сформированного благодаря революции. Революция — вот наше обязательство перед самими собой, в ней наша надежда на собственную эволюцию. «Революция — в душе индивида или же нигде. Она — для всех, или же она — ничто. Если воспринимать ее, как нечто, имеющее конец, то у нее никогда по-настоящему не будет и начала». Мы не можем остановиться в данной точке. Мы всегда должны идти вперед. Мы должны рисковать.

Рулаг в наступившей тишине ответила ему негромко, но ледяным тоном:

— Ты не имеешь права навязывать всем тот риск, который хочешь взять на себя по личным мотивам.

— Ни один из тех, кто не намерен пойти так же далеко, как я, не имеет права остановить меня, — спокойно ответил Шевек. На мгновение глаза их встретились, и оба потупили взор.

— Рискует только тот, кто намерен лететь на Уррас, и больше никто, — сказал Бедап. — И одна такая поездка ничего не меняет в Условиях Заселения, не противоречит им и, видимо, никак не скажется на наших отношениях с Уррасом. За исключением, впрочем, некоторых моральных перемен — причем в нашу пользу. Я пока что снимаю этот вопрос с повестки дня, если это устраивает собрание.

Всех это устраивало, и они с Шевеком поспешили уйти.

— Мне еще нужно зайти в Институт, — сказал Шевек, когда они вышли на улицу. — Сабул мне записку прислал — на чем только он их пишет, черт побери! Интересно, что у него на уме?

— А мне интересно, что на уме у этой Рулаг? У нее что, какая-то личная неприязнь к тебе? Завидует, наверно. Мы вас больше не станем сажать друг напротив друга, иначе этим спорам конца не будет. Хотя этот юнец из Северного Поселения — тоже явление малоприятное. Итак, правит большинство и сила всегда права? Ничего себе! Ну так как мы поступим, Шев?

— Возможно, нам и в самом деле следует послать кого-нибудь на Уррас, чтобы доказать свое право поступками, раз словами его не докажешь.

— Возможно. Но пока этот грядущий посланник — не я! Я до хрипоты готов спорить о нашем праве покинуть Анаррес, но если мне придется это сделать самому, то я, черт меня побери, скорее горло себе перережу...

Шевек засмеялся.

— Ладно, мне пора. Домой я вернусь что-нибудь через час. Поешь с нами сегодня? А потом поговорим, хорошо?

— Ладно, я тебя у вас дома подожду.

Шевек широким шагом двинулся по улице, а Бедап еще немного постоял, глядя ему вслед, перед зданием Координационного Совета. Был холодный весенний день, светило солнце, дул сильный ветер. Улицы Аббеная казались очень чистыми, будто вымытыми, полными солнечного света и людей. Бедап ощущал одновременно приятное весеннее возбуждение и странную подавленность. Он решил сразу пойти в общежитие Пекеш, где теперь жили Шевек и Таквер, надеясь, что Таквер с малышкой уже дома.

Появлению на свет Пилюн у Таквер предшествовали два выкидыша, и они с Шевеком уже не ждали ребенка, когда у них родилась вторая дочка. Это был поздний ребенок, слабый и маленький, но родители страшно радовались и очень ее любили. Пилюн и теперь еще, когда ей шел второй год, была просто крошкой, хрупкой, с тоненькими

ручками и ножками. Беря ее на руки, Бедап всегда испытывал легкий страх — ему казалось, что он может сломать малышку, если чуть крепче сожмет ладони. Он очень любил Пилюн и приходил в восхищение от ее огромных, с поволокой серых глаз; и девочка была к нему нежно привязана и абсолютно ему доверяла, но, касаясь этого хрупкого тельца, он, как никогда раньше, отчетливо понимал, в чем привлекательность жестокости и почему сильные так любят мучить слабых. И от этого испытывал еще больший страх за Пилюн и нежность: он, казалось, впервые начинал понимать то, что и сам, пожалуй, пока не мог выразить словами: родительские чувства. Он был прямо-таки на верху блаженства, когда Пилюн называла его «тадде».

Комната у Шевека и Таквер была вполне просторная, с двумя кроватями. На полу лежала циновка; никакой другой мебели в комнате не было — ни стульев, ни столов, только небольшой передвижной «манеж» для малышки да ширма, которой загораживали ее кроватку вечером. Таквер, выдвинув из-под одной из кроватей огромный ящик с бумагами, перебирала их — явно что-то искала.

— Ох, Дап, дорогой! — улыбнулась она. — Ты не посидишь немного с Пилюн? — Девочка уже устремилась к нему навстречу, и он уселся с нею на вторую кровать, у окна. — Она мне уже раз десять все перепутать успела! Я минут через десять закончу, хорошо?

— Не торопись. Я с удовольствием просто посижу спокойно. Мы тут с Пилюн поговорим... ах ты, моя хорошая! Ну что скажешь своему тадде Дапу?

Пилюн, уютно устроившаяся у него на коленях, принялась изучать его ладонь и широкие грубоватые пальцы. Бедапу всегда бывало стыдно, что у него такие уродливые ногти. Он, правда, больше не грыз их, оставил эту дурацкую детскую привычку, однако ногти так и остались деформированными. Пилюн разгладила ему ладошку и каждый палец в отдельности.

— Какая все-таки приятная у вас комната, — сказал он. — Окно на север выходит... И здесь всегда так спокойно.

— Да, да... Ш-ш-ш, погоди... Я тут считаю...

Через некоторое время Таквер закончила свои подсчеты, убрала бумаги в ящик и снова засунула его под кровать.

— Ну вот и все! Извини, пожалуйста. Я обещала Шеву,

что пронумерую для него страницы рукописи... Пить хочешь?

На многие продукты все еще соблюдались ограничения, хотя уже и не такие строгие, как пять лет назад. Фруктовые сады Северного Поселения не так сильно пострадали от засухи, и в прошлом году сушеные фрукты и фруктовые соки имелись уже в достатке. На подоконнике стояла большая бутылка с соком, и Таквер налила каждому по полной чашке; чашки были довольно грубые — оказалось, их сделала Садик на уроках гончарного мастерства. Таквер села напротив Бедапа и, улыбаясь, посмотрела на него.

— Ну как там дела в Координационном Совете?

— Все то же самое. А как дела у вас в лаборатории?

Таквер опустила глаза в чашку, чуть покачивая ею.

— Не знаю. Я подумываю уйти оттуда, — сказала она, помолчав.

— Но почему, Таквер?

— Лучше уйти самой, чем дожидаться, чтобы тебе сказали... Беда в том, что я люблю эту работу. И она у меня действительно спорится. И в Аббенае есть только одно место, где я могла бы заниматься своим делом. Но если все остальные члены твоей исследовательской группы решили, что ты к данной работе никакого отношения не имеешь...

— На тебя еще больше давят?

— Все и постоянно, — сказала она и быстро глянула в сторону двери, словно боялась, что Шевек уже пришел и случайно ее услышит. — Некоторые ведут себя просто неслыханно! Да что там говорить, ты и сам знаешь...

— В том-то и дело, что я ничего толком не знаю, и очень рад, что застал тебя одну. Мы — Шев, я, Скован, Гежач — большую часть времени проводим либо в типографии, либо на радиостанции; у нас нет постоянных мест работы, и мы не так часто общаемся с другими людьми, не считая членов нашего Синдиката. Я, правда, регулярно бываю в Координационном Совете, но это дело особое. Там я главным образом борюсь с оппонентами, которых сам себе создаю. Ну а ты-то здесь при чем? Что они против тебя имеют?

— Они меня ненавидят, — сказала Таквер тихо и глухо. — Это настоящая ненависть, Дап. Руководитель моего проекта вообще не желает со мной разговаривать. Ну лад-

но, это не такая уж большая потеря — он все-таки сущий чурбан. Но некоторые другие прямо говорят мне... Там есть, например, одна женщина... И здесь, в общежитии тоже... Я член санитарной комиссии нашего блока, и однажды мне пришлось зайти к одной из моих соседок, так она мне буквально слова сказать не дала, орала: «Даже не пытайся ко мне в дом влезть! Знаю я вас, предателей проклятых! Подумаешь, инделлектуалы! Все вы законченные эгоисты!» и так далее... А потом она захлопнула дверь у меня перед носом. Цирк да и только. — Таквер невесело улыбнулась. Пилюн, увидев ее улыбку, тоже заулыбалась, поудобнее прислонилась к плечу Бедапа и зевнула. — Но, понимаешь, меня все это пугает. Я вообще трусиха, Дап, если честно. Я не терплю никакого насилия. Мне даже неодобрительное отношение выдержать трудно!

— Еще бы! Единственная гарантия нашей безопасности — это одобрение наших драгоценных соседей. При наличии государственной власти можно нарушить закон и надеяться все же избежать наказания, но у нас очень трудно, невозможно нарушить привычку, традицию, она обрамляет всю нашу жизнь, держит ее в жестких рамках не хуже закона... Мы еще только начинаем чувствовать, что это такое — пребывать в состоянии перманентной революции. Как раз об этом говорил сегодня на собрании Шев. На самом деле это вовсе не так уж приятно и удобно для нормального человека.

— Некоторые это все же понимают! — сказала Таквер с уверенностью и неожиданным оптимизмом. — Знаешь, какая-то женщина в трамвае вчера — не помню, где я ее встречала раньше? Может, во время дежурства по дому?.. Так вот, она мне вдруг и говорит: «Должно быть, замечательно жить вместе с великим ученым! Это ведь так интересно!» И я ответила: «Да уж, не соскучишься; по крайней мере всегда найдется, о чем поговорить...» Пилюн, не засыпай, детка! Шевек скоро придет, и мы все вместе пойдем в столовую. Потормоши ее, Дап. Ладно, по крайней мере, как видишь, эта женщина, хоть и знает прекрасно, кто такой Шев, не испытывает к нему ни ненависти, ни неодобрения. И вообще она очень милая...

— Ну хорошо, но разве большинство понимают, что Шевек — гениальный ученый? — сказал Бедап. — Забавно, ведь и я тоже не могу понять его книг! Сам он считает,

что на Анарресе несколько сотен людей все же способны в них разобраться. Например, эти студенты-этузиасты, которые все пытаются организовать курс лекций по теории Одновременности. Но, по-моему, он преувеличивает: понимают его теорию максимум несколько десятков человек — и это еще очень неплохо! Но ты права: люди о нем знают, они чувствуют, что этим человеком стоит гордиться. Мне кажется, это заслуга нашего Синдиката. Хотя бы отчасти. Мы напечатали труды Шевека. Возможно, это единственная стоящая вещь, которую мы сделали, но, по моим оценкам, и это уже очень неплохо.

— Конечно! Что-то ты тоже невеселый, Дап. День был тяжелый? Заседание Совета плохо прошло?

— Плохо. Очень плохо! Мне бы очень хотелось хоть немного развеселить тебя, Таквер, да что-то не получается. Синдикат стремится взорвать то основное чувство, которое связывает все наше общество: страх перед чужими, перед «внешним врагом». Сегодня, например, один юнец открыто угрожал нам насильственными мерами, чуть ли не казнями и арестами. Что ж, мысли-то у него убогие, но ведь найдутся и другие, которые его идеи подхватят... И еще эта Рулаг, черт бы ее побрал! Впрочем, она потрясающий оппонент!

— А ты знаешь, кто она такая, Дап?

— А что?

— Неужели Шев никогда тебе не говорил? Хотя он о ней старается не вспоминать... Рулаг — мать Шевека.

— Мать?

Таквер кивнула:

— Она уехала в Аббенай, когда ему еще двух не было. Бросила, по сути дела. С ним остался отец. Ничего необычного, конечно... Вот только Шев... Понимаешь, у него на всю жизнь осталось такое ощущение, будто он потерял что-то самое важное. И по-моему, его отец тоже очень страдал. Шев, конечно, никаких глобальных выводов из этого не делает — ну там, что своих детей всегда следует воспитывать самим и тому подобное, — но то, что для него верность — самое важное качество, это несомненно. И по-моему, коренится все в его прошлом.

— Но вот ведь что странно! — воскликнул Бедап, совершенно забыв о крепко спящей у него на коленях Пилюн. — Что она-то от Шева хочет? Почему она так злобно

ведет себя по отношению к нему? Она ведь явно ждала сегодня, что он придет на это собрание, прекрасно зная, какие важные для него будут обсуждаться вопросы, и прекрасно понимая, что он душа нашей группы. Да и весь наш Єиндикат она ненавидит из-за него. Почему? Неужели это чувство вины, вывернутое наизнанку? Неужели одонийское общество настолько прогнило, что даже вроде бы «разумные» поступки мотивируются подобными чувствами — смесью вины и ненависти?.. А знаешь, Таквер, теперь, когда ты мне об этом сказала, я думаю: они ведь действительно похожи! Только в Рулаг все как бы затвердело, стало каменным... умерло...

Он не успел договорить: дверь открылась, и вошли Шевек и Садик. Садик исполнилось десять, она была довольно высокая для своего возраста и очень худая — одни ноги. И целое облако густых темных волос на голове. Бедап видел теперь Шевека в новом свете — его неожиданно близкого родства с Рулаг — и точно открывал своего старого друга заново. Он только сейчас обратил внимание, какое измученное у Шевека лицо, прекрасное, полное жизни, но совершенно измученное, даже истощенное. И очень, очень необычное; они с Рулаг были, безусловно, очень похожи, но все же в его чертах было сходство и со многими другими анаррести — особенно с теми, кто, обладая высочайшим интеллектом и очень определенными взглядами на проблему свободы, сумел все же приспособиться к изоляции в их обделенном природой мире, мире больших расстояний между редкими поселениями людей, мире молчания и умалчивания, мире братства и разобщенности.

В комнате с приходом Шевека и Садик воцарилась между тем живая, радостная атмосфера: этим людям приятно было быть вместе. Пилюн передавали с рук на руки, еще довольно сонную, наливали друг другу сок из большой бутылки, задавали массу вопросов и охотно отвечали... Сперва в центре внимания оказалась Садик, потому что в кругу семьи она теперь бывала относительно редко. Потом разговор переключился на Шевека.

— Чего понадобилось этой старой Грязной Бороде?

— Так ты в Институте был? У Сабула? — удивилась Таквер и внимательно посмотрела на Шевека. Он сел с ней рядом и сообщил:

— Да, Сабул оставил мне сегодня записку. В Синдикате. — Шевек залпом допил сок, и вокруг губ у него остался смешной полукруг, как у маленького ребенка. — Он сказал, что в Федерации Физиков имеется свободное место. Это работа постоянная и совершенно, как он утверждает, автономная.

— И он предлагает ее тебе? В Институте?

Шевек кивнул.

— Это он пытается внести тебя в общий список, — сказал Бедап.

— Да, я тоже так думаю. Если не можешь искоренить сорняк, сделай его себе полезным — так мы обычно говорили в Северном Поселении. — Шевек вдруг громко расхохотался. — Но ведь смешно, правда? — спросил он.

— Нет, — сказала Таквер. — Совсем не смешно. Просто отвратительно! Как ты вообще мог с ним разговаривать? После всей той грязи, которую он на тебя вылил! После всех тех гнусных и лживых утверждений, что ты якобы украл у него «Принципы» и даже не сообщил, что уррасти дали тебе премию Сео Оен! Ты что, забыл, как в прошлом году он заставил этих ребятишек, которые так хотели заниматься с тобой, прекратить посещать твои лекции, потому что ты якобы оказываешь на них тлетворное «крипто-авторитарное» (это же надо выдумать такое!) влияние! Это ты-то сторонник авторитаризма! Нет, это не смешно, его действия просто тошнотворны. Такое нельзя прощать, Шев. Нельзя по-человечески общаться с таким мерзавцем.

— Ну ты же знаешь, виноватт не один Сабул. Он только служил рупором...

— Я понимаю, но эта роль ему нравится. И он слишком давно опустился, стал таким противным, грязным, жадным... Ладно. Ну и что же ты ему в итоге ответил?

— Я старался выиграть время. — Шевек снова засмеялся. Таквер снова глянула на него, уже обеспокоенно: она поняла, что, несмотря на умение держать себя в руках и всю эту веселость, Шевек напряжен до крайности.

— Значит, ты не стал сразу класть его на лопатки?

— Я сказал, что несколько лет назад решил больше не принимать никаких постоянных назначений — пока не завершу работу над Теорией. Ну а он ответил, что мне будет предоставлена полная свобода заниматься тем, чем я хочу, и продолжать свои исследования, потому что основной целью назначения меня на этот пост было — погодите, как

же это он выразился? — «желание Совета облегчить мне доступ к лабораторному оборудованию и регулярным каналам информации, а также — облегчить мне возможность публикации своих идей».

— Вот как? Но в таком случае ты можешь считать, что одержал победу, — сказала Таквер, глядя на него с каким-то странным выражением. — Ты их переупрямил. Теперь они будут публиковать все, что ты напишешь. Ведь именно этого ты добивался, когда мы вернулись сюда пять лет назад, верно? Что ж, теперь все стены рухнули.

— Но за ними выросли другие стены, — заметил Бедап.

— Такую победу я одержу только в том случае, если приму это назначение. Сабул предлагает... УЗАКОНИТЬ меня. Сделать официальным лицом. И тем самым отделить меня от Синдиката Инициативных Людей. Правильно, Дап?

— Естественно! — Бедап помрачнел. — Разделяй и властвуй, как говорится.

— Но если Шевека снова возьмут в Институт и станут публиковать все его работы в издательстве Координационного Совета... Не означает ли это косвенного признания всего Синдиката в целом? — спросила Таквер.

— Да, так, возможно, подумает большинство, — кивнул Шевек.

— Не подумает, — возразил Бедап. — Людям объяснят примерно так: великий физик был введен в заблуждение группой отщепенцев — но, к счастью, ненадолго. Этих высоколобых интеллектуалов, скажут им, вообще легко запутать: они ведь ничего не смыслят в реальной жизни, они думают только о высоких материях, вроде времени и пространства. Но их добрые братья — истинные одонийцы! — мягко указали гениальному физику на его ошибки, и он вернулся на твердую тропу «социально-органической» истины. Вот так. Синдикат Инициативных Людей будет подвергнут полному остракизму со стороны общества и, возможно, лишен связи не только с ученым миром Урраса, но и своей родной планеты.

— Но я вовсе не намерен выходить из Синдиката, Дап!

Бедап поднял голову, удивленно посмотрел на него, помолчал с минуту и сказал:

— Еще бы. Это-то я знаю!

— Вот и ладно. Тогда давайте пообедаем, а? У меня в

животе уже урчит от голода. Вот послушай-ка, Пилюн, слышишь? Р-р-р, р-р-р!

— Тать (встать)! — велела всем Пилюн. Шевек подхватил ее и забросил на плечо. Над их головами покачивался и посверкивал последний из созданных Таквер мобилей. Он был довольно большой и так хитро сделанный, что под определенным углом все образующие его проволочные кольца как бы исчезали, потом превращались в овалы, на мгновение, чуть блеснув, показывались целиком и снова исчезали, и вместе с ними то показывались, то исчезали две малюсенькие лампочки, прикрепленные к проволочным кольцам, которые, двигаясь по сложным, взаимно переплетенным эллипсоидным орбитам вокруг общего центра, никогда по-настоящему не встречались и никогда по-настоящему не расставались. Таквер назвала свое творение «Обитель Времени».

В столовой пришлось подождать, пока на табло у дверей не появится сигнал, что свободен большой стол и что Бедап может поесть вместе с ними как гость (разумеется, компьютер автоматически «вычеркивал» его на сегодня из списков той столовой, где он обычно ел). Это была одна из систем автоматического регулирования «гомеостатических процессов», на которые столь большие надежды возлагали Первые Поселенцы. Такая система учета сохранилась только в Аббенае, и, подобно всем прочим, даже менее сложным «гомеостатическим» системам, она никогда на самом деле своих функций как следует не выполняла: вечно возникали недостачи или излишки, а порой и разочарования, но все это были беды не слишком серьезные. В столовой Пекеш редко бывало, чтобы кто-нибудь из приглашенных не получил обеда; кухня этого общежития была лучшей в Аббенае и славилась своими замечательными поварами. Наконец один из больших столов освободился, и они вошли. Поскольку за столом было еще место, к ним присоединились двое молодых людей, соседи Шевека и Таквер, которых Бедап тоже немного знал. Их, конечно, могли бы оставить и только в своей компании — если бы они выразили такое желание, — но им, похоже, было все равно. Они отлично пообедали и очень мило провели время за дружеской беседой. Во всяком случае, со стороны это выглядело именно так, однако Бедап постоянно ощу-

щал, как вокруг семьи его друга смыкаются прочные стены непонимания и молчания.

— Просто не знаю, что отвечать этим уррасти в следующий раз! — сказал Бедап непринужденно, однако невольно — к собственному раздражению! — все же понизив голос. — Они просили пустить их сюда, но сюда их не пустят. Кроме того, они просили Шева прилететь к ним, и этот вопрос тоже остался открытым. Интересно, как они отреагируют на все это?

— А я и не знала, что они просили Шева прибыть к ним в гости, — сказала Таквер, чуть нахмурившись.

— Нет, знала! — возразил Шевек. — Когда они сообщили мне, что я получил эту премию — ну, Сео Оен, помнишь? — то сразу спросили, когда я смогу прилететь и получить деньги, которые полагаются лауреату. — Шевек улыбнулся. Если вокруг него и существовал «заговор молчания», то его это совершенно не касалось и не особенно беспокоило: он всегда был один.

— Да, верно. Я просто забыла. Вернее, не воспринимала как реальную возможность. Ты давно уже говоришь, что хотел бы предложить Координационному Совету послать кого-нибудь на Уррас. Просто чтобы посмотреть, что из этого предложения получится.

— Вот именно. И мы наконец сегодня это проделали! Дап неожиданно предоставил мне слово, и пришлось высказать эту идею вслух.

— И они были шокированы?

— Не то слово!

Таквер засмеялась. Пилюн сидела рядом с Шевеком на высоком стульчике и пробовала свои новые, только что выросшие зубки на корке хлеба, напевая что-то вроде: «О мамочка, папочка, тапочка, тап!» Шевек, большой любитель сам сочинять подобные стишки, тут же ответил ей примерно в том же духе, одновременно продолжая серьезный разговор со взрослыми — не очень, правда, оживленный, с долгими паузами. Бедап относился к этому спокойно — он давно привык, что Шевека нужно воспринимать таким, какой он есть, или не воспринимать вовсе. Самой молчаливой в их компании сегодня была Садик.

Бедап посидел с ними еще около часа в уютной, просторной общей гостиной, потом встал и предложил Садик проводить ее до интерната, поскольку ему это было по

пути. И тут вышла заминка, причем смысл ее уловили только родители Садик, а Бедап понял одно: вместе с ними пойдет и Шевек, а Таквер не пойдет, потому что ей пора кормить и укладывать спать Пилюн, которая уже начинала похныкивать. Таквер поцеловала Бедапа на прощание, и они ушли. Провожая Садик, мужчины настолько увлеклись разговором, что прошли мимо учебного центра и повернули обратно. Перед входом в спальный корпус Садик остановилась. Она стояла неподвижно, совершенно прямая, тоненькая, с каким-то застывшим лицом. И молчала. Шевек сперва тоже как бы застыл, потом встревожился:

— В чем дело, Садик?

— Шевек, можно я останусь сегодня ночевать дома? — спросила она.

— Конечно. Но что случилось?

Тонкое продолговатое лицо Садик задрожало так, что, казалось, вот-вот рассыплется на куски.

— Они меня не любят! Они не хотят, чтобы я спала в их спальне! — Голосок ее звенел от сдерживаемого напряжения, хотя говорила она очень тихо.

— Не любят тебя? Но почему ты так решила? В чем дело, Садик?

Они даже не коснулись друг друга. Девочка отвечала отцу с мужеством крайнего отчаяния.

— Потому что они не любят... ненавидят ваш Синдикат, и Бедапа, и... и тебя! Они называют... Старшая сестра в нашей спальне... она сказала, что ты... что все мы пре... Она сказала, что мы ПРЕДАТЕЛИ! — И, выговорив это слово, Садик вздрогнула так, словно в нее выстрелили. Шевек тут же схватил ее, прижал к себе, и она прильнула к нему, обхватив его за шею и рыдая взахлеб. Она была уже слишком большой девочкой, чтобы ее можно было взять на руки, и они просто стояли, обнявшись, и Шевек гладил дочку по голове, потом посмотрел на Бедапа глазами, полными слез, и сказал:

— Ничего, Дап. Ты иди, иди...

Бедапу ничего другого не оставалось, он не мог разделить с ними это горе, эти глубинные и чрезвычайно сложные отношения родственной близости. Он чувствовал себя совершенно бесполезным и совершенно лишним, хотя от всей души сочувствовал обоим. «Я прожил тридцать девять лет, — думал он, направляясь к своему обще-

житию, где в комнате их было пятеро, чужих друг другу и совершенно не зависящих друг от друга людей. — Через месяц мне стукнет сорок. А что я сделал за свою жизнь? Чем занимался столько времени? Ничем в общем-то особенным. Часто совался не в свое дело. Вмешивался в чужую жизнь — потому что своей собственной у меня нет... И почему-то у меня никогда не хватало времени... Хотя его запас вот-вот истощится — во всяком случае, то время, которое было выделено на меня. Скорее всего это случится внезапно, и я так никогда и не обрету... ничего подобного ЭТОМУ». Он оглянулся, надеясь снова увидеть их, отца и дочь. Но перед ним расстилалась только пустынная тихая улица, где у фонарей стояли неяркие лужицы света. Он либо отошел уже слишком далеко, либо они сами успели уйти. А что именно он имел в виду под ЭТИМ, он и сам не смог бы, наверное, сказать. Но понимал, что вся его надежда заключена в ЭТОМ, что если он хочет спасти, как следует прожить остаток своей жизни, то должен полностью переменить ее.

Когда Садик достаточно успокоилась, Шевек усадил ее на ступеньку крыльца, а сам пошел сообщить дежурной сестре, что девочка останется ночевать с родителями. Та разговаривала с ним холодно. Взрослые, работавшие в детских интернатах, обычно не одобряли, когда дети оставались с родителями целые сутки, считая, что это развращает. И Шевек уверял себя, что недружелюбный тон дежурной вызван именно этим, а не чем-то другим. Окна учебного центра ярко светились, в ушах звенело от детских голосов, кто-то разучивал музыкальную пьесу... Все это было хорошо и давно ему знакомо — звуки, запахи, тени. Эхо его детства. Его Шевек хорошо помнил. Хорошо помнил он также и свои тогдашние страхи и сомнения. Хотя детские страхи обычно быстро забываются...

Потом они с Садик пошли домой, и он все время обнимал девочку за плечи. Она долго молчала, все еще борясь со слезами, потом, почти у входа в общежитие, сказала резко:

— Я понимаю, что буду мешать вам с Таквер. Я знаю, я уже большая, чтобы ночевать с вами в одной комнате.

— И давно ты так решила? — растерялся Шевек.

— Да. Взрослым нужно бывать наедине.

— Но Пилюн же ночует с нами, — возразил он.

— Пилюн не считается!

— Ну и ты пока что не считаешься!

Она презрительно, но с облегчением фыркнула и даже попыталась улыбнуться.

Когда они вошли в ярко освещенную комнату и Таквер увидела бледное, покрытое красными пятнами лицо дочери, она страшно встревожилась.

— Что еще случилось?!

И Пилюн, которую оторвали от груди и которая уже начинала засыпать, тут же заныла, и Садик, разумеется, тут же снова разревелась, вторя сестренке, и некоторое время казалось, что в комнате плачут все и все друг друга утешают и одновременно не хотят, чтобы их утешали. Потом вдруг все как-то разом смолкли. Пилюн сидела у матери на коленях, Садик — у отца.

Потом младшую из сестер переодели и уложили спать, и Таквер спросила у старшей тихо, но взволнованно:

— Ну? Так что же все-таки произошло?

Садик и сама уже почти заснула на груди у Шевека, но он почувствовал, как при этом вопросе она вздрогнула и вся сжалась, готовясь отвечать. Он погладил девочку по голове и ответил вместо нее:

— Кое-кому в учебном центре мы очень не нравимся.

— Но, черт возьми, какое они имеют право проявлять это открыто? Да еще при детях!

— Ш-ш-ш. Из-за Синдиката.

— О черт! — сказала Таквер с каким-то странным горловым смешком и принялась застегивать кофту, но нечаянно оторвала пуговицу — прямо «с мясом» — и долго удивленно на нее смотрела. Потом подняла глаза на Шевека и прижавшуюся к нему Садик.

— И давно это продолжается?

— Давно, — буркнула Садик.

— Несколько дней? Декад? Всю четверть?

— Ой, куда дольше, мам! Но теперь они стали... Они просто ужасно ведут себя! В спальне, ночью. А Терзол их даже не останавливает. — Садик говорила, словно во сне — каким-то ровным, безжизненным тоном.

— И что же они делают? — с легкой угрозой спросила Таквер, хотя Шевек упорно пытался остановить ее взглядом.

— Ну они... Они все просто противные! Они не прини-

мают меня играть. Ни во что. Помнишь Тип? Она ведь была моей лучшей подругой, мы с ней всегда подолгу разговаривали, когда в спальнях гасили свет... Так вот теперь Тип ко мне даже подходить перестала. А старшей сестрой у нас в спальне стала Терзол, и она... она говорит, что Шевек... Шевек...

Он все-таки вмешался, чувствуя, что Садик снова вот-вот сломается, такое напряжение и без того оказалось ей не по силам.

— Эта Терзол, — спокойно сказал он, — заявляет, что Шевек — предатель, а Садик — эгоистка... Ну ты же знаешь, что она может говорить, Таквер! — Глаза его сверкнули. Таквер ласково погладила дочь по щеке, коротко и довольно застенчиво, и сказала тихонько:

— Да, это я знаю. — И отошла, и села на другую кровать, и стала молча глядеть на них.

Малышка крепко спала за ширмой в своей кроватке и даже чуть похрапывала. Соседи возвращались к себе, кто-то крикнул, прощаясь: «Спокойной ночи!», и кто-то крикнул то же в ответ из открытого окна общежития. Огромное здание — две сотни комнат — было полно жизни и движения; будучи отделенными от этого мирка, они все равно оставались его частью. Садик сползла с отцовских колен и села на кровать рядом с ним и как можно ближе. Ее темные волосы растрепались и свисали длинными прядями вдоль лица.

— Я не хотела говорить вам, потому что... — Ее голосок казался очень тоненьким и совсем детским. — Но только становится все хуже. Они друг друга подначивают.

— В таком случае ты туда не вернешься, — сказал Шевек и обнял дочь за плечи, но она стряхнула его руку и гордо выпрямилась.

— А что, если я схожу и поговорю с ними?.. — начала Таквер.

— Это бесполезно.

— Ну и где же выход? — бессильно спросила Таквер.

Шевек не ответил. Он снова обнял Садик, и та сдалась — устало прижалась головой к отцовскому плечу.

— Есть ведь и другие учебные центры, — сказал он наконец без особой уверенности.

Таквер встала. Она явно не могла сидеть спокойно, ей

явно необходимо было сделать хоть что-то, но делать было особенно нечего.

— Давай-ка я тебя причешу, Садик, хорошо? — спросила она тихонько. Та кивнула.

Таквер расчесала девочке волосы, заплела их в косы, потом они поставили поперек комнаты ширму и уложили Садик рядом со спящей сестренкой. Желая родителям спокойной ночи, Садик снова чуть не расплакалась, но уже минут через двадцать они услышали ее ровное сонное дыхание.

Шевек пристроился на другую кровать с записной книжкой и карандашиком.

— Я пронумеровала сегодня ту рукопись, — сказала Таквер.

— И сколько получилось?

— Сорок одна страница. С приложениями.

Он одобрительно кивнул. Таквер встала, заглянула через ширму — обе девочки крепко спали — и, присев на краешек кровати, сказала Шевеку:

— Я чувствовала, что в интернате что-то не так. Но она ничего не говорила. Молчала о своих бедах — как истинный стоик. Мне и в голову не приходило, что они доберутся до детей... Мне казалось, это только наши с тобой проблемы... — Она говорила тихо, с горечью. — Эта злоба растет, Шевек, все время растет... И разве что-то изменится, если мы переведем Садик в другую школу?

— Не знаю. Если она будет большую часть времени проводить с нами, ей, возможно, будет полегче.

— Но ты ведь не предлагаешь...

— Нет. Не предлагаю. Я прекрасно понимаю, что если даже мы будем отдавать ей всю свою «индивидуальную» родительскую любовь, то все равно не сможем спасти ее от того, что происходит вокруг, и, возможно, она будет страдать в итоге даже больше. И страдание это будет результатом наших с ней отношений, то есть будет как бы исходить уже от нас самих.

— Это несправедливо! Почему ее мучают из-за того, что делаем мы? Она такая хорошая, у нее замечательный характер, она точно чистый родник... — Таквер умолкла, ее душили слезы, она вытерла глаза и закусила губу.

— Дело не в том, что делаем мы. Дело в том, что делаю

я. — Он отложил свою записную книжку. — Ты и сама всегда страдала из-за меня. Из-за их мнения обо мне.

— Мне наплевать на их мнение!

— А твоя любимая работа? На нее тоже наплевать?

— Я могу перейти на другую работу.

— Но не здесь. И никогда не сможешь заниматься тем, чем хочешь.

— Ну что ж, я могу, если ты хочешь, конечно, переехать куда-нибудь еще. Лаборатория в Соррубе, например, возьмет меня с удовольствием... Но что будет с тобой? — Она смотрела на него почти сердито. — Ты-то ведь останешься здесь, я полагаю?

— Я мог бы отправиться с тобой. Скован и кое-кто еще уже вполне сносно объясняются на йотик, так что радиосвязь с Уррасом не оборвется, а сейчас именно это моя основная функция в Синдикате. Я могу заниматься физикой в Городе Благоденствия не хуже, чем в Аббенае. Только ведь, если я окончательно не откажусь от сотрудничества с Синдикатом, это никаких проблем не решит, ты и сама понимаешь. Все дело во мне самом. Я, именно я, создаю все трудности — для всех вас!

— Да кому будет дело до вашего Синдиката в таком крохотном поселении, как Город Благоденствия?

— Боюсь, что будет.

— Шев, дорогой, я только сейчас понимаю, с какой ненавистью, с каким количеством ненависти ты сталкиваешься постоянно! И все время молчишь, как Садик!..

— И — как ты. Ну, кое-что я все-таки тебе рассказываю, верно? Хотя порой лучше действительно помалкивать. Когда я прошлым летом ездил в Конкорд, там было несколько хуже, чем я вам рассказал. Там меня просто пытались побить камнями, дело дошло до настоящей потасовки. И тем студентам, что просили меня приехать, пришлось драться, чтобы защитить меня. Но я довольно быстро вышел из игры: ведь я подвергал ребят опасности. Ладно, допустим, молодежь даже любит, когда «немножко страшно». И в общем-то отчасти они сами раздразнили людей... И довольно-таки многие еще оказались на нашей стороне. Но теперь... Хотя все это ерунда. Главное сейчас — насколько сильно я подвергаю опасности тебя и детей, оставаясь с вами.

— Но ведь и ты в опасности, Шев, не отмахивайся от нее.

— Я сам напросился. Хотя, конечно, не думал, что подобное варварское, «трайбалистское» презрение распространится и на тебя тоже. И даже на Садик! Да не могу я спокойно смотреть, когда опасности подвергается моя семья!

— Альтруист!

— Возможно. И ничего не могу с этим поделать. Я чувствую свою ответственность перед вами, Так. И свою вину. Без меня ты могла бы поехать куда угодно или остаться здесь, в Аббенае. Ты ведь не так уж много работала в самом Синдикате, главным образом они имеют против тебя то, что ты верна мне! Я для них — некий символ. Так что не... В общем, Так, некуда мне идти.

— Отправляйся на Уррас, — сказала Таквер так резко и таким хриплым голосом, что Шевек вздрогнул, точно она ударила его по лицу, и сел.

Она глаз не подняла, но повторила более мягко:

— Отправляйся на Уррас, Шев... Почему бы, собственно, и нет? Там ты нужен. А здесь — нет! Может быть, тогда анаррести наконец поймут, что потеряли... И ты сам хочешь попасть туда. Я поняла это только сегодня. Я никогда раньше даже не думала об этом, но когда мы говорили за обедом о той твоей премии, я это ясно увидела — это звучало даже в твоем смехе.

— Да не нужны мне никакие премии!

— Премии тебе не нужны, это верно. Но тебе очень нужна чужая оценка твоего труда, тебе нужны научные дискуссии, деловые споры, тебе нужны, наконец, студенты — причем настоящие, а не марионетки Сабула! И послушай, Шев, вы с Дапом все время твердите о том, что Координационный Совет испугается, если кто-нибудь вздумает воспользоваться своим правом личной свободы и улетит на Уррас, но это все слова: никто ведь не улетает. И получается, что вы тем самым лишь усиливаете позиции своих противников, невольно доказывая, что традиция незыблема. Но сегодня вы наконец вынесли эту тему на обсуждение. Теперь кто-то из вас просто должен улететь! Иначе вы проиграли. Так улетай ты. И кстати, получишь там свою премию — те деньги, которые там тебя ждут! — закончила она и вдруг рассмеялась.

— Таквер, пойми, я вовсе не хочу на Уррас!

— Да нет, хочешь. Ты и сам знаешь, что хочешь. Хотя я и не уверена, что правильно назвала причину этого.

— Ну, разумеется, ты права: мне действительно хотелось бы встретиться с некоторыми физиками... И побывать в тех лабораториях, что исследуют природу света... — Вид у него был пристыженный.

— И ты имеешь на это полное право! — сказала Таквер с яростной решимостью. — Если это часть твоей работы, ты просто обязан ее выполнить.

— Ты еще скажи, что это помогло бы «нашей революции» на обеих планетах! — сказал он. — Что за дикая идея! Вроде пьесы Тирина, только наоборот. Я что, должен поехать и ниспровергнуть тамошние властные авторитеты? Что ж, это по крайней мере доказало бы им, что Анаррес существует... Они, правда, теперь разговаривают с нами по радио, но мне кажется, что они по-настоящему в нас не верят. По-моему, даже в то, что мы есть на самом деле.

— А если верят, то, возможно, боятся. А если ты не сумеешь их убедить, запросто могут явиться и нанести по Анарресу такой удар...

— Вряд ли. Я, наверное, смогу в очередной раз совершить небольшую революцию в представлениях физиков... Но в масштабах целой планеты? В представлениях всего народа? Это здесь я еще могу оказывать какое-то воздействие на общественность, хотя здесь моей физики не только не понимают, но и попросту не обращают на нее внимания. Но ты права... Сказав «а», нужно говорить и «б». Заговорив вслух о возможности посылки кого-то на Уррас, мы непременно должны это сделать! — Он помолчал и вдруг сказал: — Интересно, а на каком уровне находится физика у других народов?

— У каких других народов?

— У разных — с других планет. С Хайна, например, и из других солнечных систем. Между прочим, на Уррасе есть два инопланетных посольства — Хайна и Земли. Это ведь хайнцы изобрели ту тягу, которой урраст сейчас пользуются, строя свои космические корабли. По-моему, они с удовольствием помогли бы и нам — если б только мы попросили о помощи, хотя бы намекнули... А еще было бы интересно... — он не договорил.

На сей раз оба молчали довольно долго, потом Шевек

повернулся к Таквер и спросил каким-то изменившимся, странным голосом:

— Ну а ты? Что будешь делать ты, пока я полечу «с визитом» к этим собственникам?

— Поеду с девочками на побережье Сорруба и стану жить исключительно тихо и мирно, а работать... хотя бы техником в лаборатории. И ждать тебя.

— Кто знает, вернусь ли я? Смогу ли вернуться?

Она не дрогнула и глаз не отвела:

— И что же может помешать тебе?

— Возможно, сами урраст. Они могут задержать меня насильно — это так естественно для авторитарного государства. Или, возможно, наш собственный народ. Мне могут просто не разрешить высадиться на Анаррес. Кое-кто из Совета именно этим сегодня и грозил. Рулаг, кстати, была одной из них.

— Не сомневаюсь, что она именно так и поступит. Она из тех, кто понимает только отрицания и запреты. Например, запрет вернуться домой.

— Да, это правда. Это ты совершенно точно определила. — Шевек задумчиво, с нескрываемым восхищением посмотрел на Таквер. — Но, к сожалению, таких, как Рулаг, слишком много. Для них всякий, кто хочет улететь на Уррас, а потом вернуться обратно, — шпион и предатель.

— И как же, по-твоему, они поступят, когда этот человек попытается вернуться обратно?

— Ну, если им удастся убедить КСПР в том, что Анаррес угрожает опасность, корабль могут просто расстрелять при посадке.

— Неужели Совет способен на такую глупость?

— Надеюсь, что нет. Но может найтись кто-нибудь из экстремистов, кто попытается взорвать корабль уже на земле. Или, что более вероятно, убить меня, как только я выйду из корабля. Вот эту возможность, по-моему, вообще следовало бы включить в план сценария для того, кто отправится в путешествие на Уррас и обратно.

— Ну а скажи честно: для тебя, конкретно для тебя, такая рискованная игра стоила бы свеч?

Некоторое время он смотрел перед собой — точно в пустоту.

— Да, — сказал он наконец. — В общем да. Если бы я смог закончить там свою Теорию и отдать ее — Анаррес у,

Уррасу и всем прочим мирам, — тогда да, безусловно. Здесь меня со всех сторон окружают стены. Мне невыносимо трудно работать, я не могу экспериментировать — у меня попросту нет оборудования, нет помощников, нет даже студентов. И самое главное, когда я все же умудряюсь достигнуть каких-то результатов, оказывается, что моя работа никому не нужна! Нет, некоторым она все-таки нужна — таким, как Сабул. Только они хотят, чтобы я отказался от дальнейших собственных инициатив в обмен на их одобрение... А тем, что я делаю сейчас, они воспользуются как своим собственным, когда я умру. Это для них нормально, так всегда, собственно, и бывает. Но почему я должен дарить труд всей своей жизни какому-то Сабулу? Всем этим сабулам, мелкотравчатым, жадным, эгоистичным? Я хочу разделить то, чего, может быть, сумею достигнуть, со всеми, со всей Вселенной! Общая Теория Времени вполне этого заслуживает. Она никогда не устареет и сможет принести еще очень много пользы. Всем!

— Хорошо. Значит, она того стоит, — сказала Таквер твердо.

— Стоит чего?

— Риска. И может быть, даже того, что ты никогда не вернешься назад.

— Не вернусь назад? — повторил он и посмотрел на Таквер странным, очень внимательным и одновременно каким-то отстраненным взглядом.

— По-моему, на нашей стороне все же значительно больше людей, чем нам кажется, Шев. Просто мы пока что ничего особенного не сделали — чтобы собрать их всех вместе, своих возможных союзников. И не взяли на себя никакого риска. Если в игру по-настоящему вступишь ты, люди, по-моему, выступят в твою поддержку. А если ты сумеешь открыть наконец эти запертые двери, они снова вдохнут чистого воздуха, ощутят запах свободы!..

— И, вполне возможно, ринутся ей навстречу так, что все снесут на своем пути...

— Это как раз было бы очень плохо. Синдикат, наверное, сможет защитить тебя, когда ты вернешься. И люди, возможно, встретят тебя совсем не так уж враждебно. Но потом... Впрочем, если потом начнется то же самое и к нам будут относиться с той же ненавистью, мы скажем: черт с вами! Что хорошего в вашем «анархическом» обществе, которое боится анархистов? И тогда мы уедем — в Верхний Седеп, далеко, в горы. Там место всегда найдется. И найдутся люди, которые, наверное, захотят отправиться вместе с нами. И мы создадим там свою, новую коммуну. Если наше драгоценное общество желает создать государство, законы и все такое прочее, то мы станем изгоями, но останемся на свободе и создадим «новый Анаррес», все начнем сначала! Как тебе мой план?

— Он прекрасен! — сказал Шевек. — Прекрасен, родная моя. Но я вовсе не собираюсь улетать на Уррас, как ты не поймешь!

— Да нет, Шев, ты хочешь туда улететь. И ты непременно вернешься! — Глаза Таквер смотрели ласково и были совсем темными — то была мягкая, теплая, ночная тьма. — Конечно, если захочешь вернуться. Ты всегда достигаешь намеченной цели. И всегда возвращаешься назад.

— Не глупи, Таквер! Я действительно не собираюсь улетать на Уррас!

— Я ужасно устала, — сказала Таквер, потягиваясь и прислоняясь лбом к его плечу. — Давай лучше ложиться спать.

Глава 13

УРРАС — АНАРРЕС

Пока они были на орбите, он видел в иллюминаторах лишь бирюзовую поверхность громадного и прекрасного Урраса. Но потом корабль развернулся, и в черном небе появилось множество звезд, а среди них плыл Анаррес, похожий на круглый каменный мяч, чьей-то неведомой рукой заброшенный в космос и теперь вынужденный вращаться там, бесконечно отмеривая время, создавая его.

Шевеку показали на корабле все. Межгалактический «Давенант» буквально всем отличался от старенького грузового «Старательного». Снаружи этот корабль казался удивительно хрупким и был похож на причудливую скульптуру из стекла и проволоки, во всяком случае, как космический корабль, как средство передвижения в пространстве его воспринять было трудно. У него как бы не было ни «носа», ни «хвоста». Но изнутри он казался просторным и

прочным, как хороший дом. Каюты были большие, изысканно отделанные деревянными панелями, полы покрыты каким-то пушистым плетеным материалом, похожим на ковер. Потолки высокие. Но в «доме» этом «ставни» всегда были закрыты, лишь в нескольких служебных помещениях имелись экраны внешнего наблюдения. И еще на корабле было удивительно тихо. Даже в капитанской рубке и машинном отделении. Все оборудование обладало той простой и строгой определенностью дизайна, какой обладает оснастка хорошего морского судна. Местом отдыха служил замечательный «зимний сад», где освещение примерно равнялось солнечному и удивительно приятно пахло — землей и листвой. Когда на корабле наступала «ночь», свет в саду гасили, а ставни на иллюминаторах поднимали, впуская в помещение свет звезд.

Хотя обычно его полеты продолжались всего несколько часов или дней, поскольку корабль двигался со скоростью, близкой к скорости света, он мог порой долгие месяцы проводить в космосе, исследуя различные планеты той или иной галактики, или же годами вращаться на орбите той планеты, где в данное время находился и работал его экипаж. Именно поэтому он был сделан с такой изысканностью и вниманием к потребностям человека; он был во всех отношениях приспособлен для жизни тех, кто вынужден подолгу находиться далеко от родного дома. Этот стиль не обладал ни избыточной роскошью Урраса, ни аскетизмом Анарреса, он во всем придерживался здорового равновесия, но — с чуть большим изяществом, с чуть большей теплотой, что может дать только большой опыт в создании подобных кораблей. Хайнцы вообще ко всему относились спокойно, обдуманно, не желая создавать ни себе, ни другим излишних неприятностей и ограничений. Они имели явную склонность к медитации и действовали всегда без излишней поспешности. Шевеку очень нравились члены смешанной команды корабля, воспитанные в традициях планеты Хайн, — неторопливые, суровые, спокойные, без малейшей склонности к неожиданным поступкам. Самыми старшими из них были хайнцы, самыми молодыми — земляне.

Однако Шевек немного общался с ними в те три дня, что потребовались «Давенанту» на полет от Урраса к Анарресу. Он, разумеется, охотно отвечал, когда ему задавали

вопросы, но сам задавал их очень мало. Однако стоило ему заговорить, как вокруг воцарялась полная тишина. Члены команды «Давенанта», особенно молодые, тянулись к нему, словно в нем было нечто такое, чего не хватало им самим. Они без конца говорили и спорили о нем между собой, но с ним вели себя смущенно, застенчиво. Сам Шевек этого, правда, не замечал. Он думал только об Анарресе и только его видел впереди! Он понимал, что не все надежды оправдались, однако свое обещание он выполнил; и, сознавая свое частичное поражение, чувствовал, что в душе его еще немало сил, что он наконец вырвался на свободу, и это вселяло в него радость и новую надежду. Он был, точно выпущенный из тюрьмы узник, который наконец-то возвращается домой, к своей семье. А потому все, что он видит в пути, представляется ему не более чем игрой света на поверхности живых и неживых предметов.

Шел второй день полета, Шевек сидел в радиорубке и разговаривал с Анарресом — сперва с Координационным Советом, потом с Синдикатом Инициативных Людей — и, напряженно наклонившись вперед, слушал и отвечал, радуясь ясной выразительности своего родного языка и порой даже размахивая свободной рукой, словно выступал перед зримой аудиторией. Иногда он искренне смеялся, и первый помощник капитана «Давенанта», уроженец Хайна по имени Кетхо, поддерживая радиосвязь, задумчиво наблюдал за ним. Вчера после ужина Шевек целый час беседовал с ним и некоторыми другими членами экипажа, и Кетхо успел о многом спросить его — как всегда, спокойно и нетребовательно; и Шевек охотно отвечал на все вопросы, касавшиеся Анарреса.

Наконец Шевек повернулся к нему:

— Все. Остальное может подождать до моего возвращения. Завтра они свяжутся с вами по поводу посадки и прочего.

Кетхо понимающе кивнул.

— По-моему, у вас хорошие новости, — сказал он.

— Да. По крайней мере некоторые из них. Во всяком случае, это, как вы выражаетесь, «живые» новости. — Им приходилось говорить на йотик, и Шевек владел этим языком значительно лучше Кетхо, который говорил хотя и правильно, но очень медленно и как-то скованно. — Посадка будет, судя по всему, весьма впечатляющим зрели-

щем, — продолжал Шевек. — Видимо, соберется огромное количество народа — как врагов, так и друзей. Самые хорошие новости — это то, что придут друзья... И похоже, их стало больше с тех пор, как я улетел.

— Но, значит, есть и опасность покушения на вашу жизнь? — сказал Кетхо. — Стоит вам покинуть корабль, как ваши враги постараются не упустить столь благоприятный момент. Хотя, я надеюсь, сотрудники космопорта способны все же контролировать обстановку и поддерживать необходимый порядок? Вряд ли вас намеренно хотят заманить в ловушку. Или я не прав?

— Нет, вы правы. И они, конечно, постараются всеми силами меня защитить. Но я ведь и сам нарушитель порядка, Кетхо! Я настоящий диссидент, и в конце концов это мое право — идти на риск. Право одонийца. — Он улыбнулся. Но Кетхо на его улыбку не ответил, лицо его с резкими и красивыми чертами было серьезно. Это был привлекательный мужчина лет тридцати, высокий, со светлой, но практически лишенной растительности кожей — как у землян.

— Я рад, что имею возможность разделить с вами этот благородный риск, — сказал он почти торжественно, но спокойно. — Именно мне поручено осуществить посадку на планету нашего «челнока».

— Приятно слышать, — сказал Шевек, — что кому-то захотелось разделить со мной подобную «привилегию»!

— Разделить ее с вами хотелось бы гораздо большему числу людей, чем вы можете себе это представить, — серьезно возразил Кетхо. — Если бы, разумеется, вы могли нам это позволить.

Шевек, который успел уже снова начать думать о чем-то своем, собираясь уходить, вдруг остановился: до него дошел смысл последних слов Кетхо, и он, изумленно взглянув на него, спросил:

— Вы что же, хотите сказать, что кому-то из вас хотелось бы высадиться на Анаррес вместе со мной?

Кетхо ответил честно:

— Да. Мне, например, очень хотелось бы.

— И командир корабля даст вам на это разрешение?

— Да. Как офицеру, осуществляющему миротворческую миссию. А кроме того, моя непосредственная работа как раз и заключается в том, чтобы, по возможности, ис-

следовать и описать каждую новую планету. Мы обсуждали этот вопрос в нашем посольстве на Уррасе — перед вашим отлетом на родину. Было решено не делать никакого официального запроса, поскольку, согласно политике вашего народа, инопланетянам приземляться на Анарресе запрещено.

— Хм, — задумался Шевек. Он отошел к дальней стене и некоторое время стоял там, изучая некий хайнский пейзаж, избраженный очень просто и искусно: темная река, текущая меж тростников, тяжелые, полные влаги тучи... — Видите ли, наши правила, отраженные в «Условиях Заселения Анарреса», не разрешают жителям Урраса покидать пределы Космопорта, даже если они оказались на нашей планете. Эти правила все еще соблюдаются свято. Но, с другой стороны, вы ведь не урраст.

— Во времена заселения Анарреса вам не были еще известны другие представители человеческой расы, так что, видимо, этот документ включает всех иноземцев?

— Да, так решил и наш Координационный Совет, когда вы шестьдесят лет назад впервые прилетели в нашу солнечную систему и попытались наладить с нами контакт. По-моему, они были совершенно не правы, ибо снова принялись возводить стены... — Шевек обернулся и внимательно посмотрел на своего собеседника. — Почему вы так хотите попасть на землю Анарреса, Кетхо?

— Я хочу увидеть эту планету собственными глазами, — честно ответил тот. — Еще до того, как вы прилетели на Уррас, мне безумно хотелось побывать там. Все началось с книг Одо... Я ужасно тогда заинтересовался ее теорией. Вы знаете, я тогда... — Он поколебался, словно сам себе удивляясь, и смущенно договорил: — Я даже начал учить язык правик. Правда, совсем немного успел пока.

— Так, значит, это ваше личное желание? Ваша собственная инициатива?

— Абсолютно.

— Но вы понимаете, что это может быть очень опасно?

— Да.

— Дело в том... Честно говоря, на Анарресе сейчас не слишком спокойно. Именно об этом мои друзья мне только что и рассказывали. Хотя в принципе именно это и было нашей целью — целью нашего Синдиката, моего путешествия на Уррас и моего возвращения: мы хотели не-

сколько встряхнуть наше общество, сломать кое-какие отжившие обычаи и традиции, заставить людей задавать вопросы, наконец! Анархисты и должны вести себя, как анархисты! В общем события за время моего отсутствия развивалиєь довольно бурно. А потому, как видите, трудно быть уверенным в том, что случится в следующую минуту. Особенно после моего там появления. И если вы прилетите вместе со мной, все может еще больше осложниться. Я не могу слишком давить на Совет. И не могу взять вас с собой как официального представителя иной планеты. Дипломатический протокол — не для Анарреса.

— Это я понимаю.

— Как только вы со мною вместе окажетесь по ту сторону стены, вы тем самым уже превратитесь в одного из нас. И мы будем полностью за вас ответственны, как и вы — за нас, вы станете анаррести со всеми их возможностями и «привилегиями», понимаете? Вот только безопасности это отнюдь не сулит. Свобода вообще никогда не бывает абсолютно безопасной. — Он огляделся, в радиорубке было тихо, чисто, спокойно, все было простым, разумно устроенным, удобным для работы. Взгляд его снова остановился на Кетхо. — И еще вам покажется, что там, на Анарресе, вы бесконечно одиноки, — сказал он.

— Моя раса очень стара. — Кетхо говорил спокойно и уверенно. — Нашей цивилизации миллион лет. Мы испробовали все. В том числе и анархизм. Но лично я многого не пробовал. Говорят, что ни под одним солнцем нет ничего абсолютно нового. Но если каждая жизнь не является чем-то новым — жизнь любого представителя человечества, — то зачем мы вообще рождаемся на свет?

— Мы дети Времени, — сказал Шевек на своем родном языке. Его молодой собеседник некоторое время молча смотрел на него, потом повторил эти слова на йотик:

— Да, мы дети Времени.

— Верно, — сказал Шевек и рассмеялся. — Хорошо, брат! Тогда давайте снова свяжемся по радио с нашим Синдикатом... для начала... Я сказал Кенг — вы ее знаете, она посол Земли, — что мне нечем отплатить представителям Земли и Хайна за то, что они сделали для меня; ну что ж, может быть, я хоть вам, Кетхо, смогу чем-то отплатить за добро. Какой-нибудь идеей, обещанием, хотя бы риском...

— Я немедленно переговорю с нашим командиром, —

сказал Кетхо. Вид у него, как всегда, был довольно суровый, однако голос едва заметно дрожал — то ли от волнения, то ли от ощущения сбывшейся надежды.

Ночью Шевек не мог уснуть и сидел в «зимнем саду». Свет был погашен, в иллюминаторах ярко светились звезды. Воздух был прохладен и чист. Какое-то растение из неведомого Шевеку мира благоухало, раскрыв на ночь свои цветы среди темной листвы, словно желало привлечь необходимых ему насекомых за триллионы миль, через космическое пространство, в этот крошечный искусственный мирок, созданный руками человека и находящийся в иной галактике. Солнца в разных галактиках светят по-разному, но вот тьма всюду одна. Шевек стоял перед широким прозрачным иллюминатором, глядя на ночную сторону Анарреса, черную полусферу, закрывавшую уже значительную часть звездного небосклона. Он думал, будет ли его встречать Таквер. Пока что она еще не приехала в Аббенай из Города Благоденствия; во всяком случае, он во время последнего сеанса радиосвязи попросил Бедапа подумать, разумно ли Таквер приезжать в Космопорт. «Неужели ты думаешь, что я смогу остановить ее, даже если это будет совершенно неразумно?» — засмеялся в ответ Бедап. Шевек надеялся, что Таквер будет добираться с побережья Соррубы на дирижабле, тем более если возьмет, как он надеялся, девочек с собой. Поездка на поезде слишком утомительна, особенно с детьми. Он еще не забыл то кошмарное путешествие из Чакара в Аббенай, когда Садик настолько плохо переносила дорогу — они ехали более трех суток, — что чуть не умерла.

Дверь тихонько отворилась, пропуская полосу света. В сад заглянул командир корабля и окликнул Шевека по имени. Вместе с командиром шел Кетхо.

— Мы только что получили разрешение на посадку нашего «челнока» от ваших диспетчеров, — сказал командир, невысокий, рыжеволосый землянин, очень сдержанный, немногословный и чрезвычайно деловой. — Если вы готовы, можно начинать посадку прямо сейчас.

— Да, конечно!

Командир кивнул и вышел. Кетхо подошел ближе и остановился рядом с Шевеком.

— Ты уверен, что хочешь пройти сквозь эту стену со мною вместе, аммар Кетхо? — Шевек говорил на языке

правик. — Ты же понимаешь, что мне куда проще: я ведь в любом случае возвращаюсь домой. А ты свой дом покидаешь! «Настоящее путешествие всегда включает в себя возвращение...»

— Я тоже надеюсь вернуться, — тихо и уверенно сказал Кетхо. — В свое время.

— Когда мы должны начать посадку?

— Минут через двадцать.

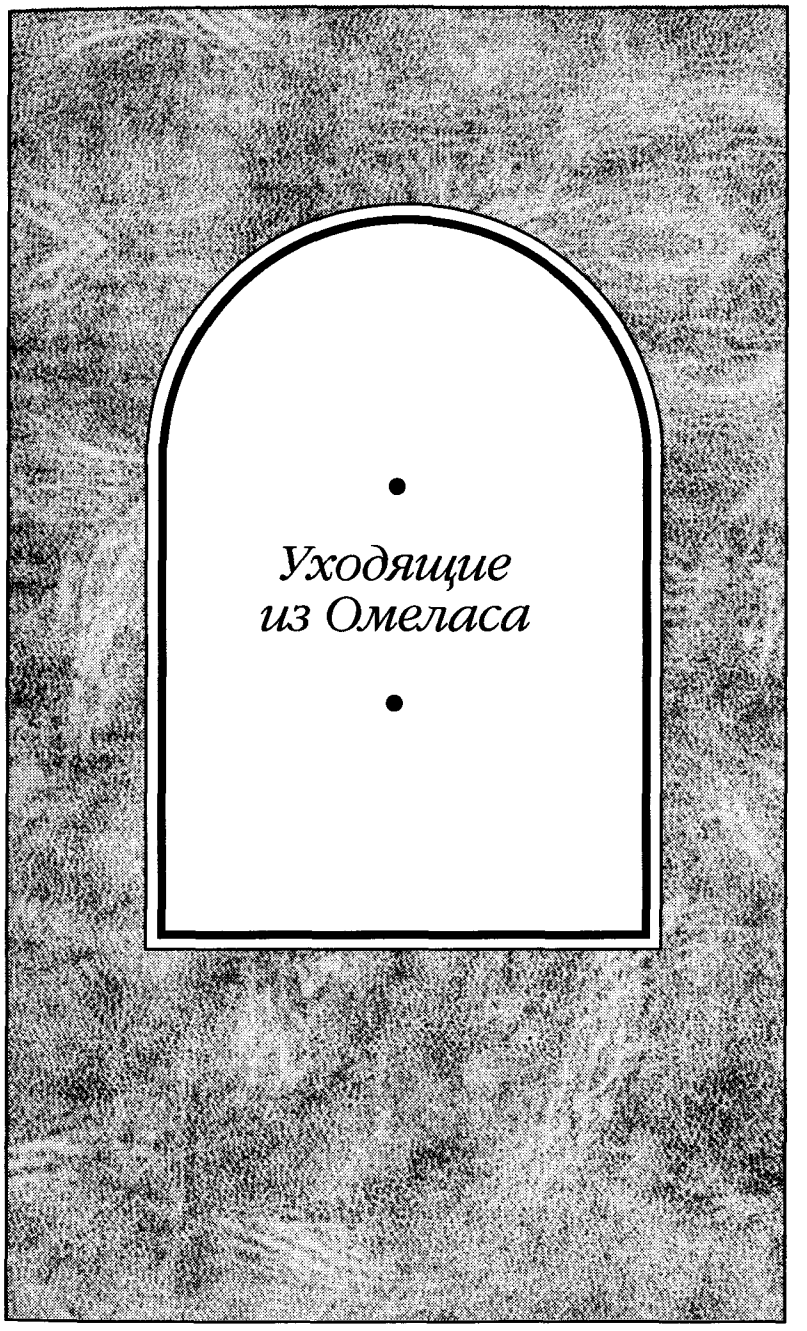
— Я готов. Багажа у меня нет. — Шевек засмеялся. То был смех чистой, непритворной радости, и его спутник сурово посмотрел на него, словно совсем позабыв, что такое простая радость, но все же припоминая ее как нечто далекое, знакомое лишь по временам детства. Шевеку показалось, что он хочет его о чем-то спросить. Но так и не спросил.

— В Аббенае сейчас раннее утро, — сказал Кетхо и пошел собираться. С Шевеком они договорились встретиться уже у шлюза.

Оставшись один, Шевек снова повернулся к иллюминатору и увидел ослепительный серп всходящего над Тименским морем солнца.

«Сегодня я буду спать дома, — думал он, — рядом с Таквер. Жаль все-таки, что я не захватил для Пилюн ту картинку с ягненком!»

Но он ничего с собой не захватил с Урраса. И руки его, как всегда, были пусты.



Уходящие из Омеласа

Уходящие из Омеласа
(вариации на тему из сочинений Уильяма Джемса)

Центральная идея публикуемого ниже психомифа — тема козла отпущения — отсылает нас прямиком к «Братьям Карамазовым» Достоевского, и несколько человек уже спрашивали меня с легким подозрением, как бы ожидая подвоха, почему я одалживаюсь именно у Уильяма Джемса. Ответ весьма банален — с тех самых пор, как мне минуло двадцать пять лет, я была совершенно не в силах перечитывать любимого некогда классика и попросту запамятовала о бесспорном его приоритете. Лишь наткнувшись на подобный же пассаж в «Нравственном философе и нравственной жизни» Джемса, я пережила подлинный шок узнавания. Вот как он звучит:

Если допустить гипотетически, что нам предложено существовать в мире утопий досточтимых Фурье, Беллами и Морриса, где благополучие и счастье миллионов зиждутся единственно на том простейшем условии, что некая пропащая душа где-то на самом краю мироздания должна влачить одинокое существование в ужасных мучениях, о которых, невзирая на их удаленность и уникальность, тут же становится известно каждому, то, хотя от предоставленной нам утопии мы и не в силах отказаться, каким же звериным оскалом оборачивается к нам все наше блаженство, наше осознанное приятие подобной сделки с собственной совестью!

Вряд ли вообще возможно лучше сформулировать дилемму американского самосознания. Достоевский был величайшим из художников и к тому же проповедником самых радикальных взглядов, но его преждевременный социальный порыв обернулся против него же самого, ввергнув в пучину реакционного насилия. Тогда как типичный американский джентльмен Джемс, кажущийся сегодня столь мягким, столь на-

ивно интеллигентным, — взгляните, как часто употребляет он уничижительное местоимение «мы» («нас», «наше»), как бы скромно предполагая несомненное равенство с собой любого из своих читателей, — был, есть и навсегда останется носителем истинного философского радикализма. Сразу же вслед за пассажем о «пропащей душе» Джемс продолжает:

Все высочайшие, все самые пронзительные идеалы — насквозь революционны. Они редко преподносятся нам в одежках из прошлого — куда как чаще под видом якобы убедительных воспоминаний о вероятном будущем, из которых обществу предстоит извлечь лишь очередной урок повиновения...

Связь двух приведенных сентенций с публикуемым здесь рассказом, с фантастикой вообще, со всеми размышлениями о будущем — самая что ни на есть непосредственная. Идеалы как «воспоминания о будущем» — до чего же деликатное и в то же время весьма отрезвляющее замечание!

Естественно, я отнюдь не сидела перед открытым томиком Джемса, когда у меня родилось намерение изложить историю об этой самой «пропащей душе». Прямые замыкания в жизни сочинителя — крайняя редкость. Я уселась писать, потому что сама переживала тогда нечто подобное, не имея в голове ничего, кроме одного лишь слова «Омелас», которое позаимствовала с обычного дорожного указателя «Салем (Орегон)» — справа налево. А вам не доводилось разве читать таким образом дорожные указатели? ПОТС. ОНЖОРОТСО, ИТЕД. ОКСИЦНАРФ-НАС.. Салем это шалом, это солям, это мир. Мелас. Омелас. Омелас. Homme hélas[1]. «Откуда вы черпаете свои сюжеты, миссис Ле Гуин?» Из полузабытого Достоевского да еще из прочитанных задом наперед дорожных указателей, разумеется. Откуда же еще?!

С гулкой перекличкой колоколов, взметнувшей ласточек в поднебесье, в город Омелас, высящий светлые башни свои у самого моря, приходит Праздник Лета. Такелаж

[1] Человек, увы (*фр.*). Произношение созвучно слову «омела'с».

бесчисленных судов в гавани радостно расцветает пестрыми гирляндами флагов. По улицам меж бесконечных рядов красных черепичных крыш и выбеленных стен домов, мимо древних, поросших мхом садов, под тенистыми купами могучих дерев, мимо больших парков и гигантских общественных зданий движутся процессии. Одни торжественные — старики в длинных одеяниях из лилового и серого грубого полотна, степенные мастеровые, матроны с младенцами на руках, тихонько сплетничающие между собой на ходу. На иных же улицах музыка звучит быстрее, там сверкают тамбурины и гонги, люди идут вприпляску, само шествие — сплошной беспрерывный танец. Неугомонные детишки шныряют под ногами у взрослых, звонкие их голоса взмывают над ликующей толпой, пересекаясь с молниеносными росчерками обезумевших ласточек. Все процессии движутся к северной окраине, где на большом заливном лугу, именуемом Зеленым долом, тонконогие юноши и девушки, облаченные лишь в просвеченный солнцем воздух, с заляпанными грязью лодыжками, уже разогревают норовистых коней перед скачками. На скакунах, кроме простейшей уздечки без удил, никакой лишней сбруи. Зато пышные гривы изукрашены блестящими лентами всех цветов радуги. Жеребцы раздувают ноздри, фыркают и, бахвалясь друг перед другом, встают на дыбы; они возбуждены, ведь лошадь — единственное домашнее животное, принимающее человеческие празднества за свои собственные. С севера и запада город вместе с уютной бухтой охватывает гигантской подковой горная гряда. Утренний воздух столь прозрачен, что все восемнадцать вершин Великого кряжа слепят своими обледенелыми пиками. Едва ощутимый бриз нежно полощет флаги, которыми размечен большой беговой круг. Тишину просторного луга нарушает лишь музыка, доносящаяся с улиц; она звучит то тише, то громче, но определенно приближается, принося с собой упоительное чувство праздника. Звуки музыки время от времени заглушаются звонкими и радостными переливами благовеста.

И еще какими радостными! Как выразить эту радость словами? Как описать вам жителей Омеласа?

Они отнюдь не простаки, доложу я вам, хоть и счастливы постоянно. Это мы, в отличие от них, разучились выражать свою радость словами и даже искреннюю улыбку тол-

куем порой как нечто сродни атавизму. К описанию, вроде приведенного выше, как бы само собой напрашивается определенное продолжение. Хочется изобразить некую августейшую особу, монарха верхом на благородном скакуне в окружении блистательной свиты или — как вариант — его же в сверкающем чистым золотом паланкине, покоящемся на могучих плечах темнокожих невольников. Но — нет, не будет вам никакого монарха! В Омеласе не ведают рабства, не пользуются мечами. Жители Омеласа отнюдь не варвары. Мне не знаком свод законов их общественного устройства, но мнится — он краток до чрезвычайности. Как обходятся они без монархии и без рабства, так ни к чему им и наши биржи с банками, рекламные агентства, тайная полиция, ядерное оружие. И все же — повторюсь! — они отнюдь не простаки, не сладкогласные аркадские пастушки, не благородные дикари, не кроткие обитатели утопии. Они ничуть не примитивнее нас. Увы, все мы подвержены одной скверной привычке, коей во многом обязаны высоколобым педантам, — привычке считать любое проявление счастья признаком безнадежного кретинизма. Мол, лишь в страдании истинная мудрость, лишь зло и боль интересны. Эдакое чисто эстетское предательство — отказ признать грех банальным, а страдание невыносимо скучным. Мол, не можешь предотвратить страдание — стань сам воплощением этого страдания. Будет больно — повтори еще разок. Но ведь, превознося отчаяние и боль, мы порицаем радость, подставляя щеку насилию, раскрывая ему свои объятия, утрачиваем остальные ценности. И уже практически все растеряли — мы больше не в силах описать даже простое человеческое счастье, не в силах ощутить радость без причины, саму по себе.

Как же рассказать вам все-таки о жителях Омеласа? Они вовсе не дети, наивные и безмятежные, — хотя их чада и в самом деле безмятежно счастливы. Они зрелые, страстные, интеллигентные люди, просто в их жизни нет места унынию. Чудо? Вовсе нет, но где же сыскать верные слова, чтобы убедить вас в этом? Омелас выходит у меня каким-то сусальным, точно пряничный домик из старинной сказки — помните: «в тридевятом царстве, в тридесятом государстве жили-были...» et cetera. Быть может, чем пытаться угодить на все вкусы, лучше оставить кое-что и на долю вашего собственного воображения? Как, к примеру, об-

стоит в Омеласе дело с техникой? Полагаю, машин на улицах и вертолетов над головой там быть не должно — это проистекает из того непременного условия, что жители Омеласа счастливы. Счастье же всегда основано на умении различать необходимое, не столь уж необходимое (но безвредное) и избыточное (то есть разрушительное). В среднюю категорию — без чего можно обойтись, но что делает жизнь человека значительно комфортнее — мы могли бы включить (для них, жителей Омеласа) центральное отопление, поезда подземки, стиральные машины, а также все те удивительные устройства, чудеса технологии, что пока нам неведомы, вроде свободно парящих над головой светильников, источников энергии, практически не требующих горючего и не загрязняющих среду, лекарств против насморка — и прочее в том же роде. А может, ничего этого у жителей Омеласа нет и в помине — неважно. Как вам больше глянется. Что же до меня, то представляется, будто жители окрестных поселений съезжались на фестиваль в Омеласе заблаговременно на небольших, но весьма быстроходных поездах и двухъярусных трамваях, а здание вокзала — одно из самых великолепных в городе, хотя и поскромнее величественных куполов Центрального рынка. И все же опасаюсь, что нарисованная картинка, несмотря на включение в нее железной дороги, кое-кому из вас пока еще не представляется достоверной. Эдакие розовые сопли — вечные улыбки, малиновый перезвон, парады, гарцующие кони, цветы и прочее в том же духе.

Если вам кажется, что Омеласу недостает оргий — будьте так любезны! Если поможет, то не колеблясь прибавьте сюда оргию. Только, бога ради, попытайтесь обойтись без святилищ, из врат коих высыпают прекрасные обнаженные жрецы и жрицы уже почти в экстазе, готовые разделить свой любовный пыл с первым встречным, знакомым и незнакомым, любым, кто возжаждет слияния с глубинным божеством, обитающим в его жилах, — хотя именно таков был изначальный мой замысел. Так оно лучше — Омелас без храмов или, во всяком случае, без жрецов в этих храмах. Религия — пожалуйста, духовенство же — нет. Пусть бродят себе окрест обнаженные красотки и красавчики, предлагая себя жаждущим неистовства плоти как некое божественное суфле — пусть! Пусть вливаются они в процессии, пусть такт совокуплений во всеуслышание

отбивают тамбурины, а гонги возвещают о триумфе страсти. И пусть те (и это немаловажно!), кто появится на свет как плод этих божественных ритуалов, станут предметом всеобщего обожания и поклонения. Одно я знаю точно: чувство вины жителям Омеласа неведомо. Чего же еще нам недостает? Сперва казалось, что наркотикам вроде бы не место в Омеласе, но это во мне говорил завзятый пурист. Пусть для тех, кому это требуется, улицы города вечно благоухают слабым, но стойким ароматом друйза, зелья, которое сперва вызывает величайшее просветление в голове и необыкновенную легкость в членах, а спустя часы — томление, и сонливость, и удивительные видения, приоткрывающие завесу над сокровенными тайнами мироздания, — подобные тем, что доступны нам в краткий миг апофеоза любви; и пусть не возникает никакой зависимости от употребления друйза. Но в расчете на более изысканный вкус, для гурманов, я предлагаю завести в Омеласе также и обычай варить светлое пиво.

В чем же еще нуждается этот счастливый город, чего еще ему не хватает? Ощущения победы, разумеется, торжества мужества. Но уж если мы сумели обойтись без духовенства, попробуем обойтись и без солдат. Торжество после успешной резни — не то торжество, что нам нужно, оно сюда не подходит, ибо порождает один лишь ужас и слишком тривиально. Беспредельная, но сдержанная удовлетворенность, великодушный триумф, и не над каким-то там внешним противником, но через единение с наипрекраснейшим в людских душах, через приобщение к благодати летней природы — вот что переполняет сердца обитателей Омеласа, и виктория, которую они празднуют, суть торжество самой жизни. Не думаю, что многим из них всерьез надобен друйз.

Почти все процессии тем временем уже достигли Зеленого дола. Из-под алых и голубых навесов пекарей струятся умопомрачительные ароматы. Рожицы ребятишек уморительно перемазаны кремом; даже в пушистой седой бороде старца можно заметить крошки пирожного. Юноши и девушки, осадив своих взбудораженных коней неподалеку от стартовой линии, оглаживают им холки. Какая-то бойкая старушенция, жирная и коротконогая, заливаясь визгливым смехом, раздает всем вокруг охапки цветов из огромной корзины, и высокие юноши тут же венчают ими

свои роскошные волосы. Чуть в стороне от толпы устроился на травке мальчуган лет десяти с мечтательными темными глазами и наигрывает себе на флейте. Слушая, люди просветленно улыбаются, но не заговаривают с юным дарованием — все равно он, околдованный сладостной магией мелодии, ничего не услышит.

Вот он кончил играть, и руки, нежно сжимающие флейту, расслабленно опускаются.

И тут, словно наступившая вдруг тишина послужила своеобразным сигналом, из павильона у стартовой черты долетает пение трубы — звук властный, но вместе с тем пронзительный и щемящий. Кони взвиваются на дыбы и откликаются на призыв беспокойным ржанием. Юные всадники с разом посерьезневшими лицами похлопывают, поглаживают лошадей, приговаривая: «Ну-ну, тише, мой милый, тише, радость моя, моя надежда...» — и начинают выстраиваться на старте в шеренгу. Толпа вдоль всей линии забега теперь точно тростник на ветру. Праздник Лета начался.

Вы поверили? Убедило вас описание празднества, города, радости? Нет? Тогда позвольте мне прибавить еще кое-что.

В глубоком подвале какого-то из величественных общественных зданий Омеласа или, возможно, в погребе одного из просторных частных особняков находится каморка. Она без окон, а дверь всегда заперта на прочный засов. Тусклый свет едва пробивается сюда через щели в толстенных досках — не прямо снаружи, а просочившись сперва сквозь затянутое паутиной пыльное окошко где-то в самом дальнем конце погреба. В одном углу каморки стоят в ржавом ведре две ветхие швабры с вонючим окаменелым тряпьем на них. Пол сырой и грязный, как в обычном подвале. Вся каморка три шага в длину и два в ширину — типичный чулан для швабр или железного хлама.

И в ней, в свободном углу, ребенок — неважно, мальчик то или девочка. На вид лет шести, на самом же деле — около десяти. Он слабоумный. Возможно, таким уродился, а может, свихнулся позже от страха, голода, одиночества. Ребенок то ковыряет в носу, то теребит себе пальцы ног, то почесывает гениталии. Сидит он, съежившись, как можно дальше от ведра с вонючими швабрами. Он панически боится их. Он видит в этих швабрах неких жутких страшилищ. Он изо всей мочи зажмуривается, слабо надеясь, что

жуткие швабры исчезнут, но они всегда здесь, а дверь закрыта, и никто не придет. Дверь всегда на запоре, и никто никогда не приходит к нему, разве что изредка — а ребенок не имеет совершенно никакого представления о времени,— изредка дверь, ужасающе скрежеща, распахивается, и на пороге оказывается человек или несколько. Обычно один из посетителей входит и, ни слова не говоря, грубым пинком поднимает ребенка на ноги, остальные смотрят из-за двери, и лица их искажены отвращением и страхом. Вошедший торопливо наполняет миску кашей, а кувшин водой, дверь захлопывается снова, и испуганные глаза исчезают. Люди эти не произносят ни слова, но ребенок не всегда жил здесь, в этом чулане, он помнит еще свет солнца и ласковые руки матери и порой пытается заговорить с ними сам. «Я больше не буду, — хнычет он. — Выпустите меня отсюда, ну пожалуйста! Я буду очень хорошим!» Но никто ему никогда не отвечает. Прежде ребенок подолгу кричал ночами, зовя кого-нибудь на помощь, захлебывался рыданиями, но теперь только скулит себе потихоньку и все реже и реже заговаривает с людьми. Он крайне изможден, ноги точно былинки, животик неимоверно вздут; кормят его раз в день, дают полмиски кукурузной каши, чуть приправленной тухловатым салом. Одежды он не знает; ножки сплошь в гнойниках и язвах от постоянного сидения в собственных экскрементах.

Все они, все до единого жители Омеласа, знают об этом ребенке. Но далеко не всякий приходит посмотреть на него, иным вполне достаточно знать, что он есть. Однако каждому известно, что так и должно быть, таков неизменный порядок вещей. Некоторые понимают, почему это так, другие — нет, но все как один знают, что общее их счастье, благополучие целого города, прочность дружбы и семейных уз, здоровье собственных детей, мудрость учителей, искусство мастеровых, даже урожайность полей и благосклонность небес — все, буквально все целиком и полностью зависит от нескончаемых страданий этого единственного ребенка.

Только малышня ничего не ведает о несчастном — детям рассказывают об этом, только когда они немного подрастут и рассудок их окажется в состоянии воспринять такое, в возрасте примерно от восьми до двенадцати, и большинство приходящих, чтобы взглянуть на него, именно

молодые люди, но не только: достаточно часто появляются в подвале и взрослые, причем иные далеко не впервой. И независимо от того, как тщательно готовили юных зрителей к предстоящему зрелищу, они всегда испытывают настоящее потрясение. Они чувствуют отвращение, какого еще никогда не испытывали. Испытывают, несмотря на длительную подготовку, боль, ярость, бессилие. Им так хочется хоть что-нибудь сделать для бедолаги. Но ничего сделать нельзя. Нельзя вывести ребенка из грязной дыры на свет божий, нельзя отмыть и накормить, нельзя приласкать. Все это было бы замечательно, но если сделать так, в тот же день и час рухнет благополучие Омеласа, исчезнут бесследно блеск, процветание, счастье всех его обитателей. Таково непременное условие. Променять счастье всех и каждого в городе на единственное крохотное улучшение в жизни отверженного, разрушить благополучие тысяч и тысяч ради сомнительного шанса принести благо одному-единственному — вот когда в стенах Омеласа воистину воцарилось бы чувство вины.

Условия же просты и непререкаемы — ребенку нельзя сказать даже одного ласкового слова.

Зачастую, увидев ребенка и осознав жуткий парадокс, подростки возвращаются домой в слезах и бессильной ярости. Нередко страшное зрелище не стирается из памяти, стоит перед их мысленным взором недели, месяцы, а то и долгие годы. Но со временем они все же свыкаются с неизбежным, осознают, что, если даже ребенка освободить, большого блага тому это уже не принесет. Какое-то смутное удовольствие от тепла и перемены пищи он, возможно, еще испытает, но и только. Слишком уж слабоумен он, чтобы познать подлинную радость. Слишком долго коснел в страхе, чтобы разом от него освободиться. Слишком неотесан и туп, чтобы правильно реагировать на гуманное к себе отношение. Пожалуй, теперь, после столь долгого затворничества, он уже не сможет жить вне своих тесных стен, без тьмы, без смрада экскрементов под собой. Слезы, вызванные вопиющей бесчеловечностью, высыхают сами собой, когда подростки постигают, что такова суровая справедливость жизни, такова грубая реальность, и они приемлют ее, пусть даже и вопреки чувству. И пожалуй, именно эти слезы, именно эти попытки проявить великодушие и последующее осознание собственно-

го бессилия — именно это, как ничто иное, обогащает юные души. Их счастье более уже не назовешь безмятежным. Они понимают, что несвободны, что сами в чем-то подобны этому существу из подвала. Они изведали, что такое подлинное сопереживание.

И поняли, что именно благодаря несчастью этого заморыша и знанию о его существовании так величественна архитектура Омеласа, так мятежна и нежна музыка его композиторов, так основательна наука. Именно поэтому в будущем они столь ласковы и заботливы с собственными чадами. Они знают: если бы не бедолага, жалобно скулящий в потемках подвала, то тот другой, что так виртуозно играет на флейте, не мог бы услаждать их слух музыкой, пока юные всадники во всей своей красе выстраиваются в стартовый порядок в первый солнечный день Праздника Лета.

Ну а теперь-то — поверили вы в них, в жителей Омеласа? Разве теперь они не кажутся вам более правдоподобными? Однако осталось поведать вам кое о чем еще, совсем уж невероятном.

Время от времени случается так, что кто-то из этих юношей или девушек, лицезревших ребенка, не идет домой, чтобы выплакать свою бессильную ярость, вообще не возвращается под отчий кров. Изредка и иной взрослый впадает в странную задумчивость на день-другой, а затем вдруг покидает родные пенаты. Эти люди тихо бредут себе по улицам города в полном одиночестве. Они идут все прямо и прямо и выходят из ворот Омеласа, за пределы его величественных стен. Затем бредут мимо богатых предместий, вдоль колосящихся нив. И каждый из них уходит в одиночку. Наступает ночь, а они все бредут — мимо деревень, мимо светящихся окон, в бесконечную череду полей. По одному уходят они на запад или на север, куда-то в горы. Они уходят. Они покидают Омелас, идут все дальше и дальше, они уходят во тьму и никогда более не возвращаются. Представить себе цель, к которой они стремятся, вообразить место, куда все они направляются, потруднее, пожалуй, чем город счастья Омелас. Мне такое определенно не по плечу. Возможно, что и вовсе не существует его, такого странного места. Но, похоже, они все-таки знают, куда идти, — эти люди, уходящие из Омеласа.

История «шобиков»

История «Шобиков»

Они встретились в порту Ве более чем за месяц до их первого совместного полета и там, назвав себя в честь своего корабля, как то делает большинство экипажей, стали «шобиками». Их первым совместным решением стало провести свой айсайай в прибрежной деревне Лиден, что на Хайне, где отрицательные ионы смогут делать свое дело.

Лиден — рыбацкий порт, чья история насчитывает восемьдесят тысяч лет, а живут в нем четыре сотни обитателей. Рыбаки кормятся добычей из богатого живностью мелководного залива, отправляют уловы в города на материке, а остальные ведут хозяйство курорта Лиден, куда приезжают отпускники, туристы и новые космические экипажи на время айсайая (это хайнское слово, означающее «совместное начало», или «начало совместного пребывания», или, в техническом смысле, «период во времени и область в пространстве, в пределах которых образуется группа, если ей суждено образоваться». Медовый месяц есть айсайай для двоих). Рыбаки и рыбачки Лидена выдублены погодой не хуже прибиваемого волнами плавника и столь же разговорчивы. Шестилетняя Астен, немного не поняв сказанное, как-то спросила одну из рыбачек, правда ли, что им всем по восемьдесят тысяч лет.

— Нет, — ответила она.

Подобно большинству экипажей, «шобики» общались между собой на хайнском. Из-за этого имя одной из женщин экипажа, хайнки Сладкое Сегодня, имело и словесный смысл, поэтому поначалу всем казалось, что как-то глупо называть так крупную, высокую женщину лет под шестьдесят, с гордо посаженной головой и почти столь же разговорчивую, как деревенские жители. Но, как выяснилось, под ее внешностью скрывается глубокий кладезь доброжелательности и такта, из которого можно при необходимости черпать, и вскоре звучание ее имени стало для

всех совершенно естественным. У нее была семья — у всех хайнцев есть семьи: всевозможнейшие родственники, внуки, кузены и сородичи, рассеянные по всей Экумене, но в экипаже у нее родственников не имелось. Она попросила разрешения стать бабушкой для Рига, Астен и Беттона и получила согласие.

Единственным «шобиком» старше ее была терранка Лиди семидесяти двух экуменических лет, и роль бабушки ее не интересовала. Вот уже пятьдесят лет она летала навигатором, и знала о СКОКС-кораблях буквально все, хотя иногда забывала, что их корабль называется «Шоби», и называла его «Сосо» или «Альтерра». И имелось еще нечто такое, чего ни она, ни кто-либо из них о «Шоби» не знали.

И они, как это свойственно людям, говорили о том, чего не знают. Чартен-теория была главной темой их бесед, происходивших вечерами после обеда на пляже возле костра из выброшенного морем плавника. Взрослые, разумеется, прочли о ней все, что имелось, прежде чем добровольно вызвались в этот испытательный полет. Гветер же владел более свежей информацией и предположительно лучше разбирался в теории, но информацию эту из него приходилось буквально вытягивать. Молодой, всего двадцати пяти лет, единственный китянин в экипаже, гораздо более волосатый, чем остальные, и не наделенный способностью к языкам, он большую часть времени пребывал в обороне. Утвердившись во мнении, будто он, будучи анаррести, более искусен во взаимопомощи и более сведущ в сотрудничестве, чем остальные, он читал им лекции об их собственнических обычаях, но за свои знания держался крепко, потому что нуждался в преимуществе, которое они ему давали перед остальными. Некоторое время он отбивался сплошными «не»: не называйте чартен «двигателем», ибо это не двигатель; не называйте его «чартен-эффектом», потому что это не эффект. Тогда что же это? Началась длинная лекция, начинающаяся с возрождения китянской физики, последовавшего после ревизии шевековского темпорализма интервалистами, и заканчивающаяся общим концептуальным описанием чартена. Все очень внимательно слушали, и наконец Сладкое Сегодня осторожно спросила:

— Значит, корабль станет перемещать идея?

— Нет, нет и нет, — ответил Гветер. Но следующее слово он выбирал так долго, что Карт задал вопрос:

— Но ведь ты, в сущности, вообще не говорил о каких-либо физических, материальных событиях или эффектах.

Вопрос был типично косвенным. Карт и Орет, гетенианцы, которые со своими двумя детьми были эмоциональным фокусом экипажа, его, по их выражению, «домашним очагом», происходили из теоретически не очень мыслительно одаренной субкультуры и знали об этом. Гветер мог запросто заткнуть их за пояс своими китянскими физико-философско-техноразмышлизмами. Однажды он так и поступил. Акцент Гветера отнюдь не делал объяснения понятнее. Он снова заговорил о когерентности и метаинтервалах, а под конец, воздев руки в жесте отчаяния, спросил:

— Ну кхак это можно сказать на кхайнском? Нет! Это не физическое, это не нефизическое, это кхатегории, которые наше сознание должно полностью отвергать, и в этом вся суть!

— Бат-бат-бат-бат-бат, — негромко бормотала Астен, огибая полукруг сидящих у костра на широком сумеречном пляже взрослых. Следом за ней двигался Риг, тоже бормоча «бат-бат-бат-бат», но уже громче. Они были звездолетами, судя по их маневрам среди дюн и общению, — «Вышел на орбиту навигатор!» — но имитировали они шум моторов рыбацких лодок, выходящих в море.

— Я разбился! — завопил Риг, плюхаясь на песок. — Помогите! Помогите! Я разбился!

— Держитесь, корабль-два! — крикнула Астен. — Я иду на помощь! Не дышите! Ах, у нас проблема с чартен-двигателем! Бат-бат-ак! Ак! Брррмммм-ак-ак-ак-ррррммммм, бат-бат-бат-бат...

Малышам было шесть и четыре экуменических года. Одиннадцатилетний Беттон, сын Тай, сидел у костра со взрослыми, хотя в тот момент, когда он наблюдал за Астен и Ригом, вид у него был такой, точно он не прочь тоже вылететь на помощь «кораблю-два». Маленькие гетенианцы прожили на кораблях дольше, чем на родной планете, и Астен любила хвалиться тем, что ей «на самом деле пятьдесят восемь лет», но это был первый экипаж Беттона, а свой единственный СКОКС-полет он совершил с Терры до Хайна. Он и его биологическая мать Тай жили в коммуне по восстановлению почвы на Терре. Когда мать вытя-

нула жребий на экуменическую службу и потребовала обучить ее обязанностям члена экипажа, он попросил ее взять его с собой в качестве члена семьи. Она согласилась, но после обучения, когда добровольно вызвалась участвовать в испытательном полете, попыталась оставить Беттона в тренировочном центре или отправить домой. Он отказался. Шан, обучавшийся вместе с ними, рассказал эту историю остальным, потому что понять причины напряженности между матерью и сыном было просто необходимо для эффективного создания группы. Беттон пожелал отправиться в полет с матерью, и Тай уступила, но явно против своего желания. К мальчику она относилась прохладно и манерно. Шан предложил ему отцовско-братское тепло, но Беттон принимал его неохотно и не искал формальных отношений члена экипажа ни с ним, ни с кем-либо из остальных.

Когда «корабль-два» был спасен, всеобщее внимание вернулось к дискуссии.

— Хорошо, — сказала Лиди. — Мы знаем, что все движущееся быстрее света, любой *предмет*, движущийся быстрее света, самим фактом такого движения переступает границы категории материального/нематериального — именно так действует ансибль, отделяя передаваемое сообщение от окружающей среды. Но если нам, экипажу, предстоит перемещаться подобно сообщениям, то я хочу понять — как?

Гветер рванул себя за волосы. Их у него хватало, они росли густой гривой на голове, шерсткой покрывали конечности и тело и серебристым нимбом окружали лицо. Мех на его ногах был сейчас полон песка.

— Кхак! — воскликнул он. — Я и пытаюсь объяснить вам, кхак! Сообщение, информация — нет, нет, нет, все это старо, это технология ансибля. А это трансилиентность! Потому что поле следует представлять как виртуальное поле, в котором нереальный интервал становится виртуально эффективным посредством медиарной когерентности, — неужели вы не понимаете?

— Нет, — ответила Лиди. — Что ты подразумеваешь под «медиарным»?

После еще нескольких посиделок на пляже они пришли к общему мнению о том, что чартен-теория доступна лишь тем, кто очень глубоко знает китянскую темпоральную физику. Менее охотно вслух высказывался и вывод, что инженеры, установившие на «Шоби» чартен-аппараты, не до конца понимают, как те работают. Или, если точнее, что они делают, когда работают. В том, что они работают, сомнений не возникало. «Шоби» стал четвертым кораблем, на котором они были испытаны в беспилотном режиме; уже шестьдесят два мгновенных перелета — трансилиентностей — были совершены между пунктами, которых разделяло расстояние от четырехсот километров до двадцати семи световых лет — с промежуточными остановками по пути. Гветер и Лиди непоколебимо придерживались того взгляда, что это доказывает, будто инженеры прекрасно знали, что делали, и что для всех остальных кажущаяся трудность теории сводится к трудности, с какой человеческий разум воспринимает совершенно новую концепцию.

— Это как идея кровообращения, — сказала Тай. — Люди очень давно знали, что их сердца бьются, но не понимали зачем.

Собственная аналогия ее не удовлетворила, и, когда Шан сказал: «У сердца есть свои причины, о которых мы ничего не знаем», — она обиделась и сказала: «Мистицизм» — тоном человека, предупреждающего спутника о кучке собачьего дерьма на тропинке.

— Уверен, что в этом процессе нет ничего непостижимого, — заметила Орет. — И ничего такого, чего нельзя понять и воспроизвести.

— И определить количественно, — упрямо добавил Гветер.

— Но даже если люди поймут суть процесса, никто не знает, как воспримет его человеческий организм, правильно? Это мы и должны выяснить.

— А с какой стати ему отличаться от обычного СКОКС-полета, только еще более быстрого? — спросил Беттон.

— Потому что он будет совершенно иным, — ответил Гветер.

— И что может с нами случиться?

Некоторые из взрослых обсуждали возможные последствия, и все они над ними размышляли; Карт и Орет как можно более простыми словами рассказали про будущий полет своим детям, но Беттон, очевидно, в таких дискуссиях не участвовал.

— Мы не знаем, — резко отозвалась Тай. — Я тебе с самого начала об этом твердила, Беттон.

— Скорее всего это будет похоже на СКОКС-полет, — предположил Шан, — но ведь те, кто летел на СКОКС-корабле в первый раз, тоже не знали, на что это будет похоже, и им пришлось осваиваться с физическими и психологическими эффектами...

— Самое плохое, что с нами может произойти, — неторопливо произнесла Сладкое Сегодня, — это то, что мы умрем. В испытательных полетах уже побывали живые существа. Сверчки. И разумные ритуальные животные во время двух последних полетов «Шоби». И ничего с ними не случилось. — Для нее это была очень длинная речь, и потому ее слова приобрели соответствующую весомость.

— Мы почти уверены, — сказал Гветер, — что чартен, в отличие от СКОКС, не включает в себя темпоральную перегруппировку. И масса здесь используется лишь в качестве потребности в определенном центре массы, как и во время передачи по ансиблю, но не сама по себе. Поэтому не исключено, что трансилиенту можно подвергать даже беременных.

— Им нельзя летать на кораблях, — сказала Астен. — Иначе нерожденные дети умрут.

Астен полулежала на коленях Орет; Риг, сунув в рот палец, спал на коленях Карта.

— Когда мы были онеблинами, — продолжила Астен, садясь, — с нашим экипажем были ритуальные животные. Рыбы, несколько терранских кошек и много хайнских хол. Мы с ними играли. И помогали благодарить холу за то, что на нем проводили проверку на литовирусы. Но он не умер. Он укусил Шапи. Кошки спали с нами. Но одна из них перешла в кеммер и забеременела, а потом «Онеблину» нужно было возвращаться на Хайн, и ей пришлось сделать аборт, иначе нерожденные котята умерли бы внутри и погубили бы ее. Никто не знал нужный ритуал, чтобы все объяснить кошке. Но я покормила ее лишний раз, а Риг плакал.

— Некоторые люди тоже плакали, — добавил Карт, поглаживая волосы ребенка.

— Ты рассказываешь хорошие истории, Астен, — заметила Сладкое Сегодня.

— Получается, что мы нечто вроде ритуальных людей, — сказал Беттон.

— Добровольцы, — сказала Тай.

— Экспериментаторы, — сказала Лиди.

— Искатели приключений, — сказал Шан.

— Исследователи, — сказала Орет.

— Азартные игроки, — сказал Карт. Мальчик по очереди взглянул на их лица.

— Знаете, — сказал Шан, — во времена Лиги, в самом начале СКОКС-полетов, пытались исследовать все подряд и посылали корабли к очень далеким системам — их экипажам предстояло вернуться лишь через столетия. Возможно, некоторые до сих пор не вернулись. Но некоторые вернулись через четыреста, пятьсот, шестьсот лет, и все они стали сумасшедшими. Безумцами! — Он выдержал драматическую паузу. — Но они уже были безумцами, когда стартовали. Нестабильными людьми. Ведь никто, кроме безумца, не согласится добровольно испытать такой разрыв во времени. Какой оригинальный принцип отбора экипажа, а? — Он рассмеялся.

— А мы стабильны? — поинтересовалась Орет. — Я люблю нестабильность. Мне нравится эта работа. Я люблю риск и люблю рисковать вместе с другими. Высокие ставки! Вот что наполняет меня восторгом.

Карт взглянул на их детей и улыбнулся.

— Да. Вместе, — сказал Гветер. — Ты не безумна. Ты хорошая. Я люблю тебя. Мы аммари.

— Аммар, — поправили его, подтверждая неожиданное заявление. Молодой мужчина нахмурился от удовольствия, вскочил и стянул с себя рубашку.

— Хочу купаться. Пойдем, Беттон. Пошли купаться! — воскликнул он и побежал к темной воде, медленно шевелящейся за границей отблесков их костра.

Мальчик помедлил, потом тоже сбросил рубашку и сандалии и побежал следом. Шан поднял Тай, и они убежали купаться; наконец и обе старшие женщины направились в ночь навстречу волнам, закатывая штанины и посмеиваясь над собой.

Для гетенианца даже теплой летней ночью на теплой летней планете море — не друг. Костер — совсем другое дело. Орет и Астен придвинулись ближе к Карту и смотрели на пламя, прислушиваясь к негромким голосам, доно-

сящимся со стороны поблескивающих пеной волн, и иногда тихо переговариваясь на своем языке, — маленький сестробрат спал.

После тридцати ленивых дней в Лидене «шобики» приехали на поезде с рыбой в город, где на вокзале пересели на флотский лэндер, доставивший их в порт Ве, следующей после Хайна планеты системы. Они отдохнули, загорели, сдружились и были готовы лететь.

Одна из дальних родственниц Сладкого Сегодня служила оператором ансибля в порту Ве. Она настоятельно советовала «шобикам» задавать изобретателям чартен-теории на Уррасе и Анарресе любые вопросы, касающиеся принципов ее работы.

— Цель экспериментального полета — понимание, — горячилась она, — и ваше полное интеллектуальное участие очень важно. Их очень волнует это обстоятельство.

Лиди фыркнула.

— А теперь начнем ритуал, — сказал Шан, когда они вошли в помещение ансибля. — Они объяснят животным, что намерены сделать и зачем, и попросят их помощи.

— Животные этого не понимают, — проговорил Беттон своим холодным ангельским фальцетом. — Ритуал нужен, чтобы лучше себя почувствовали люди, а не животные.

— А люди понимают? — спросила Сладкое Сегодня.

— Мы все используем друг друга, — ответила Орет. — Ритуал означает: мы не имеем права так поступать, следовательно, принимаем на себя ответственность за причиняемые страдания.

Беттон слушал и хмурился.

Гветер первым сел за ансибль и говорил по нему полчаса, в основном на языке правик, перемешанном с математикой. Наконец, извинившись, пригласил остальных воспользоваться аппаратом. После паузы Лиди представилась и сказала:

— Мы согласны в том, что никто из нас, за исключением Гветера, не имеет теоретической базы для понимания принципов чартена.

Находящийся за двадцать два световых года от них ученый ответил на хайнском. В его звучащем через автопереводчик бесстрастном голосе тем не менее угадывалась несомненная надежда:

— Чартен, попросту говоря, можно рассматривать как

перемещение виртуального поля с целью реализации относительной когерентности с точки зрения трансилиентной эмпиричности.

— Однако... — буркнула Лиди.

— Как вы знаете, материальные эффекты оказались нулевыми, и негативный эффект в случае с существами с низким уровнем разумности — также нулевым; но следует считаться с возможностью того, что участие в процессе существ с высокой разумностью может так или иначе повлиять на перемещение. И что такое перемещение, в свою очередь, повлияет на перемещаемого.

— Да какое отношение уровень нашей разумности имеет к функциям чартена? — спросила Тай.

Пауза. Их собеседник пытался подобрать слова, принять на себя ответственность.

— Мы используем термин «разумность» в качестве сокращения для обозначения психической сложности и культурной зависимости наших видов, — прозвучало наконец из переводчика. — Присутствие трансилиента в качестве бодрствующего сознания не-во-время трансилиентности остается непроверенным фактором.

— Но если процесс мгновенен, то как мы сможем его осознать? — спросила Орет.

— Совершенно верно, — ответил ансибль и после еще одной паузы продолжил: — Поскольку экспериментатор есть элемент эксперимента, то мы предполагаем, что трансилиент может стать элементом или агентом трансилиентности. Вот почему мы попросили, чтобы процесс испытал экипаж, а не один-два добровольца. Психическая интерсбалансированность связанной социальной группы придает ей дополнительную силу против разрушительного или непонятного опыта, если им доводится с таким сталкиваться. К тому же отдельные наблюдения членов группы будут взаимно интерверифицироваться.

— Кто программировал этот переводчик? — негромко фыркнул Шан. — Интерверифицироваться! Вот ведь чушь!

Лиди обвела взглядом остальных, предлагая задавать вопросы.

— Сколько продлится само перемещение? — спросил Беттон.

— Недолго, — ответил переводчик и тут же поправился: — Нисколько.

Снова пауза.

— Спасибо, — сказала Сладкое Сегодня, и ученый на планете в двадцати двух световых годах от порта Ве ответил:

— Мы благодарны за ваше великодушное мужество, и наши надежды с вами.

Из аппаратной с ансиблем они отправились прямиком на «Шоби».

Чартен-оборудование, занимающее не очень много места, чьи органы управления представляли собой по сути единственный переключатель «включено-выключено», было установлено рядом с мотиваторами и органами управления оборудования СКОКС — скорости околосветовой — обычного межзвездного корабля флота Экумены. «Шоби» был построен на Хайне около четырехсот лет назад, и ему исполнилось тридцать два года. Почти все его прежние рейсы были исследовательскими, летал на нем смешанный хайнско-чиффеварский экипаж. Поскольку в таких экспедициях корабль мог проводить годы на орбите вокруг какой-нибудь планеты, хайнцы и чиффеварцы, решив, что эти периоды лучше прожить нормально, чем терпеть неудобства, превратили корабль в очень большое и комфортабельное жилище. Три его жилых модуля были демонтированы и оставлены в ангаре на Ве, и все равно для экипажа всего из десяти человек места осталось более чем достаточно. Тай, Беттон и Шан, новички с Терры, и Гветер с Анарреса, привыкшие к баракам и коммунальным удобствам своих перенаселенных миров, неодобрительно бродили по «Шоби».

— Экскрементально, — рычал Гветер.

— Роскошь! — возмущалась Тай.

Сладкое Сегодня, Лиди и гетенианцы, более привычные к прелестям корабельной жизни, сразу разошлись по каютам и принялись устраиваться как дома. И Гветеру, и молодому терранину было трудно сохранять этический дискомфорт в просторных, с высокими потолками и хорошо меблированных жилых комнатах и спальнях, кабинетах, гимнастических залах с высокой и низкой гравитацией, столовой, библиотеке, на кухне и мостике «Шоби». Мостик был устлан настоящим ковром с Хеникаулила, со-

тканным из темно-синих и пурпурных нитей, чье переплетение воспроизводило узор хайнского звездного неба. В зале для медитации имелась большая плантация террансского бамбука, бывшая частью самозамкнутой корабельной растительно-дыхательной системы. Для тех, кто тосковал по дому, окна в любой каюте могли быть запрограммированы на показ видов Аббеная, Нового Каира или пляжа в Лидене или же становиться полностью прозрачными, позволяя любоваться далекими и близкими звездами и межзвездной темнотой.

Риг и Астен обнаружили, что, кроме лифтов, из зала в библиотеку ведет и широкая лестница с изогнутыми перилами. Они с дикими визгами катались по перилам, пока Шан не пригрозил изменить локальное гравитационное поле, что заставит их не спускаться, а подниматься по перилам. Дети взмолились, чтобы он так и сделал. Беттон с видом превосходства взглянул на малышей и выбрал лифт, но на следующий день тоже скатился по перилам, проделав это куда быстрее, чем Риг и Астен, потому что мог сильнее отталкиваться и больше весил, и чуть не сломал себе копчик. Именно Беттон организовал гонки на подносах, но их обычно выигрывал Риг, потому что был достаточно мал, чтобы удержаться на подносе до самого подножия лестницы. Пока они жили в Лидене, с детьми не проводили никаких занятий, разве что учили плавать и быть «шобиками»; сейчас же, во время неожиданной пятидневной задержки в порту Ве, Гветер ежедневно давал в библиотеке уроки физики Беттону и математики — всем троим. Историей они занимались с Шаном и Орет, а танцевали с Тай в гимнастическом зале с низкой гравитацией.

Танцуя, Тай становилась легкой и свободной и часто смеялась. Риг и Астен любили ее такой, а ее сын, по-жеребячьи неуклюжий и смущающийся, танцевал с матерью. К ним часто присоединялся темнокожий Шан; он был элегантным танцором, и она соглашалась с ним танцевать, но даже тогда смущалась и не позволяла к себе прикасаться. После рождения Беттона она соблюдала целибат. Она не хотела замечать терпеливого и настойчивого желания Шана, не желала идти ему навстречу и оставляла его, переходя к Беттону. Сын и мать танцевали, полностью поглощенные движением и воздушным узором, который они создавали вместе. Наблюдая за ними днем накануне поле-

та, Сладкое Сегодня стала утирать слезы, улыбаясь, но не произнося ни слова.

— Жизнь хороша, — очень серьезно сказал Гветер Лиди.

— Ничего, — согласилась она.

Орет, только что вышедшая из женского кеммера и тем самым запустившая мужской кеммер Карта — все это, случившись неожиданно рано, и задержало испытательный полет на пять дней, которыми насладились все, — наблюдала за Ригом, которого она зачала, танцевала с Астен, которую она родила, посмотрела, как Карт наблюдает за ними, и сказала на кархидском:

— Завтра...

Последний день оказался очень приятным.

Антропологи неохотно сошлись на том, что не следует приписывать «культурные константы» человеческой популяции любой планеты; но некоторые культурные традиции или ожидания, похоже, укоренились глубоко. Перед обедом в тот последний вечер Шан и Тай облачились в черную с серебром форму терранской Экумены, которая обошлась им — Терра все еще сохраняла денежную экономику — в половину их годового дохода.

Астен и Риг немедленно потребовали столь же впечатляющую одежду. Карт и Орет посоветовали им переодеться в праздничные костюмы. Сладкое Сегодня достала шарфы из серебряных кружев, но Астен нахмурилась, Риг последовал ее примеру. Идея формы, пояснила Астен, состоит в том, чтобы все было одинаковым.

— Почему? — спросила Орет.

— Чтобы никто не нес ответственность, — резко ответила старая Лиди.

Потом она вышла и переоделась в черный бархатный вечерний костюм, который, хотя и не был формой, уже не позволял Тай и Шану резко выделяться на фоне остальных. Лиди покинула Терру, когда ей исполнилось восемнадцать, и с тех пор не возвращалась и не испытывала такого желания, но Тай и Шан были товарищами по экипажу.

Карт и Орет ухватили идею и надели свои лучшие одежды, отороченные мехом хибы, дети же переоделись в праздничные наряды и нацепили все массивные золотые украшения Карта. Сладкое Сегодня надела ослепительно белое

платье, которое, как она заявила, на самом деле ультрафиолетовое. Гветер заплел в косички свою гриву. У Беттона формы не было, но он в ней и не нуждался, сидя за столом рядом с матерью и сияя от гордости.

Кухни порта присылали им очень хорошую еду, но ужин в тот вечер оказался превосходным: нежнейшая хайнская айанви с семью соусами и пудинг с настоящим терранским шоколадом. Оживленный вечер тихо завершился возле большого камина в библиотеке. Поленья в нем были, разумеется, имитацией, но хорошей: какой смысл иметь на корабле камин и жечь в нем пластик? Поленья из неоцеллюлозы пахли древесиной, неохотно загорались, испуская дым и разбрызгивая искры, а потом ярко горели. Орет уложила поленья, Карт разжег огонь. Все собрались перед камином.

— Расскажи сказку, — попросил Риг.

Орет рассказала о ледяных пещерах в стране Керм, как парусник заплыл в огромную голубую морскую пещеру, исчез и его так и не смогли отыскать поисковые лодки; но семьдесят лет спустя корабль нашли дрейфующим — без единой живой души на борту и без признаков того, что с ними случилось, — возле побережья Осемайета, а ведь это в тысяче миль от Керма...

Еще одну сказку?

Лиди рассказала о маленьком пустынном волке, который потерял свою жену, отправился за ней в землю мертвых, увидел ее там, танцующей среди мертвых, и едва не увел обратно на землю живых, но все испортил, коснувшись ее прежде, чем они завершили обратный путь к живым, и она исчезла, а он так и не смог снова найти дорогу туда, где танцуют мертвые, — как ни старался, ни выл и ни плакал...

Еще сказку!

Шан рассказал сказку про мальчика, у которого вырастало перо всякий раз, когда он врал, и кончилось тем, что его стали использовать вместо веника.

Еще!

Гветер рассказал о крылатых людях — гланах, которые были настолько глупы, что вымерли, потому что сталкивались головами, когда летали.

— Но они не были настоящими, — честно добавил он. — Я их выдумал.

Еще... Нет. Теперь спать.

Риг и Астен привычно обошли всех, получив поцелуй на ночь, и на этот раз Беттон последовал их примеру. Подойдя к Тай, он не остановился, потому что она не любила, когда к ней прикасались, но она сама привлекла к себе мальчика и поцеловала его в щеку. Тот радостно убежал.

— Сказки, — сказала Сладкое Сегодня. — Наша начнется завтра, верно?

Цепочку команд описать легко, структуру отклика на них — нет. Для тех, кто живет в системе взаимного подчинения, «плотные» описания, сложные и незавершенные, нормальны и понятны, но тем, кому знакома лишь единственная модель иерархического контроля, подобные описания кажутся путаницей и мешаниной, равно как и то, что они описывают. Кто здесь главный? Не пересказывайте мне лишние подробности. Сколько поваров испортили суп? Излагайте только суть. Отведите меня к вашему начальнику!

Старая навигаторша сидела, разумеется, за консолью СКОКСа, а Гветер — за невзрачной консолью чартена; Орет подключилась к ИИ — искусственному интеллекту. Тай, Шан и Карт были, соответственно, поддержкой для каждого из них, а функцию Сладкого Сегодня можно было бы описать как общий надзор, если бы этот термин не намекал на иерархическую функцию. Возможно, внутреннее наблюдение. Или субнаблюдение. Риг и Астен всегда «скоксали» (если использовать изобретенное Ригом словечко) в корабельной библиотеке, где во время скучного существования субсветового полета Астен могла разглядывать картинки в книгах или слушать музыку, а Риг — укутаться в меховое одеяло и заснуть. Функцией Беттона как члена экипажа была роль старшего сиба; он остался с малышами, не забыв прихватить бумажный пакет, потому что принадлежал к числу тех, кого мутило во время СКОКС-полета. Свой интервид он настраивал на Лиди и Гветера, чтобы наблюдать за их действиями.

Все знали свои обязанности в том, что относилось к СКОКС-полету. Что же касается чартен-процесса, то они знали, что тот должен обеспечить их трансилиентность к Солнечной системе в семнадцати световых годах от порта

Ве, причем мгновенную; но никто и нигде не знал, чем им следует заниматься.

Поэтому Лиди обвела всех взглядом, точно скрипач, поднимающий смычок, чтобы настроить камерную группу на первый аккорд, и послала «Шоби» вперед в режиме СКОКС, а Гветер, точно виолончелист, в ту же секунду кивающий и поддерживающий тот аккорд, перевел корабль в чартен-режим. Они вошли в не-длительность. Они совершили чартен. Быстро, как утверждал ансибль.

— Что случилось? — прошептал Шан.

— Проклятье! — воскликнул Гветер.

— Что? — спросила Лиди, моргая и тряся головой.

— Вот она, — сказала Тай, быстро вглядевшись в приборы.

— Это не М-60-как-там-ее, — возразила Лиди, все еще моргая. Сладкое Сегодня объединила всех десятерых сразу — семерых на мостике и троих в библиотеке — через интервид. Беттон сделал окно прозрачным, и дети посмотрели на мутную бурую круговерть, заполняющую половину поля зрения. Риг держал грязное меховое одеяло. Карт снимал электроды с висков Орет, отключая ее от искусственного интеллекта.

— Не было никакого интервала, — сказала Орет.

— Мы неизвестно где, — сказала Лиди.

— Не было интервала, — повторил Гветер, нахмурившись разглядывая консоль. — Это точно.

— Ничего не произошло, — подтвердил Карт, просматривая полетный отчет ИИ.

Орет встала, подошла к окну и застыла, глядя сквозь него.

— Это она. М-60-340-ноло, — сказала Тай.

Все их слова звучали мертво, с оттенком фальши.

— Что ж, мы это сделали, «шобики»! — воскликнул Шан. Никто ему не ответил.

— Свяжитесь по ансиблю с портом Ве, — сказал Шан с преувеличенной веселостью. — Передайте, что мы на месте в целости и сохранности.

— На чем? — спросила Орет.

— Да, конечно, — отозвалась Сладкое Сегодня, но ничего не сделала.

— Правильно, — согласилась Тай, подходя к ансиблю. Она открыла поле, нацелила его на Ве и послала сигнал.

Корабельные ансибли работают только в визуальном режиме; она ждала, глядя на экран. Повторила вызов. Теперь все смотрели на экран.

— Ничто не пробивается, — сказала она.

Никто не посоветовал ей проверить координаты фокусировки; в сложившемся экипаже никто столь легко не сваливает на других свое нетерпение. Она проверила координаты. Послала сигнал; снова проверила, повторила настройку, снова послала сигнал; открыла поле, нацелилась на Аббенай на Анарресе и послала сигнал. Экран ансибля оставался пуст.

— Проверь... — начал было Шан, но оборвал себя на полуслове.

— Ансибль не функционирует, — объявила Тай экипажу.

— Ты обнаружила неисправность? — спросила Сладкое Сегодня.

— Нет. Не функционирует.

— Мы возвращаемся, — заявила Лиди, все еще сидящая за консолью СКОКСа.

Ее слова и тон потрясли всех, разметали.

— Нет, не возвращаемся! — крикнул по интервиду Беттон одновременно с вопросом Орет: «Куда возвращаться-то?»

Тай, поддержка Лиди, шагнула было к ней, точно намереваясь помешать ей включить СКОКС-двигатель, но тут же торопливо шагнула назад к ансиблю, чтобы к нему не получил доступ Гветер. Тот потрясенно остановился и спросил:

— Быть может, чартен повлиял на функции ансибля?

— Я это уже проверяю, — ответила Тай. — Но с какой стати ему влиять на него? Во время автоматических испытательных полетов ансибль работал нормально.

— Где отчеты ИИ? — спросил Шан.

— Я же сказал, их нет, — резко отозвался Карт.

— Орет была подключена.

Орет, все еще у окна, ответила, не оборачиваясь:

— Ничего не произошло.

Сладкое Сегодня подошла к гетенианке. Орет посмотрела на нее и медленно произнесла:

— Да, Сладкое Сегодня. Мы не можем... это сделать. Я думаю. Я не могу думать.

Шан просветлил второе окно и выглянул наружу.

— Пакость, — сказал он.

— Что там? — спросила Лиди.

Гетер ответил ей, словно зачитывая статью из атласа Экумены:

— Густая стабильная атмосфера, температура у нижнего предела интервала, в котором возможна жизнь. Микроорганизмы. Бактериальные облака и бактериальные рифы.

— Микробный бульон, — сказал Шан. — В чудесное местечко нас послали.

— Это на тот случай, если мы прибудем в виде нейтронной бомбы или черной дыры. Тогда прихватим с собой только бактерии, — пояснила Тай. — Но мы этого не сделали.

— Не сделали чего? — спросила Лиди.

— Не прибыли? — спросил Карт.

— Эй, — окликнул их Беттон, — все так и будут торчать на мостике?

— Я хочу туда, — пропищал Риг, а Астен чуть дрожащим голосом, но четко сказала:

— Маба, я хочу вернуться в Лиден.

— Не глупи, — ответил Карт и пошел к детям. Орет не отвернулась от окна, даже когда подошедшая Астен взяла ее за руку.

— На что ты смотришь, маба?

— На планету, Астен.

— Какую планету?

Орет взглянула на ребенка.

— Там ничего нет, — сказала Астен.

— Вон тот бурый цвет — это поверхность, атмосфера планеты.

— Нет там никакого бурого цвета. Там ничего нет. Я хочу вернуться в Лиден. Ты же сказала, что мы вернемся, когда закончим испытание.

Орет наконец обвела взглядом остальных.

— Вариации в ощущениях, — произнес Гветер.

— Я думаю, — сказала Тай, — нам надо убедиться, что мы... прибыли сюда... а затем отправиться сюда.

— В смысле, обратно, — сказал Беттон.

— Показания приборов совершенно ясны, — заявила Лиди, крепко держась за подлокотники кресла и говоря очень четко. — Все координаты совпадают. Под нами М-60-и-так-далее. Что еще тебе нужно? Образцы бактерий?

— Да, — ответила Тай. — На функции приборов оказано воздействие, поэтому мы не можем полагаться на их показания.

— Какая чушь! — рявкнула Лиди. — Что за фарс! Ладно. Надевай костюм, отправляйся вниз, зачерпни там слизи, а потом мы возвращаемся. Домой. На СКОКСе.

— На СКОКСе? — отозвались Шан и Тай, а Гветер добавил:

— Но на это уйдет семнадцать лет по времени Ве, а мы не послали сообщение по ансиблю и не объяснили почему.

— Почему, Лиди? — спросила Сладкое Сегодня. Лиди уставилась на нее.

— Ты хочешь снова запустить чартен? — яростно выкрикнула она и посмотрела на всех по очереди. — Вы что, каменные? И вам наплевать, что вы видите сквозь стены?

Все молчали, пока Шан не спросил осторожно:

— Что ты хочешь этим сказать?

— А то, что я вижу звезды сквозь стены! — Она снова обвела всех взглядом и ткнула пальцем в ковер. — А вы — разве нет? — Когда никто ей не ответил, ее челюсть дрогнула, и она сказала:

— Хорошо. Хорошо. Я сдаю вахту. Буду у себя. — Она встала. — Наверное, вам следует меня запереть.

— Чушь, — отозвалась Сладкое Сегодня.

— Если я провалюсь сквозь пол... — начала Лиди. Она направилась к двери, напряженно и осторожно, словно сквозь густой туман, и пробормотала что-то неразборчивое, вроде бы «марля».

Сладкое Сегодня вышла следом за ней.

— А я тоже вижу звезды! — объявил Риг.

— Тише, — сказал Карт, обнимая его за плечи.

— Вижу! Я вижу вокруг звезды. И еще я вижу порт Ве. И могу увидеть все, что захочу!

— Да, конечно, но теперь помолчи, — пробормотала мать. Ребенок вырвался, топнул ногой и завизжал:

— Могу! Я тоже могу! Я могу видеть все! А Астен не может! И тут есть планета, есть! Нет, не хватай меня! Не надо! Отпусти!

Угрюмый Карт унес вопящего ребенка. Астен повернулась и крикнула Ригу вслед:

— Тут нет никакой планеты! Ты все выдумал!

— Астен, уйди, пожалуйста, в нашу комнату, — попросила мрачная Орет.

Астен залилась слезами, но подчинилась. Орет, извинившись взглядом перед остальными, вышла следом за ней в коридор.

Четверо оставшихся на мостике стояли молча.

— Канарейки, — бросил Шан.

— Кхаллюцинации? — предложил поникший Гветер. — Чартен-влияние на чрезмерно чувствительные организмы... может быть?

Тай кивнула.

— В таком случае, действительно ли ансибль не функционирует, или его неисправность — наша общая галлюцинация? — спросил после паузы Шан.

Гветер подошел к ансиблю; на сей раз Тай шагнула в сторону, уступая ему дорогу.

— Я хочу отправиться вниз, — сказала она.

— Не вижу причин для запрета, — без особого восторга сказал Шан.

— Кхаких причин? — спросил через плечо Гветер.

— Ведь мы для этого здесь, разве нет? Мы же для этого вызвались добровольцами, так ведь? Чтобы проверить мгновенную... трансилиентность — доказать, что она работает, вот для чего! А при отказавшем ансибле Ве получит наш радиосигнал лишь через семнадцать лет!

— Мы можем просто-напросто вернуться через чартен на Ве и все им *рассказать*, — заметил Шан. — Если мы сделаем это сейчас, то пробудем... здесь... около восьми минут.

— Рассказать... что рассказать? Какие у нас доказательства?

— Анекдотичные, — сказала Сладкое Сегодня, незаметно вернувшаяся на мостик; она перемещалась, как большой парусный корабль, поразительно бесшумно.

— Лиди оказалась права? — спросил Шан.

— Нет, — ответила Сладкое Сегодня и села на место Лиди, за консоль СКОКСа.

— Прошу общего разрешения отправиться на планету, — сказала Тай.

— Я спрошу остальных, — ответил Гветер и вышел. Через некоторое время он вернулся с Картом.

— Отправляйся, если хочешь, — сказал гетенианец. —

Орет пока побудет с детьми. Они... Мы все чрезвычайно дезориентированы.

— Я отправлюсь вниз, — сказал Гветер.

— А можно мне тоже? — почти шепотом спросил Беттон, не поднимая глаз на лица взрослых.

— Нет, — ответила Тай одновременно с Гветером, сказавшим: «Да». Беттон быстро взглянул на мать.

— Почему нет? — спросил ее Гветер.

— Нам неизвестен риск.

— Планета была обследована.

— Кораблями-роботами...

— Мы же будем в скафандрах. — Гветер был искренне озадачен.

— Я не хочу нести ответственность, — процедила Тай.

— Но разве ее понесешь ты? — спросил еще более озадаченный Гветер. — Ее разделим мы все. Беттон — член экипажа. Не понимаю.

— Я знала, что ты не поймешь, — бросила Тай, повернулась к ним спиной и вышла. Мужчина и мальчик остались; Гветер смотрел вслед Тай, а Беттон — на ковер.

— Мне очень жаль, — пробормотал Беттон.

— И напрасно, — отозвался Гветер.

— Что... что вообще происходит? — спросил Шан подчеркнуто невозмутимым голосом. — Почему мы... Мы все время ссоримся... приходим и уходим...

— Это воздействие пережитого чартена, — сказал Гветер.

Сидящая за консолью Сладкое Сегодня повернулась к ним:

— Я послала сигнал бедствия. Я потеряла управление системой СКОКС. А радио... — Она кашлянула. — Радио, похоже, работает неустойчиво.

Наступило молчание.

— Ничего этого не происходит, — сказал Шан... или Орет, но Орет находилась с детьми в другой части корабля, поэтому не могла сказать: «Ничего этого не происходит», — и это, должно быть, сказал Шан.

Цепочку причин и следствий описать легко; прекращение причин и следствий — трудно. Для тех, кто живет во времени, последовательность событий является нормой, единственной моделью, и одновременно кажется кашей,

мешаниной, безнадежной путаницей, и описание этой путаницы безнадежно сбивает с толку. По мере того как члены экипажа-организма переставали воспринимать этот организм стабильно и теряли возможность общаться и обмениваться своими восприятиями, индивидуальное восприятие становилось единственной путеводной нитью в лабиринте их дислокации. Гветеру казалось, что он находится на мостике вместе с Шаном, Сладким Сегодня, Беттоном, Картом и Тай. Ему казалось, что он методично проверяет системы корабля. СКОКС отказал, радио то работало, то нет, а внутренние электрические и механические системы корабля оказались в порядке. Он послал на планету беспилотный лэндер и вернул его на борт; похоже, тот функционировал нормально. Ему казалось, что он спорит с Тай по поводу ее решения отправиться на планету. Поскольку он признал ее нежелание доверять показаниям корабельных приборов, ему пришлось согласиться и с ее доводом о том, что лишь вещественное доказательство подтвердит то, что они прибыли к месту назначения, М-60-340-ноло. И если им придется провести следующие семнадцать лет, возвращаясь на Ве в реальном времени, то неплохо будет прихватить и доказательство, пусть даже в виде комка слизи.

Эту дискуссию он воспринимал как совершенно рациональную. Ее, однако, прервали нехарактерные для экипажа вспышки эгоизма.

— Если решила лететь, так лети! — крикнул Шан.

— А ты мной не командуй, — огрызнулась Тай.

— Кому-то надо держать здесь все под контролем, — сказал Шан.

— Только не мужчинам, — заявила Тай.

— Только не терранам, — сказал Карт. — У вас что, нет самоуважения?

— Стресс, — сказал Гветер. — Все, хватит. Хватит, Тай, Беттон. Довольно. Пошли.

В лэндере Гветеру все было ясно. События развивались одно за другим, как и положено. Управлять лэндером очень просто, и он попросил Беттона посадить его. Мальчик охотно согласился. Тай, как всегда напряженная и сжатая, сидела, стиснув на коленях кулаки. Беттон с показной небрежностью справился с управлением корабликом и откинулся в кресле, тоже напряженный, но гордый.

— Мы сели, — сказал он.

— Нет, не сели, — возразила Тай.

— Приборы показывают — контакт есть, — сказал Беттон, теряя уверенность.

— Превосходная посадка, — заметил Гветер. — Даже не ощутил касания. — Он провел полагающиеся тесты. Все оказалось в порядке. За окнами лэндера клубился бурый полумрак. Когда Беттон включил наружные прожектора, атмосфера, точно темный туман, рассеяла свет, превратив его в бесполезное свечение.

— Тесты подтверждают отчеты предварительной разведки, — сообщил Гветер. — Ты будешь выходить сама, Тай, или используешь сервомеханизмы?

— Выйду, — ответила она.

— Выйду, — эхом повторил Беттон.

Гветер, приняв на себя формальную корабельную роль поддержки, которую принял бы один из двух других, если бы наружу выходил он, помог им надеть шлемы и стерилизовать костюмы; открыл для них внутренний и наружный шлюзы и, когда они вышли из наружного, начал наблюдение на экране и через окна. Беттон вышел первым. Его худая фигурка, удлиненная беловатым костюмом, светилась в рассеянном сиянии прожекторов. Он отошел от корабля на два шага, повернулся и стал ждать. Тай спустилась по лесенке и коснулась грунта. Ее фигура словно укоротилась — она что, встала на колени? Гветер переводил взгляд с экрана на окно и обратно. Она съеживается? Или тонет? Должно быть, она медленно погружается, и поверхность планеты в таком случае не твердая, а болотистая, или суспензия наподобие зыбучего песка. Но ведь Беттон по ней ходит, вот он приближается к матери на два шага, вот на три, шагая по невидимому для Гветера грунту, и тот в таком случае должен быть твердым, а Беттона удерживает, потому что тот легче... но нет, Тай, наверное, шагнула в какую-то яму или канаву, потому что теперь он ее видит только выше пояса, а ноги ее скрывает темный туман, но она движется, и движется быстро, удаляясь от лэндера и от Беттона.

— Верни их, — велел Шан, и Гветер произнес в интерком:

— Беттон и Тай, пожалуйста, вернитесь в лэндер.

Беттон сразу начал взбираться по лесенке, потом остановился и взглянул на мать. В бурой мгле, почти на границе рассеянного сияния прожекторов, шевелилось тусклое пятнышко — фонарь ее шлема.

— Беттон, возвращайся, пожалуйста. Тай, пожалуйста, вернись.

Беловатый костюм двинулся вверх по лесенке, голос Беттона умолял по интеркому:

— Тай... Тай, вернись... Гветер, мне пойти за ней?

— Нет. Тай, пожалуйста, немедленно вернись.

Командное единство мальчика выдержало проверку; он поднялся в лэндер и остался в наружном шлюзе, высматривая оттуда мать. Гветер пытался разглядеть ее через окно — на экране ее уже не было видно. Светлое пятнышко утонуло в бесформенной мути.

Если верить приборам, то после посадки лэндер уже погрузился на 3,2 метра и продолжал погружаться с возрастающей скоростью.

— Какая тут почва, Беттон?

— Похожа на раскисшую грязь... Где она?

— Тай, пожалуйста, немедленно вернись!

— Лэндер-один, пожалуйста, возвращайтесь на «Шоби» со всем экипажем, — произнес интерком. — Это Тай. Пожалуйста, немедленно возвращайтесь на корабль, лэндер и весь экипаж.

— Беттон, не снимай костюма и оставайся в камере дезинфекции, — велел Гветер. — Я закрываю наружный люк.

— Но... Хорошо, — ответил голос мальчика.

Гветер поднял лэндер, включив одновременно дезинфекцию кораблика и костюма Беттона. Как ему виделось, Беттон и Шан вошли вместе с ним в «Шоби» и прошли по коридорам на мостик, и там их ждали Карт, Сладкое Сегодня, Шан и Тай.

Беттон подбежал к матери и остановился; он не стал ее обнимать. Его лицо застыло, точно восковое или деревянное.

— Ты испугался? — спросила она. — Что случилось там, внизу? — И она взглянула на Гветера, ожидая объяснений.

Гветер не воспринял ничего. Не-во-время не-периода никакой длины он воспринял, что ничего из случившегося не происходило такого, что не произошло. Потерявшись, он стал искать, потерявшись, он отыскал слово, слово, которое спасло...

— Ты... — произнес он, с трудом ворочая распухшим и онемевшим языком. — Ты вызвала нас.

Похоже, она стала это отрицать, но это не имело значения. А что имеет значение? Шан говорил. Шан мог сказать.

— Никто не вызывал, Гветер, — сказал он. — Вы с Беттоном вышли, я был поддержкой; когда я понял, что не смогу сохранить стабильность лэндера, что почва на месте посадки какая-то странная, я велел вам вернуться в лэндер, и мы взлетели.

Гветер смог лишь пробормотать:

— Иллюзорные...

— Но Тай вышла... — начал было Беттон и смолк. Гветеру показалось, что мальчик отстранился от матери. Что имеет значение?

— Никто не спускался вниз, — сказала Сладкое Сегодня. И, помолчав, добавила: — Никакого низа нет, и спускаться некуда.

Гветер попытался отыскать другое слово, но не нашел. Он уставился через окно на мутные бурые завихрения, сквозь которые, если внимательно приглядеться, просвечивали звездочки.

Тогда он отыскал слово, неправильное слово.

— Потерялись, — сказал он и, произнеся его, почувствовал, как огни на корабле медленно окутываются бурой мглою, тускнеют, темнеют и гаснут, а негромкое деловое гудение корабельных систем умирает, сменяясь реальной тишиной, которая была здесь всегда. Но здесь ничего не было. Ничто не произошло. «Мы в порту Ве!» — попытался он крикнуть, собрав всю свою волю, но не издал ни звука.

Солнца пылают сквозь мою плоть, сказала Лиди.

Я и есть эти солнца, сказала Сладкое Сегодня. И не только я, но и все.

Не дышите! крикнула Орет.

Это смерть, сказал Шан. То, чего я боялся: ничто.

Ничто, сказали они.

Не дыша призраки скользили и перемещались внутри призрачной раковины холодного и темного корпуса, плавающего вблизи мира бурого тумана, нереальной планеты. Они разговаривали, но никто не слышал голосов. В вакууме нет звуков, в не-времени тоже.

В одиночестве своей каюты Лиди ощутила, как сила тяжести уменьшилась наполовину; она видела их, близкие и далекие солнца, пылающие сквозь марлю корпуса и переборок, сквозь постель и ее тело. Самое яркое, солнце этой системы, находилось прямо под ее пупком. Она не знала, как оно называется.

Я мрак между звездами, сказал кто-то.

Я ничто, сказал кто-то.

Я есть ты, сказал кто-то.

Ты... Ты...

И вдохнул, и простер вперед руки, и воскликнул:

— Слушайте!

Крикнул другому, крикнул другим:

— Слушайте!

— Мы всегда это знали. Это место — то, где мы всегда были и всегда будем, в колыбели, в центре. Тут нечего бояться, в конце концов.

— Я не могу дышать.

— Я не дышу.

— Тут нечем дышать.

— Вы... дышите. Дышите, пожалуйста!

— Мы здесь, в колыбели.

Орет разложила костер, Карт развел огонь. Когда он разгорелся, они негромко сказали по-кархидски:

— Восславим также огонь и незавершенное творение.

Огонь искрил, потрескивал, внезапно вспыхивал. Но не гас. Он горел. Все собрались вокруг.

Они были нигде, но они были нигде вместе. Корабль был мертв, но они находились в нем. Мертвый корабль остывал довольно быстро, но не мгновенно. Закройте двери, подходите к огню; прогоним перед сном ночной холод.

Карт вместе с Ригом отправился к Лиди — чтобы уговорить ее покинуть звездный склеп. Женщина не пожелала вставать.

— Во всем виновата я, — сказала она.

— Не будь эгоисткой, — мягко произнес Карт. — Как такое может быть?

— Не знаю. Я хочу остаться здесь, — пробормотала Лиди.

— О Лиди, только не в одиночестве! — взмолился Карт.

— А как же иначе? — холодно осведомилась женщина.

Но тут ей стало стыдно за себя, стыдно за неудавшийся по ее вине полет.

— Ладно, — буркнула она, тяжело поднялась, закуталась в одеяло и вышла следом за Картом и Ригом. Малыш нес маленький биолюм; тот светился некоторое время в темных коридорах, пока растения в его аэробных емкостях жили, размножались и выделяли воздух для дыхания. Огонек двигался перед ней сквозь тьму, точно звездочка среди звезд, пока не привел в полную книг комнату, где в каменном очаге пылал огонь.

— Здравствуйте, дети, — сказала Лиди. — Что вы тут делаете?

— Рассказываем всякие истории, — ответила Сладкое Сегодня. Шан держал маленький блокнот со встроенным голосовым рекордером.

— Он что, работает? — удивилась Лиди.

— Похоже на то. Мы подумали, что надо рассказать... обо всем случившемся, — пояснил Шан, глядя на огонь и щуря узкие черные глаза на узком черном лице. — Каждому. Что мы... как это для нас выглядело. Чтобы...

— А, как отчет... Да. На случай, если... Как, однако, странно, что твой блокнот работает. А все остальное — нет.

— Он включается от голоса, — рассеянно пояснил Шан. — Итак, продолжай, Гветер.

Гветер завершил свою версию рассказа об экспедиции на планету:

— Мы даже не привезли образцы. Я о них не подумал.

— С тобой полетел Шан, а не я, — сказала Тай.

— Ты полетела, и я полетел, — возразил мальчик с уверенностью, которая ее остановила. — И мы выходили наружу. А Шан с Гветером были поддержкой и оставались в лэндере. И я взял образцы. Они в стасис-шкафу.

— А я не знаю, был Шан в лэндере или нет, — сказал Гветер, до боли растирая себе лоб.

— Куда вообще летал лэндер? — спросил Шан. — Там ничего нет... мы нигде... за пределами времени — это все, что приходит мне на ум... Когда кто-то из вас рассказывает, что видел, то кажется, что все так и было, а потом другой рассказывает совсем другое, и я...

Орет вздрогнула и пересела ближе к огню.

— Я никогда не верила, что эта проклятая штуковина

сработает, — заявила Лиди, похожая на медведя в темной пещере своего одеяла.

— Непонимание его — вот в чем была проблема, — сказал Карт. — Никто из нас не понимал, как чартен будет работать, даже Гветер. Так ведь?

— Да, — кивнул Гветер.

— Так что? если наше психическое взаимодействие с ним повлияло на процесс...

— Или *стало* процессом, — предположила Сладкое Сегодня, — в той степени, в какой он затрагивал нас.

— Так ты хочешь сказать, — с глубоким отвращением осведомилась Лиди, — что нам нужно было *поверить* в него, чтобы он сработал?

— Но ведь и человеку надо верить в себя, чтобы действовать, — разве не так? — спросила Тай.

— Нет, — ответила Лиди. — Абсолютно нет. Я и в себя-то не верю. Я лишь *знаю* кое-что. Достаточно, чтобы жить дальше.

— Аналогия, — предложил Гветер. — Эффективные действия экипажа зависят от того, в какой степени члены экипажа ощущают себя таковыми — можете назвать это верой в экипаж... Правильно? Поэтому, возможно, для чартена мы... разумные существа... возможно, это зависит от нашего сознательного восприятия себя как... трансилиента... как нахождения в другом месте... месте назначения?

— Мы, несомненно, утратили наше чувство принадлежности к экипажу, на некоторое... Можно ли теперь говорить о времени? — сказал Карт. — Мы рассыпались.

— Мы потеряли нить, — сказал Шан.

— Потеряли, — медитативно произнесла Орет, подкладывая в костер очередное массивное, но утратившее половину веса полено. Искры медленными звездами взлетели в дымоход.

— Мы потеряли... что? — спросила Сладкое Сегодня. Некоторое время все молчали.

— Когда я вижу солнце сквозь ковер... — сказала Лиди.

— И я тоже, — очень тихо вставил Беттон.

— А я могу видеть порт Ве, — сказал Риг. — И что угодно. Могу сказать что. Если пригляжусь, то могу увидеть Лиден. И свою каюту на «Онеблине». И...

— Но сперва, Риг, — попросила Сладкое Сегодня, — расскажи нам, что произошло.

— Хорошо, — охотно согласился Риг. — Держи меня крепче, маба, я начинаю взлетать. Так вот, мы пошли в библиотеку, я, Астен и Беттон, и Беттон был старшим сибом, и взрослые были на мостике, и я собирался пойти спать, как я всегда делаю в обычном полете, но не успел я даже лечь, как вдруг появились бурая планета, и порт Ве, и оба солнца, и все остальное, и я мог видеть сквозь что угодно, а Астен не могла. Но я могу.

— И никуда мы не улетали, — заявила Астен. — Риг вечно рассказывает всякие сказки.

— Мы все постоянно что-то рассказываем, Астен, — заметил Карт.

— Но не такие глупости, как Риг!

— Даже глупее, — сказала Орет. — И нам надо... Нам надо...

— Нам надо понять, — сказал Шан, — что такое трансилиентность, и мы этого не знаем, потому что никогда не делали этого прежде, и никто не делал этого прежде.

— Не во плоти, — уточнила Лиди.

— Нам надо понять, что — реально — произошло и произошло ли вообще... — Тай указала на окружающую их пещеру света от костра и мрак за ее пределами. — Где мы? Здесь ли мы? Где находится это «здесь»? И каков рассказ?

— Мы должны рассказать его, — сказала Сладкое Сегодня. — Снова и снова. Сравнить его... Как Риг. Астен, как начинается сказка?

— Тысячу зим назад и в тысяче миль отсюда... — начала девочка, а Шан пробормотал:

— Давным-давно...

— Был корабль, который назывался «Шоби», — подхватила Сладкое Сегодня, — и отправился он в полет испытывать чартен-эффект, и был на нем экипаж из десяти человек.

— А звали их Риг, Астен, Беттон, Карт, Орет, Лиди, Тай, Шан, Гветер и Сладкое Сегодня. И рассказали они свою историю, каждый отдельно и все вместе...

Наступила тишина, которая всегда была здесь, нарушаемая лишь шипением и потрескиванием огня, негромким дыханием и шорохом одежды, пока один из них наконец не заговорил, рассказывая историю.

— Мальчик и его мать, — произнес легкий и чистый

голос, — стали первыми людьми, ступившими на эту планету.

Снова тишина, снова голос:

— Хотя ей хотелось... она поняла, что очень надеялась на то, что чартен не сработает, потому что он сделает все ее мастерство и всю ее жизнь ненужными... и одновременно ей очень хотелось научиться им управлять и узнать, что, если она сможет, если еще достаточно молода для обучения...

Долгая, мягко пульсирующая пауза, и другой голос:

— Они летали от мира к миру и всякий раз теряли мир, покидая его, теряли из-за разрыва во времени, потому что их друзья старели и умирали, пока они совершали СКОКС-полет. И если имелся способ жить в собственном времени и одновременно перемещаться от звезды к звезде, им хотелось испытать его...

— Поставив на него все, — подхватил следующий голос, — потому что ничто не срабатывает, кроме того, за что готовы отдать душу, и ничто не безопасно, кроме того, чем рискуют.

Короткая пауза, и голос:

— Это походило на игру. Словно мы все еще в порту Ве на борту «Шоби» и ждем, когда настанет время отправиться в СКОКС-полет. Но и словно мы уже одновременно на бурой планете. И одно из этих двух — притворство, только я не знаю, что именно. Поэтому все оказалось так, точно притворяешься во время игры. Но я не хочу играть. Потому что не знаю правил.

Другой голос:

— Если чартен-принцип окажется применимым для реальной трансилиентности живых и разумных существ, это станет великим событием в сознании его соплеменников — и всех людей. Новое понимание. Новое партнерство. Новый способ существования во вселенной. Более широкая свобода... Ему очень сильно этого хотелось. Он желал войти в экипаж, впервые создающий такое партнерство, первым человеком, способным промыслить эту мысль и... произнести ее. Но одновременно он боялся ее. Может, то не было истинное родство, может, фальшивое, может, всего лишь мечта. Он не знал.

Они сидели вокруг костра, но за их спинами уже не

было столь холодно и темно. И не волны ли это в Лидене шуршат о песок?

Другой голос:

— Она тоже много думала о своем народе. О вине, искуплении и пожертвовании. Ей очень хотелось совершить этот полет, который мог дать людям... больше свободы. Но он оказался не таким, каким она его представляла. Произошло... То, что произошло, значения не имело. А важным оказалось то, что она оказалась среди людей, давших свободу ей. Без вины. Она хотела остаться с ними, стать одной из экипажа... Вместе с сыном. Который стал первым человеком, ступившим в незнакомый мир.

Долгая тишина, но уже не столь глубокая, наполненная мягким постукиванием корабельных систем, ровным и неосознаваемым, как циркуляция крови.

Новый голос:

— Они были мыслями в глубине сознания — чем же еще? Поэтому они могли быть и в Ве, и возле бурой планеты, и наполненной желаниями плотью, и чистым духом, иллюзией и реальностью — и все это одновременно, поскольку они всегда ими были. Когда он вспомнил это, его смущение и страх исчезли, потому что он понял, что они не могут потеряться.

— Они потерялись. Но они отыскали путь, — произнес новый голос, уже негромкий на фоне гудения и шороха корабельных систем, среди теплого свежего воздуха и света, заполняющих твердые стены корпуса.

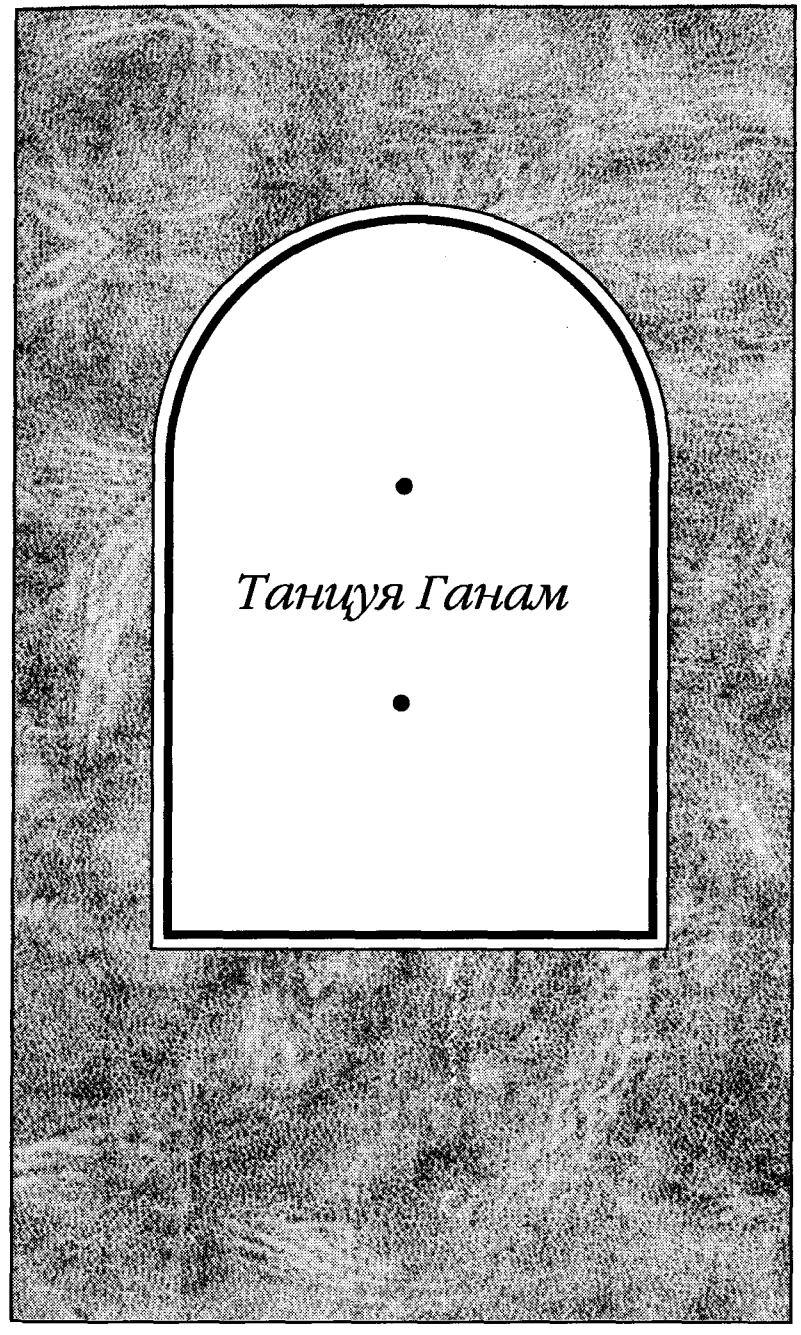
Прозвучали девять голосов, и все взглянули на десятого; но десятый заснул, сунув в рот палец.

— Эта история рассказана, но ее еще предстоит рассказать, — сказала мать. — Продолжайте. Я посижу во время чартена здесь, с Ригом.

Они оставили двоих у костра, прошли на мостик, а потом к шлюзам, приглашая на борт толпу встревоженных ученых, инженеров и чиновников порта Ве и Экумены, чьи приборы уверяли, что «Шоби» сорок четыре минуты назад исчез в не-существовании, в тишине.

— Что случилось? — спрашивали они. — Что случилось? И «шобики» переглянулись и сказали:

— О, это такая история...



Танцуя Ганам

— Сила — это громкий барабанный бой, — сказал Акета. — Громкий, как удар грома! Как шум водопада, который создает электричество. Сила наполняет тебя до тех пор, пока внутри не исчезает место для чего-нибудь другого.

Пролив на землю несколько капель воды, Кет прошептала:

— Пей, странник. — И, бросив горсть муки на камни, добавила: — Ешь, странник.

Она перевела взгляд на Йянанам — гору силы.

— Может быть, он слышит только раскаты грома и уже не воспринимает ничего иного, — сказала она. — Неужели он знал, что делал?

— Я думаю, он знал, — ответил Акета.

После первого проблематичного, но успешного трансперехода, когда «Шоби», слетав на маленькую мерзкую планету М-60-340-ноло, вернулся обратно, порт Ве отдал для чартен-технологии целое крыло. Создатели чартен-теории на Анарресе и инженеры трансперехода на Уррасе находились в постоянном контакте по ансиблю с теоретиками и конструкторами на Ве. Те, в свою очередь, ставили эксперименты и проводили исследования, пытаясь выяснить, что же на самом деле происходит с кораблем и командой при перемещении из одной точки вселенной в другую — без каких-либо затрат времени.

— Мы не можем говорить о «перемещении» и утверждать, будто что-то «происходит», — ворчали китяне. — Событие разворачивается одновременно здесь и там. На нашем языке этот не-интервал называется чартен.

Китянским временнолитикам вторили хайнские психо-

логи, обсуждавшие и изучавшие те реальные ситуации, когда разумные формы жизни переживали чартен.

— Мы не можем говорить о «реальности» происходящего и о «переживании», — возмущались они. — Реальность точки «прибытия» формируется совместным восприятием чартен-команды и фиксируется их приспособлением к ней. Вот почему предварительная конструкция событий является обязательным условием для эффективного трансперехода мыслящих существ.

И так далее, и тому подобное — потому что хайнцы говорили об этом миллионы лет и никогда не уставали от подобных разговоров. Но еще им нравилось слушать. Они внимательно изучили все, что рассказала им команда «Шоби». А когда в порт прилетел командир Далзул, они выслушали и его.

— Вы должны отправить в полет одного человека, — сказал он им. — Корнем проблемы является интерференция восприятия. На «Шоби» было десять человек. А вы пошлите одного. Например, меня.

— Ты должна полететь вместе с Шаном, — сказал Беттон.

Его мать покачала головой.

— Глупо отказываться от такого предложения!

— Если они не захотели взять тебя, я тоже не полечу, — ответила она. Вместо того чтобы обнять ее или сказать слова одобрения, мальчик сделал кое-что получше. Беттон редко обращался к этому средству. Он пошутил:

— Тебя ждет забвение антивремени.

— Ничего, я это как-нибудь переживу, — ответила Тай.

Шан знал, что хайнцы не носят форменной одежды и не используют такие звания, как «командир». Тем не менее он надел свою черно-серебристую терранскую форму и отправился на встречу с командиром Далзулом.

Родившись в бараках Альберты, в те дни, когда Терра лишь вступала в союз Экумены, Далзул закончил университет А-Йо на Уррасе, получил ученую степень по временной физике, прошел стажировку со стабилями на Хайне и вернулся на родную планету в ранге экуменического мо-

биля. И пока он шестьдесят семь лет летал по мирам на почти световой скорости, беспокойное движение «единых» переросло в религиозную войну и выплеснулось в ужасы юнистской революции. Прилетев на Терру, Далзул за несколько месяцев взял ситуацию под контроль. Его проницательность и тактика не только восхитили тех людей, за которых он боролся, но и вызвали поклонение у противников — отцов юнизма, решивших, что Далзул и есть их бог. Широкомасштабные убийства неверующих сменились мировым поветрием обожания Нового Воплощения. Затем начались расколы и ереси. Сектанты принялись убивать друг друга, но Далзул подавил этот пик теократической жестокости — самый худший и длительный после Эпохи Осквернения. Он действовал с изяществом и мудростью, с терпением и надежностью, с гибкостью, хитростью и юмором, то есть в стиле, который пользуется наивысшим почетом среди обитателей Экумены.

Став жертвой обожествления, он уже не мог работать на Терре и какое-то время выполнял конфиденциальные и многозначительные задания на безвестных, но важных планетах. Одной из них был Оринт — единственный мир, из которого ушли жители Экумены. Они поступили так по совету Далзула — незадолго до того, как оринтяне применили в войне патогенное оружие, навсегда уничтожив разумную жизнь на своей планете. Далзул предсказал это событие с ужасной точностью. В последние часы перед катастрофой он организовал тайное спасение нескольких тысяч детей, чьи родители согласились на их эвакуацию. Дети Далзула — последние из тех, кого называли оринтянами.

Шан знал, что герои появлялись лишь в среде примитивных культур. Но, поскольку культура Терры была примитивной, он считал Далзула своим героем.

Прочитав сообщение из порта Ве, Тай недоуменно спросила:

— Какая еще команда? Кто это просит нас бросить ребенка и лететь неведомо куда?

Она посмотрела на Шана и увидела его лицо.

— Нас зовет Далзул, — ответил он. — Зовет в свою команду.

— Тогда лети, — сказала Тай.

Конечно, он спорил, но его жена оставалась на стороне героя. И Шан согласился. Отправляясь на прием, устроенный в честь Далзула, он надел черную форму с серебряными полосками на рукавах и с серебряным кругом на груди в области сердца.

Командир был одет в такую же форму. При виде его сердце Шана подпрыгнуло и застучало быстрее. Само собой разумеется, герой не походил на того могучего трехметрового гиганта, каким его представлял себе Шан. Но в других отношениях Далзул выглядел на все сто: стройный и гибкий торс, длинные светлые волосы, поседевшие от возраста и обрамлявшие красивое величественное лицо, глаза небесной чистоты, сверкавшие словно проточная вода. Шан даже не предполагал, что кожа Далзула окажется такой белой, но этот небольшой атавизм воспринимался как своеобразный штрих или, вернее, красота, присущая только ему.

Далзул общался с группой анаррести и что-то тихо говорил им мягким голосом. Увидев Шана, он извинился и направился к нему.

— Наконец-то! Вы — Шан. А я — Далзул. Нам с вами предстоит совместный полет. Я очень сожалею, что ваша партнерша не согласилась войти в команду. Но, думаю, я нашел ей хорошую замену. Это ваши старые приятельницы — Риель и Форист.

Шан был счастлив их видеть. Два знакомых лица: острое, цвета обсидана — у Форист и круглое, сияющее, как медное солнце, — у Риель. Он учился вместе с ними на Оллуле. И эти женщины встретили его с равной радостью.

— Как здорово! — воскликнул он, но тут же спросил: — Неужели в команде будут только терране?

При всей очевидности факта это был глупый вопрос. Однако обитатели Экумены любили составлять экипажи из представителей разных культур.

— Давайте отойдем, — сказал Далзул, — и я вам все объясню.

Он подозвал мезклета, и тот подбежал к ним, гордо толкая перед собой тележку с напитками и закусками. Все четверо наполнили подносы, поблагодарили маленькое существо и уединились в глубокой нише у окна — чуть в стороне от шумной толпы. Устроившись на ступенях, они

наслаждались едой, говорили и слушали. Далзул не скрывал, что убежден в своей правоте. Он думал, что близок к решению «чартен-проблемы».

— Я дважды летал один, — рассказывал герой. Он слегка понизил голос, и Шан, неправильно истолковав его манеру разговора, простодушно спросил:

— Без разрешения ИГЧ?

Далзул усмехнулся:

— О нет. Исследовательская группа чартена дала мне «добро»... Но не благословение. Вот почему я до сих пор шепчусь и посматриваю через плечо. В ИГЧ есть люди, которым не нравятся мои поступки, — как будто я украл корабль, извратил теорию, нарушил судовой кодекс чести или помочился в их туфли. Они косятся на меня даже после того, как я слетал туда и обратно без чартен-проблем и вообще без каких-либо перцептуальных диссонансов.

— А куда вы летали? — спросила Форист, приблизив к нему заостренное лицо.

— Первый полет выполнялся внутри этой системы — от Ве до Хайна и назад. Словно прогулка на автобусе по давно известным местам. Как и ожидалось, все прошло без приключений. Сначала я был здесь, потом оказался там. Мне оставалось лишь выйти из корабля и зарегистрироваться у стабилей. Потом я вернулся на судно и снова оказался здесь. Просто и быстро! Вы сами знаете... Это как магия. И в то же время полеты кажутся вполне естественным делом. Где одно, там и другое, верно? Вы чувствовали это, Шан?

Его глаза поражали чистотой и живостью. Шану показалось, что он взглянул на молнию. Ему хотелось возразить, но он начал смущенно запинаться:

— Я... Мы... Вы же знаете. У нас возникли некоторые проблемы в определении того места, куда мы попали.

— Я думаю, что эта путаница не обязательна. Транспереход является антипереживанием. Мне верится, что в конечном счете нормой будет отсутствие каких-либо событий. Это нормально, что со мной ничего не произошло. Ваш эксперимент на «Шоби» был испорчен внешними воздействиями. Мы же постараемся получить незамутненный антиопыт.

Далзул посмотрел на Форист и Риель, обнял их и засмеялся:

— Сейчас вы анти-поймете, что я не имею в виду. После той «автобусной экскурсии» я слонялся вокруг ИГЧ, раздра́жая их своими просьбами, пока наконец Гвонеш не разрешил мне сольный исследовательский полет.

Мезклет пробился к ним сквозь толпу, толкая мохнатыми лапами маленькую тележку. Эти существа обожали вечеринки и хорошую еду. Они любили поить людей напитками и смотреть, как те начинают пьянеть и веселиться. Малыш остановился рядом с ними, надеясь заметить что-нибудь необычное в их поведении. Постояв немного, он побежал назад к теоретикам Анарреса, которые всегда были немного странными.

— Исследовательский полет? С правом на первый контакт?

Далзул кивнул. Его внутренняя сила и врожденное достоинство обескураживали собеседников, но восторг и простодушная радость в каждом действии и слове были просто неотразимыми. Шан встречал многих выдающихся и мудрых людей, но ни у одного из них энергия не была такой яркой и чистой. И так по-детски беззащитной.

— Мы выбрали очень удаленную планету — Джи-М-214-йомо. На картах Экспансии она значилась как Тадкла, но люди, которых я там встретил, называли ее Ганам. Восемь лет назад на эту планету отправили группу представителей Экумены. Стартовав с Оллуля, они уже набрали СКОКС — скорость околосветовую — и через тринадцать лет должны достигнуть цели. Мы не могли связаться с ними и сообщить о том, что я намерен обогнать их корабль. Тем не менее ИГЧ одобрила эту идею. Им понравилось, что кто-то прилетит туда через тринадцать лет и в случае моего исчезновения узнает о причинах неудачи. Хотя теперь их миссия кажется мне почти бессмысленной. Когда они прилетят туда, Ганам уже станет членом Экумены!

Далзул посмотрел на собеседников, обжигая их страстным горящим взглядом.

— Чартен изменит все! Когда трансперехо́ды придут на смену космическим полетам... Когда между мирами не будет расстояний и мы начнем контролировать время... Я даже не могу вообразить, что это нам даст! Что это даст Экумене! Мы сделаем семью человечества единым домом, единым местом. А потом отправимся дальше и глубже! Любое наше действие в трансперехо́де объединяет нас с первичным моментом, который является ритмом вселенной. Мы становимся едиными с ней. Мы устраняем время! На наших ладонях раскрывается вечность! Вы были там, Шан! Скажите, вы чувствовали то, о чем я говорю?

— Не знаю. Возможно...

— Хотите посмотреть видеозапись моего путешествия? — внезапно спросил Далзул. В его глазах сияло озорство. — Я взял с собой портативный видеопроектор.

— Да! — воскликнули Форист и Риель.

Они придвинулись к нему, как кучка заговорщиков. Мезклет засуетился, пытаясь увидеть то, на что они смотрели. Он забрался на тележку. Но ему все равно не хватало роста.

Настраивая маленький визор, Далзул вкратце рассказал им о Ганаме. Это был один из самых удаленных посевов хайнской Экспансии. Пятьсот тысяч лет планета оставалась потерянной для космического сообщества, и о ней знали только то, что существа, населявшие ее, имели человеческих предков. Вначале предполагалось, что корабль Экумены, летевший к этому миру, будет довольно долго наблюдать за ним с орбиты, скрытно или явно посылать вниз своих разведчиков, входя в контакт с местными жителями лишь в случаях острой необходимости. В подобных миссиях на сбор информации и обучение языкам уходило несколько лет. Но в полете Далзула все упростилось непредсказуемостью новой технологии. Его небольшой корабль вышел из чартена не в стратосфере, как это намечалось по плану, а в атмосфере — почти в ста метрах от поверхности планеты.

— У меня не было возможности сделать свое появление незаметным, — рассказывал он.

Видеозапись корабельных приборов подтверждала его слова. Глядя на маленький экран, они увидели, как серая равнина порта Ве исчезла внизу, когда судно взлетело с космодрома.

— Вот, сейчас! — воскликнул Далзул.

И через миг они уже смотрели на звезды, сиявшие в

черном небе, на желтые стены и оранжевые крыши города, на отблески солнечного света в широком канале.

— Вы видели? — прошептал Далзул. — Ничего не случилось. Абсолютно ничего.

Го́род накренился и приблизился. Залитые солнцем улицы и площади были заполнены людьми, и все они смотрели вверх, махая руками и выкрикивая слова, которые, наверное, означали: «Смотрите! Смотрите!»

— Мне пришлось принять эту ситуацию как свершившийся факт, — сказал Далзул.

Деревья и трава дрогнули, а затем метнулись вперед, когда судно пошло на посадку. К кораблю уже бежали горожане. В основном это были мужчины: массивного телосложения, с темно-красной кожей, бородатыми лицами и голыми руками. На их головах покачивались замысловатые уборы, сплетенные из золотой проволоки и украшенные плюмажами из перьев. В ушах болтались большие золотые серьги.

— Гамане, — сказал Далзул. — Люди Ганама. Правда красивые? И они не теряли время зря. Через полчаса весь город был у корабля. А вот это Кет. Потрясающая женщина, верно? Корабль встревожил горожан, и я решил показать им, что полностью отдаю себя в их руки.

Они видели то, о чем говорил Далзул. Видеокамеры корабля засняли его выход. Он медленно сошел по трапу на траву и приблизился к собравшейся толпе. На нем не было ни оружия, ни одежды. Далзул неподвижно стоял перед кричавшими людьми, и свирепое солнце играло на его белой коже и серебристых волосах. Он широко раскинул руки ладонями вверх в жесте мирного предложения.

Пауза затянулась. Внезапно шум и разговоры среди гаман затихли, и из толпы вышло несколько человек. Видеокамера вновь показала Далзула. Он неподвижно стоял перед высокой стройной женщиной, при виде которой у Шана вырвался восхищенный вздох. Ее округлые плечи, черные глаза и высокие скулы заставляли сердце трепетать от восторга. Дивные волосы были переплетены золотой тесьмой и уложены в форме прекрасной диадемы. Она заговорила с Далзулом. Ее звонкий голос казался чистым потоком, а слова лились как поэма, как ритуальная речь.

Далзул ответил тем, что поднес руки к сердцу, а затем протянул к ней открытые ладони.

Какое-то время женщина смотрела на него. Затем, произнеся одно звучное слово, она грациозно и медленно сняла темно-красный жилет, оголила плечи и грудь, развязала пояс юбки и отбросила одежду прочь изящным и выверенным жестом. Их обнаженные тела на фоне притихшей толпы были удивительно прекрасными. Она протянула ему руку, и Далзул нежно сжал ее ладонь.

Они зашагали к городу. Толпа сомкнулась за ними и двинулась следом — безмолвная, неторопливая и удовлетворенная, будто эта церемония проводилась здесь множество раз. Несколько юношей задержались на поляне, решив рассмотреть корабль. Подбадривая друг друга, они подошли к нему — с любопытством и осторожностью, но без страха.

Далзул выключил видеопроектор.

— Вы заметили разницу? — спросил он Шана, но тот благоговейно промолчал.

Далзул с улыбкой осмотрел своих слушателей.

— Экипаж «Шоби» обнаружил, что индивидуальные переживания трансперехода могут стать когерентными только благодаря согласованным усилиям команды. Усилиям по синхронизации, или, точнее, настройке. Когда они поняли это, им удалось устранить опасно возраставшее фрагментарное восприятие. Они не только описали то место, где приземлился их корабль, но и дали адекватную оценку своей ситуации. Верно, Шан?

— Теперь это называют хаотичным переживанием, — ответил тот. Шан был ошеломлен огромной разницей между опытом Далзула и его собственными воспоминаниями о транспереходе.

— После полета «Шоби» наши временнолитики и психологи изрядно попотели над чартен-теорией, увешав ее громоздкими дополнениями, — сказал Далзул. — Мое же толкование покажется вам до смеха простым. Я считаю, что диссонанс восприятия, несогласованность и путаница переживаний в эксперименте «Шоби» были следствием неподготовленности вашей команды. Понимаете, Шан, каким бы хорошим ни был ваш экипаж, он состоял из представителей четырех миров. А это четыре разные куль-

туры! Я уже не говорю о возрастных различиях — две старые женщины и трое подростков! Если ответом на согласованный трансперехо́д является четкое функционирование в гармоничном ритме, мы должны сделать эту настройку легкой. То, что она вам удалась, — просто чудо. И конечно, простейшим способом обойти ее был бы одиночный полет.

— Как же мы тогда получим перекрестную проверку переживаний? — спросила Форист.

— А зачем она нужна? Вы только что видели видеозапись моей посадки.

— Да, но наши приборы на «Шоби» тоже вышли из строя, — сказал Шан. — Многие из них оказались полностью разбалансированными. Их показания были такими же несогласованными, как и наши восприятия.

— Совершенно точно! Вы и приборы находились в едином поле настройки. Вы как бы запутывали друг друга. Но когда двое или трое из вас спустились на поверхность планеты, ситуация тут же изменилась к лучшему. Посадочная платформа функционировала идеально, а ландшафтная съемка велась почти без помех — хотя и показывала сплошное безобразие.

Шан смущенно засмеялся:

— Да, то было гадкое место. Планета-сортир. Но, командир... Даже просматривая видеозапись, мы не могли понять, кто же действительно спускался на поверхность. Это одна из самых хаотичных частей всего эксперимента. Я помню, что спускался с Гветером и Беттоном. Почва под платформой начала оседать. Мне пришлось позвать их назад, и мы вернулись на судно. Судя по моему восприятию, посадка выглядела вполне когерентной. Но, по мнению Гветера, он спускался с Беттоном и Тай, а не со мной. Он услышал, как Тай позвала его по рации, и вернулся с нашим мальчиком на корабль. Что касается Беттона, то он спускался с Тай и со мной. Заметив, что его мать сошла с платформы, он не подчинился моему приказу и остался на поверхности. Гветер тоже видел это. Они вернулись без нее и увидели Тай уже в рубке, на мостике. Сама Тай говорит, что вообще не спускалась на посадочной платформе. Каждая из четырех историй является нашим свидетельством. Они в равной степени верны и в равной степени ложны. Видеозапись ничего не прояснила — приборы так и не показали лиц за стеклами скафандров. А в этой куче дерьма на поверхности планеты все фигуры выглядели одинаково грязными и однообразными.

— Вот именно! — с улыбкой воскликнул Далзул. — Темнота, дерьмо и хаос, увиденные вами, были засняты и видеокамерами вашего корабля! А теперь сравните это с записью, которую мы только что смотрели! Солнечный свет, красивые лица, яркие цвета — все сияющее, радостное, чистое! И только потому, что в моем опыте отсутствовали наложения и помехи. Вы понимаете, Шан? Китяне говорят, что чартен-поле является глубинным ритмом вселенной — вибрацией конечных волн-частиц. Трансперехо́д представляет собой функцию ритма, создающего бытие. Согласно китянской духовной физике, мы получаем доступ к вибрациям, которые позволяют человеку становиться вечным и вездесущим. Моя экстраполяция заключается в том, что группа людей при трансперехо́де должна сохранять почти идеальную синхронность, иначе точка прибытия не будет восприниматься ими гармонично — то есть одинаково и точно. Моя интуитивная догадка оказалась верной: в одиночном полете чартен переживается нормально, в то время как десять человек ощущают при этом хаос или нечто худшее.

— А что почувствуют четыре человека? — спросила Форист.

— В этом случае ситуация поддается контролю, — ответил Далзул. — Честно говоря, мне хотелось бы слетать еще раз одному или с напарником. Но, как вы знаете, наши друзья на Анарресе не доверяют тому, что они называют эгоизацией. По их мнению, этика не доступна одиночкам и является феноменом группы. Кроме того, они полагают, что в эксперименте «Шоби» присутствовал какой-то неучтенный элемент. Они убеждены, что группа может переносить чартен так же хорошо, как и один человек. Но как нам это доказать без новых данных? Короче, я пошел на компромисс. Я сказал им: отправьте меня в полет с двумя или тремя хорошо совместимыми и правильно мотивированными компаньонами. Пошлите нас обратно на Ганам, и давайте посмотрим, что получится!

— Одной мотивировки недостаточно, — сказал Шан. —

Я должен быть предан этой команде. Я должен принадлежать ей целиком и полностью.

Риель кивнула. Форист, как всегда настороженная и внимательная, спросила:

— Значит, мы будем настраиваться друг на друга, командир?

— Да, так долго, как вам захочется, — ответил Далзул. — Но есть нечто более важное, чем практика. Скажите, Форист, вы поете? Или, может быть, играете на каком-то инструменте?

— Мне нравится петь, — сказала Форист.

Риель и Шан кивнули, когда Далзул посмотрел на них.

— Попробуем это? — спросил он и начал тихо напевать старый марш «Улетая к Западному морю» — песню, которую знал каждый человек, рожденный в лагерях и бараках Терры.

Риель подхватила мотив, потом к ним присоединился Шан, а за ним и Форист, которая удивила всех низким и звучным контральто. Несколько человек, стоявших рядом с ними, повернулись, чтобы послушать слаженную песню, и она постепенно заглушила многоголосый шум толпы. Мезклет стрелой метнулся к ним, забыв о своей тележке. Его глаза расширились от восторга и стали яркими от слез. А четверо астронавтов закончили песню долгим и мягким аккордом.

— Вот и вся настройка, — произнес Далзул. — Только музыка поможет нам добраться до Ганама. Прав был тот поэт, который назвал вселенную безмолвной мелодией наших сердец.

Форист и Риель подняли бокалы.

— За музыку! — воскликнул Шан и, наслаждаясь счастьем, отпил глоток шипучего напитка.

— За команду «Гэльбы», — добавил Далзул, поддержав его тост.

Специалисты, наблюдавшие за формированием команды, согласились сократить срок подготовки до минимума. Большую часть этого времени Шан, Риель и Форист обсуждали сложности чартен-проблемы — с командиром и без него. Они столько раз смотрели корабельные видеозаписи и заметки Далзула, сделанные им на Ганаме, что запомнили их наизусть. И потом часто благодарили себя за это.

— Мы вынуждены принимать все его слова и впечатления как объективные факты, — пожаловалась Форист. — Но как мы можем проконтролировать их истинность?

— Его отчет и бортовые видеозаписи полностью соответствуют друг другу, — ответил Шан.

— Если теория Далзула верна, это свидетельствует лишь о том, что он и судовые приборы были настроены друг относительно друга. Значит, реальность корабля и аппаратуры может восприниматься нами только так, как она воспринималась человеком или другим разумным существом в момент трансперехода. Китяне говорят, что чартен-проблема возникает лишь тогда, когда в процесс вовлекается разум. В полет отправляют зонд-автомат, и никаких осложнений. Эксперименты с амебами и сверчками проходят успешно и без проблем. Но стоит послать в транспереход разумных существ, как все летит вверх тормашками. Теория перестает работать, и люди воспринимают хаос. Ваш корабль стал запутанным клубком из десяти различных реальностей. Его приборы покорно фиксировали диссонансы, пока не сломались или не потеряли балансировку. Лишь когда вы объединились и начали конструировать согласованную реальность, корабль откликнулся на нее и восстановил регистрацию событий. Верно?

— Да, — ответил Шан. — Мы привыкли жить в стабильной структуре мироздания, и, когда она превращается в хаос или десяток переплетенных вариантов, это здорово бьет по нервам.

— Все во вселенной иллюзорно, — безжалостно сказала Форист. — Наш реальный мир — просто одна из лучших человеческих иллюзий.

— Но музыка первична, — возразил ей Шан. — И танцуя, люди сами становятся музыкой. Я думаю, мы можем воплотить в реальность тот мир, который увидел Далзул. Мы можем станцевать для Ганама.

— Мне это нравится, — сказала Риель. — Но помните: теория иллюзий требует, чтобы мы не верили заметкам Далзула и видеозаписям корабля. Они иллюзорны. С другой стороны, Далзул бывалый наблюдатель и превосход-

ный аналитик. У нас нет причин для недоверия к его словам, если только мы не приняли предположение, основанное на эксперименте «Шоби». А оно говорит, что чартен-переживание обязательно искажает восприятие и его оценку.

— В заметках Далзула есть элементы очень распространенной иллюзии, — добавила Форист. — Я имею в виду принцессу, которая якобы ожидала нашего героя, чтобы отвести его, голого и смелого, в свой дворец, а затем, после церемоний и любезностей, отдаться ему по-королевски. Вы заметили? У него даже секс имеет небесное качество. Я не говорю, что не верю этому, — меня там не было. Слова Далзула могут оказаться чистой правдой. Но я хотела бы узнать, как эти события воспринимала сама принцесса?

До того как «Гэльбу» оснастили чартен-аппаратурой, она считалась обычным хайнским кораблем внутрисистемного класса «зеркало». Маленький корпус, похожий на пузырь, имел такие же размеры, как посадочная платформа «Шоби». Входя внутрь, Шан почувствовал неприятный холодок, который пробежал по его спине. Ему вдруг вспомнились хаотичные и бессодержательные переживания чартена. Неужели им снова придется пройти через это? И вернется ли он когда-нибудь назад? Мысль о Тай наполнила его сердце тревогой и болью. Ее уже не будет рядом с ним, как в прошлый раз. Милая Тай, которую он полюбил на борту «Шоби». И Беттон, чистосердечный мальчуган... Они могли бы быть сейчас вместе. О, как они ему нужны!

Форист и Риель проскользнули в люк, за ними по трапу поднялся Далзул. Вокруг него ощущалась мощная, почти видимая концентрация энергии — аура, ореол или яркость бытия. Неудивительно, что юнисты считали его богом, подумал Шан. И эта мысль была такой же церемониальной, как благоговейное приветствие, оказанное Далзулу гаманами. Его переполняла мана — сила, на которую откликались другие люди. На которую они теперь настраивались. Тревога Шана улеглась. Он знал, что рядом с Далзулом не будет хаоса.

— Они считают, что нам легче контролировать маленький «пузырь», а не мой предыдущий корабль. На этот раз я

постараюсь не выходить из трансперехода над крышами города. Немудрено, что после такого появления гамане приняли меня за божество, материализовавшееся в воздухе.

Шан уже привык к тому, что Далзул, будто эхо, откликался на мысли своих товарищей. Они находились в синхронизации, и такой феномен был лучшим ее доказательством. В этом и заключалась их сила.

Они заняли свои места: Далзул — за чартен-пультом, Риель — у мониторов А-1, Шан — в кабине пилота, а Форист — за ними как аналитик и дублер. Далзул осмотрел их лица и кивнул. Шан поднял корабль на пару сотен километров от порта Ве. Кривая дуга планеты упала вниз, и звезды засияли под их ногами, вокруг и выше.

Далзул запел: не мелодию, а ноту — глубокую полновесную «ля», Риель взяла ее на октаву выше, Форист подхватила промежуточную «фа», и Шан ответил им ровным «до», словно он был музыкальным чартен-органом. Риель перешла на высокое «до». Далзул и Форист запели трезвучие. И когда аккорд изменился, Шан уже не знал, кто какую ноту пел. Он вошел в сферу звезд и сладкогласных частот, разбухавших и тускневших в долгом унисоне. А потом Далзул прикоснулся к пульту, и желтое солнце осветило высокое синее небо, раскинувшееся над странным незнакомым городом.

Шан взял управление на себя. Под кораблем замелькали пыльные площади, дома, оранжевые и красные крыши.

— Давайте остановимся там, — сказал Далзул, указывая на зеленую полоску у канала.

Шан повел «Гэльбу» по пологой планирующей дуге и мягко, словно мыльный пузырь, опустил ее на траву. Он осмотрел ландшафт за прозрачными стенами.

— Голубое небо, зеленая трава, время около полудня, к нам приближаются местные, — сказал Далзул. — Правильно?

— Правильно, — ответила Риель. Шан засмеялся.

Ни одного сбоя в ощущениях, никакого хаоса в восприятии. На этот раз они обошлись без ужасов неопределенности.

— Мы выполнили чартен! — с восторгом выкрикнул он. — Мы сделали это! Мы станцевали!

Люди, работавшие на полях у канала, сбились в кучу и смотрели на корабль. Судя по всему, они не смели подойти к «упавшей звезде». Но вскоре на пыльной дороге, ведущей из города, появилась большая процессия.

— А вот и комитет по организации встречи, — пошутил Далзул. Они сошли по трапу и стали ждать. Напряженность момента еще больше усиливала необычную четкость эмоций и ощущений. Шан чувствовал, что знает эти красивые зубчатые контуры двух вулканов, которые, словно грозные часовые, охраняли границы города. Он узнавал их, как далекое незабываемое воспоминание. Он узнавал запах воздуха, трепет света и тени под листвой. «Я здесь, — сказал он себе с радостной уверенностью. — Я здесь и сейчас, и отныне во вселенной нет расстояний и разобщенности».

То было напряжение без страха. Мужчины в высоких головных уборах с плюмажами, с бородами по грудь и крепкими руками, подошли и остановились перед ними. Их бесстрастные лица выражали спокойное величие. Пожилой мужчина кивнул Далзулу и сказал:

— Сем Дазу.

Командир прикоснулся ладонью к груди и развел руки в стороны:

— Виака!

Кто-то в толпе закричал:

— Дазу! Сем Дазу!

И многие повторили приветственный жест терран.

— Виака, — сказал Далзул, — бейя. Друзья.

Он представил своих спутников, называя их имена после слова «друг».

— Фойес, — повторил старик. — Шан. Ией.

Запутавшись с произношением «Риель», Виака слегка нахмурился:

— Друзья. Приветствуем вас. Добро пожаловать в Ганам.

Во время своего первого краткого визита Далзул записал для хайнских лингвистов лишь несколько сотен слов. На основе этой скудной информации они и их мудрые аналитики создали небольшой грамматический словарь, пестревший знаками вопросов в круглых скобках. Шан добросовестно изучил его от корки до корки. Он вспомнил

слова «бейя» и «киюги» — приветствуем (?), будьте как дома (?). Лингвистка-хилфер Риель должна была дополнить этот справочник.

— Я предпочитаю изучать язык среди людей, которые говорят на нем, — сказал как-то Далзул.

Когда они зашагали к городу по пыльной дороге, яркость впечатлений начала перегружать сознание Шана. Пейзаж сливался с маревом зноя и отблесками света. Сознание переполняли блеск золота и взмахи перьев, мелькание красных и желтых глиняных стен, красных, как глина, голых торсов и плеч. Перед глазами трепетали пурпурные и оранжевые накидки, темно-коричневые полосатые жилеты и килты. Гостей затопили запахи масла, ладана и пыли, зловоние дыма, пота и подгорелой пищи, шум множества голосов, стук сандалий и шлепанье босых ног по камню и земле, звон колокольчиков и гонгов, оттенки, прикосновения и ритмы мира, где все было чужим и в то же время знакомым. Этот маленький город из камня и глины, величественный, грубый и человечный, с резными колоннами, пылавшими в свете золотого солнца, выглядел самым диким и чуждым местом из всего того, что Шан когда-либо видел. Но ему казалось, будто он вернулся домой после долгих скитаний по дальним мирам. Глаза застлали слезы. «Теперь мы едины, — подумал он. — Между нами больше нет расстояний и времени. Один шаг через вечность, и мы вместе». Он шел рядом с Далзулом и слышал, как люди степенно приветствовали его. Сем Дазу, говорили они. Сем Дазу, киюги. Ты вернулся домой.

В первый день такая эмоциональная перегрузка была просто невыносимой. Иногда Шан думал, что вообще теряет разум. Интенсивный поток восприятий влиял на процесс мышления и замедлял его.

— Да плюньте вы на этот процесс, — со смехом ответил Далзул, когда Шан рассказал ему о своей проблеме. — Не так уж часто человек становится ребенком.

И он действительно ощущал себя ребенком — без ментального контроля над событиями, без всякой ответственности за них. Они происходили сами по себе, ожидаемые

или невероятные, а он был их частью и одновременно свидетелем.

Гамане хотели сделать Далзула своим королем. Нелепое, но вполне естественное желание. Возможно, их правитель умер, не оставив наследника, и тут с небес спустился красивый мужчина с серебристыми волосами. Принцесса, охнув, сказала: «Вот это парень», — но мужчина куда-то исчез и позже вернулся с тремя странными спутниками, которые могли показывать чудеса. Да, такой герой годился только в короли. А что еще с ним делать?

Риель и Форист с большой неохотой приступили к сбору слухов и поиску исторических сведений. План Далзула лишал их выбора. Он считал, что королевский сан является почетным званием, а не правом на власть. И его спутникам пришлось согласиться, что ему, возможно, лучше исполнить желание гаман. Пытаясь оценить перспективу сложившейся ситуации, экипаж разделился надвое. Женщины поселились в доме рядом с рынком, где каждый день общались с простыми людьми и радовались свободе передвижения, которую потерял Далзул. Королевский сан, как он однажды пожаловался Шану, налагал на него две неприятных обязанности — постоянное пребывание во дворце и соблюдение многочисленных табу.

Шан остался с Далзулом. Виака поселил его в одном из крыльев беспорядочно построенного глиняного дворца. Здесь же жил один из родственников Виаки по имени Абуд. Этот юноша помогал ему вести домашнее хозяйство. От Шана никто ничего не ожидал — ни Далзул, ни городские власти. Его время принадлежало только ему. Он лишь помнил, что ИГЧ просила их провести на Ганаме тридцать дней. И эти дни текли как весенняя вода. Он пытался сделать что-нибудь полезное для Экумены, но все его начинания упирались в огромное нежелание прерывать поток переживаний из-за каких-то разговоров и аналитических суждений. Все равно ничего не происходит, улыбаясь, говорил себе Шан.

Единственным событием, вышедшим за рамки повседневности, стал день, который он провел с племянницей (?) Виаки и ее супругом (?). Шан несколько раз пытался определить систему родства у гаман, но вопросительные знаки оставались на прежних местах. По каким-то

причинам молодая пара не пожелала назвать ему своих имен. Они просто пригласили его на прекрасную прогулку к водопаду, который грохотал на склоне огромного вулкана Йянанама. Из их слов Шан понял, что они хотели показать ему свое святилище. И был сильно удивлен, обнаружив, что свято чтимый водопад приводит в действие священную динамомашину.

Гамане, как объяснили его спутники, — или, вернее, как ему удалось интерпретировать их рассказ, — довольно неплохо разбирались в принципах гидроэлектричества. К сожалению, они почти ничего не знали об аккумуляторах и поэтому практически не использовали силу, которую могли бы собрать. Молодая пара больше говорила о природе электрического тока, чем о его применении. Шан с трудом улавливал смысл их слов. Ему захотелось узнать, зачем гамане установили динамомашину. Но запаса слов хватило лишь на фразу: «Это куда-нибудь идет?»

В подобные моменты, неприятные и обидные для него, он чувствовал себя полуразумным ребенком.

— Да, — ответила молодая женщина, — сила уходит в инканем, когда басеммиак вада.

Шан кивнул и записал свои впечатления на пленку. Его спутники с восторгом наблюдали, как на маленьком экране диктофона появлялись крохотные буквы и символы. Как и все гамане, они считали это чудом или доброй магией.

Шан вышел на террасу перед небольшим строением, где находилась динамомашина. Широкая площадка была выложена гладкими каменными плитами, которые создавали сложный, запутанный узор. Его спутники начали что-то объяснять, указывая на стремительный поток. Среди быстрых сияющих струй воды он заметил какой-то блестящий предмет, но так и не понял, что это такое. «Хеда, табу», — сказал ему юноша, — слово, которое Шан уже знал от Далзула. До сих пор ему не приходилось сталкиваться с хеда. Молодые люди завели друг с другом разговор, и Шан пару раз уловил имя «Дазу», произнесенное печальным тоном. Но он снова не понял, о чем шла речь. Они подошли к маленькой глиняной усыпальнице, и оба его спутника почтительно положили на холмик по листу с

ближайшего дерева. Чуть позже в косых лучах предзакатного солнца они спустились вниз по склону горы.

Обогнув скалу на повороте крутой тропы, Шан увидел огромную долину и два других далеких города, едва заметных в золотистой дымке. Не веря своим глазам, он остановился, а затем с тревогой осознал свое удивление. Он вдруг понял, как сильно его всосал неторопливый быт Ганама. Шан успел забыть, что этот маленький город был лишь крохотной точкой на большой планете. Указав рукой на далекие поселения, он спросил у спутников:

— Это принадлежит гаманам?

Обсудив между собой его вопрос, молодые люди ответили:

— Нет. Гаманам принадлежит только Ганам. А те поселения — это другие города.

Неужели Далзул ошибся, приняв Ганам за всю планету? Может быть, это слово предназначалось только для города и его окрестностей?

— Тегуд ао? Как это называется? — спросил он, похлопав ладонью по земле, а затем описав руками круг, который охватывал долину, гору за их спинами и второй вулкан перед ними.

— Нанам тегудьех, — ответила племянница (?) Виаки. Ее муж (?) не согласился с таким определением. Они спорили об этом почти до самого города. Шан воздержался от дальнейших расспросов. Положив диктофон в карман, он наслаждался прохладой вечера, прогулкой и прекрасным видом тропы, которая спускалась по склону к золотым воротам Ганама.

На следующий день — или, возможно, через день — его навестил Далзул. Шан в тот момент находился в дальней части дворца и подрезал фруктовые деревья, посаженные в небольшом огороженном дворике. Секатор имел тонкие, слегка изогнутые лезвия — стальные и острые как бритва. Отшлифованные деревянные рукоятки были украшены изящной резьбой.

— Красивый инструмент, — сказал он Далзулу. — И прекрасное занятие. Забота о деревьях издавна считалась на Терре искусством. Его азам меня научила бабушка.

Я не занимался им с тех пор, как стал обитателем Экумены. Гамане тоже хорошие садовники. Вчера двое из них показывали мне водопад.

Разве это было вчера? Хотя какая разница? Время больше не имело продолжительности — только интенсивность. Время стало узором, сотканным из интервалов и пауз. Шан взглянул на дерево, осознавая внутренние ритмы ствола и гармоничные интервалы ветвей. Года — цветы, миры — плоды...

— Забота о деревьях сделала меня поэтом, — сказал он, поворачиваясь к Далзулу. — Что-нибудь не так?

Взгляд командира походил на подпрыгнувший пульс, фальшивую ноту, ошибочный шаг при танце.

— Я не знаю, — ответил Далзул. — Давайте посидим немного.

Они устроились в тени балкона на каменных ступенях.

— Наверное, я слишком сильно полагался на свою интуицию, стараясь понять этих людей, — сказал Далзул. — Я следовал чутью, а не сдержанности, изучал язык из уст, проходя мимо книг... Не знаю. Что-то пошло не так.

Слушая командира, Шан смотрел на его сильное и красивое лицо. Неистовый солнечный свет покрыл загаром белую кожу, окрасив ее в более человеческие тона. Далзул был одет в рубашку и штаны, но его седые волосы свободно спадали на плечи, как у всех местных мужчин. Он носил на голове узкий обруч, сплетенный из золота, и тот придавал ему варварский величественный вид.

— Да, они варвары, — сказал Далзул, в который раз угадывая мысли Шана. — Возможно, еще более примитивные и жестокие, чем я думал раньше. Этот королевский сан, которым они решили меня наделить... Боюсь, он означает не только почести и священнодействия. Я понял, что здесь замешана политика. Согласившись стать их королем, я, похоже, нажил себе соперника. Врага!

— И кто он?

— Акета.

— Я не знаю его. Он живет во дворце?

— Нет. Этот человек не из окружения Виаки. По-видимому, он был в отъезде, когда я появился здесь в прошлый раз. Насколько я понял Виаку, этот Акета считает себя наследником престола и законным супругом принцессы.

— Принцессы Кет?

Шан еще не встречался с принцессой. Надменная и красивая женщина всегда оставалась на своей половине дворца, и даже Далзул навещал ее только по разрешению.

— А что она сама говорит об Акете? Разве принцесса не на вашей стороне? Ведь это она выбрала вас, а не вы ее.

— Она говорит, что я буду королем, — что это твердое решение. Но Кет неверна мне. Она покинула дворец. И, насколько я знаю, ушла в дом Акеты! О мой бог! Неужели во вселенной есть мир, где мужчины понимают женщин?

— Да, это Гетен, — ответил Шан.

Далзул засмеялся, но его лицо осталось мрачным и напряженным.

— Вы и Тай — партнеры, — помолчав, сказал он Шану. — Возможно, в этом ответ. В своих отношениях с любой из женщин я никогда не достигал момента единения. Я не знал, что ей нужно в действительности и кто она на самом деле. А что, если смириться? Может быть, тогда и придет эта близость?

Шана тронуло, что Далзул, прославленный герой и повидавший жизнь мужчина, задавал ему такие вопросы.

— Не знаю, — ответил он. — Мы с Тай... Я чувствую ее как свою половинку. Но любовь — это путаное дело. Что же касается принцессы... Риель и Форист изучают язык и беседуют со многими людьми. Спросите у них? Они сами женщины и, возможно, уловили какие-то нюансы.

— Они — трансвеститы. Именно поэтому я и выбрал их. С двумя настоящими женщинами психологическая динамика могла бы усложниться.

Шан промолчал. Он почувствовал какое-то недопонимание, будто что-то важное вновь оказалось пропущенным. «Интересно, — подумал он, — знает ли командир о моих сексуальных пристрастиях до встречи с Тай?»

— А что, если Кет ревнует меня к Форист или Риель? — задумчиво сказал Далзул. — Или даже к обеим? Она может воспринимать их как моих сексуальных партнерш. Ревность женщины — это змеиное гнездо! Но как мне объяснить принцессе, что они ей не соперницы? Для успешного полета нам требовался дружный экипаж. Конечно, я предпочел бы иметь дело с мужчинами, но мне пришлось подстраиваться под старейшин Хайна — а это в основном пожилые женщины. Я пригласил в команду вас и Тай, супружескую пару. И когда ваша партнерша отказалась, эти две подруги показались мне лучшим решением. Они прекрасно справляются со своими обязанностями, но я сомневаюсь, что им захочется делиться со мной своими потаенными мыслями, которые блуждают в их умах. Тем более о такой сексуальной женщине, как принцесса.

Шан снова почувствовал тревожный пульс несоответствия. Пытаясь избавиться от путаницы в голове, он потер ладонью шершавый камень ступени.

— Если этот королевский сан связан с политикой, а не с религией, — сказал он, возвращаясь к первоначальной теме, — то, может быть, вам просто... снять свою кандидатуру?

— Политика и религия всегда идут бок о бок. Теперь только бегство может избавить меня от их предложения. А что? Сядем в корабль, используем чартен и вернемся в порт Ве.

— Мы можем перелететь на «Гэльбе» в любую часть планеты, — напомнил Шан. — Заодно посмотрим, как люди живут в других городах.

— Судя по тому, что рассказал мне Виака, уход Кет — это не просто измена. Ее поступок вызван расколом религиозной общины. Если Акета придет к власти, он натравит своих последователей на Виаку и его людей. Они говорили мне, что для истинной и священной персоны короля необходимо кровавое жертвоприношение. Религия и политика! Почему я был так слеп? Почему позволил мечте заслонить реальность? Мне казалось, что мы нашли примитивный идиллический мир, а он оказался жестоким скопищем варваров. Здесь господствуют интриги и разврат! И у них остры не только секаторы, но и боевые мечи!

Внезапно его лицо озарила улыбка, а светлые глаза засияли.

— Но эти люди прекрасны! Они воплощают в себе все, что мы утеряли среди книг, индустрии и науки. Они так непосредственны и чисты, так страстны и реальны в своих порывах. Я люблю их, и, если они решили сделать меня своим королем, мне просто придется занять трон, надев на голову корзину из перьев. А пока я должен разобраться с

Акетой и его командой. Единственный подход к нему возможен через нашу мрачную принцессу. Я нуждаюсь в вашей помощи, Шан. Сообщайте мне все, что вам удастся узнать.

— Если вам нужна моя помощь, сэр, вы ее получите, — растроганно ответил Шан.

Проводив командира, он решил сделать то, что Далзулу не позволяла его странная гетеросексуальная предвзятость. Он отправился к Форист и Риель, чтобы попросить у них совета.

Шан вышел из дома и зашагал через шумный ароматный рынок, пытаясь вспомнить, когда он был здесь в последний раз. С тех пор прошло уже несколько дней. А чем он занимался? Работал в садах, поднимался на гору Йянанам к водопаду, где стояла динамомашина... И где он видел другие города! А его секатор был стальным. Значит, эти люди выплавляли сталь! Но где тогда их литейный цех? Возможно, они получали ее в обмен на продукты. Ум, как медленный жернов, перемалывал вопросы в бессмысленную труху. Шан вошел в уютный дворик и увидел Форист, которая сидела на террасе и читала книгу.

— О! — воскликнула она. — Гость с другой планеты! Как же давно он здесь не был. Дней восемь или десять?

— Где ты пропадала? — спросил Шан, стараясь скрыть за словами смущение.

— Сидела здесь и ждала тебя. Риель!

Форист посмотрела на балкон. Над перилами приподнялись несколько голов, одна из которых, с курчавыми волосами, радостно закричала:

— Шан! Я сейчас спущусь!

Риель принесла с собой горшочек с семенами типу — вездесущим лакомством в Ганаме. Они сели на террасе — лица в тени, остальное на солнцепеке — и начали щелкать семена. Типичные антропоиды, как сказала Риель. Она встретила Шана с дружеской теплотой. Но обе женщины вели себя настороженно. Они наблюдали за ним и ни о чем не спрашивали, будто ожидали увидеть признаки... Признаки чего? Сколько же дней он не встречался с ними?

Его тело содрогнулось от внезапной тревоги. Ритм мира нарушился, и этот пропущенный такт был таким основательным, что Шан уперся руками в теплый песчаник. Неужели землетрясение? А что? — успокаивал он себя. Город построен между двумя вулканами. Пусть они спят, но толчки иногда сотрясают землю. От стен отваливаются куски глины, с крыш летит оранжевая черепица...

Форист и Риель внимательно смотрели на него. Почва не тряслась, и ничего не падало.

— У Далзула возникла проблема, — сказал он.

— Она должна была возникнуть, — невозмутимо ответила Форист.

— В городе объявился претендент на трон — наследник или просто авантюрист, стремящийся к власти. Принцесса ушла к нему. Но она по-прежнему говорит Далзулу, что тот будет королем. Если его соперник взойдет на престол, он уничтожит всех, кто стоит на стороне Виаки и Далзула. Наш командир надеется избежать кровопролития и пытается решить эту неприятную ситуацию.

— О, он бесподобен в своих решениях, — сказала Форист.

— Тем не менее Далзул чувствует, что попал в тупик. Ему непонятна та роль, которую играет принцесса. Я думаю, что это самая большая из его проблем. Поведение принцессы остается для меня загадкой. Но, может быть, вы догадываетесь, почему она сначала бросилась в объятия Далзула, а затем ушла к его сопернику?

— Подожди. Ты говоришь о Кет? — осторожно спросила Риель.

— Да, он называет ее принцессой. А разве это не так?

— Я не знаю, что Далзул подразумевает под этим словом. Оно имеет множество вторичных значений. Если мы остановимся на определении «королевская дочь», то оно не будет соответствовать истине. Здесь нет королей.

— Да, в настоящее время...

— Вообще, — сказала Форист.

Шан подавил вспышку гнева. Он устал быть непонятливым мальчиком. Впрочем, Форист всегда отличалась безжалостной категоричностью.

— Послушайте, — сказал он, обращаясь к обеим женщинам, — я, наверное, чего-то не знаю. Просветите меня. Мне казалось, что прежний король скончался, оставив после себя единственную дочь. Народ решил найти ей до-

стойного супруга, и в это время с небес к ним спустился Далзул. Его чудесное появление было воспринято как божественное указание. Вот тот мужчина, кто будет держать скипетр, сказали они. Разве это не так?

— Насчет божественного указания ты, возможно, прав, — сказала Риель. — Это определенно относилось к священным вопросам.

Она нерешительно взглянула на Форист, и Шан понял, что обе женщины разделяли одно и то же мнение. Но в данный момент они не хотели принимать его в свой круг. Они больше не были одной командой. Что означала эта странная отчужденность?

— А кто соперник Далзула? — спросила Форист. — Кто претендент на престол?

— Мужчина по имени Акета.

— Акета?!

— Вы знаете его?

Они снова переглянулись друг с другом. Форист повернулась и посмотрела ему прямо в глаза.

— Мы вышли из синхронизации, Шан, — сказала она. — Я подозреваю, что у нас возникла чартен-проблема. Какая-то разновидность хаотического переживания, которое ты имел на «Шоби».

— Здесь? Сейчас? После того как мы пробыли на планете дни и недели?

— Где здесь? — бесстрастно спросила Форист. Шан похлопал ладонью по каменной плите:

— Смотри! Мы находимся во дворе вашего дома. Тут нет и намека на хаотическое переживание. Мы разделяем эту реальность — разделяем ее когерентно, созвучно! Мы сидим на террасе и едим семена типу!

— Я тоже в этом убеждена, — ласково сказала Форист, словно Шан был больным капризным ребенком. — Но, возможно, мы... переживаем эту реальность немного иначе.

— Это происходит со всеми, где угодно, — возразил он ей. Форист придвинула к нему книгу, которую читала, когда он вошел. Томик стихов в изящном переплете? Но на «Гэльбе» не было книг! Плотная коричневая бумага... Такие древние рукописные книги он видел в терранской библиотеке Нью-Каира. Не том, а кирпич, подушка, кор-

зина. Книга на незнакомом языке, с резными деревянными обложками и золотыми шарнирными петлями.

— Что это? — почти неслышно спросил Шан.

— Священная история городов под Йянанамом, — ответила Форист. — Так нам сказали.

— Одна из их книг, — добавила Риель.

— Они неграмотные варвары, — возразил Шан.

— Лишь некоторые из них, — ответила Форист.

— Вернее, многие, — сказала Риель. — Однако торговцы и жрецы умеют читать. Эту книгу дал нам Акета. Мы обучаемся у него языку и письменности. Он превосходный учитель.

— Мы считаем, что он ученый и жрец, — пояснила Форист. — В этом городе есть люди, которые выполняют особые функции. Эти обязанности настолько связаны с религией, что мы могли бы назвать их духовными, но на самом деле они больше похожи на ремесла, профессии и занятия. Они очень важны для гаман и всей структуры их общества. Для каждой из них требуется определенный человек. Если места остаются вакантными, ситуация выходит из-под контроля. Это как если бы ты имел талант, не использовал его и в результате страдал расстройством психики. Многие функции приурочены к сезонным событиям — например, роли, которые люди выполняют на ежегодных праздниках. Но некоторые обязанности действительно очень важны и престижны — причем предназначены только для мужчин. По нашему мнению, местные мужчины обретают свой статус лишь после того, как принимают на себя какую-нибудь духовную обязанность.

— Мужчины выполняют в городе основную работу, — возразил Шан. — Зачем им какой-то статус, если от них и так все зависит?

— Я не знаю, — ответила Форист. Нехарактерная для нее любезность подсказала Шану, что он еще не взял над собой контроль.

— Мы считаем, что это общество лишено полового доминирования. Здесь нет разделения труда по половым признакам, хотя из всех видов брака наиболее общим является многомужие — по два-три мужа на семью. Многие женщины вообще не вступают в гетеросексуальные связи, потому что склонны к ихеа — групповым гомосексуаль-

ным отношениям с тремя, четырьмя или более подругами. Интересно, что среди мужчин ничего подобного не наблюдается...

— Проще говоря, у принцессы Далзула есть несколько мужей, и Акета входит в их число, — сказала Риель. — Между прочим, его имя переводится как «первый и родовой муж Кет». Родовая связь говорит о том, что их предки появились из одного и того же вулкана. Во время предыдущего визита Далзула он по каким-то делам находился в долине Спонта.

— Мы считаем, что Акета занимает очень высокий духовный пост. Возможно, это объясняется тем, что он муж Кет, а она здесь очень важная персона. Судя по всему, его статус является самым престижным среди мужчин. И нам кажется, что местные мужчины наделяются статусом для компенсации их ущербности — ведь они не могут рожать детей.

Шан снова почувствовал порыв гнева. По какому праву эти женщины читали ему лекцию о половых различиях и маточной зависти? Ярость, как морская волна, наполнила его соленой злобой, затем отхлынула и исчезла. Рядом с ним сидели его хрупкие сестры, и солнечные пятна играли на каменных плитах.

Он посмотрел на странную тяжелую книгу, раскрытую на коленях Форист, и спросил:

— О чем в ней говорится?

— Я знаю лишь несколько слов. Акета дал нам ее как учебное пособие. В основном я рассматриваю картинки. Как маленькая девочка.

Перелистнув страницу, она показала ему небольшой золотистый рисунок: мужчины в изумительно красивых нарядах и головных уборах танцевали под пурпурными склонами Йянанама.

— Далзул считает, что они еще не придумали письменность. Он должен увидеть это.

— Он уже видел их книги, — ответила Риель.

— Но...

Шан замолчал, не зная, что сказать. Риель положила ладонь на его плечо и задумчиво произнесла:

— Давным-давно на Терре один из антропологов посетил удаленное и изолированное арктическое племя. Он

выбрал самого смышленого из мужчин и забрал его с собой в огромный город Нью-Йорк. Невероятно, но наибольшее впечатление на этого дикаря произвели два каменных шара, украшавших парадную лестницу отеля. Он ликовал, осматривая их, и его не интересовали высотные здания, машины и улицы, заполненные людьми...

— Мы полагаем, что чартен-проблема основывается не только на впечатлениях, но и ожиданиях, — сказала Форист. — Какая-то часть нашего сознания намеренно создает смысл мира. Мы смотрим на хаос, выискиваем отдельные фрагменты и строим из них свой мир. Так поступают дети, и так поступаем мы. Люди отфильтровывают бóльшую часть того, о чем рапортуют их чувства. Мы сознательны только к тому, что хотим осознавать. При чартене вся вселенная обращается в хаос, и, когда мы выходим из него, нам приходится реконструировать мир. Мы хватаемся за все, что узнаем. Но стоит нам уцепиться за какой-то фрагмент мироздания, как остальное само пристраивается к нему.

— Каждый из нас может сказать «я», и это породит бесконечное число сентенций, — добавила Риель. — Но уже следующее слово начинает выстраивать непреложный синтаксис. «Я хочу...» При последнем слове в нашем утверждении вообще не может быть хаоса. Хотя при этом приходится использовать только те слова, которые мы знаем.

— Благодаря этому мы и вышли из хаотических переживаний на «Шоби», — сказал Шан.

У него внезапно заболела голова. Боль сплелась с пульсом и прерывисто застучала в обоих висках.

— Чтобы не сойти с ума, мы конструировали синтаксис происходящего. Мы рассказывали друг другу нашу историю.

— И старались рассказывать ее правдиво, — напомнила Форист.

— Ты считаешь, что Далзул нам лгал? — спросил Шан, массируя виски.

— Нет. Но что он рассказывал? Историю Ганама или историю Далзула? Простые люди, похожие на детей, провозгласили его королем. Прекрасная принцесса предложила ему стать ее мужем...

— Но она действительно предложила...

— Это ее работа. Ее обязанность. Она здесь верховная жрица. Ее титул «анам» Далзул перевел как «принцесса», но мы считаем, что данное слово означает «земля». Понимаешь? Земля, почва, мир. Она — земля Ганама, которая с честью приняла чужеземца. И это действие потребовало какой-то ответной функции, которую Дарзул интерпретировал как «королевский сан». Но они не имеют королей. Ему предлагается какая-то священная роль — возможно, супруга анам. Не мужа Кет, а духовного супруга! И только в те моменты, когда она выступает в роли анам. Жаль, что мы не знаем всех деталей. Боюсь, Далзул не понимает, какую ответственность берет на себя.

— Между прочим, мы тоже можем испытывать чартен-проблему, — сказала Риель. — Ничуть не меньше Далзула. Но как нам убедиться в этом?

— Помогло бы сравнение записей, — ответила Форист. — Наших и твоих. Шан, ты нам нужен.

«Они все говорят одно и то же, — подумал он. — Далзулу нужна моя помощь. И этим тоже. А как я им могу помочь? Я не понимаю, куда мы попали. Мне ничего не известно об этом мире. Я только могу сказать, что камень под моей ладонью кажется теплым и шершавым.

И еще я знаю, что эти две умные красивые женщины пытаются быть честными со мной.

И еще я знаю, что Далзул великий человек, а не глупец, эгоист и лжец.

Я знаю, что камень шершавый, солнце горячее, а тень прохладная. Я знаю сладковатый вкус зерен типу, их треск на зубах.

Я знаю, что, когда Далзулу исполнилось тридцать, ему поклонялись как богу. Пусть даже он и отрицал это поклонение, но оно изменило его. И теперь, постарев, он помнил, что значит быть королем...»

— У вас есть какие-нибудь сведения о том духовном сане, который ему предстоит принять? — хрипло спросил Шан.

— Ключевым словом является «тодок» — посох, жезл или скипетр. Титул произносится как «тодогай» — тот, кто держит скипетр. Таким образом, Далзул имеет право держать в руках какой-то жезл. Он перевел этот титул как «король». Но мы не думаем, что данное слово означает человека, имеющего власть.

— Повседневные решения принимаются советниками, — сказала Риель. — Жрецы же обучают людей, проводят церемонии и... держат город в духовном равновесии.

— Иногда их ритуалы требуют кровавых жертв, — добавила Форист. — Мы не знаем, что именно придется сделать Далзулу. Но ему лучше выяснить это заранее.

Шан огорченно вздохнул.

— Я чувствую себя глупцом, — сказал он.

— Из-за того, что ты влюблен в Далзула?

Черные глаза Форист смотрели прямо ему в лицо.

— Я уважаю тебя за это, Шан. Но, думаю, он нуждается не в любви, а в помощи.

Выходя из ворот, он чувствовал, как Форист и Риель провожают его взглядами. Он медленно шагал по каменной дороге, ощущая их нежную заботу, соучастие и общность.

Шан направился к рыночной площади.

«Мы должны собраться вместе и пересказать друг другу нашу историю», — говорил он себе. Но слова казались поверхностными и пустыми. «Я должен слушать, — повторял он мысленно. — Не беседовать, не говорить, а слушать. Стать безмолвным».

И он слушал, шагая по улицам Ганама. Он пытался думать, чувствовать, видеть своими глазами, быть самим собой в этом мире — в этом, а не в том, что придумали он, Далзул, Риель и Форист. Он пытался принять эти непокорные и неизменные горы, камни и глину, сухой прозрачный воздух, дышащие тела и мыслящие умы.

Продавец в одной краткой музыкальной фразе расхваливал свой товар. Пять нот, чарующий ритм, «ТАтаБАНаБА», и после паузы та же фраза. Снова и снова, сладко и бесконечно. Мимо него прошла женщина. Шан рассмотрел ее до мельчайших подробностей, буквально за одно мгновение: низкорослую, с мускулистыми руками, с озабоченным выражением широкого лица, с тысячью мелких морщинок, отпечатанных солнцем на глиняной гладкости кожи. Она прошла мимо, не замечая его, будучи сама собой, без конструирования реальности, без перекрестных проверок, недосягаемая, чужая и абсолютно непонятная.

Значит, пока все правильно. Грубый камень, согревавший ладонь, такт на пять ударов, и маленькая женщина, ушедшая по своим делам. Но это было только началом.

«Я сплю, — подумал он. — С тех пор, как мы оказались здесь. И это не кошмар, как на «Шоби», а хороший, сладкий и тихий сон. Но кому он принадлежит — мне или Далзулу? Все время оставаясь рядом с ним, глядя на мир его глазами, встречая Виаку и других, празднуя на пирах и слушая музыку... Изучая их танцы, изучая игру на барабанах и ганамскую кулинарию... Подрезая деревья в садах... Сидя на террасе и щелкая семена типу... Это солнечный сон, наполненный музыкой, деревьями, дружелюбием и мирным уединением. Мой добрый сон, удивительный и противоречивый. Без королевской власти, без прекрасной принцессы, без претендентов на трон. Я ленивый человек с ленивыми снами. Мне нужна Тай. Чтобы она разбудила меня, раздразнила, заставила жить. Я нуждаюсь в этой сердитой женщине — в моем милом и строгом друге.

Впрочем, ее могут заменить Риель и Форист. Они любят меня, несмотря на мою леность. Они способны выбить лень из любого мужчины».

В его уме возник странный вопрос. «Знает ли Далзул, что мы тоже здесь? Вполне понятно, что Риель и Форист не существуют для него как женщины. Но существую ли я для него как мужчина?»

Он даже не стал искать ответ на этот вопрос. «Я должен встряхнуть его как следует, — подумал он. — Ввести в гармонию какую-то толику диссонанса, синкопировать ритм. Я приглашу его к ужину и поговорю с ним начистоту», — решил Шан.

Несмотря на свой внушительный вид зрелого мужчины с ястребиным носом и свирепым лицом, Акета оказался очень мягким и терпеливым учителем.

— Тодокью нкенес эбегебью, — с улыбкой повторил он пятый раз.

— Скипетр... чем-то... наполняется? Господством свыше? Он что-то воплощает? — спрашивала Форист.

— Связан с чем-то... символизирует? — шептала Риель.

— Кенес! — сказал Шан. — Электричество. Вот слово,

которое мои спутники использовали, описывая генератор тока. Сила!

— Значит, скипетр символизирует силу? — спросила Форист. — Вот так откровение! Дерьмо!

— Дерьмо! — повторил Акета.

Ему понравились звуки этого слова.

— Дерьмо! Дерь-мо!

Используя искусство мима, Шан в танце изобразил вулкан и водопад. Затем начал имитировать движение колес, плеск струй и жужжание динамомашины. Шан ревел, пыхтел и издавал различные звуки, не обращая внимания на недоуменные взгляды женщин. В интервалах между новыми взмахами рук он, как встревоженная наседка, выкрикивал одно и то же слово:

— Кенес? Это кенес?

Улыбка Акеты стала еще шире.

— Соха, кенес, — согласился он и жестами показал скачок искры от кончика пальца к другому. — Тодокью нкенес эбегебью.

— Скипетр означает и символизирует электричество! — сказал Шан. — Теперь все ясно. Если человек принимает скипетр, он становится «жрецом электричества». Мы знаем, что Акета — «жрец библиотеки», Агот — «календарный жрец». А тут у них появится еще один коллега.

— Это имеет смысл, — согласилась Форист.

— Но почему они избрали своим главным электриком Далзула? — спросила Риель.

— Потому что он спустился с неба, как молния! — ответил Шан.

— А разве они выбирали его? — спросила Форист. Какое-то время все молчали. Акета, внимательный и терпеливый, смотрел на них, ожидая продолжения разговора.

— Как будет «выбор»? — спросила Форист у Риель. — Сотот?

Она повернулась к их учителю:

— Акета. Дазу... нтодок... сотот?

Тот печально вздохнул и, кивнув, ответил:

— Соха. Тодок нДазу ойо сотот.

— Да. Это скипетр избрал Далзула, — прошептала Риель.

— Ахео? — спросил Шан. — Почему?

Но из объяснений Акеты им удалось понять лишь несколько слов: земля, обязанность, священный ритуал.

— Анам, — повторила за ним Риель. — Кет? Анам Кет?

Черные как уголь глаза Акеты встретились с ее взглядом. Полнота его молчания сковала терран нерушимыми узами безмолвия. И когда он наконец заговорил, их поразила печаль его слов.

— Ай Дазу! Ай Дазу кесеммас!

Акета встал, и они, следуя ритуалу вежливости, тоже поднялись на ноги, поблагодарили его за учение и вышли из дома. Как послушные дети, подумал Шан. Прилежные ученики. Но какое знание они изучали?

Тем вечером он сидел на террасе и играл на маленьком гаманском бубне, а Абуд, уловив знакомый ритм, напевал ему тихую песню.

— Абуд, мету? — спросил Шан. — Объяснишь мне слово?

— Соха, — ответил его собеседник, привыкший к этому вопросу за последние несколько дней.

Этот печальный юноша терпел все странности чужеземца. А может быть, просто не замечал их, как думал сам Шан.

— Кесеммас, — сказал он.

— О-о! — произнес Абуд, затем медленно повторил «кесеммас» и начал говорить что-то совершенно непонятное.

Шан скорее наблюдал за ним, чем пытался уловить слова. Он смотрел на жесты и лицо, прислушивался к тону. Земля, низ, тихо, копать? Гамане хоронили своих мертвых. Значит, мертвый, смерть?

Шан мимикой изобразил умиравшего человека, но Абуд нарочито отвернулся. Он никогда не понимал его шарад. Пожав плечами, Шан снова поднял бубен и воспроизвел тот танцевальный ритм, который услышал на вчерашнем празднике.

— Соха, соха, — похвалил его Абуд.

— Я еще никогда не беседовал с Кет, — сказал Шан командиру. Ужин удался на славу. Он сам приготовил его при содействии Абуда, который помог ему не пережарить

фирменное блюдо. Полусырая фезуни, смоченная свирепым перцовым соусом, оказалась просто восхитительной. Как всегда в присутствии Далзула, застенчивый Абуд сохранял почтительное молчание. Отведав пищи, он церемонно раскланялся с ними и ушел в свою комнату. Шан и Далзул остались на террасе, в объятиях пурпурных сумерек. Сидя на маленьких ковриках, они щелкали семена типу, пили ореховое пиво и любовались сияющими точками звезд, которые медленно проявлялись на небе.

— Все мужчины для нее являются табу, — ответил Далзул. — Кроме короля, которого она избрала.

— Но она замужем, — произнес Шан. — Разве вы не знали?

— О нет! Принцесса должна оставаться девственной и ждать своего избранника. А потом она будет принадлежать только ему. Это иерогамия — священный брак.

— Гамане предпочитают многомужие, — как бы между прочим сказал Шан.

— Ее союз с моим соперником стал фундаментальным нарушением королевского церемониала. Фактически ни она, ни я не имеем реального выбора. Вот почему ее неверность вызывала столько проблем. Она пошла против правил общества.

Далзул поднял чашу с пивом и сделал большой глоток.

— Что заставило их выбрать меня королем в первый раз? Мое эффектное сошествие с небес. И наш вторичный прилет лишь испортил их отношение ко мне. Я нарушил правила, улетев от принцессы. Но что хуже всего — я вернулся не один. Когда необычная персона спускается с небес, это нормальное явление. Но когда их четверо, когда они делятся на мужчин и женщин, лопочут на детском языке, задают глупые вопросы, едят, пьют и испражняются, это уже беда. Мы не ведем себя как святые. И они отвечают нам тем же — нарушением правил и норм. Примитивные представления о мире очень жесткие. Они ломаются при любом напряжении. Мы внесли в это общество совершенно недопустимый элемент распада. И во всем виноват только я.

Шан огорченно вздохнул.

— Это не ваш мир, сэр, — сказал он командиру. — Это мир гаман. И они сами несут за него ответственность.

Он смущенно покашлял.

— Лично мне они не кажутся примитивными. Эти люди пользуются письменностью и стальными предметами. Им знакомы принципы электричества, а их социальная система выглядит настолько гибкой и стабильной, что Форист...

— Я по-прежнему называю ее принцессой, хотя недавно понял, что этот термин неточен, — сказал Далзул, опуская пустую чашу. — Мне следовало бы назвать ее королевой. Кет — королева Ганама. Или королева гаман. Она говорит, что «Ганам» переводится как «соль самой планеты».

— Да, Риель сказала...

— Так что в этом смысле она является Землей, а я — Космосом, то есть Небом. Мой прилет в этот мир создал божественную связь, мистический союз огня и воздуха с солью и водой. Мифология древних воплотилась в живой плоти. Она не может отвернуться от меня. Ее отказ нарушит весь порядок мироздания. Ибо если отец и мать находятся в единении, их дети послушны, счастливы и здоровы. Ответственность родителей абсолютна и безоговорочна. Не мы их выбираем, а они выбирают нас. И поэтому ей придется выполнить свой долг перед людьми.

— Риель и Форист выяснили, что она уже несколько лет состоит в браке с Акетой. А от второго мужа у нее родилась дочь.

Шан удивился своему охрипшему голосу. Его рот был сухим, а сердце стучало, словно после сильного испуга. Но чего он боялся? Стать непокорным?

— Виака сказал, что может вернуть ее во дворец, — сказал Далзул. — Однако это чревато бунтом во фракции претендента.

— Командир! — закричал Шан. — Кет — замужняя женщина! Как жрица Земли она выполнила свой долг перед вами и вернулась в семью! Все кончено! Неужели не ясно? Акета — ее муж, а не ваш соперник. Ему не нужны ни скипетр, ни корона, ни другие символы власти!

Далзул молчал, и сгущавшиеся сумерки скрывали выражение его лица.

Шан был в отчаянии:

— Пока мы не узнали обычаи этого общества, вам

лучше отступить. Не позволяйте Виаке похищать Кет из дома.

— Я рад, что вы поняли это, — сказал Далзул. — И хотя мне уже не избавиться от своей вовлеченности в текущие события, мы не должны вмешиваться в религию этих людей. Увы, власть налагает ответственность! Мне пора уходить. Спасибо за приятный вечер, Шан. Мы по-прежнему можем петь в унисон, как члены экипажа, верно?

Он встал и помахал рукой:

— Спокойной ночи, Форист. До скорой встречи, Риель.

Похлопав Шана по спине, Далзул прошептал:

— Спасибо вам, Шан. Спокойной ночи!

Он зашагал через двор — легкая прямая фигура, белый отблеск в темноте под яркими звездами.

— Я думаю, мы должны забрать его на корабль. Понимаешь, Форист, его иллюзии усиливаются с каждым днем.

Шан сжал кулаки до хруста в костяшках пальцев:

— Он будто грезит. Как, возможно, и я. Но ведь мы втроем находимся в одинаковой реальности... Или это тоже вымысел?

Форист мрачно кивнула.

— Чартен-проблема становится все запутаннее и сложнее, — сказала она. — Похоже, ты прав, и «кесеммас» действительно означает смерть или убийство... Риель считает, что это жестокая казнь. Недавно у меня было ужасное видение, в котором бедняга Далзул совершал ужасное жертвоприношение. Перерезая горло невинному ребенку, он верил, что изливает на алтарь благовонное масло и разрезает ритуальную ленту. Мне бы очень хотелось вырвать его из этого мира. И вырваться самой. Но как?

— А если мы трое пойдем к нему...

— И поговорим об этом? — с сарказмом спросила Форист.

Чтобы увидеться с Далзулом, им пришлось простоять полдня перед домом, который их командир называл дворцом. Старик Виака, встревоженный и нервный, пытался отослать незваных гостей, но они продолжали настаивать на встрече. В конце концов Далзул вышел во двор и по-

приветствовал Шана. Он не воспринимал присутствия Риель и Форист, и если поступал так притворно, то это могло считаться великолепным исполнением роли. Он совершенно не обращал внимания на слова двух женщин и не осо́знавал их прикосновений.

Шан начал сердиться:

— Командир! Форист и Риель тоже здесь. Взгляните! Вот они!

Далзул посмотрел в том направлении, куда указывал Шан, и снова повернулся к нему. На его лице было такое ошеломляющее сострадание, что Шан на всякий случай сам взглянул на женщин. На миг ему показалось, что это он находился в плену галлюцинаций.

— Настало время возвращаться, — мягко и ласково сказа́л Далзул. — Вы согласны?

— Да... Думаю, мы должны вернуться.

Слезы жалости, облегчения и стыда обожгли ему глаза и сжали горло.

— Надо улетать. Наша затея не удалась.

— Скоро полетим, — сказал Далзул. — Теперь уже скоро. Не волнуйтесь, Шан, — ваша тревога объясняется возросшими аномалиями восприятия. Отнеситесь к этому спокойно, как в начале нашей экспедиции. И помните, вы в полном порядке. Как только пройдет коронация...

— Нет! Мы должны улететь сейчас...

— Шан, по воле случая я взял на себя несколько обязательств и должен их выполнить. Если я отрекусь от них, фракция Акеты обнажит мечи...

— У Акеты нет меча, — пронзительным и громким голосом сказала Риель.

Шан никогда еще не видел ее в такой истерике.

— У этих людей нет мечей! Они их не делают!

Однако Далзул продолжал говорить о своем:

— Как только церемония закончится и королевская власть будет провозглашена, мы улетим домой. Ритуал займет от силы час, а потом я вернусь и отвезу вас в порт Ве. Или вообще в антивремя, как говорят шутники. Прошу, перестаньте тревожиться о том, что никогда не было вашей проблемой. Это я втянул вас в нее. Все под контролем, дружище.

— Неужели вы не понимаете... — начал было Шан, но длинная черная ладонь Форист легла на его плечо.

— Бесполезно, — сказала она. — Безумие сильнее благоразумия. Пойдем. Я больше не могу выносить это зрелище.

Далзул спокойно отвернулся, словно они уже покинули его.

— Выбор невелик, — подытожила Форист, когда они вышли на полуденный зной под ослепительный солнечный свет. — Нам надо либо дождаться этой церемонии вместе с ним, либо треснуть его по голове и утащить на корабль.

— Лично я за второе предложение, — сказала Риель.

— Если мы затащим Далзула на корабль помимо его воли, он не вернет нас в Ве, — возразил им Шан. — Скорее всего Далзул снова полетит сюда, и ситуация станет намного хуже. Что, если, спасая Ганам, он разрушит этот мир?

— Шан! Остановись! — сказала Риель. — Разве город Ганам — это мир? Разве Далзул — всемогущий бог?

Он с недоумением посмотрел на нее, не зная, что ответить. Мимо прошли две женщины, с любопытством поглядывая на пришельцев с небес. Одна из них приветливо кивнула:

— Ха, Фоис! Ха, Иель!

— Ха, Тасасап! — ответила ей Форист.

Риель, сверкнув глазами, повернулась к Шану:

— Ганам — это маленький городок на большой планете, которую местные жители называют Анам. Люди в долине именуют ее по-другому. Мы видели лишь крохотную часть этого огромного мира. И потребовались бы годы, чтобы хорошо познакомиться с ним. Попав в тиски чартен-проблемы, Далзул потерял здравомыслие и заразил безумием нас. Не знаю, насколько я права, но меня сейчас это мало волнует. Далзул вмешался в священные дела, и его поступки могут вызвать большие беспорядки. Но пусть об этом тревожатся гамане — те люди, которые здесь живут! Это их территория! И одному человеку не под силу спасти или уничтожить целый народ! Они имеют свою собственную историю и рассказывают ее векам! Я не понимаю их уклада жизни, потому что не знаю языка. Воз-

можно, для них мы просто четверо идиотов, упавших с небес!

Форист обвила руками ее плечи и прижала к себе.

— Когда она волнуется, это возбуждает, правда? Ну, не хмурься, Шан. Акета не собирается убивать домочадцев Виаки. И я еще ни разу не видела, чтобы эти люди разрешали нам вмешиваться в какие-то серьезные дела. У них тут все под контролем. Нам лишь остается дождаться церемонии и спокойно отправиться домой. Возможно, этот ритуал не так уж и важен, как кажется Далзулу. Когда он выполнит его и успокоится, мы попросим командира вернуть нас в Ве. Он обязательно сделает это, потому что... — Она вдруг часто заморгала и закончила фразу уже без всякого сарказма: — Потому что он относится к нам как отец.

Они не виделись с командиром до самого дня церемонии. Далзул не выходил из дворца, и по приказу Виаки к нему не пускали никаких посетителей. Что касается Акеты, то он, очевидно, не имел права вмешиваться в другие сферы священных полномочий — и не стремился к этому.

— Тезиеме, — сказал он.

И это означало примерно следующее: «Все пойдет своим путем». Он не радовался этому, но и не желал оказывать противодействие.

Утром в день церемонии на рыночной площади начала собираться толпа. Никто ничего не покупал и не продавал. Гамане надели свои лучшие килты и самые яркие жилеты. Мужчины, обладавшие духовным саном, отличались от других массивными золотыми серьгами, высокими головными уборами и плюмажами из перьев. Макушки малышей и подростков были вымазаны красной охрой. Этот праздник не походил на остальные торжества — например, на церемонию восходящей звезды, которая проводилась несколькими днями раньше. Никто не танцевал, никто не готовил хлеб, и музыки тоже не было. Большая толпа вела себя торжественно тихо и серьезно.

Наконец двери дома, принадлежавшего Акете — а точнее, Кет, — широко открылись, и оттуда под знобящий и тревожный бой барабанов вышла колонна жрецов. Барабанщики, стоявшие на улице перед домом, присоединились к концу колонны. Казалось, весь город вздрогнул и затрепетал от мерного и тяжелого ритма.

Шан видел Кет только на видеозаписи, сделанной во время первого визита Далзула. Тем не менее он тут же узнал ее. Это была строгая красивая женщина. Ее головной убор выглядел менее пышным, чем у многих мужчин, но его украшали длинные золотые ленты. Он гордо покачивался при ее ходьбе, и в такт ему кивали красные перья на плетеном уборе Акеты, который шагал рядом. Слева от жрицы шел другой мужчина...

— Кеткета, ее второй муж, — прошептала Риель. — А около него идет их дочь.

Девочке было не больше пяти лет. Она величественно шествовала в первом ряду вместе с родителями. Концы ее грубых черных волос казались бурыми от красной охры.

— В этой колонне собрались все жрецы из вулканического рода Кет, — пояснила Риель. — Вот там — «вращатель земли». А тот старик считается «календарным жрецом». Многих я не знаю. О господи! Как их много...

В ее шепоте чувствовалась нервная дрожь.

Процессия свернула налево и, покинув рыночную площадь, двинулась под тяжелый барабанный бой к дому Виаки. У желтых стен этого неуклюжего глиняного «дворца» Кет вышла вперед и приблизилась к воротам. Толпа разом остановилась. Барабанщики продолжали выбивать надсадный ритм, постепенно замолкая, пока не остался один мерный стук, изображавший сердце. Потом это «сердце» остановилось, и наступила ужасающая тишина.

Из колонны вышел мужчина в высоком головном уборе, с плюмажем из переплетенных перьев. Он громко позвал:

— Сем айатан! Сем Дазу!

Ворота медленно открылись. В проеме стоял Далзул — освещенная солнцем фигура на фоне серого полумрака. Он был одет в черную форму с серебряными полосами. И волосы его сияли, как серебристый нимб.

Окруженная безмолвием толпы, Кет подошла к нему, опустилась на колени и торжественно произнесла:

— Дазу, сототию.

— Далзул, ты избран, — прошептала Риель. Он улыб-

нулся и протянул руки к Кет, намереваясь поднять ее. В толпе, как порыв холодного ветра, пронесся шепот. Послышались огорченные восклицания и удивленные вздохи. Кет резко приподняла голову, вскочила на ноги и, гордо уперев руки в бока, свирепо посмотрела на Далзула.

— Сототию! — повторила она и, отвернувшись, зашагала обратно к своим мужьям.

Барабаны откликнулись мягким боем, похожим на звук дождя. Передние ряды колонны образовали полукруг, и Далзул величаво и медленно занял место, которое освободили для него. Барабанный бой усилился, превращаясь в громовой рокот. Он то подкатывал ближе, то удалялся, становясь то громче, то тише. С удивительной синхронностью процессия двинулась вперед. В ее единодушии было что-то от стаи рыб или птиц.

Горожане последовали за колонной — и вместе с ними Форист, Риель и Шан.

— Куда они направляются? — спросила Форист, когда процессия вышла за городские ворота и двинулась по узкой дороге среди садов.

— Эта тропа ведет к Йянанаму, — ответил Шан.

— К вулкану? Так вот, значит, где будет проходить ритуал.

Барабаны стучали. Солнечный свет бил в лицо. Сердце Шана колотилось о ребра, а ноги взбивали пыль. И все это сплеталось в тревожный пульсирующий ритм, который настраивал их на что-то неотвратимое. Мысль и речь потерялись в вибрации мира, и остался лишь ритм, ритм, ритм, ритм.

Процессия жрецов и следовавшие за ними горожане остановились. Три терранина продолжали пробираться сквозь толпу, пока не оказались в первых рядах неподалеку от колонны. Барабанщики перестроились и сместились в сторону. Они по-прежнему имитировали громовые раскаты. Кое-кто в толпе — особенно люди с детьми — отступали назад к повороту крутой тропы. Никто не говорил. Рев водопада и шум стремительного горного потока заглушали даже бой барабанов.

Они находились примерно в ста шагах от небольшого каменного здания, в котором располагалась динамомашина. Кет, ее мужья, домочадцы и жрецы, украшенные

перьями, расступились и образовали проход, который вел к потоку. У подножия каменных ступеней, спускавшихся прямо в воду, тянулась широкая площадка. Она была вымощена светлыми каменными плитами, по которым струилась прозрачная вода. Среди стремительных блестящих струй стоял сверкающий алтарь, или низкий пьедестал из чистого золота. Он был украшен замысловатыми фигурками людей в коронах и танцующих мужчин с алмазными глазами. На пьедестале лежал скипетр — простой, без всяких украшений посох из темного дерева или какого-то тусклого металла.

Далзул направился к пьедесталу.

Внезапно Акета выбежал вперед и встал перед каменной лестницей, закрывая ему дорогу. Он произнес звонким голосом несколько слов. Риель покачала головой, ничего не понимая. Пожав плечами, Далзул остановился, но, когда Акета замолчал, он снова пошел к ступеням.

Акета забежал вперед и указал на ноги Далзула.

— Тедиад! — закричал он. — Тедиад!

— Ботинки, — прошептала Риель.

Все жрецы и горожане были босыми. Заметив это, Далзул с достоинством опустился на колени, снял ботинки и носки, отбросил их в сторону и поднялся.

— Отойди, — тихо сказал он, и Акета, будто поняв его, отступил назад.

— Ай Дазу! — выкрикнул жрец, когда Далзул прошел мимо него.

— Ай Дазу! — мягко повторила Кет.

Под тихий шепот толпы и рев стремительного потока Далзул спустился по ступеням на площадку, затопленную водой. Он шел по мелководью, и верткие струи взрывались яркими брызгами вокруг его лодыжек. Далзул без колебаний обошел пьедестал и повернулся лицом к притихшей толпе. Вытянув руку, он с улыбкой сжал скипетр.

— Нет, — отвечал Шан, — у нас не было с собой видеокамер. Да, он умер мгновенно. Нет, я не знаю, сколько вольт подавалось на жезл. Мы считаем, что от генератора к алтарю шел подземный кабель. Да, конечно, они подготовили это заранее. Гамане думали, что он намеренно избрал

такую смерть. Далзул сам попросил их об этом, когда вступил в половую связь с Кет — со жрицей Земли, с Землей. Гамане полагали, что исполняют его желание. Откуда им было знать, что мы ничего не понимаем? Для них такой исход вполне закономерен. Тот, кто оплодотворяет Землю, должен умереть от Молнии. Мужчины, избравшие эту смерть, идут в Ганам. Это долгое путешествие, и Далзул прошел самый длинный путь. Нет, никто из нас тогда не подозревал о подобном ритуале. Нет, я не знаю, связано ли это с чартен-эффектом, с хаосом или перцептуальным диссонансом. Да, мы действительно воспринимали ситуацию по-разному. К сожалению, никто из нас не догадался об истине. Но он знал, что снова должен стать богом.

Еще одна история, или рыбак из Внутриморья

Стабилям Экумены на Хайне,
а также досточтимой Гвонеш,
директору Испытательной лаборатории
чартен-поля в космопорту Ве,
от Тьекунан, на Хидео из Второго седорету
поместья Удан, Дердан'над, Окет, планета О

Не судите меня строго за рапорт, составленный в виде повести, — с некоторых пор так оно мне привычнее. Вас, однако, может удивить также и то, с чего бы это простому фермеру с далекой О взбрело в голову посылать вам доклад, точно он полномочный мобиль Экумены. Мой рассказ прояснит это. Повествование — вот единственная наша ладья в потоке времен, но на его стремнине, порогах и водоворотах даже самое крепкое судно рискует порой стать утлым челном.

Итак — однажды, давным-давно, когда мне исполнился всего лишь двадцать один год, я покинул отчий дом и СКОКС[1]-звездолетом «Ступени Дарранды» отбыл на Хайн учиться в тамошней Экуменической школе.

Расстояние от моей родной планеты до Хайна — всего четыре световых года, и сообщение между нашими мирами существует уже двадцать веков. Даже до изобретения СКОКС-двигателей, когда корабли проводили в перелете сотни лет планетарного времени (вместо нынешних четырех), находились непоседы, готовые пожертвовать привычным образом жизни ради познания неведомых новых миров. Иногда они возвращались, но лишь очень немногие. Слыхивал я весьма печальные истории о появлении подобных странников в напрочь позабывших о них мирах. А одну очень древнюю повесть, предание о Рыбаке из

[1] Скорости околосветовой. (*Здесь и далее примеч. пер.*)

Внутриморья, я слышал от собственной матери — она привезла ее с собой с Терры, откуда родом. Жизнь ребенка на О вообще полна легенд и преданий, но из всех, что поведали мне в детстве мать, соматерь, оба моих отца, дедушки с бабушками, многочисленные тетки да учителя, эта была излюбленной. Возможно, потому, что мать всегда рассказывала ее с глубоким и искренним чувством, хотя просто и всегда слово в слово (а я был начеку и протестовал, если ей случалось хоть что-то сказать иначе).

Предание повествует о бедном рыбаке Юрасиме, который изо дня в день выходил в одиночку на своем утлом баркасе в безмолвное синее море, раскинувшееся между его родным островком и Большой Землей. Рыбак был молод и красив, по его плечам струились длинные черные косы, и дочь морского царя, увидев его однажды в солнечном ореоле, когда он склонился над бортом, не сумела отвести глаз.

Всплыв на гребень волны, морская царевна предложила юноше следовать за нею в ее подводные чертоги. Он сперва отказывался, ссылаясь на то, что дома его ждут голодные ребятишки. Но как мог бедный рыбак противиться воле дочери морского владыки, как мог устоять он перед ослепительной ее красотой? «На одну ночь», — сдался юноша. И царевна повлекла его в свой удивительный чертог, где провела с ним ночь любви в окружении прислужников — невиданных морских тварей. Юрасима так крепко полюбил царевну, что, возможно, провел на дне не одну только ночь, как собирался вначале. Но в конце концов он все же собрался с духом и вымолвил:

«Дорогая, я должен вернуться домой. Меня заждались мои дети». — «Если уйдешь, ты уйдешь навсегда», — загрустила царевна. «Я непременно вернусь к тебе», — обещал юноша. Царевна потупила очи. Горе ее было безмерно, но противиться она не стала. «Возьми с собою вот это, — молвила она, подавая возлюбленному прелестную крохотную шкатулку, запечатанную сургучной печатью. — И не открывай ее, возлюбленный мой Юрасима».

Тогда он выбрался на берег и поспешил к родной деревушке, к отчему дому. Но сад вокруг знакомых построек одичал и порос лопухом, а в самом доме, зиявшем пустыми глазницами окон, провалилась крыша. По деревне бродили какие-то люди, но Юрасима не встречал знакомых

лиц. «Где мои дети?» — в ужасе возопил он. Проходящая мимо женщина замедлила шаг и обратилась к нему: «В чем твое горе, юный странник?» — «Я — Юрасима, я живу в этой деревне, но я не вижу ни одного знакомого лица». — «Юрасима! — воскликнула женщина (тут моя мать устремляла взор куда-то в себя, а тон, которым она произносила имя героя, всегда вызывал во мне дрожь и слезы на глазах). — Юрасима! Мой дед рассказывал мне о рыбаке Юрасиме, сгинувшем в морской пучине в незапамятные времена, еще при жизни его собственного прапрапрадеда. Уже добрых сто лет никто из родичей погибшего не живет здесь».

В слезах, горьких и безутешных, вернулся Юрасима к берегу моря. Там он распечатал шкатулку, подарок дочери морского царя. Белый дымок вырвался изнутри и развеялся по ветру. В тот же миг волосы Юрасимы сделались белыми, а сам он начал дряхлеть и обратился в старца, глубокого ветхого старца. В бессилии он пал на песок и тут же умер.

Помнится, однажды некий странствующий учитель расспрашивал мою мать об истоках этой «небылицы», как сам он назвал предание о Юрасиме. Мать отвечала ему с вежливой улыбкой: «В императорских хрониках, бережно сохраняемых на Терре моим народом, существует запись о том, что некий юноша по имени Юрасима, исчезнувший в 477-м году, вернулся в родную деревню в 825-м и вскоре исчез снова. Слыхала я также, что шкатулка Юрасимы сберегалась в храмовой раке в течение многих столетий». Затем их беседа свернула на другую, менее интересную тему.

Моя мать Исако не желала рассказывать мне легенду о Юрасиме так часто, как я того требовал. «История эта такая печальная», — возражала она порой и рассказывала мне вместо нее предание о Праматери, или об укатившемся от старушки рисовом колобке, или о нарисованном коте, который ожил и разделался с демоническими крысами, или же об уплывшем вниз по реке очаровательном младенце в люльке. Моя сестра, кузены и свойственники, мои ровесники, а также родичи постарше — все слушали ее рассказы, затаив дыхание, как я. На О эти истории были внове, а всякая новая легенда — подлинное сокровище. История с нарисованным котом имела главный успех, особенно когда мать извлекала из сундука кисточку и пу-

зырек с удивительными угольными чернилами, давным-давно привезенными ею с родной Терры, и иллюстрировала свой рассказ набросками животных — кота, крыс, — которых никто из нас никогда не видел; кот на ее рисунках непередаваемо дыбил спину и отважно пучил глаза, крысы же подбирались к нему украдкой, злобно ощерив страшные ядовитые клыки — «обоюдоострые», как называла их моя сестра. И все равно после всех этих захватывающих повествований я упрямо ждал, когда мать поймает мой умоляющий взгляд, печально улыбнется в сторонку и, вздохнув, начнет: «Давным-давно, в незапамятные времена, жил-был один бедный юноша. Жил он себе, поживал, в рыбацкой деревушке на берегу Внутриморья...»

Разве я осознавал тогда, что означает эта легенда для нее самой? Что это история из ее собственной жизни? Что если она соберется однажды вернуться в прежний мир, к родным пенатам, то люди, которые были дороги ей, окажутся перешедшими в мир иной многие столетия тому назад?

Я, конечно, знал, что сама мать «явилась из другого мира», но что значило это для пяти-, семи- или даже десятилетнего несмышленыша — представить теперь непросто, а припомнить так и вовсе нет никакой возможности. Я знал, что мать терранка из проживавших на Хайне — для меня то было предметом особой гордости. Я хвастал, что прибыла мать на О как полномочный мобиль Экумены (моя безрассудочная гордыня раздувалась буквально до вселенских масштабов), а «на театральном фестивале в Судиране познакомилась с отцом, полюбив его с первого взгляда». Знал я также и то, что устройство женитьбы на О — занятие весьма мудреное и хлопотное. Получить удовлетворительный ответ Экумены на прошение об отставке было делом наипростейшим — там никогда не возражали против натурализации своих мобилей. Но как чужестранка Исако не относилась к кастам ки'Отов, и это было только первое из затруднений. Я узнал все эти интригующие подробности — неиссякаемый источник внутрисемейных шуточек и сплетен — от своей соматери Тубду. «Понимаешь, — рассказывала она мне, одиннадцати- или двенадцатилетнему мальчугану, с сияющим лицом и едва сдерживаемым утробным смехом, сотрясавшим все ее массивное туловище, — она ведь не знала даже, что женщины

женятся! Там, откуда она прилетела, женщинам, по ее же словам, дозволяется разве что замуж выйти!»

Я пытался возражать ей: «Так только в одной части Терры. Мама рассказывала, что есть множество других мест, где женщины преспокойно себе женятся». Я всегда стихийно вставал на защиту матери, хотя в словах Тубду не было ни намека на ее уничижение — она боготворила Исако, она «влюбилась в нее с первого же взгляда — о, эти алые губки, эти черные волосы!» — и просто находила чертовски забавным, что женщина подобных достоинств собиралась ограничиться браком с единственным мужчиной.

«Понимаю-понимаю, — спешила утихомирить мою горячность Тубду. — Я знаю: на Терре все по-иному, у них там проблемы с рождаемостью, им приходится заключать браки исключительно ради продолжения рода. Они, бедолаги, живут там куцыми парами. Ой бедняжка Исако! Каким же странным должно было показаться ей все здешнее! Припоминаю взгляд, которым встретила она меня впервые...» — И в отвислом животе Тубду снова начинало клокотать то, за что мы, дети, прозвали ее Большой Щекоткой, — ее нутряной тектонический смех.

Для тех, кто не знаком с нашими обычаями, следует пояснить, что на О — в мире с невысоким и стабильным уровнем населения и издревле неизменной технологией — необходимость определенных общественных мероприятий носит характер почти что повсеместный. Основой социального устройства здесь служат не столь города и страны, сколько рассеянные деревни или ассоциации фермерских хозяйств. Все население состоит из двух половин, или каст. Всякий новорожденный относится к материнской касте, а в целом все ки'Оты (за исключением горцев из Энника) делятся на Утренних, чье время от полуночи до полудня, и на Вечерних, чье время, соответственно, от полудня до полуночи. Священное происхождение и предназначение наших каст служит темой ежегодных Дискуссий и театральных фестивалей, а также составляет содержание проповедей в храме при каждом поместье. Изначальная их социальная функция заключалась предположительно в соблюдении экзогамии и предотвращении инбридинга на удаленных, изолированных от внешнего мира фермах — в силу того, что вступать в связь или брак на О допустимо

только с представителем противоположной касты. Правила эти, подкрепленные весьма суровыми карами, соблюдаются почти что неукоснительно. Отступников, которые изредка, но все же появляются, ожидает всеобщее презрение и категорический остракизм. Для индивидуума принадлежность к одной из двух каст не менее значима, чем собственно половые признаки, и играет решающую роль в его сексуальном выборе.

Брачный контракт ки'Отов, именуемый седорету, включает две пары — одну Утреннюю и одну Вечернюю; гетеросексуальные пары именуются Утренними или Вечерними в зависимости от кастовой принадлежности женщины, а гомосексуальные — женские Дневными, мужские Ночными.

Столь негибкая структура семейного устройства, в которой каждый из четверки должен быть сексуально совместим со всеми остальными (а двое из них могут оказаться абсолютно ему незнакомыми), требует, естественно, некоторой предварительной подготовки. Составление новых седорету — излюбленное занятие моих соотечественников. Поощряется экспериментирование, новые четверки складываются и распадаются, парочки то и дело «пробуют» одна другую. Профессиональные маклеры, традиционно пожилые вдовцы, путешествуют по разбросанным поместьям, организуя свидания, устраивая деревенские танцы — универсальный предлог для знакомства каждого с каждым. Множество браков начинается с любви одной парочки, не суть важно, гетеросексуальная она или гомосексуальная, к которой позднее «подшивается» еще одна или два отдельных кандидата. Множество иных седорету целиком, от начала и до конца, устраиваются деревенскими старейшинами. Послушать стариков, обсуждающих под большим деревом детали предстоящей свадьбы, — все равно что наблюдать мастерскую игру в шахматы или тидхе. «Если свести этого Утреннего мальчишку из Эрдапа с юным Тобо, к примеру, на мукомольне в Гад'де...» — «А разве Ходин'н из Утренних Ото — не программист? Программисту в Эрдапе ужо нашлась бы работенка...» Приданым предполагаемого жениха или невесты может быть как фермерское владение, так и определенное мастерство, единственно с учетом каковых в состав седорету попадают порой не самые желанные персоны. С другой же

стороны, фермерское хозяйство требует от новичков в первую очередь мозолистых рук. В общем, составлению браков на О нет начала и не будет конца. Я бы отметил еще, что от удачно сложившегося седорету маклеры и их добровольные помощники получают, похоже, куда большее удовлетворение, чем сами молодожены, виновники торжества.

Разумеется, есть множество людей, никогда не вступающих в брак. Ученые, странствующие проповедники, бродячие актеры и специалисты Центров крайне редко обрекают себя на гнетущую неизменность сельского седорету. Многие присоединяются к бракам своих братьев и сестер в качестве дядюшек и тетушек с весьма ограниченной и четко очерченной мерой ответственности; они вправе вступать в связь с любым из супругов, подходящим по касте — таким образом седорету разрастается порой с четырех до семи-восьми участников. Дети от подобных связей называются кузенами. Дети одной матери считаются братьями и сестрами; дети Утренних находятся в свойстве с детьми Вечерних. Братья, сестры и первые, то есть двоюродные кузены, не вправе вступать в браки между собой, свойственники же — вполне. В некоторых менее консервативных регионах О на браки свойственников тоже смотрят косо, но в моих краях они вполне уместны.

Мой отец был Утренний мужчина из поместья Удан в Дердан'наде — холмистой местности к северо-западу от реки Садуун на Окете, самом маленьком из шести континентов О. Дердан'надская деревенская община объединяет семьдесят семь фермерских хозяйств, разбросанных по террасам крутых лесистых склонов долины Оро, притока полноводной Садуун. Дердан'над — плодородная и живописная местность с великолепным видом на Береговую гряду на западе и на широкое устье полноводной Садуун на юге. Говорливая Оро, рассекающая здесь холмы, богата рыбой и вечно резвящимися в воде детишками. Я и сам провел свое детство в основном на берегах реки и привык к ее ни на минуту не смолкающему гаму. Дом наш стоит так близко к воде, что и спать приходится под неумолчный гул порогов и какофонию попавших в стремнину обломков скал. Оро неглубока, но коварна. Каждого из нас сызмала учили плавать в специально обустроенном тихом затоне, а позднее — управляться с долбленкой на бешеных

перекатах. Рыбная ловля входила в число наших детских обязанностей. Больше всего обожал я охоту с острогой на жирных пучеглазых голубых очидов — я часами мог героически выстаивать в засаде на скользком валуне посреди потока со смертоносным орудием в напряженной руке. Это была моя стихия. Зато, пока я красовался там, моя свояченица Исидри голыми руками успевала выудить из глубины шесть или семь скользких рыбин. Она умела ловить руками даже угрей и стремительных юрков. Мне это никогда не удавалось. «Ты просто отдаешься течению и как бы сливаешься с рекой», — объясняла Исидри. Она умела находиться под водой дольше любого из нас — так долго, что мы уже начинали тревожиться. «Исидри — слишком скверная и непослушная девчонка, чтобы утонуть, — сетовала ее матушка Тубду. — Такую разве утопишь? Ведь какашки не тонут».

У Тубду, Утренней жены нашего седорету, было двое детей от Капа: Исидри, годом старше меня, и Сууди, на три года моложе. Дочки Утренних, они доводились мне свояченицами, как и их кузен Хад'д, сын Тубду от дядюшки Тобо, брата Капа. С Вечерней стороны нас, детей, было двое — я и моя младшая сестренка по имени Конеко. Это древнее Окетское имя имело значение также и на терранском языке матери — «котенок», то есть детеныш того самого расчудесного животного со спиной полукругом и округленными глазами. На четыре года моложе меня, Конеко действительно вся была такой округлой и пушистенькой, точно малютка-звереныш, но глаза были, как у матери, — удивительно раскосые, с удлиненными к вискам веками, вроде нежных, готовых вот-вот раскрыться цветочных бутонов. Конеко повсюду таскалась за мной следом с жалобным воплем: «Део! Део! Постой!», — я же тем временем вовсю гонялся за бесстрашной и неуловимой Исидри с криком: «Сиди! Сиди! Постой же!»

Когда мы немного подросли, Исидри и я стали закадычными дружками, а Сууди, Конеко и кузен Хад'д составили троицу, неизменно сопливую, перемазанную, покрытую струпьями и постоянно чинившую взрослым различные неприятности, — то ворота оставят нараспашку, пустив скотину на поле, то стог разворошат, то зеленых фруктов наворуют, то поцапаются с детьми с фермы Дрехе. «Вот же неслухи паршивые! — качала головой Тубду. —

Никому из вас не суждено утонуть!» И она содрогалась в пароксизмах своего беззвучного смеха.

Мой отец Дохедри был человек работящий, вполне симпатичный, но тихий и малообщительный. Мне думается, что упрямство, с которым он некогда добивался приема чужестранки в замкнутый деревенский мирок, полный своих внутренних конфликтов, порой не вполне благовидных, добавило его и без того серьезному характеру толику напряженности. Случались браки с чужестранцами и у других ки'Отов, но почти всегда «на чужеземный манер», парами — такие молодожены обычно селились в одном из Центров, среди обитателей которых в порядке вещей были самые неожиданные традиции, вплоть до (если верить деревенским сплетням, оглашаемым под Деревом собраний) кровосмесительных связей между двумя Утренними! Или двумя Вечерними! Помимо Центров выбор у подобных пар был невелик: перебраться жить на Хайн или вообще оборвать все нити с родным домом, сделавшись мобилями Экумены, обреченными провести всю свою жизнь на борту СКОКС-кораблей в бесконечных скитаниях по неведомым мирам, — жизнь под девизом «Вперед!», но без воспоминаний о прошлом.

Ничто из перечисленного не подходило отцу, пустившему неразрывные корни в родной Уданский чернозем. Он привез возлюбленную домой и уговорил Вечерних принять ее в свою касту — событие столь редкостное, что церемониймейстера для него пришлось выписывать из далекого Норатана. Затем отец убедил Тубду вступить в седорету. Что до ее Дневного брака, тут все обошлось без проблем — стоило лишь ей увидеть мою мать; затруднения возникли с Утренним альянсом. Кап уже долгие годы был любовником отца и казался самым естественным кандидатом на место в седорету, но пришелся не по душе Тубду. Прочные узы, связывавшие Капа с отцом, подвигли обоих на длительные обхаживания и умасливания, и Тубду в конце концов сдалась — при ее добродушии трудно было противостоять желаниям сразу троих да плюс ее собственному влечению к Исако. Полагаю, она всегда находила Капа занудой, зато его младший брат, дядюшка Тобо, оказался неожиданным подарком. Не говоря уже о чувствах Тубду к моей матери, которые отличались бесконечной нежнос-

тью и деликатностью, граничившими с мистическим благоговением. Однажды моя мать сама заговорила об этом.

— Тубду знала, как все это было странно для меня, — призналась она мне. — По-моему, она чувствовала, что все это странно и само по себе.

— Что именно? Наш мир? Наш образ жизни? — поинтересовался я.

Мать мягко покачала головой.

— Не то чтобы весь образ жизни, — ответила она, как всегда, с легким акцентом. — Но вот эти браки, где мужчина с мужчиной, женщина с женщиной... вместе, любовь... До сих пор все это представляется мне не вполне естественным. Никакое знание не может подготовить к этому. Нет в природе ничего подобного.

Пословица же «Браки заключаются Днем» гласит как раз о связях между женщинами. А вот как раз любовь между отцом и матерью, отличавшаяся подлинной страстностью, всегда была нелегкой и балансировала на краю душевной муки. Ничуть не сомневаюсь, что счастливым и лучезарным своим детством мы обязаны именно той непоколебимой радости и силе, которую Исако и Тубду черпали одна в другой.

Ну и, наконец: двенадцатилетняя Исидри рейсовой фотоэлектричкой отбывает на учебу в Херхот, наш окружной Центр образования, а я, рыдая взахлеб, стою под утренним солнцем на пыльном перроне Дердан'надской станции. Моя подруга, мой закадычный напарник, сама моя жизнь — все уходит прочь, все рушится. Я остаюсь брошенный и одинокий. Увидев плачущим своего могучего одиннадцатилетнего брата, разрыдалась и Конеко, слезы мелкими шариками скатывались по ее пухлым щечкам и капали на платформу, мгновенно укутываясь станционной пылью. Крепко обхватив меня ручонками, она причитала: «Хидео! Она вернется! Она обязательно вернется!»

Никогда мне этого не забыть. Я и теперь явственно слышу ее детские всхлипывания, ощущаю на плечах ее влажные ладошки, электричка, перрон, солнцепек — все как вчера.

В полдень мы всегда купались в Оро, все четверо оставшихся: Конеко, Сууди, Хад'д и я. Как самый старший, я командовал шумной оравой и сразу после купания бросал свое маленькое войско на помощь троюродной кузине Топи, работавшей на станции ирригационного контроля.

В конце концов добровольные помощники доставали ее до печенок, и она прогоняла нас: «Ступайте, помогите кому-нибудь еще, дайте хоть немного спокойно поработать!» И мы снова отправлялись на берег строить наши песчаные замки.

Вот вам еще картинка: год спустя двенадцатилетний Хидео вместе с тринадцатилетней Исидри отправляется на фотоэлектричке в школу, оставляя на пыльном станционном перроне Конеко, пусть не в слезах, но в глубоком молчании — так всегда горевала Исако, наша с нею мать.

Школа мне полюбилась. Помнится, сперва я страшно тосковал по дому, но эти грустные воспоминания глубоко похоронены под бесчисленными яркими впечатлениями веселых школярских лет, проведенных сперва в Херхоте, а затем в Центре Второй Ступени в Ран'не, где я выбрал себе курс темпоральной физики и механики.

Исидри, посвятив всего год по завершении Первой Ступени изучению литературы, гидрологии и эйнологии, вернулась к родным пенатам — ферма Удан, деревня Дердан'над, северо-западная область бассейна реки Садуун.

Так же и трое младших, закончив школу и проведя кто год, кто два в Центре Второй Ступени, увезли накопленную премудрость в родной Удан. Конеко, когда ей исполнилось не то пятнадцать, не то шестнадцать, пыталась советоваться со мной, как со старшим братом, о продолжении учебы в Ран'не, но все остальные наперебой уговаривали ее остаться дома. Она блистала как раз в дисциплинах, которые мы в целом именуем «густым гребешком» — в обычном переводе это «сельский менеджмент», но последнее плохо отражает всю сложность предмета, включающего перспективное планирование с учетом экологических, экономических, эстетических и иных самых неожиданных факторов с целью поддержания природного гомеостазиса. Наш Котенок имела в этом подлинное чутье, и планировщики Дердан'нада приняли ее в свой Совет еще до того, как ей стукнуло двадцать. Впрочем, я к тому времени уже уехал.

Каждый год в течение учебы в школах обеих ступеней я возвращался домой на зимние каникулы. Когда оказывался в родных стенах, тут же сбрасывал с себя всю школьную премудрость, точно опостылевший ранец с учебниками, и мгновенно превращался в прежнего отчаянного деревен-

ского шалопая — купальня, рыбалка, гулянки, участие в пьесах и фарсах, разыгрываемых в Большом амбаре, танцплощадка, вечеринки и любовь, любовь едва ли не со всеми Утренними сверстниками в Дердан'наде и окрестных деревушках.

Но в последние два года учебы в Ран'не характер моего каникулярного времяпрепровождения резко переменился. Вместо того чтобы шататься день и ночь напролет по окрестностям, вместо танцулек в любом гостеприимном доме я стал часто проводить время в родных стенах. Стремясь уберечься от прочных привязанностей, я со всей возможной деликатностью отдалился от дорогого сердцу Соты из поместья Дрехе. Часами я мог просиживать на берегу Оро с рыболовной снастью в руке, запечатлевая в памяти хитросплетения струй прямо над нашей купальной затокой. Вода там, обегая парочку массивных притопленных валунов, закручивалась затейливыми спиралями, большей частью угасавшими и лишь в единственном глубоком месте сплетавшимися в настоящий морской узел, маленький водоворот, быстро сносимый вниз по течению, где, достигнув очередного валуна, он растворялся, снова сливаясь с зыбким телом реки, а на его месте уже возникал следующий, затем еще один, и так без конца... Река в ту зиму, напоенная щедрым дождем, порой захлестывала валуны и разливалась в водную гладь, но всегда ненадолго — вскоре все опять возвращалось на круги своя.

Долгие зимние вечера я проводил у камина, беседуя с моей сестренкой и кузеном Сууди о вещах вполне серьезных и одновременно любуясь порхающими движениями рук матери, занятой вышивкой бисером на новых занавесках для гостиной, которые мой отец сострочил на древней — четырехсот лет от роду — уданской швейной машинке. Я также помог ему разобраться с переналадкой систем удобрения и севооборота восточных полей в соответствии с новыми указаниями Совета деревенской общины. Работая вместе в поле, мы, случалось, беседовали, но никогда подолгу. Порой устраивали дома и музыкальные вечера; кузен Хад'д, признанный затейник и ударник деревенского ансамбля, мог сколотить оркестр из кого угодно. А не то я усаживался сразиться с Тубду в «Укради-слово» — игру, которую она обожала и в которую почти никогда не выигрывала, так как, сосредоточившись на по-

пытках стянуть слова у противника, постоянно забывала о защите собственных. «Попался, который кусался!» — азартно вскрикивала она, размахивая отвоеванными у меня фишками, крепко зажатыми в толстых огрубелых пальцах, и заливаясь беззвучным хохотом, своей Великой Щекоткой; следующим же ходом я возвращал себе их все с солидной прибавкой из ее кровных запасов. «Нет, как вам это нравится!» — изумлялась она, озадаченно уставясь на доску. Иногда участие в игре принимал и мой соотец Кап — тот сражался куда методичнее, но как-то механически равнодушно, совершенно одинаково улыбаясь как победе, так и проигрышу.

Порой я затворялся у себя в комнате — мансарде с темными деревянными стенами и бордовыми шторами, с запахом дождя в распахнутом окошке и его же барабанной дробью по крыше. Я мог часами лежать так в полумраке, лелея свою печаль, свою щемящую и сладостную боль, беду предстоящей разлуки с отчим домом, который я готовился покинуть вскоре и навсегда, чтобы отправиться в неведомый путь по темной реке времени. Ибо к восемнадцати годам уже твердо знал, что расставание с родным Уданом, с родной О для меня неизбежно, что путь мой лежит в иные миры. Таковы были тогда мои устремления. Такова оказалась моя судьба.

Описывая свои зимние каникулы, я забыл упомянуть об Исидри. А ведь она тоже была там. Участвовала в пьесах, трудилась на ферме, ходила на танцы, пела в хоре, шаталась по окрестностям, купалась в реке под теплым дождем — все как у всех. В первый мой приезд из Ран'на, как только я выскочил из поезда на дердан'надскую платформу, она со слезами радости на глазах первая встретила меня крепким объятием, затем, смущенно хихикнув, отстранилась и после стояла в сторонке несколько скованно и отчужденно — высокая, изящная, смуглая девушка с выражением ожидания чего-то на прелестном личике. В тот вечер Исидри в моем присутствии буквально цепенела. Мне казалось, это оттого, что, привыкнув видеть во мне младшего ребенка, она столкнулась теперь с настоящим мужчиной — как же, восемнадцать лет, студент Второй Ступени! Это льстило моему самолюбию, я стал искать ее общества, старался опекать. Но и в последующие дни Исидри оставалась какой-то зажатой, постоянно хихикала

без повода, никогда не открываясь начистоту в наших долгих беседах и даже порою как будто чураясь меня. Всю последнюю декаду тех моих каникул Исидри провела в гостях у дальних родственников своего отца из деревни Сабтодью. Меня задело, что она не сочла возможным отложить свою поездку всего лишь на десять дней.

На следующий год Исидри больше не цепенела в моем присутствии, но ближе оттого не стала. Она увлеклась религией, ежедневно посещала храм, штудировала тексты Дискуссий под руководством старейшин. Она была любезна, дружелюбна, но вечно чем-нибудь занята. Я не припомню, чтобы мне хоть раз довелось прикоснуться к ней в ту зиму — не считая разве что прощального поцелуя на перроне. Мой народ не целуется в губы, мы соприкасаемся щеками на миг — или дольше. Тот поцелуй Исидри оказался легче прикосновения палого листка — мимолетный и едва ощутимый.

В мою третью и последнюю зиму дома я признался наконец, что уезжаю на Хайн, а оттуда собираюсь отправиться дальше — и навсегда.

Как бессердечны мы порой с собственными родными! Ведь все, что требовалось тогда сказать, — всего лишь про отъезд на Хайн. После полувздоха-полувскрика: «Так я и знала!» — Исако спросила в обычной своей манере, мягким, едва ли не извинительным тоном: «Но ведь после Хайна ты сможешь вернуться домой, хотя бы ненадолго?» Мне следовало ответить матери «да». Ведь это было все, чего она просила. Лучик надежды. Да, разумеется, после Хайна я мог бы вернуться на время. Но с бесшабашным максимализмом и самовлюбленностью, присущими жестоковыйной юности, я отказался дать матери то, чего она так хотела. Я стремился оборвать все нити разом, вырвать из ее души надежду увидеть сына после десятилетней разлуки, я хотел сразу расставить все точки над «i». «Если примут, я ведь стану мобилем», — сообщил я матери. Я старательно подзуживал себя, стараясь говорить без обиняков. Я даже гордился, если не наслаждался, собственной прямотой, своей правдивостью! Но действительность, как выяснилось лишь спустя много лет, оказалась совершенно иной. Правде вообще редко случается быть простой и ясной, но лишь немногим истинам по плечу спор с моей судьбой в сложности и витиеватости.

Мать приняла мою жестокость без слез, без сетований. Она ведь и сама когда-то поступила так же, покинув Терру. И все же обронила позднее в тот вечер: «Мы ведь сможем изредка беседовать по ансиблю, пока ты будешь на Хайне». Она как бы ободряла этим меня, не себя. Полагаю, ей припомнилось, как сама она, сказав родным последнее «прощай», ступила на борт СКОКС-корабля, чтобы сойти на Хайне спустя всего лишь несколько релятивистских часов, — полвека после смерти на Терре ее матери. Она тоже могла бы поговорить по ансиблю, но с кем? Я не изведал подобной муки, а вот ей довелось. И она находила слабое утешение в том, что мне это пока что не грозит.

Все для меня тогда стало временным, каждую фразу хотелось предварить словами «пока что...» О этот горький мед последних деньков! Как же я любовался собой тогда, я как бы снова балансировал на осклизлом валуне посреди ревущего потока с острогой в железной руке — всем героям герой! До чего же бездумно комкал я в руке листок тягучего уданского периода своей краткой жизни, стремясь отшвырнуть его прочь и открыть новый, манящий девственной белизной!

Был миг, когда мне приоткрылся истинный смысл того, что собирался я тогда совершить, — но всего один и столь краткий, что я отверг прозрение.

Случилось это в теплый дождливый полдень в самом конце каникул. Сидя в мастерской при эллинге, я с увлечением мастерил новую банку для маленькой красной плоскодонки, на которой мы обычно ходили в дальнюю рыбалку. Постоянные глухие раскаты с раздувшейся реки служили мне прекрасным фоном для мыслей о разном — я воображал себя на какой-нибудь далекой планете в сотне световых лет вспоминающим этот день и час, запах реки и стружки, несмолкаемый говор воды, как бы загодя пытаясь исцелиться от ностальгии, которую предстояло пережить только в далеком будущем. Вдруг, после робкого стука в дверь, в мастерскую заглянула Исидри — тонкое смуглое личико, длинная коса волос чуть светлее моих, искательный взгляд ясных светлых глаз.

— Хидео, — начала она, — ты можешь уделить мне минутку-другую? Нам нужно поговорить.

— Заходи, заходи! — ответил я с напускной бодростью и радушием, хотя вряд ли сознавал тогда отчетливо, что мне

просто недостало бы духу самому завести этот разговор с ней, что я как бы опасался чего-то — чего, спрашивается?

Присев на краешек верстака, Исидри какое-то время молча следила за моими трудами. Когда пауза затянулась и я завел треп о погоде, она перебила:

— Знаешь ли ты, почему я сторонилась тебя?

— Сторонилась? Меня? — деланно изумился я. На это Исидри вздохнула. Видимо, она надеялась на утвердительный ответ, могущий облегчить все остальное. Но я не мог помочь ей.

Ведь лгал я лишь в том, что якобы не замечал такой ее отчужденности. Я действительно никогда, никогда, пока она сама мне не призналась, не мог сообразить, в чем причина.

— Еще позапрошлой зимой я поняла, что люблю тебя, — сказала Исидри. — Я не собиралась рассказывать тебе о своих чувствах, потому что... да это и так понятно. Если бы ты чувствовал ко мне хоть что-то, то сам бы давно все заметил. Но моя любовь не оказалась взаимной. Стало быть, не судьба. Но когда ты сказал, что уезжаешь, покидаешь нас навсегда... Сперва мне казалось, что тем более не следует ничего говорить. Но после я поняла — так будет нечестно. Во всяком случае, с моей стороны. Любовь имеет право быть высказанной. И у тебя есть право знать, что кто-то любит тебя. Что кто-то любил тебя, мог бы любить тебя. Мы все нуждаемся в подобном знании. Возможно, это самое важное, в чем мы нуждаемся. Поэтому я и решила сказать тебе. А еще я опасалась, что ты можешь неправильно истолковать мое поведение, подумать, что я не люблю тебя. Порой это могло выглядеть именно так. Но это было не так.

Спрыгнув с верстака, девушка двинулась к двери.

— Сидри! — воскликнул я вслед, имя вырвалось из моей груди странным, хриплым выдохом, одно лишь имя, ни слова более — не было слов. Не было больше ни чувств, ни сострадания, ни давешней ностальгии, ни моих сладостных мучений. Я стоял там как громом пораженный. Наши глаза встретились. Мы замерли, заглянув друг другу в самую душу. Затем Исидри отвела взгляд, губы ее искривила болезненная гримаска, и она тихонько скользнула за дверь.

Я не пошел за нею. Мне нечего было сказать ей. Абсолютно нечего. Я чувствовал, что поиски нужных слов займут недели, месяцы, годы. Считанные минуты назад я был безмерно богат и счастлив, упоен собой и своим предназначением — а теперь стоял опустошенный и нищий, уныло глядя в мир, который собирался покинуть.

Этот миг моего прозрения длился на самом деле добрый час — на всю жизнь запечатлевшийся в памяти как «час в эллинге». Ссутулившись, я сидел на высоком верстаке, где недавно сидела Исидри. Лил дождь, бесилась река, смеркалось. Очнувшись в конце концов, я включил свет, как бы пытаясь затмить им ужасающую правду действительности, отстоять перед нею мою цель, мои планы на будущее. Я начал возводить в душе своего рода эмоциональную стену, чтобы спрятаться за нею от того, что так ярко высветила Исидри во мне самом, чтобы уйти от взгляда ее безжалостных и ласковых глаз.

К моменту, когда я поднялся в дом к обеду, ко мне уже вернулось самообладание. Укладываясь в тот вечер спать, я снова был хозяином собственной судьбы, уверенным в своем выборе. Более того, я готов был отпустить самому себе грехи грядущей тоски по Исидри, своего сострадания к ней — хотя, возможно, и не вполне. Я не видел в том ничего для нее зазорного или оскорбительного. Скорее уж для себя. Я-то стыдился этого своего «часа в эллинге», стеснялся пережитого там самобичевания. И несколько дней спустя, прощаясь с родными на замызганном мокром перроне деревенского полустанка, — заплакал. Не по разлуке с ними. По самому себе. То были честные, искренние слезы. Ноша, которую я взвалил на себя, оказалась чрезмерной. А мой опыт страданий был столь невелик! И я сказал тогда матери:

— Я вернусь, обязательно вернусь! Вот закончу курс — лет через шесть, семь — и вернусь. И поживу с вами.

— Да приведет тебя твой путь к родному дому, — шепнула Исако. Она крепко обняла меня — и отпустила.

Итак — мы вернулись к моменту, с которого началась моя повесть: мне двадцать один год, и на звездолете «Ступени Дарранды» я лечу в Экуменическую школу на Хайне.

Из самого путешествия я ни черта не запомнил. Помню, как оказался в СКОКСе, как искал каюту — и все как отрезало. В памяти осталось лишь какое-то физическое

ошеломление, тошнота, головокружение. Еще смутно припоминаю, как, шатаясь на ватных ногах, едва не скатился по трапу и как мне любезно помогли сделать первые шаги по зыбкой поверхности Хайна.

Огорченный подобным провалом в сознании, я сразу по прибытии проконсультировался в Экуменической школе. Мне объяснили, что субсветовые скорости оказывают весьма хитрое воздействие на человеческую психику. Большинству путешественников представляется, что они провели на борту всего лишь несколько биочасов, как это и есть в действительности; иные сохраняют в памяти самые неожиданные выверты пространственно-временного континуума, порой даже небезопасные для их душевного здоровья; некоторым кажется, что они всю долгую дорогу спали и «пробудились» только по прилете. Мне же не довелось пережить ничего подобного. Я вообще не сохранил никаких воспоминаний. Казалось, меня одурачили. Я-то мечтал смаковать впоследствии подробности первого своего космического перелета, надеялся вкусить прелесть проведенного на борту времени, ан нет — как ни напрягайся, в черепушке хоть шаром покати. Вот я, бодренький, в космопорту на О, а вот я уже, с трудом осознавая окружающее, ковыляю по трапу в порту Ве — никакого тебе интервала во времени.

Моя учеба и труды в первые хайнские годы не представляют теперь особого интереса. Упомяну единственный эпизод, который мог оставить след в архиве ансибля Четвертой Дом-башни, предположительно за входящим номером ЭЛ-21-11-93/1645. (Когда я в последний раз справлялся в архиве ансибля в Ран'не, мне называли следующий исходящий: ЭВ-30-11-93/ 1645. Не сочтите меня снобом, но Юрасима тоже ведь оставил следы в Императорских архивах на Терре.) 1645-й год — год моего прибытия на Хайн. В самом начале семестра меня пригласили в ансибль-центр, чтобы помочь его сотрудникам разобраться с искаженной помехами ансиблограммой с О — они надеялись, что, зная язык, я смогу расшифровать хоть что-то. Под датой отправления (на девять дней позже, чем дата приема на Хайне!) значилось:

лесс оку н хиде проблем тренув ямерв это чарт ди это не может быть спасе лыбир.

Сплошные перепутанные обрывки слов — отчасти хайнских стандартных, отчасти ки'Отских, отчасти не имеющих видимого смысла фрагментов. Оку и тренув и впрямь могли бы означать «север» и «симметричный» на сио, моем родном языке. Хотя Ансибль-центр на О и не подтверждал передачу подобного сообщения, приемщики на Хайне отказываться от своей гипотезы происхождения ансиблограммы не торопились — из-за двух выше упомянутых слов, а также из-за хайнской фразы «это не может быть спасением», содержавшейся также и в практически одновременно полученном послании одного из стабилей Экумены на О, встревоженного аварией мощной опреснительной установки. «Мы называем подобные ансиблограммы «посланием всмятку», — пояснил мне приемщик центра, когда я, расписавшись в полном своем бессилии, в свою очередь заинтересовался деталями. — К счастью, такое случается крайне редко. Мы не в силах установить, откуда и когда они отправлены, а может, только будут еще отправлены. Вся беда, похоже, в складках сдвоенного поля, где происходят какие-то сложные интерференционные наложения. Один мой коллега остроумно окрестил подобные казусы призракограммами».

Меня всегда восхищала возможность мгновенной передачи сообщений, и, хотя я тогда едва приступил к изучению ансибль-теории, я не преминул воспользоваться подвернувшейся оказией, чтобы завязать приятельские отношения с работниками станции. А также записался на всевозможные курсы по ансиблю.

На последнем году моей учебы в колледже темпоральной физики, когда я прикидывал, не продолжить ли мне образование в системе Кита — разумеется, после обещанного визита на родину, которая на Хайне представлялась мне полузабытым сладким сновидением, но порой пробуждала и отчаянную ностальгию, — пришли первые ансиблограммы с Анарреса о новой сенсационной теории трансляции. И не одной только информации, но материи, грузов, людей — все могло транслироваться с места на место абсолютно без затрат времени. Новой реальностью Экумены становилась «чартен-технология» — реальностью удивительной, невероятной.

Загоревшись принять в этом участие, я готов был заложить дьяволу тело и душу за возможность поработать над

новой теорией. И тут ко мне пришли и предложили сами — не счел ли бы я для себя возможным отсрочить свою квалификацию в мобили на год-другой, чтобы поучаствовать в чартен-исследованиях? Я принял предложение со всеми положенными в таких случаях реверансами. И в тот же вечер закатил пир на весь мир. Припоминаю, как я пытался научить однокашников отплясывать фен'ну, смутно помню еще какие-то жуткие фейерверки на главной площади кампуса, а рассвет, сдается мне, встретил серенадами под окнами директора школы. Зато хорошо запомнил свое самочувствие на другой день; однако даже жуткое похмелье не помешало мне дотащиться из любопытства до здания, в котором обустраивалась новая Лаборатория исследования чартен-поля, где предстояло работать и мне.

Передачи по ансиблю, естественно, удовольствие не из дешевых, и за годы учебы на Хайне я всего лишь дважды связывался с родными. Но тут мне на выручку пришли друзья из ансибль-центра, у которых изредка случались так называемые оказии с попутными ансиблограммами — с помощью одной из таких мне удалось бесплатно переправить сообщение для Первого седорету поместья Удан из Дердан'нада, Северо-западная область бассейна Садуун, Окет, О. В нем я извещал родителей, что, «хотя новые исследования и отсрочат малость мой долгожданный визит домой, они дадут мне возможность сэкономить четыре года на космическом перелете». Игривый тон послания маскировал мое чувство вины — но ведь мы тогда действительно верили, что получим практические результаты буквально в считанные месяцы.

Вскоре все Чартен-лаборатории перебрались на Ве, а с ними и я. Совместная работа таукитян и хайнцев над проблемами чартен-поля в первые три года вылилась в бесконечную череду триумфов, отсрочек, надежд, поражений, прорывов, отступлений — все менялось столь быстро, что стоило кому-либо взять неделю отпуска, как он совершенно выпадал из курса дел. «За видимой ясностью таится очередная закавыка», — любила повторять Гвонеш, директор проекта. И действительно: стоило нам разрешить одну проблему, как возникала другая, еще круче. Эта фантастически прекрасная теория буквально сводила нас с ума. Результаты экспериментов вызывали буйный восторг и не поддавались никакому объяснению. Техника срабатывала

лучше всего, когда никто не надеялся. Четыре года в чартен-лабораториях промелькнули, как говорится, в миг единый.

После десяти лет, проведенных на Хайне и Ве, мне исполнился тридцать один год. Однако на О, пока я переживал несколько неприятных релятивистских минут перелета на Хайн, прошло еще четыре. Плюс четыре года, пока буду лететь обратно — итого, когда вернусь, для моих родных я провел в отъезде полных восемнадцать. Все четверо моих родителей были пока еще живы, и тянуть дольше с обещанным визитом домой никуда не годилось.

Но, хотя исследования как раз тогда уперлись в глухую стену (именуемую «Парадоксом прошлогоднего снега», который китяне считали вообще неразрешимым), сама мысль провести восемь лет вдали от лабораторий казалась мне совершенно непереносимой. А что, если парадокс все же разрешат — и без меня? Жутко было вообразить долгие четыре года, напрочь вырванные из жизни субсветовым перелетом. Без особой надежды я ткнулся к директору Гвонеш с просьбой позволить мне захватить с собой на О кое-какие приспособления, позволяющие дооборудовать ансибль-связь в Ран'не вспомогательным двойным константполем для поддержания связи с Ве. Таким образом я хотя бы сохранял обмен с коллегами Ве, а через Ве — с Урасом и Анарресом; к тому же это оборудование могло послужить основой для обустройства на О в будущем и чартен-связи. Помнится, я еще сказал ей: «Если вам удастся решить парадокс, не забудьте отправить мне несколько мышей».

К моему большому удивлению, идея пришлась ко двору — наши механики нуждались в дополнительных приемниках. Директор Гвонеш, непроницаемая, как сама теория чартен-поля, неожиданно похвалила меня за инициативу. «Мыши, тараканы, упыри — как знать, что ты там получишь от нас?» — улыбнулась она напоследок.

Итак — мне тридцать один год, я покидаю Ве и СКОКС-лайнером «Владычица Сорры» возвращаюсь на О. На сей раз я пережил субсветовой перелет, как все нормальные люди — цепенящий промежуток времени, когда трудно сосредоточиться, непросто разглядеть циферблат, никак не уследить за беседой. Речь и физические движения затруднены, а то и вовсе невозможны. Соседи по рейсу ста-

новятся как бы призрачными — то ли есть они, то ли нет. Это отнюдь не галлюцинации, просто все как-то смазано, помрачено. Похоже на ощущения при горячке: мысли вразброд, тоска смертная без конца и края, тело чужое и непослушное, не тело — невесомая оболочка, на которую смотришь как бы извне. Теперь-то я уже понимаю, что зря никто всерьез и своевременно не заинтересовался сродством ощущений при СКОКСе и чартнинге. Промашка вышла.

С космодрома я отправился прямиком в Ран'н, где сразу же получил квартирку в Новом Квартале, куда удобнее и просторнее прежней студенческой, что в Храмовом, а также чудные лабораторные помещения в Тауэр-Холле, куда безотлагательно перетащил все свое оборудование. Сразу по прибытии я связался и поговорил с родителями — мать чем-то переболела, но, по ее словам, чувствовала себя уже гораздо лучше. Я пообещал приехать, как только наладятся дела в Ран'не. Каждую декаду я звонил снова и снова божился приехать, как только вырвусь. Но я действительно был очень занят, торопясь наверстать упущенное за четыре года полета, а главное, разобраться с «отысканным» самой Гвонеш «Прошлогодним снегом». Это, к моему облегчению, оказалось единственным серьезным прорывом в теории. Изрядно продвинулась за эти годы лишь технология. Мне пришлось переучиваться самому, а также практически с нуля готовить себе новых ассистентов. А еще у меня имелись кое-какие собственные идеи, связанные с теорией двойного поля, которые пришли в голову перед самым отъездом. Пролетело добрых пять месяцев, прежде чем я позвонил родителям и сообщил, наконец: «Ждите завтра». И, уже опустив трубку, понял, что все это время чего-то боялся.

Трудно сказать, чего — то ли изменений, случившихся с ними за восемнадцать лет нашей разлуки, то ли вообще какой-то неопределенности, то ли самого себя.

Время почти не наложило отпечатка на холмы в окрестностях полноводной Садуун, на разбросанные поместья, на пыльный перрон полустанка в Дердан'наде, на старые, очень старые дома тихой пристанционной улочки. Исчезло большое Дерево собраний, но посаженное ему на смену уже успело подрасти и давало приличную тень. В родном поместье Удан изрядно разросся птичник. Его обитатели ямсуси надменно косились на меня сквозь плетень. Калитка, которую я поправлял в последний свой приезд домой, изрядно обветшала и нуждалась в замене петель и опорных столбиков. Зато сорняки, буйно разросшиеся по обочинам, были все те же — пыльная летняя травка со щемяще-сладостным ароматом. По-прежнему мягко клацали бесчисленные затворы ирригационных канавок. Все в целом было по-старому. Казалось, Удан выпал из времени и дремлет себе над рекой, которой тоже только снится ее собственный бег.

Изменились только лица, родные лица тех, кто встречал меня на жарком и пыльном перроне. Моя мать, которой исполнилось теперь шестьдесят пять, стала очаровательной хрупкой старушкой. Тубду потеряла весь свой вес и покрылась морщинами, как печально сдувшийся шарик. В отце, хотя он и сохранил определенный мужской шарм, чувствовалась старческая скованность — он старательно держался прямо и почти что не принимал участия в разговорах. Мой соотец Кап, семидесяти лет от роду, превратился в аккуратного, но несколько суетливого крохотного старичка. Они все еще оставались Первым седорету Удана, но юридическая ответственность за поместье уже перешла ко Второму и Третьему седорету.

Я, разумеется, предвидел подобные перемены, знал кое-что из сообщений, но читать ансиблограммы — это одно, а видеть своими глазами — совершенно иное. Наш старый дом оказался куда населеннее, чем в моем детстве. Южное крыло перестроили, а по двору, который некогда был тихим, тенистым и таинственным, сломя голову носилась шумная ватага незнакомых ребятишек.

Младшая сестренка Конеко, теперь на четыре года старше меня, очень напоминала нашу мать в молодости, какой она сохранилась в первых моих сознательных воспоминаниях. Когда поезд только подкатывал к платформе, я, стоя в дверях, признал ее первой — она поднимала на руках малыша, громко восклицая: «Смотри, смотри, вот твой дядя Хидео!»

Второй седорету существовал уже полных одиннадцать лет — Конеко и Исидри, сестры-свояченицы, составляли его Дневной марьяж. Мужем Конеку был мой старинный приятель Сота, возмужавший ныне Утренний паренек из поместья Дрехе. Как же мы с ним обожали друг друга в юности, как я горевал о нем, покидая О. Когда я впервые,

еще на Хайне, услышал о выборе Конеко, то — такой эгоист! — чуток расстроился, но упрекать себя в ревности все же не стану: в конечном счете этот брак глубоко меня тронул. Мужем Исидри оказался странствующий проповедник и Мастер Дискуссий по имени Хедран, возрастом лет на двадцать старше ее самой. Удан однажды предоставил ему кров и ночлег, визит несколько затянулся и привел в конце концов к свадьбе. Детей у них, впрочем, не было. Зато были у Соты с Конеко двое Вечерних: мальчуган десяти лет по имени Мурми и четырехлетняя малышка Мисако — Исако-младшая.

Третий седорету составил и привел в Удан мой братец-свойственник Сууди, женившийся на красотке из деревни Астер. Оттуда же явилась и их Утренняя пара. Детей в этом седорету было аж шестеро. К тому же кузина, седорету которой в Экке распался, вернулась в Удан с двумя малышами, так что, мягко выражаясь, никто в нашем доме не жаловался на недостаток беготни, толкотни, одеваний-переодеваний, умываний, кормлений, хлопаний дверьми, визга, плача, смеха и прочих прелестей жизни. Тубду любила посиживать на солнышке возле кухни с какой-нибудь работенкой и наблюдать за всей этой свистопляской. «Вот же поганцы! — покрикивала она то и дело. — Никогда вам не потонуть, ни одному из вас!» И она вновь заливалась своим беззвучным смехом, переходящим теперь в приступ астматического кашля.

Моя мать, которая все же всегда была и осталась мобилем Экумены, совершившей перелеты с Терры на Хайн, а оттуда на О, с нетерпением ждала новостей о моих исследованиях.

— Что же это такое, этот пресловутый твой чартен? — любопытствовала она. — Как он действует, на что способен? Вроде ансибля, но для материи?

— В общих чертах, да, — подтвердил я. — Трансляция, мгновенный перенос физических тел из одной ПВК[1]-координаты в любую другую.

— Без временного промежутка?

— Без.

Исако поежилась.

[1] Пространственно-временной континуум.

— Чую, чую в этом какой-то подвох, — протянула она задумчиво. — Расскажи-ка подробней.

Я уже успел позабыть, какой въедливой умеет быть моя ласковая матушка, напрочь позабыл, что она тоже ученая и не лыком шита. Мне пришлось как следует потрудиться, пытаясь объяснить ей необъяснимое.

— Итак, — сухо резюмировала она мое сообщение, — ты и сам не имеешь представления, как это действует.

— Верно, — признал я. — Мы пока не понимаем, что происходит при переносе. Знаем только, что если помещаешь мышь в камеру номер один и создаешь поле, то — как правило — она тут же окажется в камере номер два, живая и невредимая. Вместе с клеткой, если только перед опытом мы не забыли посадить ее в клетку. Обычно забываем. Мыши у нас там шастают повсюду.

— А что такое «мышь»? — вмешался вдруг Утренний мальчуган из Третьего седорету, до сих пор тихо и внимательно слушавший то, что казалось ему похожим на удивительную новую сказку.

— А! — улыбнулся я, чуток смущенный. Я уже успел забыть, что на Удане не знают мышей, а крысы здесь — зубастые демоны, закадычные враги нарисованного кота. — Крохотный, милый, пушистый зверек, — пояснил я. — Родом с планеты, где родилась твоя бабушка Исако. Мыши — лучшие друзья ученых. Они путешествуют по всем известным мирам.

— На маленьких-маленьких корабликах? — с надеждой спросил малыш.

— Чаще все же на больших, — ответил я.

И малыш, удовлетворенно кивнув, умчался прочь.

— Хидео, — начала моя мать, мгновенно перескакивая с одной темы на другую, — ужасающая черта женщин, думающих обо всем разом, своего рода мысленный чартнинг, — а у тебя есть кто-нибудь?

Криво улыбнувшись, я помотал головой.

— Вообще никого?

— Ну жил я как-то год-другой вместе с одним парнем из Альтерры, — выдавил я смущенно. — Мы крепко с ним сдружились; но сейчас он мобиль. Ну и... разное прочее... то там, то сям. Совсем недавно, к примеру, пока жил в Ран'не, встречался с одной милашкой из Восточного Окета.

— Надеюсь, если ты все же изберешь судьбу космичес-

кого скитальца, тебе встретится хорошая девушка-мобиль, — сказала мать. — Вы могли бы жить с ней вместе. В парном браке. Так оно легче.

«Легче, чем что?» — всплыл у меня вопрос, но задавать его вслух я не рискнул.

— Знаешь, мать, я уже сильно сомневаюсь, что когда-нибудь вообще выберусь дальше Хайна. Слишком погряз в этих делах с чартеном и бросать их пока не намерен. Если же нам удастся отладить аппаратуру, путешествия и вовсе станут пустяком. Отпадет нужда в жертвах вроде той, что принесла ты когда-то. Мир переменится, просто невообразимо переменится! Ты могла бы смотаться на Терру и обратно, допустим, на часок, и на все на это затратить ровно час, ни минутой больше.

Исако задумалась.

— Если такое удастся осуществить, — заговорила она задумчиво, даже морщась от напряженных усилий мысли, — то вы тогда... Вы скомкаете Галактику... Сведете Вселенную к... — Она сложила пальцы левой руки щепотью.

Я кивнул:

— Миля или световой год — не будет никакой разницы. Расстояния исчезнут вообще.

— Такого просто не может быть, — заметила мать после паузы. — Событийный ряд требует интервалов... Где имение, где вода... Не уверена, что вам удастся совладать с этим, Хидео. — Она улыбнулась. — Но ты все же попытайся!

После этого мы с ней обсудили еще намеченную на завтра вечеринку в поместье Дрехе.

Я не счел нужным рассказывать матери, что приглашал Таси, мою подружку из Восточного Окета, поехать в Удан вместе со мной и что она отказалась, деликатно известив меня, что нам самое время пожить раздельно. Ох, Таси, Таси... Типичная ки'Отка — высокая и темноволосая, не жгучая брюнетка, как я сам, а помягче, как тени в ранних сумерках, — она искусно, без обид погасила все мои протесты. «Знаешь, порой мне кажется, что ты влюблен в кого-то еще, — заметила Таси к концу нашего объяснения. — Может быть, в кого-то на Хайне? Может, в того парня с Альтерры, о котором рассказывал?» «Нет», — ответил я ей тогда. Нет, — думал теперь и сам. Я никогда никого не любил. Я просто не способен любить, теперь это уже совершенно ясно. Я слишком долго мечтал о судьбе галактического скитальца без прочных связей, затем слишком долго трудился в чартен-лаборатории, повенчанный единственно со своей проклятой теорией невозможного. Где тут место для любви, где время?

Но почему все же я так хотел захватить Таси с собой в Удан?

В дверях дома меня тихо приветила женщина лет сорока, вовсе не девчушка, которую я знал когда-то, высокая, уже далеко не худая, но по-прежнему нетипичная, ни с кем не сравнимая — Исидри. Какие-то безотлагательные дела по хозяйству помешали ей прийти на станцию вместе с остальными. Одетая в видавший виды комбинезон, как будто только что с полевых работ, с волосами, уже тронутыми сединой, заплетенными в тяжелую косу, Исидри стояла в широком деревянном проеме, как некий символ Удана в отполированной временем рамочке — душа и тело тридцативекового поместья, его преемственность, сама жизнь. В ее руках было все мое детство, и она снова дружелюбно протягивала их мне.

— Добро пожаловать домой, Хидео, — сказала Исидри с улыбкой, затмившей солнечный полдень. Проведя меня за руку в дом, она мягко добавила: — Я выселила детей из твоей старой мансарды. Мне казалось, что там тебе будет уютнее, не возражаешь?

И снова она расцвела в улыбке, излучавшей физически ощутимое тепло, щедрость женщины в самом соку, замужней, удовлетворенной, живущей полнокровной жизнью. Я не нуждался более в Таси, как в щите от Исидри. Мне вовсе не следовало ее опасаться. Исидри не держала на меня никакого зла, не испытывала передо мной ни тени смущения. Она любила меня прежнего, теперь же перед нею стоял совсем иной человек. Неуместным было бы также и мне испытывать смущение или какой-то стыд. Я и не ощущал ничего, кроме старой доброй приязни тех давних лет, когда мы вместе с нею бродили, играли, работали, мечтали, — двое неразлучных питомцев Удана.

Итак — я обосновался в своей старой комнатушке под самой кровлей. На первый взгляд новыми в ней были только оконные шторы цвета ржавчины. Обнаружив под стулом в чулане забытую игрушку, я словно бы снова окунулся в далекое детство, когда сам разбрасывал вещи по-

всюду — чтобы обнаружить их только сейчас, спустя многие годы. В четырнадцать, сразу после обряда конфирмации, я тщательно вырезал свое имя на глубоком подоконнике слухового окошка среди множества угловатых иероглифов моих бесчисленных предшественников. Теперь я отыскал свой автограф. Его окружали кое-какие добавления. Под четким, аккуратным «Хидео», обрамленным моим личным гербом, цветком одуванчика, было криво накарябано «Дохедри», а рядом — изящный трехфронтонный символ нашего дома. На меня накатило неодолимое чувство, будто я жалкий пузырек на поверхности Оро, мимолетная искорка в бесконечной череде веков Удана, в неизменном его бытии в этом стабильнейшем из миров — чувство, полностью опровергающее мою индивидуальность и в то же время ее утверждающее. Все ночи моего пребывания дома в тот визит я засыпал как убитый, как не спал уже годы, мгновенно проваливаясь в пучину сновидений — чтобы проснуться ярким летним утром обновленным и голодным, точно новорожденный.

Никому из детей не исполнилось еще и двенадцати, и они обучались пока в домашней школе. Исидри, преподававшая литературу и религию, а также исполнявшая обязанности директора, пригласила меня рассказать им о Хайне, о СКОКС-путешествиях, о темпоральной физике — о чем мне только будет угодно. Гостящего в ки'Отском поместье всегда приспособят к какому-нибудь полезному делу. Но Вечерний дядюшка Хидео, постоянно готовый к проказам, сумел стать любимцем всей детворы. То тележку для ямсусей смастерит, то захватит детей поудить с большой лодки, управлять которой им еще не по силам, а не то поведает сказку об удивительной волшебной мышке, которая умела находиться в двух разных местах одновременно. Я поинтересовался как-то, рассказывала ли им бабушка Исако историю о нарисованном коте, который, ожив ночью, расправился с демоническими крысами. «И вся его молда наутло была ЗАМУЛЗАНА!» — с восторгом подхватила малютка Мисако. Но легенду о Юрасиме они не слыхали.

— Почему ты не рассказала детям о «Рыбаке из Внутриморья»? — спросил я как-то у матери.

— О, то была твоя история. Ты обожал ее, — ответила она мне со светлой улыбкой.

В следующий миг я встретил взгляд Исидри, спокойный и ясный и в то же время чем-то озабоченный.

Зная, что мать годом ранее перенесла серьезную операцию на сердце, я в тот же вечер, когда мы вместе с Исидри проверяли домашние задания старшего «класса», спросил у нее:

— Как ты думаешь, Исако вполне оправилась от своих болячек?

— С тех пор как ты приехал домой, ее не узнать. Но... даже не знаю. Ведь Исако серьезно пострадала еще в детстве — от ядов в биосфере Терры. Врачи говорят, что угнетена ее иммунная система. Но она ведь такая терпеливая. И скрытная. Чересчур скрытная.

— А Тубду — ей разве не надо заменить легкие?

— Пожалуй. Время не щадит никого из четверых, но с годами растет и их упрямство... Ты все же присматривай за Исако. Потом расскажешь.

И я стал приглядывать за матерью. Через несколько дней доложил, что выглядит она бодрой и решительной, порой даже несколько деспотичной, и что никаких признаков скрытой боли, беспокоившей Исидри, я не заметил. Исидри просияла.

— Исако говорила мне как-то, — поделилась она, — что любая мать связана с ребенком тончайшей нитью, незримой пуповиной, которая может без всякого труда растянуться на любое расстояние, даже на световые годы. Я заметила тогда, что это, должно быть, больно, но она возразила: «Нет-нет, что ты, совсем не больно, она все тянется и тянется — никогда не оборвется». Мне все же кажется, что это должно быть болезненно. Но — не знаю. Детей у меня нет, а сама я никогда не уезжала от матери дальше, чем на два дня пути. — Исидри снова улыбнулась и добавила от чистого сердца: — Я чувствую, что люблю Исако больше всех, больше собственной матери, сильнее даже, чем Конеко...

Затем Исидри вдруг заторопилась показывать сыну Сууди, как налаживают таймер ирригационного контроля. Она служила деревенским гидрологом, а для поместья Удан — еще и эйнологом. Вся жизнь ее была заполнена делами и родственными узами — светлая и неизменная череда дней, времен года, лет. Она плыла по жизни, как плавала в детстве в реке — воистину что рыба в воде. Своих детей не

имела, но все дети кругом были ее детьми. Любовь Исидри и Конеко была едва ли не прочнее той, что некогда связала их матерей. Чувство, которое Исидри питала к собственному высокоученому супругу, казалось безмятежным и исполненным почтения. Я предположил было, что сексуальный акцент в жизни последнего падает на Ночной марьяж с моим старым дружком Сотой, но Исидри действительно искренне почитала мужа и во всем полагалась на его духовное наставничество. Я же находил его проповеди малость занудными и весьма, весьма спорными — но что понимал я в религии? Не посетив за долгие годы ни единой службы, я чувствовал себя не в своей тарелке даже в домашней часовне. Даже в собственном доме ощущал я себя чужаком. Просто избегал признаваться в том самому себе.

Месяц, проведенный дома, запомнился мне как время блаженной праздности, под конец, впрочем, изрядно поднадоевшей. Чувства мои притупились. Отчаянная ностальгия, романтические ощущения судьбоносности каждого мига канули в прошлое, остались с тем, двадцатилетним Хидео. Хотя я и стал нынче моложе всех моих прежних сверстников, я все же оставался зрелым мужчиной, избравшим свой путь, удовлетворенным работой, в ладу с самим собой. Между прочим, я как-то даже сложил небольшую поэму для домашнего альбома, суть которой именно в необходимости следовать избранному пути. Когда я снова собрался в дорогу, то обнял и расцеловал всех и каждого — бесчисленные прикосновения щек, мягкие и пожестче. На прощанье заверил родных, что если останусь по работе на О, — а это казалось пока вполне вероятным, — то обязательно навещу их зимой. По пути, в поезде, пробивающемся сквозь лесистые холмы к Ран'ну, я легкомысленно воображал себе эту грядущую зиму, свой приезд и домочадцев, за полгода ничуть не переменившихся; давая волю фантазии, воображал также и свой возможный приезд через очередные восемнадцать лет, а то и позднее — к тому времени кое-кому из родных суждено кануть в небытие, и появятся новые, незнакомые лица, но Удан, рассекающий волны Леты, как мрачный трехмачтовый парусник, навсегда останется моим отчим домом. Всякий раз, когда я лгал самому себе, на меня нисходило особое вдохновение.

Прибыв в Ран'н, я первым делом отправился в Тауэр-

Холл проверять, что там наворотили мои архаровцы. Собрав коллег после своей неожиданной, но благодушной ревизии за банкетным столом, — а я захватил с собою в лабораторию здоровенную бутыль уданского кедуна пятнадцатилетней выдержки, целым ящиком которого снабдила меня предусмотрительная Исидри, великая мастерица по части изготовления вин, — я затеял в непринужденной обстановке коллективную мозговую атаку по поводу последних известий, как раз накануне полученных из Анарреса: тамошние ученые предлагали весьма неожиданный принцип «неразрывности поля». Затем с головой, с отвычки распухшей от физики, я побрел по ночному Ран'ну к себе в Новый Квартал, немного почитал и лег в постель. Выключив свет, ощутил, как темнота, заполонившая комнату, просачивается и в меня. Где я? Кто я? Одиночка, чужой среди чужих, каким был десять лет и каким обречен остаться теперь уже навсегда. На той планете или на иной — какая, к лешему, разница? Никто, ничто и ничей. Разве Удан — мой дом? Нет у меня дома, нет семьи, нет, да и не было никогда. Не было будущего, не было судьбы — не более, чем у пузырька на орбите речного омута. Вот он есть, а вот его нет. И следа не осталось.

Снова, не в силах выносить темноту, я включил свет, но стало только хуже. В растрепанных чувствах, я свесил с кровати ноги и горько зарыдал. И не мог остановиться. Просто жутко, до чего порой может докатиться взрослый мужик, — уже совершенно обессиленный, я все трясся и трясся и захлебывался рыданиями. Лишь через час-другой сумел я взять себя в руки, утешив себя простой детской фантазией, как случалось в уданском прошлом. Вообразил, как утром звоню Исидри и прошу ее о духовном руководстве, о храмовой исповеди, которой я давно жаждал, но все никак не решался, и что я с незапамятных времен не участвовал в Дискуссиях, но теперь жутко нуждаюсь в том и прошу о помощи. Цепляясь за эту мысль как за спасительную соломинку, я сумел унять свою ужасную истерику и лежал так в полном изнеможении до первых проблесков рассвета.

Конечно же, я не стал никому звонить. При свете дня мысль, что ночью уберегла меня от отчаяния, показалась совершенно нелепой. К тому же я был уверен: стоит позвонить, Исидри тут же помчится советоваться со своим

преподобным муженьком. Но, понимая, что без помощи мне уже не обойтись, я все же отправился на исповедь в храм при Старой Школе. Получив там экземпляр Первых Дискуссий и внимательно перечитав его, я присоединился к текущей Дискуссионной группе, где малость отвел себе душу. Наша религия не персонифицирует Творца, главный предмет наших религиозных Дискуссий — мистическая логика. Само наименование нашего мира — первое слово самого Первого Аргумента, а наш священный ковчег — голос человека и человеческое сознание. Листая полузабытые с детства страницы, я вдруг постиг, что все это ничуть не менее странно, чем теория моего безумного чартен-перехода, и в чем-то даже сродни ему, как бы дополняет. Я давно слыхал — правда, никогда не придавая тому особого значения, — что наука и религия у китян суть аспекты единого знания. А теперь вдруг задумался, уж не универсальный ли это закон?

Я стал скверно спать по ночам, а часто и вовсе не мог заснуть. После уданских разносолов еда в колледже казалась мне абсолютно пресной, и я потерял аппетит. Но наша работа, моя работа, продвигалась успешно, чертовски успешно, даже слишком.

— Хватит с нас мышей, — заявила как-то раз Гвонеш голосом ансибля с Хайна. — Пора переходить к людям.

— Начнем с меня? — вскинулся я.

— С меня! — отрезала Гвонеш.

И директор важнейшего проекта собственной персоной начала скакать, точно блоха, — сперва из одного угла лаборатории в другой, затем из корпуса-1 в корпус-2, и все это без затрат времени, исчезая в одной лаборатории и мгновенно появляясь в другой, — рот до ушей.

— Ну и каковы же ощущения? На что похоже? — приставали к Гвонеш все как один.

— Да ни на что! — пожимала плечами та.

Последовали бесконечные серии экспериментов; мыши простые и мыши летучие транслировались на орбиту Ве и обратно; команда роботов совершала мгновенные перемещения сперва с Анарреса в Уррас, затем с Хайна на Ве и, наконец, назад на Анаррес — всего двадцать два световых года. Но когда в конечном итоге судно «Шоби» с экипажем из десяти человек, переправленное на орбиту какой-то захудалой планеты в семнадцати световых годах от Ве, вернулось (слова, означающие передвижения в пространстве, мы употребляем здесь, естественно, в переносном смысле) лишь благодаря заранее продуманной процедуре погрузки, а жизнь астронавтов от своего рода психической энтропии, необъяснимого сдвига реальности, «хаос-эффекта», спасло чистейшее чудо, мы все испытали шок. Эксперименты с высокоорганизованными формами материи снова завели нас в тупик.

— Какой-то сбой ритма, — предположила Гвонеш по ансибль-связи (аппарат на моем конце выдал нечто вроде «с собой пол-литра»). В памяти всплыли слова матери: «Событийный ряд не бывает без промежутков». А что она там добавила после? Что-то про имение возле воды. Но мне решительно следовало избегать воспоминаний об Удане. И я стремился выдавить их из своей памяти. Стоило мне расслабиться, как где-то в самой глубине моего тела, в мозге костей, если не глубже, вновь выкристаллизовывался давешний леденящий ежик, и меня опять начинало колотить, как насмерть перепуганное животное.

Религия помогала укрепиться в сознании, что я все же часть некоего Пути, а наука позволяла растворить позывы отчаяния в работе до упаду. Осторожно возобновленные эксперименты шли пока с переменным успехом. Весь исследовательский персонал на Ве, как поветрием, охвачен был новой психофизической теорией некоего Далзула с Терры, в нашем деле новичка. Весьма жаль, что я не успел познакомиться с ним лично. Как он и предсказывал, использование эффекта неразрывности поля позволяло ему в одиночку перемещаться без всяких нежданных сюрпризов, сперва локально, затем с Ве на Хайн. За сим последовал знаменитый скачок на Тадклу и обратно. Но уже из второго путешествия туда трое спутников Далзула вернулись без лидера. Он опочил в этом самом дальнем из известных миров. Нам в лабораториях отнюдь не казалось, что смерть Далзула каким-то образом связана с той самой психоэнтропией, которую мы официально назвали «хаос-эффектом», но трое живых свидетелей подобной уверенности не разделяли.

— Возможно, Далзул был прав. Один человек за раз, — передала Гвонеш и снова стала проводить опыты на самой

себе, как на «жертвенном агнце» (выражение, завезенное с Терры). Используя технологию неразрывности, она в четыре «скока» совершила вокруг Ве угловатый виток, занявший ровно тридцать две секунды, необходимые исключительно на установку следующих координат. «Скоком» мы уже успели окрестить перемещение в реальном пространстве без сдвига по времени. Довольно легкомысленно, по-моему. Но ученые порой любят утрировать.

У нас на О по-прежнему были кое-какие нелады со стабильностью двойного поля, коими я и занялся вплотную сразу по прибытии в Ран'н. Назревал момент дать нашей аппаратуре опытную проверку — терпение людское не беспредельно, да и жизнь сама чересчур коротка, чтобы вечно перетасовывать схемы. И в очередной беседе с Гвонеш по ансиблю я запустил пробный шар:

— Пора бы уже и мне заскочить к вам на чашку чая. А затем сразу обратно. Я клятвенно заверил родителей, что непременно навещу их зимой.

Ученые порой любят маленько утрировать.

— А ты устранил уже ту морщинку в своем поле? — спросила Гвонеш. — Ну ту, вроде двойной брючной складки?

— Все отутюжено, аммар! — расшаркался я.

— Что ж, отлично, — сказала Гвонеш, не страдавшая привычкой задавать один и тот же вопрос дважды. — Тогда заходи.

Итак — мы спешно синхронизировали наши усовершенствованные ансибль-поля для устойчивой чартен-связи; вот я стою в меловом круге, нацарапанном на пластиковом полу Лаборатории чартен-поля в Ран'не, за окнами тусклый осенний полдень — а вот уже стою внутри мелового круга в лаборатории Чартен-центра на Ве, за окнами полыхает летний закат, дистанция — четыре и две десятых светового года, время на переход — нуль.

— Как самочувствие? — поинтересовалась Гвонеш, встретив меня сердечным рукопожатием. — Молодец, отважный ты парень, Хидео, добро пожаловать на Ве! Рады снова видеть тебя, дорогой. Отутюжено, говоришь, а?

Потрясенно икнув, я машинально вручил ей заказанную пол-литру кедуна-49, которую всего лишь миг назад прихватил с собой в «дорогу» с лабораторного стола на Ве.

Я предполагал, если только вообще доберусь, немедленно чартен-нуть обратно, но Гвонеш и остальные задержали меня для теоретических дискуссий и всесторонней проверки чартен-связи. Теперь-то я уже ничуть не сомневаюсь, что сверхъестественное чутье, которым всегда отличалась Гвонеш, шептало ей что-то на ухо, ее все еще продолжали тревожить морщинки и складки на брюках Тьекунана Хидео.

— Как-то это... неэстетично, — заметила она.

— Однако же работает, — возразил я.

— Сработало, — уточнила Гвонеш.

За исключением желания доказать дееспособность своего поля, я не имел особой охоты немедленно возвращаться на О. Спалось мне лучше на Ве, куда как лучше, однако казенная пища оставалась безвкусной и здесь, а когда я не был занят делом, меня по-прежнему угнетали страхи — неотвязное воспоминание о той кошмарной ночи, за время которой я пролил так много слез без причины. Но работа продвигалась на всех парах.

— Как у тебя с сексом, Хидео? — спросила Гвонеш однажды, когда мы остались в лаборатории одни: я — развлекаясь с очередными колонками цифр, она — дожевывая очередной бутерброд из буфетной упаковки.

Вопрос застал меня абсолютно врасплох. Я прекрасно понимал, что звучит он нахально только в силу свойственной Гвонеш привычки всегда резать правду-матку. Но ведь она никогда еще не спрашивала у меня ни о чем подобном. Ее собственная личная жизнь, как и она сама, всегда оставались для нас тайной за семью печатями. Даже слово «секс» никто и никогда от нее не слыхал, не говоря уже о том, чтобы осмелиться предложить ей развлечение подобного рода.

Заметив мою отвисшую челюсть, Гвонеш, прожевав кусок, добила меня:

— В смысле, как часто?

Я икнул. Понимая уже, что вопрос Гвонеш отнюдь не предложение завалиться с ней в койку, скорее просто некий особый интерес к моему житью-бытью, я все равно не находился с ответом.

— По-моему, в твоей жизни образовалась какая-то морщинка. Вроде лишней складки на брюках, — заметила Гвонеш. — Извини. Сую нос не в свое дело.

Желая уверить ее, что ничуть не обиделся, я выдавил из себя принятый на О церемонный оборот:

— Чту ваши благие намерения, аммар.

Гвонеш уставилась на меня в упор, что случалось крайне редко, — пристальный взгляд серых глаз на вытянутом костистом лице, чуть смягчавшемся к подбородку.

— Может, тебе пора вернуться на О? — спросила она.

— Не знаю. Здесь тоже вроде бы ничего...

Гвонеш кивнула. Она никогда никого ни о чем не переспрашивала.

— Ты уже прочел доклад Харравена? — Темы она меняла с той же быстротой и безапелляционностью, как и моя мать.

Ладно, думал я, вызов брошен. Гвонеш созрела для очередной проверки моего поля. Почему бы и нет? В конце концов, я ведь буквально за минуту могу смотаться в Ран'н и вернуться обратно, если, конечно, захочу возвращаться, а лаборатория потянет расходы. Хотя чартнинг, подобно ансибль-связи, и работает в основном за счет инертной массы, однако установка ПВК-координат, очистка камер и поддержание поля в стабильном состоянии требовали колоссальных затрат местной энергии. Но ведь это предложение самой Гвонеш, стало быть, денежки у нас пока не перевелись. И я решился:

— Как насчет скачка туда и обратно?

— Заметано, — сказала Гвонеш. — Завтра.

Итак — на другой день, свежим осенним утречком, я стою в меловом круге в лаборатории чартена на Ве, одна нога здесь, а другая...

...мерцание, радужные круги в глазах, толчок — сердечный спазм — сбой вселенского такта...

...в темноте. Темнота. Темное помещение. Лаборатория? Да, лаборатория — нащупав световую панель, я машинально щелкнул выключателем. В потемках был уверен, что по-прежнему нахожусь на Ве. При свете понял — это не так. Я не знал, что это. Не знал, где я. Все вокруг вроде бы знакомо, и все же... все же... Может, биолаборатория? Образцы в банках, обшарпанный электронный микроскоп, на краю помятого медного кожуха товарный знак в форме лиры... Стало быть, я все-таки на О. В какой-то лаборатории одного из зданий Научного центра в Ран'не? Пахло, как обычно пахнет зимней ночью во всех старых зданиях Ран'на, — дождем и сыростью. Но как мог я промахнуться мимо приемного контура, тщательно прорисованного мелом на полу лаборатории в Тауэр-Холле? Должно быть, сдвинулось само поле. Пугающая, невозможная мысль.

Я был обеспокоен, ощущал сильное головокружение, как если бы мое тело действительно перенесло некий мощный толчок, — но не испуган. Сам вроде бы в порядке, все части на месте, руки-ноги целы, и голова тоже пока на плечах. Небольшой пространственный сдвиг? — подсказывал мозг.

Я вышел в коридор. Может быть, я сам, утратив ориентацию, выбрался из Чартен-лаборатории, а очухался уже в каком-то другом месте? Но куда смотрел мой доблестный экипаж? Ведь они все были на вахте. К тому же с тех пор прошло, должно быть, немало времени — предполагалось, что я прибуду на О сразу после полудня. Небольшой темпоральный сдвиг? — продолжал выдавать свои гипотезы мозг. Я двинулся по коридору в поисках Чартен-лаборатории, и это было точно как в тех мучительных снах, когда ты лихорадочно ищешь совершенно необходимую тебе дверь, но никак не можешь ее отыскать. В точности как во сне. Здание оказалось давно знакомым — Тауэр-Холл, второй этаж, — но никаких следов нужной мне лаборатории. На дверях таблички биологов да биофизиков и повсюду заперто. Похоже на глубокую ночь. Вокруг ни души. Наконец, заметив под дверью свет, я постучал и открыл: внутри усердно таращилась на библиотечный терминал юная студентка.

— Простите за беспокойство, — обратился я к ней, — не подскажете, куда девалась лаборатория чартен-поля?

— Какая-какая лаборатория?

Девушка никогда о такой не слыхала и растерянно пожала плечами.

— Увы, я не физик, учусь пока только на биофаке, — молвила она смущенно.

Я снова извинился. Меня начинало поколачивать, как в лихорадке, усилилось и головокружение. Уж не затронул ли и меня пресловутый «хаос-эффект», пережитый экипажами «Шоби» и, предположительно, «Гэльбы»? Неужели и мне предстоит теперь видеть звезды сквозь стены или, к примеру, бросив взгляд через плечо, обнаруживать Гвонеш на О?

Я справился у студентки, который час.

— Предполагалось, что я окажусь здесь в полдень, — зачем-то пояснил я.

— Без пяти час, — ответила девушка, бросая взгляд на терминал. Машинально я повернулся туда же. Табло высвечивало время, декаду, месяц и год.

— Ваши часы врут, — сказал я.

Девушка встревожилась.

— Год установлен неправильно, — пояснил я. — Дата. Она должна быть совсем другой.

Но ровное холодное свечение цифр на электронном табло, округлившиеся глаза собеседницы, биение моего собственного сердца, запах влажной листвы — все, все подсказывало мне: часы не врут, теперь именно час полуночи дня, месяца и года, минувших восемнадцать лет тому назад, и я нахожусь здесь и теперь, на другой день после того дня, упомянув о котором в начале повести я употребил слова «однажды, давным-давно...»

А темпоральный сдвиг-то посерьезнее, чем казалось, — возобновил свою активность мозг.

— Мне срочно нужно назад, — сказал я, поворачиваясь, чтобы бежать туда, где грезилось спасение, — в шестую биолабораторию, ту самую, в которой спустя восемнадцать лет биологии предстояло уступить место чартену. Словно бы надеясь еще застать там следы чартен-поля, возбуждаемого всего лишь на четыре наносекунды.

Сообразив, что с чудаковатым пришельцем явно не все в порядке, девушка удержала меня, заставила присесть и силком вручила чашку чая из домашнего термоса.

— Вы из каких мест? — спросил я любезную хозяйку.

— Из поместья Хердуд, деревня Деада, южные пределы бассейна Садуун, — ответила она.

— А я родом с низовьев, — сообщил я. — Удан из Дердан'нада, может, слыхали? — У меня вдруг потекло из глаз. Не без труда совладав с собой, я опять извинился, допил свой чай и перевернул чашку вверх дном. Девушку не слишком обеспокоила моя слезливость. Студенты сами народ эмоциональный — то радость, то слезы, то спад, то подъем. Зато она — сама учтивость — вежливо поинтересовалась, найдется ли у меня где переночевать. Кивнув, я поблагодарил ее и откланялся.

Я не стал возвращаться в лабораторию номер шесть. Выбравшись на воздух, я двинулся «огородами» к своим

апартаментам в Новом Квартале. На ходу снова заработал мозг — вскоре в голову стукнуло, что в этой квартире теперь/тогда может/мог кто-нибудь проживать.

Малость помешкав, я сменил курс на Храмовый Квартал, где провел лучшие годы своей студенческой жизни до отлета на Хайн. Если все правда, если часы не врут и сегодня второй день после моего отъезда, то комната должна стоять пустой и незапертой. Так оно и вышло, все осталось, как я бросил перед самым отъездом, — голые стены, продавленный матрас, битком набитый мусоросборник.

Именно в тот миг я и испытал самое неприятное чувство. Я долго таращился на мусорник, прежде чем извлечь из него смятую, но довольно свежую на вид распечатку. Еще дольше разглаживал ее на столе. Это оказались темпоральные уравнения — мои собственные каракули, набросанные на стареньком карманном мониторе во время лекции Седхарада по Теории Интервала в последний день моего заключительного семестра в Ран'не, то есть — *позавчера, восемнадцать лет тому назад.*

Вот когда я действительно пережил потрясение. Ты угодил в энтропийное хаос-поле, подсказывал мозг, и я верил ему. Страх, отчаяние буквально захлестнули меня, и ничего ведь не поделаешь до наступления далекого утра. Я плюхнулся на голый матрас, настроенный на встречу со звездами, прожигающими стены и мои веки, стоит лишь их сомкнуть. Вчерне прикидывая, что делать мне завтра, если оно, это завтра, все же наступит, я вдруг провалился в сон, мгновенно, спал как убитый едва ли не до полудня, а когда пробудился на голой койке в знакомой комнате, был голоден и зол, зато ни на миг не усомнился, где я и что со мной.

Спускаясь в кампус позавтракать, я озирался из опаски столкнуться с кем-либо из коллег — то есть, о боже, сокурсников! — который мог бы ошарашенно воскликнуть: «Хидео! Какого черта ты здесь? Мы ведь только вчера проводили тебя до «Ступеней Дарранды»!»

Оставалась слабая надежда, что меня все же не узнают — я стал старше, сильно исхудал, малость подрастерял былой шарм, — но меня с головой выдавали мои полутерранские черты, материнское наследство. Не хотелось ни с кем встречаться, что-то лепетать в свое оправдание. Я меч-

тал убраться из Ран'на как можно скорее. Я хотел уехать домой.

Наш мир, планета О, — идеальное место для путешествий во времени. Никаких тебе перемен. Наши поезда на солнечной энергии веками курсируют по одному и тому же графику. В магазинах мы подписываем квитанции, которые включаются в товарный обмен или в ежемесячные банковские расчеты, так что мне вовсе не пришлось предъявлять станционному кассиру загадочные монеты из будущего. Черканув на корешке имя и адрес, я получил свой билет и вскоре уже катил по направлению к дельте Садуун.

За окнами бесшумной фотоэлектрички замелькали поля и холмы сперва Южного бассейна, затем Северо-Западного, оба петляли вдоль плавных излучин великой Садуун. Увы, поезд мой тормозил едва ли не у каждого столба, и на перрон полустанка Дердан'над я выбрался только под вечер. Хотя в воздухе уже запахло весной, перрон покрывала липкая зимняя грязь, не пыль.

Я вышел на дорожку к Удану. Распахнув придорожную калитку, которую сам же перевешивал несколько дней/восемнадцать лет тому назад, и удостоверившись, что петли все еще новые и крутятся без скрипа, я испытал приятное чувство. Ямсусыни все как одна сидели на яйцах. Судя по их линялым бокам, вялым покачиваниям долгих шей и настороженным взглядам в мой адрес, новые выводки ожидались со дня на день. Над холмами нависли тяжелые тучи. По горбатому мостику я пересек говорливую Оро. Несколько крупных голубых рыбин сбились в стайку под одной из опор; я невольно приостановился — вот бы острогу сейчас... Начинало моросить, и я поспешил дальше. Крупные капли студили мне лицо. За поворотом дороги открылся сам дом — темные широкие кровли у подножия увенчанного лесом холма. Миновав коллектор и ирригационный контроль, пройдя по-зимнему голой аллеей, я поднялся в портик, и вот я уже у дверей, у широких дверей родного Удана. Я пришел.

Через просторный холл бодро семенила Тубду — вовсе не та, которую я запомнил шестидесятитрехлетней, сморщенной, убеленной сединами, дряхлой старушонкой, — но Тубду прежняя. Большая Щекотка, Тубду в полном соку, пышная, смугло-румяная, проворная. Заметив меня, она сперва не признала, не поверила своим глазам:

«Хидео! Откуда?» — затем в полном и окончательном замешательстве: «Хидео, ты? Здесь? Быть того не может!»

— Омбу, — воскликнул я, без труда припомнив наше детское ласковое прозвище для соматери, — Омбу, это я, твой Хидео, — не волнуйся! Все в порядке, я вернулся! — Крепко обняв ее, я прижался щекой к щеке.

— Но, но ведь... — Тубду отстранилась, всмотрелась в мое лицо. — Но что стряслось с тобою, мой мальчик, дорогой мой? — Обернувшись назад, она заголосила во всю мочь своих здоровых легких: — Исако! Исако!

Мать, увидев меня, естественно, решила, что я не сел на борт корабля, что в последний момент мне отказали мужество и решительность — так подсказывало ее первое же порывистое объятие. Неужели сын действительно отказался от судьбы, ради которой собирался пожертвовать всем и вся? — о, я хорошо знал, что творится сейчас у матери в голове и на сердце. Прижавшись щекой к ее щеке, я шепнул:

— Я уезжал, мама, но я вернулся. Мне уже тридцать один год. Я вернулся, мама...

Она отстранилась от меня, как Тубду перед тем, и вгляделась в лицо.

— О Хидео! — простонала она и прижалась ко мне с новой силой. — Дорогой, дорогой мой!

Мы держали друг друга в объятиях и молчали, пока я не вымолвил:

— Прости, ма, мне необходимо повидаться с Исидри.

Мать вопросительно вскинула взгляд, но никаких вопросов задавать не стала.

— Ты найдешь ее в часовне, сынок.

— Ждите, я скоро вернусь.

Оставив обеих матерей бок о бок, я поспешил к центру дома, главной и старейшей его части, семь веков назад перестроенной на трехтысячелетнем фундаменте, стены из камня и глины, купол толстого резного стекла. Здесь всегда царили тишина и прохлада. Сотни книжных полок, Дискуссии, дискуссии о Дискуссиях, поэзия, бесчисленные версии классических Пьес; здесь же находились барабаны и шепталки для медитаций и иных ритуалов; в центре располагался небольшой округлый бассейн, наполняемый родниковой водой из древних глиняных труб — собственно, он-то и являлся храмом. Здесь я и отыскал Исидри. Стоя на коленках на краю отражавшей прозрачный купол

водной святыни, она поправляла свежие цветы в огромной вазе.

Приблизившись, я тихо сказал:

— Исидри, я вернулся. Послушай...

Она обратила ко мне распахнутые, ошеломленные, беззащитные глаза на своем тонком, изящном личике, лице девушки двадцати двух лет, и — застыла.

— Послушай, Исидри, я уже съездил на Хайн, я там учился, затем работал, трудился в совершенно новой области темпоральной физики, над новой теорией трансляции — поверь мне, я провел там целых десять лет. Затем мы перешли к экспериментам. Используя нашу новую технологию, я перепрыгнул с Ран'на на Хайн за одно мгновение, даже быстрее, можешь мне верить — за нулевое время, в самом буквальном смысле. Это вроде ансибля — не со скоростью света, не быстрее ее, а именно мгновенно. В двух разных местах одновременно, понимаешь? И все шло хорошо, все прекрасно работало, но при возвращении... при моем возвращении получилась складка, какой-то сгиб, морщинка в приемном поле. Я оказался в нужном месте, но в другое время. Я вернулся в прошлое на восемнадцать ваших лет или десять своих. Вернулся точно в день после отъезда, но только я никуда вчера не уезжал, я просто вернулся, я вернулся к тебе, Исидри.

Опустившись, как и она, на колени у края тихого зеркального Грааля, я крепко взял ее за руки. Взгляд Исидри метался по моему лицу, она безмолвствовала. На левой ее щеке я разглядел крохотную свежую ссадинку — должно быть, поцарапалась в кустах, составляя букет для часовни.

— Позволь мне вернуться к тебе, — прошептал я.

Исидри нежно провела ладонью по моему лицу.

— Ты выглядишь таким усталым, — сказала она. — Хидео... А ты хорошо себя чувствуешь?

— Да, — ответил я. — Разумеется. Я в полном порядке.

Собственно, на этом моя история, вернее, та ее часть, что может представлять интерес для Экумены и для специалистов по проблеме трансляции, подходит к концу. Последние восемнадцать лет я живу как фермер, хозяин поместья Удан из деревни Дердан'над в холмах Северо-Западной части бассейна Садуун, материк Окет, планета О. Мне уже скоро пятьдесят. Я Вечерний муж Утренней пары Второго уданского седорету, моей женой стала Исидри;

Ночной марьяж у меня с Соту из Дрехе, Вечерней женой которого является моя сестренка Конеко. У меня двое Утренних детей от брака с Исидри — Матубду и Тадри; Вечерних детей нашего седорету зовут Мурми и Мисако. Но все это вряд ли представляет какой-либо интерес для стабилей Экумены.

Мать моя, которая все еще кумекает кое-что в темпоральной механике, выслушав мою историю, приняла ее без дальнейших расспросов; так же и Исидри. Зато большинство остальных односельчан избрали для себя объяснение попроще и куда как правдоподобнее, тоже прекрасно все объясняющее — даже внезапное мое похудание и взросление. Мол, в самый последний момент, буквально перед вылетом, Хидео раздумал учиться в Экуменической школе. Он вернулся в Удан, потому что не мыслил себе жизни без Исидри, так он ее обожал. От этого же и захворал — столь тяжким оказался выбор между его мечтой и беспримерной любовью.

Возможно, все это тоже правда. Но Исидри с Исако предпочли более странную версию.

Позднее, когда мы уже сформировали наш седорету, Сота тоже спрашивал меня о моей истории. «Ты сильно переменился, Хидео, хотя по-прежнему тот, кого я всегда любил», — заметил он. Я объяснил почему, растолковал ему все, как умел. Ошеломленный Сота выразил уверенность, что Конеко легче, нежели он, переварит всю эту чертовщину, — и, действительно: выслушав меня с гримаской озадаченности на своем миленьком личике, сестренка подбросила мне несколько вопросов, что называется, на засыпку. Ответ на один из них я ищу до сих пор.

Я предпринимал как-то раз попытку отправить сообщение на факультет темпоральной физики в Экуменической школе на Хайне. Мне не удалось провести дома в спокойствии и нескольких дней, как мать, с ее обостренным чувством ответственности и долга перед Экуменой, строго потребовала, чтобы я сделал это.

— Мама, — взмолился я, — ну что, что я могу им сказать? Никто из них еще и не слыхивал о теории чартена!

— Извинись за то, что не прибыл вовремя на учебу, как это было запланировано. Адресуй свое объяснение директору, этой анаррести. Она женщина мудрая, все поймет.

— Даже сама Гвонеш еще не подозревает о чартен-тео-

рии. Ей сообщат это по ансиблю с Урраса и Анарреса только через добрых три года. К тому же я познакомился с Гвонеш лично далеко не сразу по приезде, лишь несколько лет спустя. — Использование прошедшего времени в подобных объяснениях зачастую оказывалось делом неизбежным, но звучало дико; возможно, здесь все же уместнее употребить будущее — «познакомлюсь с нею лишь через несколько лет».

Или я все же *находился* теперь и там, на Хайне? Меня чрезвычайно беспокоила парадоксальная идея о моем одновременном существовании на двух разных концах Вселенной. Авторство идеи, разумеется, за малышкой Конеко — это и был один из ее каверзных вопросиков. Неважно, что все известные мне законы темпоральной физики отвергали подобный парадокс — я все равно никак не мог отделаться от ощущения, что другой я живет сейчас на Хайне и спустя восемнадцать лет собирается вернуться в Удан, где встретит себя же, то есть меня. В конце концов, мое настоящее существование тоже ведь невозможно.

Вскоре я научился вытеснять эти изводившие меня мысли иной фантазией: воображал себе водяные завитки в речной зыби под двумя валунами, что чуть выше нашей купальной затоки на Оро. Я научился видеть внутренним взором формирование и тихую смерть этих маленьких водных вихрей, а не то мог пойти на берег Оро. Присесть там и всласть полюбоваться ими воочию. Они, казалось, содержали в себе ответ на мои мучительные вопросы и растворяли его в воде, как нескончаемо растворялись в ней сами.

Но чувство долга моей матери такими пустяками, как невозможность пространственного раздвоения личности, отнюдь не поколебать.

— Ты просто обязан сообщить, — постановила она.

Мать была права. Если уж мое двойное трансляционное поле привело к столь долговременным результатам, то это не только мое личное дело, а вопрос особой важности для всей темпоральной физики. И я попытался. Позаимствовав необходимую сумму наличностью из фондов поместья, я отправился в Ран'н, оплатил ансиблограмму на пять тысяч слов и отправил своему ректору в Экуменической школе сообщение, в котором объяснял, почему, будучи за-

числен на курс, я не приехал — если, конечно, я и на самом деле там не появился.

Полагаю, это и стало тем самым «посланием всмятку» или «весточкой от призрака», которое меня просили расшифровать в первый год по приезде на Хайн. Часть его была чистой тарабарщиной, некоторые слова, вероятно, попали в текст из другого, почти одновременного с ним сообщения, но ведь были в нем и обрывки моего имени, а также фрагменты и перевертыши других слов из моей бесконечной объяснительной: проблема, чартен, вернуться, прибыл, время.

Небезынтересно, полагаю, и то, что приемщики ансибль-центра на Хайне, объясняя причины темпоральных искажений при передаче информации, употребляли словечко «складка». Любопытное совпадение со словами Гвонеш по поводу «морщинок» в моем двойном чартен-поле, не правда ли? На самом-то деле ансибль-поле столкнулось не со складками, а с резонансным сопротивлением, вызванным десятилетней аномалией чартен-поля и превратившим мое длинное послание почти что в труху (приведенную несколько выше). С такой точки зрения, особенно если учесть Двойное Поле Тьекунан'на, мое существование на О, когда я посылал ансиблограмму, определенно дублируется моим же существованием на Хайне. Ведь, отправив сообщение, я же его одновременно и получил. И все же, пока продолжает длиться моя аномальная инкапсуляция в прошлое, суть подобной одновременности сводится буквально к точке, мигу, скрещению — без дальнейшей причастности к этому как ансибль, так и чартен-полей.

Иллюстрацией для чартен-поля в этом случае могла бы послужить воображаемая река, петляющая по заливным лугам, змеящаяся столь прихотливо, что ее коленца постоянно сближаются, почти что смыкаются, пока наконец вода не прорвет тонкую перемычку и не побежит напрямую, оставив целый речной виток (или плес) в стороне, отрезанным от потока, как некое странное озеро в форме бублика, водоем без движения. Согласно такой аналогии, моя ансиблограмма могла служить единственной связующей нитью между потоком и озером — если не считать моих воспоминаний.

Лично мне все же более точной представляется анало-

гия с водоворотами в самом потоке, исчезающими и повторяющимися — те же самые они? Или другие?

В первые годы после женитьбы, пока физика в моей голове еще окончательно не заглохла, я успел поработать над математическим аппаратом своей теории (см. «Заметки по теории резонансной интерференции двойных ансибль и чартен-полей», прилагаемые к настоящему докладу). Прекрасно понимаю, что все эти формулы, может статься, придутся не ко двору, так как в нашем речном потоке не существует теории двойного поля имени Тьекунан'на Хидео. Тем не менее независимое исследование на неожиданном направлении определенно может сослужить хоть какую-то службу. Я дорожу им — ведь это последнее мое детище в области темпоральной физики, заключительная лепта на алтарь науки. Мне бы следовало продолжать работу над теорией чартена с большей настойчивостью, но ведь жизнь на ферме крутится в основном вокруг виноградников, дренажных канав, птичника, требуют воспитания и заботы детишки, немало времени отнимают Дискуссии, а также мои настойчивые попытки научиться ловить рыбу голыми руками.

Трудясь над текстом упомянутого приложения, с помощью убедительнейших математических выкладок я сумел доказать самому себе, что тот вариант моего существования, в котором я отбыл на Хайн, чтобы стать там физиком-теоретиком и специалистом по трансляции, фактически стерт (выглажен, если позволите) чартен-эффектом. Но никакое количество формул не могло полностью унять мою тревогу, мой страх, который резко усилился после женитьбы и рождения наших детей, — страх, что впереди маячит точка скрещения. Никакими аналогиями с речными водоворотами я не мог убедить себя в том, что моя инкапсуляция в прошлое не может стать обратимой в тот момент, когда наступит неуклонно надвигавшийся день чартен-перехода. Казалось вполне возможным, что в этот роковой день, когда я совершу/совершил свой скачок с Ве на О, может погибнуть, исчезнуть, изгладиться моя семья, мои дети, вся моя жизнь в Удане — все, как смятый листок, полетит в корзинку. Я был в ужасе от собственных мыслей.

И я поделился своей тревогой с Исидри, от которой не имел никаких секретов — кроме разве что единственного, о котором чуть позже.

— Нет, — решила она, как следует поразмыслив. — Не думаю, что такое возможно. Ведь была причина, разве ж нет, для твоего возвращения. Возвращения сюда.

— Ты, — кивнул я.

Исидри непередаваемо улыбнулась.

— Да, — согласилась она. И после паузы добавила: — А также Сота, и Конеко, и все поместье... А возвращаться туда у тебя особых причин нет, не так ли?

Исидри баюкала на руках нашу младшенькую, прижимаясь щекой к ее крохотной и пушистенькой макушке.

— Ну разве что, кроме работы, — неуверенно ответила она самой себе. И перевела взгляд на меня. Ее искренность требовала и моей равной честности.

— Иногда я действительно скучаю по ней, — сказал я. — И я знаю это. Но ведь я не знал тогда, прежде, когда был там, что тоскую именно по тебе. Буквально помирал, но не знал. Мог бы так и помереть, Исидри, ни на йоту не разобравшись в самом себе. В любом случае там все было неправильно, вся эта научная галиматья.

— Как это твоя работа могла быть неправильной, если привела тебя ко мне? — возразила она, и я не нашел что ответить.

Когда начали публиковать информацию о теории чартена, я подписался на все, что только могла получать Центральная библиотека на О, в первую очередь на бюллетени Экуменической школы и Чартен-центра на Ве. Исследования, в точности как и в другом моем варианте, продвигались без задержки первые три года, затем начались проблемы. Но никаких упоминаний о Тьекунан'не Хидео я не встречал. Никто не занялся стабилизацией двойных полей. Никем не открывалась лаборатория чартен-поля в Ран'не.

Наконец наступила зима *моего визита домой, затем тот самый день. И, вынужден признать, вопреки всем и всяким резонам денек выдался прескверный. Я чувствовал какие-то приливы не то вины, не то сиротства. Меня даже трясло при мысли об Удане из того посещения, когда Исидри была в браке с Хедраном, а я — случайным гостем в поместье.*

Хедран, почтенный странствующий проповедник и Мастер Дискуссий, и в этом варианте несколько раз посещал нашу деревню. Исидри как-то предложила пригласить его погостить в Удане, но я категорически воспротивился этому, пояснив, что, хотя он и великолепный учитель,

что-то в нем мне все же не нравится. Я уловил странный блеск в глазах жены — «Он что, ревнует?» — она подавила улыбку. Когда я рассказывал ей и матери о своей «другой жизни», единственное, о чем я тогда не упомянул, что утаил, и утаил навсегда, оставался как раз мой приезд в Удан. Я не хотел рассказывать матери, что в той, «другой жизни» она перенесла тяжкое заболевание.

Не хотел рассказывать и Сидри о ее бесплодном браке с Хедраном. Может, я был и не прав. Но мне тогда определенно казалось, что не имею я права открывать такое, негоже это и незачем.

Так что Исидри не могла знать, что на самом деле я чувствовал не столько ревность, сколько вину перед ней. И схоронил ее в себе поглубже. Зато мне все же удалось убрать Хедрана из нашей жизни, и Исидри, моя возлюбленная, мое счастье, мое дыхание, сама моя жизнь, — осталась безраздельно моей.

Или же мне следовало уступить жену? Разделить ее с проповедником? До сих пор теряюсь в догадках.

День тот прошел, как и любой другой, — правда, дочка Сууди, грохнувшись с дерева, сильно расшибла себе локоть. «Наконец-то выяснилось, что тебе не суждено утонуть», — прокомментировала Тубду с болезненным придыханием.

Следующей наступила дата той грустной ночи в моей квартире в Новом Квартале, когда я рыдал и не понимал отчего. А затем и день моего возвращения, перехода на Ве с бутылкой вина от Исидри в подарок Гвонеш. И наконец, вчера настал день, когда я, войдя в чартен-поле на Ве, вышел из него на О восемнадцать лет назад. Я провел ночь, как порой поступаю теперь, в святилище. Часы проходили в полном покое: я писал, затем причастился, занялся медитацией и уснул. И проснулся у кромки безмолвной воды.

И совсем уже наконец: надеюсь, стабили все же примут рапорт от неведомого фермера, а техникам чартен-трансляции удастся пробежать глазами мои расчеты. Мне нечем подтвердить подлинность здесь рассказанного, кроме собственного честного слова да нетипичной для провинциала осведомленности в теории чартена. Досточтимой Гвонеш, которая не знает, кто я такой, шлю почтительный поклон, искреннюю благодарность и надежду, что она сочтет мои намерения достойными.

Содержание

ЧЕТЫРЕ ПУТИ К ПРОЩЕНИЮ. Роман

ПРЕДАТЕЛЬСТВА. *Перевод с английского О. Васант* 7

ДЕНЬ ПРОЩЕНИЯ. *Перевод с английского С. Трофимова* 47

МУЖ РОДА. *Перевод с английского В. Старожильца* 115

ОСВОБОЖДЕНИЕ ЖЕНЩИНЫ. *Перевод с английского И. Полоцка* 174

ЗАМЕТКИ ОБ УЭРЕЛЕ И ЙЕОВЕ. *Перевод с английского И. Полоцка* 246

ОБДЕЛЕННЫЕ. Роман. *Перевод с английского И. Тогоевой* . 265

УХОДЯЩИЕ ИЗ ОМЕЛАСА. Рассказ. *Перевод с английского В. Старожильца* 659

ИСТОРИЯ «ШОБИКОВ». Повесть. *Перевод с английского А. Новикова* 671

ТАНЦУЯ ГАНАМ. Повесть. *Перевод с английского С. Трофимова* 703

ЕЩЕ ОДНА ИСТОРИЯ, ИЛИ РЫБАК ИЗ ВНУТРИМОРЬЯ. Повесть. *Перевод с английского В. Старожильца* 749

Урсулы

ЛЕ ГУИН

Ursula K. Le Guin

ISBN 978-5-699-07249-1

ВРЫ ФАНТАСТИКИ ШЕДЕВРЫ ФАНТАСТИКИ ШЕДЕВРЫ ФАН